



А. С. Дёмин



Парадоксальное название книги «Древнерусская литература как литература» поясняется в подзаголовке: «О манерах повествования и изображения». Имеется в виду изучение выразительности, образности и образности изложения в древнерусских литературных памятниках XI—XVII вв. Книга состоит из 26 очерков, которые расположены по хронологии произведений, — от старейших апокрифов до старопечатных изданий конца XVII в.

Монография предназначена, как определил один аспирант, — «для тех, кто привык читать книги».

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК ЛИТЕРАТУРА

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЛИТЕРАТУРА

О манерах повествования и изображения



А. С. Дёмин



ISBN 978-5-9906039-1-2



9 785990 603912 >

STUDIA PHILOLOGICA

S T U D I A P H I L O L O G I C A



А. С. Дёмин

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК ЛИТЕРАТУРА
(О манерах повествования и изображения)

Ответственный редактор
доктор филологических наук В. П. Гребенюк



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2015

УДК 82
ББК 83.3(2Рос=Рус)3-001.3
Д 30



Издание подготовлено и осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 15-04-16105

Демин А. С.

Д 30 Древнерусская литература как литература (О манерах повествования и изображения) / Отв. ред. док. филол. наук В. П. Гребенюк. — М.: Языки славянской культуры, 2015. — 488 с. — (Studia philologica).

ISBN 978-5-9906039-1-2

Парадоксальное название книги «Древнерусская литература как литература» поясняется в подзаголовке: «О манерах повествования и изображения». Имеется в виду изучение выразительности, образности и образности изложения в древнерусских литературных памятниках XI—XVII вв. Книга состоит из 26 очерков, которые расположены по хронологии произведений, — от старейших апокрифов до «Повести о Еруслане Лазаревиче» по списку 1710-х годов.

Книга предназначена, как определил один аспирант, — «для тех, кто привык читать книги».

**УДК 82
ББК 83.3**

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9906039-1-2

© А. С. Демин, 2015
© Языки славянской культуры, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Немного о предмете изучения: художественное источниковедение древнерусской литературы	9
Изобразительные описания в древнейших апокрифах и старейшей летописи	11
Осмысление библейских сюжетов в древнерусских литературных памятниках XI—XII вв.	20
I. «Повесть временных лет»: летописец как писатель-мыслитель	20
Летописец как писатель-политик и этик	21
Летописец как писатель-историософ и философ	47
Летописец как ритор	54
Вопросы перевода	61
II. «Слово о Законе и Благодати» Илариона: интимно-физические мотивы.	67
III. Письмо Владимира Мономаха: внимание к эмоциям	70
IV. «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора: склонность к штампам	71
V. Послание Климента Смолятича: полемический темперамент	73
VI. «Киевская летопись»: официальность летописца	76
VII. «Слова» Кирилла Туровского: изобретательный растолкователь	81
«Притча о человечьестей души и о телеси»	81
«Сказание о черноризьчьемъ чину»	82
«Слово о сънятии тела Христова с креста»	83
«Слово о расслабленемъ»	84
«Опредмечивание» абстрактных понятий и поэтика превращений в древнерусских произведениях XI—XII вв. («Слово о Законе и Благодати», «Сказание о Борисе и Глебе», «Слово о полку Игореве»)	90

Предсказания в древнерусской литературе XI—XVII вв.	103
«Зверскость» злодеев в древнерусской литературе XII—XVII вв.	128
Летописные концовки и умонастроения летописцев XI—XVI вв.	141
«Картинки» окружающей среды и причины их формирования в древнерусских летописях и повестях XII—XIII вв.	157
Литературные циклы в «Лаврентьевской летописи» и в летописях XII—XIII вв.	175
Изобразительный фон в «Слове о полку Игореве» и архаичность его повествования.	194
Социальный облик автора «Жития Александра Невского»	205
«Житие Александра Невского» и летописание XII в.	214
Парные словосочетания как экспрессивное средство в древнерусских воинских повестях XV в.	223
О слабоизобразительных литературных средствах («Житие Стефана Пермского», «Домострой», «История» Палицына)	228
О типе литературного творчества составителей «Псковской второй летописи»	238
Изобразительная анималистика «Сказания о Мамаевом побоище»	247
«Сказание о Мамаевом побоище»: роль чувств	258
Из истории литературных циклов в XVI—XVII вв. («Казанская исто- рия», «Летописная книжица», «Житие» Аввакума)	266
«Казанская история»: двуликий автор	280
Древнерусское витийство в исторических произведениях второй половины XVI — начала XVII вв. («Степенная книга», «Пискаревский летописец», «Временник» Ивана Тимофеева)	291
«Подтвердительная» повествовательная манера «Степенной книги»	301
Литературные новации «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков»	316
О манере повествования в «Повести о Еруслане Лазаревиче»	326
Реально-бытовые детали в «Житии» протопопа Аввакума	340

Общественные настроения XVII в. по литературным памятникам (старопечатные книги, повести, исторические и стихотворные сочинения, грамоты)	358
Начало XVII в.: «великая слабость и небрежение» общества в православии	358
Конец 1610-х — 1630-е годы: убогатворенность и уступчивость верхов общества	372
Конец 1630-х — 1640-е годы: благодушные верхов общества и назревание недовольства низов	394
1650-е — первая половина 1660-х годов: стремление верхов к умиротворению общества, но отгороженность от «нагих-босых»	416
Конец XVII в.: в атмосфере социальной вражды	438
Повторяющиеся мотивы и мирские интересы в цикле рассказов «Физиоло́га» по списку ГИМ, собрание Уварова, № 515	471
Список сокращений	481
Указатели имен исследователей (<i>сост. И. А. Полосухина</i>)	483

НЕМНОГО О ПРЕДМЕТЕ ИЗУЧЕНИЯ: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Что такое манера литературного повествования? Это смысл форм и выразительность средств, а также изобразительные темы и мотивы в произведении.

В предлагаемой книге манера повествования древнерусских писателей изучается в виде очерков по хронологии памятников, то есть книга относится к области источниковедения, но источниковедения особого, — художественного. Историю же повествовательных манер напишет кто-то из будущих исследователей, если интерес к этой теме не исчезнет.

Манерами древнерусского повествования так или иначе, но конкретно занимались многие русисты-медиевисты. Особенно плодотворны и поучительны труды А. С. Орлова, В. В. Виноградова, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева, а в настоящее время — работы Н. С. Демковой, В. В. Калугина, А. А. Пауткина, А. М. Ранчина.

Резонно спросить, а зачем все это нужно? Это нужно в идейной сфере для того, чтобы охарактеризовать настроения, представления, философию авторов, а в эстетической сфере — чтобы оценить степень литературности произведения. Обычно к литературным причисляли и причисляют памятники по общему впечатлению, по интуиции, на основе отдельных примеров из текста. Изучение манер повествования заставляет систематически заниматься объективными данными в текстах и доказательно истолковывать их.

Термин «художественное источниковедение» все-таки непривычен. Вот почему предлагаемая монография называется более понятно — «Древнерусская литература как литература»: такое заглавие подразумевает исследование выразительности, изобразительности и образности

древнерусских произведений XI—XVII вв. Под этим названием отделом древнеславянских литератур ИМЛИ была проведена серия конференций в Литературном институте.

Автор отказался делить книгу на части или главы. Каждый очерк самоценен, а вместе они образуют цикл. При беглых упоминаниях заслуг исследователей обычно не делаются библиографические ссылки, потому что теперь подробные справки можно навести в интернете и избежать перегрузки книги примечаниями.

И последнее. Для кого эта монография? Как выразился один аспирант, «для тех, кто привык читать книги», и, добавим, для тех, кто интересуется древним искусством слова.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ В ДРЕВНЕЙШИХ АПОКРИФАХ И СТАРЕЙШЕЙ ЛЕТОПИСИ

О древнерусских апокрифах литературоведы написали много, большей частью о крупных категориях: об истории текстов, темах и идеях, сюжетах и жанрах (широким подходом к апокрифам особенно отличилась М. В. Рождественская). Наш же подход иной, нас интересует теоретический вопрос: как появилась образность в древнерусской литературе и каковы были предпосылки этого примечательного явления. Ведь без образности литература — это не литература.

Художественную ценность древнерусских апокрифов исследователи отмечали издавна, но обоснованием этого, то есть прежде всего систематическим обзорением изобразительных средств, не занимались: руки не доходили до вроде бы неинтересных «мелочей», так как изобразительные описания в апокрифах обычно кратки, а изобразительные средства минимальны.

Так-то оно так, но образность как раз и начиналась с мелочей, и на них стоит обратить внимание.

Мы рассмотрим только те апокрифы, которые раньше всего перевели на Руси. Их более 30¹. Начнем с изобразительных средств в самых выигрышных, на наш взгляд, описаниях внешности внеземных персонажей.

Эти описания внешности можно разделить на несколько важнейших видов по способам и градации изобразительности, в основе которой лежит необычность данного объекта сравнительно с обычным земным объектом. Описания первого вида содержат гиперболические детали (когда речь идет о человекоподобных персонажах). Например, в «Книге Еноха Праведного» сторожи ада казали «зубы ... обнажены до перси их»²; в «Хождении апостола Павла по мукам» у немилостивых ангелов «зубы ... превосходяща выше устну» (т. 2, с. 42).

В описаниях второго вида взеземные существа присоединяли к себе части тела, несвойственные их собратьям на земле. Так, в «Завете Нефталимове» «уонец ... имея ... крила орли на хребте его» (т. 1, с. 202); в «Откровении Авраама» змей «руце же и нозе имъи подобно человеку, и крыле на плещю его, — 3 одесную его и 3 ошую его» (т. 1, с. 47); в «Епистолии Иисуса Христа» ниспосылаемые на землю птицы «имуща главы лвовы, а крила орля, и в перия место власы женския велики, и во опаши место опаши коньския, и будуть, яко и кони» (т. 2, с. 347—348).

В описаниях третьего вида благодаря сравнениям на один объект переносились не части, а качества совсем другого объекта, и объект как бы «переливался» или превращался в другой объект, в слитность объектов. Вот некоторые примеры. В «Варфоломеевых вопросах» у дьявола «уста ... яко пропасть велика» (т. 2, с. 22), уста = глубокая пропасть. В «Вопросах Иоанна Богослова Господу» у антихриста «власы главы ... остри, яко стрелы» (т. 2, с. 176), волосы = острые стрелы. В «Хождении апостола Павла по мукам» у ангелов немилостивых «очеса ... светяхуся, акы звезда, восходящая заутра» (т. 2, с. 42), очи, как светящаяся Венера. Это уже образы.

Но не может ли быть так, что все приведенные примеры изобразительны только для нас, но не воспринимались таковыми в те далекие времена? Прямых отзывов на этот счет, конечно, нет. Косвенные же данные все-таки позволяют предположить, что к изобразительности своих описаний составители апокрифов стремились вполне сознательно, о чем свидетельствует обилие предметных описаний необычной внешности персонажей в апокрифах, а также то, что разного рода необычные детали сочетались в том или ином описании в отчетливый изобразительный мотив. Так, в «Варфоломеевых вопросах» в описании внешности дьявола проведен был мотив «нехорошего» горения: «огненными веригами связан ... лице же его, яко моланья; очи же его, яко искрие; от ноздри его исходяще воня смердяще» (т. 2, с. 22).

Однако изобразительность повествования все же не была самоцелью у составителей апокрифов. Вот, к примеру, образность описаний обычно возникала случайно. Такие описания редки и не совсем ясны, так как перенос качества с объекта на объект лишь подразумевался, притом мимолетно. Например, в «Вопросах Иоанна Богослова Господу» у антихриста «персти ему, акы и серпи» (т. 2, с. 176): острота, изогнутость и зазубренность серпов переносились на руки персонажа, так может показаться нам. Но контекст не позволяет утверждать, что дан-

ная ассоциация у данного автора существовала в данный момент и что автор не отделался просто традиционным сравнением.

Объяснить появление изобразительных описаний внешности персонажей с необычными предметными деталями (традиционными и нетрадиционными) можно более широкой целью составителей, чем изобразительность. Главной целью составителей (и переводчиков) апокрифов была *выразительность* повествования. Правда о подобной цели прямо они не заявляли. Но недаром все зрители небесного и подземного миров трепетали, ужасались и даже теряли сознание от необычности увиденного ими.

Но зачем тогда понадобилась авторам и переводчикам вся эта выразительность? Дело в том, что составители включали в апокрифы что-то вроде «путеводителей» по небесам и аду, по библейской истории и концу мира; такие «путеводители», как мы думаем, помогали читателям ясно представить внеземной мир и, наряду со всяческими разъяснениями, требовали впечатляющей предметности описаний, притом не только персонажей.

Поэтому выразительными описаниями самых различных объектов среди старейших апокрифов выделялись как раз «хождения», особенно «Откровение Авраама», «Хождение Агапия в рай», «Хождение апостола Павла по мукам», «Хождение Богородицы по мукам». Так, в путешествии Авраамия по небесам выразительно описывались не только внеземные персонажи, но и всё остальное: предметы с фантастическими деталями («видехъ ... колесницу, колесы огньнь, коежде коло полное очесь окрестъ» — т. 1, с. 44), гиперболические звуки (целый образ): «глас бысть въ огни, яко глас водь многъ, яко глас моря въ възмущении его», так что потрясенный Авраам, по его признанию, «хотехъ пасти ничь на земли» — т. 1, с. 42).

В «хождениях» по небесам встречался и четвертый вид изобразительно-выразительных описаний — приобретение людьми необычных свойств, помогающих «путевождению». Так, в «Откровении Авраама» герой, внимая ангелу, необычайно долго обходится без еды и питья («40 днии и ношии и хлеба не яхъ, ни воды не пихъ, зане брашно мое бяше и питие мое зрети на ангела, сущаго со мною, и беседа его, яже со мною» — т. 1, с. 40) и наделяется необычайной остротой зрения, глядя с третьего неба («смотрихъ подь простертие ножное и видехъ подь 3 небесе ... землю и плоди ея ... и преисподьяня ея ... и бездну ... Видехъ ту море, и островъ его, и скоты его, и рыбы его ... и уселеную... Видехъ ту

реки... И видехъ ту садъ едемъ и плодъ его ... и дубие его... И видехъ ту народъ много, — мужъ, и женъ, и детеи» и т. д. и т. п. — т. 1, с. 45—46).

В апокрифах о путешествиях к земному раю (эдему) по мере приближения к нему тоже сгущались «путеводительные» эпизоды с гиперболическими и необычными деталями (вроде «Слова о трех мнисех»: «узрехом ... мужа велика, в высоту 100 локоть, и бяше привязанъ веригами медянными по всему телу, и пламянь паляше все тело его, — мы же от страха покрывше лице свое» — т. 2, с. 61); затем: «и бяху ветри в земли тои ... западни ветръ зеленъ тварью; а от вьстока солнцю — от рая — рыжь ветръ, яко желтъ; а от полунощи ветръ, яко кровь чиста; а от полудневныя страны ветръ бель, яко снегъ» — т. 2, с. 63; и пр.).

В апокрифах же «без путешествий» изобразительно-выразительные описания бывали лишь единичными — как частные добавления к полным «путешествиям» (например, в «Вопросах Иоанна Богослова Господу» упоминались на небе «книги лежаща ... 7 горъ толщина их» — т. 2, с. 175; в «Завете Левгине» патриарх во сне видел «воду висящую» между вторым и первым небом — т. 1, с. 102; в «Лествице Иакова» персонаж опять-таки во сне видел гигантскую лестницу: «се лествица бяше утвержена на земли и досягыше небесе ... и се ангели Божии всхожахуть и низъхожахуть по неи ... излиха страшно» — т. 1, с. 91).

Мы обозрели «путеводители» по небесам; но выразительные предметные описания в апокрифах изображали и необычные земные события, необычные, как правило, в результате вмешательства небесных сил. Все четыре вида изобразительных описаний, названных выше, присутствовали и здесь. Необычные предметы спускались с небес (например, в «Исходе Моисееве» на горе Моисею «скрижали камены ... вда Богъ ... исправлены, яко сребро, въ гласе трубнемъ, въ громе, и въ молнияхъ, и въ главняхъ огненныхъ» — т. 1, с. 252) или необычными становились предметы на земле (так, в «Смерти Авраамове» Авраам с архангелом Михаилом «придоста близ реки и обретоста дубъ велик ... и слышаста глас, глаголющъ от ветвии к нима ... и слышав Авраамъ гласа того, устрашися» — т. 1, с. 80). Упоминания о предметах изредка приобретали даже некоторую образность (так в «Паралипоменоне Иеремии» оживал камень: «примь камень челоувечьскый глас и възпи» — т. 1, с. 283; в «Никитином мучении» «пила, яко воскъ, бысть» — т. 2, с. 118).

Чаще же всего описания необычного поведения именно людей и животных, притом не на небе, а на земле, выделялись своей выразительностью. И тут тоже воздействовали небесные силы на земных

персонажей. Вот некоторые примеры из очень многих. В «Хождении апостолов» апостол Андрей, увидя «жену нагу», пожелал: «Да обисит жену сию за власы на аере, ... и абие ... восхити ю ангель и повеси за власы» (т. 2, с. 9). В «Исходе Моисееве» Бог, наказывая египтян, «наведе на землю их жабы; и пиюще воды, и видяху въ чрева их жабы, и тако в них крекаху» (т. 1, с. 248). В «Евангелии Иакова» была нарисована картина необычайной застылости на земле перед рождением Иисуса Христа: Иосиф «възревъ на землю, видевъ овца стояща; и видевъ делателя възлежаша, и беяху руки ихъ въ опаницы (блюде), и взимающе, не приношаху къ устомъ своимъ, и жующе, не жваху; ... и възведе пастырь жезль свои ... и рука его дръжашеся горé; и възревъ въ потокъ, видехъ уста козлищъ прилежаша и не пиюща»⁴.

Образные описания поведения и свойств земных персонажей время от времени появлялись и здесь. Например, в апокрифах о Мельхиседеке этот персонаж родился из мертвой матери почти что взрослым («изыде отрокъ из мертвы Софонимы, и седяше на одре ... и одеяние на нем ... бяше отрокъ свершень телом, глаголаше усты своими ... и славень взором» — т. 1, с. 27); а став взрослым, Мельхиседек превратился в почти что зверя («пришедъ въ чашу леса ... нагъ ... и хребеть бысть, яко же лвина кожа; корьмя же его бе вершии дубное, а в воде место росу лизаша»)⁵.

Все подобные описания людей и предметов составители апокрифов использовали тоже ради впечатляющей выразительности, но не страшно. Поэтому зрители этих чудес чаще удивлялись, чем устрашались.

Выразительные описания необычного поведения земных персонажей понадобились уже не для создания систематических «путеводителей», а вероятнее всего, для накопления отрывочных эпизодов человеческой истории под патронажем небесных сил, как разрозненные дополнения к Библии. Другого объяснения подыскать не удается.

Кроме выразительных эпизодов чудес в человеческой истории, в апокрифах существовала еще одна «история» — обыденная, бытовая. Упоминаний быта в апокрифах было немного. Изобразительность бытовых описаний достиглась иным способом: предметностью деталей, хорошо знакомых, как говорится, тысячу раз виденных читателями и поэтому мгновенно представимых, но на фоне чудесных событий. Так, апокрифы упоминают немало реальных хозяйственных предметов и домашних животных в благочестивых сюжетах (например, в «Откровении Авраама»: «напоихъ осла и положихъ ему сена» — т. 1, с. 34;

в «Смерти Авраама»: «идете въ стадо, и приженете боровы, и заколите скоро, и сварите, да ядимъ и приемъ... Налеи рукомыно воды, да умыно ноzi гостю сему»; а после «постла одръ ... въжег свещу и постави на светиле» — т. 1, с. 80–81; в «Исходе Моисееве»: «вшед над реку волу, возмутися вода» — т. 1, с. 250; в «Завете Нефталимове»: «Солнце не сквернится, призирая на гнои и на калъ, но обое исушаеть и отгонить смрадъ — т. 1, с. 144).

Реальные хозяйственно-бытовые и природно-земные детали иногда проникали и во взвездной мир, внося свою лепту в выразительность описаний. Так, в «Хождении Богородицы по мукам» в аду «клокотаху, яко въ котле, и, яко морьскыя вълны ... въсхожаху» (т. 2, с. 26); в «Хождении апостола Павла по мукам» представляли «ангелы ... препоясаны златы поясы в чресла», а грешнику «волна огнена ударяше ... в лице, яко буря» (т. 2, с. 42, 51); в «Откровении Авраама» небесный путешественник углядел «ту мужа нагы ... и срамоту ихъ» (т. 1, с. 48). Но особенно любопытно «Слово на Лазарево воскресение» (краткой редакции, по определению М. В. Рождественской), где Давид сидит в аду, как в некоем звукопроницаемом помещении: «рече Давидъ ... седя в преисподнемъ аде: “Уже бо слышно — пастыри свиряють у вертепа, а глас ихъ проходить адова врата, а в мои уши приходитъ; а уже слышу топоть ногъ перскихъ коней...”»⁶.

Причина ненавязчивого проникновения бытовых мотивов в апокрифы оказывается фундаментальной. Ведь в основу всех изобразительных описаний в апокрифах, куда ни помотришь, легла обыденная земная жизнь, но преобразованная авторской фантазией различными способами, из которых главным было сосредоточение составителей на необычных предметных деталях, на необычных действиях и на необычных качествах описываемых объектов. В результате, хотели того авторы или нет, апокрифы изображали три параллельных мира — страшный взвездной мир, удивительный земной мир, контактирующий с небесами, и менее заметный мир приземленный, контрастный чудесам. Так благодаря поэтике необычности появились «кирпичики» изобразительности и элементы образности с самого начала литературы Древней Руси.

Но это византийское наследие. Теперь рассмотрим, что же прижилось в оригинальной литературе Древней Руси, — на материале пока лишь «Повести временных лет». И. П. Еремин и Д. С. Лихачев плодотворно исследовали «масштабную» поэтику этой летописи, однако не

проблему ювелирной художественности ее описаний. Попытаемся кое-что добавить уже по нашей «микроскопической» теме.

Летописцы XI — начала XII вв. владели всеми пятью изобразительными способами выразительных описаний. Далекое вземные миры летопись, естественно, не изображала предметно, а вот о необычном явлении на небе летопись упоминала не без выразительной необычной детали (например, под 1064 г.: «звезда превелика луче имущи, акы кровавы») и даже описывала образно (далее в той же летописной статье: «солнце пременися и не бысть светло, но, акы месяц, бысть, — его же невелики глаголють снedaему сущю» — 164). Описания внешности бесов тоже выделялись образностью (бесы, которые «жить в безднах, суть же образом черни, крилаты, хвосты имущи» — 179, под 1071 г.; а появляются на земле то «въ образе ляха в луде и носяща в приполе цветкы»; то как «уноши ... красна, и блистаста лице ею, акы солнце»; то «яко се многъ народъ с мотыками... другоици бо ... въ образе медвежи» и пр. — 190, 192, 193, под 1074 г.). Воздействие же благих небесных сил требовало гиперболизации в описаниях (например, в бою «мнози человеци благовернии видеша крестъ над ... вои, възвышьясь велми» — 270, под 1097 г.; «бысть знаменьи ... явися столпъ огнень от земля до небеси, а молнья осветиша всю землю и в небеси погреме в час 1 нощи, и весь миръ виде ... ангель бо сице являеться» — 284, под 1110 г.).

Земная жизнь изображалась в летописи, конечно, намного богаче, чем в апокрифах. Выразительные описания природных явлений, например, ночи, содержали и необычные контрастные детали («бывши нощи, бысть тма ... яко посветяше молонья, блещашеться оружье» — 148, под 1024 г.), и детали образные («акы пожарная заря, от вьстока, и уга, и запада, и севера; и бысть тако светъ всю ночь, акы от луны полны, светящьясь» — 276, под 1102 г.). То же происходило с лаконичным описанием необычных свойств предметов (например, корабли-вездеходы: «воставляти на колеса корабля ... вьспя парусы, съ поля и идяше къ граду» — 30, под 907 г.); да и с описанием частей тела то же (например: «взяша главу его, и во лбе его съделаша чашню, оковаше лобъ его, и пяху из него» — 74, под 972 г.).

Но особенно обильно в летописи изображались люди и их деяния. Броско и сжато изображалась необычная, ненормальная внешность персонажа («детищъ ... бяшетъ бо сиць: на лици ему срамнии удове; иного нелзе казати срама ради» — 164, под 1065 г.). Господствовало

в летописи изображение необычного, противоположного нормальному, поведения или состояния персонажей в материальном мире (так, «аще поехать будяше обърину, не дадяше въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести обърена» — 12). Целые народы вели себя странно («секуть гору, хотяще высечися; и в горе тои просечено оконце мало; и туде молвятъ, и есть не разумети языку ихъ; но кажють на железо и помавають рукою, просяще железа ... ножь ли, ли секиру» — 235, под 1096 г.). Летописцы использовали и краткие образные зарисовки необычных, по их мнению, людских поступков и состояний (мусульманин в мечети «глядить семо и онамо, яко бешень» — 108, под 987 г.; парализованный монах «на ноги нача вставати, аky младенецъ» — 194, под 1074 г.; растерявшийся князь «седяше, аky немъ» — 259, под 1097 г.). И т. д. и т. п.

Описания военных событий тоже получались гиперболическими и образными (вот некоторые примеры: плывет «бе-щисла корабль, покрыли суть море корабли» — 45, под 944 г.; вражеское войско в битве «сбисша ... аky в мячь, яко се соколь сбиваетъ галице» — 271, под 1097 г.).

Наконец, преимущественно в воинских эпизодах с неожиданными поворотами сюжета упоминались хорошо знакомые и поэтому хорошо представимые детали (например, князь во время сражения, когда «идяху стрелы, аky дождь ... ударень бысть подъ пазуху стрелою на заборолехъ сквозе дску скважнею» — 272, под 1097 г.).

Чем объяснить такое изобилие в использовании предметных изобразительных средств летописцами и частоту выразительных описаний в «Повести временных лет», сопровождаемых упоминаниями эмоций и переживаний персонажей? Прямого влияния апокрифов на эти описания не наблюдается. Летописцами уже был накоплен своей литературный опыт. Стремления летописцев к образности как самоцели не существовало. Зачем же летописцы старались сделать свое повествование выразительным? Причина, вероятно, заключалась в учительной направленности «Повести временных лет». Летописцы вводили в свое повествование именно те изобразительные описания, которые давали повод для заключительных благочестивых оценок и для целых поучений, споров и обличений. Каким персонажи «живяху образом»: «прелюбодеи бысть»; «живь в добродетели»; «бе прозорливъ»; «согрешихом и казними есмы» и т. д. Что ниспосылает Бог: «велико спасенье Богъ створи»; «се же Богъ показа на наказанье княземъ русьскимъ»; «на поруганье бесу» и пр. Или извлекался урок на будущее: «кто матерь

не послушает, — в беду впадает ... смерть принять»; «зло встанет на нас» и т. п.

В заключение для полноты обзора укажем в летописи на еще одно повествовательное средство, выразительное уже не за счет изобразительности и не благодаря предметным деталям. Это выражения простые, однако производящие впечатление своей скрытой авторской экспрессией, внутренней оценкой (обычно отрицательной) необычных действий и состояний персонажей. В апокрифах, не рассказывающих о делах земных, почти не найти подобных выражений. Зато в «Повести временных лет» их немало, особенно когда речь шла о семейных взаимоотношениях князей (например: «пойде Ярополкъ на Олга, брата своего»; «залеже жену братьню ... не по браку», «убиите брата моего» и пр. — 74, 78, 132, под 977, 980, 1015 г. Осуждение выражалось лишь подспудно в этих фразах и лишь косвенно поддерживалось контекстом). Бесовское воздействие на людей тоже обозначалось такими экспрессивными фразами («лежаще оцепъневъ, и шибе имъ бесъ» — 179, под 1071 г.; бесы «начаша имъ играти» — 193, под 1074 г.; и др.)

Старейшие апокрифы и старейшая древнерусская летопись показывают, что изобразительные описания были исконной и всегдашней принадлежностью древнерусской литературы, использовались авторами для выразительности повествования, но с самыми разными целями — познавательными, нравоучительными, политическими.

Примечания

¹ Руководствуемся выделением самых старых апокрифов, предпринятым О. В. Твороговым, М. А. Салминой, М. В. Рождественской, Н. В. Поныр-ко в кн.: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. М., 1987. Вып. 1: XI — первая половина XIV в.

² *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 1. С. 23. Далее при цитировании текстов том и страницы этого издания указываются в скобках.

³ Пам. СРЛ. СПб., 1862. Вып. 3 / Изд. подгот. А. Н. Пыпин. С. 11.

⁴ *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. С. 145.

⁵ Пам. СРЛ. Вып. 3. С. 23.

⁶ *Порфирьев И. Я.* Указ. соч. С. 229.

⁷ ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 164. Далее столбцы указываются в скобках.

ОСМЫСЛЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ СЮЖЕТОВ В ДРЕВНЕРУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ XI—XII ВВ.

Древнерусским авторам время от времени приходилось так или иначе пересказывать сюжеты о библейских лицах, и делали они это не всегда в точном соответствии с Библией, по памяти, без сверки с книгами, ведь требования «научной» точности цитирования тогда еще не существовали. За намеренными или нет неточностями этих пересказов и напоминаний проглядывали авторские умонастроения, выяснению которых и посвящена данная работа.

Интересующие нас «неточные» пересказы встречались в древнерусской литературе XI—XII вв. все-таки не так уж часто. Мы остановимся лишь на наиболее заметных из них (по своей «неточности»).

I. «Повесть временных лет»: летописец как писатель-мыслитель

«Повесть временных лет», пожалуй, больше всех памятников XI—XII вв. содержит пересказы библейских сюжетов. Правда, главным пересказом Библии в летописи — так называемой «Речью философа» — мы заниматься не будем, потому что это самостоятельное произведение, по-видимому, болгарской литературы, гораздо более раннего времени, затем включенное в древнерусскую летопись.

Библейскими цитатами и аллюзиями в летописи в последнее время успешно занимался И. Н. Данилевский¹, но исследователя интересовало истолкование летописных рассказов в основном через их библейские цитаты. Мы не изучаем семантику *пересказов* библейских сюжетов, раскрывающую иную сторону в умонастроениях летописцев.

Пересказы библейских сюжетов мы рассматриваем не в их последовательности в тексте летописи, а по умонастроениям некоего единого

летописца. Ведь создатели «Повести временных лет» как писатели не сильно отличались друг от друга и условно могут быть объединены в одно лицо. Коллективный автор «Повести временных лет», по нашему мнению, являлся многогранным *писателем-мыслителем*.

Но необходимо предупредить: недостаточность доказательных материалов (такая нехватка обычна) не позволила избежать некоторой прямолинейности наших выводов.

ЛЕТОПИСЕЦ КАК ПИСАТЕЛЬ-ПОЛИТИК И ЭТИК

Рассказ о вавилонском столпе

Симъ же, Хамъ и Афеть, разделивше землю, и жребьи метавше и ... никому же преступати въ жребии братень, и живяху кождо въ свои части. И бысть языкъ единъ. И умножившемъся человекомъ на земли, и помыслиша создати столпъ до небесе въ дни Нектана и Фалека. И собращася на месте Сенаръ поли здати столпъ до небесе и градъ около его Вавилонъ. И здаша столпъ за 40 лет, и не свершенъ бысть. И сниде господь Богъ видети градъ и столпъ. И рече господь Богъ: «Се родъ единъ и языкъ единъ». И съмеси господь Богъ языки, и раздели на 70 и на 2 языка, и расъея по всей земли. По размешеньи же языкъ Богъ ветромъ великимъ разрушити столпъ повеле. И есть останокъ его межи Асира и Вавилона, и есть въ высоту и въ ширину локот 5433 локти. В лета многа хранимъ останокъ. По разрушении же столпа и по разделеньи языкъ прияша сынове Симови вѣсточныя страны, и Хамови сынове — полуденьныя страны, Афетови же сынове прияша западныя страны и полунощныя страны. От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенскъ, от племени же Афетова нарицаемии нарци, еже суть словене²).

Текстологические замечания. По версии летописца, при Иектане и Фалеке (потомках Адама в 15 поколении, внуках Ноя, сыновьях Сима) во владениях Сима, в нижнем течении Тигра и Евфрата, на обширной равнине Сеннаар, человечество принялось строить столп и одновременно около него город Вавилон. Все дело окончилось разрушением столпа и разделением человечества на 72 народа, в составе которых затем появились славяне — уже во владениях потомков Иафета, в Центральной Европе, в верхнем течении Дравы, в области Норик.

Весь длинный начальный рассказ о Симе, Хаме и Иафете летописец разделил на две различающиеся части. Первая часть не так интересна в

литературном отношении, потому что она составлена из однообразных перечислений географических названий стран и народов во владениях каждого из трех братьев. Вторая же часть — о возведении вавилонского столпа — более предметна и сюжетна и потому избрана нами для анализа.

Приведенный нами выше текст рассказа о вавилонском столпе является лишь реконструкцией текста не дошедшей до нас первой редакции «Повести временных лет», приписываемой Нестору-летописцу. Текст этот отличается массой мелких разночтений, а иногда и явных искажений во всех дошедших списках летописи, и поэтому любое ее издание, так или иначе якобы воссоздающее повествование первой редакции, неминуемо становится реконструкцией.

Спасает положение мелкость разночтений (преимущественно отсутствие или добавление союзов и частиц в текстах списков), что в целом делает реконструкцию правдоподобной. Но в мелких деталях гипотетичность реконструкции прочно остается, так как по подавляющему большинству мелких разночтений невозможно определить их первичность или же вторичность.

В данном случае по научной традиции за основу изучения взят текст рассказа в самом раннем из дошедших списков второй редакции летописи — в «Лаврентьевской летописи» 1377 г., а разночтения учитываются по другим важнейшим спискам второй редакции летописи — в «Радзивилловской летописи» конца XV в. и в «Московско-Академической летописи» тоже конца XV в., а также в «Троицкой летописи» начала XV в., вернее, в позднейшей реконструкции этой сгоревшей летописи³.

Наш принцип реконструкции: если мелкие чтения нередко ущербного Лаврентьевского списка (и тем более Троицкого списка) отличаются от чтений Радзивилловского и Академического списков, а в Радзивилловском и Академическом они совпадают, то становимся на сторону «большинства» и предпочтение отдаем общим чтениям Радзивилловского и Академического списков. Однако нами сделаны и два исключения, когда общие чтения Радзивилловского и Академического списков, напротив, являются ошибочными, а общие чтения Лаврентьевского и реконструированного Троицкого списков можно считать верными: 1) в Лаврентьевском и Троицком списках содержатся первоначальные фразы «въ дни Нектана и Фалека. И собращася на месте Сенарь поли»; эти важные фразы, по мнению А. А. Шахматова, видимо, были пропущены в Радзивилловском и Академическом списках; 2) в Лаврентьевском и Троиц-

ком списках правильно упомянуты «сынове Симове», явно ошибочно названные как «сынове Сифове» в Радзивилловском и Академическом списках (сыновья Сифа, дальние предки Сима и его сыновей, не делили землю).

Кроме того, по предположениям ученых, во всех списках летописи во фразе «и жребьи меташе и ... никому же преступати» встречается пропуск. А. Шлецер и Ф. Миклошич предполагали, что пропущено было выражение «урок положиша», а А. А. Шахматов — «клятву даша». Однако в своей реконструкции текста «Повести временных лет» А. А. Шахматов здесь многоточием отметил только пропуск, но не вставил какого-либо выражения⁴.

Можно добавить третье предположение, если учитывать привычное для летописца словоупотребление в «юридических» статьях летописи. Возможно, было пропущено слово «кляшесь», а первоначально фраза выглядела так: «и жребьи метавше, и кляшесь никому же преступати въ жребии братень» (ср. аналогичные словосочетания в договорах с греками: «мы же ... кляхомся ... не преступити...»; «мы же кляхомся ... яко ... не преступити...» — 52, 37, под 945 и 912 гг.; ср. еще в завещании Ярослава: «заповедавъ имь не преступати предела братня» — 161, под 1054 г.).

И последнее замечание — об источнике рассказа. Рассказ о вавилонском столпе, по наблюдениям А. А. Шахматова, был заимствован летописцем из «Хроники» Георгия Амартола и из какого-то не дошедшего до нас «Хронографа», но фактически свелся к сводке и сокращенному пересказу их сведений у летописца⁵. В конечном счете и летописный рассказ, и его источники восходили к Библии (Бытие, гл. 11, стихи 1—2).

Семантика рассказа. Прежде всего отметим, что вавилонский столп ощущался летописцем как необычайно великий. На это мимоletное ощущение летописца указывает целый ряд деталей. Так, в начале своего рассказа летописец отметил, что люди «*помыслиша* создати столпъ». Хотя эта фраза была взята из соответствующего места «Хроники» Георгия Амартола, но в контексте летописи она, кажется, указывала на необычную масштабность предприятия: ведь во всех случаях использования глаголов «помыслити» и «помышляти» летописец подразумевал настроенность персонажей на нечто новое, необычное, большое, требовавшее сначала замысла и приготовлений, а лишь потом осуществления (например: «*помысли* создати церковь пресвятыя Бого-

родица, и пославь приведе мастера от грекъ, и наченшо же здати» — 121, под 989 г.; «и *«помыслиша поставити вне пещеры монастырь ... и съветъ створиша братья со игуменомъ поставити монастырь ... игумен же и братья заложиха церковь велику и монастырь огородиша, а съ столпьемъ»* и т. д. — 158—159, под 1051 г.).

В том же начале летописного рассказа упоминание о возведении столпа именно «до небесе» уже почти что открыто передавало впечатление летописца об ошеломительной высоте столпа (ср. несколько более ясное выражение этой связи «небо — высота» в летописи: «суть горы ... *высота* ако до небесе ... горы *высокия* ... горы *великия*» — 235—236, под 1096 г.).

При этом летописец со скрытым удивлением дважды повторил указанную деталь: «помыслиша создати *столпь до небесе* ... и собраща ... здати *столпь до небесе*» (5). Такого повторения детали в рассказах о столпе не было ни в одном из его источников — ни в «Хронике» Георгия Амартола, ни в недошедшем «Хронографе» (судя, например, по «Хронографу 1512 г.»), ни в текстах Библии (судя, например, по «Острожской библии» Ивана Федорова 1580 г.). Повтор детали «до небесе» принадлежал самому летописцу и, видимо, передал его ощущение необычности вавилонского столпа. Ведь подобные повторы постоянно появлялись в летописи при описании событий необычных. Вот некоторые примеры (цитаты из других мест летописи здесь и далее приводятся только по Лаврентьевскому списку, но с исправлением явных искажений в нем). Необычное небесное явление — отсюда повтор: «бысть знаменье на западе — *звезда превелика, луче имущи акы кровавы* ... *си бо звезда бе акы кровава*» (164, под 1065 г.). Необычно большое войско — повтор: «совокупиша вои *бецислены*, и поидоша на конихъ и в лодьяхъ *бецислено* множество» (163, под 1960 г.). Необычно красивое греческое богослужение, которое «паче всехъ странъ», — повтор: «нестъ бо на земли ... *красоты такая* ... мы убо не можемъ забыти *красоты тоя*» (108, под 987 г.). И т. д. и т. п.

Последующее затем сообщение о продолжительности строительства столпа — его строили 40 лет, но не завершили — опять скрыто отразило то, каким же не только высоким, но необычайно громадным представлялся вавилонский столп летописцу. В летописи (в «Речи философа») упоминался еще один библейский «долгострой» — Ноев ковчег: «делаему ковчегу за 100 лет» (90, под 986 г.); в результате ковчег имел «в долготу локоть 300, а в ширину — 80, а възвышие —

30 локоть» (примерно 150 × 40 × 15 м) — для судов древних времен размеры ковчега внушительны, но не потрясающи. Однако ковчег в течение 100 лет делал один только Ной, а вот после потопа вавилонский столп хотя и в течение 40 лет, но возводило его всё человечество; так что размеры вавилонского столпа могли представляться летописцу несопоставимо огромными по сравнению с его довольно скромным предшественником.

Далее в свой рассказ о вавилонском столпе летописец ввел еще одну деталь, передающую его ощущение исключительной необычности вавилонского столпа: «и *сниде господь Богъ видети* градъ и столпъ». Этого свидетельства об инспекционном визите Бога к столпу нет в «Хронике» Георгия Амартола; правда, оно есть в Библии (Бытие, гл. 11, стих 6 // «Острожская библия». 1580. Л. 5). Но ни в «Хронике» Георгия Амартола, ни в других источниках летописца не подчеркивалась необычность вавилонского столпа. У летописца же особое внимание Бога к столпу ассоциировалось с необычностью вавилонского сооружения: ведь летописец в своих рассказах не раз отмечал внимание Бога (смотрение, посещение, пребывание) именно к необычно крупным строениям или соборам. Так, по летописи, в знаменитом храме Софии Константинопольской каким-то образом «онъде Богъ с человеки *пробываеть*» (108, под 987 г.); Бог проявляет внимание к невиданной на Руси новопостроенной Десятичной церкви («Господи Боже, *призри* с небесе и вижь и *посети* винограда своего ... *призри* на церковь твою си» — 124, под 996 г.); Бог смотрит и на массу только что крещеных людей («Христе боже ... *призри* на новыя люди сия» — 118, под 988 г.). На совершенно же небывалый столп Бог не только призирал сверху, но сошел видеть его.

Наконец, еще одна деталь: «Богъ *ветромъ великимъ* разрушити столпъ повеле». Значение этого ветра выявляется на фоне других ветров в летописи. Упоминаемые летописные бурные ветры обычно полностью разрушали или полностью выводили из строя даже крепкие объекты их воздействия (ср.: «абые буря вѣста с ветомъ ... корабли смяте, и к берегу приверже, и изби я» — 21—22, под 866 г.; «вывержена будет лодья ветром великим на землю» — 35, под 912 г.; «и расъсею вы вся останки ваша во вся ветры» — 98, под 986 г.). У вавилонского же столпа сохранился «останокъ его межи Асира и Вавилона» — то есть так велик и прочен был столп, что даже насланный Богом великий ветер не смог полностью разрушить это сооружение. Больше того:

«и есть въ высоту и въ ширину локот 5433 локти. В лета многа хранимь останокъ» — если остаток столпа достигает почти трех километров в высоту и в ширину, то тогда можно предположить, каким же небывало чудовищным представлялся сам вавилонский столп летописцу.

Дополним наш разбор рассказа о вавилонском столпе самым важным для нас нюансом. Обозначение необычной крупности сооружения или иного предмета обычно в летописи было сопряжено с благоприятным отношением летописца к описываемому объекту, но вот вавилонский столп ощущался летописцем, напротив, как н е п р и я т н ы й о б ъ е к т . Это отрицательное отношение летописца можно заметить по двум деталям, и прежде всего по упоминанию «до небесе»: всё, поднимавшееся «до небесе» или падавшее с неба, входило у летописца в состав неприятных, опасных, тревожащих объектов. Так, зловещи горы «ако до небесе» (находятся где-то «на полунощных странах», «есть же путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом», «и в горах тех кличь великъ и говоръ» — 235, под 1096 г.); пугающий столп «до небеси» («явися ... огонь» и при нем «молнья осветиша всю землю и в небеси прогреме в час 1 нощи», а это был ангел, зримый как «огнь полящъ» — 284, под 1110 г.). Или: «спаде превеликъ змии отъ небесе, и ужасошася все людье» (214, под 1091 г.).

Кроме того, у вавилонского столпа был даже более явный признак отрицательности: сам «Богъ ... разрушити столпъ повеле». У летописца такая деталь, тоже взятая из источников, служила безусловным свидетельством отрицательного характера вавилонского столпа, — ведь Бог в летописи, если уж самолично уничтожал что-то, то только очень плохое (ср.: «мучители дулебов «быша бо объре ... умомъ горди, и Богъ потреби я, и помроша вси, и не остана ни единъ» — 12).

Сразу же возникает вопрос, почему в пересказе летописца вавилонский столп предстал в столь неприятном свете? Ведь в источниках летописца экспрессивное, в том числе отрицательное, отношение собственно к столпу не выразалось.

Выскажем следующее предположение: у летописца вавилонский столп стал нехорош оттого, что его породили нехорошие обстоятельства. Перед рассказом помещено знаменательное сообщение: «Сим же, Хамъ и Афеть, разделивше землю, и жребьи метавше и ... никому же преступати въ жребии братень, и живяху кождо въ своей части» (4—5). Ни в каких известных ныне источниках летописца нет такого подступа к рассказу о вавилонском столпе⁶.

В качестве заключения рассказа о вавилонском столпе у летописца использовано сообщение о разделе земли уже между потомками братьев.

Показательно, что фразеология этих сообщений («разделити землю», «жити кождо», «преступати» и др.) перекликалась с фразеологией летописных высказываний не о библейских, а о русских междукняжеских территориальных отношениях; ср.: «*живяху кождо со своимъ родомъ и на своихъ местехъ*» (9); «и *разделиста* по Днепръ Русьскую землю ... и начаста *жити* мирно и в братолюбьстве» (149, под 1026 г.); «и будете мирно *живуще* ... и тако *раздели* имъ грады, заповедавъ имъ не преступати предела *братня*, ни стонити» (161, под 1054 г.); «*преступивше* заповедь отню ... бе начало выгнаныю *братню*» (182, под 1073 г.); «*кождо* да держить отчину свою» (256—257, под 1097 г.) и т. д.

Благодаря своеобразной композиции рассказа о вавилонском столпе летописец неявно выразил ощущение незаконности вавилонского соборища: ведь всем «человекомъ на земли» пришлось собраться в одном месте и тем самым кардинально нарушить договор библейских братьев о том, чтобы каждому жить «въ своей части».

Смысл летописного рассказа оказался нетрадиционным. Ведь в источниках и в книжности времени летописца вавилонское соборище хотя тоже представляло «нехорошим», но совсем по другой причине — из-за непослушания людей Богу. Ср. в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова: «все вкупе» «првее человецы по потопе въ *богоборнемъ* столпотворении» «мечтательным образом хотяще на небо възыти», чтобы спастись от второго потопа, если найдет его Бог, и «от устрашения высости помрачаеми паки»⁷. Наиболее ясно та же причина была растолкована в «Хронографе 1512 г.»: «Невродь же, внукъ Хамовъ, сей человекеы сътвори *отъ Творца отступити* ... и честь, достойную Богови, яко же подобаетъ, на себе въсхоте преложити *безумне* и съветникъ бысть на стопотворение, яко да *съпротивится* Богови, аще паки помыслить навести потопъ роду человеческому ... Множество убо человекъ, послушавше съвета Невродова, здати начаша стльпъ ... *суетнаго* ихъ труда»⁸ — вот отчего «нехорошим» (безумным, суетным) явилось вавилонское соборище. В других произведениях, касавшихся истории вавилонского столпа, объяснения были короче либо вовсе отсутствовали, но все равно строители столпа оценивались как суетные и безумные: «роду человеческому ... *безумиемъ* высокое здание наченъшимъ ... *безумному* делу ихъ»⁹; «и рече Богъ: “Се умно-

жишася человеци, и помысли их *суетьни*» ... Аще бы человекомъ Богъ рекль на небо столпъ делати, то повелель бы самъ Богъ словомъ» (так называемая «Речь философа», вставленная в «Повесть временных лет», 91, под 986 г. «Речь философа» не принадлежала летописцу и бытовала еще до создания древнерусской летописи¹⁰).

Летописец усвоил отрицательное отношение к вавилонскому столпу из своих источников, но подменил объяснение: вавилонский столп был неприятен как воплощение нарушения братского договора.

Летописец закончил свое повествование введением нового мотива — сообщением о восстановлении законного порядка в размещении человечества: «и по разделеньи языкъ прияша сынове Симове вѣсточныя страны, а Хамови сынове — полуденьныя страны, Афетови же сынове прияша западныя страны и полунощныя страны» (5).

«Восстановительный» мотив в большом рассказе, подводившем читателя к истории происхождения славян, имел намеренно вставной характер, так как прерывал логически гладкое движение основного сюжета. Действительно, без сообщения о «сыновех» Сима, Хама, Иафета рассказ о происхождении славян развивался бы без отвлечений в сторону: «И съмеси господь Богъ языки, и раздели на 70 и на 2 языка, и расъсея по всеи земли... От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ». Вставка о разделении земли уже между потомками братьев, как думается, понадобилась летописцу опять-таки для своеобразного закругления дополнительно введенного сюжета на тему «всё вернулось на круги своя».

Мотив «восстановления справедливости» был выражен с некоторой положительной экспрессией у летописца, судя по его словоупотреблению. Ведь глагол «прияти» в рассказе, по-видимому, имел оттенок торжественности, значительности, важных последствий такого действия: «*прияша* страны», и в результате этого дележа земли «бысть языкъ словенескъ», «сели суть словене по Дунаеви» и «разидошася по Земле» (5—6). В летописи словосочетание «прияти» какую-либо территорию означало очень важное событие по его последствиям (ср.: «разделиста по Днепръ Русьскую землю. Ярославъ *прия* сю сторону, а Мъстиславъ — ону, и начаста жити мирно и в братолюбстве, и уста усобица и мятеж, и бысть тишина велика в земли» — 149, под 1026 г.). «Приятие» имело не только положительный, но иногда и трагический смысл (ср.: «половци же, *приимше* град, запалиша ѿ огнем, и люди разделиша, и ведоша в веже к сердоболем своимъ и сродником своимъ мьного роду христьянска» — 225, под 1093 г.). К «приятию» террито-

рий примыкало «приятие» власти — тоже экспрессивное выражение (ср.: «избью всю братью свою и *прииму* власть русьскую единь» — 139, под 1015 г.). Все прочие словосочетания со словом «прияти», как правило, так же были экспрессивными («прияти» мечь, казнь, муку, смерть и пр.; «прияти» честь, дары, исцеление и пр.; «прияти» «закон», крещение, устав и т. д.).

Самое примечательное: летописца больше интересовало само нарушение порядка, чем его восстановление, и поэтому о нарушившем братский договор столпотворении летописец рассказал гораздо больше, чем о восстановленном затем порядке деления владений.

Умонастроение летописца. В летописи далее неоднократно встречаются рассказы или сюжеты о «восстановлении справедливости», в основном политической; при этом летописец проявлял интерес к описанию и оценке фактов именно нарушения порядка, а о последующем восстановлении порядка умалчивал или сообщал совсем кратко. Из многих примеров подробно рассмотрим только два случая. Так, в летописи можно заметить сюжет о восстановлении в Киеве «правильной» формы власти — княжеской: сначала в Киеве «Кии *княжаше*» (10); затем самозванные властители, не князья, а только «боярина» (20, под 862 г.) Аскольд и Дир «остава вь граде семь» и, по определению летописца, не княжили, а лишь «начаста владети» (21, под 862 г.); но пришел Олег и «седе Олегъ, *княжа* вь Киеве» (23, под 882 г.). Аскольд и Дир как нарушители порядка были охарактеризованы сравнительно подробно и притом отрицательно: в частности, собранный ими флот был назван как «*безбожныхъ* руси корабли» (21, под 866 г. Летописец нарочно оставил этот эпитет, взятый из рассказа об Аскольде и Дире в продолжении «Хроники» Георгия Амартола); сами Аскольд и Дир получили уничижительную оценку («вы неста князя, ни рода княжа» — 23, под 882 г.); о восстановленном же порядке княжения, как, впрочем, и о первоначальном порядке княжения в Киеве, не было сказано ничего.

Сходное внимание летописец проявил именно к нарушению традиционного юридического порядка. Например, судя по рассказу летописца, Владимир после крещения отменил прежнее судопроизводство: «отвергъ виры и нача казнити разбоиницы» (127, под 996 г.); но потом вернулся к прежнему взиманию вир (штрафов и конфискаций) с разбойников. Именно о нарушении прежнего порядка летописец рассказал больше всего: «умножишася зело разбоеве ... умножишася разбоиници»; епископы обратились к Владимиру: «достоить ти казнити разбои-

ника»; в результате без вир стало не хватить денег на войско, ведь было много войн: «рать многа». Но о том, что же получилось после возвращения к вирам, не сказано.

Общая картина вырисовывается следующей. Особенно обильно и сочно летописец рассказывал о нарушениях монастырского порядка (например, большой рассказ о монахе Исакии). Правда, рассказы подобного рода явно ориентировались на патериковые легенды. А вот рассказы о политических нарушениях зачастую были более оригинальны у летописца, потому что политиком он и был, но не узко прагматичным политиканом, а беспокойным, чувствительным политическим писателем.

Сюжеты о «восстановлении справедливости и благочестия», пожалуй, претерпели эволюцию в истории древнерусской литературы XI — начала XII вв. В XI в. тема нарушения благочестивых порядков не затрагивалась в литературе, по крайней мере заметным образом. Например, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона и «Память и похвала князю Владимиру» Иакова Мниха говорили лишь о триумфальном шествии христианской веры в мире и по Русской земле, без каких-либо нарушений и отступлений.

Но к началу или с начала XII в. мотивы «восстановления справедливости» и пристальные описания различных нарушений порядка появились в литературе, примерами чего являются наряду с «Повестью временных лет» «Житие Феодосия Печерского» (главный нарушитель — мать Феодосия), «Чтение о Борисе и Глебе» и особенно «Сказание о Борисе и Глебе» (в сущности, всё произведение посвящено описаниям преступлений Святополка после кратко упомянутого периода справедливого правления Владимира и перед относительно кратко же упомянутым периодом восстановления справедливости при Ярославе). Видимо, в начале XII в. произошли повлиявшие на литературу и душевное состояние авторов значительные неблагоприятные изменения в политической и моральной обстановке на Руси. Но всё это надо исследовать специально.

Основной особенностью повествовательной манеры летописца в рассказе о вавилонском столпе, как уже можно было убедиться, явилась скрытость выражения экспрессии и соответствующих ассоциаций. Подобная сдержанность летописца объясняется в этом рассказе, как нам кажется, во-первых, сокращенностью пересказа более полного (неизвестного нам) текста легенды летописцем и, во-вторых, побочностью истории вавилонского столпа в летописном рассказе, главной темой кото-

рого было происхождение славян в результате разделения человечества Богом. Из-за побочности темы и сокращенности пересказа в изложении летописца вкрались неясности и недоговоренности (в частности, не объяснялось, почему люди стали строить столп и почему его разрушил Бог), а заодно и экспрессия изложения получилась стертой, непроявленной.

Далее в летописи эта сдержанная повествовательная манера тоже присутствовала. В чем ее главная причина? Для предварительных объяснений обратимся только к двум летописным рассказам, упоминающим некое «строительство» и некий столп. Так, в летописном рассказе непосредственно о горé, долбимой каким-то «нехорошим» северным народом, лишь скрытое выражение ощущения «нехорошести» того народа преобладало вначале у летописца, хотя данный сюжет на этот раз был основным, а не побочным. Эмоциональную сдержанность летописца, видимо, обусловила именно сокращенность пересказа легенды, слышанной летописцем из третьих уст (летописцу, по его признанию, сообщил легенду некий новгородец, который узнал ее от своего «отрока», вернувшегося с Севера, а того предупредила «югра ... языкъ немъ» — 235, под 1096 г.).

Но скрытое выражение экспрессии присутствовало у летописца и в рассказах, не являвшихся пересказами чужих сообщений. В качестве примера бегло охарактеризуем рассказ о столпе (правда, не материальном) из самого конца «Повести временных лет», о тех событиях, чему уже сам летописец мог быть свидетелем: «Бысть знаменье в Печерьстем монастыре в 11 день февраля месяца. Явися столпъ огоньъ от земли до небеси, а молнья осветиша всю землю и в небеси погреме в час 1 нощи, и весь миръ виде. Се же столпъ первее ста на трапезници камени, яко не видети бысть креста; и, постоявъ мало, съступи на церковь и ста надъ гробомъ Феодосьевым; и потом ступи на верхъ, акы ко востоку лицъ; и потом невидим бысть» (284, под 1110 г.). Здесь нагнетанием необычностей летописец скрыто передал чувство удивления: столп не материальный, а из огня; столп появился не в одиночку, а вместе с молнией; огонь не движется, а стоит; сам же столп не стоит, а медленно передвигается; наконец, огонь не гаснет постепенно, а внезапно становится невидим и т. д. Главная причина сдержанности летописца в данном случае заключалась вот в чем: летописец не столько оценил удивительность события во всех подробностях, сколько *напомнил* о нем.

Скрытость ассоциаций и экспрессивных оттенков в летописных рассказах чаще всего была вызвана не сокращенностью изложения,

а специфической «напоминательной», «подразумеваемой» манерой повествования летописца, особенно в первой половине летописи¹¹. Причины преобладания такого литературного явления, как «напоминательность», пока не ясны; но опять-таки предварительно можно выдвинуть сразу три объяснения. Два объяснения не главные: «напоминательностью» повествования летописец сэкономил объем летописи об очень древних событиях и одновременно, может быть, скрывал свою недостаточную информированность о них. Но главное, возможно, и тут присутствовала политика, вернее, *дипломатия*: летописец писал преимущественно для читателей, политически опытных и что-то знающих из истории; излишними или неудобными толкованиями и разъяснениями лучше было их не задевать, ведь «мы на злое възвращаемся, акы свинья, в кале греховномъ присно каляющеся, и тако пребываемъ» (168, под 1068 г.). Ну что же, мыслитель не может не быть дипломатом, притом осторожным.

Упоминание о фараоновых предсказателях

По сихъ же летехъ по смерти братье сея быша обидимы деревлями и неми околними. Наидоша я козаре седящая на горах сихъ в лесехъ. И рекоша козари: «Платите намъ дань». Здумавше поляне и вдаша от дыма мечь. И несоша козари ко князю своему и къ стареишинамъ своимъ. И реша имъ: «Се налезохомъ дань нову». Они же реша имъ: «Откуда?». Они же реша: «В лесехъ на горахъ надъ рекою Днепрскою». Они же реша: «Что суть въдали?». Они же показаша мечь. Реша старци козарьстии: «Не добра дань, княже. Мы ся доискахомъ оружьемъ одною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инехъ странах».

Се же сбысться все. Не от своя воля рекоша, но отъ Божья повеленья. Яко при фаравоне, цари египетьстемъ, егда приведоша Моисея предъ фаравона, и реша стареишина фараоня: «Се хочеть смирити область египетьскую». Яко же и бысть: погибоша бо египтяне от Моисея, а первое быша работающе имъ. Тако и си: владеша, — а после же самими владеють. Яко же бысть: володеють козары русьскии князи и до днешнего дне (16—17).

Текстологические замечания и семантика рассказа. Летописец пересказал легенду об одном эпизоде из взаимоотношений полян и хазар в VIII—IX вв. Первоначально (в летописи XI в.) рассказ о хазарской дани являлся продолжением повествования о Кие, Щеке и Хориве,

но в «Повести временных лет» начала XII в. этот второй рассказ летописец отделил большими вставками от повествования о братьях и сделал самостоятельным¹².

Текст данного рассказа и последующих отрывков передается по правилам, изложенным нами ранее. Дополнительные трудности для реконструкции текста рассматриваемого рассказа первой редакции «Повести временных лет» возникают из-за больших пропусков в Радзивилловском и Троицком списках. Приходится ориентироваться на Лаврентьевский список, но избегать явных искажений в нем, руководствуясь подсказками Академического (к сожалению, тоже неисправного) списка.

Источником рассказа, возможно, послужила какая-то хазарская легенда¹³, но интересующее нас упоминание библейских персонажей и сопоставление хазарских предсказателей с египетскими предсказателями было введено уже самим летописцем, припомнившим данный сюжет о Моисее и фараоне не из Библии, а из некоего не дошедшего до нас «Хронографа», в котором соответствующий краткий библейский рассказ о Моисее (Исход, гл. 2, стих 10) был дополнен эпизодами из апокрифического «Жития пророка Моисея»¹⁴. Вторично тот же сюжет был уже несколько подробней изложен в «Речи философа», включенной в летопись.

Вопрос о хронографическом источнике летописца все-таки остается не проясненным (так, в «Хронографе 1512 г.» нет эпизода с предсказаниями египетских волхвов); оттого последующие выводы о семантике летописного рассказа о хазарской дани тоже остаются предположительными.

Объектом нашего изучения являются упоминания летописца о библейском Моисее, египетском фараоне и о его предсказателях. Об отношении летописца к этим персонажам, и прежде всего к египетским предсказателям, можно только догадываться по фразеологии летописца, всё же отличающейся от фразеологии использованных им источников.

К египетским предсказателям летописец отнесся положительно, о чем свидетельствуют три признака в тексте, правда, все косвенные. Во-первых, летописец назвал египетских предсказателей «старейшинами» (или «старцами» в одном из списков летописи), в то время как в прочих произведениях те же самые египетские предсказатели названы «волхвами» (Библия, Исход, гл. 7—8; ср. «Речь философа»: «и реша *вольсви* египетьстии царю... видевь же *вольхвъ* и рече цареви» — 94, под 986 г. «Житие пророка Моисея»: «и рече *влъхвъ* Вала-

омь», «и отвеца Валаом *вльхвъ*»¹⁵. Такое переназывание не могло быть случайным у летописца, который очень внимательно употреблял разного рода социальные обозначения. Раз назвал египетских волхвов «старейшинами», то, значит, хорошо к ним относился: ведь к старейшинам, в том числе к старцам градским и людским, а также ко всем старым людям (даже половецким) летописец всегда и везде относился к глубоким пиететом.

Второе свидетельство положительного отношения летописца к египетским «старейшинам» кроется в описании их поведения. Египетские «старейшины» у летописца смиренны, хотя таким эпитетом летописец их не наградил. Тем не менее летописные египетские «старейшины» смиренно, судя по их прямой речи, провидели поражение Египта от Моисея («се хочеть смирити область египетскую»); а вот в «Житии пророка Моисея» и в «Речи философа» египетские волхвы, напротив, проявили свою злонамеренность, предлагая убить Моисея, чтобы избежать предсказанного несчастья Египту.

Третье свидетельство положительного отношения летописца к египетским «старейшинам» извлекается из сравнения: летописец в развернутом сравнении сопоставил египетских «старейшин» со старейшинами хазарскими, безусловно мудрыми персонажами в рассказе. Ни хазарский князь, ни хазарские воины не могли взять в толк, что за дань им дали поляне. Хазарские воины не могли даже назвать предмет дани и молча *«показаша мечь»* (интереснейшая деталь — в летописи невежды не называли предмет, а показывали на него: так, дикие люди, засевшие в северных горах, не знают, как называется железо, а лишь *«кажють на железо и помавають рукою, просяще железа»* — 235, под 1096 г.). На фоне общего непонимания хазарские старейшины предстали у летописца великими мудрецами, которые в отличие от необразованных хазарских воинов и даже от хазарского князя сразу поняли и название дани, и ее политическое значение. Больше того. Хазарские старейшины выступили у летописца, так сказать, рупором Бога: они, как подчеркнул летописец в своем пояснении, «не от своея воля рекоша, но отъ Божья повеленья».

Так что «старейшины» египетские тоже явились в роли мудрых и даже богомудрых предсказателей, раз летописец сопоставил египетских «старейшин» с хазарскими старейшинами.

Умонастроение летописца. Почему столь положительно летописец отнесся к египетским «старейшинам»-предсказателям, хотя к егип-

тянам и фараону, следуя библейской традиции, он относился в общем отрицательно?

Прежде всего можно заметить, что летописец положительно относился к тем предсказателям, чьи предсказания были выгодны для Руси. Например, раз хазарские старцы высказали предсказание в пользу Руси — значит, они хорошие. Хорошими также были апостол Андрей, Феодосий Печерский и пр. с их благополучными предсказаниями.

Приведем и совершенно парадоксальный пример. Половецкий хан Боняк выступил в роли предсказателя благополучного для нас исхода битвы с венграми: «И яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ, отъеха от вои, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози. Бонякъ же, прихавъ, поведа Давидови, яко “победа ны есть на угры заутра”» (270—271, под 1097 г.). По приведенному сообщению видно, какое внезапное изменение претерпело отношение летописца к Боняку. Только что для летописца ненавистный Боняк был «безбожнии, шелудивый... хыщникъ» (232, под 1096 г.), и вдруг никаких отрицательных эпитетов летописец не приложил к Боняку, а, напротив, далее даже сравнил Боняка с благородным соколом («Бонякъ же разделися на 3 полкы, и сбиша угры... *яко се соколь сбиваетъ галице*»). И еще одна благоприятная деталь относится к Боняку: свое предсказание он «поведа» владими́ро-волинскому князю Давиду Игоревичу. В летописи «поведают» новости только свои своим: подчиненные — своему князю, князь — своей дружине, брат — брату, союзник — союзнику и т. п. Значит, Боняк, «поведающий» свое предсказание русскому князю, в этот момент воспринимался летописцем как «свой». Еще бы: половецкое предсказание было в пользу русских.

Политически же невыгодное для Руси предсказание вызывало у летописца отрицательное отношение к предсказателю. Так, плохое предсказание для Руси сопровождалось соответственно отрицательным отношением летописца к предсказателям. Оттого летописец нещадно обличал русских волхвов с их нелепыми зловещими предсказаниями.

Но не все так просто. Политическая невыгодность предсказания для Руси не всегда определяла отрицательность отношения летописца к предсказателю. Так, например, летописная статья под 912 г. задает нам загадку: кудесника, который предсказал Олегу Вещему смерть от коня, летописец почему-то не предал порицаниям и даже оправдал, хотя предсказание было крайне неблагоприятно для русского князя. Больше того, две детали в рассказе косвенно указывают на уважитель-

ное отношение летописца к этому «невыгодному» кудеснику. Летописец сначала рассказал, что Олег стал расспрашивать волхвов и кудесников, от чего ему уготована смерть, но ответил ему лишь «кудесник *одинь*» (38), наверное, самый мудрый из кудесников. Упоминание именно «одного» из избранных советников в летописи указывало на его особую проницательность. Аналогичную ситуацию находим в рассказе под 971 г., когда растерявшийся византийский цесарь спрашивал на созванном совете у своих бояр, чем задобрить князя Святослава, приблизившегося с войском к Царьграду, и действенный совет цесарю дал только «*единь*» из бояр, очевидно, самый умный. Итак, кудесник Олега хорош.

Затем в статье под 912 г. летописец рассказал — и это вторая деталь, — что Олег стал насмехаться и оскорблять того кудесника («Олежь же посмеяся и укори кудесника» — 39). Но в летописи такая ситуация имела определенный смысл: насмешкам и оскорблениям подвергались со стороны непонимающих только достойные уважения люди: насмехались над библейским Ноем, строившим ковчег (под 986 г.); насмехался спесивый печенежин над скромным русским юношей-кожемякой, принесшим победу русскому войску (под 992 г.); насмехались над кротким монахом Исакием (под 1074 г.); «укоряли» Ярослава Мудрого (под 1016 г.), Болеслава Польского (под 1018 г.), Владимира Мономаха (под 1116 г.) и даже самого Бога (под 1096 г.). На этом фоне оскорбляемый кудесник только выигрывал и представлял как бы даже положительным персонажем.

Еще один пример недейственности неблагоприятного для Руси предсказания на отношении летописца к предсказателю. В статье под 985 г. воевода Добрыня нелестно для русских предсказал, что те не смогут сделать своими данниками воинственных болгар, обутих в сапоги все как на подбор, а смогут совладать лишь с кроткими народами-лапотниками, но никакой неприязни у летописца Добрыня не вызвал.

В рассказах о нерусских предсказателях и волхвах также можно заметить элементы положительного отношения летописца к ним, хотя их предсказания были очень неблагоприятны для вполне «хороших» нерусских же персонажей. Например, в уже упомянутой статье под 912 г. летописец почти дословно переписал из перевода «Хроники» Георгия Амартола рассказ о пришедшем из Рима в Византию мудреце и чудотворце Аполлонии Тианском¹⁶. В отличие от «Хроники», летописец назвал Аполлония волхвом и, значит, свое отрицательное отноше-

ние к персонажу обозначил сразу. Но далее следует такое сообщение: этот Аполлоний пришел в город Византий, а потом в город Антиохию, и в каждом городе Аполлоний «умоленъ бывъ от живущих ту» освобождает горожан от засилья змей, скорпионов и комаров (39). Тут надо учесть особенность летописного словоупотребления. Хотя слово «умоленъ» было взято из перевода «Хроники» Георгия Амартола, но у летописца это слово могло иметь дополнительный экспрессивный оттенок. Дело в том, что в летописи «умоленными» бывали исключительно только очень положительные лица, притом умоленными на очень благие дела: просветители славян Кирилл и Мефодий (под 898 г.), византийская невеста Владимира царевна Анна (под 988 г.), игумен Афонского монастыря, постригший Антония Великого (под 1051 г.), великий князь киевский Святополк Изяславович, помиловавший бунтовщика (под 1101 г.). Но значило ли это слово, что «умоленный» Аполлоний действительно воспринимался летописцем и с каким-то уважительным чувством? Ведь, скорее всего, при механической вставке большого отрывка из перевода «Хроники» Георгия Амартола летописцу было не до редактирования таких словесных тонкостей.

Однако далее этот Аполлоний выступил в роли прорицателя печального будущего Антиохии, в связи с чем «въздохну» (40). В летописи вздыхали опять-таки только положительные персонажи: вздыхали русские пленники, захваченные половцами (под 1093 г.), великий князь киевский Владимир Святославович вздыхал перед «запоной», изображающей Страшный суд (под 986 г.); полоцкий князь Всеволод Брючиславович вздыхал, освобожденный из вероломного заточения (под 1068 г.); благоверные монахи вздыхали, глядя на зловещее небесное знамение (под 1102 г.). Тогда можно ли предположить, что сочувственно вздыхающий предсказатель Аполлоний все-таки показался летописцу не таким уж плохим. Или же мимо внимания компилятора-летописца прошла и эта «воздыхательная» деталь?

Два мелких разночтения летописного текста с «Хроникой» Георгия Амартола, пожалуй, свидетельствуют о том, что летописец не бездумно переписал отрывок из своего источника. Во-первых, в «Хронике» сказано об Аполлонии, что тот «философскую мудрость и хитрость имущу»¹⁷; в летописном же тексте передано короче: Аполлоний «философскую хитрость имущу» (41). То есть летописец, до сих пор дословно переписывавший свой источник, отказал Аполлонию в мудрости, а оставил за ним только профессиональную, философскую опытность,

искушенность, и только. Во-вторых, одаренность ветхозаветных предсказателей в «Хронике» объяснена Божьим благопритствием, тем, что «убо и не на достойныхъ благодать детельствуетъ многажды»; в летописи же Божья благодать заменена каким-то неопределенным благопритствием ветхозаветным прорицателям, да и слово «многажды» опущено: «убо и не на достойныхъ благодетельствует». Из приведенных разночтений следует, что все они не так уж случайны и что летописец осторожно снизил статус Аполлония, но, значит, до этого какие-то проявления уважения к прорицателю в данном отрывке сохранил все же сознательно.

Чем же объяснить элемент своеобразного снисхождения летописца по отношению к Аполлонию? Ведь Аполлоний не только волхв, но и чародей — его бы ругать бескомпромиссно. Но летописец вслед за Георгием Амартолом перечисляет и многих других языческих предсказателей и чародеев: месопотамского пророка Валаама, иудейского царя Саула, иудейского первосвященника Каиафу, какого-то Иуду и прочих сыновей некоего Скевы, египетского фараона, вавилонского царя Навуходоносора, израильского Симона Волхва и его последователя Менандра. Все они привлекательны тем, что каким-то образом им «будущаа предпоказа» и что некоторые из них даже «именемъ Господнимъ и пророчествоваше» (41).

По-видимому, более или менее положительное отношение летописца к предсказателям зависело не только от благоприятности их предсказаний. Есть основания предположить, что на отношение летописца постоянно влияло и социальное положение предсказателей, о которых он говорил. Уважение летописца, пожалуй, вызывали предсказатели с высоким политическим и социальным статусом: так, Добрыня был родным дядей великого князя киевского Владимира Святославовича, кудесник Олега являлся княжеским предсказателем, Аполлоний Тианский знаменит, всеми «знаемъ беаше, шествуа и творя всюду» (39), Боняк — хан, старейшины — важные лица при хазарском князе и т. д.

Если же предсказатель или волхв имел низкий социальный статус, то летописец не стеснялся того ругать и обличать, как, например, некоего чудского кудесника или (под тем же 1071 г.) двух русских кудесников из Ярославля, о которых даже выяснили, «чья еста смерда» (175).

Теперь можно полнее объяснить, почему к египетским «старейшинам» в рассказе о хазарской дани летописец отнесся так хорошо. Дей-

ствовали те же две причины вкуче: благоприятность предсказания для «хорошего» Моисея (при неблагоприятности этого же предсказания для «плохих» египтян) и высокий статус предсказателей — они «старейшина фараоня».

Отсюда можно сделать вывод о характере летописи в целом. Еще раз подтверждаются наблюдения А. А. Шахматова, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева над главной целенаправленностью «Повести временных лет», которая, по мнению ученых, создавалась прежде всего как политическое произведение, что и сказалось, в частности, на характеристиках летописцем всякого рода волхвов и кудесников.

В древнерусской литературе XI — начала XII вв. о предсказателях и волхвах другие оригинальные древнерусские произведения не рассказывали почти ничего. Пока нашелся только один относительно подходящий случай: в составе «Киево-Печерского патерика» содержится древнее «Слово о блаженном Агапите-лечце», в котором рассказывается о киевском враче-армянине Атанаисии, наделенном даром медицинского предсказания. Отношение автора рассказа к этому врачу было сугубо отрицательным, в том числе и потому, что Атанаисий специализировался в области только плохих предсказаний: «толико виде болнаго, познаваше и поведаше ему смерть, нарекъ ему день и час, — и никако же изменится слово его, — сего уже никако же не врачюеть»¹⁸. Тем не менее автор не без уважительности пояснил, начиная рассказ об Атанаисии, что тот «хытръ же бе врачеванию, яко таков не бе преже его» (39). С чего бы такая честь? Думается, и оттого, что Атанаисий был лечащим врачом самого Владимира Мономаха («прилежаше ему арменин, врачюя его» — 40), а у великого князя киевского, по разумению автора, никак не положено было служить слабому врачу.

В «Чтении о Борисе и Глебе» агиографа Нестора отразилось схожее уважение автора к профессионализму отрицательного персонажа — не волхва и не врача, но повара Глеба «именемъ торчинь» (то есть повар был тюрком). Этот повар, лицо безусловно отрицательное, зарезал своего господина, за что автор назвал торчина «окаянным». Автор детально описал, как именно расправился повар с Глебом. То был целый процесс: «старейшина поваромъ ... изволкъ ножь свой и ять святого Глеба за честную главу, хотя и заклати», дал Глебу помолиться и затем «ставъ на колену, закла и главу святому и пререза гортань его»¹⁹. Авторы прочих произведений о Борисе и Глебе лишь кратко упоминали заклатие Глеба и не описывали ни процесса убийства, ни позу повара — то, как

повар взял Глеба за голову, стал на колено и перерезал Глебу «гортань». В отличие от других произведений борисоглебского цикла в «Чтении о Борисе и Глебе» специально описывались позы положительных персонажей, демонстрировавшие идеальное исполнение ими своих функций. Например, Борис зримо показывал свою полнейшую покорность отцу: «Блаженный же, падь, поклонися отцу своему, и облобыза честней нозе его, и, паки вставь, обуимь выю его, целоваше со слезами» (7). Глеб с идеальной истовостью молился: «падь посреде церкви, моляся... и, вставь оть земля, иде ко иконе... и, ту падь, поклонися съ слезами, и целовавъ образъ...» (8). Поза же повара-убийцы, персонажа отрицательного, была описана автором «Чтения» с той же целью: показать профессионализм убийцы, который режет не абы как, но по канону, основательно. Элемент своеобразной уважительности автора к повару был привнесен по социально-политической причине: это ведь повар князя, а у князя не должно быть неумелого повара-резальщика; к тому же князя обязан резать не рядовой повар, а «старейшина поваромъ» (в других произведениях такая статусная тонкость отсутствует, и буднично, без церемоний действует просто повар). Для Нестора-агиографа соблюдение социальных приличий, по-видимому, стояло на первом месте.

Подтверждается давний вывод исследователей о пронизанности не только раннего летописания, но и ранней русской агиографии этикетными политическими мотивами, притом даже в самых неожиданных эпизодах.

Еще о семантике рассказа и умонастроении летописца. К характеристике летописца как политика добавим наблюдения над манерой его повествования в рассказе о хазарской дани. Сопоставление египетских и хазарских старейшин было совершенно искусственным: оно основывалось лишь на одном функциональном признаке, на правильности предсказаний тех или других персонажей, в остальном совершенно разных. Летописец только приблизительно припомнил общий смысл подходящих эпизодов из «Жития пророка Моисея».

Это явление хорошо известно: летописец следовал жесткой идеологической традиции его времени — преимущественно по памяти осмыслять известных библейских, святоотческих и хронографических персонажей в качестве символических носителей политически и морально значимых человеческих качеств. Поэтому, например, Соломон в летописи мыслился то как воплощение мудрости, то как воплощение жено-

любства, а другие герои в летописи могли причудливо сопоставляться с довольно неожиданными персонажами или с их сонмом. Так, Олег сопоставляем был с Дмитрием Солунским; Ольга — с Еленой, матерью Константина Великого, а еще с царицей эфиопской, Адамом, Енохом, Ноем, Авраамом, Лотом, Моисеем, Давидом, Даниилом и пр.; Владимир — с Соломоном; Святополк — с Каином, Ламехом и Авимелехом и т. д. и т. п. Так составлялся политико-философский фон в летописи.

Наблюдается и другая, имеющая политическое значение, повествовательная особенность в рассказе о хазарской дани, заключая который, летописец выразился даже афористически: «*владеша, — а после же самими владеють*». Этот афоризм относился как к хазарам, так и к египтянам. Подобные экспрессивные афоризмы использовались в летописи довольно часто (ввиду множества примеров ограничиваемся только первой половиной летописи): «не мучими никим же, но сами ся мучать» (9); «не ведуще закона Божия, — но творяше сами себе законъ» (14); «не хочю розути робичича, — но Ярополка хочю» (76, под 980 г.); «си бози что сделаши? — сами делани суть» (82, под 983 г.) и мн. др. Структура подобных афоризмов варьировалась, и нередко вместо повтора слов летописец использовал противоположные понятия (правда — ложь, бежать — стоять, хулить — хвалить): «не право глаголють волсви, но вся ложь есть» (39, под 912 г.); «не имамъ убежати, но станемъ крепко» (70, под 971 г.); «своего никто же не хулить, но хвалить» (107, под 987 г.) и пр.

Каждый из этих афоризмов звучал как некий приговор или как постановление некоего совещания. Недаром подавляющее большинство афоризмов произносилось в летописи персонажами, собравшимися на суд или на обсуждение затруднительных жизненных обстоятельств. Так, Олег в присутствии воинов вершил суд над самозванными правителями Киева Аскольдом и Диром: «Вы неста князя, ни рода княжа, но азь есмь роду княжа» (23, под 882 г.); собравшаяся дружина Игоря «нача думати» и констатировала опасность: «се бо не по земли ходимъ, но по глубине морьстеи» (46, под 945 г.); посаженные печенегами киевляне обвинили Святослава: «ты, княже, чюжеи земли ищещи и блюдеши, а своя ся охабивъ» (67, под 968 г.) и пр. В этом ряду высказываний персонажей летописи афористические выводы самого летописца тоже выглядели как приговор.

О «приговорном» характере афоризмов свидетельствовало и то, что летописец обязательно сообщал об исполнении вынесенного решения.

По поводу предсказаний хазарских и соответственно египетских «старейшин» и исполнения: «Се же сбься все... яко же и бысть» (17, под 852 г.); или по поводу суда над Аскольдом и Диром: «и убиша Асколда и Дира» (23, под 882 г.); или афористически обоснованный совет царьградских бояр византийскому императору о Святославе и его исполнение: «лють се мужь хочеть быти, яко именья не брежеть, а оружье емлетъ. Имися по дань», и Святославу дали дань (71, под 971 г.). И т. д. и т. п.

Все эти многочисленные афористические приговоры и постановления вкупе составляли обширный свод политических и житейских уроков и правил, сформулированных, как неоднократно оговаривал летописец, «оть Божья повеленья», «по Божью строю», «по изволенью Божью» и пригодных для всех нормальных людей: например, «человекъ аще вкусит сладка, последи горести не принимаетъ» (106, под 987 г.). Политико-наставительная направленность летописи в еще большей степени и уже совсем открыто утвердилась в морализаторских размышлениях и в специальных поучениях летописца по ходу его повествования. Как политический мыслитель летописец вполне естественно обладал и настойчивостью морализатора.

Из прочих произведений полны были наставительными афоризмами некоторые библейские книги, «Изборник 1076 г.» и в особенности «Поучение» Владимира Мономаха, а затем и «Пчела» — все это были первоначальные на Руси «исходища мудрости» философской, политической и житейской, наиболее развернутые и практически конкретизированные именно в летописи. Как ни странно, но еще недостаточно изучено именно это широкое и, возможно, очень желанное именно в XI—XII вв. предназначение древнерусской литературы в качестве учителя жизни, источника всесторонней «мудрости», прежде всего политической.

Похвала праведникам

Праведныхъ бо душа не умираеть. Яко же рече Соломонъ: «Похвала праведному възвеселятъ людье». Бессмертье бо есть память его, яко от Бога познавается и от человекъ... Рече пророкъ: «Прославляющая мя прославлю». О сяковыхъ бо Давыдъ глаголаше: «В память вечную праведникъ будеть, от слуха зла не убойтся, готово сердце его уповати на Господа, утвердися сердце его и не подвижется». Соломонъ рече: «Праведници въ веки живутъ, и от Господа мзда имь есть и строенье

от Вышняго. Сего ради примуть царствие красоте и венець доброте от руки Господня, яко десницею покрыеть я и мышцею защититъ я» (68—69, под 969 г.).

Текстологическое замечание и семантика отрывка. Похвала праведникам состоит из набора библейских цитат: Притчи Соломона, гл. 29, стих 2; Первая книга Царств, гл. 2, стих 30; Псалтырь, псалом 111, стихи 6—8; Премудрость Соломона, гл. 5, стихи 15—16²⁰.

Такой набор библейских цитат не был абсолютно стандартным. К тому же летописец сопроводил цитаты собственными пояснениями, притом одну из цитат, пожалуй, переосмыслил в нужном для него направлении: высказывание «Прославляющая мя прославлю» у летописца произносил некий пророк, и неотчетливо подразумевалось, что это слова христианского Бога, в то время как в Первой книге Царств не пророк, а какой-то «человек божий» передавал эти слова «господа бога Израйля».

Благодаря сцеплению библейских цитат и пояснений летописца, в отрывке, характеризовавшем праведников (в первую очередь библейских), набрался целый букет мотивов, отразивших представление летописца о древних праведниках как самых выдающихся людях. Летописец прежде всего подчеркнул мысль о бессмертии праведников, многократно повторив соответствующий мотив («праведныхъ бо душа не умираеть... Бессмертье бо есть память его... Праведници въ веки живутъ»). Праведник знаменит: люди, «вси человеци», знают праведника («познаваеться и от человекъ»); всегда помнят его («в память вечную праведникъ будеть»); радостно хвалят его («похвала праведному възвеселяеться людье»). Праведник непоколебим («от слуха зла не убоится, готово сердце его уповати на Господа, утвердися сердце его и не подвижеться»). Бог очень привечает праведников: Бог знает праведника («от Бога познаваеться»); способствует прославлению праведника («прославлю»); надежно защищает праведника («десницею покрыеть я и мышцею защититъ я»); праведники принимают от Бога великие награды («от Господа мзда имь есть и строенье от Вышняго»; ... «примуть царствие красоте и венець доброте от руки Господня»).

Умонастроение летописца. Летописец, следуя многовековой традиции, видел в древних праведниках образец для подражания, но не вообще, а уже и для его русских современников. Явную связь своих современников с древними праведниками летописец дважды обозначил в конце «Повести временных лет». Так, 90-летнего старца Яна Выша-

тича, сообщившего много полезного летописцу, летописец сопоставил именно с древними праведниками: «живь по закону Божью, не хужии бе *первых праведникъ*» (281, под 1106 г.). А восхваляя другого своего старшего современника — Феодосия Печерского, — летописец уже очень настойчиво высказался об ориентации того на великих древних праведников: «*вследую* стопамъ высокомысленнымъ отцемъ ... с праведными, отче, почиль еси ... отцамъ *наследникъ* бивъ, *последовавъ* ученью ихъ и нраву ихъ ... и *правило ихъ правя*, паче же *ревноваше* великому Феодосью, нравомъ и житьемъ *подобаяся* житью его и въздержанью *ревнующа*, *последствуя* обычаю его» (213—214, под 1091 г. Имеется в виду Феодосий Иерусалимский).

Сочетания библейских цитат в летописи касались не только праведников, но имели в виду и иные нравоучительные темы. Так, похвала крещению Руси (119—121, под 988 г.) содержала почти двадцать цитат из разных мест Библии²¹; сочетая цитаты, летописец не только прославлял крещение, но призывал читателей к повседневным благодарственным действиям: поминать крещение, восклицать, петь, радоваться, ощущать освобождение от прошлого и пр.

Настойчивость летописца понятна: в летописи он не раз жаловался на недостаточную благочестивость «новых людей» на Руси; да и в упомянутой похвале крещению летописец недаром процитировал высказывание апостола Павла: «Ныне приближися нам спасенье, ночь успе, а день приближися» (120), — спасенье и день еще только приблизились, но не наступили окончательно.

Вкупе все эти циклы цитат составили солидный нравоучительный пласт летописи. Летописец как активный мыслитель являлся и проповедником.

Упоминание о Каине

7 бо мьстии приа Каинъ, убивъ Авеля, а Ламехъ — 70, понеже бо Каинъ не ведьи мышенья прияти от Бога, а Ламехъ ведьи казнь, бывшую на прародители его, створи убиество (145, под 1019 г.).

Семантика отрывка. Рассказ о сражении Ярослава со Святополком Окаянным, который потерпел поражение и тяжело заболел во время своего панического бегства, летописец завершил поучением. Фраза «понеже бо Каинъ не ведьи мышенья прияти от Бога» отсутствует в возможных источниках летописца: в Библии (Бытие, гл. 4), в «Речи философа», в «Хронографе». Сходный отрывок о Каине и Ламехе встреча-

ется только в «Сказании о Борисе и Глебе»: «Яко же Каинъ, *не ведый мести прияти*, и едину рану прия, а Ламехъ, зане ведевь на Каине, темъ же седмьдесятицею мьстися ему: така ти суть отъмьстия зьлымь делателемъ»²². Но вот что интересно: оба рассказа различаются по смыслу. В «Сказании о Борисе и Глебе» Каин был осужден безусловно и причислен к «злымь делателемъ». Каин же в летописном поучении выглядел не столько законченным злодеем, сколько каким-то непредусмотрительным преступником: резко осудительной фразы о «злых делателях» в летописном тексте нет, а есть лишь упоминание летописца о том, что Каин, бедняга, легкомысленно «не веद्या мьщенья прияти от Бога» за убийство Авеля.

Отношение к Каину как к незадачливому персонажу, возможно, было как-то связано с «Речью философа». Во всяком случае, в «Речи философа», включенной в летопись перед рассказом о Святополке Окаянном, Каин рядом деталей был представлен, пожалуй, совсем дураковатым. Его одурманил дьявол: «сотона же влезе в Каина и пострекаше убити Авеля»; Каин оказался бестолковым или неопытным: ведь он «не умяше, како убити Авеля», пока дополнительно не подучил его дьявол, как это сделать; Каин показал себя и просто наивным, когда пытался скрыть от самого Бога убийство Авеля (89, под 986 г.).

Отчего же Каин не обладал предусмотрительностью? В «Речи философа» нет объяснения этому. В поучении же по поводу смерти Святополка Окаянного летописец, пожалуй, объяснил, почему Каин «не веद्या» своего печального будущего: потому что братоубийство случилось впервые в истории людей (а вот позднее Ламех уже знал, чего ему ожидать).

Умонастроение летописца. Там, где летописец применял выражение или даже формулу «не ведати» к персонажам, не предусмотревшим своего печального будущего, обычно содержалось и объяснение их «неведанья». Конкретные причины «неведанья» будущего выдвигались самые разные. В первую очередь «неведущими» были язычники, потому что «*не ведуще закона Божия*», «*не ведать славы Господня*», «*ни суть ведуще Бога*» (14; 63, под 955 г.; 118, под 988 г.). Так, языческие волхвы «свое пагубы *не ведуче*», потому что были одержимы «наушненьемъ бесовьскимъ» (178, под 1071 г.). А например, Святослав не внимал уговорам своей матери принять христианство, «*не веद्या*, аще кто мать не послушаеш, в беду впадаеть ... смерть прииметь»; а «не веद्या» из-за своего неразумного язычества, ибо «не смыслиша бо, не

разумеша во тьме ходящии ... делатели нечестивыхъ далече от разума» (63, под 955 г.). Также и половцы, «*не ведуще*, яко ... на ономъ свете примуть муку с дьяволом, уготовании огню вечному», потому что, будучи язычниками, «укоряху Бога и законъ нашъ ... словеса хулная глаголаху на святыя иконы, насмехающеся» (233, под 1096 г.).

Больше того, у летописца и сам дьявол «не ведал» своего будущего, но уже из-за ошибочности своих рассуждений: «*не ведыи*, яко близъ погибель хотяще быти ему», потому что надеялся на вечность язычества на Руси («сде же мняшеса оканьнии, яко “сде ми есть жилище, сде бо не суть апостоли учили, ни пророци прорекли”, и *не ведыи* пророка глаголюща...» — 83, под 983 г.). В связи с этим летописец делал вообще радикальный вывод: «беси бо тайны *не сведуще* ... беси же *не сведають ничто же*» (178—179, под 1071 г.).

Некоторое ослабление в делах веры приводило персонажа к непредвидимо плохому концу. Например, монах Исакий признавался бесам: «*не ведяхъ* кознии ваших и лукавства», «*не разуме* бесовьскаго действия», — а все потому, что при внезапном появлении нечистой силы не собрался он ни силами, «ни памяти прекреститися» (196, 192, под 1074 г.).

Наконец, «не ведали» отрицательные персонажи предопределенно им будущего из-за высокомерия и политических страстей. Так, Святополк Окаянный «*не ведыи* Давида глаголюща “Что ся хвалиши о злобе, силныи, — безаконье весь день умысли языкъ твой”», «*не ведыи*, яко Богъ даетъ власть ему же хочеть»; и всего этого «не ведыи» Святополк, потому что «вознесеса сердцемъ болма» и «помысливъ высокоумьемъ своимъ» (137, 139, под 1015 г.). Так и другой князь — Борис Вячеславович — тоже «*не ведыи*, яко Богъ гордымъ противится», потому что «похваливъся велми» (201, под 1078 г.).

Конкретные причины «неведанья» будущего были разными, но, очевидно, на их основе летописец делал общий вывод: человек «*не вестъ ничто же*, но токьмо единъ Богъ вестъ» (176, под 1071 г.); «Богъ наводитъ по грехомъ на куюждо землю гладом, или моромъ, ли ведромъ, ли иною казнью, а человекъ *не вестъ ничто же*» (148, под 1024 г.).

Только отдельным праведникам было открыто будущее, и то они сомневались. У летописца даже Феодосий Печерский допускал два варианта будущего, будучи не уверен ни в одном из них, — «аще буду Богу угодиль» или же «яко не угодиль есмь Богу» (187—188, под 1074 г.). Такова была скептическая позиция летописца как этика.

ЛЕТОПИСЕЦ КАК ПИСАТЕЛЬ-ИСТОРИСОФ И ФИЛОСОФ

Перечень спасенных праведников

Она же хотящи домови, приде къ патреарху, благословенья просящи на домъ. И рече ему: “Людье мои пагани и сынъ мой, — дабы мя Богъ съблюль от всякого зла”. И рече патреархъ: “Чадо верное, во Христа крестилася еси и во Христа облечеса. Христось имать схранити тя, яко же схрани Еноха в первыя роды, и потомъ Ноя — в ковчезе, Аврама — от Авимелеха, Лота — от содомлянъ, Моисея — от фараона, Давида — от Саула, 3 отроци — от печи, Данила — от зверии. Тако и ты избавить от неприязни и от сетии его”. И благослови ю патреархъ. И иде с миромъ въ свою землю, и приде к Киеву (62, под 955 г.).

Семантика эпизода. Речь царьградского патриарха к княгине Ольге после ее крещения можно рассматривать как отдельный эпизод в ряду эпизодов летописного рассказа под 955 г.²³ Ободряющая Ольгу речь патриарха, скорее всего, была сочинена летописцем и содержала перечень однотипных библейских событий в их хронологическом, как бы сюжетном, порядке («в первыя роды и потомъ»): Бог постоянно и неизменно защищал праведников от опасностей.

В этом сюжетно-хронологическом перечислении праведников, по-видимому, отразилось представление летописца о существовании неких линий из однотипных событий, пронизывающих библейскую и мировую историю. Поэтому в данном рассказе под 955 г. крещение Ольги тоже входило в ряды повторяющихся событий: Ольга искала мудрости, как эфиопская царица у Соломона; Ольге дали христианское имя Елена, как у матери византийского цесаря Константина Великого; Ольгу избавит Бог от опасностей, как библейских праведников; Ольгу будут благославлять «сынове рустии» из поколения в поколение «и в последнии родъ внукъ твоих» (61) — все повторяется до бесконечности.

Умонастроение летописца. Следы своего понимания истории как повторения однотипных событий летописец оставил в различных хронологических перечислениях в летописи. Вот, например, летописец выразил представление о регулярном соблюдении поста как вечной, сквозной линии в библейской истории: «Пощенье бо исперва преобразено бысть Адаму...; постивъ бо ся Моиси...; постомъ Самоила мати роди; постившеса ниневгитяне...; постившеса Даниль...; постився Илья...; постившеса 3 отроци...; постився и Господь...; постомъ апо-

столи искорениша бесовское ученье; постомъ явишася отци наши...» и т. д. (185, под 1074 г.). Повторение традиции распространяется и на нас: «Намъ показая постно время».

Чередa однотипных библейских событий могла быть не только хорошей, но и плохой — например, повторялись попытки захвата чужих земель: «ибо исперва преступиша сынове Хамови на землю Сифову и ... отмщенье прияша...; паки преступи Исавъ заповедь отца своего и прия убиство» (183, под 1073 г.). Повторения дошли и до нас: «а Святославъ седе Кыеве, прогнавъ брата своего, преступивъ заповедь отню, паче же Божью» (имеется в виду сын Ярослава Мудрого Святослав Ярославович).

В истории Руси летописец тоже обозначил линии повторяющихся событий. Так, история расселения славян в летописи являлась серией повторений (отсюда и повторения фразеологические): «сели суть словени по Дунаеви ... *пришедше седоша* на реце имянемъ Марави... Словени же они *пришедше седоша* на Висле... словене *пришедше и седоша* по Днепру... а друзии *седоша* межю Припетью и Двиною ... инии *седоша* на Двине... Словени же *седоша* около езера Илмеря... а друзии *седоша* по Десне...» и т. д. (6). Повторами были и сообщения летописца про злые нравы языческих племен и народов вплоть до современности летописца («еже творять вятичи и *ныне* — 14; «яко же се и *при насъ ныне* половци законъ держать отецъ своих» — 16). Повторами однотипных событий (с вариациями) являлись серии рассказов о походах русских князей на Царьград, серии о нападениях врагов на Русь, серия о местах княгини Ольги древланам и пр.

Факты, на первый взгляд, уникальные, возможно, тоже входили у летописца в систему повторяющихся событий. Например, смерть Олега от коня начинала череду «ненормальных» смертей языческих или дурных князей — Игоря, Святослава, Святополка Окаянного (а до них — Аскольда и Дира).

Само понятие «литературного этикета» (введенное Д. С. Лихачевым), видимо, имеет прямое отношение к повторяемости однотипных событий и ситуаций в летописном повествовании.

В комплекс качеств летописца как мыслителя входила его несомненная склонность к историософии. «Хронологические» перечисления летописец обычно сопровождал нравоучительными высказываниями или цитатами — своего рода уроками истории. Так, перечень праведников, защищаемых Богом, в конце концов свелся к поучающим цитатам,

в том числе о гарантированной защищенности праведников: «Господь рече: “Приходящая ко мне не ижену вонь”» (62); перечисление исторически значимых наблюдателей поста сопровождалось рассуждениями летописца о богоустановленности поста для всех людей, ибо «постное бо время очищает умь человеку» (184—185); перечисление захватчиков чужих владений также начиналось и завершалось общим нравоучением: «велии бо есть грех преступати заповедь отца своего ... не добро бо есть преступати предела чужего» (183).

Подобная историософско-нравоучительная деятельность летописца через «хронологические» перечисления или сюжетные повторения однотипных исторических событий была очень старой и глубоко традиционной. Достаточно процитировать известный перечень из «Слова о Законе и Благодати» Илариона: «Хвалить же похвальными гласы Римская страна Петра и Паула...; Асия, и Ефесь, и Пафмь — Иоанна Богословьца; Индия — Фому; Егупеть — Марка. Вся страны, и грады, и людие чтуть и славят коегождо их учителя, иже научиша я православною верою»²⁴.

Взгляд на историю как на систему бесконечно повторяющихся однотипных явлений, возможно, сформировался у древнерусских авторов не без воздействия Библии, а также «Хроники» Георгия Амартола. Но все это требует специального изучения.

Вопрос про судьбу Иисуса Христа

Рече же Володимерь: «Что ради от жены родися, и на древе распяся, и водою крестися?» (104, под 986 г.).

Текстологические замечания и семантика отрывка. Приведенные вопросы относятся к евангельской истории жизни Иисуса Христа, кратко пересказываемой неким греческим философом киевскому князю Владимиру Святославовичу перед его крещением. Вопросы эти были вставлены летописцем в так называемую «Речь философа», использованную летописцем.

В серии коротких вопросов, вложенных летописцем в уста Владимира, содержалось по крайней мере два случая осмысления Евангелия. Во-первых, необычайно кратко была сформулирована история жизни Иисуса Христа. При «сверхсжатии» Евангелия в одну фразу летописец вовсе не проявил неслыханную вольность, но последовал распространенной литературной традиции кратчайшего напоминания тех или иных библейских сюжетов. Подобные напоминания в летописи служи-

ли риторическим средством преимущественно в торжественных речах персонажей и косвенно передавали возвышенное отношение летописца к соответствующим библейским героям и сюжетам — к Иисусу Христу («Господи Иисусе Христе, иже симь образом явися на земли спасенья ради нашего, изволивь своею волею пригвоздити на кресте руце свои и приимь страсть грехь ради наших» — 133, под 1015 г.); к сотворению мира Богом («иже створиль небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека и даль есть ему жити на земли» — 82, под 983 г.) и пр.

Во-вторых же, вопросы Владимира были оформлены наподобие загадки, задаваемой греческому философу (кто это — «от жены родися, и на древе распяты, и водою крестися?»). Как положено загадке, объект не назван, вопросы кратки, единообразны по структуре и даже рифмуются или созвучны. Сходство вопросов Владимира с формой загадки подтверждается аналогиями, например, из «Беседы трех святителей» — в сущности, сборника вопросов-загадок: «Кто умерь и не возмерде, или погребень и не истле?»; «кто, солгавь, спасся, а истину рекь, погибе?»; «гробь хожаше, а мертвецъ въ немь пояше» и т. д.²⁵ Летописные вопросы Владимира, по-видимому, и воспринимались как загадка, оттого и были включены в ту же самую «Беседу трех святителей»: «чего ради Богъ родися отъ жены, и водою крестися, и на древе распять бысть?»²⁶.

Умонастроение летописца. Летописные вопросы Владимира, правда, еще не превратились в полноценную загадку. Летописец не испытывал особой нужды в загадках и в их отчетливом оформлении. Поэтому необходимые по сюжету намеки или подступы к предметным загадкам летописец не всегда излагал в виде вопросов (ср. советы Ольги древлянам) или хотя бы конкретно (ср. абстрактный вопрос: «То веси, что утро хочеть быти и что ли до вечера? ... То веси ли, что ти хочеть быти днешь?» — 181, под 1071 г. Ср. другие вопросы Владимира в «Речи философа»: «То в кое время сбьсться, и было ли се есть, еда ли топерво хочеть быти?» — 101, под 986 г.).

И все же зачем летописец приблизил вопросы Владимира к загадке? Вероятно, для того, чтобы выставить Христа в каком-то парадоксальном, странном виде: что за Бог, который родился от земной женщины, крестился простой водой, был распят на «древе»? Подобный взгляд на Христа объясним сюжетом рассказа: для летописца Владимир в тот момент еще являлся язычником и «простецом», которому вполне естественно было задавать наивные и даже дурацкие вопросы, путать

последовательность евангельских событий (сначала упомянуть распятие, а потом крещение) и, возможно, с некоторым простонародным юмором рифмовать слова. В статье под 986 г. (да и позже) летописец неоднократно давал понять, что Владимир — это «простец», неопит христианской веры.

В продолжении повествования о Владимире, уже под 988 г., загадок нет, но все же в иной форме, пожалуй, выражен сходный мотив парадоксальности, относящийся, правда, не к жизни Христа, а к деяниям Бога. Летописец, рассказывая о расправе Владимира с идолом Перуном, воскликнул: «Велик еси, Гоподи, *чюдна* дела твоя: вчера чтимь от человекъ, а днесь поругаемъ!» (117). И немного далее, говоря о крещении Руси, летописец опять упомянул об удивительной парадоксальности дел Бога: «си бо не беша преди слышали словеса книжная, но по Божью строению и по милости своеи помилова Богъ ... по изволеню Божью, а не по нашим делом ... велии бо еси и *чюдна* дела твоя» (119). Таким образом, в серии обширных рассказов о крещении Руси летописец, действительно, выразил представление об удивительности дел Бога, но без особой увлеченности этой темой, и далее в летописи эту тему больше вообще не затрагивал: богословским философствованием ни в серьезном, ни в занимательном виде летописец не увлекался, а оставался эмоциональным писателем.

Рассуждение об ангелах

Ангель бо сице является — ово стопом огненным, ово же пламеннымъ. Яко же рече Давидъ: «Творя ангелы духы и слугы своя огонь полящъ». И слеми суть повеленьем Божьимъ, амо хочеть Владыка и Творецъ всех. Ангель бо приходит, кде благая места и молитвении домове, и ту показывают нечто мало виденья своего, яко мощно видети человекомъ: не мощно бо зрети человекомъ естества ангельскаго. Яко и Моиси великии не возможе видети ангельскаго естества: водяше бо я въ дне столпъ облаченъ, а в нощи столпъ огненъ. То не столпъ водяше ихъ, но ангель идяше пред ними в нощи и въ дне (284—285, под 1110 г.).

Семантика отрывка. Упоминание облачного и огненного столпов летописцем, ведших Моисея и его народ в пустыне, восходит к Библии (Исход, гл. 13, стих 21²⁷). Но ни в Библии, ни в «Речи философа» не говорилось о том, что эти столпы являлись воплощением ангела (ср.: «Богъ же въздаше ихъ въ день столпом облачномъ... нощию же стол-

помь огненымъ» — «Острожская библия». Л. 31—31 об.; «и ведяше я Господь ... и предъидяше предъ ними ночью столпъ огненъ, а въ день — облаченъ» — «Речь философа», 95, под 986 г.). Откуда бы летописец ни взял истолкование столпов как видимости ангела²⁸, но вопрос, в каком виде можно узреть ангела, явно заинтересовал летописца, пустившегося в рассуждения на эту тему.

Умонастроение летописца. Явление ангелов не было единичным эпизодом в летописи. Земному человеку, по мнению летописца, невозможно было увидеть ангела в его подлинном обличье, однако «нечто мало виденья», с точки зрения летописца, какой-то «видь ангелескъ» человеку разглядеть удавалось, потому что ангел предстал не в своем физическом облике, но то в виде столпа, то в виде монаха (например, к одному из монахов «приде ангель к нему въ образе Феодосьеве» — 189, под 1074 г.), то в виде фантастического воина («види мужа стояща над нимъ, и мечъ нагъ в руце его, и обличенье меча его, яко молонии, ... и рече ему ангель...»²⁹).

Летописец описал довольно много персонажей и предметов, которые являлись людям в неистинном своем виде и составляли в своем роде или невоспринимаемые человеком, либо ложные, либо необычные миры. Прежде всего, потусторонний мир, по мысли летописца, был неподвластен человеческому зрению, содержит «бна, их же око *не виде*» на земле (207, под 1086 г.). Ведь даже ангелы не могли на все смотреть, например, на Бога: «Богъ есть на небеси, седя на престоле, славим от ангель, иже предстоятъ ему со страхом, *не могуще* на нь *зрети*» (177, под 1071 г.).

Бесы, являвшиеся из внеземного мира («живуть в безднахъ» — 179, под 1071 г.), выглядели обманчиво для человека: воспринимались то «въ образе яха, в луде и носяща в приполе цветкы»; то как «уноши ... красна, и блистага лице ею, акы солнце»; то как «многъ народъ с мотыками и лыскаре [кирками]»; то «въ образе медвежи, овогда же лютым зверемъ, ово вълomъ, овогда же змиемъ ползяху ... ово ли жабы и мыши и всякъ гадъ» (190, 192, 197, под 1074 г.); то «не бе ихъ видети самехъ, но конь ихъ видети копыта» (214—215, под 1092 г.).

Небо, солнце, луна, звезды время от времени тоже представляли в странном виде: «солнце пременися и не бысть светло, но, акы месяцъ бысть, — его же невелиси глаголють снадаему сущю» (164, под 1065 г.).

Волхвы-язычники, по рассказам летописца, добавляли фантазмагорическое начало в земной мир: волхвы то утверждали, что «Днепру

потещи вспять и землямь преступати на ина места, — яко стати Гречьскы земли на Руской, а Русьскии — на Гречьской»; то у женщин «в мечте прорезываше за плечемь, вынимаста любо жито, любо рыбу» (174—175, под 1071 г.) и т. п.

В рассказах о языческих временах мотивы своеобразного оборотничества тех или иных объектов летописец повторял наиболее часто. Если речь шла, например, о племенах, то наблюдаемое мученичество новгородских словен оказывалось на самом деле баннным обычаем, а покорная дань полян хазарам оборачивалась угрозой для хазар. В рассказах об Олеге боевые корабли превращались в сухопутные повозки; богатая еда, преподнесенная греками Олегу, являлась отравой, а сам Олег толковался греками как святой Дмитрий; любимый же конь Олега становился орудием его смерти. В рассказах об Ольге ладья как знак почетного несения древлян, сидевших в ней, переходила в знак похорон древлян; необычно легкая дань с древлян означала на самом деле необычно жестокую расправу с ними; Ольга в качестве возможной жены византийского императора оказывалась его духовной дочерью, на которой императору нельзя было жениться. Наконец, в рассказах о Владимире, пока он являлся язычником, то говорилось, например, о воеводе, самом близком ко князю человеке, на самом же деле предателе; то языческие боги, включая Перуна, выставлялись как деревяшки.

В летописных рассказах о событиях после принятия христианства Русью мотив оборотничества предметов в реальной жизни фактически уже не появлялся. Разве что однажды (под 997 г.) земля в колодцах белгородцев была представлена печенегам как съедобный кисель, но о том летописец рассказал как о вполне сознательном обмане, а не о действительном превращении или оборотной стороне предмета.

Летописец не был мистиком, но философом наглядности мира в какой-то мере был.

Мотивы неистинной видимости существ, людей и предметов увлекательно разрабатывались уже в древнейшей переводной литературе, начиная с Библии (вспомним дьявола, который в виде змея прельстил Еву), но особенно широко эти почти что сказочные мотивы разрабатывались апокрифами. Ограничусь только одним примером — «Хождением Агапия в рай», где описано, какими видит райских существ земной человек — праведник Агапий, — по Божьей воле привезенный в рай на своеобразную экскурсию. Он видит, что в раю «виногради

же стояху, различно имуще гръздовие, — ово багъряно, ово чървлено, ово бело»; и ему объясняют: «си же вся, яже видиши, душе суть чловечьскыя тобе явилы ся гръздовиєм, поне бо живъ чловекъ не может видети душъ чловечьскъ»³⁰. Херувимов и серафимов в раю Агапий видел как сонм чловеческих лиц и птиц пернатых, окруживших некоего «великого мужа», оказавшегося Иисусом Христом, который на земле, по дороге Агапия в рай, представал перед ним то орлом, то ребенком и т. д.

ЛЕТОПИСЕЦ КАК РИТОР

Упоминание об Иисусе Христе

Темь же и мы припадаем к Нему, глаголюще... Реку же съ Давыдомь: «Придете, възрадуемъя Господеви, въскликнемъ Богу и спасу нашему, варимъ лице его въ исповеданье...»... Се же не единъ, ни два, но бещисленное множество к Богу приступиша, святымъ крещеньемъ просвещени ... Павелъ глаголетъ: «Братья, елико нас крестися въ Иисуса Христа... и погребохомся убо с нимъ крещеньемъ въ смерть...» (119—120, под 988 г.).

Семантика отрывка. Серию летописных рассказов о принятии христианства Владимиром и Русью летописец завершил большой похвалой крещению, в которой обратим внимание на две фразы летописца, касающиеся уверования во Христа: «Темь же и мы *припадаем* к Нему, глаголюще... Се же не единъ, ни два, но бещисленно множество к Богу *приступиша*»: люди как бы физически приступили к Богу и телесно припали к нему. Несомненно, таким способом летописец выразил свою экспрессию.

По многочисленным библейским цитатам, использованным летописцем в данной похвале³¹, сразу видно, что обозначение предметными глаголами как бы физического общения людей с Богом являлось у летописца традиционным экспрессивным средством повествования. В использованных летописцем цитатах люди так же торжественно, как бы физически приходили к Богу и стояли непосредственно перед его лицом: «Реку же съ Давыдомь: “*Придете, възрадуемъя Господеви, въскликнемъ Богу и спасу нашему, варимъ лице его*”...» (119. Псалом 94). Люди как бы телесно близки к Христу: «елико нас крестися въ Иисуса Христа... *погребохомся убо с нимъ*» (120. Послание апостола Павла к римлянам, гл. 6, стих 4).

Таким образом, в похвале крещению летописец, несомненно, показал себя достаточно искусственным ритором.

Умонастроение летописца. Эмоционально-риторические мотивы летописец использовал постоянно, например, тогда, когда речь шла о крещении. Так, в связи именно с крещением Ольги летописец затронул экспрессивный мотив физического прихода к Христу: «*приде царица Ефиопская к Соломану, слышати хотящи премудрости Соломани... Тако же и си блаженная Ольга искаше доброе мудрости Божьи... налезе бисерь многоценень, еже есть Христось... Господь рече: "Приходящая ко мне не изжену вонь"*» (62, под 955 г.), — Ольга как бы физически искала, пришла и нашла Христа, и другие тоже приходят к Христу, и их не прогоняют. Использованная летописцем цитата (Первое послание апостола Иоанна, гл. 6, стих 37) подтверждает традиционность данного мотива.

Экспрессивный мотив тесного соприкосновения людей с Богом отразился и в формуле, связанной с крещением: «во Христа крестихомся и во Христа *облекохомся*» (16), «во Христа крестилася и во Христа *облечеся*» (61, под 955 г.). Формула тоже традиционная (ср. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона: «въ Христа крестився, въ Христа *облечеся*» — 28).

Еще один момент физического соседства Бога с людьми был отмечен летописцем опять-таки в цикле рассказов о крещении, когда русские «*мужи*» эмоционально посоветовали Владимиру принять греческую веру, потому, мол, что в стенах Софии Царьградской «*оньде Богъ с человеки пребываетъ*» (108, под 987 г.).

В деле риторического прославления крещения летописец, конечно, не был одинок. Тот же экспрессивный предметный мотив как бы физического присутствия новокрещеных русских людей при Боге с демонстративной настойчивостью повторила и усилила «Память и похвала князю русскому Владимиру» притом нередко в тех же летописных выражениях: Владимир «*приде къ Богу, крещение приимъ, и всю землю Рускую... къ Богу приведе... и человеки... къ Богу приведе... Толико бес числа душъ по всей земли Руской приведены къ Богу... Блаженный князь Володимеръ... прииде къ Христу-богу, владыце своему, и люди своя приведе... всю землю Рускую приведе къ Богу... Аки младенци еврейстии съ ветвьми усретоша Христа... И къ Богу приближившеся... приведе къ Богу святымъ крещениемъ бесчисленное множество*»³².

Сопоставление с Исавом

В лето 6581. Въздвиже дьяволъ котору въ братьи сеи Ярославичехъ. Бывши распри межи ими. Быста съ себе Святославъ со Всеволодомъ на Изяслава. Изиде Изяславъ ис Кыева. Святослав же и Всеволодъ выидоста в Кыевъ месяца марта 22 и седоста на столе на Берестовомъ, преступивше заповедь отню. Святослав же бе начало выгнанию братню, желая большее власти... А Святославъ седе Кыеве, прогнавъ брата своего, преступивъ заповедь отню, паче же Божью.

Велии бо есть грехъ преступати заповедь отца своего, ибо исперва преступиша сынове Хамови на землю Сифову... Паки же преступи Исавъ заповедь отца своего и прия убиство. Не добро бо есть преступати предела чужего (182—183, под 1073 г.).

Семантика отрывка. Летописец бескомпромиссно осудил распрю за Киев между сыновьями великого князя киевского Ярослава Мудрого вопреки его завещанию братьям, чтобы не жили «в распряхъ и которающихся» (161, под 1054 г.). Главную вину летописец возложил на черниговского князя Святослава Ярославовича, которого сопоставил с библейским Исавом, сыном Исаака, внуком Авраама. Но в отличие от Библии, летописец преувеличил вину Исава, который, по словам летописца, «прия убиство». По Библии же, Исав лишь грозился убить своего брата: «И рече Исавъ въ уме своем: "... да быхъ убилъ Иакова, брата своего"» («Острожская библия». Бытие, гл. 27. Л. 12 об.), но затем братья помирились, а на чужие владения Исав вовсе не покушался и «заповедь отца своего» не преступал.

В прочих источниках («Речи философа», «Хронике» Георгия Амартола, «Хронографе») отношение к Исаву было отрицательным, но опять-таки не за братоубийство или попытку братоубийства. Летописец, видимо, ощущал некоторый перебор в своем обвинении Исаву как убийце и поэтому выразился, так сказать, обтекаемо: Исав «*прия убиство*» (а не «сотвори убиство», как обычно рассказывалось об убийствах в летописи), что можно истолковать наподобие выражения «допустил мысль об убийстве».

Высказывание летописца об Исаве явно было связано с большой для летописца темой — братоненавидением у современных князей — и оттого отличалось экспрессией («велми бо есть грех ... не добро бо есть...»), выраженной летописцем также и в перечислении с усугубляющим элементом: Исав не только «преступи заповедь отца своего», но и больше того — «прия убиство».

Умонастроение летописца. Казалось бы, в чисто фактографических рассказах эмоциональность летописца постоянно давала знать о себе усугубляющими перечислениями. Конечно, небратолюбие князей глубоко беспокоило летописца, и оттого в приводимых летописцем речах персонажей на тему братолюбия перечисления с усугубляющими или усиливающими элементами встречались особенно часто, как, например, в завещательной речи Ярослава Мудрого своим детям: «да аще будете в любви межю собою, Богъ будетъ в васъ, и *покорить вы противныя* подъ вы, и будете *мирно живуще*. Аще ли будете *ненавистно живуще, в распряхъ и которающесея*, то погыбнете сами и погубите землю отецъ своихъ и дедъ своихъ... Но пребывайте *мирно, послушающе брат брата*» (161, под 1054 г.). И далее: «заповедавъ имъ *не преступати* предела братня, *ни сгонити*» и т. д.

Сам летописец уже от своего имени тоже высказывался с той же эмоциональностью на тему княжеского братолюбия: «и начаста жити *мирно* и в *братолюбьстве*. И преста *усобица* и *мятежь*, и бысть *тишина велика* в земли» (149, под 1026 г.).

И многие другие темы в фактографических рассказах летописец затрагивал с той же экспрессией усугубления: воинскую тему (ср.: «в силе велице, бещислено множество» — 65, под 968 г.; «убояся и ужась нападе» — 239, под 1096 г.; «помроша вси, и не остася ни единъ, их же несть племени, ни наследька» — 12); языческую тему («живяху звериньскимъ образомъ, живуще скотьски» — 13; «ядуще мертвечину и всю нечистоту — хомеки и сусолы» — 16; «невеголоси и погани» — 83, под 983 г.); церковную тему («учаше я к вере своей и показующе им истинную веру» — 38, под 912 г.; «любя церковныи уставы, попы любяше по велику, излиха же черноризьце» — 151, под 1037 г.) и пр. Практически почти все летописное повествование было заполнено данным экспрессивным средством (и многими другими проявлениями экспрессии), потому что для летописца-мыслителя давняя и недавняя история Русской земли служила волнующей и актуальной темой, — «на наказанье княземъ русьскимъ», «на показанье земле Русьстей» (145, под 1019 г.; 172, под 1068 г.).

Повтор библейской фразеологии

...бысть плачь великъ в граде, а не радость... за умноженье беззаконий наших ... в праздники... въ праздникъ Бориса и Глеба, еже есть праздникъ новыи Русьскыя земля. Сего ради пророкъ глаголаше: «Пре-

ложю праздницы ваша в плачь и песни ваша в рыданье». Сотвори бо ся плачь великъ в земли нашей, опустеша села наша и города наши, быхом бегаючи пред врагы нашими. Яко же пророкъ глаголаше: «Падете пред врагы вашими... и побегнете... и будеть земля ваша пуста и двори ваши пусти будут...»... «Идеже множество греховъ, ту виденья всякого показанья». Сего ради вселеная предасться... Подобаше нам «преданым быти в руки языку странну и незаконьнейшу всея земля»... Рцемъ по оному разбоинику: «Мы достойная, яже сдеяхомъ, прияхомъ»... Яко створихом, тако и стражем. Города вси опустеша, села опустеша... «не по незаконью нашему створи нам...». Тако подобаеь благому Владыце казати не по множеству греховъ... (222—224, под 1093 г.).

Семантика отрывка. Приводим не все летописное поучение по поводу нашествия половцев на Русь, а лишь отрывки из него с шестью библейскими цитатами (Книга пророка Амоса, гл. 8, стих 10; Книга Левит, гл. 26, стихи 17—28; Послание апостола Павла к римлянам, гл. 5, стих 20; Книга пророка Даниила, гл. 3, стих 32; Евангелие от Луки, гл. 23, стих 41; Псалтырь, псалом 102, стих 10³³).

В данном случае не так уж важно, какой «сюжет» образовался из серии библейских цитат, а интересно другое. Летописец повторял некоторые слова и выражения из использованных им цитат уже и в своем тексте. Например, в цитате говорилось: «Преложю *праздницы* ваша в *плачь* и песни ваша в рыданье»; соответственно летописец стал высказываться фразеологически похоже: «бысть *плачь* великъ в граде, а не радость ... в *праздники* ... сотвори бо ся *плачь* великъ...». В другой цитате говорилось: «Падете *пред врагы* вашими ... и *побегнете* ... и будеть *земля* ваша *пуста* и двори ваши *пусти* будут...»; и летописец соответственно выразился: «в *земли* нашей ... *опустеша* села наша и города наши, быхом *бегаючи пред врагы* нашими... Города вси *опустеша*, села *опустеша*». Далее, в иной цитате говорилось: «Идеже *множество греховъ*, ту виденья всякого показанья»; и летописец тоже использовал это словосочетание: «Тако подобаеь Владыке казати не по *множеству греховъ*...» Далее следуют еще цитаты: «*преданым* быти в руки языку странну и *безконьнейшу*...»; «не по *безконью* нашему створи нам»; и слова «преданый» и «беззаконье» стал употреблять летописец: «Сего ради вселеная *предасться*... за умноженье *беззаконии* наших...». Наконец, последняя цитата: «Мы достойная, яже сдеяхомъ, прияхом...»; и летописец тут же подхватил форму высказывания: «Яко створихом, тако и стражем».

Подобренные библейские высказывания, несомненно, служили для летописца чем-то вроде повествовательного образца, подсказывавшего то после цитаты, а то и перед ней, в каких понятиях, выражениях и формах вести рассказ о современных летописцу событиях. К этим цитатам-образцам летописец относился достаточно свободно, переосмысляя их и, в частности, по-иному применяя эпитеты, взятые из цитаты. Например, летописец вольно процитировал обращение Бога к согрешившим людям: «...яко вы худи есте и лукави, и азь поиду к вамь яростью лукавою», — тако глаголеть господь Богъ Израилевъ» (ср.: Книга Левит, гл. 26, стихи 23—24, 27—28), но тут же неожиданно применил эпитет «лукавый» не к согрешившим русским, а к половцам: «Ибо лукавиши сынове Измаилеви пожигаху села и гумна» (223).

Отчего летописец, словно загипнотизированный, повторял фразеологию приведенных им библейских цитат? Несомненно, потому, что Библия (в основном Псалтырь и Пророки) служила для летописца не просто суфлером, а в своем роде кладезем высокой экспрессивной речи (а стили речи в летописи различались ощутимо). Недаром в этом же отрывке перед очередной библейской цитатой (из 118 псалма) летописец призывал к торжественности: «*Рцемь велегласно*: “Праведень еси, Господи, и прави суды твой”» (223).

Умонастроение летописца. Всюду в летописи Библия оставалась для летописца, пожалуй, единственным образцом высокого стиля. Летописец достаточно часто в своих рассказах приводил серию цитат из Библии и только из библейских цитат далее повторял выражения, внося экспрессию в свое повествование. Разумеется, о стиле Библии летописец не рассуждал, но иногда он невольно все же отмечал экспрессивность библейских высказываний в своих ремарках. Например, в похвале крещению Руси под 988 г. летописец так или иначе дал оценку тона цитат: «*Реку же съ Давидомь*: “Придете, *възрадуемься* Господеви, *въскликнемь* Богу и Спасу нашему...”» (119. Псалом 144); и еще: «*Мы же възопьемь* к господу Богу нашему, глаголюще: “Благословень Господь, иже не дасть нам в ловитву зубомь ихъ...”» (120. Псалом 123).

Основу отношения к Библии как образцу высокого стиля, вероятно, заложило «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона³⁴. Однако этот процесс формирования стилистических вкусов и взглядов древнейших русских авторов следует изучить внимательнее.

Подведем краткий итог сделанным (отнюдь не исчерпывающим) наблюдениям над осмыслением Библии летописцем. Главная направ-

ленность этих осмыслений у летописца была политической, и прежде всего острое желание того, чтобы возобладало братолюбие во взаимоотношениях у русских князей, двигало летописцем. Далее, осмысля Библию, летописец действовал как этик и ввел в летопись целый свод нравоучительных правил соблюдения благочестия для его мирских и церковных современников. При осмыслении Библии отразились также некоторые историсофские взгляды летописца (все повторяется в истории) и философское понимание мироустройства (невидимые или обманчиво видимые миры). Обо всем этом летописец писал, как правило, со скрытой страстностью, которая временами переходила в открыто эмоциональные речи, ориентированные на Библию. Летописец являлся не просто фактографом, но время от времени и темпераментным религиозно-политическим писателем-мыслителем.

Термин «мыслитель» мы прилагаем к летописцу с известной долей условности. В те времена такое понятие не употреблялось, хотя комплекс качеств летописца подводит нас к определению его как многогранного мыслителя. Если же подыскать более или менее соответствующие понятия того времени, то можно назвать летописца-мыслителя любителем мудрых «словес» и «премудрости». В конце летописи встречается один случай, когда летописец косвенно обозначил свою приверженность мудрым, философским и поучительным «словесам», а именно когда признался, что многое в летописи он пересказал со слов праведного киевского старца Яна Вышатича («от него же и азъ многа словеса слышах, еже и вписах в летописньи семь, от него же слышах» — 281, под 1106 г.). Выражение «многа словеса» указывало на то, что Ян излагал летописцу не только факты, но и размышления по поводу них. И действительно, в рассказе, например, о расправе Яна с языческими волхвами (под 1071 г.) летописец подробно пересказал содержание дискуссии Яна с волхвами о языческих богах и христианском Боге. Кроме того само слово «словеса» (разумеется, хорошие, а не плохие) в летописи употреблялось в значении толкования («учителя, иже намъ можетъ сказати книжная словеса и разумъ их» — 26, под 898 г.), поучения («рече бо Соломанъ: “... прострохъ словеса ... моя советы...”» — 63, под 955 г.; «словеса твоя, яже глагола ко мне ... тихаго твоего наказанья» — 136, под 1015 г.), а также воплощения мудрости («мудрость бо обретаемъ и въздержанье от словесъ книжныхъ» — 152, под 1037 г.).

В летописи есть, пожалуй, еще одно косвенное свидетельство уважения летописца-мыслителя к «премудрости»: летописец не повторял

цитат из Библии, один раз где-нибудь им приведенных; на этот счет летопись, видимо, была хорошо отредактирована; исключение же составляет лишь цитата именно о премудрости из Притч Соломона, гл. 8, стих 17³⁵: «ищущей же мене обрящутъ благодать» («Острожская библия». Л. 32). Эту цитату летописец повторил (с вариациями) трижды: дважды под 955 г. («ищущи бо премудрости обрящють ... ищющи мене обрящють мя» — 62) и в третий раз — под 1037 г. («ищющи мене обрящють» — 152). Нельзя объяснить повтор цитаты возможным редакторским недосмотром при объединении разных летописных сводов, так как во всех трех случаях цитата была вставлена одним и тем же летописцем при составлении «Начального свода»³⁶. Значит, летописец, пускаясь в рассуждения, придавая «премудрости» особое значение.

В заключение остается посоветовать на то, что история ранних древнерусских писателей-мыслителей еще не написана, и оттого степень литературности их творчества остается недооцененной.

ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА

Анализу семантики литературных средств летописного повествования очень помогает верный и точный перевод древнерусского текста. Проблема перевода летописи уводит нас в отдельную, особую и малоисследованную научную область. В виде опыта помещаем разбор перевода двух рассказов летописи, связанных с библейской тематикой и на этот счет уже охарактеризованных в начале нашей работы.

Рассказ о Вавилонском столпе

Перевод

[После того, как] Сим, Хам и Иафет разделили [между собой всю] землю, — [потому] и бросали жребий, — [то они поклялись, чтобы] никому [из них] не переходить во владения [остальных] братьев, и [так они и] жили — каждый в своей части [земли]. А язык [у людей во всех частях земли] был один [и тот же]. И когда умножились люди на земле, то [они] вздумали соорудить столп [аж] до неба — во времена Нектана и Фалека. И [все люди] скопились на [одном] месте, на поле [называемом] Сennaар, [чтобы] соорудить столп до неба, а около него [и] город Вавилон. И сооружали [они] столп больше 40 лет, да [так и] остался [он] недоделанным. И [тут] сошел [с неба] господь Бог, [чтобы] уви-

деть город и столп. И [тогда] сказал господь Бог: «Вот [что нехорошо] — народ [только] один и язык [у него] один [и тот же]». И наместил господь Бог [разные] языки, то есть разделил [человечество] на 72 [народа, разных по] языку и рассеял [их] по всей земле. После размещения же народов [по земле] Бог повелел мощным ветром разрушить столп. Но [до сих пор] остаются его [развалины где-то] между Ассирией и Вавилоном и составляют в высоту и в ширину, [если мерить в] локтях, [по] 5433 локтя. Многие годы сохраняемы [людьми эти] оставшиеся [развалины столпа]. После же разрушения столпа и деления [человечества на отдельные] народы сыновья Сима взяли [себе] восточные страны, сыновья Хама — южные страны, а сыновья Иафета взяли [себе] западные и северные страны. А от [какого-то из] тех 72 народов произошел славянский народ, — [например, произошедшие] от потомков Иафета [так] называемые норики, которые являются славянами.

Принципы перевода

Мы учитываем предыдущие научные переводы текста «Повести временных лет», включая данный рассказ³⁷. Но при этом мы стараемся сделать перевод максимально понятным для современного читателя (да и для самих себя), отчего приходится внимательно следить за фразеологией летописного рассказа. Наш перевод фактически является пояснением-пересказом-переложением древнерусского текста на основе подстрочника.

Первый вид затруднений при переводе: одно и то же слово в разных местах летописи нередко употреблялось летописцем в разных значениях и с разными оттенками. Поэтому мы выбираем значение или оттенок многозначного слова в зависимости от конкретного контекста.

Прежде всего это касается союза «и», частицы «же» и предлога «за». Союз «и» нами переводится, кроме своего основного значения, и как «а», и как «но», «то», а однажды даже и как «то есть». Частица «же» может иногда переводиться как союз «а», а нередко и совсем быть опускаемой, когда «же» обозначало новую фразу и больше ничего. Предлог «за» в словосочетании «за 40 лет» мог иметь два значения: или «в течение», либо «более, дольше»³⁸. Контекст рассказа побуждает выбрать второй вариант — «строили столп более 40 лет».

Два существительных нуждаются в семантическом осмыслении — «языкъ» и «родъ». В летописи, по нашим наблюдениям, слово «языкъ»

сначала обозначало «народ, говорящий на одном и том же языке», а затем — просто «народ» или просто «язык, на котором говорят»; слово же «родъ» в начале летописи обычно обозначало «разветвленное семейство или потомство от одного прародителя», а потом — «народ, население, сообщество с неким общим для них этническим, вероисповедным или иным качеством» (род славянский, род русский, род христианский и пр.). В рассказе о вавилонском столпе отразилось, пожалуй, более позднее словоупотребление: «родъ» — народ, «языкъ» — народ или разговорный язык.

Два многозначных прилагательных тоже нуждаются в осмыслении соответственно контексту — «единый» и «великий». В данном случае прилагательное «единъ» означало «один» или «один и тот же», и в этом значении оно употреблялось в летописи неоднократно (ср.: «верують ... въ едино крещенье, въ едину веру, законъ имамъ единъ» — 16; «быша человеци мнози и единоголасни» — 91, под 986 г.; «вы есте братья единого отца и матери» — 161, под 1054 г. и мн. др.). Прилагательное же «великий» в словосочетании «ветерь великий» явно обозначало «сильный» или даже «мощный».

Наконец, глагол «преступати» («преступити») требует пояснения. Обычно в летописи он имел переносный смысл и означал: «нарушать что-то» или «отступить от чего-то» (например, нарушать договор, клятву, заповедь или отступить от правил; «не преступати предела братня» тоже означало «не нарушать границы с братом» — 161, под 1054 г.). Но в сочетании с предлогом «въ» глагол «преступати» сохранял пространственный оттенок «переходить куда-то» («ни Отець бо въ Сынъ ли въ Духъ преступаетъ, ни Сынъ во Отца и в Духа и ни Духъ въ Сынъ ли во Отець» — 112, под 988 г.; ср.: «въ инъ законъ ступитъ ... в нашу веру ступит» — 106, под 987 г.).

Второй вид затруднений при переводе летописного рассказа о вавилонском столпе касается в общем понятных сейчас однозначных древнерусских слов и словосочетаний, которые тем не менее не совсем подходят для перевода в той же словесной форме, и поэтому для ясности смысла их лучше заменять другими, чаще всего синонимичными словами. Это преимущественно глаголы: «метати жребий» — переводим как «бросать жребий»; «помыслити» — «задумать»; «создати» — «построить»; «свершити» — «закончить»; «снити» — «сойти»; «видети» — «увидеть»; «не свершень быти» — «остаться недостроенным»; «быти от кого-то» — «произойти от кого-то»; «прияти» — «взять».

Сложнее из-за переносности значения переводить словосочетания с существительными — «въ жребии» и «въ дни». «Преступати въ жребии», — словосочетание «въ жребии» здесь означало «во владение, доставшееся по жребию» (подобный сокращающий оборот не раз использовался в летописи; ср.: «преступивше крестъ», «да не преступаютъ честнаго креста» — 167, 172, под 1067 и 1066 гг.; «преступати крестъ», то есть «нарушать крестоцеловальную клятву»). В выражении же «въ дни Нектана и Фалека» словосочетание «въ дни» указывало на довольно большой отрезок времени, и поэтому его лучше перевести как «во времена кого-то» или «во время [жизни] кого-то» (ср. далее в летописи: «в последняя же дни» — имеется в виду конец света, 236, под 1096 г. И. И. Срезневский³⁹, выражение «в свои дни» трактует как обозначение жизни кого-то).

Есть еще третий вид затруднений при переводе — пояснения или напоминания летописца по ходу изложения. Как правило, их вообще не было в данном летописном тексте, а в пояснительном переводе обойтись без них немислимо, потому что приходится считаться с потребностями нашего современного повествования и ради ясности приближать научный перевод древнерусского текста к пересказу. Введенные нами пояснения и напоминания заключаем в квадратные скобки, это «лишние слова».

И напротив, пояснения или примечания, сделанные летописцем (их всего два), рискуют оказаться не замеченными сейчас и оттого не отраженными в переводе. Так, летописец написал, что «Симъ же, Хамъ и Афеть, разделивше землю, и жребы метавше и ... никому же преступати...» и т. д. Тут летописец нарушил свой обычный принцип изложения — по хронологии событий: ведь братья сначала бросали жребий, а лишь потом в зависимости от выпавшего жребия разделили землю. Летописец же выделил главное и потому на первое место поставил важный результат (разделили землю), а затем в виде примечания или напоминания упомянул и способ достижения этого результата (бросание жребия).

Показательно, что в этом же рассказе летописец еще раз предпочел подобный способ изложения — начинать с главного вопреки хронологии: «И съмеси господь Богъ языки, и раздели на 70 и на 2 языка, и расъся по всеи земли». Как мог Бог смешать разные народы, если отметил, что перед ним один единый народ? Видимо, здесь летописец не последовательно перечислил действия Бога, а сначала назвал глав-

ное действие (смешал народы), а затем пояснил, как оно было осуществлено (разделил единый народ на 72 разных народа и рассеял их по земле). Нехронологический способ повествования (главное, а потом предшествовавшее второстепенное; обобщение, а потом частности; целое, а потом детали) был очень распространен в летописи наряду со способом хронологическим, и в переводе все это надо отражать.

Наконец, самое спорное в переводе, приближающее его к переложению древнерусского текста: надо отразить и отрицательное эмоциональное отношение летописца к вавилонскому столпу и его строителям, несколько выпятив экспрессию в лексике перевода. И тогда «помыслити» превращается в «вздумать»; «здати» — в «соорудить»; «до неба» — «аж до неба»; «свершити» — в «доделать»; «се» — в «это нехорошо»; «останокъ» — «развалины». Но тут уже вступает в дело литературный вкус переводчика.

Рассказ о хазарской данн

Перевод

В последующие годы, после смерти упомянутых братьев [Кия, Щека и Хорива, поляне] подвергались нападениям деревлян и иных окружающих [племен]. На них [поляне], засевших в лесах на холмах тех [киевских], [случайно] наткнулись хазары. И стали хазары предлагать: «Платите нам дань». Посоветовались поляне и дали [им] от [каждого] очага [по] мечу. И понесли хазары [мечи] к своему князю и к своим старейшинам. И объявили им: «Вот собрали [какую-то] новую дань». Те же спросили у них: «Откуда [дань]?» Они же [хазары] ответили: «[Собрали в какой-то глуши] в лесах на холмах над рекой Днепровской». Те же [князь и старейшины] спросили: «[А] что [это вам] дали?» Они же [хазары, не называя] показали меч. Поняли хазарские старцы: «Князь! Зловещая [эта] дань [оружием]. Мы [ее] добыли себе [с помощью] оружия [же] односторонне [острого], называемого саблями, а у тех оружие обоюдоострое, называемое «меч». [Поэтому] те [поляне] станут [в будущем] брать дань с нас и с иных стран.

Все это сбылось. [Потому что старцы] предсказывали не по своему хотенью, а в результате Божья повеленья. Подобное [случилось и] при фараоне, египетском царе, когда привели Моисея пред [очи] фараона, и [тогда] предсказали фараоновы старейшины: «Этот [Моисей] победит египетскую землю». Что и произошло: погибли египтяне от Моисея, а

[ведь] сначала у них были [евреи] в рабстве. То же самое и те [хазары]: [сначала они] управляли [другими], а после ими самими [другие] управляют. Получилось [именно] так: управляют хазарами русские князья и по сегодняшний день.

Принципы перевода

К изложенным выше принципам пояснительного перевода добавим три замечания, касающиеся данного рассказа. Во-первых, в данном рассказе больше, чем в предыдущем, многозначных слов и словосочетаний, при переводе которых необходимо конкретизировать их важнейший смысл или оттенок соответственно контексту именно этого рассказа («по сих же летех», «быти», «рещи», «они», «добрыи», «рекше», «воля», «отъ», «яко же»).

Во-вторых, некоторые древнерусские слова можно бы повторить и в русском переводе, но при этом ускользнут или исказятся их главные смысловые оттенки в данном контексте. Поэтому стараемся тоже конкретизировать их смысл («околныи», «обидети», «найти я», «седети», «от дыма», «доискатися», «смирити», «область»).

В-третьих, отдельные слова нельзя передать в той же форме в переводе и поэтому заменяем их синонимичными словами («вдати», «налезти», «володети»).

Все-таки требует краткого объяснения перевод глаголов «обидети», «найти», «смирити». В летописи слово «обидети» означало не моральную обиду, а серьезное, преимущественно физическое или материальное нападение, вторжение или преследование (ср.: «убивъ еюптянина, *обидящаго* евреянина» — 94, под 986 г.; «аще кто хошетъ *обидети* брата своего, то ты помогаи, его же обидять» — 161, под 1054 г.; «изгонимъ от брата своя, *обидимъ*, разграбленъ» — 206—207, под 1086 г.; «избавите *обидимаго*» — 169, под 1068 г.).

Словосочетание «найти *на* кого-либо» означало нападение. Но беспредложная форма «найти я» имела, вероятно, иной смысл — «найти», «обнаружить кого-то или что-то», возможно, «наткнуться на кого-либо случайно». К сожалению, форма «найти я» в летописи употреблена только однажды — только в данном рассказе⁴⁰.

Глагол «смирити» во всех основных списках «Повести временных лет» (кроме одного) употреблен по отношению к египтянам (их в будущем «смирит» Моисей). Но Моисей вовсе не умиротворял, не примирял и не делал смиренными египтян (а также не уничижал и не обузды-

вал их, если предположить, что вместо «смирिति» здесь имелся в виду глагол «смерити»⁴¹. Моисей *победил* египтян, когда над его преследователями — фараоном и его войском — сомкнулось море, и таким образом египтяне погибли от Моисея. Поэтому в данном случае переводим «смирити» как «победить».

II. «Слово о Законе и Благодати» Илариона: интимно-физические мотивы

Упоминание об Аврааме

Явился Богъ Аврааму, сядящу ему пред дверьми куште его въ полудне у дуба Мамвьриискааго. Авраамъ же текъ въ сретение ему, поклонися ему до земли и приать ѿ в кушту свою⁴².

Семантика отрывка. Иларион пересказал историю Авраама и его жены Сарры в соответствии с библейским повествованием о них (ср.: «Острожская библия». 1580. Бытие, гл. 16, 18, 21. Л. 6 об., 7, 8 об.⁴³). Но отметим одно из заметных отклонений Илариона от библейского сюжета. У Илариона сказано, что «явился Богъ Аврааму» и Авраам «приать ѿ в кушту свою». В Библии же сначала говорится о появлении Бога («яви же ся ему Богъ у дуба Маврия, сядящу пред двери храму его» — л. 7), но затем сообщается о появлении трех ангелов перед Авраамом («се трие мужи стояху прямо ему»). В Библии Авраам вовсе не приглашал ни Бога, ни ангелов в свое жилище, а принимал ангелов под дубом («сам же стояше пред ними под деревом»).

Не ясно, откуда Иларион мог заимствовать деталь о принятии Бога Авраамом «в кушту свою» (или же придумал ее сам), но появление этой детали явно было продумано автором «Слова», потому что ветхозаветную Авраамову «кушту» Иларион тут же сопоставил с новозаветной «куштой» Богородицы (подобно посещению Богом «кушты» Авраама, «посетить Господь человечьскааго рода, и съниде съ небесе, въ утробу девици въходя; приать же ѿ девица съ поклоняниемъ въ *кушту* плътяную, не болевъши» — 15). И далее Иларион продолжил сопоставление ветхозаветных и новозаветных событий; например, провел параллель между рождением Исаака и рождением Христа («тогда убо отключи Богъ ложесна Сарърина и, заченьши, роди Исаака, свободнаа свободнааго. — И присетивъшу Богу человечьска естъства... и родися ... сынъ, а не рабъ» и т. д. — 15—16). При этом далекие и близкие предвестники

христианства Иларион связывал с интимными физическими деталями: и с внутренностью «куш» жилых и телесных, и с «утробой», и с «ложеснами» и пр. Все это подчинялось главной идее — как «спасти мир» (15).

Умонастроение Илариона. Мотивы физической интимности постоянно повторялись в «Слове». Так, Иларион обращался к различным мотивам пребывания Бога и благочестивых персонажей в тесном или небольшом пространстве. Что касается Христа, то Иларион продолжил тему его зачатия — упомянул «утробу»: «въплотися отъ девице чисты, безмужны и бесквернены, вьшед яко же самъ вестъ ... *утробу* матерню растяше» (20). Далее тема рождения Христа была связана у Илариона с яслями («възлежа въ яслехъ» — 20), тема крещения Христа — с купелью («въ святеи купели» — 19), тема его смерти — с гробом («в гробе положень бысть ... печаталеша въ гробе» — 21), — все это очень небольшие замкнутые объемы.

Принятие христианства человечеством Иларион опять-таки обозначил мотивом проникновения в небольшой объем, в некий сосуд («да яко *сосудъ* скверненъ, человечество, помовень водою ... приметъ млеко...» — 14) или же в мехи («не вливають ... вина новааго учения благодатьна въ *мехы* ветъхы... но ново учение — новы *мехы*» — 23).

То же касалось и Руси. Принятие христианства Владимиром сопрягалось, так сказать, с его внутрисердечной деятельностью («въсия разумъ въ *сердци* его», «*сердце* разверзся» — 27, 30), а крещение Владимира — тоже с купелью («вълезе въ святую *купель*», «въниде въ святую *купель*» — 27, 30); христианские качества Владимира сосредотачивались также в тесном пространстве («съмыслу *место*, милостыни *гнездо*» — 29); а упоминание о Владимире как отце Ярослава побуждало Илариона вспомнить о его «утробе» и «чреслах» («виждь *утробу* свою... изведе от *чресль* твоихъ» — 33).

Наконец, новокрестившиеся русские люди в «Слове» Илариона тоже представляли скопившимися в ограниченном пространстве — в домах и церквях («въ всех *домах* своих зовемъ», «*церкви* люди исполнены», «епископи стаща пред святымъ *олтаремъ*» и пр. — 25, 27, 28).

Все перечисленные мотивы традиционны, но особенностью Илариона явилась навязчивая частота их повторения в «Слове». Зарождение и принятие христианства представлялось Илариону каким-то интимным физическим или телесным действием, связанным с «утробой», «чреслом», «сердцем», омытием в «купели» и пр.

Другой частый телесный предметный и символический мотив в «Слове», опять-таки связанный с христианством, — это мотив еды и удовлетворения голода. Недаром рассмотренный нами рассказ об Аврааме Иларион повернул к теме кормления — еды — пира («и яко *отдоися* отроче Исаакъ и укрепе, сътвори Авраамъ *гоститву* велику... И еще ... Христорь ... *отдоися* и укрепе сътвори Богъ *гоститву* и *пирь* великъ *тельцемь* упитеным... — 16).

Соответственно принятие христианства Русью Иларион обозначал символикой тоже еды и питья. Так, Владимир насытился («испи будущая жизни *сладкую чашу* ... *въкуси*...» — 19); и других покормил («жадна и альчныя *насыщая*»; «зрения *сладкаго* лица его *насыщаяся*», «*пиемь* *источьникъ* нетления», «преизлиха *насыишьшемся* *сладо*сти книжныя» «Христовы пречистыя крове *въкушающе*, съспасаемся» — 31, 34, 25, 14, 24).

Принятие христианства Иларион связывал и с другими видами физических чувств, в частности с обонянием (Владимиру «*припахну воня* святого духа», «темианъ Богу *въспущаемь*», «*тимианомь* *обухаемь*» — 29, 34). Но чаще речь шла о прозрении от слепоты в христианстве («бывшемъ намъ *слепомъ* и истиньнаго света не *видящемь*», но «Христорь *слепыя* ихъ *просвети*», «*ослеплени* невидениемъ и тобою *прозрехомь*» и т. д. и т. п. — 24, 21, 34).

Иларион связывал принятие христианства с символическим и реальным исцелением от различных болезней («ушеса *глухых* услышать», «именемъ Иисус Христовомъ *болящихъ* съдравеють, *немыхъ* глаголють» и пр. — 24, 30).

Наконец, Иларион символизировал принятие христианства еще одним физическим состоянием, — теплом после холода, одеянием после наготы («*студеньство* нощное погыбе, солнечьеи *теплоте* землю сгревши ... християни же при благодетьнеим солнци свое спасение жиждють», «нагыя *одевая*», «правдою бе *облечень*, крепостию *препоясань*, истиною *обуть*» и мн. др. — 17, 31, 34).

Объяснить столь непрерывное повторение многообразных интимных телесно-физических символических и реальных мотивов в «Слове» можно увлеченностью Илариона главной своей темой «спасения» людей христианством, в том числе спасением физическим и телесным.

III. Письмо Владимира Мономаха: внимание к эмоциям

Упоминание о Давиде

Не крове деля пролиться помазаникъ Божии Давидъ, нъ прелюбодейнѣ створи, посыпа главу свою и плакася горко. Во ть час отда ему согрешенья его Богъ⁴⁴.

Семантика отрывка. Владимир Всеволодович Мономах, тогда (в 1096 г.) еще князь Переяславля Южного, в своем письме к черниговскому князю Олегу Святославовичу, повинному в убийстве Мономахова сына, призвал Олега покаяться и в качестве примера привел библейского Давида, который усиленно каялся даже не из-за убийства, а из-за прелюбодейния. Но в Библии Давид каялся иначе, чем описано в письме Мономаха. По Библии, Давид перестал принимать пищу, «облекся въ вретище, лежаше ниц на земли» («Острожская Библия». 1580. Вторая книга Царств, гл. 12. Л. 145 об.). По словам же Мономаха, Давид «посыпа главу свою и плакася горко». Мономах упомянул покаяние Давида явно по памяти, притом заместил проявление покаяния у Давида многочисленными традиционными проявлениями горя у разных библейских лиц — посыпанием главы пеплом и горьким плачем (ср., например, как изнасилованная дочь Давида «попелъ насыпа на главу ею ... и въпияше» — «Острожская библия». Вторая книга Царств, гл. 13. Л. 146; или: «въскричать о тебе горце и въсплачут и въсыплють персть на главы своя» — Книга пророка Иезекииля, гл. 27. Л. 138; и мн. др.). В результате, Давид у Мономаха каялся гораздо эмоциональнее, чем в Библии.

Умонастроение Владимира Мономаха. Эмоциональность Давида объясняется психологической особенностью автора письма — у Мономаха все персонажи представляли остро переживающими. Конечно, письмо было написано по печальному поводу, но обозначения горя персонажей в письме Мономаха выходили за пределы традиционной эпистолярной сдержанности и за пределы выражения только печали. Так, свое душевное состояние Мономах описал с необычным отчаянием: «О, многострастныи и печалны азъ! Много борещися сердцемъ, и одолевши душе сердцю моему» (252). А затем Мономах представил и свое будущее утешение, посоветовав Олегу прислать «ко мне бяше грамоту утешеную» и вдову Мономахова сына, «да бысть обуимъ, оплакаль мужа ея ... да с нею, *кончавъ слезы ... азъ утешюся*» (253—254).

И закончил свое письмо Мономах, заботясь о состоянии своей души: «Но душа ми своя лутши всего света сего» (255).

Своего адресата — Олега — Мономах также стремился склонить к переживаниям: Олегу надо бы каяться с чувством («рещи бяше ... вникнуци въ помыслы души своеи: “Увы мне, что створихь...”» — 253) и с чувством же прочесть Мономахово послание («написах ти грамоту, аще ю примеши с добромь ли с поруганьемъ» — 253).

Мономах думал о переживаниях и «проходного» персонажа для его письма — вдовы его сына, которую он даже и не видел («не видехъ бо ею первее радости ... и сядет, акы горлица на сусе древе, желеючи» — 253—254).

Даже сам Бог предстал в письме у Мономаха довольно импульсивным. Так, описав покаянье Давида, Мономах добавил: «Во ть час отда ему согрешенья его Богъ» (253). По Библии же, Бог отъял согрешение у кающегося Давида далеко не сразу. Мономах же исходил из представления о том, что «Богъ всеи вселене иже хоцеть, то в мегновеньи ока вся створити хоцеть то» (253).

Об отзывчивости и сострадательной эмоциональности Владимира Мономаха нам уже приходилось писать на основе других источников⁴⁵. Таким этот грозный великий князь киевский оставался всю жизнь.

IV. «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора: склонность к штампам

Упоминание о Каине

Мышлящую убо Каину, рече, како и кымь образомъ погубить брата своего Авеля. Не бяше бо тогда ведети, кымь образомъ смерть бываетъ. И се яви ему злодей, врагъ, въ нощи спящую, убиство. Вьставъ же, увидевъ во сне, и тако уби брата своего Авеля⁴⁶.

Семантика отрывка. В библейском рассказе о преступлении Каина (Исход, гл. 4, стих 8) не говорилось о явлении дьявола Каину именно во сне ночью. Нет такой подробности ни в анонимном «Сказании о Борисе и Глебе», ни во включенной в летопись «Речи философа». Нестор же в своем «Чтении» подчеркнул эту деталь: когда Каину «въ нощи спящую», то дьявола он «увидевъ во сне». Упоминание о ночном сне Каина Нестор, возможно, заимствовал из какого-то апокрифа; но этой «ночной» детали Нестор, несомненно, придавал значение, о чем свидетель-

ствует продолжение повествования в данном месте «Чтения». Сопоставив Святополка Окаянного с Каином, Нестор добавил, что Святополк велел посылаемым убийцам Бориса: «Нападше на него *нощию*, погубите и» (9), — опять упомянута ночь (в «Сказании о Борисе и Глебе» подобное приказание именно о ночном убийстве отсутствует). И далее в «Чтении» еще раз упомянута эта ночь: «*Ноши* же сущи... И се они послании беша идуще... поглотити хотяще праведьнаго» (в «Сказании» нет и фразы о ночном приближении убийц к Борису).

Умонастроение Нестора. Сравнительно со «Сказанием» Нестор однообразнее связал ночь только со зловещими или удивительными явлениями (в «Сказании» ночь обычно оказывалась всего лишь реалией, без отчетливого экспрессивного подтекста). Так, именно ночью в «Чтении» происходили чудесные явления: «Многажды *нощию* на месте томъ видяху, идеже лежашеть тело святою стратотерпцю Бориса и Глеба, овогда свеще, овогда столпъ огнень, с небесе сущъ» (15—16. В «Сказании» не уточнено, в какое время суток происходили аналогичные события. Ночь добавил Нестор). Кроме того, описывая чудеса, Нестор чаще, чем «Сказание», упоминал ночь. Например, в «Сказании» к некоему слепому ночью явился святой мученик Георгий, а в «Чтении» Нестора этот слепой пережил уже не одну, а две чудесные ночи: однажды ночью явился ему Георгий, а после «въ едину *нощъ* явлешася ему святая» Борис и Глеб (24). Упоминание ночи превратилось у Нестора в штамп.

Сон персонажей Нестор тоже постоянно связывал и с явлениями зловещими, и с явлениями чудесными. Так, в «Чтении» сообщалось о том, что Борис-Роман во сне видел Богородицу и дьявола: «мало ему *уснувшю*. И явися ему мати Божия, имущи же в руку ея свитокъ, иже подасть святому. И яко взять и, и се ненавидяй добра дьяволь, текъ, въсхвати и. И паки мати Божия взять и свитокъ и подасть и святому Роману. Онъ же воставъ отъ *сна*» (6. В «Сказании» нет такого эпизода).

Добавлял Нестор и указания на сонное состояние персонажей, исцеляемых святыми. Так, в «Сказании» сухорукая женщина видит святых ночью, но наяву, а в «Чтении» они являются ей во сне: «И во едину *нощъ*, *спящу* еи предъ дверми церковными, изыдоста святая и яко придоста к неи»; вне сна она не видела святых: «она же ощути ся и к тому не виде святою» (24). Упоминание сна тоже штамп.

В общем, подтверждается общепринятое сейчас мнение о «Чтении» Нестора как о произведении, старательно заполненном различными агиографическими штампами.

Штампы нужны были Нестору-агиографу для вящей убедительности его повествования⁴⁷. Так и ночной сон Каина еще больше убеждал в злодейности его натуры: «Видите ли... немилосердие Каина являшася?» (9). «Чтение о Борисе и Глебе» — не проповедь, но что-то от проповеди в нее вошло.

У. Послание Климента Смолятича: полемический темперамент

1. Упоминание о дочери Иаира

Зело полезно, и добро, и похвально, то не толма чудна и славна, елма же та сама истинна, иже Господь нашъ, делом чудо и знамение сотворивъ, показа: възкресивъ Аира князя дщерь, мертву сущу отинудъ и издъхшу⁴⁸.

Текстологическое замечание. Послание Климента Смолятича дошло, как известно, в крайне неисправном виде и с позднейшими добавлениями XIII в. Мы пользуемся краткой реконструкцией самого послания Климента, предпринятой В. В. Колесовым и отсекающей позднейшие добавления⁴⁹, в отличие от пространной реконструкции послания вместе с позднейшими добавлениями, проделанной Н. В. Поньрко⁵⁰, тем более что все, относящееся к Клименту в реконструкции В. В. Колесова, присутствует и в реконструкции Н. В. Поньрко.

Семантика отрывка. Внимание исследователей последнего времени было направлено преимущественно на философские и богословские идеи Климента Смолятича (книги А. Замалеева, М. Н. Громова, В. В. Милькова). Нас же интересует Климент как писатель.

В приведенном выше отрывке Климент, упомянув о воскрешении дочери Иаира, сослался на Евангелие («въ святемъ еуагелии поминает ... иже от Лукуы ... яко же и еуагелистъ сказаеть» — 286). Но несмотря на старательную ссылку на Евангелие от Луки (гл. 8, стихи 41, 59—55), Климент несколько неточно передал содержание евангельского эпизода, прибежав к натяжке. По Клименту, дочь Иаира была совсем и безнадежно мертвой («мертву сущу отинудъ и издъхшу»), а по Евангелию, она еще лишь умирала («та умирааше»), и затем, как только отцу сообщили, что она умерла («умреть дъщи твоя»), Иисус Христос заявил, что не умерла она, но спит («не умрла девица, нъ съпить»), и отроковица ожила («възвратися духъ ея и възкресе абие»⁵¹). Сравнительно с Еванге-

лием от Луки (сходно этот эпизод изложен также в Евангелиях от Матфея и Марка) Климент все же экспрессивно преувеличил чудесность (или резкость) воскрешения девицы Христом («делом чудо ... показа ... не притчею, но делом ... чюдеса показа»).

Преувеличение это не было демонстративным; скорее всего, именно так в памяти Климента преобразовался данный евангельский эпизод, изложенный более резко из-за эмоционального тяготения Климента к более глубокому осмыслению и истолкованию Библии. Подобного волновавшего его желания Климент и не скрывал и разразился целой тирадой в рассматриваемом месте своего послания: «чюдеса Христова хощу разумевати праведно и духовне. Что мне дщерию Аира князя? Прашаю праведне, и речеть ми: “То и то есть” ... хощу уведати духовне ... прашаю еуаггелиста ... прашаю силы слову ... хотящю ведети и праведне» (286).

Умонастроение Климента. В своем послании многомудрый Климент неоднократно допускал броские или преувеличенные высказывания, и все они так или иначе были вызваны его упорным отстаиванием права на более глубокое толкование Библии. Так, до упоминания дочери Иаира Климент совсем кратко упомянул Соломона: «Соломонь, *славы ища*» (284). Но в Библии (см. Третью книгу Царств) нигде не дается подобной характеристики Соломону. Замысел же Климента здесь заключался в том, чтобы, несмотря на сомнительность роли Соломона, сослаться на этого мудреца и утвердительно ответить на вопрос: «Нест ли лепо пытати потонку божествныхъ писаний?» И Климент призвал следовать Соломону, который, даже несмотря на желание мирской славы, якобы одобрил толковательные склонности: «Торчиве блаженному Соломону, рекущу въ притчахъ: “Аще утвердиши к нему око свое, никакже сравнить ти ся”». Первая часть этого высказывания внешне, действительно, восходит к Притчам Соломона (ср.: «аще бо устремиши на него око свое» — «Острожская библия». 1580. Притчи Соломона. Гл. 23. Л. 87 об.). Но смысл этой фразы у Соломона и у Климента совершенно разный: Климент как нечто положительное предлагает «утвердить око» на Писании, а Соломон, напротив, осудительно предостерегает человека «утверждать око» на скоропреходящем богатстве («не належи убогъ сыи съ богатымъ. От своего же помышления вьстязайся. Аще бо устремиши на него око свое, никогда же явится»). Получается, что в послании Климента высказывание Соломона было грубо переосмыслено. Больше того: вторая часть цитаты (похвала толковательным

усилиям) якобы из Притчей Соломона вообще Соломону не принадлежит, в Библии не встречается и, вероятно, просто была присочинена в послании. Если все это проделал Климент (а не позднейший редактор), то можно представить, как сильно хотелось Клименту, несмотря ни на что, привлечь Соломона к себе в союзники.

Климент не только защищал, но прямо-таки превозносил перед людьми пользу углубленного («ища сего по тонку» — 286) толкования Писания, развернуто сравнив толковательные усилия не с чем-нибудь, а с очищающим использованием огня: «Расматряти ны есть лепо, возлюблении, и разумети. Вижь бо ... яко же се огонь ... составляемъ есть и съгнещаемъ человеческими вещественными руками; гда же силу из горения приимет огонь, смотри, како ти человеческими хытросъями чистейшаа вещь, влагаема въ нь, очищается! Рекше злато или сребро, аще наполнено будеть каа любо скверны, рекше мяса, ти влагаемо будеть къзньннивыше огонь и изжагается огненымъ разгорениемъ, и очищается въложное то злато и сребро и отдавается вложившему его и чисто и без вреда... Да ели то огонь вещественъ сы, иже Богомъ сотворенъ на службу умну, и смыслену, и словесну человеку» (284, 286). То есть: «чистейшаа вещь», «злато и сребро» — это Писание; «огнь» — это толкование Писания, притом толкование горячее («силу из горения приимет огонь») и сотворенное самим Богом («огнь ... иже Богомъ сотворенъ»); толкователь — это не всякий, а умный и искусный человек («къзньннивыше огонь ... на службу умну, и смыслену, и словесну человеку»); «скверна» или «мес» — это неверное либо поверхностное понимание Писания; наконец, выражение «очищается ... чисто и без вреда» означает верное и углубленное толкование Писания. Все сравнение у Климента содержит целую серию похвал углубленному толкованию Писания.

Кроме того, Климент не без раздражения и даже саркастической агрессивности попрекал людей («их же конецъ — сетнаа пагуба»), не овладевших искусством утонченного толкования (в первую очередь своего адресата пресвитера Фому и того учителя Григория): «сам ся обличаеши ... того не могль еси разумети ... всеу приводиши ... не веде, откуда хоцещи поручившаяся тебе душа руководити, — Григорю бо и тебе того не ведати» (282); «по велику, брате, дивлюся, аще тако улучил ты Григоръ, аще бо о всемъ не даль ти выникнути, — от, дивлюся!» (288).

Как писатель, Климент, несомненно, был «кусачим» и обладал полемическим темпераментом в борьбе «за величество разума и глубину

сокровенных ради и дивных словесъ» (288). Зачем же Клименту так хотелось заниматься толкованием Библии, пока остается неясным.

VI. «Киевская летопись»: официозность летописца

В летописях XII—XIII вв., в отличие от «Повести временных лет», содержится крайне мало пересказов библейских сюжетов летописцами, которые довольствовались преимущественно цитатами из Библии. Лишь два случая «неточных» упоминаний библейских сюжетов извлекаются из «Киевской летописи». Облик киевского летописца XII в. сильно обеднел. Он в основном документалист⁵² и официальный писатель.

Упоминание о Содоме и Гоморре

Слышахомъ преже треи летъ бывшее знамение в Новгороде, всимъ людемъ видящимъ. Въ трехъ бо церквахъ новгородскихъ плакала на трехъ иконахъ святая Богородица. Видевъши бо мати Божия пагубу, хотящую быти надъ Новымъгородомъ и надъ его волостью. Моляшеть бо сына своего со слезами, абы ихъ отинудь не искоренилъ, яко же преже Содома и Гомора, но, яко ниневъгитяны, помилова⁵³.

Семантика отрывка. Предварительно сделаем одно текстологическое замечание. Приведенный отрывок входит в рассказ о походе русских князей на Новгород Великий в 1169—1170 г. В «Ипатьевской летописи» этот поход отнесен к 1173 г. Аналогичный рассказ содержится в «Летописце Переяславля Суздальского»⁵⁴, а также в «Лаврентьевской летописи»⁵⁵. Хотя датировка новгородского знамения в «Лаврентьевской летописи» ближе к реальности (за три года до 1169 г., то есть в 1166—1167 г.), а в «Ипатьевской летописи» датировка знамения сдвинута (за три года до 1173 г., то есть в 1170—1171 г.), но рассказ в «Ипатьевской летописи» более детален и внятен, а в «Лаврентьевской летописи» явно сокращен и не всегда ясен. Поэтому отдаем предпочтение рассказу киевского летописца в «Ипатьевской летописи».

Обратим внимание в летописном отрывке на краткое упоминание библейского сюжета о наказании палестинских городов Содомы и Гоморры Богом за их вызывающую порочность. В летописном рассказе действия Бога определяются словом «искоренил», в то время как в Библии к Содому и Гоморре прилагаются слова «рассыпал», «погубил», «потребил», «превратил», «разорил», «испроверг», но не «иско-

ренил» (ср.: Бытие, гл. 13 и 19; Второзаконие, гл. 29; Книга пророка Исаии, гл. 13; Книга пророка Иеремии, гл. 49—50; Книга пророка Амоса, гл. 4; Второе послание апостола Петра, гл. 26). К Содому и Гоморре не прилагается слово «искоренил» ни в «Хронике» Георгия Амартола, ни в летописной «Речи философа», ни в «Хронографе». По-видимому, довольно редким и резким словом «искоренил» летописец с максимальной усилительностью обозначил трагическую судьбу Содомы и Гоморры (в Библии слово «искоренити», как правило, обозначает уничтожение людей и народов. Ср. в «Киевской летописи»: «вас искоренити» — 349, под 1147 г.).

Зачем летописец выразился с подобной усилительностью? Скорее всего, из-за своеобразного политического раздражения. Он ведь рассказывал о походе русских князей на Новгород Великий, а с Новгородом и сопоставил Содом и Гоморру: «так и сия люди новгородская ... злое неверьствие в нихъ *вкоренилося* кресть къ княземъ преступати и князе внукуы и правнукуы обеществовати и соромляти, а кресть честныи к нимъ целовавъши, переступати. То доколе Господеви терпети?» — 561). Что *вкоренилося*, то и надо искоренить. Рассказом о новгородцах и было навеяно слово «искоренил» по поводу Содомы и Гоморры. То есть областническая неприязнь повлияла на припоминание библейского эпизода летописцем.

Умонастроение летописца. Областнический настрой киевского летописца широко проявился во всем рассказе о походе русских князей на Новгород Великий. Ведь не только к новгородцам, но и к пошедшим на Новгород русским князьям (ростовским, суздальским, рязанским, муромским) киевский летописец тоже отнесся в общем отрицательно или, по крайней мере, скептически. Он отметил, что у пошедших на Новгород русских князей «толико бысть *множьство* и *вои*, яко и числа нетуть» (560). Летописец подчеркивал необычное множество воинов почти всегда только у вражеских войск — все предыдущее летописное повествование свидетельствует о том (приведем лишь один пример из очень многих: когда хвастливый черниговский князь Ярослав Святославович с венграми, поляками и чехами напал на Владимир, то, по словам летописца, «*множьство вои* бе с нимъ ... не имяше на Бога надежи, но надеяшеться на *множьство вои*» — 287, под 1123 г.).

Отрицательное отношение киевского летописца к князьям из других областей далее проявилось в рассматриваемом рассказе и в довольно едком замечании об их неудаче под Новгородом: «и не успеша ничто

же городу ихъ и възвотишася опять въ свояси и одва дома своя доехаша пеши» (560). В летописи только к врагам относились эти постоянные и многочисленные замечания летописца о том, что «не успевше ничто же, воротишася въ свояси» (иногда с уничижительной добавкой: «и мнози пеши придоша» или «но толко сорома добыли» — 492, под 1158 г.; 433, под 1151 г.).

Однако степень экспрессивности выражений летописца не надо преувеличивать. Так, не об областнических антипатиях летописца, а о его официозности можно говорить на примере выражения «много зла створиша», в котором, казалось бы, должно было отражаться отрицательное отношение летописца к тем, кто сотворил зло, и жалость к тем, кто пострадал (вот пример перед рассказом о походе русских князей на Новгород Великий: половцы — «плохие», потому что «выездяче погании диици с вои, *много зла творяху*, овы избиваху, а ины руками имаху, яша бо тысячкого..., ины многи ... Половци же воротишася опять, *много створивше зла*, люди повоеваша» и пр. — 549—550, под 1172 г.). Но в самом рассказе о походе русских князей на Новгород Великий выражение «много зла створиша» летописец применил к русским князьям, как бы уже жалея новгородцев: «пришедъше толко в землю ихъ, *много зла створиша*, села взяша и пожгоша, и люди исекоша, а жены, и дети, и мения взяша, и скоты поимаша» (560). В других случаях летописец применял выражение «много зла створиша» к явно положительным персонажам. Так, русские князья, воевавшие с половцами, говорили о себе с удовлетворением: «Се, братье, половцемъ есме *много зла створили*, веже ихъ поимали есмы, дети ихъ поимали есмы, и стада, и скоть» (541, под 1170 г.) По-видимому, выражение «много зла створили» служило у летописца официальной формулой ушерба, прикладываемой к любым персонажам.

О том же свидетельствуют неожиданные детали в рассказе о неудачном походе русских князей на Новгород Великий. Только что летописец злорадствовал по поводу того, что напавшие «не успеша ничто же», но тут же вроде бы их пожалел: «не бысть бо николи же толь *тяжька* пути людемъ симъ» (560. Ср., как летописец пожалел одного из князей: «*тяжко* бысть ему, зане не бысть помочи ему ни откуда же» — 445, под 1151 г.). И тут же летописец добавил осуждение: «кониину едоша и въ великое говение, — се бысть за наша грехы» (560—561). Так что в слове «тяжкий» не стоит искать проявления сочувствия летописца. Это была официальная фиксация некоей труд-

ности, и только. Экспрессивные выражения начали превращаться в официальные формулы.

Упоминание о Давиде

И возиидоша иноплеменьници на Русалимъ и вземши дщицю скрижали завета Господня ... и святыню завета Господня плениша. И ни по колицехъ летъ, яко же исповедаютъ Царския книги, опять возвратить Господь скрижали завета Господня во Иерусалимъ, пред нима же боготецъ Давидъ веселия исполнися, скакаше, играя⁵⁶.

Семантика отрывка. На первый взгляд, перед нами обычный пересказ библейского сюжета летописцем (Первая книга Царств, гл. 4; Вторая книга Царств, гл. 6). Но упоминание летописца о Давиде отличается от библейского текста одной любопытной деталью: Давид *«веселия исполнися»*. Такого замечания о «веселии» Давида нет в Библии. Фактически летописец сделал, пусть мелкое, но собственное дополнение к библейскому изложению.

Чем объяснить упоминание о «веселии» Давида у летописца? Летописец не имел какого-то особого мнения о Давиде и вовсе не склонен был к описанию эмоций у летописных персонажей. В отличие от Библии, летописец подчеркнул не внешнюю помпезность, а внутреннюю атмосферу иерусалимского действия. Если в Библии описывалась только внешняя церемония («играюще въ органы, устроеных въ крепости и пениих, и въ гусях, и въ свирелехъ, и в тимпанех, и въ кимвалех ... скачуца, играюще» — «Острожская библия». 1580. Вторая книга Царств. Л. 142 об. — 143), то летописец опустил все «музыкальное сопровождение» церемонии, но добавил ссылку на «веселие». Больше того, летописец не просто упомянул «веселие», но написал, что «Давидъ веселия *исполнися*», то есть буквально наполнился веселием. Если в Библии Давидово «скакание» было даже порицаемо как несоответствующее его царскому статусу, то в летописи деталь «скакаше играя» уже означала настолько буйное веселье Давида, что оно прорвалось в бурное действие.

Для обозначения насыщенной атмосферы праздника летописец упомянул как бы об участии Бога в торжестве: «опять возвратить Господь скрижали завета Господня во Иерусалимъ». Так что «веселие» Давида представало глубоко оправданным чувством.

В свою очередь можно спросить, что же побудило летописца привлекать внимание именно к «веселию» Давида. Думается, что причи-

ной послужила официозная оптимистическая настроенность киевского летописца. Ведь упоминание Давидова «веселия» летописец в данной статье приурочил к только что разразившемуся несчастью — ко взятию Иерусалима сарацинами: подобно тому, как библейская святыня в свое время была возвращена в Иерусалим, так и теперь Иерусалим будет возвращен христианам; по этому поводу летописец высказал нечто расплывчато обнадеживающее: «намъ же укоренымъ сушимъ, понось приимающимъ от безаконныхъ техъ агарянь, и чающе есмы Божия благодати и лика преславна» (656).

Умонастроение летописца. Мотив торжественного и благочестивого веселья так многократно и настолько единообразно повторялся в летописи, что летописца, действительно, можно заподозрить в стойком официозном оптимизме. В подавляющем большинстве случаев этот мотив относился к современности летописца, чаще всего ко всякого рода княжеским праздникам. Вот типичный пример. В рассказе под 1151 г. летописец подчеркнул торжественность праздничного въезда князей в Киев, среди прочего, и мотивом благочестивого веселья: «и ту поклонившеся святеи Софье и святеи Богородици Десятиньней и пребыша у велице весельи и у велице любви» (441).

Точно по той же схеме, с обязательным упоминанием благочестивого «веселия», летописец составил однообразные рассказы о различных праздничных свиданиях князей, в том числе о многочисленных княжеских обедах («похвали Бога и силу животворящаго креста и пребыша у велице любви и у велице весельи» — 461, под 1152 г.; «и тако обедавше, быша весели» — 386, под 1149 г.).

Эта официозно-бодрая фразеология сообщений о княжеских торжествах была использована и в упоминании древнего празднества с участием веселящегося библейского Давида, а также при описании совсем иных торжеств, вовсе не официальных. Так, когда казнили ненавистного мучителя людей, чересчур ретивого ростовского епископа Федорца, то народное ликование по этому поводу летописец описал по той же официальной схеме: «христьяни, избавлени Богомъ и святою Богородицею, радующеся глаголаху и веселящесея» (553, под 1172 г.).

Подобная официозная заштампованность летописных рассказов свидетельствует о раннем зарождении официальной литературы на Руси — уже в XII в., притом в условиях развивающегося областничества.

VII. «Слова» Кирилла Туровского: изобретательный растолкователь

«ПРИТЧА О ЧЕЛОВЕЧЬСТЕЙ ДУШИ И О ТЕЛЕСИ»

Рассуждение о создании человека

Преже Бог созда тело Адамле бездушно, потом же душу. По созданию бо тела, глаголетъ Писание, и дуну на лице его дух животен. Тем же тело без душа хромо есть и не наречеться человек, но труп. Смотри сде и разумей от Бытийских книг. Створи Бог тело вне рая и внесе е в едем, а не в рай. Яко се кто бы, на пир зовый, преже уготоваеъ обильну пищу, ти потом приведетъ званаго, тако и Бог преже уготоваеъ ему жилище — едем, а не рай⁵⁷.

Семантика отрывка. Пересказ библейского сюжета о создании человека явно отличался у Кирилла Туровского от Библии. Библия вовсе не утверждала, как это делает Кирилл, что Бог внес в едем тело человека, пока еще не наделенное душой; напротив, оживление человека, по Библии, произошло не в эдеме, а еще вне его, где-то на земле: «И създа Богъ человека, персть въземь от земля. И въдуну въ лице его дыхание жизни, и бысть человекъ въ душу живу. И насади Богъ раи на востоцехъ въ едеме. И въведе ту человека, его же созда» («Острожская библия»). 1580. Бытие, гл. 2. Л. 1 об.).

Отчего же Кирилл вставил отдельный эпизод — внесение тела человека в едем? Скорее всего, оттого, что начальная биография человека представлялась Кириллу составленной из последовательных материальных событий: «Бог созда тело Адамле бездушно ... труп» — «Бог преже уготоваеъ ему жилище — едем» — «внесе е в едем» — «созда ... душу ... дуну на лице его» — все это происходило «вне рая». Кирилл постарался упорядочить не очень ясное изложение Библии, основываясь на бытовой аналогии с приготовлениями к пиру. Свой аналитический метод изложения и его цель Кирилл тут же и обозначил: «Послушайте же со вниманиемъ, да *по ряду беседу скажемъ*, и вы со вниманиемъ смотрите ... ползы ради слушающихъ пишемъ» (342). «По ряду сказать» — значит, растолковать.

Умонастроение Кирилла. В указанном «Слове» Кирилла немало примеров присущего ему растолковательного предметного аналитизма, прежде всего в сообщениях об Адаме («коснуся ... простре руку и возметь от древа» и пр. — 344). Подобную манеру изложения у Кирил-

ла кратко уже отметил И. П. Еремин: пересказывая Библию, Кирилл «дополнял сюжет подробностями, отсутствующими в источнике. Вводил новые эпизоды ... допускал вымысел», каждый «рассказ разбит на дробные эпизоды»⁵⁸; «пересказ “вольный”, расцвеченный разного рода добавлениями “от автора”»⁵⁹, «чтобы заполнить собой условно-риторическую “пустоту” темы»⁶⁰.

«СКАЗАНИЕ О ЧЕРНОРИЗЬЧЬСТЕМЬ ЧИНУ»

Напоминание об исходе евреев из Египта

Замешено же тесто несяху, поне же не даша им испечи. Борзаго ради шьствия възложиша опреснькы на главы своя, и тако от солнца искошася⁶¹.

Семантика отрывка. Не известно, откуда Кирилл взял экстравагантный эпизод с несением опресноков на голове. В Библии изложено иначе: «Взяша же людие муку прежде възкисения тесту ихъ, и, въвязавше въ ризы, възложиша на рамы своя» («Острожская библия. Исход, гл. 12. Л. 30 об.). Не упоминается несение опресноков на голове ни в апокрифическом «Житии Моисея», ни в «Хронике» Георгия Амартола, ни в «Хронографе», ни во включенной в летопись «Речи философа».

В данном случае внимание Кирилла было поглощено внешним видом и одеянием людей; поэтому он продолжил повествование следующими любопытными деталями: от опресноков на головах «использшем власом, и быша на всех плещи ... и ризы же на них растяху» (355). Опресноки на головах были представлены Кириллом как своеобразный головной убор.

Умонастроение Кирилла. В своем «Слове» Кирилл говорил о приличествующем внешнем виде монахов и оттого постоянно упоминал должную их одежду: «искусные ризы мнишьскаго образа» (354), «смотри своих риз обълчения» (355), «ризы же не славны и не мякъкы любви, но растуша, сиречь многыми пошивая заплатами» (356), «четверьроконьчна манотью носять» (359), «не ризами светлыми буди славен» (361) и т. д. и т. п.

Но для ученейшего проповедника разговор о монашеской одежде был поводом для экскурсов в собрание библейских и церковных одеяний вообще, и Кирилл упоминал одежды, начиная с Адама («Адамов смоковный лист одение» — 359); перечислял части наряда ветхозавет-

ного Аарона («стихарь убо от багра ... пояс же усянь ... на пърсех же положи пяди уткано и с 12 каменема ефуд» и пр. — 358); не забывал об одежде Христа («обълчения Христова ... Съвлекоша бо с него ризы его и облекоша ѱ в ризу червлену» — 359) и об одежде разбойников, судимых вместе с Христом («разбойники и от них одежда обнажену» — 358); указывал даже на одежду третьестепенных новозаветных персонажей — Акилы и Прискиллы («черны от сукна отвориста си ризы» — 356); доходил до одеяния женщин («должна ест жена ... имети покров на главе» — 360); наконец, недобрым словом поминал современных ему богатых монахов («ризы изменяющих ... тряпезу с пивом творяща» и мн. др. — 357) и предсказывал «одежное» наказание порочным («на онуче растерган будеши» — 355).

В сознании Кирилла существовала как бы целая выставка (или энциклопедия) одежд, из которых те или иные он извлекал по мере истолковательной надобности. Недаром он сравнил себя с собирателем отдельных колосьев на ниве: «Несмь бо женьци, но класосьбиратели ... Мы грубая чадь» (361).

«Слово о сънятии тела Христова с креста»

Рассказ об Иосифе Аримафейском

Ныня же Иосифа благообразнааго ... похвалим..., его же евангелист богата нарицаеть, пришьдъша от Аримафея. Бе бо рече — и ть ученик Иисусов ... и въ время страсти вольныя Спасовы виде страшная в твари чудеса, солнце помъркъше и землю трясущюся, страха исповивься и дивяся, приде въ Иерусалим. И обрете тело Христово, на кресте наго и прободено висяще, и Марию, матерь его, съ единемъ ученикомъ тому предъстоящю, яже от болезни сердца горце рыдающи... И си слышав, Иосифъ приближися къ горко рыдающей матери... Дерзнув, вниде къ Пилату и въпроси... И си вся слышав от Иосифа, Пилат дивися... И уведав, дасть тело Иосифу, да его погребеть, яко же хоцеть. И купив плащаницю, сънят тело Иисусово съ креста... И положиша ѱ в гробе⁶².

Семантика отрывка и умонастроение Кирилла. Краткий евангельский рассказ об Иосифе Аримафейском (Матфей, гл. 27, стихи 57 и 59; Марк, гл. 15, стихи 43 и 45; Лука, гл. 23, стих 50; Иоанн, гл. 19, стих 38) был растянут Кириллом на всю его проповедь. Кирилл по своему обыкновению превратил эпизод с Иосифом в последовательный раз-

вернутый сюжет, сконтаминировав различные евангельские детали, а какие-то придумав сам. Но самым большим новшеством явились чрезвычайно пространные речи евангельских персонажей, сочиненные плодовитым Кириллом. Богородица перед крестом произносила длинную горестную речь, а потом обращалась с риторической просьбой к Иосифу, чтобы он пошел к Пилату. И тут Иосиф произнес перед Пилатом огромную проповедь. Затем, после того, как тело Христа было обернуто в плащаницу, Иосиф «въпияше» новую речь. Далее ангелы выступили с речами, и особенно долгой была заключительная речь ангела к женам-мироносицам.

Подобная вставка речей персонажей в проповедь служила у Кирилла средством придания нарядной ясности его сочинению: «Яко же бо и пленица златы, растворены жъньчюгомь съ многоцѣннымъ каменемъ, веселять зрящих их на ня очи» (419).

«СЛОВО О РАСЛАБЛЕНЕМЪ»

Речь расслабленного

Врачем издаях все мое имение и помощи уллучити не възмогах... Знаемии мои гнушаються мене, смрад бо мой всякая утехы лиши мя, и ближнии мои стыдяться мною... Нъ чрево ми пища жаелаеть, и язык от жажа исыхаеть... Нъ не тъкмо вьстати с одра, нъ ни подвигнути себе не могу, нозе имею непоступьне, руце же не тъчию безделне, нъ ни осязати себе тема съвладаю⁶³.

Семантика отрывка и умонастроения Кирилла. В отличие от достаточно краткого евангельского рассказа об исцелении парализованного человека Иисусом Христом (Матфей, гл. 9, стихи 2—8; Иоанн, гл. 5, стихи 5—15), ретивый проповедник включил всякого рода добавления в своей пересказ евангельской легенды и, в частности, сочинил большую речь расслабленного к Иисусу Христу. Хотя расслабленный обещал быть кратким («нъ аще мя еси о сдравии, Владько, въпросил, то крътьце послушай моего ответа» — 332), но он, видимо, имел в виду малость перечисления из множества своих мучений, а не собственно длину речи, отрывок из которой (а не вся речь и не все мучения) приведен нами выше.

Надо отметить, что никакой жалости к расслабленному Кирилл не проявил, но, напротив, ввел далее довольно мерзостные детали (расслабленного «от всех бо плъвание слин покрываеть» — 333), намекнул

на прошлую греховность расслабленного и вставил не менее большую ответную речь Христа, осудившего расслабленного за отчаянные вопли. Логичный Кирилл большой речью расслабленного просто попытался растолковать трудности положения этого парализованного персонажа («болезни напасть исповед» — 332), в том числе — как же без этого — трудности материальные («не имею же ни имения, да бых си единого умздил о мне пекущаяся человека, яко зле расточих даное ми ... богатство» — 333).

Преобладание сосредоточенной растолковательности над эмоциональностью вообще было характерно для Кирилла. Ср., например, формально-предметное описание нищего в «Повести о белоризце человеце»: «сидяще мужь, в последний нищете жива, худыми оболчен ризы ... ту бо яриг, и власяница, и сукняныя одежа, и от козых кож оболченья»⁶⁴. Рассудительны обозначения горя даже в плаче Богородицы в «Слове о снятии тела Христова с креста». Богородица анализирует свое состояние: «Что ти ныня възплачу? ... горко уязвляюся душею... Радость мне отселе никакже прикоснется... Ныне ... радости же и веселия ... лишена бых ... растързаюся утробою ... дущевною рыдаю объята горестию, дивящися...» и т. д.⁶⁵

И не только о печальных, но и о радостных событиях Кирилл повествовал с той же неуклонной логичностью, например, в «Слове на възнесение Господне», где на горе Елеонской, по рассказу Кирилла, провожают Христа на небо праотцы, патриархи, пророки, апостолы, ученики, а ангелы и архангелы готовят облака и небесные врата для Христова вознесения; все поют; гора светится, как солнце; Бог-отец ждет вознесения и т. д. Все это Кирилл перечислял для того, чтобы убедительно растолковать величие праздника («да поистине сий праздник пълн есть радости и веселия. Радость на небесех ... и на земли веселие всей твари»⁶⁶). Что-то в «Словах» Кирилла Туровского напоминает гораздо более позднего схоласта Симсона Полоцкого.

* * *

Наш общий вывод будет очень кратким. Пересказы библейских сюжетов в XI—XII вв. присутствовали преимущественно в произведениях официальных или у официальных авторов. Осмысление библейских сюжетов у одних авторов было глубокомысленным («Повесть временных лет», Кирилл Туровский), у других — шаблонным («Чтение о Борисе и Глебе», «Киевская летопись»), у третьих — эмоциональным

(Иларион, Владимир Мономах, Климент Смолятич). Эти три направления в осмыслении библейских сюжетов появились одновременно и развивались параллельно (возможно, и пересекались) и, кажется, становились все формальнее. Древнерусская литература XI—XII вв. с самого ее начала отличалась исключительно живым разнообразием и затем медленно стабилизировалась — это видно даже на сравнительно небольшом материале библейских пересказов.

Примечания

¹ См.: *Данилевский И. Н.* Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.

² ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 5. Далее столбцы указываются в скобках.

³ См. разночтения: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 5; Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 4—5; *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1. С. 4—5, 375.

⁴ *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 4.

⁵ См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 44—45, 74; *Истрин В. М.* Книги временья и образья Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. С. 57—58.

⁶ Это заметил Д. С. Лихачев, см.: Комментарии // Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 385.

⁷ Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997. С. 92—93.

⁸ ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1 / Текст памятника подгот. С. П. Розанов. С. 30.

⁹ *Истрин В. М.* Книги временья и образья Георгия Мниха. Т. 1. С. 57.

¹⁰ См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 152—154, 231; *Лихачев Д. С.* Комментарии. С. 454—455; *Свердлов М. Б.* Дополнения // Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 614.

¹¹ См.: *Демин А. С.* «Подразумеваемое» повествование в «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2005. Сб. 13. С. 519—579.

¹² См.: *Лихачев Д. С.* Комментарии. С. 305; *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 9—17; 365—367; *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 539—540.

¹³ См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 427—428.

¹⁴ См.: *Лихачев Д. С.* Комментарии. С. 395, 456—457.

¹⁵ Памятники отреченной русской литературы / Изд. подгот. Н. С. Тихонравов. СПб., 1863. Т. 1. С. 233, 235.

¹⁶ См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники. С. 50—51.

¹⁷ *Истрин В. М.* Книги временныя и образныя Георгия Мниха. С. 306.

¹⁸ Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот. А. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999. С. 40.

¹⁹ Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 13.

²⁰ См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 80—81.

²¹ См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 151—153.

²² Жития святых мучеников Бориса и Глеба... С. 47.

²³ См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 111—112.

²⁴ Идеино-философское наследие Илариона Киевского / Текст «Слова» подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1. С. 26.

²⁵ *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. С. 381—382, 387, 389.

²⁶ *Пытин А. Н.* Ложные и отреченные книги русской старины // Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862. Вып. 3. С. 173.

²⁷ См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 333.

²⁸ О возможных источниках см.: *Свердлов М. Б.* Дополнения. С. 639.

²⁹ ПСРЛ. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись / Текст подгот. А. А. Шахматов. Стб. 263.

³⁰ Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 471.

³¹ Все они идентифицированы: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 151—153.

³² Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1 / Текст памятника подгот. Н. И. Милютенко. М., 1997. С. 318, 320.

³³ См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 280—284.

³⁴ См.: *Демин А. С.* Семантика перечислений и манера повествования в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона // Свободный взгляд на литературу: Проблемы современной филологии. М., 2002. С. 141—145.

- ³⁵ См.: *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. 1. С. 72, 193.
- ³⁶ См.: *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 114, 164—165.
- ³⁷ См.: Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. С. 144; Древнерусские летописи / Перевод и комментарии В. Панова. М.; Л., 1934. С. 5—6.
- ³⁸ См.: *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893. Т. 1. Стб. 891.
- ³⁹ *Срезневский И. И.* Указ. соч. Т. 1. Стб. 770.
- ⁴⁰ Ср. в других памятниках: *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1902. Т. 2. Стб. 289.
- ⁴¹ О значениях этих глаголов см.: *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1912. Т. 3. Стб. 748—749, 766.
- ⁴² Идеино-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. С. 15.
- ⁴³ Ср.: Идентификацию см.: Идеино-философское наследие Илариона Киевского / Комментарии Т. А. Сумниковой, В. В. Милькова и А. И. Макарова. С. 71. Далее пользуемся идентификацией библейских мест у Илариона из названных комментариев.
- ⁴⁴ ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. С. 253.
- ⁴⁵ См.: *Демин А. С.* Поэтика древнерусской литературы: (XI—XIII вв.). М., 2009. С. 104—110.
- ⁴⁶ Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 9.
- ⁴⁷ См.: *Демин А. С.* Поэтика древнерусской литературы: (XI—XIII вв.). М., 2009. С. 23—25.
- ⁴⁸ ПЛДР. XII век. М., 1980 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. С. 286.
- ⁴⁹ О ней см.: ПЛДР. XII век. С. 659.
- ⁵⁰ См.: Библиотека литературы Древней Руси. М., 1997. Т. 4.
- ⁵¹ Цитаты приведены по изд.: Архангельское евангелие 1092 года / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М., 1997. С. 149—151.
- ⁵² Об этом см.: *Еремин И. П.* Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М.; Л., 1966. С. 98—131.
- ⁵³ ПСРЛ. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись / Текст подгот. А. А. Шахматов. Стб. 561, под 1173 г.
- ⁵⁴ Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII века, между 1214 и 1219 годами / Изд. подгот. М. А. Оболенский. М., 1851. С. 80, под 1173 г.

⁵⁵ ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 361—362, под 1169 г.

⁵⁶ ПСРЛ. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Стб. 655—656, под 1187 г.

⁵⁷ *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 342.

⁵⁸ *Еремин И. П.* Литература Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 147, 149.

⁵⁹ *Еремин И. П.* Лекции и статьи по истории древней русской литературы. 2-е изд., доп. Л., 1987. С. 88.

⁶⁰ *Еремин И. П.* Литература Древней Руси. С. 136.

⁶¹ ТОДРЛ. Т. 12. С. 355.

⁶² *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 419—423.

⁶³ *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 332.

⁶⁴ ТОДРЛ. Т. 12. С. 348, 351.

⁶⁵ ТОДРЛ. Т. 13. С. 419—420.

⁶⁶ ТОДРЛ. Т. 15. С. 343.

«ОПРЕДЕМЕЧИВАНИЕ» АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОЭТИКА ПРЕВРАЩЕНИЙ В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XI—XII ВВ.

**(«Слово о Законе и Благодати», «Сказание о Борисе
и Глебе», «Слово о полку Игореве»)**

Поиски столь ценимых нами образных явлений в древнерусских текстах приводят нас к любопытному факту — к «опредмечиванию». Под «опредмечиванием» мы понимаем смысловое превращение абстрактного объекта в предметный объект, воображаемое автором произведения и выраженное в тексте при сочетании абстрактных или отвлеченных существительных с предметными глаголами (при условии, что предметный смысл глагола не заменился абстрактным). Подобные образные превращения — это не сравнения, не метафоры, не символы, а особое явление поэтики, мало изученное, на которое мы обратим внимание на примере тех памятников XI—XII вв., где этот феномен представлен наиболее обильно.

Главная наша задача — доказать, что образные превращения на уровне словосочетаний действительно существовали в поэтике древнерусских произведений.

«Слово о Законе и Благодати» Илариона

В «Слове о Законе и Благодати» много символики, и поэтому прежде всего скажем о различии смысла символического и смысла предметно-образного. Так, «Слово» свое Иларион завершил пожеланием князю Ярославу Мудрому: «пучину жития преплутити, и въ пристанищи небеснаго заветрия пристати, невредно корабль душевныи — веру — съхраньшу, и съ богатством добрыими делы, безъ блазна же, Богомь даныа ему люди управивьшу, стати непостыдно пред престоломь вседержителя Бога»¹. Приведенный отрывок имел у Илариона одновремен-

но двойной смысл — символический (обозначение качества объекта) и смысл образный (превращение абстракции в предмет). Символический смысл понятия «жизнь»: пучина — символ опасности земной жизни; тихое пристанище — символ жизни небесной; корабль — символ духовности человека; перевозимый богатый груз — символ добрых дел и т. д. Общий иносказательный смысл отрывка: торжественно-риторическое пожелание Илариона князю жить благочестиво и после кончины быть принятым на небеса.

Предметно-образный же смысл этого отрывка был иным: жизнь человека превратилась в плавание и представлялась Илариону в виде картины благополучного путешествия корабля по морской пучине к безветренному порту с сохранением экипажа и богатого груза.

Объяснить оба смысла приведенного отрывка нетрудно. Символическое иносказание отразило риторический пафос проповедника, а предметно-образное превращение жизни в плавание появилось для придания яркости пожеланию Илариона.

Среди множества абстрактных понятий, использованных Иларионом в «Слове», более 30 понятий (а это немало) имели образные оттенки и превращались во что-то предметное. Чаще всего, в соответствии с главной темой «Слова», Иларион повторял понятия «благодать», «закон», «вера», и у каждого из этих понятий выделялся свой предметно-образный мотив. Благодать напоминала некое живое существо, «биографию» которого обозначил Иларион: благодать ожидала «времене сънвити ми на землю»; затем на земле «родися благодать» как человек («сынъ») и понемногу росла («еще не у благодать укрепила бяше, нь дояшеся ... егда же уже отдоися и укрепе, и явися благодать Божия всемъ человекомъ въ Иорданъстеи рече»); появились у благодати дети («видевши ж свободная благодеть чада своа христианы»); и благодать с земли обращалась к Богу («възьпи къ Богу») (15—16).

Однако к созданию единого образа благодати Иларион вовсе не был расположен. Благодать у него то вдруг становилась водой или вином («и Христова благодать всю землю обьять и, яко вода морьскаа, покры ю ... дождь благодетныи оброси» — 18—19); «вливають ... вина ... благодетьна въ мехы» — 23); то благодать испускала сияние («лепо бо бе благодати ... на новы люди въсиати» — 23); то благодать превращалась в солнце («человечество ... въ благодети пространо ходитъ ... при благодетьнеим солнци» — 17). Разные образные мотивы Иларион находил от случая к случаю с одной целью: подсобными

элементами образности сделать ярким иносказательный смысл своей речи.

То же происходило при упоминаниях веры и закона.

Самым же распространенным предметно-образным мотивом у всей массы абстрактных понятий в «Слове» являлось их превращение в живительную жидкость («еуагельский же источник наводнився, и всю землю покрывъ, и до насъ разлися ... вьнезапу потече источникъ еуагельский, напаяя всю землю нашу» — 23—24; «пиемъ источникъ нетления» — 25; «испи памяти будущая жизни сладкую чашу» — 29; «дождемъ Божиа поспешениа распложено бысть» — 34; и пр.). Как это объяснить?

Иларион в своем «Слове», судя по «опредмечиванию» понятий, выразил оптимистическое ощущение всеобщего благополучия («възвесеются и възрадутся языци» — 26). Поэтому понятия с отрицательным смыслом получили образные обозначения мертвящего зноя, сухости и гибели (например: «идольскому зною исушивъши» — 24; «законное езеро прасеше» — 23; «оттрясе прахъ невериа» — 27). Соответственно свет побеждал тьму, жажда утолялась питьем, засуху прекращал дождь и т. п.

Представление о благополучии Руси Иларион выразил, также превратив положительные абстрактные понятия в обозначения свежей чистоты и ладной одежды и обуви (например: «правдою бе облечень, крепостию препоясанъ, истиною обувь, съмысломъ венчанъ, и милостынею, яко гривною и утварью златою красуюся» — 34. Еще: «въ нетление облачить» — 19; «въ лепоту одеша» — 28—29). И напротив, отрицательное с себя снимали («съвлече же ся... и съ ризами ветъхааго человека съложи тленьнаа» — 27).

«Опредмечивание» абстрактных понятий Иларионом наверняка было связано с библейской и византийской литературной традицией; но отчего так густо такая образно-иносказательная манера изложения заполнила «Слово о Законе и Благодати»? На этот вопрос ответил сам Иларион, предупредив, что он повествует, очевидно, в новой для Руси, очень учено-философской манере, заставляющей думать, для интеллектуальной элиты, для подготовленных слушателей и читателей («ни къ неведущимъ бо пишемъ, нъ преизлиха насыштьшемся сладости книжныа» — 14), однако ради ясности восприятия говорит, «опредмечивая» абстракции. «Слово о Законе и Благодати» Илариона свидетельствует о существовании, хоть и не самостоятельных и очень специфических,

элементов образности с самого начала оригинальной (непереводной) древнерусской литературы.

«Сказание о Борисе и Глебе»

После «Слова о Законе и Благодати» прошло больше полувека, и обильное «опредмечивание» абстракций дало знать о себе в «Сказании о Борисе и Глебе», но «опредмечивание» абстрактных понятий, обозначавших преимущественно настроения и чувства человека. Чаще всего, опять-таки в связи с главной темой этого произведения, анонимный автор «опредмечивал» печаль и тугу.

Вот, например, высказывание Бориса о печали: «къ кому сию горькую печаль простерети?»². Главный смысл словосочетания «печаль простерети», разумеется, переносный (поделиться с кем-нибудь своим горем), но некоторый предметно-образный оттенок вносил глагол «*простерети*», который в книжности обычно ассоциировался с протягиванием рук: распространенность данной фразеологической ассоциации хорошо (репрезентативно) демонстрируют произведения конца XI — начала XII в., современные «Сказанию о Борисе и Глебе», — «Повесть временных лет», «Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского» и др. (а также «Успенский сборник» в целом). Там этих примеров, особенно простирания рук, множество. Так что в словосочетании «печаль простерети» печаль скрыто и слабо мыслилась автором как объект, протягиваемый руками персонажа. Тем более что руки этого персонажа упоминались перед данной фразой: «своима рукама съпряталь». Словосочетание «печаль простерети» у автора «Сказания» не являлось символом, но относилось к иной категории поэтики — невному превращению абстрактного понятия в предмет в момент высказывания: печаль на миг стала представляться материальной вещью или горьким веществом, протягиваемыми по направлению к кому-либо.

Нельзя исключить, что выражение «печаль простерети» возникло у автора по аналогии с традиционным выражением о возложении своей печали на Бога (ср.: «печаль свою на Бога възложь»; «всю печаль свою възвьрзи къ Богу»³). Автора «Сказания» привлекла экспрессивность и яркость выражения «горькую печаль простерети» (сравнительно с нейтральными выражениями «поведать о печали», «сказать о печали»). Средством выразительности дополнительно служил пространственный оттенок (наряду с предметным оттенком) в высказывании «къ кому ... печаль простерети: къ брату ли?» (ведь брат находился далеко, и Борис

со своей печалью еще только шел к брату: «къ кому прибегну... Се да иду къ брату моему» — 29—30).

Второй случай «опредмечивания» печали в «Сказании» тоже относился к Борису: «И узрѣста попинь его и отрокъ, иже служааше ему, и видевьша господина своего дряхла и печалию *облияна* суща зело» (34—35). Глаголы «обляяти», «обливати», «разливати» традиционно ассоциировались с разлитием жидкости (ср. «Успенский сборник»: «водою обляяти», «росою обливаше» — 241, 214), но чаще всего ассоциировались с разлитием слез (ср. в «Сказании» о Борисе же: «вьсь слъзами обляивъся», «слъзами разливаашеся вьсь» — 36, 31), а слезы ассоциировались с лицом (см. в «Сказании» о Борисе: «лице его вьсе слъзь испълнися, и слъзами разливаяся»; о Глебе: «слъзами лице си умывая ... вьсь слъзами разливаяся» — 29, 41). Так что выражение «печалию облиян» имело предметный оттенок у автора «Сказания», и печаль на миг превращалась в жидкость и ассоциировалась с лицом персонажа, облитым слезами. Ассоциация «печаль — льющиеся слезы» наверняка традиционная (ср. в «Успенском сборнике»: «излееве печаль очима» — 400). Выражение «печалию облияна суща зело» понадобилось автору тоже благодаря своей выразительности и экспрессивности (на фоне нейтральных выражений «печалитися», «бьйти в печали»).

Третий случай «опредмечивания» печали относился уже к «туге» Глеба: «туга състиже мя» (40; в других списках — «постиже»). Глаголы «състиже», «постиже» в данной ситуации обозначали «настичь кого-то или что-то кем-то» (ср. в «Успенском сборнике»: Феврония «ишедь ... и постигши множество много женъ ... и постиже Фамаиду на пути» — 239; Феодосия «вьскоре текъше, постигоша патриаръшьскыи домъ» — 252. Ср. еще в «Повести временных лет»: «постиже и ту и победи»⁴). Туга в выражении «туга състиже мя» неотчетливо представляла неким агрессивным существом, настигшим персонажа или даже напавшим на него. Конечно, и этот предметный оттенок был традиционным (ср. в «Успенском сборнике»: «ни едина бо туга прикоснетъ ся сущихъ въ корабли»; «бедно дело постиже ны ... приближая ся къ нама» — 291, 181). Выбор выражения понятен: «туга състиже мя» ярче и экспрессивнее, чем «я тужу».

Автор «Сказания» употреблял и иные, не «опредмечивающие», но экспрессивные выражения, относившиеся к печали (например: «И бяше ... въ тузе и печали ... И бяше сънь его въ мнозе мысли и въ печали

крепъце, и тяжъце, и страшъне» — 33). При этом автор все же, вероятно, ощущал, что выражения о печали с предметно-образным оттенком наиболее экспрессивны, и поэтому вспоминал о них в самые острые, можно сказать, театрализованные моменты своего повествования, когда печальные персонажи появлялись на публике или горевали при возбужденных зрителях.

«Сказание» наполнено множеством выражений, «опредмечивающих» абстрактные понятия. Так, душу и сердце автор обозначал как некие замкнутые пространства («въ души своеи стонааше» — 31; «глаголаше въ срьдци своемь ... полагая въ срьдци» — 30; «въниде въ срьдце его сотона» — 38); или как существа, вещи или орудия («вижь скръбь срьдца моего и язву душа моя» — 41; «сердце ми горить» — 29; «душу изимающе» — 40; «предавъ душу свою въ рuce Бога жива» — 37; «вижь съкрушение срьдца» — 42; «възнесея срьдцьмь» — 43; и т. п.). Некоторые абстракции становились жидкостями («почьреплють ицеление» — 50; «милость твою излеи» — 51). Довольно много абстрактных понятий выступало в роли агрессивных существ («жалость ... сънестъ мя, и поношения ... нападутъ на мя» — 38; «рана ... приступитъ къ телеси твоему» — 50; «болезни въси и недугы отъгонита» — 49; «убежати от прельсти» — 35 и пр.).

Мы не станем углубляться в область очень древних мифологических представлений славян о ныне абстрактных понятиях. Отметим только, что «Сказание о Борисе и Глебе» свидетельствует о том, что элементы образности стихийно проникали в произведение в моменты сильной экспрессии автора. Поэтому образное «опредмечивание» абстракций редко встречалось в произведениях на ту же тему, но иных по стилю: в фактографичной летописной статье «Об убьеньи Борисове» и в суховато-учительном «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора.

В отличие от пафосного «Слова о Законе и Благодати» Илариона, в «Сказании о Борисе и Глебе» эмоциональное «опредмечивание» абстракций осталось отрывочным и не связалось в единое смысловое целое, в «образ мира». Эту дробность образных мотивов можно объяснить как следствие литературной работы автора, предположив, что «Сказание» было составлено из разнородных кусков. Но тут необходим особый текстологический анализ «Сказания». Однако недаром в «Сильвестровском сборнике» XIV в. разнородность «Сказания» была продолжена, и в «Сказание» кто-то дополнительно вставил отрывки из «Повести временных лет» под 1015—1018 гг.

«Слово о полку Игореве»

В конце XII в. в «Слове о полку Игореве» случаев «опредмечивания» абстрактных понятий, их превращения в материальные предметы или существа стало еще больше, чем в «Сказании о Борисе и Глебе» (70 или более). Чаще всего, в соответствии с темой «Слова», автор «опредмечивал» такие понятия, как «туга, печаль, тоска, труд, жалость», а также «мысль» и «слава». Туга представляла в «Слове» растением. Например, во фразе «чръна земля подь копыты костыми была посеяна, а кровию поляна, тугою взыдоша по Руской земли»⁵, битва превращалась в посевную работу, поле битвы превращалось в плодородный чернозем, конские копыта — в мотыги, кости — в семена, а интересующая нас туга представляла растительными всходами.

Но затем в тексте «Слова» туга мимолетно вдруг становилась чем-то вроде агрессивного существа («туга умь полонила» — 50), а потом — каким-то предметом, напоминающим пробку («тугою имь тули загче» — 55). Тоска и печаль, в свою очередь, оказывались жидкостями («тоска разлися по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи» — 49); «трудъ» (то есть та же печаль) превращался в вещество, растворимое в вине («чръпахуть ми синее вино, съ трудомь смешено» — 50); а жалость объявлялась страшным существом («Жля поскочи по Руской земли, смагу людемь мычючи въ пламяне розе» — 49). Постоянного превращения понятия в один и тот же объект в «Слове» не предусматривалось.

Такое же разнообразие превращений демонстрировали понятия «мысль» и «слава». Мысль, правда, не очень отчетливо: то покрывала древо или даже становилась деревом («растекашется мыслию по древу»; «скача, славию, по мыслену древу» — 43, 44); то мысль выступала в роли реального орудия реально совершаемого полета («мыслию ти прелетети, отня злата стола поблюсти» — 51; «храбрая мысль носить ваю умь на дело, высоко плаваеши на дело ... на ветрехъ ширяся» — 52); то мысль использовалась как средство землемерия («Игорь мыслию поля мерить оть великаго Дону до малаго Донца» — 55).

То же происходило со славой, которая, уже совсем неотчетливо, мыслилась сначала неким ущербным предметом («свивая славы» — 44; «притрепа славу», «разшибе славу» — 53); затем слава превратилась во что-то вроде звонящего колокола («звенить слава въ Кыеве» — 44; «звонячи въ прадеднюю славу» — 51); а потом слава предстала каким-то живым существом («слава на судь приведе ... зелену паполому постла» — 48).

Автор «Слова о полку Игореве» стремился ко многообразию предметных превращений. Больше всего абстрактные понятия в «Слове» превращались в материальные вещи. Например, души воинов напоминали шелуху от зерна («снопы стелютъ головами, молотятъ чеши харалужными, на тоце животь кладуть, веють душу отъ тела» — 54); душа же князя являлась наружу в виде роняемого жемчуга («изрони жемчужну душу изъ храбра тела чресь злато ожерелие» — 53). Княжеское слово становилось роняемым золотом («изрони злато слово» — 51). «Крамола» превращалась в металл («мечемъ крамолу коваше» — 48). Крик использовался как ограда («дети бесови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» — 47). Даже тьма материализовалась в покрывало («тьмою ... воя прикрыты» — 44; «Олець и Святославъ тьмою ся поволокоста» — 51). И т. д. и т. п.

Абстрактные понятия превращались также в жидкости (например: «грозы твоя по землямъ текуть» — 52) и в растения («сеяшеться и растяшеть усобицами» — 48), но особенно эффектно — в живые существа («въстала обида ... вступила девою на землю ... всплескала лебедиными крылы ... плещучи, убуди жирня времена ... уже лжу убудиста...» — 49; «веселие пониче» — 50 и пр.).

Превращения в «Слове» были универсальными и охватывали не только абстракции. Природные явления превращались в живых существ, наделенных чувствами («ночь стонуши» — 46; «ничить трава жалощами» — 49; «уныша цветы жалобою» — 55) или превращались в активных деятелей (например, в плаче Ярославны ветер метал стрелы «на своєю нетрудною крилцю», веял «подъ облакы», лелеял «корабли на сине море», развеивал «веселие по ковылию»; Днепр-Словутич пробивал «каменные горы» и тоже «лелеяль» корабли; солнце, словно руки, «простре горячую свою лучю» на воинов — 54—55. И ветер, и Днепр, и солнце Ярославна называла господами. В других местах «Слова» Дон по-человечески «кличеть и зоветъ князи» — 52. А Донец становится нянькой: лелеет князя «на вльнахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ ... стрезаше є» — 55. Солнце же «тьмою путь заступаше» Игорю с войском — 46; то есть тьма превращалась в нечто вроде загородки, созданной солнцем. И т. д.).

Мало того, предметы людского обихода и воинского быта тоже вели себя, как живые: струны Бояновых гуслей, а также половецкие телеги превращались в «стадо лебедеи» (44), «крычать ... рци, лебеди распущени» (46). Стяги и копыя что-то произносили: «стязи глаголють» (47);

«копия поють» (54). Крепостные стены печалились: «уныша бо градомъ забралы» (50).

Наконец, люди превращались в животных: «Боянь ... растекашеться ... серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подь облакы» (43); Игорь «поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ гоголемъ на воду ... скочи ... босымъ вълкомъ и потече по лугу Донца, и полете соколомъ подь мглами, избивая гуси и лебеди...» (55). Тут автор использовал не сравнения и не метафоры, переносящие на человека некоторые черты животных и создающие образ-«кентавр», но на время заменил человека животным, обратил человека в животное. Если в некоторых лаконичных случаях еще можно сомневаться в том, что не к метафорам ли, к сравнениям или к символам обращался автор «Слова», то при пояснительных упоминаниях звериных или птичьих примет автором ясно наблюдалось полное превращение героев в животных как оригинальный феномен поэтики «Слова о полку Игореве». Чаще всего персонажи «Слова» превращались в волков (например, «Всеславъ ... скочи вълкомъ до Немиги съ Дудутокъ», «въ ночь вълкомъ рыскаше» — 53—54; Овлурь «вълкомъ потече, труся собою студеную росу» — 55), а еще чаще превращались в птиц (например, Ярославна «зегзицею ... кычеть. Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви...» — 54; Мстислав или Роман — «высоко плаваеши ... яко соколь на ветрехъ шириаяся» — 52).

Даже части человеческого тела тоже превращались: персты Бояна — в десять лебедей; княжеские сердца — в булат («ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузе скована, а въ буести закалена» — 51).

Объяснения столь небывалого пристрастия автора к превращениям всего и вся в «Слове» мы можем выдвинуть только предположительные. Вероятно, автор конца XII в. повернулся лицом к прошлому повествовательному фольклорному и полуфольклорному стилю XI в. (или ранее) и постарался именно «старыми словесы» воспеть поход Игоря, оценив яркую и экспрессивную иносказательность «старых словес». К сожалению, подтвердить это предположение почти нечем, разве что скудными цитатами из песен Бояна в «Слове», былинной «Волх Всеславьевич» и поэтикой превращений в очень поздних полуфольклорных памятниках (например, в «Повести о Горе-Злочастии»).

Демонстративное, пожалуй, даже нарочитое обилие преимущественно благородных превращений в «Слове» сравнительно с предыдущими памятниками показывает, насколько поднаторел автор «Слова» в рыцарственных «старых словесах». Благодаря «опредмечиванию»

и обилию превращений мир «Слова» оказался заполненным огромным количеством действующих существ и предметов. Так, автор героизировал трагические события архаическим способом. Но в этом героическом мире роль Игоря получилась довольно скромной.

В заключение кратко взглянем вперед. Дальнейшая судьба «опредмечивания» абстрактных понятий и превращения объектов свидетельствует о том, что этот архаичный способ образного повествования со временем стал непонятен. Так, в «Задонщине» восходящие к «Слову о полку Игореве» отрывки с превращениями были довольно неуклюже истолкованы как символы: «то ти не орли слетосаша — съехались все князи рускыя»; «то ти были не серие волци — придоша поганые татарове»; «то ти не гуси гоготаша, ни лебеди крылы въсплескаша — се бо поганьи Мамаи приведе вои свои на Русь» и пр.⁶ Или же вместо превращений возникли реалии (например: «Жаворонокъ-птица, въ красныя дни утеха, възды под синие облакы, пои славу великому князю Дмитрею Ивановичю...» — 548). А многие отрывки с превращениями исказились в невнятные фразы.

В былине же «Волх Всеславьевич», которую считают очень древней, но, однако, известной лишь по очень поздней записи XVIII в., мотив превращений героя был огрублен до физиологического, волшебного, сказочного оборотничества Волха на какое угодно время и для каких угодно поступков в ясного сокола, серого волка, гнедого тура, горно-стая, муравья.

В «Повести о Горе-Злочастии» же в XVII в. была предпринята попытка сделать превращения Гора и Молодца раскрывающими многоликость персонажей и зыбкость жизненных ситуаций того времени. Правда, в конце повести автор вроде бы возвращался к древнейшим превращениям литературных персонажей наподобие «Слова о полку Игореве», но с характерным для XVII в. отличием: превращения были сугубо хозяйственно-бытовыми, а Горе предстало то охотником, то косарем, то рыбаком:

Молодець пошель в поле серым волкомъ,
а Горе за нимъ з борзыми вежлецы.
Молодець сталь в поле ковыл-трава,
а Горе пришло с косою вострою.

... ..

Быть тебе, травонка, посеченой,
 лежат тебе, травонка, посеченой
 и буины ветры быть тебе развееной.
 Пошель Молодец в море рыбою,
 а Горе за ним с щастыми неводами.

... ..

Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленой,
 быть тебе да и съеденой⁷.

В общем, превращения сами тоже «превращались», но в том или ином виде, кажется, никогда не выбывали из системы образных средств древнерусской литературы.

И все-таки нельзя не задаться вопросом о том, почему возникли и существовали превращения людей и людских качеств в иные предметные объекты в древнерусской литературе (наряду с приближением превращений к классическим тропам и символам). Ответ в мировоззренческом виде известен уже давно: древние мыслители считали человека родственным всему на свете. Правда, древних же русских письменных подтверждений такого представления нет. Но вот, например, в «Беседе трех святителей» по списку XVI в. (более ранние древнерусские списки неизвестны) мысль об исконной родственности человека всем явлениям в мире была высказана: «от колика части створи Богъ Адама: перьвая часть, — даде тело его от земли; второе, — даде кости ему от камени; третее, — очи ему от моря; четвертое, — мысль ему даде от скорости ангелиския; пятое, — душу его и дыхание от ветра; шестое, — разумъ его от облака; седмое, — кровь его от росы и от солнца»⁸. В «Сказании, како сотвори Богъ Адама» по списку XVII в. человек и собака оказываются родственными: «сотвори Господь собаку, и смесивъ со Адамовыми слезами»⁹.

Предполагаем также, что не последнюю роль в поэтике превращений играло пробуждение предметного авторского воображения. И вот тому подтверждение из «Слова о полку Игореве» уже не на уровне словосочетаний, а на уровне одного понятия и окружающего его контекста. Например, слово «поле» в этом знаменитом памятнике автор употреблял всегда с прибавкой устойчивого предметного представления о ровном, гладком поле: «Игорь-князь ... поеха по *чистому* полю» (46). Это поле беспрепятственно для едущих на конях, и загородить путь может лишь тьма («солнце ... тьмою путь заступаше» — 46).

Конечно, автор «Слова» знал, что поле не такое уж ровное, и упоминал «яруги» (овраги), болота, «грязивые места» и холмы (46, 47, 50); но это не заставило автора отступить от устойчивого образа плоского поля, по которому можно двигаться с огромной быстротой — «растекаться», скакать, рыскать, мчаться (например: «рища ... чрьсь поля на горы»; «по полю помчаша» — 44, 46). Более косвенно автор обозначил ровную плоскость поля тем, что при необходимости поле приходилось перегораживать («великая поля чрьлеными щиты прегородиша»; «загородите полю ворота» — 46, 47, 53). Еще более косвенно ровность поля подразумевалась, когда поле выступало как посевная площадь («въ поле незнаеме ... чрьна земля ... костью была посеяна» — 48); или как землемерная поверхность («Игорь мыслию поля мерить» — 55); или же как ровно залитое пространство («по крови плаваша ... на поле незнаеме» — 52).

Кроме того, в этом гладком поле не за что было зацепиться (поэтому «буря соколы занесе чрьсь поля широкая» — 44) и нечем прикрыться сверху (когда «пороси поля прикрывають» — 47; когда «сльнце ... простре горячую свою лучю на ... вои ... въ поле везводне» — 55; или если «почнуть наю птици бити въ поле» — 56). А ухабистое поле подвергалось уплощению («притопта хльми и яругы ... иссуши потоки и болота» — 50).

Автор «Слова» всюду имел в виду именно половецкое поле, которое простиралось очень далеко («дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» — 47).

Таково было элементарное предметно-образное представление о поле у автора «Слова о полку Игореве», в то время как в предшествующих памятниках, включая летописи, слово «поле» употреблялось лишь как логическое понятие. Один этот пример уже показывает, насколько напряженным было воображение автора «Слова», тип которого еще только предстоит определить, притом по многим разным формам и литературным средствам в «Слове».

Примечания

¹ Идеино-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1 / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. С. 35. Страницы указываются в скобках.

² Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 29.

³ Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 197, 101. Страницы указываются в скобках.

⁴ ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 146, под 1021 г. Страницы указываются в скобках.

⁵ Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов. Л., 1967. С. 48. Страницы указываются в скобках.

⁶ «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М., 1966. С. 548—549. Цитируется Кирилло-Белозерский список конца XV в. Страницы указываются в скобках.

⁷ *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии... // Сборник ОРЯС. СПб., 1907. Т. 83. № 1. С. XXI—XXII.

⁸ *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. 2. С. 448.

⁹ Пам. СРЛ. СПб., 1862. Вып. 3 / Изд. подгот. А. Н. Пыпин. С. 13. Страницы указываются в скобках.

ПРЕДСКАЗАНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI—XVII вв.

Сразу вспоминаются причудливые и страшные произведения о «конце мира», начиная с Апокалипсиса. Но в данной работе речь пойдет не об эсхатологических произведениях о «последних днях» человечества, потому что их совсем мало, переведены они были в ранний период древнерусской литературы и больше почти не пополнялись.

Однако есть другой, более долговременный, хотя и более приземленный объект изучения в древнерусских произведениях, как в переводных, так и в оригинальных, — это предсказания будущего конкретным персонажам или даже целым людским сообществам (например, войскам и отдельным народам) — уверенные, произнесенные вслух утверждения о будущем («иже хошет быти»), которое, как правило, сбудется.

Предсказания не только раскрывают отношение книжников к предсказанному будущему и к предсказателям, но и позволяют выйти к постановке малоизученной проблемы о степени ментального разнообразия древнерусской литературы в тот или иной период. До сих пор мы больше обращали внимания как раз на единообразие древнерусской литературы, на ее обязательную «этикетность», общепринятые «стили эпох» и пр.

Предсказания в произведениях, помимо Бога и ангелов, произносили преимущественно служители культов, языческого и христианского, изредка — правители и военачальники. Оттого больше всего предсказаний содержится в исторических и отчасти в житийных произведениях. Их-то мы и будем рассматривать. Далее прилагается пока еще очень неполный источниковедческий очерк памятников, содержащих предсказания.

Произведения XI—XII вв.

Из всех ранних непереводаемых древнерусских памятников «Повесть временных лет»¹ наиболее богата предсказаниями, благодаря чему можно попытаться определить, как летописец относился к предсказанному будущему.

Летописцу было чуждо олимпийское спокойствие. Главным чувством летописца при изложении предсказаний было удивление, которое он выражал парадоксами. Так, удивительное для него предсказание хазарских старейшин о будущем покорении хазар русским князьям (хотя в тот момент будущие русские — поляне — платили дань хазарам) летописец прокомментировал парадоксом: «си владеша, а после же самими владеють» (17). Другое предсказание — волхва Олегу Вещему — также было у летописца парадоксальным: «конь, его же любиши и езиши на нем, — от того ти умрети» (38, под 912 г.). Парадокс содержало и предсказание Феодосия Печерского своей духовной дочери Марии о месте ее будущего захоронения: «идеже лягу азъ, ту и ты положена будеши» (212, под 1091 г.).

Удивление летописца не всегда было явным, отчего и сами парадоксы не всегда были отчетливо сформулированы летописцем. Так, парадоксальность предсказания апостола Андрея о будущем строительстве Киева становилась ясной только на фоне подразумеваемого контекста в рассказе: «Видите ли горы сия? Яко на сихъ горах... имать градъ великъ быти» (6). Лишь подразумевалось удивительное: ведь апостол провидел будущий великий город на совершенно пустых и безлюдных горах.

И все же удивление от предсказанного будущего было постоянным чувством летописца. Однажды он даже пытался умерить удивление (когда говорил о языческом предсказании): «Се же не дивно, яко от волхвованиа собывается чародеиство» (39, под 912 г.). Чаше же летописец с настойчивым удивлением повторял, что предсказанное будущее сбылось. Так, по поводу предсказания хазар он дважды повторил: «Се же сбься все... яко же и бысть: володеють бо хозары русьскии князи и до днешнего дне» (17). А по поводу предсказания Феодосия, которое точнейшим образом сбылось через 18 лет, когда о нем уже никто и не помнил, летописец повторил даже трижды: «ся сбься прореченье Феодосьево... се сбься... се же сбься прореченье отца нашего Феодосья» (211—212). Конечно, и в этих случаях не всегда летописец

демонстративно выражал свое удивление. К примеру, о предсказаниях киево-печерского монаха Еремии, который «проповедаше предбудущая», летописец отозвался гораздо скупее: «что речаше — ли добро, ли зло — сбудяшется старче слово» (190, под 1074 г.).

Другим чувством летописца по отношению к будущему являлось нечто вроде благоговения. Летописец прямо или косвенно отмечал внутреннюю, скрытую и даже тайную обусловленность предсказанного будущего. Действительно, предсказатели в летописи опирались на приметы будущего, не понятные или вообще не воспринимаемые другими людьми (в том числе и читателями летописных рассказов). Перечислим некоторые факты. Так, только хазарские старцы (и больше никто) обратили внимание на обоюдоостроту мечей у полян сравнительно с однолезвийностью хазарских сабель как на залог будущей победы русских над хазарами. Половецкий хан Боняк предсказал победу русского войска по полунощному волчьему вою (271, под 1097 г.). В рассказе о предсказании апостола Андрея, провидевшего постройку Киева, признак этого отдаленного будущего вообще был не афишируем летописцем. Можно заметить лишь, что летописец в кратком рассказе чересчур часто, почти навязчиво повторял слово «горы», «идеже после же бысть Киевъ». Подобное повторение слова, возможно, последовало неспроста. Ведь «горы», не только киевские, но и самые разные и в самих разных ситуациях, ассоциировались у летописца со строительной деятельностью на них — созданием жилищ, всяких сооружений и целых поселений.

Но намеренно ли летописец «скрывал» признаки будущего в рассказах о предсказаниях или делал это интуитивно, остается неясным. Однако в полную случайность подобного явления все же не верится, потому что тот или иной скрытый признак будущего упоминался летописцем почти во всех рассказах о предсказаниях. Так, в рассказе о зловещем предсказании волхва Олегу Вещему многократно упоминался конь. Если просмотреть всю летопись, то можно убедиться, что конь у летописца, помимо воинских ассоциаций, постоянно, хотя и не совсем отчетливо, ассоциировался с различными людскими несчастьями — болезнями, голодом, жаждой, а также с убийствами и иными насилиями, нападениями бесов, смертью и похоронами.

В рассказе о предсказании Феодосия Печерского о месте захоронения своей духовной дочери Марии ощущение глубинной обусловленности будущего летописец, возможно, выразил, упомянув такой скрытый признак будущего, как любовь (конечно духовную) Феодосия

к благочестивой Марии и ее супругу: «Феодосии бо бе любя я, зане же живяста по заповеди Господни» (212). Ведь особо любившие друг друга люди оказывались в летописи и похороненными рядом друг с другом: например, под 1015 г. сообщалось, что Глеб очень любил брата своего Бориса («брате мои любимыи» — 136) и соответственно рядом с ним и был похоронен («положиша ѿ у брата своего» — 137); далее, под 1093 г. говорилось, что великий князь киевский Ярослав Владимирович любил своего сына Всеволода («любимъ бе отцемъ своимъ»), предсказал ему захоронение рядом с собой («да ляжеши, идеже азъ лягу, у гроба моего, поне же люблю тя»), и предсказание сбылось («се же сбься глаголь отца» — 216).

Наконец, благоговейное отношение летописца к предвиденному будущему выдавали его ссылки на Бога. Так, Еремии «бе даръ дарованъ от Бога» верно предсказывать будущее (190, под 1074 г.); апостол Андрей угадал Божью волю, провозглашая: «на сихъ горахъ восияеть благодать Божья... и церкви многи Богъ въздвигнути имать» (8). Божье воздействие распространялось и на языческих предсказателей: хазарские старейшины «не от своя воля рекоша, но отъ Божья повеленья» (17); волхв Олега Вещего верно предсказал тоже по попущению Божию: «философскую хитрость имуще ... ослабленъемъ Божимъ... будущаа предпоказа» (41, под 912 г.).

Предсказания воинствующих язычников, естественно, вызывали у летописца не удивление и благоговение, а напротив, возмущение и презрение. Например, предсказание волхва, появившегося в Киеве, было грубо и отталкивающе парадоксальным: «Днепру потещи вспяты, и землямъ преступати на ина места, — яко стати Гречьскы земли на Руской, а Русьской — на Гречьской» (174, под 1071 г.). Показывая полнейшую вздорность такого будущего, летописец не упомянул, сбылось ли предсказание и имелись ли у него хоть какие-нибудь приметы или предпосылки, а предсказание волхва приписал воздействию не Бога, но беса: «волхвъ прелщень бесомъ»; люди тоже обвиняли волхва: «бесь тобою играеть».

В летописи отразилось еще одно чувство летописца, относившееся к будущему — это ощущение неуверенности, когда предсказания оказывались зыбкими, предусматривая два противоположных варианта развития событий, или очень хороший, или очень плохой: «да любо налезу собе славу, а любо голову сложу» (266, под 1097 г.); «егда кто вестъ, кто одолееть, — мы ли, оне ли?» (46, под 944 г.); «аще по моемъ

ошествии света сего... манастырь ся начнеть строити и прибывати в нем, то вежъте, яко прияль мя есть Богъ; аще ли по моеи смерти оскудевати начнеть манастырь черноризци и потребами манастырьскими, то ведуще буди, яко не угодиль есмь Богу» (187—188, под 1074 г.).

Различные оттенки тревожности и неуверенности летописца выражали и многочисленные небесные «знамения», сопровождаемые предсказаниями. «Знамения» могли предвещать неведомо что — то ли зло, то ли добро («знаменья бо бывають ова на зло, ова ли на добро» — 276, под 1102 г.), а если предвещали нечто плохое, то неясно, какое именно и когда оно сбудется («знаменья сиця на зло бывають — ли проявление рати, ли гладу, ли смерть проявляеть» — 165, под 1065 г.).

В общем, отношение летописца к будущему представляло собой сплав различных чувств: удивления, благоговения, опасения и пр. Главное тут: летописец всегда эмоционально относился к фактам предвосхищения будущего. Причина заключается в общем характере «Повести временных лет»: все летописное повествование было пронизано явной или скрытой экспрессией летописца.

Для сравнения привлечем некоторые другие, тоже самые ранние, исторические и житийные произведения. Из исторических трудов родственным «Повести временных лет» является славяно-русский перевод «Хроники» Георгия Амартола, как известно, достаточно обильно использованный древнерусской летописью². Тем не менее литературное различие между обоими памятниками разительно, в том числе в области предсказаний. «Хроника» Амартола, в отличие от эмоциональной «Повести временных лет» служила в первую очередь ученым трудом, что и определило подход Амартола к будущему и характер изложения предсказаний в его «Хронике»³.

Основное различие касалось, так сказать, технологии проникновения в будущее. При всем множестве ссылок на Библию в «Повести временных лет» летописец нигде не высказывался о Библии как об универсальном источнике предугадывания будущего. Ученый же подход Амартола к будущему выразился в подчеркнуто провозглашенной опоре на книги, прежде всего на Библию: надо «будущая проведети ... беспрестаннымъ поучениемъ пророчьскихъ и прочихъ святыхъ словесъ ... философьею» (230); «прорицание некое въ святыхъ писаниихъ обретаемо» (220); «будущее оттуда древле исписано бысть» (456) и пр.

Далее. Летописец лишь однажды кратко перечислил некоторые суеверия, предвещающие будущее: «усрети верующе, — аще бо кто усяря-

щеть черноризца, то възвращается, ли единецъ, ли свинью ... зачиханю верують, еже бываетъ на здравье главе» (170, под 1068 г.). Амартол же с удовольствием и помногу занимался учеными обзорами разных примет будущего, в особенности систематизацией оснований библейских предсказаний (что «Моиси и прочии пророци Божиюю благодатью будущая преже ведяху» — 256), а еще больше — пространными реестрами языческих гаданий волхвов: «ово же есть и птицесмотренье, ово же блатное, другое же домосмотренье, ино же напутное, другое же рукосмотренье...» и т. д. (70); «мукъволшвеници, и ячновльници... волхвующе и дубравую, и кровавныя знамения, еще же и утробами, и летаниемъ птичьнымъ, и званиемъ чарование, и кытание, и буря, и громъ, мухами же, и ласицами, скрипаниемъ древнымъ, и звиздениемъ ушьнымъ, и крѣвавицами телесными, и имены мертвьчи, и звездами, и водами и многими таковыми» (169).

Летописец не вдавался в обсуждение вопроса о ясности или неясности предсказаний; а аналитик Амартол в этом деле, напротив, преуспел, постоянно комментируя качество предсказаний: «зело являя всемъ», «что луче божествныхъ сихъ глаголь и явнеише ли истиннеише будеть?», «убо что истовее сихъ хоцеть быти?», «предъглаголюща яве», «яве свидетельствуютъ» и мн. др. (275, 277, 285, 336, 207). На неясность предсказаний Амартол тоже указывал регулярно: «притчами глаглющему», «притьчею намъ пророкъ изглагола», «запечателеньна суть словеса» (277, 281, 283). При этом, если летописец почти не уделял внимания толкованию предсказаний (разве лишь один-два раза — в рассказе о предсказании хазарских старцев в начальной части летописи и в рассказе о предсказании волхвов под 1071 г.), то Амартол пунктуально сопровождал предсказания развернутыми филологическими, числовыми, символическими и пр. разъяснениями и очень подробно и детально полемизировал, по его мнению, с неправильными толкованиями предсказаний.

В отличие от «Повести временных лет» с ее неопределенностью или странностью примет будущего, в «Хронике» Амартола приметы будущего были четко и логично расписаны, даже вплоть до предсказательного значения элементов одежды. Например, драгоценные камни на архиерейском одеянии однозначно предвещали то или иное будущее: «толикомъ бо сущимъ камениемъ на немъ блисташеся заря... яко темь разумети получение воемъ, да будетъ Богъ с ними на помощь... Паче на адаманте камыще, иже, пременуя различья, будущая некая поведая,

проявляше хотящее быти людемь: аще чернь будяше, то смерть; аще ли червленъ будяше, то крови пролитие; аще ли белъ, — премену являющую Богу» и т. д. (44—45). Приметы были и не такими возвышенными, но все равно точно исчислимыми. Например, попадание или непопадание стрелы в землю соответственно означало будущую победу или будущее поражение (вот что пророк предсказал израильскому царю: «повеле ему по земли стреляти 5-краты. 3-е бо уполучно стрели, 4-е же не уполучи. И пророчествова ему до 3-го съступа победити асуряны, прочее же побезену ему быти. Аще бо 5-краты стрелы по земли уполучно стрелявъ, — 5-краты убо исполчивься, сурьскую бы власть разрушилъ» — 183). У волхвов, по рассказу дотошного Амартола, тоже существовали четкие и ясные приметы будущего (хотя и неверные); в частности, гадали по полету птиц («аще не движеться пта, — пребыти на томь месте всемь; аще ли, вьставши, напредь полетитъ, то всем ити; аще ли назадъ полетитъ, — вскоре вьзвратитися» — 46).

Наконец, если в «Повести временных лет» небесные знамения были сопряжены у летописца с неопределенным тревожным ожиданием, а точно исполняющиеся предсказания вызывали у летописца восхищенное удивление, то у гораздо более рационального Амартола экспрессия будущего отсутствовала, все было расчислено, место и время исполнения предсказания предусмотрены («прежереци престроимъ и место, и время, и образъ, и злобие, и вьсхождение и ина прочая съ многымъ истовьемъ» — 280); полнота исполнения оценена («аще не свершена вся си безъ остатька» — 277); знамения на небе или на земле всегда предвещали зло и несчастья, незамедлительно раздражавшиеся (например: «начашася ... бывати знамения на перстех человеческих и на церковных святых одежахъ крести неции масленши мнози, и такъ наста Божии гневъ мозолныи, чръмнаа нежитовница... и к тому бываху мечти неции на многыа человеки и ужасти некоторыа дивны» и т. д. и т. п. — 476); при том злых последствий можно было избежать при определенном расчете (типичный пример: «Бысть же изчезновение луице. Царь же митрополита Пантелеонта призва... вопроси его: “На кого хочеть быти зло?” Сеи же рече: “На тя. Аще въ 13 день июниа месяца изидеши, — оттоле ничто же ти будетъ зло”» — 539). Амартол так и утверждал: в предсказаниях о будущем важнее всего разумный расчет: «и смотрение есть паче, некли прорицание. И ничто же дивно таковая пророчества имуть» — 169).

О большей экспрессивности «Повести временных лет» сравнительно с рациональной «Хроникой» Амартола свидетельствует один

сходный мотив в обоих памятниках — явление обнадеживающего небесного существа в земном образе какому-либо персонажу во сне или в болезни. Так, в летописи умирающему киево-печерскому монаху явился ангел в виде игумена Феодосия Печерского («разболевшу же ся и конец прияти, лежащую ему в немощи, приде ангель к нему въ образе Феодосьева, даруя ему царство небесное за труды его» — 189, под 1074 г.). Аналогичная ситуация упоминается в «Хронике» Амартола: во сне Александру Македонскому, задумавшему идти на персов, явился Бог в виде архиерея (по словам Александра, «яви ми ся въ сне образомъ симь архиереевомъ Богъ и дерзати ми повеле и на поспешестве прити рече скоро, яко “тобою разврацую персьскую силу”») — 45). Но показательно различие дальнейших действий персонажей. У Амартола Александр Македонский дополнительно проверяет предсказание Бога по книгам пророка Даниила (ему «книгы Данила принесоша, пророчество его, и протолковаша, яже пророкъ преже глагола, яко подобаеть некому македонянину царствие Персьское прияти»). Только получив ученое подтверждение, Александр уверился в будущем и пошел на персов («Александръ же въ чювьствие сия приимь и радъ бывъ... на персы подвижеся» — 46). В отличие от стандартного обозначения «чювьствия» в «Хронике», монах в летописи, когда его посетил реальный Феодосий Печерский, вел себя эмоциональнее: очень беспокоился о будущем («оному же изнемогающую, възревъ на игумена, рече: “Не забываи, игумене, еже еси обещал”») и лишь после заверения помер успокоенный.

Разное отношение авторов к будущему (эмоциональное либо «ученое») побуждает задать вопрос: почему в столь близкое время на Руси появились ментально такие разные исторические произведения? В данном случае не так уж важно, что одно из них оригинальное, а другое переводное. Оба они обслуживали некие читательские потребности на Руси, по-видимому, разнообразные. Вспомним, что тогда же в близкое время появились и два литературно разных жития Бориса и Глеба — более «ученое» «Чтение о Борисе и Глебе» и лиричное «Сказание о Борисе и Глебе», два литературно разных «Изборника» — ученый «Изборник» 1073 г. и экспрессивно-простецкий «Изборник» 1076 г., взволнованное «Слово о Законе и Благодати» Илариона и деловитые поучения Феодосия Печерского и т. д.

Феномен ментального разнообразия ранних произведений одного жанра на Руси, в данном случае исторического, требует более глубо-

кого исследования, но более глубокому исследованию мешает наше незнание конкретных причин и обстоятельств появления памятников, особенно переводных, в начальный период формирования древнерусской литературы. Пока же можно выдвинуть лишь самые общие предположения: литературные вкусы тогда либо были еще хаотичны; или быстро менялись даже в одном книжном центре; или же каждый центр отличался от других своими вкусами. Намеренного стремления к разнообразию, пожалуй, не было.

Близким к «Повести временных лет» является и другой исторический труд — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, переведенная на Руси в XI в.⁴ Есть элементы стилистической близости между «Повестью временных лет» и «Историей Иудейской войны»⁵.

Если в своем отношении к будущему летопись отличалась от «Хроники» Георгия Амартола как произведение более эмоциональное от труда более ученого, то различие между летописью и «Историей» Флавия касалось как раз эмоциональной сферы. Будущее у Флавия отличалось постоянной и неизменной трагичностью сравнительно с более оптимистичной «Повестью временных лет». Если в летописи лишь одно предсказание предвещало смерть персонажу (Олегу Вещему от коня), то в «Истории» Флавия почти все многочисленные предсказания предусматривали гибель, смерть, кончину, опустошение и пр., причем самым разным деятелям и областям, а не только участникам Иудейской войны. Знамения также были определенно, безусловно и непреодолимо зловещими («пред мором же, и пред градом, и пред трусом, и пред ратьми, и пред воиноу бывають знамения, яко ти бываеть весть пред цесаремь или пред вои» — 201—202). В редчайших случаях эти предсказания оказывались, так сказать, полутрагичными («будеть ти напасть различнаа, но избудеши и спасешися» — 196). Кроме того, предсказатели, по мнению автора, становятся все хуже и хуже сравнительно с прошлыми: «тогда бо и пророци людем были учителяе и обещаху о плене и о възвращении. А ныне ни есть ... о ком ся утешати» (200).

Трагичность атмосферы в «Истории» Флавия усиливало то, что будущее нередко раскрывалось не сразу, с большим трудом, приходилось созывать толкователей: книжников, мудрецов, халдеев, священников и пр., и их толкования были противоречивы («онемь ино глаголющим», «инемь же инако раздрешающим», «им же разноличьнаа сказания суть» — 251, 282, 422). В конце концов персонажи стали отмахиваться

от предсказаний, не хотели знать будущее («знамениемъ и явленииемъ не внимаше, ни вероваше ... не послушаша... ни разумеша...» — 420).

Таким образом, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия подтверждает факт озадачивающего, но пока точно не объяснимого тяготения самых ранних на Руси исторических произведений к ментальному разнообразию.

Теперь перейдем к ранним памятникам житийным, прежде всего к **«Сказанию о Борисе и Глебе»**. Нет нужды долго говорить о тесной текстуальной связи «Сказания о Борисе и Глебе» с «Повестью временных лет», содержащей аналогичную повесть «О убьеньи Борисове». Но в летописной повести (как и в «Чтении о Борисе и Глебе») отсутствуют предсказания, весть о предстоящем убийении приходит к Борису непосредственно перед нападением на него, а вот в «Сказании о Борисе и Глебе» предсказания есть⁶.

Особенность «Сказания» заключалась в отношении автора к предсказателям — в постоянно отмечаемой автором области зарождения такого знания, а именно в сердце, душе, уме, сне предсказателей самим себе. Так, Борис задолго до своего убийства Святополком предчувствовал свое будущее и жаловался: «Сердце ми горить, душа ми съмысль съмуцаеть... ть [Святополк], мню, ... о биении моемъ помышляеть... кровь мою пролееть и на убиество мое потъщиться» (29) И дальше чувство продолжало еще конкретнее подсказывать Борису его несчастное будущее, хотя Святополк еще даже не нанял убийц: «Помышляеть же въ сьрдьци своемъ богоблаженныи Борисъ и глаголааше: “Веде брата моего зьлу ради человеци поняти и на убиество мое и погубить мя ... пролееть кровь мою”» (31). Сердце подсказывало Борису даже исторические аналогии его будущего: «съкрушенъмъ сьрдьцьмъ... помышляеть же мучение Никиты и святого Вячеслава, подобно же сему бывъшю убиеству» (33). Чем ближе событие, тем острее томило предупреждающее чувство: «И бяше сънь его въ мнозе мысли... како предати ся на страсть... и течение съкончати» (33).

Интересно, что в **«Чтении о Борисе и Глебе»** все было наоборот: Борис ничего не предчувствовал: «никогого же зла помышляющю въ сьрдьци своемъ, иже бы прияти отъ брата своего» (9).

По представлению же автора «Сказания о Борисе и Глебе», предвидением своего будущего ведал внутренний мир человека — его сердце, душа и пр. Поэтому у Бориса с самого начала в сердце было сомнение, удастся ли ему увидеть своего младшего брата Глеба: «глаголаше въ

срьдци своемь: “То поне узрю ли си лице братьца моего мньшааго Глеба...?”» (30). Поэтому и Святополк в душе предвидел свое будущее: «Глаголааше въ души своеи оканьней: “...буду чюжь престола отца моего... и кьяжение мое приметь инь...”» (38).

Возможно, душевную прозорливость автор «Сказания» приписывал только зрелым героям, но не слишком юным. Оттого молоденький Глеб сам не догадывался о своем будущем, а напротив, ошибался в своих наивных предположениях о желаниях Святополка.

Опора автора «Сказания» на душевное и сердечное предвидение будущего объясняется, конечно, лирическим характером этого произведения, которое, если судить по предсказаниям, в ментальном отношении опять-таки не примыкало ни к какому памятнику того времени и добавляло еще один штрих к удивительному разнообразию ранних произведений литературы Древней Руси.

Тот же вывод о разнообразии подтверждается и при обращении к другому памятнику, тоже тесно связанному с «Повестью временных лет» — к «**Житию Феодосия Печерского**» **Нестора-агиографа**⁷. Отношение автора к предвидению будущего было опять своеобразно. В «проречениях блаженаго» Феодосия речь шла, как правило, о ближайшем материальном будущем — о нехватке пищи и иных продуктов в монастыре, а Феодосий каждый раз твердо обещал, что Бог попечется о нехватке и даст изобилие, что вскоре и происходило — буквально через несколько минут, или в тот же день, либо, в крайнем случае, на другой день. Смиранный Феодосий далеко не заглядывал. Свою смерть Феодосий тоже точно предсказал за несколько дней. Если же надо было подумать о большем сроке (например, о будущем монастыря), то тут Феодосий оставался в большой неуверенности, будет ли хорошо или плохо.

Из изложенного можно сделать вывод, что Нестор-агиограф, в отличие от Нестора-летописца, предпочитал загадывать только самое ближайшее узкопрагматическое будущее, потому что был занят исключительно конкретными внутримонастырскими, преимущественно хозяйственными сюжетами. Произведения XI — начала XII вв., если основываться на авторском отношении к будущему и предсказателям, стихийно взаимодополняли друг друга, составляли бесструктурную россыпь памятников, а не сформировавшееся стройное целое.

Рассмотрим теперь самые ранние рассказы («слова») в «**Киево-Печерском патерике**»⁸. Многие его рассказы были включены

в «Повесть временных лет». В первом же «слове» патерика сообщается о предсказании киево-печерского игумена Антония в 1068 г. сыновьям великого князя киевского Ярослава и с ними варяжскому князю Шимону, собравшимся воевать с половцами: «хотящую имъ быти погибель ясно исповедаше»; а Шимону дополнительно предрек: «бежащим вамъ от супостатъ вашихъ... уязвени будете...; ты же спасень бывъ, zde имаши положень быти в хотящей създатися церкви» (412). Тут особенно интересно предсказание о будущей церкви, о которой никто и не помышлял. Автор рассказа подчеркнул, что это будущее обязательно должно было сбыться: ведь «старец же отврзъз неложнаа своа уста». И далее последовали многократные напоминания о будущем возведении церкви и положении в ней тела Шимона. Эти напоминания настоятельно делались еще до предсказания Антония, которое, в сущности, тоже служило напоминанием в целом ряду аналогичных фраз. Вначале Шимону был глас от изображения Христа («слышахъ глас от образа, обратився къ мне и рече ми: "...неси же на уготованное место, идеже зиждеться церковь матере моя»»), то есть Богородицы — 414). Затем Шимону и его спутникам во время бурного плавания по морю была явлена будущая богородичная церковь со всеми, так сказать, параметрами («и се видехъ церковь горé... И бысть съвыше глас къ намъ, глаголяй: "Иже хочеть създатися от преподобнаго во имя Божиа матере, в ней же и ты положень имаши быти". И яко же видехомъ, величествомъ и высокою размеривъ... 20 въ ширину и 30 въ делину, а 30 въ высоту стены, съ врхомъ 50» — 414). Тут-то присоединился к напоминаниям и Антоний. Потом, когда, в точном соответствии с предсказанием Антония, в битве с половцами «побежени быша християне и бежащимъ имъ... Ту же и Шимонъ лежаше язвень», то снова явилось ему напоминательное видение: «Възрев же горé на небо и виде церковь превелику, яко же преже виде на мори» (412). Наконец, после исцеления Шимона и переименования его в благочестивого Симона, Антоний призвал Феодосия и напомнил: «Симоне сий хочеть въздвигнути такуюю церковь» (414).

Мало того, в следующем, втором, «слове» патерика напоминания продолжились. К каким-то четырем царьградским строительным мастерам во сне явилась Богородица и объявила: «Хочу церковь възградити себе въ Руси, въ Киеве» (418). Образец был показан («и виде хомъ церковь на въздусе» — 420). Мастера прибыли в Киев к Антонию и Феодосию и напомнили: «Где хочета начати церковь?» (418). Антонию

ночью во время молитвы явился Господь, и речь снова пошла о церкви (420); в течение трех дней разные знамения давали понять, где строить церковь и т. д.

Почему так навязчиво следовали все эти напоминания? Видимо, главной у автора служила мысль назидательная: предсказанное должно сбыться. Поэтому автор многократно повторял напоминания о будущем, в конце третьего «слова» снова напомнил основные этапы сюжета и при этом даже прямо сформулировал свою закрепительную учительную цель: «И еще вы, възлюблени, предложу слово на утвержение ваше» (424).

Последующие в патерике ранние рассказы о предсказаниях снова и снова убеждали читателей, что каждое предсказанное будущее должно сбыться непременно, несмотря ни на какие препятствия, как неминуемый приговор. Так, например, в семнадцатом «слове» патерика плененному и уведенному половцами монаху святой Герасим предсказал, что через три дня пленный окажется в Киево-Печерском монастыре. И хотя половцы знали о предсказании, монах был окован, вокруг него сидели охранники с оружием, а самому монаху даже подрезали сухожилия на голенях, чтобы не убежал, на третий день монах вдруг стал невидим для половцев и перенесен в монастырь. Затем в Киев пришел половец, мучивший плененного монаха, и подтвердил историю с предсказанием.

В двадцать восьмом «слове» киево-печерский монах Герасим предсказал одному жулику быть повешенным на дереве, а одному князю — утонуть вместе с его воинами. И хотя предсказаниям не поверили, насмехались над Герасимом, заперли его в погребе, а потом и вовсе утопили, его предсказания все равно сбылись, потому что «Бог непокупаем бывает» (534).

Будущее не сбывалось в патерике только в одном случае: если предсказание делал неправославный, а его опровергал киево-печерский монах, как в двадцать седьмом «слове» об армянском враче и о монахе Агапите.

Можно удивляться разнообразию подходов авторов к будущему в произведениях XI — начала XII вв. Подобное накопительное разнообразие ранней древнерусской литературы проявилось также и в иных областях поэтики — в элементах образительности, в характере символики, в семантике перечислений, в специфике лаконизма и пр.⁹ Изучение разнообразия ранней литературы Древней Руси необходимо продолжить.

Произведения XIII—XVII вв.

Мы ограничимся наблюдениями над предсказаниями только в некоторых памятниках конца XII—XIII вв. на исторические и житейные темы. И вот почему: наступило время обеднения. Произведений с предсказаниями появилось гораздо меньше, чем раньше; сами предсказания чаще всего бывали лишь единичными эпизодами в произведениях; отношение писателей к будущему редко когда выражалось отчетливо.

Для этой ситуации характерен пример «**Александрии**» (так называемой «хронографической»), переведенной на Руси в конце XII — первой половине XIII вв.¹⁰ В ней предсказаний содержалось, правда, более чем достаточно. Но обратим внимание на их функцию: все они регулярно выполняли одну и ту же роль предупреждений о развитии сюжета «**Александрии**» — о зачатии Александра, об устрашающем коне Александра, о подходящем времени его рождения (роды можно было регулировать), о будущих военных победах Александра, в том числе о покорении им Персидского и Индийского царств, о создании великого града Александрии, о ранней смерти Александра. После каждого предсказания рассказывалось, как оно конкретно осуществилось. Причем последнее предсказание в тексте даже вышло за пределы «**Александрии**». В Индии одно из вещей деревьев провозгласило Александру: «Коньчала ти ся суть лета живота твоего... въ Вавилоне имаша погыбнути. По мале же дни мати твоя и жена твоя зле от индь погыбнуть» (88). О болезни и смерти молодого Александра затем, действительно, повествовалось подробно. Но вот о последующей гибели матери и жены Александра не было сказано ни слова — повествование как бы не поместилось, но выдало авторское увлечение бесконечностью сюжета.

Будущее автор «**Александрии**» сделал средством завлекательности. Предсказания основывались на интригующих знаменьях и содержали загадочные, не понятные слушателям намеки, реальная суть которых раскрывалась гораздо позже по ходу повествования. Так, египтяне «не разумеша» совершенно непонятное предсказание их бога Серапиона: «се бежавыи царь паки приидеть въ Египеть, не старь сыи, но унь, и врагы ваша прьсы победить» (7). Только потом, через многое время, когда предсказание сбылось, египтянам (а заодно и читателям «**Александрии**»), стало ясно, о каких событиях и о каком царе шла речь (35). Озадачивающие предсказания на греческом языке делали птицы

(«птичь паку провеца елиньскимъ языкомъ» — 79), а на индийском языке — деревья («глас прииде индииски от древа» — 88).

Оригинальные произведения на исторические темы в конце XII — XIII вв. демонстрировали уже почти что равнодушные авторы к будущему. Предсказания потеряли свою значимость. Показательна **повесть о походе князя Игоря на половцев** в 1185 г. в «Ипатьевской летописи»¹¹. Солнечное затмение перед походом сопровождалось фактически отказом персонажа от знания будущего. Игорь фаталистически заявил: «тайны Божия никто же не весть... а намъ что створить Богъ — или на добро, или на наше зло, — а то же намъ видити» (638). И дальше Игорь только и повторял: «но како ны Богъ дасть» (639, 640). Другой князь — Святослав — вторил Игорю: «воля Господня да будетъ о всемъ» (645). Вместо энергичных попыток предвидеть будущее персонажи руководствовались иным, пассивным принципом: «аще восхошет Богъ...» (650).

Кстати, в самом «**Слове о полку Игореве**» значимость предсказаний также была сведена к нулю¹². Солнечное затмение, казалось бы, напрашивалось на предсказание, но Игорь даже и не подумал о нем и никак не связал с ним своего призыва к походу (потому что воинский пыл «ему знамение заступи» — 44). Знамения и далее не сопровождались предсказаниями о победе или поражении русского войска. Провидение будущего, по авторской версии, оказалось бесполезным и, например, не помогло вещему князю Всеславу: «Аще и веща душа въ дръзе теле, нь часто беды страдаше» (54). Объяснение же странного сна князя Святослава служило вовсе не предсказанием о будущем, а символической фиксацией событий уже произошедших.

Перечислим некоторые другие произведения. В ранней вставке в первоначальный текст «**Слова Даниила Заточника**» находим сходный с летописной повестью о походе Игоря мотив отказа от предсказания¹³: «Яко же рече Святославъ князь: сынъ Ольжинъ, идя на Царьград с малою дружиною, и рече: “Братие! Намъ ли от града погинути или граду от нас пленену быти? Яко же Богъ повелитъ, тако будетъ”» (251).

Один эпизод в «**Галицко-Волынской летописи**»¹⁴ под 1265 г., пожалуй, тоже указывает на падение значимости предсказаний в произведениях XIII в. Явилась комета: «хитречи ... рекоша, оже мятеж великъ будетъ в земли, но Богъ спасеть своею волею. И не бысть ничто же» (863) — предсказание было сделано впустую и не помогло узнать будущее.

В житийных произведениях XIII в. картина была еще беднее. Если не брать распоряжений небесных лиц по поводу будущего земных персонажей (эти распоряжения, по существу, не являлись предсказаниями), то обнаруживается буквально лишь одно-два оригинальных жития с подходящими эпизодами. Так, в «**Житии Авраамия Смоленского**» помещен эпизод с предсказанием¹⁵. Но это вольный пересказ «Жития Иоанна Златоуста» о явлении ему апостолов Петра и Павла, предсказавших мучительную смерть преследователей Златоуста. Будущее обозначено туманно («въставшей на тебе лютою смертию отъ Бога казнь примуть» — 86), а главное внимание посвящено злорадному описанию мук наказанных преследователей. То есть заранее конкретно узнать будущее оказалось нельзя.

Несмотря на неполноту нашего обзора произведений конца XII — XIII вв. с предсказаниями, все же видно, насколько разнообразней и ярче была литература XI — начала XII вв. на фоне беднеющей литературы более позднего периода. Хотя в каких-то иных отношениях, помимо предсказаний, это могло быть и не так.

Перейдем к XV в. и начнем наш еще менее полный обзор со знаменитых памятников Куликовского цикла и прежде всего с «Задонщины». Правда, в «Задонщине»¹⁶ есть только одно настоящее предсказание, но зато очень яркое. Перед битвой Ослябя говорит Пересвету: «Брате Пересвете, вижу на теле твоём раны великия. Уже, брате, летети главе твоей на траву ковыль, а чаду твоему Иякову лежати на зелене ковыль-траве на поле Куликове, на речьке Напряде...» (538. В Кирилло-Белозерском списке немного изменено: «Уже, брате, вижу раны на сердци твоёмъ тяжки. Уже твоей главе пасти на сырую землю, на белую ковыль — моему чаду Иякову» — 550).

Но не стоит обольщаться яркостью этого предсказания и иных обозначений будущего в «Задонщине» (например, в списке Историческом втором: «Туто погании ... ркуче: “Уже намь, брате, ... трепати намь сырая земля, а целовати намь зелена мурова”» — 547). Для автора «Задонщины» важно было живописать саму массу погибших, притом не столько в будущем времени, сколько в прошедшем и настоящем времени (ср.: «в трупи человекье кони не могут скочити, а в крови по колена бродят» — 539). Не удастся извлечь из «Задонщины» каких-либо повторяющихся данных об отношении автора к будущему.

И все же одно незаметное свидетельство есть. Слово «вижу» в предсказании Осляби появилось не случайно. Будущее представ-

лялось автору «Задонщины» чем-то зримым, видимым. Оттого обозначения будущего (будущих действий) у автора нередко содержали упоминания о рассматривании: «Взыдем на горы Киевския... и посмотрим по всеи земли Руской» (535); «жаворонок ... возлети под синее небеса, посмотри к сильному граду Москве» (536); «сядем на добрые кони своя и посмотрим быстрого Дону» (536—537); «выедем, брате, в чистое поле и посмотрим своих полковъ» (537). Лишение чего-либо соответственно было связано с лишением видения в будущем: «Уже нам, брате, в земли своей не бывать и дети свои не видать» (539); «уже не вижу (то есть не увижу) своего государя Тимофея Волуевича — в животе нету» (538).

В «Слове о полку Игореве» этот мотив смотрения был лишь единичным, даже как бы случайным (ср.: «уже намъ своихъ милыхъ ладь... ни очима съглядати» — 24). Мотив же смотрения будущего был развит в «Задонщине», несомненно, для красочности повествования, в том числе об ожидаемом будущем. Разнообразие в отношении авторов именно к будущему все-таки не иссякало.

Последующее произведение Куликовского цикла — пространнейшее «Сказание о Мамаевом побоище»¹⁷ — содержит не более трех предсказаний. Все они принадлежали важным лицам — преподобному Сергию Радонежскому, князю и воеводе Дмитрию Волынку и святым Борису и Глебу; все предсказания повторяли одно и то же — о будущей победе русских над татарами, — но все они были высказаны очень осторожно, скупно и при этом витиевато. Сергей Радонежский сказал Дмитрию Донскому, которого какое-то время попридержал в своем монастыре: «Се ти замедление сугубо ти поспешение будеть. Не уже бо ти, господине, еще венець сия победы носити, но по минувших летех, а иным убо многим ныне венци плетутся» (31). Потом добавил яснее: «Имаши, господине, победити супостаты своя, елико довлеет твоему государьству». Дмитрий Волынец, наслушавшись ночных шумов и -послушав землю, сначала не хотел ничего говорить Дмитрию Донскому, но потом глухо упомянул: «добри суть знамениа» (40); наконец, побуждаемый Дмитрием Донским, произнес: «твоего христоролюбиваго въиньства много падеть, нъ обаче твой връхъ, твоя слава будеть». Предсказание же Бориса и Глеба, по существу, являлось не предсказанием, а небесным видением. Святые с возмущением спросили татар: «“Кто вы повеле требити отечество наше, его же намъ Господь дарова?” И начаша их сеци и всех изсекоша» (41).

Но самая главная черта этих предсказаний — все они тайные. Сергей Радонежский при встрече с Дмитрием Донским в монастыре отпустил всю братью «и рече ему тайно» (31), наедине, и «князь же великий... не поведаеть никому же, еже рече ему преподобный Сергей» и держал в себе «аки съкровище некрадомо». Затем и «архиепископ же повеле сия словеса хранити, не поведати никому же».

Дмитрий Волынец также наедине с Дмитрием Донским глубокой ночью в поле старался «примету свою испытати», а протолковав, предупредил великого князя: «Не подобаеть тебе, государю, того в плъцехъ поведати» (40).

Небесное явление Бориса и Глеба видел лишь один человек тоже ночью, сообщил только «великому князю единому», а великий князь распорядился: «Не глаголи того, друже, никому же» (41).

Откуда такая секретность, в чем ее смысл? Каких-либо объяснений этому феномену в «Сказании» нет. Но одно замечание в тексте памятника наводит на любопытное предположение. Когда все предсказанное свершилось (причем приметы оказались даже интереснее самого предсказания), то Дмитрий Донской обратился к Дмитрию Волынцу: «Вистину, Дмитрей, не ложна есть примета твоя» (46). То есть у автора «Сказания» не было полной веры в предсказанное будущее. Поэтому столь важные предсказания надо было, чтобы не опростоволоситься, формулировать расплывчато, а главное — не предавать гласности.

Это еще один факт в пользу некоторого разнообразия литературы XV—XVI вв., но уже не такого бурного, как ранее. И одновременно мы наблюдаем продолжение начавшегося процесса — падения значимости предсказаний и интереса к провидению будущего в литературе.

А например, в достопочтенном крайне риторичном **«Житии Сергия Радонежского»**, которое условно тоже можно отнести (или прикинуть) к произведениям Куликовского цикла (оно содержит эпизод благословления Дмитрия Донского Сергием), предсказания были совсем формальны и эклектичны¹⁸. Не менее пяти раз в одних и тех же выражениях и на основе одной и той же приметы предсказывалось славное благочестивое будущее Сергия, просто потому, что предсказатели «позна духом будущее» (282). Сам Сергей тоже «прозорливый имея дарь, ведяше, яко близ вся бываемая» (368) и оттого предсказывал события, которые должны произойти «в сий час» или «заутра», «разуме же и преже шестих месяцеи свое преставление» (402. Все это напоминает «Житие Феодосия Печерского»). Предсказание Дмитрию Дон-

скому находилось в ряду этих спокойных благодных представлений о будущем: «победиши и здравъ въ свое отечество с великими похвалами възвратиши» (386). В литературном отношении однообразные способности предсказателей и их однообразные предсказания в «Житии Сергия Радонежского» уже играли роль не более чем обязательного агиографического антуража. Однообразие побеждало.

Теперь кое-что добавим сверх памятников Куликовского цикла. **«Повесть о взятии Царьграда турками» Нестора-Искандера** своими предсказаниями подтверждает наше предположение о продуцировании однообразия в литературе XV в. Предсказания в «Повести о взятии Царьграда» ученостью их обоснования книжниками и мудрецами напоминают «Хронику» Георгия Амартола, а постоянной трагичностью — «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия.

И вдруг — прорыв, казалось бы, в застывающей и повторяющей традицию системе предсказаний. Имеем в виду необычное **«Житие Михаила Клопского»**¹⁹. Михаил Клопский, за исключением нескольких случаев, предсказывал только ближайшие болезни окружающих лиц: «будеши без рукъ и без ногъ, мало в воде не утонеши» (340); «будеши без рукъ и без ногъ и немъ» (342); «досягнеши трилакотнаго гроба» (344); «будеши похапъ», «мало поживеши» (346) и пр. Эти предсказания обычно делались обиняком: «без рукъ и без ногъ» — парализует; «похапъ» — «ни ума и ни памети» (346); «земля вопиет» (344) — вскоре преставится; «ту язъ хощю полежати» (344) — о месте своего погребения. Объяснить столь пикантные особенности предсказаний в этом житии можно новизной личности самогó предсказателя — он юродивый или человек психически нездоровый. Можно предположить, что автор жития отошел от прежних представлений о предсказателях-книжниках или святых и настойчиво вменил дар предсказательства больному человеку: оттого Михаил предчувствовал скоро наступающие болезни или смерть и выражался невразумительно, а также без положенного почтения относился к властям и знати. Персонажи называли Михаила «святым старцем», но не автор, который никакой характеристики Михаилу не дал (только заголовок, возможно, поздний, упоминает «Михайла, уродивого Христа ради» — 334).

Предположение о появлении (или выделении) в XV в. нового типа предсказателя подтверждает известный **рассказ о смерти Пафнутия Боровского**²⁰. Пафнутий был хоть и не юродивый, но тоже глубоко больной человек. Он в основном предсказывал свою смерть, но так же обиня-

ками: «ино дело имама неотложно ... съуз хоцеть раздрешитися... имам пременитися немощи мояя» (480); «старец же глаголаше о некоем чловеце, яко умрети имать» (506). Автор подчеркивал непонятность изречений как бы бредящего Пафнутия: «мне же недоумеющуся... о необычных его глагоলেখ» (480); «сия слышаще, дивляхуся, что хотят сия быти» (496); «нам же о семь недомыслящемся» (506). Пафнутий точно так же выказал свое непочтение к князьям и боярам, что с недоумением отмечал автор.

Таким образом, в литературе XV в. два процесса развивались как бы параллельно: нарастали обдуманное однообразие и традиционность в подаче предсказаний, и вдруг откуда ни возьмись в литературу врывается резко новый взгляд на будущее и на предсказателей. Эта странная картина требует внимательного системного изучения, но, увы, когда-то в будущем.

В XVI в. книжники почти совсем не интересовались предсказаниями, а если упоминали «проречения» о будущем, то кратко и без каких-либо значительных новаций. Авторы предпочитали описывать «знамения» зачастую вообще без предсказаний. Исключение составляет **«Видение хутынского пономаря Тарасия»**²¹. Тарасий увидел, как в церкви в полночь из гроба встал чудотворец Варлаам Хутынский, трижды отсылал Тарасия на самый верх церкви наблюдать «знамения» на небе, предсказал «пагубу» Великому Новгороду и снова лег в гроб. В этом «Видении» многое было связано со ставшими уже традиционными представлениями о предсказателе, в ходе которого выступил даже не больной человек, а мертвец.

Своеобразие «Видения» заключалось в драматической «реалистичности» примет будущего. Их не надо было искусственно толковать, несчастья просто приблизились к Великому Новгороду и неминуемо должны были разразиться: Тарасий увидел, что над городом нависло озеро Ильмень, «хотя потопити Великий Новьградъ» (416) — надвигался потоп; затем Тарасий увидел «множество аггель, стреляющих огненными стрелами, яко дождь сильный ис тучи, на множества народа людскаго» (418) — быть мору, эпидемии; наконец, Тарасий увидел «тучю огнену над градомъ» (420) — «после мору будет пожаръ силенъ». Предвидение будущего пожара было совершенно прагматично: «Торговая сторона вся погорить».

Вариации очень старой традиции находим в **«Волоколамском патерике»**²²: больному монаху ночью, но не во сне, а наяву явился

«мужь светель» — мученик Никита Готский, — но не сообщил, как обычно, когда благочестивый болящий умрет, а, напротив, пообещал монаху еще 25 лет жизни за то, что тот не лечился у «чародеев» (85—86). Никита «язде на коне», кроме того этот «мужь светель» появился в контрастном сопровождении «человека черна зело», летящего на коне и пытавшегося огненным мечом «посещи» монаха. Но все эти детали ничего принципиально нового не прибавляли к традиционному представлению о предвидении будущего святыми, внося лишь некоторую драматичность в рассказ, что и являлось некоторой новацией.

Прочие предсказания в оригинальных произведениях XVI в. еще менее интересны. Например, в «**Истории о Казанском царстве**» предсказания о скором взятии Казани Иваном Грозным повторялись однообразно и не выходили за пределы формальной традиции.

В целом, бедность предсказаний в произведениях XVI в. не позволяет пока сделать решительный вывод о преобладавшем однообразии литературы этого периода, хотя такое впечатление все-таки складывается.

Вопреки ожиданиям богатая и пестрая литература XVII в. (если брать непереводаемые произведения) демонстрирует почти полное забвение предсказаний. Из тех же предсказаний, что все-таки упоминаются, почти все традиционны, кратки и случайны. Любопытна только «**Повесть о Горе-Злочастии**»²³. Горе-Злочастие предсказало Молодцу:

Быть тебе от невесты истравлену,
еще быть тебе от тое жены удавлену,
из злата и сребра бысть убитому (429 об.).

Здесь обращают внимание три фактора. Во-первых, предсказывать пыталось некое уродливое, даже нечеловеческое существо. Так продолжилась сравнительно новая традиция представлять именно ущербных персонажей (от больных до мертвых) способными предвидеть будущее.

Особенность Гора-Злочастия в том, что это не то чтобы сама Смерть (хотя «Горе пришло с косою острою», но не как смерть, а как косарь — 433), а злодейское существо, помогающее насильственной Смерти (отсюда его постоянные похвалы и угрозы: «люди... до смерти со мною боролися... они во гробь вселилися, от мене накрепко они землю накрыли» — 429; «до смерти с тобою помучуся» — 432 об.; «умереть будеть напрасною смертию... Горе... научаеть... чтобы молотца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» — 433 об.). И все же

знаменателен для ассоциации Горя со Смертью эпитет, прилагаемый к Горю, — «неминучее» («а что видит молодец неменучую, покорился Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли» — 431 об.).

Второй фактор, который обращает на себя внимание: все предсказания и советы Горя молодцу — лживые, насмешливые, вредительские, что соответствует давней традиции обличать вредоносность предсказаний отрицательных персонажей. Но один раз Горе, действительно, помогло молодцу, когда он пожаловался: «Ахти мне, Злочастье горинское... уморило меня, молотца, смертью голодною... Ино кинус я, молодець в быстру реку» (430 об.). Горе его отговаривало («и не мечися в быстру реку» — 431) и успокоительно предсказало:

И ты будешь перевезень за быструю реку,
напоять ты, накорьмят люди добрыя (431 об.).

И это предсказание сбылось! Но не потому, что Горе пожалело молодца, а потому что, по его мнению, оно завербовало себе сторонника или слугу («того выучю я, Горе злочастное... Покорися мне, Горю нечистому» — 431). Но, когда молодец попытался отделаться от Горя, игра со смертью возобновилась.

Третий уже совсем необычный фактор в предсказаниях Горя: все его предсказания и советы о будущем — сугубо бытовые (ср. и далее: «Быть тебе, травонка, посеченои... Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленои, быть тебе да и съеденои» — 433—433 об.).

Отмеченные особенности предсказаний «Повести о Горе-Злочастии» независимо от «Повести» с той или иной степенью сходства повторялись в древнерусской литературе второй половины XVII в. Так, в «Житии» Аввакума²⁴ возник ущербный тип предсказателя — волхв (на этот раз сибирский), — карикатурно связанный со смертью, но уже не человека, а барана («волхвхъ же той, мужикъ... привел барана живова в вечерь и учаль над нимъ волхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертель и прочь отбросиль») и т. д. — 370). Предсказание волхва-шамана отряду русских казаков, конечно, оказалось ложным («с победою великою и с богатствомъ большим будете назадъ» — вместо этого «войско... побили, все, без остатку» — 370, 372).

Если нечистая сила и помогала герою произведения, то имея свой интерес, как например, бес помогал Савве Грудцыну за его душу в продвижении по службе в «Повести о Савве Грудцыне».

Сугубо бытовой характер предсказанного будущего, видимо, также стал обычен в литературе второй половины XVII в. Так, в «**Житии Варлаама Керетского**»³⁵, от которого ждуть каких-либо новаций не приходится, встречается следующее «чудо»: лодью некоего купца затерло во льдах; во сне купцу явился святой Варлаам и завел разговор, как простой встречный («далече ли путь вашь, братие?» — 308); затем предсказал: «Богъ дастъ вамъ путь чистъ»; и, что наиболее интересно, сам, как простой матрос, «начат лды роспихавати». Купец проснулся и увидел уже наяву: «бысть яко дорога сквозе льда».

В общем, если ограничиваться предсказаниями, литература XVII в., конечно же, отличалась от литературы XVI в. большим разнообразием и большей смелостью в обновлении традиций.

Цельная же (но предварительная) картина эволюции предсказаний в древнерусской литературе XIII—XVII вв. свидетельствует о своего рода плавности в соотношении явлений однообразия и разнообразия: оба процесса развивались, не слишком опережая друг друга.

Примечания

¹ Под летописцем мы подразумеваем всех составителей «Повести временных лет» вкупе, не проводя между ними различия. Летопись цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись / Изд. подгот. Е. Ф. Карский. Столбцы указываются в скобках. Все древнерусские тексты здесь и далее передаются с упрощением орфографии.

² См.: *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 41—61. См. также: *Демин А. С.* Поэтика древнерусской литературы (XI—XIII вв.). М., 2009. С. 163—164. «Повесть временных лет» и «Хроника» Георгия Амартола.

³ «Хроника» Георгия Амартола цитируется по изданию: *Истрин В. М.* Книги временьяныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. Столбцы указываются в скобках.

⁴ О времени перевода см.: *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 15, 97—121. Текст перевода «Истории Иудейской войны» цитируется по названной книге Н. А. Мещерского. Страницы указываются в скобках.

⁵ Н. А. Мещерский (с. 110—112) отметил стилистическое и фразеологическое сходство между «Повестью временных лет» под 1024, 1054, 1068—1071, 1073 гг. и переводом «Истории» Иосифа Флавия. Добавим, что еще есть явное фразеологическое сходство между «Повестью временных лет»

под 971 г. (речи Святослава перед войском, 69, 70) и переводом «Истории» Флавия (речь иудейского царя Ирода I перед войском, 201—202), а также между летописью под 988 г. (описание болезни Владимира, 111) и переводом «Истории» Флавия (описание болезни иерусалимского царя Александра, 175); см. также сообщения о давании дани (летопись, 17, и «История», 252). Разумеется, речь может идти не о взаимозависимости двух текстов, а о их принадлежности к общему стилистическому фонду того времени.

⁶ «Сказание о Борисе и Глебе» и «Чтение о Борисе и Глебе» цитируются по изданию: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. Страницы указываются в скобках.

⁷ «Житие Феодосия Печерского» цитируется по изданию: Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. Столбцы указываются в скобках.

⁸ «Киево-Печерский патерик» цитируется по изданию: ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1980. Страницы указываются в скобках.

⁹ См.: *Демин А. С.* Поэтика древнерусской литературы: (XI—XIII вв.). М., 2009. С. 15—38, 69—85, 113—136, 186—229.

¹⁰ См.: *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. С. 135, 139. Текст памятника цитируется по тому же изданию, по разделу «Приложения». Страницы указываются в скобках.

¹¹ Летописная повесть цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Столбцы указываются в скобках.

¹² Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967. Страницы указываются в скобках.

¹³ О вставке см.: *Соколова Л. В.* К характеристике «Слова Даниила Заточника. (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // ТОДРЛ. СПб., 1993. С. 244, 247, 251. Текст вставки цитируется по названной работе, страница указывается в скобках.

¹⁴ «Житие Авраамия Смоленского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981. Страница указывается в скобках.

¹⁵ «Галицко-Волынская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 2. Столбцы указываются в скобках.

¹⁶ «Задонщина» цитируется по изданию: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова» / Тексты памятника подгот. Р. П. Дмитриева. М., 1966. Страницы указываются в скобках. За основу взят список Ундольского.

¹⁷ «Сказание о Мамаевом побоище» цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника Основной редакции

подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982. Страницы указываются в скобках.

¹⁸ «Житие Сергия Радонежского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIV — середина XV века / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981. Страницы указываются в скобках.

¹⁹ Первая редакция «Жития Михаила Клопского» цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1982. Страницы указываются в скобках.

²⁰ Рассказ о смерти Пафнутия Боровского цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Страницы указываются в скобках.

²¹ «Видение хутынского пономаря Тарасия» цитируется по изданию: ПЛДР: Конец XV — вторая половина XVI века / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева. М., 1984. Страницы указываются в скобках.

²² «Волоколамский патерик» цитируется по изданию: Древнерусские патерики / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999. Страницы указываются в скобках.

²³ «Повесть о Горе-Злочастии» цитируется по факсимильному воспроизведению рукописи в издании: *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII века // СОРЯС. СПб., 1907. Т. 83. № 1. В скобках указываются листы рукописи.

²⁴ «Житие» Аввакума цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова. М., 1989. Страница указывается в скобках.

²⁵ «Житие Варлаама Керетского» цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Страница указывается в скобках.

«ЗВЕРСКОСТЬ» ЗЛОДЕЕВ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XII—XVII вв.

Мы предлагаем краткое обозрение одного небольшого мотива «зверскости» злодеев в некоторых оригинальных (непереводных) древнерусских памятниках, наиболее известных — от «Повести временных лет» до «Жития» Аввакума. Какова его роль?

Произведения XII—XVI вв.

Самые ранние «зверские» злодеи в древнерусской литературе — это язычники. В начале «**Повести временных лет**» летописец изобразил звериную хищность деревлян: «древляне живяху *звериньскимъ* образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху увѣды девиця» (13)¹.

Представление о зверской хищности деревлян, по-видимому, было свойственно именно летописцу, а не заимствовано им откуда-то. Так, хотя сходный фразеологический элемент присутствовал в характеристике язычников в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, но Иларион, в отличие от летописца, имел в виду идейное невежество язычников: «прежде бывшемъ намъ, *яко зверемъ* и скотомъ, не разумеющемъ деснице и шюице, и земельных прилежащем, и нимала о небесныхъ попекущемся» (24)².

Летописец и далее писал о «зверскости». Так, он выписал характеристику иных язычников из «Хроники» Георгия Амартола, но в «Хронике» говорилось не о зверской хищности язычников, а об их «скотскости» и дикости: индийцы «убиистводеици... человекъ ядуще и странствующихъ убиваху; паче же ядять, *яко пси*. Етеръ же законъ халдеемъ и вавилонямъ: матери поимати, съ братними чады блудъ деяти, и убивати... Амазоне же мужа не имуть, но и, *аки скоть* бесловеснии, но единою летомъ къ вешнимъ днемъ оземьствени будутъ и сочтаются

сь окрестныхъ имъ мужи» (15—16)³. Летописец добавил «зверскость» к скотскости.

Далее в «Повести временных лет» летописец обвинил в «зверскости» и другие языческие племена: «и радимичи, и вятичи, и северь одинъ обычаи имяху: живяху в лесе, *яко же и всякии зверь*, ядуще все нечисто» (13—14). Резкость высказываний летописца несомненна. Язычество еще было живо.

Однако все-таки о тактичности обличения язычников свидетельствует то, что по отношению к «поганым» половцам летописец избегал прямых обвинений в «зверскости». Понятна подобная осторожность летописца в обрисовке половцев, с которыми русские то воевали, то мирились и заключали военные и брачные союзы.

Прочие летописные упоминания «зверскости» злодеев относятся уже к злодеям из христиан, но эти характеристики совершенно традиционны. Так, в летописной статье «О убиеньи Борисове» (под 1015 г. и под 1019 г.) упоминание о зверской хищности относилось к убийцам Бориса: «и се нападоша, *акы зверье дивии*, около шатра, и насунуша ѝ копы, и прободоша Бориса и слугу его» (134, под 1015 г.). Сравнение нападавших злодеев с дикими зверьми было традиционным эталоном свирепости. Сравнение это встречалось, например, и в переводной «Повести о святом Авраамии» Ефрема («*яко зверие дивии*, устремиша ся на нь, и биюще» — 477⁴); в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («устрьмиши ся на ня, *акы зверие дивии*» — 104⁵); в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора же («*рикающе, акы зверие дивии*, поглотити хотяще праведнаго», «*акы зверие дивии*, нападоша на нь», «устремишася по немь, *акы зверие дивии*» — 10—12⁶). Таких эталонов-символов было множество (см. работы В. П. Адриановой-Перетц).

В произведениях после «Повести временных лет» мало что прибавилось нового; авторы ограничивались только мелкими единичными новациями. Повествовательная книжность оставалась элитарной.

Владимир Мономах в «**Поучении**» для своих детей использовал образ волчьей хищности половцев: «*еяхом сквозе полкы половчские не въ 100 дружине и с детми и с женами, и облизахуся на нас, акы волцы, стояще*» (249)⁷. Сопоставление половцев именно с облизывающимися волками было очень живым, явно нетрадиционным и отражало охотничий опыт наблюдательного Мономаха. О своих охотничьих «ловах» Мономах подробно повествовал в «Поучении».

Летописи XII—XIII вв. совсем не внесли ничего нового в традицию изображения злодеев, постоянно сравнивая их со свирепыми зверьми, насыщающимися кровью и борзо передвигающимися. Встречается лишь одно исключение. Во «**Владими́ро-Сузда́льской летописи**» под 1169 г. (а в Галицко-Волынской летописи» под 1172 г.) содержится ругательный рассказ о владимирском епископе Феодоре, подвергнутом казни за жестокие муки неугодных ему людей, «от *звероядываго* Феодорца погыбающим от него» (357)⁸. Летописец постарался собрать всевозможные положенные проклятия злодею против «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестьца, лжаго владыку Феодорца» (255. В рифму сказано!), «безъмилостивъ сый мучитель» (356) и пр. Но необычно обвинение злодея в бешеной, нечеловеческой энергии, даже не зверской, а адской: «именья бо бе не сыть, *акы адъ* ... яко и сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ, и устроивше в немь 2-го Сотонаила, и сведоша ѝ въ адъ» (356). Откуда явилось это сравнение злодея с адом, не ясно. Безумная энергия являлась признаком злодейских персонажей.

Прочие произведения разных жанров XII—XVI вв., говоря о злодеях, тоже повторяли в разных вариантах традиционные выражения о зверях и волках, об аспидах и ехиднах, ядовитых змеях и львах. Разве что в «**Житии Авраамия Смоленского**» Ефрема встречаем новое сравнение: местные попы «хотеша бес правды убити» Авраамия, и на суде «бе-щину попомъ, *яко воламъ*, рыкающимъ» на блаженного (82)⁹. Рычащих зверей, в том числе львов, заменили волы.

Причиной этого единичного отступления от традиции, скорее всего, было влияние бытовых представлений автора, эпизодически проявлявшееся в «Житии» (вот некоторые бытовые детали, использованные автором: Авраамий «черну браду таку имея, плешиву разве имея главу» — 78; «яко птица, ять руками» — 80; «языкъ, яко затыка, въ устехъ баше» — 86; «скупи ограды овощныя» — 90; «онъ рогоже положи и постелю жестоку» — 98; и т. п.). Влияние хозяйственного быта на литературу как раз возросло именно с XV в.

Сходное явление встречаем и через 200 лет в «**Житии Евфросина Псковского**» Василия: на псковских монахов горожане «*яко осы или яко пчелы* соть, разсверепевше, наскакаху ... уязвляюще» (92—93)¹⁰. Пчелы из символа книжной премудрости оказались переосмыслены в то, чем они являются в реальной жизни. Связи между Василием и Ефремом в данном случае не было никакой. Исподволь влиял быт.

Зримые детали прибавились в описания «зверскости» злодеев в повестях XV—XVI вв. о восточных нашествиях на Русь. Все враги пребывали в дикой ярости. В так называемой пространной летописной **повести о Куликовской битве** Мамай «сеченыа свои видевь, *възъярився зраком*, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще ... престапааше, аки змиа къ гнезду, ... на крестьянство...» (19)¹¹, — обратим внимание на зримое описание зверского гнева Мамай: «възъярився зраком».

В других повестях о Куликовской битве такой детали нет. Ее появление объясняется некоторой склонностью автора к изобразительности, в частности, к упоминанию лиц персонажей («бился с тотары в лице», «лице свое почну крыти» — 22; «отврати, Господи, лице свое от них» — 18; «очи наши не могут огненьхъ слез источати» — 21); кроме того, автор указывал внешнее состояние оружия и доспехов («беаше виде ти весь доспехъ его битъ и язвен» — 22; «поострю, яко молнию, меч мой» — 18; «пошли ... на остраа копыа» — 19); автор как бы лицезрел окружающую обстановку («бысть тма велика по всей земли: мгыляне бо было беаше того от утра ... бе бо поле чисто и велико зело ... и покрыша полки поле» — 20; «прольяша кровь, аки дождева туча, ... паде трупъ на трупе ... видеша полци — тресолнечный полкъ и пламенные их стрелы» — 21; воины «оступиша около, аки вода многа, обаполы» — 22). По-видимому, пространная летописная повесть была составлена гораздо позже Куликовской битвы (см. об этом цикл работ М. А. Салминой), оттого автор уже в новом стиле украсил повествование небольшими картинками и изобразил злодея с яростным лицом.

Манера изобразительного украшения воинских повестей, написанных гораздо позже описываемых событий, распространилась в XVI в. Так, в **«Повести о разорении Рязани Батыем»** среди частых упоминаний о зверской ярости врага сказано, что «окаяный Батый и дохну *огнем* от мерскаго сердца своего» (188)¹². Эта «огненная» деталь своеобразна и связана с тут же развертывающимся рассказом о сожжении Рязани: «приидоша погани ... с *огни* ... священнический чин *огню* предаша, во святей церкви *пожегоша* ... и весь град *пожегоша*» (190).

В другом произведении — **«Сказании о Мамаевом побоище»** — обуреваемый зверской же яростью Мамай, обещавший убить Дмитрия Донского, почему-то срывается на крик — деталь тоже редкостная: «Онъ же нечестивый царь, разжень диаволом на свою пагубу, *крикнувъ* напрасно, *испусти гласъ*: “Тако силы моа, аще не одолею русских кня-

зей, ть како имамаъ възвратитися въ своаси?...» (38)¹³. Причина упоминания крика (восклицания) заключалась в том, что у автора повести Мамай всегда во всеуслышание объявлял о своих злодейских планах и опасениях.

Но зримые предметные детали еще тонули в риторике. Например, бесконечные украшения речи, риторические компиляции и распространения традиционных выражений о «зверскости» и «скотскости» врагов и недругов в изобилии содержала так называемая московская **«Повесть о походе Ивана III на Новгород»**: «мужие новгородстии лукавствомъ своя злыя мысли възгордевшеся»; «яко волкъ, чрезъ ограду хотяше влезти ко овцамъ...»; «яко же аспида глуха, затыкаючи уши свои»; «мечющися ... на лесъ, яко скоть, бредяху» и мн. др. (3, 6, 8, 11)¹⁴.

Таким образом, традиция изображения злодеев древнерусскими писателями сочетала обязательное единообразие схем и символов с разнообразием небольших новаций.

Более крупное отступление от традиции произошло в **«Повести о Тимофее Владимирском»**, сюжет которой был совершенно уникален: молодой православный священник бежал в Казань, стал воеводой у казанского царя и, «бусарманскую срацынскую злую веру приять ... золь гонитель бысть и лють кровопийца христианескъ проляяти кровь неповинных русских людей» (48, 60)¹⁵; но через 30 лет злодей раскаялся, и автор повести вдруг увидел, как выглядел раскаявшийся злодей: «верстою бы онъ в пятьдесят летъ бывъ» (64); если перед раскаянием он еще взирал «ярыма своима очима *звериными*», то после раскаяния так «плакася от полудне того до вечера, донеле гортань его премолча и слезы исчезосте от очию его» (60). Автор очертил позы раскаявшегося предателя: «сшед с коня, о землю убивашеся» (60); «свержесе с конех своих долу на землю» (64); «спа до утра на траве» (62); и умирая, «нози свои, яко живъ, простре» (64). Одежды персонажа также обозначил автор: мятущийся Тимофей то «пременив образ свой поповский и облечеся в воинскую одежду» (58), то стал носить «драгия ризы», но в конце концов «облече на него смиренныя ... одежду» (64). Кони, на которых ездил Тимофей, также не были обойдены вниманием автора повести: «гнаше ... на дву скорых драгих конехъ», а «на них басманы великие полны насыпаны злата, и сребра, и драгихъ камней» (64, 66). Все эти детали автор не помышлял объединить в портрет человека, а в рассыпанном виде упоминал в тексте повести. Но необычно само сочувственное «оживление» злодея.

Объяснить оправдание злодея можно устным источником автора, который в конце повести приписал: «Сия ж повесть многа летъ не написана бысть, но тако в людехъ в повестех ношашеся. Аз же слышахъ от многихъ сие и написахъ ползы ради...» (66). Но независимо от того, какова была легенда и как ее переложил автор письменной повести, мы обнаруживаем любопытный факт: житийная традиция изображения праведников, их лиц, поз, одежд и пр., была перенесена, как нетрудно убедиться, на изображение великого грешника.

Перейдем к более позднему времени и уже к иному процессу. Во второй половине XVI в. литература пошла по пути обильного компилования и нагнетания признаков, традиционно приписываемых особо лютым злодеям. Например, в «**Казанской истории**» автор создал условный образ: казанский царь Улу-Ахмет «возведе очи своя *зверинья* на небо», «поскрежета зубы своими, *яко дикий вепрь*, и грозно возвиста, *яко страшный змий великий ... яко левъ*, рыкая и, *яко змий*, страшно огнемъ дыша» (322, 324)¹⁶. Иногда образ злодея у автора повести становился более реальным, хотя и оставался гиперболическим, вроде татарского богатыря Аталыка: «Величина же его и ширина, аки исполина; очи же его бяху кровавы, *аки у зверя* или человекаядца, велики, *аки буйвола*» (352). Автор был в своем роде политическим романтиком, сгущал краски для радостного финала, потому что писал, по его определению, «новыя повести сея ... яко да, прочетше, братия наши воины и от скорби пременятся, прости же ту возвеселятся» (300) — успокоительное указание, спускаемое, так сказать, сверху вниз.

«**Степенная книга**» была гораздо более консервативна; и все же, хотя и в единичных случаях, ее составитель вносил дополнительные детали в описания, становившиеся от этого едко карикатурными: Батый «*яко же некий зверь*, вся поядая, останки же ногтями растерзая» (262)¹⁷. Официозно-политический нажим «утяжелял» литературную традицию изображения злодеев.

Элементы образности еще сильнее «утяжелились» в «**Повести о приходе Стефана Батория на град Псков**». «Зверскость» Стефана и его войска автор обозначил не только густыми сочетаниями обычных символов (голодный зверь, аспид, змий, жало, яд, волки и пр.), но однажды увлекся развернутым образом крылатого огнедышащего змея и дыма: «яко насытый ад, пропасть своя челюсти роскидаша и оттоле града Пскова поглотити хотяше. Спешнее же и радостнее ко Пскову, яко из великих пещер *лютому великому змию*, летяше. Страшили-

щами же своими, яко искры огненными дым темен, на Псков летяше... И тако все, *яко змии* на крылех, на Псков град леташе и сего горделивством своим, яко крылами, повалити хотяше; *змеиными* языки своими вся живущия во граде Пскове, яко жалами, уморити мянешся» и т. д. (424, 426)¹⁸. Автор повести там, где он писал о Стефане Батории и его войске, создал, в сущности, нечто вроде злорадного памфлета. На это указывает, в частности, авторское рассуждение, следующее сразу же за образом змея и черного дыма: «От полуденныя страны богохранимого града Пскова дым темен: литовская сила на черность псковския беляя каменные стены предпослася, ея же ни вся литовская земля очертети не может». И далее: «И сий, *яко дивий вепрь* из пустыни, прииде сам литовский король... Сий же неутолимый *лютый зверь* несытно своею гладною утробю пришед ... всячески умом rozpoлашеся...» (428).

Произведения XVII в.

В произведениях, рассказывающих о событиях Смутного времени, всюду расцвела эмоциональная традиция сравнивать врагов со злыми волками, лютыми львами, змиями, аспидами, скорпионами и пр. Но появились и многочисленные новации.

Начнем с рассмотрения «**Новой повести о преславном Российском царстве**». В авторские проклятия злодеям проникла некая хозяйственная тема. Автор повести, наряду с упоминанием экзотических животных, стал ориентироваться и на животных бытовых, домашних. Так, злодей был сравнен с жеребцом: наш «аки прехрабрый воин лютаго, и свирепаго, и неукротимаго *жеребца*, ревушаго на мску, браздами челюсти его удерживаетъ, и все тело его к себе обращаетъ, и воли ему не подасть» (34)¹⁹. Злодеи неоднократно напоминали автору повести лающих псов: «начать, *аки безумный песъ*, на аерь зря ляяти... *яко песъ*, лалять и бранить» (42); предать врагам, «*аки псомъ* на снадение» (40).

Дело в том, что, изображая врагов-захватчиков, автор исходил из неотчетливого представления то ли о неухоженной усадьбе, то ли о запущенном хозяйственном дворе. Поэтому злодеев он выдавал за сорняки, за вредоносные корни: «чтобы от того гнилаго, и нетвердаго, горкаго, и криваго коренни древа ... отвратити ... и злое бы корение и зелие ис того места вонъ вывести (понеже много того корения злаго и зелия лютаго на томъ месте вкоренилось)» (28); «чего ... злому корению и зелию даете в землю вкоренитися и паки, аки злому горкому

педыню, распложатися?» (48); «сами в свою землю и веру злое семя вкореняемъ» (50).

Но особенно ясно бытовые ассоциации автора проявились в сценах поведения врагов-хитрых злодеев. Это развернутое сравнение с корыстным женихом («не по своему достоянию ... хоцеть пояти за ся невесту красну, и благородну, богату же, и славну, и всячески изрядну. И нехотения ради невестина и ея сродниковъ ... не можаше ю вскоре взяти» и пр. — 30); сравнение с бесчестными покупателями-насилъниками («купльствуют не по цене, отнимають силно, и паки не ценою ценять и серебро платят, но с мечемъ над главою стоять» — 48); сравнение с раболепными нищими перед богачом («смотрят из рукъ и искверныхъ усть его, что имъ дасть и укажетъ, яко нищии у богатаго проклятаго» — 46); сравнение с буйным скандалистом (на свою жертву «нелепыми славами, аки сущий буй, камениемъ на лице ... метати, и ... безчестити, и до рождышиа его неискуснымъ и болезненнымъ словомъ доходити ... шумень былъ и без памяти говорил» — 42). В общем, изображение врагов-злодеев разворачивалось у автора повести как бы на фоне неладной городской жизни.

В последующих произведениях о Смуте среди привычных сопоставлений злодеев с привычными же зверями начали накапливаться мотивы, относящиеся к реальным животным. Пожалуй, первые элементы этого появились в «Сказании» Авраамия Палицына, вообще-то очень скупом в употреблении сравнений, но все-таки: «яко лютыя лвы ис пещер и из дубрав»; «ползающе, аки змия, по земли молком»; «лукави суще, яко лисица» (212, 248, 268)²⁰.

Особенно же много сопоставлений из мира реальной природы, примененных к злодеям, скопил в своем «Временнике» велеречивый Иван Тимофеев. Прежде всего, он снабдил более или менее реалистичными дополнениями тех животных, которыми традиционно обозначали злодеев. Так, змий получил хвост и зубы: злодей «яко змий, держася, обвив хоботом своим»; «окруживше объятием, яко велий змий хоботом»; «враждебно, яко змиеве, своими зубами держащих» (79, 141, 119)²¹. Змеи стали шипеть: «яко змиев, гнездящихся и сипящих» (165). Аспиды стали показывать пасть: «поглощения гортани зубов оного аспида» (80); «зиянием горла он си един, яко аспида, устраши» (131). Просто звери тоже стали показывать себя: «яко в берлозе дивия некако, лестне крысяся» (53); «яко же зверь некий, обратився навспячь, зубы своими угрызну» (73). Вепрь стал вести себя мирно, но хищно: «яко вепрь, тай-

но нощью от луга пришед ... кости ми оглада» (78). Псы, олицетворяющие злодеев, тоже стали у автора конкретнее: «яко в просту храмину ... пес со всесквернавою сукою ... вскочи» (88); «уже от сухих костей, подобно псу, тех сосет мозги» (78—79); «егда по случаю некако пес восхитит негде ... снедь ... бежит в место тайно тоя снести. Прочии же пси, таковое узревше восхищенное, у единого отъемлют и наслаждаются вси купно ... поживают же растерзательно и небрежно, обаче и рас- трашают много, прерывающе ... обидимым изгрызатися» (89) — целая картинка, наблюденная автором в жизни города или села.

Появились во «Временнике» и менее традиционные существа, символизирующие злодеев, например, козлы: «яко козел, ногама збод и ... долу сверг» (46); «яко дивий козел, овна рогами збод» (72).

Наконец, внимательный наблюдатель природы Иван Тимофеев охотно сравнивал злодеев с неприятными и опасными явлениями — с нечистотами, тучами, ночной тьмой, пожаром и дымом: «яко многомутныя нечистоты воды от скверных мест ... собранием истекоша» (141); «яко темен облак возвлекся от несветимыя тмы» (83); «яко ... мрачен облак тмы исполнися» (88); «яко *нощь* темна видением зряхуся» (13); «яко *главню* некую, искр полну, ветром раздомшую... внесоша ... яко саморазжено углие огнено ... к запалению совнесше ... все огнем запальше, испепелиша» (14); «яко *дым* по воздуху разшедшеся» (32); «яко огню *дымоподобие* некаку ... курящуся» (47). Автор «Временника», изображая злодеев, развил образительно-политический подход «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков» и «Новой повести о преславном Российском царстве».

Прочие произведения о Смуте не отличались оригинальностью в изображении «зверскости» злодеев, изредка вводя новые реальные детали из мира природы (ср. в «Хронографе 1617 г.»: «аки злый *врань*, иже злобою очерненный»; «аки злодыхательная *буря* надымаяся» — 322, 332²²).

В более поздних произведениях XVII в., уже не посвященных событиям Смутного времени, злодеев было немного. В первую очередь надо рассмотреть необычный литературный шедевр — «**Повесть о Горе-Злочасти**».

У Гора можно отметить четыре своеобразные черты. Во-первых, Горе, конечно, злодей, но злодей странный, с ослабленными элементами «зверскости». Горе никого не убивает и не мучает. Оно только навязчиво преследует Молодца: «Стои ты, Молодецъ! Меня, Гора, не увидешъ

никуда» (XVII); «не на час я к тебе, Горе-Злочастие, привязалось» (XX); «с тобою пойду подь руку под правую» (XXI)²³. Горе только страшает Молодца смертью: «бывали люди у меня, Горя, и мудрая тебя, и досу-жае, и я их, Горе, перемудрило... до смерти со мною боролися... не могли у меня, Горя, уехати... они во гробь вселилися» (XIII); «быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе от тое жены удавлену, и з злата и сребра бысть убитому»; «хощь до смерти с тобою помучюся... кто в семью к нам примещается, ино тот между нами замучится» (XX); «умереть будеть напрасною смертию», «чтобы Молодца за то повесили или с каменем въ воду посадили» (XXII). Горе у автора повести предстало, как этот камень на шее: его не уничтожают и не прогоняют, оно есть — и приходится его терпеть.

Вторая черта Гора — его погруженность в быт. Горе преследует Молодца, так сказать, охотничьими и хозяйственными способами: в просторном поле «злое Горе ... на чистомъ поле Молодца вьстретило, учало над Молодцемъ граяти, что злая ворона над соколомъ... Горе за ним белымъ кречетомъ... Горе за нимъ з борзыми вежлецы... Горе пришло с косою вострою... Горе за ним с щастыми неводами» (XX—XXI).

Третья черта Гора: по сравнению с прошлыми изображениями злодеев, автор повести представил Горе в приземленно бытовом виде, но не зверском или скотском. Горе, скорее, напоминает прилипчивого и наглого алкоголика: «хочу я, Горе, в людех жить, и багогомъ меня не выгонит; а гнездо мое и вотчина во бражниках» (XIII); «босо, наго, неть на Горе ни ниточки, еще лычкомъ Горе подпоясано, багатырскимъ голосомъ воскликано» (XVI—XVII). Горе похоже на пьяниц из другого произведения — из «Службы кабаку», где постоянны и часты упоминания «наготы-босоты» пьяниц, которые «горлы рыкают» и, обретаясь в кабаке, «яко ворона по полатям летает» (206, 198, 201)²⁴. Бытовые мотивы вышли на первый план при изображении Гора-Злосчастия, полностью вытеснив влияние политики, потому что Горе — «свой», российский персонаж, а не иностранный злодей, как это было в литературе ранее. Можно предположить, что «природо-хозяйственное» изображение российских пособников внешних врагов в какой-то мере помогло переходу к изображению злодея внутрироссийского, бытового.

Четвертая черта: Горе более зловеще, чем просто опустившийся пьяница или «лихой человек», который «в тотъ час у быстри реки ско-ча ... из-за камени» (XVI). У Гора нет лица, и «серо Горе горинское» (XIII). Оно, как оборотень, только прикидывается перед Молодцем то

человеком «голеньким»; то божественным вестником архангелом Гавриилом; то, подобно «людям добрым», якобы благим наставником; то охотником; то рыболовом; то вроде бы превращается в хищную птицу. На беса оно все-таки не похоже, потому что бесы в состоянии наслать на человека болезнь и смерть, а Горе этого сделать не может и не хочет. Кроме того, бесы жестоко шалят в монастырях и монастырских кельях (ср. «Повесть временных лет»), а «Горе у святых воротъ остается, к Молодцу впредь не привяжетца» (XXII). Вероятно, автор повести исходил из представления, что Горе — это не бес, а какая-то более слабая, притом бытовая, нечистая сила. Недаром Горе предлагает Молодцу: «покорися мне, Горю *нечистому*» (XVII), — тут у эпитета «нечистый» двойной смысл, прямой и переносный.

В общем, в «Повести о Горе-Злочастии», по-видимому, отразилось минорное настроение автора через полвека после преодоления Смуты.

Затем, в последней четверти XVII в., о «зверскости» злодеев-никониан упорно писали старообрядческие деятели, особенно Аввакум. Однако новаций у него было очень немного. Так, Аввакум в своем «Житии» применял к злодеям (к патриарху Никону, никонианам, властям и «начальникам») в основном сравнения старой традиции — с дикими зверьями, волками, адовыми псами; но также сравнения относительно более поздней демократической традиции, например, с лукавыми лисами. Аввакум обращался и к ярко индивидуальным сравнениям из области быта и реальной природы: «власти, *яко козлы*, пырскать стали на меня» (379); «оборвали, *что собаки*» (380); «*что вольчонки*, вскоча, завыли» (384)²⁵.

Есть в «Житии» Аввакума удивительное описание злодея — жестокого воеводы Пашкова, — когда из неудачного похода, еле спасшись, вернулся его раненный сын, за которого воевода очень беспокоился: «Он же Пашковъ, оставя застенокъ, к сыну своему пришел, *яко пьяной, с кручины*»; тут же присутствовал Аввакум, которого Пашков собирался пытать в застенке: «Пашковъ же, возведь очи свои на меня, — слово в слово, *что медведь морьской белой*, — жива бы меня проглотилъ, да Господь не выдасть! — вздохня, говорить... Десеть летъ онъ меня мучилъ, или я ево — не знаю, Богъ розбереть в день века» (372). В приведенных двух сравнениях отразилось и представление Аввакума о внешнем виде Пашкова (грузный, седой); и сочувствие своему мучителю, пребывающему в «кручине» (это подметил Д. С. Лихачев); и ощущение сдерживаемой «зверскости» врага. Множественность смыслов

сценки свидетельствует, что Аввакум создал полнокровный художественный образ, выразив свое живое впечатление от события.

Обозревая (конечно, крайне неполно и поверхностно) историю мотива «зверскости» злодеев в древнерусской литературе за 700 лет, мы можем констатировать следующее: бурного развития этого косного многовекового литературного мотива, в сущности, не происходило; он, как правило, допускал хоть и выразительные, но лишь эпизодические дополнения. Мотив «зверскости» злодеев, несмотря на его мелкость, — один из «стержней», скреплявших в единое целое древнерусскую литературу.

Примечания

¹ «Повесть временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский.

² «Слово о Законе и Благодати» цитируется по изданию: Идеино-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1.

³ См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 46—47; Истрин В. М. Книги временныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1: Текст. С. 50.

⁴ «Повесть о святом Авраамии» Ефрема цитируется по изданию: Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

⁵ «Житие Феодосия Печерского» цитируется по изданию: Успенский сборник XII—XIII вв.

⁶ «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора цитируется по изданию: *Абрамович Д. И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916.

⁷ «Поучение» Владимира Мономаха цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

⁸ «Владимири-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

⁹ «Житие Авраамия Смоленского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981.

¹⁰ «Житие Евфросина Псковского» Василия цитируется по изданию: Пам. СРЛ. СПб., 1862. Вып. 4 / Изд. подгот. Н. И. Костомаров.

¹¹ Пространная летописная повесть о Куликовской битве цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л., 1982.

- ¹² «Повесть о разорении Рязани Батыем» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев.
- ¹³ «Сказание о Мамаевом побоище» цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. В. П. Бударгин и Л. А. Дмитриев.
- ¹⁴ Московская «Повесть о походе Ивана III на Новгород» по Бальзерову списку цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6.
- ¹⁵ «Повесть о Тимофее Владимирском» цитируется по изданию: ПЛДР: конец XV — первая половина XVI века / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова. М., 1984.
- ¹⁶ «Казанская история» цитируется по изданию: ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985.
- ¹⁷ «Степенная книга» цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1 / Текст памятника подгот. П. Г. Васенко.
- ¹⁸ «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков» цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина XVI века / Текст памятника подгот. В. И. Охотникова. М., 1986.
- ¹⁹ «Новая повесть о преславном Российском царстве» цитируется по изданию: ПЛДР. Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. М., 1987.
- ²⁰ «Сказание» Авраамия Палицына цитируется по изданию: ПЛДР: Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева.
- ²¹ «Временник» Ивана Тимофеева цитируется по изданию: Временник Ивана Тимофеева / Текст памятника подгот. О. А. Державина. М., 1951.
- ²² «Хронограф 1617 г.» цитируется по изданию: ПЛДР: Конец XVI — начало XVII веков / Текст памятника подгот. О. В. Творогов.
- ²³ «Повесть о Горе-Злочастии» цитируется по фототипическому воспроизведению рукописи в издании: *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII века. СПб., 1907.
- ²⁴ «Служба кабаку» цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Н. В. Поньрко. М., 1989.
- ²⁵ «Житие» протопопа Аввакума цитируется по изданию: ПЛДР: XVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова.

ЛЕТОПИСНЫЕ КОНЦОВКИ И УМОНАСТРОЕНИЯ ЛЕТОПИСЦЕВ XI—XVI вв.

Концовки летописных статей и эпизодов как знак завершения того или иного сюжета нередко имели дополнительный, литературно интересный смысл. Рассмотрим концовки примерно в десяти летописях, самых важных для нашей темы.

«Повесть временных лет»

При всем обилии повторяющихся фразеологических концовок в «Повести временных лет» видно, что они еще не оформились у летописца в устойчивый элемент литературной поэтики произведения и поэтому были эпизодичны и далеко не всегда содержали дополнительный смысл сверх фактографического утверждения.

И все же дополнительный смысл концовок у летописца регулярно присутствовал, а сводился он к обозначению долговременности упоминаемых явлений. Так, летописная статья под 955 г. о взаимоотношениях княгини Ольги с сыном своим Святославом заканчивалась фразой: Ольга «кормящи сына своего *до мужьства его и до возраста его*» (64)¹. Далее следуют восемь «пустых» годов и лишь затем сообщается, что «князю Святославу *възрастшу и възмужавшу*», — то есть концовкой статьи под 955 г. летописец подразумевал, что долго-таки Ольга «кормила» своего сына.

Почему летописец остановился на концовке о долговременном «кормлении» Святослава Ольгой? Возможной причиной было поведение Ольги как уже христианки, которая в отличие от язычников обязана была опекать своих детей, пока они не станут взрослыми. Но для нас интереснее творческая причина — стремление летописца показать Ольгу как человека исключительно постоянного в разных сторонах ее жизни. Вот свидетельства. Во-первых, Ольга преданно любила своего

сына; это летописец подтвердил не только перед концовкой своего рассказа («обаче любяше Ольга сына своего Святослава»), но и концовкой предыдущего рассказа под 947 г. («пробываше съ нимъ въ любви» — 60; и далее семь «пустых» годов).

Во-вторых, Ольга неотступно мстила древлянам, убившим ее мужа. В-третьих, Ольга неуклонно стремилась к принятию христианства («си бо *отъ възраста* блаженная Ольга искаше мудростью все въ свете семь, налезе бисерь многоценень, еже есть Христось» — концовка похвалы Ольге в составе статьи под 955 г., 62). В-четвертых, Ольга всегда была защищена от дьявола (ей обещано: «Христось ... тя избавить от неприязни и от сетии его» — 61—62; и верно: Господь «защитилъ бо есть сию блаженую Вольгу от противника и супостата дьявола» — 69, концовка статьи под 969 г.). В-пятых, даже тело умершей Ольги лежало нетленно (Ольгу «вси человеци прославляютъ, видяща лежащую в теле *за многа лета*» — 68, под 969 г.). Было ли так на самом деле, мы не знаем, но, думается, Ольга как идеально постоянный персонаж был представлен летописцем.

Подобные приведенным выше «неточные» обозначения отрезков времени в других концовках летописных рассказов бывали разными фразеологически, но литературный смысл их был один и тот же — долговременность явления. Концовки с приблизительным счетом годов указывали у летописца на застылость состояния персонажей и кроме Ольги. Например, киево-печерский монах Антоний Великий «сконча животь свои, живь в добродетели, не выходя ис пещеры *лет 40* нигде же» (158, под 1051 г., первая концовка эпизода). «Лет 40» — это неопределенно долго. И действительно, по описаниям летописца, Антоний всегда пребывал в подвижническом житии: «ядьи хлебъ сухъ, и то же чересь день, и воду в меру вкушая... и не да себе упокоя *день и ночь*, в трудехъ пребывая, въ бдени и в молитвахъ» (157, концовка эпизода).

У другого киево-печерского монаха по имени Исакий, как рассказал летописец, разные состояния, сменяя друг друга, задерживались тоже надолго: то он «затворися в пещере... и того створи *лет 7*, на светъ не вылазя» (192, концовка эпизода под 1074 г.); то затем он заболел и «*за 2 лета* лежа си, ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни от какаго брашка, ни языкомъ проглагола, но немъ и глух лежа *за 2 лета*» (194, концовка эпизода); то после выздоровления Исакий долго терпел преследования бесов: «се бы... *за 3 лета* та брань си» (197—198, концовка

эпизода). Отчего так растягивались сроки? Оттого что Исакия летописец изобразил вообще очень медлительным и фантастически заторможенным человеком: до болезни Исакий сиднем сидел («въ кельици мале, яко четыре лакоть ... на ребрехъ не легавъ, но сея» (192); после болезни медленно учился вкушать хлеб; затем так и не восстановил чувствительность: «все терпяше: приимаше раны, и наготу, и студень день и ночь» (196), в мороз «стояше крепко и неподвижно ... яко примерзняшета нозе его г камени, и не движаше ногама» (195); а то «вступль ногама босыма на пламени» и стоял (196) и т. д.

На долговременность явлений указывали также иные по форме, но распространенные в летописи концовки с формулами «**до сего дне**», «**и доныне**», «**и ныне**». Имелись в виду в основном материальные памятники — могилы, кости, церкви, города. Причиной распространенности таких концовок являлось стремление летописца показать постоянство иного рода — то, как устойчива на Руси память о своем прошлом: современники летописца знали и называли эти памятные места («есть же могила его *и до сего дни*, словеть могила Ольгова» — 39, под 912 г., первая концовка рассказа об Олеге Вещем; еще: идола Перуна выбросило на мель, «и оттоле прослу Перуня мель, яко же *и до сего дне* словеть» — 117, под 988 г., концовка эпизода); погребения сами напоминали о себе (в пещере Антония Великого «лежать моще его *и до сего дне*» — 158, под 1051 г., концовка эпизода); древние предметы и села не были забыты (княгиня Ольга: «сани ее стоять въ Плескове *и до сего дне* и есть село ее Ольжичи *и доселе*» — 60, под 947 г.; концовка первого сообщения); старинные церкви были знакомы современникам летописца («церковь ... яже стоять *и до сего дне* Тьмурокани» — 147, под 1022 г., концовка летописной статьи; «и церковь, юже села Изяславъ, яже стоять *и ныне*» — 181, под 1072 г., концовка вступительного сообщения летописной статьи).

По рассказам летописца, памятники деяний русских властителей были известны и даже поминались и за пределами Руси (Кий пытался поселиться на Дунае — «*и доныне* наречють дунаици городище Киевецъ» — 10; разрушенные Святославом византийские города «стоять *и до днешняго дне* пусты» — 70, под 971 г.; у Святополка Окаянного «межю ляхы и чехы ... есть же могила его в пустыни *и до сего дне*, исходить же из нея смрадь золь» — 145, под 1019 г.; тьмуроканский князь Роман Святославович был убит у половцев — «суть кости его *и доселе* лежаче тамо» — 204, под 1079 г.).

Русские персонажи у летописца тоже постоянно помнили о прошлом Руси и славян (например, через 90 лет после события один из киево-печерских монахов «именем Еремия, иже помняше крещенье земле Русьскыя» — 189, под 1074 г.; Владимира-крестителя «в память держать русьстии людье, поминающе святое крещенье» — 131, под 1015 г.; «и есть притьча в Руси *и до сего дне*: “Погибоша, аки обре”» — 12). И сам летописец возвращался мыслями к далекому прошлому (например, под 1095 г.: «В се же лето придоша пружи на Русьскую землю ... и не бе сего слышано *в днешь первых* в земли Русьсте» — 226).

Внимание к явлениям постоянным в жизни побуждало летописца отмечать концовками устойчивость судеб других древних народов — хазар («володеють бо козары русьский князи *и до днешнего дне*» — 17); поляков («быша же радимичи от рода ляховь ... платять дань Руси, повозь везуть *и до сего дне*» — 84, под 984 г.; «многы ляхы ... Ярославъ посади на Рьси, *и суть до сего дне*» — 150, под 1030 г.); печенегов («не ведяху, камо бежати ... тоняху ... а прокъ ихъ пробегоша *и до сего дня*» — 151, под 1036 г.); торков («торци убояшася, пробегоша *и до сего дне*» — 163, под 1060 г.). Иногда устойчивое свойство народа летописец отмечал не в концовке, а в попутном замечании по ходу своего повествования (например: «суть бо греци лстивы *и до сего дни*» — 70, под 971 г.). Преходящие черты этносов летописец не упоминал.

Наконец, максимальную долговременность явлений летописец обозначил в концовках о бесконечной вечности тех или иных состояний персонажей, особенно когда писал о «том свете» (блаженный князь «*вечней* жизни и покою сподобися» — 207, под 1086 г.; а злодей «по смерти *вечно* мучимъ естъ» — 145, под 1010 г.; половцы «на ономъ свете ... уготовании огню *вечному*» — 233, под 1096 г.).

И в земной жизни в концовках воинских рассказов летописец провозглашал вечную славу победы (например: разгромив половцев, «възвратишася русьстии князи въ свояси съ славою великою, и ко всимъ странамъ далнимъ рекуще — къ грекомъ, и угромъ, и ляхомъ, и чехомъ, — дондеже и до Рима проиде, на славу Богу *всегда, и ныня, и присно, во веки, аминь*» — третья редакция «Повести временных лет», 273, под 1111 г.²). Сюда же летописец подверстал и дипломатические договоры, где регулярно обещали противники вечность заключенного мира (в договорах руси со греками, в заключительных формулах: «да храним тако ж любовь ... *всегда и во вся лета*» — 34, под 912 г.; «да

хранить си любовь правую, да не разрушится, дондеже солнце съяеть и весь мирь стоять *в нынешния веки и в будущая*» — 53, под 945 г.; «толи не будет межю нами мира, елико камень начнеть плавати, а хмель почнет тонути» — 84, под 985 г.).

Иногда сроки вечности явлений в концовках у летописца сокращались, но все-таки оставались неопределенно долгими. Так, «человеки нечистыя», запертые еще Александром Македонским в непроходимых горах, но пытающиеся прорубиться, «*в последняя же дни ... изидут*» «и осквернять землю ... си сквернии языкы» (235—236, концовка рассказа под 1096 г.).

Судя по рассмотренным концовкам летописных статей и эпизодов, можно предположить, что летописец искал некие постоянные и устойчивые явления как в прошлом, так и в современном ему крайне нестабильном мире.

Перейдем к другому виду концовок. Многочисленные концовки **о возвращении персонажей домой** тоже свидетельствовали об уже знакомом нам отборе стабильных явлений летописцем. Например, рассказ о крещении Ольги в Царьграде летописец закончил концовкой: Ольга «иде с миромъ въ свою землю и приде Киеву» (62, под 955 г.). Дополнительный литературный смысл этой концовки — прочность крещения Ольги. И действительно, непосредственно перед концовкой рассказа царьградский патриарх заверил Ольгу о будущем: «Христость *имать схранити* ты ... ты избавить от неприязни и от сетии его». И далее летописец прямо подтвердил это: Бог «защитилъ бо есть сию блажену Вольгу от противника и супостата дьявола» (69).

Тот же смысл долговременной прочности свершившегося события имела концовка рассказа о крещении киевлян Владимиром Святославовичем: «крестившим же ся людемъ идоша кождо в дома своя» (118, под 988 г.). Зачем летописцу понадобилось завершать эпизод само собой разумеющимся указанием о возвращении людей по домам? Только для того, чтобы композиционно «закруглить» рассказ? Думается, что эта концовка у летописца обладала и дополнительным смыслом, обозначая увековеченность крещения киевлян. Недаром опять же непосредственно перед концовкой дьявол стenal о своем будущем: «*не имам уже царствовати* въ странах сихъ».

Но выделение стабильных явлений не превратилось у летописца в навязчивую цель. Так, хотя самыми частыми в летописи были стандартные концовки о возвращении персонажей из похода домой, одна-

ко дополнительный смысл во многих этих формальных концовках был редок и слаб. Приходится сомневаться в том, что у летописца даже пышные концовки о возвращении с победой неизменно загадывали так уж далеко. Например, под 1103 г. летописец завершил статью о крупнейшей победе русских над половцами торжественной концовкой: «и придоша в Русь с полоном великим, и с славою, и с победою великою» (279). Но ни намек на длительность победных результатов концовка не содержала, а через два года, под 1106 и 1107 гг., летописец уже снова сообщил о нападениях половцев.

Концовки о возвращении домой в рассказах с иными, невоенными, сюжетами тем более не подразумевали длительных явлений. Вот парадоксальный пример. Статью под 1072 г. о перенесении мощей Бориса и Глеба русскими князьями летописец заключил благостной концовкой: «обедаша братья на скупь кождо с бояры своими с любовью великою ... после же разидошася в своя си» (182). Великая любовь? Но и года не прошло, а тут же последующей фразой летописец объявил о раздоре между теми же князьями: «Въздвиже дьяволь котору въ братьи сея ... бывши распри межи ими» (под 1073 г., 182).

Тем не менее внимание к стабильности описываемых явлений летописец все-таки проявлял, хотя и непоследовательно. Об этом еще свидетельствуют концовки с формулой «и тако». Главный их литературный смысл — подразумевание длительности результата событий (разгром: «русь, видящи пламянь, вметахуся въ воду морьскую, хотяще убрести, и тако възвратишася въ своя си» — 44—45, под 941 г.; спасение: «привезоша жито и тако ожиша» — 147, под 1024 г. и др. концовки эпизодов).

Некоторые из этих концовок эпизодов означали долговременное постоянство действий персонажей (ср.: словене «облеются водою студеною и тако оживуть, и то творять по вся дни» — 8—9; Владимир Святославович «створяще праздникъ великъ ... и тако по вся лета творяше» — 125, под 996 г.). Концовки же эпизодов о роковых нападениях на князей, возможно, подразумевали у летописца окончательность, даже вечность результата действий («и тако убьень бысть Ярополкъ» — 78, под 980 г.; «и тако скончася блажени Борисъ, венець приемъ от Христа-бога» — 134, под 1015 г.; «и тако зле испрооверже животъ свои Итларь» — 228, под 1025 г. и т. п.).

В общем, желанной для летописца была некая реальность со стабильными явлениями и свойствами. Поэтому летописец, рассказывая

о конкретных событиях, делал выводы об общих принципах бытия, опираясь на цитаты из Священного писания, на афористические высказывания персонажей и на собственные рассуждения. Например, под 1068 г. летописец объяснил нашествие половцев и мятеж в Киеве нарушением мирного крестного целования между князьями и, закончив рассказ концовкой о победоносном возвращении домой того князя, который крестное целование соблюдал («и възвратися с победою в градъ свои»), летописец разразился поучением о необходимости всегда соблюдать крестное целование: «Да не преступаютъ честнаго креста, целовавше его; аще ли преступитъ кто, то и zde приметъ казнь, и на придущемъ веце казнь вечную» (172). Стабильности жизни хотелось летописцу начала XII в.

Летописи XII—XIII вв.

Во «Владими́ро-Суздальской летописи» концовки летописных статей и эпизодов стали преимущественно однообразными; в них летописец неизменно отмечал, кого, куда, в какой город послали княжить, куда, в какой город пошел или куда воротился князь, либо куда разошлись князья. Летописец внимательно фиксировал местонахождение князей в каждый данный момент, составляя своего рода географическую карту передвижения князей, что было важно в эпоху наступившего феодального дробления Руси. Та же «географическая» пристальность летописца отразилась и в концовках о смерти князей и княгинь: где, в какой церкви и в каком именно месте церкви положено и лежит знатное тело. Эти сведения летописец указывал неукоснительно.

Добавочный смысл часто повторяемых концовок был скуден и лаконичен: «воротишася с победою великою»; «не успе ничто же, възвратишася вспяты»; «много зла створше, възвратишася». Позднее об удачливых князьях, ездивших в Орду, сообщалось: «възвратися в свою землю с великою честию». Местопребывание врагов летописец тоже отслеживал, но знал не очень определенно: «половци идоша домовъ»; «а сами идоша в станы свое». Летописец оставался фактографом. Попытка уследить за всеми обернулась сухостью изложения.

Единственное исключение составляет картинная концовка летописной статьи под 1206 г.: «и въехаша в градъ Володимерь и поклонися отцу своему Костянтинъ; отецъ же его, вставъ, обуймъ ѿ, целова любезно ѿ с радостью великою, яко Ияковъ-патриархъ, Иосифа Пре-

краснаго видевь» (428—429)³. Речь идет о торжественной встрече тогда новгородского (впоследствии ростовского, затем владимирского) князя Константина его отцом, знаменитым великим князем владимирским Всеволодом Большое Гнездо. Теплая риторичность приведенной концовки объясняется тем, что летописец с подчеркнутым благоговением относился ко Всеволоду и Константину и почти каждое упоминание о них сопровождал похвальными эпитетами, описаниями впечатляющих церемоний и библейскими параллелями, но все в пределах традиции.

Сравнительно с ранними киевскими летописцами XI — начала XII в. описываемая реальность у более поздних владимирских летописцев XII — начала XIII в. рассыпалась на множество отдельных официальных фактов (хотя «Повесть временных лет», безусловно, повлияла, в первую очередь фразеологически, на северо-восточное летописание).

Перейдем теперь к краткому обзору концовок в «**Киевской летописи**», современной владимирскому летописанию, и убедимся, что в «Киевской летописи» концовок, в сущности, нет. Эпизоды и летописные статьи могли прерываться на чем угодно: на сообщениях о прекращении брани, о содержании в плену или отпуске, о крестоцеловании, о казни и убийствах, о плачах или радости, об обмане и надеждах, о речи того или иного князя, об обещаниях и т. д. Иногда, правда, встречались и привычные концовки о возвращении «во своя си» или положении тела умершего, но они уже не имели особого «географического» значения. Главным для летописца было изложение бесконечно продолжающегося потока событий, в результате чего «повествование приобрело характер уже не только последовательного, но и непрерывного изложения», как показал И. П. Еремин в своей прекрасной и ничуть не устаревшей работе 1949 г. о «Киевской летописи»⁴.

И. П. Еремин выделил и главную повествовательную черту «Киевской летописи» — ее документальность, «прямое отражение реальной действительности»⁵. Но добавим: документальность «Киевской летописи» отличалась от «географической» документальности владимирского летописца, потому что киевский летописец XII в. стремился пространно писать буквально обо всем, во всех подробностях и деталях событий, для него равновелико важных.

Но как не захлебнуться в столь необычайно обильном материале? Летописец, основываясь на повествовательной традиции, насильственно нарубил рассказы по годам, а под одним годом «насовал» разные сюжеты. В результате рассказы стали прерываться, нередко, как гово-

рится, «на самом интересном месте», и не факт, что сюжет был продолжен летописцем под следующим годом или закончен вообще. Кроме того, в летописи гигантские рассказы хаотически стали чередоваться с мелкими погодными сообщениями. В этих условиях концовки, как правило, оказались не нужны.

Конечно, повествовательная манера обширной «Киевской летописи» заслуживает обстоятельного изучения и после работы И. П. Еремина. Нам же необходимо было хотя бы предположительно объяснить феномен «бесконцовочности» «Киевской летописи».

Новая манера летописного повествования возобладали в XIII в., в «Галицко-Волынской летописи», расщепленной на множество сравнительно небольших или даже мелких эпизодов⁶. Главным элементом изложения стал эпизод, а деление по годам получилось чисто формальным, не всегда строго соблюдаемым и к тому же ошибочным. Летописец уже заботился о литературном оформлении эпизодов и, в частности, «закруглял» их типовыми концовками. Самой частой являлась концовка о возвращении персонажа домой — с удачей или неудачей — либо просто назад («возвратишася с великою славою»; «не воспевшимъ ничто же, вратишася»; «возвратистася во землю свою»; «возвратишася восвоюся»; «звратишася в домы»; «поидоша назадъ» и т. д.). Довольно часто концовкой эпизода становилось итоговое сообщение о количестве убитых или о масштабе убийств в бою («убьено же бысть ихъ числомъ 500, а инии разбегошася»; «много убийства створиша в нихъ»; «избиша е все от мала и до велика»; «велико убийство створи земле той» и пр.). Наконец, на третьем месте по распространенности были концовки о радости людей (либо о других чувствах) в соответствующих обстоятельствах («сретоша ѿ с великою радостью»; «и бысть радость велика»; «и бывшу веселью не малу»; «и возрадовася о семь» и пр.). Литературные достоинства «Галицко-Волынской летописи» исследователи уже давно оценили высоко, вот и сознательное разделение изложения на эпизоды тоже вошло в систему литературного творчества летописца XIII в.

Но комплекс концовок выдавал еще и направленность действий галицкого летописца на классификацию, на некоторое упорядочение жизненных ситуаций, на отнесение их то в разряд горестных явлений (например, «беда бо бе в земле Володимерьстеи»; «бе исполнена земля Руская ратныхъ»; «о злее зла зло есть»), то — реже — в разряд событий положительных («такое бо милость Бога»; «Богу помогающе имъ»). Концовками летописец давал окончательную характеристику персона-

жей по некоей моральной шкале («в правду бе антихристь за скверная дела его»; «загорде бо ся»; «бе бо дерзь и храборь от главы до ногу его, не бе на немь порока»; «бьшеть человекъ святъ, акого же не будетъ перед ним и ни по немь не будетъ» и мн. др.). Концовками летописец формулировал уроки, извлекаемые из событий («яко же не от помощи человекомъ победа, нь от Бога»; «на Бога надеяться и на нь возложить печаль»; «Богъ спастеть своею волею» и т. п.).

Еще некоторые концовки (фраза, завершающая речь персонажа, или упоминание автора о прекращении рассказа «от множества ради» фактов и т. д.) вносили свою лепту в градацию событий. Конечно, в «Галицко-Волынской летописи» хватало эпизодов и без отчетливых концовок.

В итоге, если брать, по нашим наблюдениям, преобладавшие литературные тенденции у летописцев, то на материале летописных концовок можно заметить эволюцию древнерусского летописания в отображении реальности в течение XI—XIII вв.: летописцы сначала искали стабильные принципы бытия; затем отказались от их поисков под напором разнородных фактов; однако потом все-таки стали тяготеть к систематизации типичных явлений жизни.

И последнее замечание о концовках в летописях XII—XIII вв. В тексте «Новгородской первой летописи» старшего извода из-за лаконичности сообщений в большинстве случаев эпизоды заменили одна-две фразы о том или ином событии. Последние же фразы сравнительно длинных летописных статей до первой трети XIII в. все же иногда напоминали концовки, но фактографические — они обычно сообщали о поставлении или назначении персонажей на важный пост (либо о захвате его), о дороговизне еды, об удачности мелких походов или о неудачах из-за наших грехов. Концовки перестали быть литературным явлением в «Новгородской первой летописи»; летописец попросту вел учет административно-хозяйственных фактов реальности. Каждая ранняя летопись шла своим путем в отображении жизни.

Летописи XIII—XVI вв.

Подавляющее большинство летописей XIII—XVI вв. имели только фактографические концовки эпизодов и статей, сообщавших, куда князь пошел или возвратился, где «сел» или куда кого послал, кому что дал, где его тело положили и пр.

Но в некоторых летописях этого периода, преимущественно в рассказах о трагических событиях, стали использоваться летописцами и

концовки нравоучительные, обычно о наказании нас за грехи, о необходимости покаяться и с надеждой на милость Бога. Пожалуй, раньше всего такие повторяющиеся концовки в виде небольших заключительных поучений появились в «Симеоновской летописи», в рассказах о больших пожарах, моровых болезнях, крупных поражениях и вражеских нашествиях (начиная примерно с 1185 г.). Концовки эти выдавали довольно спокойное отношение летописцев к описываемым давно прошедшим событиям, так как были все-таки формальны, однообразны композиционно и фразеологически, зачастую с вкраплением покаянных выражений из «Повести временных лет» и из «Сказания о Борисе и Глебе». Появление нравоучительных концовок в «Симеоновской летописи» было обусловлено стремлением летописцев к общей благочестивости повествования, для чего они неуклонно перемежали свои фактографические сообщения поучительными замечаниями и цитатами, и в эту систему органично входили и концовки. Объясняя события гневом Бога, помощью Бога, «строением» Бога, милосердием Бога, «попущением» Бога, человеколюбием Бога и т. д. и т. п., летописцы подчеркивали широкую значимость событий и составляющих их эпизодов, на самом деле узко местных, владимирских, — типичная местническая черта.

Жизненная позиция летописцев постоянно колебалась. Например, в уже упомянутой «Новгородской первой летописи» старшего извода с 1230 г. в действиях летописца произошла резкая перемена. Нравоучительные концовки эпизодов и статей и нравоучительные замечания по ходу изложения не просто вдруг заполнили летопись, ранее фактографичную, но отразили крайнее отчаяние летописца, его «горкую и бедную память» о происходивших несчастьях из-за татаро-монгольского нашествия, пожаров, болезней, голода и пр. Так, в статье под 1230 г. о голоде и беспорядках в Новгороде летописец не ограничился традиционными упоминаниями о наказании за грехи, а растерянно, с ощущением безысходности, можно сказать, оплакивал происходившее: «Что бо рещи или что глаголати о бывшей на нас от Бога *казни*?»; «колику Богъ наведе на ны *смерть*...»; «и кто не прослезиться о семь...»; «не бысть милости межи нами, нъ бяше *туга и печаль*, на уличи *скърбь* другъ съ другомъ, дома *тъска*...» и т. д. (69—71)⁷. Греховность людей у сокрушенного летописца превзошла всяческие границы: «Того же Богъ видя наша безакония, и братоненавидение, и непокорение друг къ другу, и зависть, и крестомъ верящесе въ лжю ... того же мы, въ рукахъ

държаще, скверньни усты целуемъ; и за то Богъ на нас поганья наведе...; а иное, сами не блюдуче, без милости истеряхомъ свою власть» и т. п. (69). Не преминул новгородский летописец подчеркнуть и огромные географические масштабы горя: «горе уставися велико»; «разидеся градъ нашъ и волость наша»; «землю нашу пуну положиша... и тако бысть пуста» (69); «се же горе бысть не въ нашей земли въ одинои, нъ по всеи области Русстеи» (71).

В последующих трагических рассказах новгородский летописец маниакально повторял обличения людей в безмерной греховности, да еще клеймил зловещими концовками: «Всякъ бо злыи зле да погыбнеть» (82, под 1257 г.); «еже бо сееть человекъ, то же и пожнеть» (97, под 1325 г.); «а оже кто подь другомъ копаеть яму, самъ впадеться в ню» (100, под 1337 г.).

В прочих новгородских летописях с начала XV в. нравоучительные концовки в рассказах о необычных природных явлениях или смертях стали превращаться в пространные поучения, притом уже более спокойные и с большей надеждой на милость Божию. Например, см. концовки-проповеди в **«Новгородской летописи» по списку Дубровско-го** под 1402, 1416, 1419, 1421 гг. Можно предположить усилившуюся догматическую церковность летописцев во взглядах на реальность: недаром в летопись уже были включены большие послания и поучения иерархов, духовные грамоты и пр.

К началу XV в. изменилась манера изложения и в **«Софийской второй летописи»**, которая в своей доскональной подробности повествования пошла по пути «Киевской летописи», но со значительной композиционной перестройкой. В бесконечные сообщения фактов летописец регулярно стал вставлять самостоятельные, довольно большие, иногда огромные, отрывки из житий, военные повести, послания и пр., усугублявшие подробность изложения. Но эти крупные вставки в летописной статье, как правило, завершались сравнительно коротким фактографическим приложением о том, что же еще произошло «того же лета», перечисляя события менее значительные. То есть, в отличие от «Киевской летописи», летописец в «Софийской второй летописи» исходил из четкой градации, какие жизненные события важны, а какие — нет.

Таким образом, в течение XI—XVI вв. отношение летописцев к окружающей реальности довольно быстро менялось, что послужило одним из стимулов создания все новых и новых летописей во все новых и новых исторических условиях.

В связи с этим рискнем предположить, что разрастание нравоучительных концовок рассказов и сообщений содействовало отмене погодного летописного изложения и превращению летописей в исторические трактаты вперемешку с фактографическими повестями. Таким разнородным трудом стала, например, огромная **«Степенная книга»**, в которой чисто летописные отрывки с фактографическими концовками перемежались подчеркнуто нравоучительными риторическими обработками летописных рассказов. Характернейшим образчиком принятого стиля являлось уже вступительное к книге *«Житие княгини Ольги»*. Благостные концовки статей *«Жития Ольги»* нередко призывали радоваться: *«оть Бога ... пресладкаго вкуса богоразумия насыщаеми, веселимся»* (7); *«веселящихся и благодарящи Бога»* (14)⁸ и т. д. Соответственно рассказы об Ольге и ее окружении были наполнены высказываниями о радости: *«возрадуемся Господеви ... поюще ему песнь въ веселии»* (6); *«возрадовася... радостию неизглаголанною»* (14); *«возвеселися сердце мое и возрадовася языкъ мой»* (19); *«радости и веселия зде исполнихся ... радующесея вси»* (20) и мн. др. Даже плач был радостным: *«оть радостнотворнаго же плача слезами себе обливаше»* (14); *«оть радости слезъ множество оть очию испущающе»* (28) и пр. Совершенно ясно, что все эти безмерно упоминаемые радость, веселие и умиление выражали не возбуждение составителя *«Степенной книги»*, а его заботу о навязчивой, до мелочей, идеализации действительности. Процесс для XVI в. известный (см. хотя бы работы Д. С. Лихачева): официозная идеология пропитала литературу.

Остается сказать о **«Казанской истории»**, условно относимой к летописным произведениям, но, как нам думается, под натиском пафосности и нравоучительности совсем отступившей от изложения по годам и предпочевшей повествование по главам. Повествование в *«Казанской истории»* гораздо ярче, чем в *«Степенной книге»*. Автор *«Казанской истории»* завершал главы и эпизоды разнотипными концовками, то афористичными, то напоминавшими сравнения (кстати говоря, заполнившими все его сочинение). То концовки перерастали в большие поучения, особенно в речах князей и царей. Но во всех этих концовках отразилось авторское стремление показать так или иначе умиротворенную реальность. Показательно, что автор высказал неожиданную мысль: *«Яко не токмо спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ способствуетъ»* (324, концовка главы 10)⁹, — нетрадиционное, умиротворенное отношение автора к казанцам известно.

В своих нравоучительных замечаниях и концовках о желаемых принципах поведения людей, и русских, и татар, автор «Казанской истории» прежде всего проповедовал смирение («покорно слово сокрушает кости, и смиренныя сердца и сокрушенныя Богъ не уничижить» — 322); взаимное сочувствие («всякъ бо человекъ, иже в скорбехъ возрасте и в бедахъ множественных, всемъ искусень бывает и можетъ многотражающим в напастех спомогати» — 360); автор даже говорил об умиротворяющей роли денег («и намъ мнится, яко сильнейши есть злато вой безчисленных: жестокаго бо умахчеваетъ, мяхкосердое ожесточеваетъ, и слышати глуха творить, и слепа видети» — 354). Все трудное, по мнению автора, кончается радостью: «И весте сами боле мене: кто венчается без труда? Земледелец убо тружается с печалию и со слезами, — жнеть бо *веселиемъ и радостию*. И купец тако же оставляетъ домъ, жену и дети и преплываетъ моря, и переходит в далния земли, ища богатства, и егда обогатеет и возвратится, и вся труды *от радости* забывает, и покой приемля з домашними своими» — 490). И в своих сравнениях персонажей с типами людей автор «Казанской истории» предпочитал «нежные» темы взаимной любви родителей и чад (хотя речь шла о войне, пленниках и пр.) и особо чувствительную тему младенчества (хотя речь шла о жестоком лишении персонажей всего имущества, но смягчаемом сочувствием окружающих: «Они же во единъ час нази оставахуся, *яко роженни*, от всего своего лишаеми ... ныне же сами от боголюбцевъ снедения приемляху» — 368).

Умиротворенная реальность у автора «Казанской истории» обозначалась и скрыто, парадоксальным путем: хотя он много писал об ужасах войны и всяческих несчастьях и обильно использовал самые сильные традиционные средства поругания противника, но в авторское повествование добавился целый пласт уже спокойных бытовых концовок и особенно сравнений, ранее в древнерусских воинских описаниях редких или вообще не употреблявшихся.

Автор привлек в сравнения предметы тихого быта: «аки в села своя поеха прохлагатися» (300); «ходити и ездити, аки по мосту» (338); «аки свеща, на все страны видя» (418) и пр.

Исключительно часто автор вспоминал о неблагополучных домашних животных, от которых благополучно избавляются: «яко свиной, ножи закалаемых» (426); «резаху, аки свиной» (524); «аки гладныя овцы, и друг друга растерзавше» (428); «яко мышей, давяху» (564) и т. п.

Упоминания диких животных и птиц в авторских концовках и сравнениях были даже более умиротворенными, чем о домашних животных: «И никий же бо лютый зверь убиваеть щенцы свои, и ни лукава змия пожирает изчадии своих» (404); «яко птицы или векшицы, прилепляющися, яко ноготми» (516); «яко смирну птицу въ гнезде со единым малым птенцем» (410); «яко птицы, брегоми в клетцах» (548) и т. д.

И чаще всего совсем умиротворенными у автора явились сравнения с окружающей природой: «возрасте ... яко древо измерзшее, от зимы солнцу обогревшу и весне» (326); «аки цвет красный, цветешь или ягода вишня, наполнися сладости» (416); «аки ... вешняя великая вода по лугомъ разлися» (468). Правда, концовки и сравнения эти бывали и менее оптимистичными: «терние остро есть, не подобает ногам босым ходити по нему» (436); «яко листовие от деревьев на землю ... низпадоша» (368); «яко реками, кипяше и всякими сквернами и нечистотами преизобиловашеся» (540); «аки моря, биющагося о камень волнами, и аки великаго леса, шумяща напрасно» (506) и др. Но преобладающая смысловая тенденция нетрадиционных концовок и сравнений у автора «Казанской истории» отличалась бодростью и входила в общую картину желаемой автором умиротворенной действительности.

Итак, по концовкам летописных статей и эпизодов XII—XVI вв. (а также по дополнительным данным) наблюдаются существенные изменения в структуре повествования и в отображении действительности летописцами: от свободных поисков стабильных, «вечных» явлений («Повесть временных лет») летописцы перешли к сухой, «рассыпчатой» подаче событий («Владими́ро-Суздальская летопись»), затем и к их систематизации («Галицко-Волынская летопись»); а после пережитого отчаяния («Новгородская первая летопись») летописцы стали усиливать успокоительную благочестивость своих рассказов («Симеоновская летопись», «Степенная книга») и, наконец, прониклись чувствами умиротворения («Казанская история»). За всеми этими относительно быстрыми колебаниями картин реальности и смысла концовок у летописцев, конечно, просвечивает влияние исторических перемен на Русь и ее усиления, но это уже тема отдельного исследования.

Что же касается самих концовок, то их литературная ценность, хотя и не велика и не постоянна, но все-таки своеобразна в истории собственно литературы как искусства.

Примечания

¹ «Повесть временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский.

² Третья редакция «Повести временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.

³ «Владими́ро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

⁴ *Еремин И. П.* Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 103.

⁵ Там же. С. 104.

⁶ См. деление «Галицко-Волынской летописи» на эпизоды, старательно проделанное незабвенной О. П. Лихачевой в издании: Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. С. 236—424.

⁷ «Новгородская первая летопись» цитируется по изданию: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950.

⁸ «Степенная книга» цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1 / Текст памятника подгот. П. Г. Васенко.

⁹ «Казанская история» цитируется по изданию: ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева. М., 1985.

«КАРТИНКИ» ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ДРЕВНЕРУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ И ПОВЕСТЯХ XII—XIII вв.

Не всем филологам по душе непосредственное изучение именно художественного содержания древнерусских произведений, потому что тут много возможностей для субъективных заблуждений. Но, думается, научными методами на конкретном материале все-таки можно воссоздать объективную историю развития древнерусской литературы в направлении к литературе художественной. В этом убеждают труды наших крупнейших медиевистов — Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского, А. С. Орлова, В. В. Виноградова, В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева.

Мы не станем заниматься обширной историографией и методологией этой проблемы, но под влиянием работ названных ученых обратимся к теме неисследованной, а сейчас даже модной, — к «картинкам» окружающей среды с участием литературных персонажей. Под «картинкой» мы подразумеваем изображение и соответственно авторское представление, не соответствующее реальности.

Разумеется, о термине «окружающая среда» и понятия не имели в древности. Мы же под этим предлогом выделяем и пытаемся объяснить «картинки» с явлениями природы и предметами быта в памятниках. Естественно, мы выбираем памятники, сравнительно обильные такого рода «картинками», иногда четко нарисованными летописцем, но чаще неясными. Понятия «картинка», «изображение», «представление» и «образ» мы употребляем как в известной мере синонимичные.

«Повесть временных лет»

Мы будем говорить о «Повести временных лет» как о результате литературной деятельности одного обобщенного летописца. Этот под-

ход допустим, потому что летописцы XI — начала XII вв. не слишком отличались друг от друга манерой повествования.

Исследователи старейших русских летописей — от А. А. Шахматова до Д. С. Лихачева и вплоть до А. А. Шайкина и А. А. Пауткина — уже отметили самые яркие места в «Повести временных лет». Наша задача — подробнее охарактеризовать окружение летописных персонажей: природное окружение, затем — городское (строения) и домашнее (быт). Телесное окружение летописных персонажей — одежды, оружие, драгоценности, пищу — мы не рассматриваем: это уже характеристика человека, а не окружающей среды.

Начнем с упоминания **гор** летописцем. В некоторых рассказах о путешествиях персонажей летописец, вводя предметные детали, неотчетливо обозначил вместе с горами нечто вроде ландшафта местности. Например, в начале летописи в рассказе о путешествии апостола Андрея летописец сообщил, что Андрей «поиде по Днепру горé... и ста подь горами на березе» (8)¹. Предметные детали во фразе — река, берег, горы — выразили неотчетливое представление о ландшафте, на который взирали персонажи (Андрей призвал своих учеников: «Видите ли горы сия?»). Рельефность ландшафта летописец обозначил передвижением Андрея вверх и вниз (апостол с берега реки «вышедь на горы сия» и «сълезе съ горы сея»). Представление об обширности ландшафта было косвенно выражено упоминанием большого города, который может раскинуться со многими церквями на этих горах («на сихъ горах ... имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ воздвигнути имать»), а также в гиперболическом назывании холмистых возвышенностей «горами» (в дальнейшем повествовании эти же места летописец спокойно называл холмами).

Почему же существовало у летописца представление об обширности тех гор? Мы исходим из предположения о том, что ощущения у летописца появлялись раньше его представлений и влияли на их формирование. Неотчетливая «картинка» просторности киевских гор, как нам думается, была порождена эмоцией летописца, — скрытым, несформулированным ощущением тогдашней пустынности и безлюдности местности. Ведь летописец не упомянул о присутствии людей.

Та же связь повторилась в летописи под 1051 г. в рассказе о хождении Антония Великого по киевским же горам: «бе бо ту лесъ великъ», а Антоний «поча ходити по дебремь и горамя» (156). В этом рассказе тоже присутствовала слабая «картинка» ландшафта, рельефного и

просторного (Днепр — великий лес — дебри — горы), получившаяся у летописца благодаря тому же несформулированному ощущению пустынности и безлюдности гор (со значащими деталями — «дебрями» и великим лесом вокруг уже построенного Киева).

Сходная причинно-следственная связь между сиротливым ощущением летописца и уже его сознательным изображением широко протянувшегося ландшафта наблюдается в рассказе под 1096 г., где летописец описал не киевские, а какие-то далекие северные горы: «суть горы заидуче в луку моря. Им же высота, ако до небесе... Путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом. Тем же не доходим ихъ всегда» (235). Летописец представил фантастически огромное объемно-пространственное целое перед наблюдателем: горы, «ако до небесе», занимают лукоморье и окружают целый народ («сступишася о них горы великия» — 236). Путь к тем горам далек, дик и гибелен. Представление о таком обширном суровом ландшафте было порождено у летописца уже не только ощущением безлюдности местности, но еще и чувством опасности, исходящим от этих гор. Если очевидцы удивлялись — «и дивно мы находимхом чюдо, его же не есмы слышали», — то летописец сгустил зловещесть гор, сославшись на Мефодия Пагарского: этими горами окружены «человеки нечистыя», «си суть люде, заклепении Александром, македоньским царемъ», а когда они вырвутся из гор, то «освернять землю» (235—236).

Показательно, что там, где у летописца речь шла о горах, уже заселенных или застроенных, никаких ландшафтных «картинок» не возникало.

Ощущение безлюдности и пустынности побуждало летописца к «картинкам» местности и без гор. Так, например, под 1093 г. летописец изобразил мертвый простор целой страны, нет цивилизации: «городи вси опустеша, села опустеша; преидемъ поля, идеже пасоши беша стада конь, овця и волове, — все тоще ноне; видимъ нивы поростыше зверемъ жилища быша» (224). Ясно, что чувство обезлюженности и запустения породило это гнетущее представление.

Перейдем к другим объектам окружающей среды — уже не к природе, а к **быту**. Прежде всего, в какие «картинки» вставлял летописец избы («истобки»)? Для летописца как бы не существовало пустых изб, он их всегда упоминал вкупе с людьми и с бытовыми предметами. Например, под 1074 г. летописец рассказал о том, что киево-печерский монах Исакий «въ едину бо ношь вжегъ пещь в ыстобце у пещеры. Яко разгоресе пещь, — бе утла, — и нача палати пламень утлизнами; оному

же нечимъ заложити, вступль ногама босыма, ста на пламени, донде же изгоре печь, и излезе» (196). Автор нарисовал «картинку» с тройным изобразительным эффектом. Первый эффект: в темноте избы пылает печь, и языки пламени вырываются из ее щелей. Второй эффект: в избе на пылающей печи стоит босыми ногами человек. Третий эффект: «картинка» статична (персонаж надолго застыл в одной позе, — пока не погасла печь). Причиной яркости этого «фигурного» представления послужило у летописца его острое ощущение бытовой неординарности, даже мучительности ситуации, о чем он и сказал: «дивно чудно бысть» (194).

Та же тенденция к связи неприятной или трагической ситуации со статичной бытовой «картинкой» повторялась в летописи неоднократно. Например, под 1095 г. говорилось об убийстве вероломного половецкого хана Итларя, сидевшего в избе, новгородцем Ольбегом: «възлезше на истобку, прокопаша ѥ верхъ. И тако Ольбегъ Ратиборичъ, приима лукъ свои и наложивъ стрелу, удари Итларя в сердце» (228). «Картинка» (на этот раз неявная): изба — крыша — Ратибор на крыше — отверстие в крыше — Итларь в избе. Фигуры как бы застыли в сцене убийства: Ратибор со стрелой на натянутом луке, а Итларь со стрелой в сердце. Летописец не мог обойтись без «картинки» благодаря удовлетворению от возмездия: «И тако зле испроверже животь свои Итларь».

В некоторых случаях трагическая «картинка» включала в себя не всю избу, а лишь ее часть. Вот летописец представил сценку у окна: «аъ призвавшѣ лестью ко оконцю, пронзуть ѥ мечемъ» (171, под 1068 г.), — застывшая на мгновение фигурная «картинка» опять же убийства: жертва неожиданно пронзена мечом сквозь оконце. Или: «яко полезе въ двери, и подъяста ѥ два варяга мечьми подъ пазусе» (78, под 980 г.), — тоже застывшая «картинка» убийства жертвы в проеме двери. В обоих случаях летописец указывал на возмутительную подлость подобных покушений на русских князей.

Помимо изб, летописец привлекал к изображению и иные строения, в частности, бани с их пользователями. Так, были описаны словенские (новгородские) бани: «бани древены, и пережгутъ ѥ рамяно, и совлокутъ ся, и будутъ назѣ... и возьмутъ на ся прутьѣ младое, и бьютъ ся сами...» (8). «Картинка» зримая (свидетель сообщил о том, «елико виде») и, несмотря на энергичность действий, застывшая (моющиеся совершают однообразное действие — «хвощются»). И снова:

сравнительно детальное «фигурное» представление о моющих обя-зано лукавству летописца, описавшего бытовую обычай словен в виде мучения до полусмерти («вылезуть ле живи суще»). И вообще, избы, хоромы, бани и прочие помещения никогда в летописи не мыслились местом безопасным или покойным.

В отдельных случаях летописец рисовал «картинку» с военным сооруже-нием. Например, под 1097 г. летописец кратко описал гибель князя Мстислава Святополковича (сына великого князя киевского) на стене города Владимира-Вольнского во время сражения: «идяху стрелы, акы дождь. Мстиславу же хотящю стрелити, внезапно ударень бысть под пазуху стрелою на заборолехъ сквозе дску скважнею» (272). Летописец наметил статичную «картинку»: дощатое забороло со щелью, пропускающей стрелу; за доской князь застыл, приготовившись стрелять. Неожиданная («внезапу»), роковая незащищенность укрытия — это трагическое ощущение и содействовало появлению неясного «фигурного» представления у летописца.

Церкви, кельи и молельни летописец также вписывал в статичные «картинки», если речь шла о чем-то, по его ощущениям, трудном или вредоносном.

«Картинки» с остальными, причем разными, предметами быта принципиально ничем не отличались от «картинок» с помещениями. Приведем лишь некоторые примеры. Так, телегу летописец впи-сал в многофигурную композицию: «обри ... насилье творяху женамъ дулепскимъ. Аще поехати будяше обърину, не дадыше въпрячи ни коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести объ-рина. И тако мучаху дулебы» (12). «Картинка», возможно, присутство-вавшая в древней легенде, сохранилась у летописца и оказалась засты-лой: женщины, впряженные в телегу, приготовились тащить тяжелого обрина («быша бо объре теломъ велици и умомъ горди»). Осуждение мучителей («Богъ потреби я, и помроша вси») и сочувствие к жертвам побудили летописца к «фигурному» изображению.

Те же изобразительные последствия содержит рассказ под 1066 г.: грек на пиру коварно протянул чашу с ядом тмутороканскому князю Ростиславу Владимировичу: «дасть князю пити, дотиснувься пальцемъ в чашю, бе бо имея под ногтемъ растворень смертное» (166). Возник-ла «картинка» с чашей: чаша в пальцах персонажа — ноготь одного из пальцев — под ногтем зернышко яда. Осуждение изощренного веро-ломства («с лестью») заставило летописца представить жест злодея.

Эмоциональное отношение летописца к злодеям и врагам иногда вольно или невольно приближало его к созданию не просто «картинки» с бытовым предметом, но художественного образа. Например, под 1097 г. летописец изобразил сокрушительный разгром венгерского войска: «множицею убивая, сбиша ё в мячь ... сбиша угры, аky в мячь, яко се соколь сбиваетъ галице» (271). Мяч — чрезвычайно редкостный предмет быта для летописи, возможно, и не русский даже², отчего летописец пояснил смысл первого сравнения вторым, уже традиционно русским. В результате, венгерское войско представилось летописцу странно прихлопнутым до размеров кучки или мяча, хотя речь шла о стотысячном войске. Тут уж действовало чувство превосходства над врагом.

Но в общем, преимущественно трагические чувства приводили летописца к более или менее выразительным «картинкам» с участием бытовых предметов.

Перейдем к еще одному, но уже «небесному» объекту окружающей среды — к изображению **ночи** летописцем, ночи, конечно, с персонажами. Та же причинно-следственная связь наблюдается между эмоциональными ощущениями летописца и появляющейся изобразительностью его повествования, но теперь в виде контрастов тьмы и света. Прежде всего, ощущение страшности ночи содействовало изобразительности и выразительности изложения в летописи. Например, в рассказе под 1024 г. летописец описал ночное сражение двух князей, родных братьев, друг против друга — Ярослава Владимировича с Мстиславом Владимировичем: «бывши ноши, бысть тма, молонья, и громь, и дождь ... яко посветяше молонья, блещашеться оружье» (148). Ночь представлялась летописцу настолько непроглядно темной, что воины не видели, с кем они сражаются, при резчайшем контрасте тьмы («бысть тма») и света (вспыхивающая молния, поблескивание оружия). Представление это не являлось традиционным, так как оружие в памятниках сверкало и сияло только утром или днем. «Картинка» мерцающей ночи была порождена чувством ужасности той ночной схватки у летописца («и бе гроза велика и сеча силна и *страшна*»).

О том, что летописец намеренно изображал ночную битву контрастом света во тьме, подтверждает статья под 941 г. о морском сражении руси с греками. В летописи рассказывается о ночном сражении: «русь ... *на ночь* влезоша в лодьи», а греческий военачальник «усрете я въ олядехъ со огнемъ и пушати нача трубами огонь на лодье руския» (44), — огонь ночью. Рассказ об этом событии был заимствован лето-

писцем из «Жития Василия Нового»³, но в нем битва происходила вечером («вечеру достигшу»). Летописец же добавил контраст и поместил огонь в ночь, потому что «бысть видети *страшно* чудо».

Однако не всегда летописец вводил световые контрасты в сообщения о ночных сражениях. Так, рассказик о ночной битве с половцами под 1068 г. на реке Альте был совершенно бездетален, и лишь бегло упомянута ночь: «и бывши *нощи*, поидоша противу себе. Грех же ради наших пусти Богъ на ны поганья, и побегоша русьскыи князи, и победиша половьци» (167). Почему столь краток был рассказ об этом важном событии, не ясно. Может быть потому, что все внимание летописца переключилось на обширное поучение по поводу трагического поражения на Альте.

Далее. Ощущение хоть и не страшности, но тревожности ночи тоже побуждало летописца к изобразительности повествования. Например, под 1102 г. летописец уже как свидетель изобразил ночное природное явление, явно непривычное (северное сияние?): «бысть знаменье на небеси месяца генваря въ 29 день по 3 дни, — акы пожарная заря от востока, и уга, и запада, и севера; и бысть тако светъ всю ночь, акы от луны полны, светящися» (276), — такое представление было даже художественным: пожарное зарево кольцом или как бы куполом смыкается со всех сторон. К зловещей «картинке» наступления огня на зрителей побудила летописца сильная тревога («сия видяще знаменья, благовернии человеци со въздыханьем моляхуся к Богу и со слезами»).

К контрастно-световым «картинкам» также приводили летописца озадачивающие или настораживающие явления в ночи. Так, под 1110 г. летописец как очевидец старательно и выразительно описал явление светового столпа ночью: «бысть знаменье в Печерьстем монастыре в 11 день февраля месяца. Явися столпъ от земля до небеси, а молнья осветиша всю землю и в небеси погреме в час 1 нощи, и весь миръ виде. Сеи же столпъ первее ста на трапезници каменей... съступи на церковь и ста надъ гробомъ Феодосьевым и потом ступи на верхъ ... и потом невидим бысть» (284). Летописец представил многократную игру света на фоне темной ночи; притом летописец преувеличил масштабность светового столпа, сделав его явлением мировым («от земля до небеси ... осветиша всю землю ... и весь миръ виде»). Причина преувеличивающего представления — ощущение потрясения летописцем: «се же беаше не огнены столпъ, но видь ангельскъ: ангель бо сице является ово столпом огненым, ово же пламенем». Но влияние монастырской леген-

ды на представление летописца тут тоже надо учитывать (ср. сходные «картинки» в «Житии Феодосия Печерского» — 117—118)⁴.

Чувство потрясения у летописца от ночных событий постоянно порождало представления о световых контрастах. Так, под 1091 г. летописец рассказал о раскопках мощей Феодосия Печерского; была изображена летописцем целая ночная иллюминация, своего рода извещение о находке мощей, далеко видимое персонажами: в августе «до полуночья... 2 брата в монастыри... видеста 3 столпы, ако дугы зарны, и, стояше, придоша надъ верхъ церкви, идеже положень бысть Феодосии»; другие два зрителя вдалеке от монастыря ночью «виде чрес поле зарю велику надъ печерою», а когда приблизились к монастырю, «видеста свеще многы надъ печерою», — и тут вдруг последовало эффектное исчезновение света: «придоша к печере и не видеста ничто же» (201—211). Летописец лично участвовал в тайной ночной эксгумации тела Феодосия Печерского и помнил, какое чувство он испытал («обдержашеть мя ужашть»). По-видимому, от «ужасти» летописцу привиделась впечатляющая иллюминация той ночи.

Если же летописец с опасением рассказывал о ночной деятельности бесов, то такая ночь представлялась и совсем фантазмагорической. Например, под 1074 г. летописец описал, как киево-печерскому монаху Исакию глубокой ночью «внезапу свет восья, яко от солнца, восья в печере, яко *зракъ вынимаю* человеку» (192). Этот ослепляющий свет ассоциировался у летописца не только с сиянием солнца, но и с казнью ослепления (ср. фразу о реальной казни под 1097 г.: «*взяль еси зракъ очью моею*» — 270). «Картинку» летописец усилил световым контрастом до предела: ведь Исакий «затворися в печере... въ кельици мале, яко четыре лакоть», где мог только сидеть, а не лежать; сидел в тишине и в абсолютной темноте в полночь, к тому же «и свещю угасившю»; тут-то в полной тьме ему внезапно воссиял болезненно ослепительный свет, и каким-то образом по пещерке «поидоста 2 уноши к нему красна, и блистаста лице ю, аки солнце». Представление о пещерке, залитой ярчайшим светом, появилось у летописца благодаря ощущению ошеломительности той ночи (ведь даже богомольный Исакий от растерянности «не разуме бесовьскаго деиства, ни памяти прекреститися»).

В общем, от ночи летописец не ожидал ничего кроме беспокойств и переживаний.

Следующий объект окружающей среды, изображаемый в летописи, — это **небо**, дневное небо (а не ночное небо и не божественные

небеса). Оно, в представлении летописца, содержало вещественные предметы, до поры невидимые, которые вдруг падали сверху на землю. Например, под 1091 г. летописец сообщил: «спаде превеликъ змии отъ небесе, и ужасошася вси людье; в се же время земля стукну, яко мнози слышаша» (214). Видимо, упал метеорит. Но летописец не уточнил, что то был змей огненный или дымный. Существо это представилось вполне телесным, весомым, скрытым на небе и внезапно, вызывая ужас, с грохотом обрушившимся на землю. Страшно, оттого и изобразительно.

Ощущение пугающей удивительности неба не раз вело летописца к представлению о странных явлениях. Так, под 1114 г. (в третьей редакции летописи)⁵ летописец рассказал о выпадении из туч не только массы бусинок, но даже множества маленьких белок и оленей — живых и разбегающихся по земле («егда будеть туча велика, находять ... глазкы стекляныи, и малыи [и] великыи, повертаны... Спаде туча, и в тои туче спаде веверица млада, акы топерво рожена... и расходится по земли. И паки бываеъ другая туча, и спадають оленци мали в неи ... и расходятся по земли» — 277). Летописец слышал этот рассказ от очевидцев-ладожан, но пересказал с изобразительными деталями, потому что поражался материальной плодovitости туч («сему же ми ся дивлящю»).

Мотив падения предметов с неба был очень древним. Он встречался уже в Ветхом и Новом заветах: с неба на землю падали, например, камни и хлеб. Летописец выписал из «Хронографа» подходящие сведения о падении с неба съедобной пшеницы, серебряных вещей, трех громадных камней и железных клещей (третья редакция, 278, под 1114 г.). Так что в данном случае летописец продолжил литературную традицию.

Кроме того, летописец представил что-то вроде материальных предметов, не падавших, но как бы висевших в небе или в воздухе над персонажами: вырисовывался тот же змей («знаменье змиево явися на небеси, яко видети всеи земли» — 149, под 1028 г.); нависали кресты («мнози человеци благовернии видеша крестъ над ... вои, възвышъся велми» — 270, под 1097 г.); над земными воинами парили небесные войска («ездяху верху васъ въ оружьи светле и страшни» — третья редакция, 268, под 1111 г.).

И этот мотив нависания был тоже древним и традиционным, на что указывают, в частности, многочисленные выписки летописца из «Хроники» Георгия Амартола (например, о конном войске, рышущем «на вздусе» — 164, под 1065 г.). Небо у летописца, вслед за его предшественниками, представало средой огнюдь не пустой, но даже богатой

разнообразными телесными предметами и существами, словно некое загадочное хранилище, иногда что-то выбрасывающее на землю. Ощущение таинственности неба выражалось у летописца еще и в описаниях небесных знамений с солнцем, представлявших интригующие световые фигуры.

Даже сравнительно небольшой обзор некоторых летописных «картинок» окружающей среды позволяет утверждать, что изобразительность, пусть в зачаточном, неразвернутом, неотчетливом виде (обычно в форме застывших «картинок»), была свойственна древнерусской литературе с самого начала ее существования. «Повесть временных лет», действительно, можно считать предтечей художественной литературы. Порождали картинность летописного изложения авторские ощущения загадочности событий, но чаще — чувства опасности и страшности окружающего мира. Экспрессия — мать образа. Видимо, в начале XII в. историческая действительность вокруг летописца была вовсе не умиротворяющей, а напротив, чрезвычайно драматичной. Недаром в написанном почти одновременно с летописью «Поучении» Владимир Мономах так много места посвятил темам беспокойств и опасностей. «Золотого века» не было.

Другие произведения XII—XIII вв.

В течение XII в. объекты окружающей среды редко когда упоминались авторами, включая поучения плодовитого проповедника Кирилла Туровского. Даже в знаменитом описании весны в «Слове по пасце» Кирилл, в сущности, нарисовал не картину окружающей среды вокруг человека, а мыслил человека как рядовой элемент картины природы наряду с другими ее элементами. В «Слове о расслабленном» Кирилл хоть и представил человека пользователем дарами природы, но логически, без какой-либо «картинки». Вот и всё.

На материале немногих произведений XII в., все-таки содержавших «картинки» окружающей среды, не выстраивается связной истории развития изобразительности и писательских настроений. Можно лишь предположить, что начали ухудшаться настроения писателей, иногда все же затрагивавших мотивы бытовой окружающей среды. Так, например, если благостный игумен Даниил в своем «Хождении», пожалуй, поровну выражал ощущения («чюдно» или «страшно») об удобстве или неудобстве виденных им мест для обитания, то затем в сумрачном

«Молении Даниила Заточника» объекты окружающей среды совсем захирели: углы у дома завалились, трава растет чахлая, идет пронзительный дождь, река с каменными берегами — нельзя пить, даже птица поет уродливо и надоедливо.

Любопытный случай: в «**Киевскую летопись**» под 1161 г. было вставлено необычно подробное описание лунного затмения, очевидцем которого, возможно, был сам летописец (хотя этого он прямо не утверждает). Описание луны содержит яркую художественную деталь: «посреде ея, яко два ратная секущая мечема; и одному ею, яко кровь, идяше изъ главы, а другому бело, акы млеко, течаше» (516)⁶. Двух сражающихся воинов на луне различил летописец под влиянием его постоянных интересов — описывать бесконечные сражения и стычки. Ср., как в той же «воинской» манере летописец рассказал о буре под 1143 г.: «бысть буря велика ... и розноси хоромы, и товарь, и клети, и жито из гумень, — и спроста рещи, яко *рать взяла*» (314).

Но вот откуда у летописца взялся цвет в характеристике двух воображаемых «лунных» воинов? Скорее всего, как продолжение цветового описания затмения луны: «бысть образъ ея, яко скудно черно; и паки бысть, яко кровава; и потом бысть, яко две лица, имущи одно зелено, а другое желто». Такая цветовая картина совершенно нетрадиционна. И главное — предполагает некую борьбу луны с болезнью: поэтому меняются ее лица — почерневшие, окровавленные, позеленевшие, пожелтевшие. Одновременно на луне разворачивается сценка поединка между уже ранеными в голову до крови или до мозга воинами. Все это, возможно, свидетельствует о том, что в данном случае цветовые явления на небе представлялись летописцу как признаки больного или страдающего неба, ведь «идяше бо луна через все небо». Такое представление появилось, конечно, благодаря эмоции летописца: «бысть знамение в луне *страшно и дивно*».

К сожалению, в «Киевской летописи» больше нет цветовых картин небесных явлений, но есть огненные: «солнце бо погибе, а небо *погоре* облакы *огнезарными*» (655, под 1167 г.); «летящую по небеси до земля, яко кругу *огнену*, и остася по следу его знаменья въ образе змья великаго» (314, под 1144 г.), — эпизодические мотивы пожара и агрессии, по-видимому, тоже выражали у летописца смутное представление о болезненности неба как части неблагоприятного мира.

Но прошло два-три десятилетия, и появилось иное, оптимистическое по авторскому настроению «**Слово о полку Игореве**», судя по

авторскому представлению об окружающей среде. Нужно учесть, что природа в «Слове» служила не столько средой, окружающей человека, сколько символом тех или иных обстоятельств. Однако как попутная тема собственно изображение окружающей среды все-таки присутствовало в «Слове».

Окружающая среда, то есть природа, в «Слове» была изображена автором в двух основных видах. Первый вид: вводя персонажей в повествование, автор «Слова» представлял героя перед уходящей вдаль объемной перспективой и тут же показывал его двигающимся в этом пространственном объеме. Например, Боян «растекается мыслию по древу, серымь вълкомь по земли, шизымь орломь подь облакы ... пущашеть 10 соколовь на стадо лебедеи ... скача, славию по мыслену древу, летая умомь подь облакы ... рища въ тропу Трояню чресь поля на горы» (43—44). Здесь символическая характеристика пения Бояна имела попутный изобразительный смысл. Глаголы «растекаться», «пускать», «скакать», «летать», «рыскать» обозначали передвижение в земном и воздушном пространстве то ли самого Бояна, то ли мысли Бояна или распространение его пения. Так вырисовывалась некая объемно-пространственная, почти бесконечная перспектива, где никто никому не мешал «растекаться». Это свойство окружающей среды в «Слове» уже заметил Д. С. Лихачев и назвал его «панорамным зрением» и «быстротой передвижения в больших географических пространствах»⁸.

Но чем объяснить подобную «картинку» у автора «Слова»? Общая ссылка на распространенный тогда (по терминологии Д. С. Лихачева) «стиль исторического монументализма» не дает ответа на вопрос о том, почему же в данном конкретном случае автор «Слова» представил Бояна в широкой пространственной перспективе. Какой-либо литературной традиции здесь не прослеживается. На «картинку» окружающей среды с Бояном, скорее всего, повлияло ощущение автора «Слова», для которого Боян выглядел свободным в своих действиях человеком: он ведь был «вещим», и в своих «припевках» выносил нелицеприятные приговоры князьям, и, конечно, двигался свободно.

Возможно, и вообще певцов автор ощущал раскованными. В «Слове» есть еще один в некотором роде певец — это Ярославна, которая «кычеть» и перед которой расстилается тоже обширная объемная перспектива. С городской стены Ярославна собирается полететь по Дунаю, она видит облака над синим морем, и каменные горы, и ковыль в степи,

и ослепительное солнце над далеким иссушенным полем и пр. «Картинка» просторной окружающей среды, вероятно, тоже была связана у автора с ощущением свободы Ярославны, которая безбоязненно обращается к мощным силам природы — ветру, Днепру, солнцу.

Это ощущение свободы певцов, возможно, зависело от социального самоощущения самого автора «Слова». Вот кто чувствовал себя свободным и всепроникающим: перед ним вся Русская земля и зарубежная степь; автор «Слова» свободно и без экивоков, напрямую, обращался к влиятельным князьям; намеревался свободно оценивать исторических деятелей («отъ стараго Владимира до нынешняго Игоря» — 44); легко допускал, что можно следовать Бояну («начяти старыми словесы»), а можно и не следовать («не по замышлению Бояню» — 43), можно цитировать Бояна, а можно менять стиль. Предполагаем, что ощущение своей свободы автор «Слова» перенес на героев и на окружающую их объемную среду.

Но, пожалуй, преобладал в «Слове» второй вид изображения окружающей природы — не объемной, а, так сказать, линейной, стремительно стелющейся по земле вокруг или вдаль. Такой средой автор обычно сопровождал князей и их воинов. Например, великий князь киевский Святослав Всеволодович стремительно, как вихрь, «наступи на землю половецкую, притопта хльми и яругы, взмути реки и озеры, иссуши потоки и болота. А поганаго Кобяка изь луку моря, яко вихрь, выторже» (50), — почти все движется понизу. При более медленном, но опять-таки беспрепятственном передвижении князя с войском автор «Слова» включал и животных в окружающую среду: когда «Игорь къ Дону вои ведеть», то присутствует множество «птиць по дубию, вльци грозу въсрожать по яругамъ, орли клеткомъ на кости звери зовуть, лисици брешуть на чръленья щиты» (46). Взбудораженных животных или части ландшафта автор «Слова» выстраивал преимущественно в горизонтальный ряд по пути свободного следования героев.

Нужно сказать, что у автора «Слова» не проводилось резкого различия между «картинками» объемной или горизонтальной окружающей среды. Иногда природа сопровождала персонажей только сверху, но затем переходила только на низ. Так, войско Игоря как бы нагоняет природа сверху: «кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идуть, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии мльнии. Быти грому великому, итти дождю стрелами» (47). Но тут же ландшафт

подстиляется под Игоревы полки: «Земля тутнетъ, реки мутно текутъ, пороси поля прикрывають».

Главное заключалось в другом: регулярное повторение как линейных, так и объемных или смешанных, линейно-объемных «картинок»-представлений о «дальнозримости» окружающей среды в повести объясняется предполагаемым ощущением пространственно-социальной свободы у автора «Слова». Правда о своем эмоциональном мироощущении свободы действий автор нигде не сказал прямо, но все же, как нам кажется, не раз выразил его косвенно. Автор был вездесущ: он вникал в пространственное положение персонажей, как бы наблюдая за их удаляющимся передвижением (повторяя восклицания: «о, Руская земля! Уже за шеломянемъ еси!» — 46, 47; «хороброе гнездо... далече залетело», «о, далече заиде соколь..!»), «ти прелетети издалеча» — 47, 49, 51); автор как бы лично слышал, что происходит («что ми шумить, что ми звенить далече..?» — 48); автор свободно проникал в душу князей (Игорь «истягну умь крепостию своею, и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа... Спала князю умь похоти» и пр. — 44; «жаль бо ему мила брата» — 48—49; «Игорь мыслию поля мерить» — 55; Яр-Тур Всеволод в битве «забывъ чти, и живота ... и своя милыя хоти» — 48; у Всеслава «веща душа въ дръзе теле» — 54).

Авторское ощущение свободы, возможно, сказалось и в одном из последних описаний окружающей среды в «Слове»: «О, Донче!.. лелеявшу князя на вльнахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мьглами под сению зелену древу. Стрежаше є гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрънядьми на ветрехъ» (55). В этом описании (если ранее в тексте не произошло перестановки фраз), в сущности, следуют два изображения. Первое — линейное, земное: волны — серебряные берега — зеленая трава — зеленое дерево — тень под ним. Обозначен свободный путь Игоря. Второе изображение — объемное — отражает торжественную встречу Игоря природой. В представлении об умиротворенной окружающей среде, по-видимому, выразилось у автора «Слова» ощущение облегчения и своей душевной свободы: «страны ради, гради весели» (56).

Если верна наша предположительная трактовка умонастроения автора «Слова о полку Игореве», то это может означать, что представления об окружающей среде в памятнике и ощущения автора соответствовали более позднему времени после поражения Игоря, а именно самому концу XII в., когда уместно стало говорить о чередѣ побед рус-

ских над половцами и о беспрепятственности передвижения русских по чужой земле. Так, в «Киевской летописи» под 1193 г. рассказывалось о том, как будущий великий князь киевский Ростислав Рюрикович «победивъ половеци славою великою» (678). В так называемой «Владимиросуздальской летописи» под 1199 г. упоминался победоносный поход великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо на половцев, причем в рассказе появился мотив легкого передвижения по земле половцев: «князь же великий ходивъ по зимовищемъ ихъ и прочее възле Донъ, онемъ безбожнымъ пробегшимъ прочь» (414)⁹. А в «Галицко-Волынской летописи» под 1201 г. мотив быстрого передвижения по земле половцев уже стал художественным: галицкий князь Роман Мстиславович «устремих бо ся бяше на поганья, яко и левъ ... и прехожахше землю ихъ, яко и орель» (236)¹⁰.

Отзвук этого ощущения пространственной свободы, возможно, находим в речи игумена Моисея в «Киевской летописи» под 1199 г. (люди «мняться, яко аера достигше ... яко златомъ власомъ повержена есть церкви от небесе» — 714, 715); и еще: в самом начале другого произведения — в «Слове о погибели Русской земли» — упомянут просторный ландшафт вокруг городов с князьями, боярами и вельможами — озера, реки, источники, горы, холмы, дубравы, поля и пр. Но это благополучие, как можно понять, существовало, пока не разразилась некая «болезнь» христианам.

Таким образом, художественным настроением автора «Слова», пожалуй, подтверждаются мнения тех исследователей, которые на основании исторических данных относят время создания «Слова о полку Игореве» к самому концу XII — началу XIII в. (Н. С. Демкова, Б. И. Яценко, А. Н. Ужанков)¹¹. «Слово о полку Игореве», несмотря на его символичность, стало в древности самой яркой предтечей свободолюбивой художественной литературы, за что мы его так ценим.

Перейдем к беглой характеристике XIII в. В литературе XIII в. изображение окружающей среды очень обеднело и в некоторых произведениях прямолинейно (но патриотично) разделилось на тесную среду вокруг врагов и просторную среду вокруг русских людей. Так, в «Галицко-Волынской летописи» этот принцип деления был даже сформулирован: «крестьяномъ пространство есть крепость, поганымъ же есть теснота» (318, под 1251 г.). И действительно, польский город Калиш, который пытались взять русское войско, был изображен летописцем как утесненный природой: «бе бо городъ обишла

вода, и сильная лозина, и вербье, и не сведущимся самемь, идеже кто биаше» (270, под 1229 г.). Представление о тесноте касалось и других врагов: «собрашася вси ятвязе ... мнози зело, яко и лесомъ ихъ наполълнитися» (316, под 1251 г.). Представление о тесноте распространялось даже на мертвых врагов: например, литовцы «такo погрязаху... и нагряже озеро труповъ, и щитовъ, и шеломовъ» (342, под 1258 г.). Даже враждебное для русского войска знамение в небе представлялось тесным: «и бывшу знамениу сице надъ полкомъ сице: пришедшимъ орломъ и многимъ ворономъ, яко оболоку велику» (308, под 1249 г.).

Напротив, местность, обозреваемая русскими персонажами в отсутствие врагов, отличалась просторностью: «виде место красно и лесно на горе, обходящу округъ его полю» (344, под 1259 г.); «осмотреша, оже нетуть рати, но пáря идяшеть со истоковъ, текущихъ из горъ, зане морозе бяхуть велице» (368, под 1274 г.).

Все отмеченные мотивы в «Галицко-Волынской летописи», как правило, были мимолетными, пространственные представления неотчетливыми, излагались они летописцем, возможно, с ориентацией на традиции XII в., но почти что без эмоций.

В противоположность тому север стал мрачнее юга, и в так называемой «**Владими́ро-Сузда́льской летописи**» единичные и краткие зримые «картинки» окружающей среды относились только к катастрофам или мистическим явлениям, в которых уже именно русские люди представлялись утесненными и растерянными (например, засуха с пожарами: «мнози борове и болота загорахуся, и дымове силни бяху, яко недалече бе видети человекомъ» и пр. — 447, под 1223 г.; видение: «и виде насадъ единъ гребушь ... гребци же седаху, аки мглою одени» — 479, под 1283 г., это «Житие Александра Невского», включенное в летопись; затмение: «всем зрящим бывшу солнцю месяцемъ, явишася столпове черлени, зелени, синии оба полы солнца, таче сниде огнь с небеси, аки облак велии ... людямъ всем отчаявшимся своего житья, мняще уже кончину сущю» и т. д. — 455, под 1230 г. Однако сами авторы не проявляли впечатлительности и оставались спокойными.

Все эти мелкие «картинки» можно причислять лишь к рассеянным в памятниках XIII в. слабым «искоркам» изобразительности, а не к заметным предтечам художественной литературы.

В заключение, можно вспомнить о полупереводном «**Сказании об Индийском царстве**» (второй редакции), в котором, казалось бы, долж-

но быть много «картинок» окружающей среды. На самом же деле здесь таких «картинок» нет, а есть лишь множество локальных предметных мотивов или фантастических сюжетов, изобразительность которых достигалась за счет их нелепости или гиперболичности. Например, человеку невозможно дойти до границы Индийского царства, так как там смыкается небо с землей; невозможно увидеть вершины гор — настолько они высоки; в этом царстве волнуется непреодолимое песочное море и течет подземная река с драгоценными камнями; в горах по многим местам пылает огонь, в котором живут черви, а женщины этим огнем очищают загрязнившиеся одежды и т. д. и т. п. Подобное далекое царство, несмотря на его хаотические богатства и чудеса, ощущалось неуютным и даже подавляющим человека.

В итоге нашего (конечно же, очень неполного) обзора соответствующих «картинок» и авторских умонастроений надо признать, что в течение XII—XIII вв. изобразительность «экологических» тем в древнерусской литературе неуклонно беднела. Заботы авторов становились другими, суровыми, — начальный путь к художественной литературе не отличался ни предначертанностью, ни силой, ни простотой, ни быстротой, он был стихийным, но не исчезающим.

Примечания

Все цитаты из древнерусских текстов приводятся с упрощением орфографии. Страницы или столбцы изданий памятников указываются в скобках в самой работе.

¹ «Повесть временных лет» второй редакции цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Явно испорченные чтения Лаврентьевского списка исправляются по другим спискам.

² См.: *Лихачев Д. С.* Комментарии // Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. С. 536.

³ См.: *Лихачев Д. С.* Комментарии. С. 428—429; *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 70—71.

⁴ Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

⁵ Третья редакция «Повести временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.

⁶ «Киевская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.

⁷ «Слово о полку Игореве» цитируется по изданию: Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967.

⁸ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 40—42, 51.

⁹ «Владими́ро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.

¹⁰ «Галицко-Волынская летопись» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. М., 1981.

¹¹ Кстати, именно под 1190 г. «Киевская летопись» сообщила об аналогичном, вовсе не осуждаемом побеге галицкого князя Владимира Ярославовича из венгерского плена с помощью двух венгров («онъ же изрезавъ шатерьъ, и сви собе ужище, и свесися оттуду доловь от сторожии же его, — бяста ему два во приязнь» — 666).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЦИКЛЫ В «ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ» И В ЛЕТОПИСЯХ XII—XIII вв.

Под древнерусским литературным циклом мы понимаем: 1) цепь отдельных законченных рассказов, 2) на однотипную тему, но о разных событиях, 3) объединенных в составе одного произведения или книги, 4) сходных мотивами, деталями, композицией и — главное — фразеологией. Повторами и определяется содержание цикла.

В качестве «крепкого» примера для исследования выбираем «Лаврентьевскую летопись» (по Лаврентьевскому списку 1377 г.). Она содержит «Повесть временных лет» начала XII в. и продолжающую ее «Владимиро-Суздальскую летопись» начала XIV в., которые были объединены в недошедшем до нас владимирском летописном своде 1305 г. (как это установлено М. Д. Приселковым).

Рассмотрим «Лаврентьевскую летопись» (то есть свод самого начала XIV в.) как единое литературное целое. Текстологический и кодикологический подходы к этой летописи уже успешно осуществлены (в работах А. А. Шахматова, Я. С. Лурье, Г. М. Прохорова и др.). Нас же интересует собственно литературоведческий подход, начатый И. П. Ереминым более полувека тому назад и сохраняющий свою актуальность поныне.

Наиболее близко к изучению циклов в летописях в настоящее время подошел А. А. Пауткин, систематизировавший с максимальной полнотой типичные темы и мотивы летописных рассказов¹. Мы, в свою очередь, сосредоточимся на поиске именно циклов в «Лаврентьевской летописи» и на причинах их формирования.

В «Лаврентьевской летописи» прослеживаются по крайней мере четыре внутрILETOPIСНЫХ повествовательных цикла. Самый большой — это цикл воинских рассказов. Связывает их в «длинную» литературную форму повторение одних и тех же деталей и выражений, хотя речь идет о разных военных событиях и персонажах. Обычная

последовательность повествования о ходе сражения в «Лаврентьевской летописи»: враги бегут, наши же их гонят, секут, хватают руками (то есть берут в плен), убивают, а кому-то удается бежать. Вот пример из «Повести временных лет»: «Половци ... побегоша, наши же почаша сечи, женуце я, а другие руками имати и гнаша ... убиша же Таза ... а Шарукань едва утече»². А вот сходный же пример с теми же деталями, но уже из «Владимиро-Суздальской летописи»: «половци побегоша, и наши по них погнаша, овы секуще, овы емлюще, и яша их руками... а прочии избиха, а князь их Тоглии утече» (360—361, под 1169 г.). Если летописцы рассказывали о сражениях у какой-либо реки, то к обычным «сухопутным» деталям добавляли обязательные упоминания об утоплении врагов. В «Повести временных лет»: половцы «тако бьема, а друзии потопоша... а князя их яша руками» и пр. (172, под 1068 г.). Во «Владимиро-Суздальской летописи»: в походе на волжских болгар «они же ... побегоша, а наши погнаша, секуще поганья бохмиты, и прибегше к Волзе ... и тако истопоша» (390, под 1184 г.).

Подобные рассказы связывались в цикл и вследствие того, что летописцы повторяли не только одни и те же детали и выражения (в том числе ссылки на «силу честнаго креста», на Божью помощь и на молитвы святой Богородицы), но и целые фразы. Например, в «Повести временных лет» под 1103 г. великий князь киевский Владимир Всеволодович Мономах произносит торжественную речь по поводу победы над половцами: «Съ день, иже створи Господь. Възрадуемъ и възвеселимся во нь, яко Господь избавиль ны от врагъ наших, и покори врагы наша, и скруши главы змиевыя» и пр. (279). Ту же речь во «Владимиро-Суздальской летописи» уже под 1185 г. повторяет другой персонаж — правнук Мономаха переяславльскый князь Владимир Глебович: «Съ день, иже створи Господь. Възрадуемъ и възвеселимся в онь, яко Господь избавиль ны есть от врагъ наших, и покори врагы наша под нозе наши, и скруши главы змиевыя» (396).

Отчего возникли начатки воинского цикла рассказов в «Лаврентьевской летописи»? По поводу только что приведенного примера отметим, что, вероятно, в реальности существовала риторическая традиция у князей, не боясь обвинений в плагиате, повторять воинские речи своих тезоименных знаменитых предков. Вот и в «Повести временных лет» под 1060 г. великий князь киевский Святослав Ярославович призвал свою дружину перед превосходящим «множеством» врагов: «Потянемъ, уже нам не лзе камо ся дети» (172). Святослав Ярославович

повторил призыв своего прадеда Святослава Игоревича: «Уже намъ некамо ся дети» (70, под 971 г.).

Более общей же причиной формирования начатков цикла воинских летописных рассказов было воздействие литературного этикета — явления, хорошо известного благодаря исследованиям А. С. Орлова, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. Летописцы как бы по подсказке заполняли пункты одной и той же повествовательной схемы, отражавшей типичное развитие сражений: кто кому «пристроишася противу»; каков был воинский строй; как сталкивались полки и пр.

Начатки внутрiletписного цикла как литературной формы накопились стихийно: ведь воинские рассказы в летописи обычно были отделены друг от друга иными летописными статьями.

По повторениям можно определить смысловое наполнение этого воинского летописного «цикла» (точнее, протоцикла). Повторениями традиционных деталей и выражений летописцы обозначали сокрушительность поражения противника, поэтому говорили о нашем спасенье, о полной победе над врагом и о его огромных потерях. Например, в «Повести временных лет»: «И сдея Господь ... *спасенье велико*... *Побежени быша иноплемьнци*, и князя ихъ убиша Тугоркана и сына его, и ини князи, врази наши, ту падоша» (231—232, под 1096 г.); «*Велико спасенье* Богъ створи, а на врагы наша дасть *победу велику*, и убиша ту в полку князии 20» (279, под 1103 г.). Во «Владими́ро-Суздальской летописи»: «наши же ... секуще я 7 тысячь, руками изымаша ихъ князии одинехъ было половецьскихъ 300 и 17... Съдея Господь *спасенье велико* нашим князем и воемъ ихъ надъ врагы нашими, *побежени быша иноплемьнци*» (395—396, под 1185 г.).

Однако мысли о *всегдашней* победоносности русских князей в данном воинском «цикле» (или прото-цикле) усмотреть нельзя, так как рассказы уже не о победах, а о сокрушительных же поражениях русских князей летописцы излагали с теми же деталями и нередко с той же их последовательностью. Ср. в «Повести временных лет»: от половцев «побеже Володимеръ с Ростиславомъ ... и утопе Ростиславъ... Володимеръ же пребредь реку ... мнози бо падоша от полка его и боляре его ту падоша... Половцы же сдолевше, пустиша по земли, воуюче ... и побегоша наши пред иноплемьнники и падаху язвени предъ врагы нашими и мнози погыбоша» (220—221, под 1093 г.). Еще однообразней была основа воинских рассказов о наших поражениях во «Владими́ро-Суздальской летописи»: угры русских «овы избиша, а друзии истопоша, а многи рука-

ми изымаша» (337, под 1152 г.); «и Божьимъ попущенъмъ за умноженье грехъ наших одолеша половци, и мнози от руси избьени быша, а инех изымаша и самого князя Володимера яша» (438, под 1215 г.); «и побегоша наши пред иноплеменники, и ту убьень бысть князь Юрьи, а Василка яша руками безбожнии» (465, под 1237 г.) и т. д. и т. п.

Повесть о сокрушительном поражении русских от татаро-монголов под 1237 г. во «Владими́ро-Суздальской летописи», подтверждая связь воинских рассказов в формировавшемся цикле, почти дословно повторила и целые отрывки о поражении греков от руси из «Повести временных лет». Вот во «Владими́ро-Суздальской летописи» рассказ под 1237 г.: *«придоша от всточные страны на Рязанскую землю лесом безбожнии татари, и почаша воевати Рязанскую землю, и пленоваху и до Проньска, попленивше Рязань весь и пожгоша, и князя ихъ убиша; их же емше, овы растинахуть, другыя же стрелами растреляху в ня, а ини опаки руце связывахуть; много же святыхъ церкви огневи предаша, и монастыре и села пожгоша, именья не мало обою страну взяша. Потом поидоша на Коломну»* (460). Ср. «Повесть временных лет» под 941 г.: *«воины Игоря придоша и приплуша, и почаша воевати Вифинския страны ... и всю страну Никомидиискую попленивше, и Судь весь пожьгоша; их же емше, овехъ растинаху, другыя... стреляху въ ня, ... опаки руце съвязывахуть...; много же святыхъ церкви огнемъ предаша, монастыре и села пожьгоша, и именья от обою страну взяша. Потомъ же пришедъшемъ воемъ от вѣстока...»* (44).

Так же почти дословно в статье под 1237 г. были использованы отрывки из статьи под 1093 г. (ср. 462—464 и 222—225).

Больше того, те же детали и выражения о сокрушительных поражениях летописцы повторяли в рассказах о военных междуусобицах самих русских князей. Так, рассказ под 1180 г. о стычке между владимирским князем и рязанским князем владимирский летописец изложил в штампах повествования о сокрушительности поражения одной из сторон: в данном случае врагами выступили рязанцы — «они же побегоша, а наши погнаша и притиснуша ихъ к реце Оце, ини избиша, другыя изымаша, а инии истопоша» и пр. (387). Рассказы о междуусобицах русских князей тоже повторяли не только детали, но и ссылки на Божью помощь и на силу креста, как, например, рассказ о ссоре двух рязанских князей — Глеба Владимировича, напавшего вместе с половцами на своего двоюродного брата Ингваря Игоревича: «и Божьєю помощью и креста честнаго силою победи Ингварь злаго братоуби-

ищу Глеба, и многы от половець избиша, а ины извязаша, а сам оканьныи в мале утече» (444, под 1219 г.). Владимирские летописцы в рассказах о междоусобицах переписывали также нравоучительные отрывки из «Повести временных лет». Таков во «Владимири-Суздальской летописи» рассказ под 1177 г. о вражде рязанского князя Глеба Ростиславовича с четвероюродным братом (!) великим князем владимирским Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. Глеб стал разорять владимирскую землю, по поводу чего владимирский летописец сокрушался: «...и многы церкви запали огнемъ. Да не чудится никто же о семь: идеже множество греховъ, ту виденья всякого показанья. Сего ради гневъ прострися: ови ведутся полонени, друзии посекаеми и до молодыхъ детии, инии на мечь даеми поганымъ, друзии трепетаху, зряще убиваемыхъ» (383). Владимирский летописец тут опять почти дословно, но с некоторыми сокращениями, повторил отрывок из «Повести временных лет» под 1093 г.: половцы «многы церкви запалиша огнемъ. Да не чудится никто же о семь: идеже множество греховъ, ту виденья всякого показанья. Сего ради вселеная предасться, сего ради гневъ прострися, сего ради земля мучена бысть: ови ведутся полонени, друзии посекаеми бывають, друзии на мечь даеми бывають... друзии трепечють, зряще убиваемыхъ» (223).

В той же статье под 1177 г. владимирский летописец продолжил рассказ в выражениях воинского цикла: «Глебъ ... побеже, гоним Божьимъ гневомъ. Всеволодъ же князь погна в следъ ихъ со всею дружиною, овы секуще, овы вяжюще, и ту самого Глеба яша руками... а поганые половци избиша оружиемъ. Тем же и мы, последующе Давиду пророку, глаголемъ: “Боже мои, положи я, яко коло, яко огонь предъ лицемъ ветру, иже попаляетъ дубравы, тако пожениши я гневомъ твоимъ, исполнь лица ихъ досаженья, — се бо оскверниши святыи домъ твой”» (384—385). Последнюю фразу летописец выписал с единичными изменениями из «Повести временных лет», из рассказа уже под 1096 г.: «Тем же и мы, последующе пророку Давиду, вопьемъ: “Господи Боже мои, положи я, яко коло, яко огонь предъ лицемъ ветру, иже попаляетъ дубравы, тако пожениши я бурею твоею, исполни лица ихъ дасаженья, — се бо оскверниши и пожгоша святыи домъ твой”» (233). Ср. перед тем выписку и из статьи под 1015 г. (381 и 139—140). Все эти повторы подтверждают, что экспрессивное подчеркивание сокрушительности поражений и было главной темой формировавшегося цикла воинских рассказов в составе «Лаврентьевской летописи».

Реальной причиной склонности летописцев к описанию сокрушительности поражений в первую очередь послужила телесная жестокость сражений в действительности XI—XIII вв. Свидетельства этого содержит сама «Лаврентьевская летопись» — летописцы поражаются массовой гибели сражавшихся («мнози погыбоша и быша мертви»; «не избыть ни единь, но все избиша»; «исекоша множество»; «мнози от обоих падоша»; «многы крови проливахуться межи ими»; «погыбло их 40 тысящ» и т. д.). Реальную телесную жестокость сражений отражали также сообщения о ранении князей в общей свалке (например: «бодоша конь под ним в ноздри, и конь же начать соватися под ним, и шеломя с него слете, и щить отторже... .. язвиша в руку, и свергли ѿ бяхуть с коня, и хотеша ѿ убити» — 334, под 1152 г.). Свалка бывала жестокой настолько, что «смятошася обои бьючися» и «бысть ... межю ими смятенье: не ведяхуть, котории суть победили» (360 и 340, под 1169 и 1153 гг.). На жестокость сражений указывали также упоминания смертельных ранений — в грудь, сердце, голову, живот, спину. Жестокость битв была привычным явлением, так что в редких противоположных случаях князья с неудовольствием заявляли: «не крепко бьются дружина, ни половци, оже с ними не ездимь сами» (338, под 1152 г.), — и князья уж постарались.

Летописцы осознали и постоянно ощущали эту жестокость сражений: «бысть сеча зла», «бысть брань люта», «бе бо рать велика зело», «бысть крамола зла вельми» и т. д.

Ожесточенность сражений привела к однотипности дополнительных летописных сообщений о напряжении войска накануне и в начале битвы. Из рассказа в рассказ летописцы повторяли указания на воинственный настрой сторон (поставили стяги, построились и пр.), на воинский напор («ударяша в коне» и т. п.), на применение неожиданно оружия и особых тактических приемов.

Старые воинские штампы поредели и почти исчезли в конце «Лаврентьевской летописи» и стали заменяться новыми штампами, более отчаянными. Немалую роль в этом сыграла небывалая, превосходящая все ожидания жестокость татаро-монголов: «избиша оружием от старца и до унаго и до сушаго младенца»; «от уного и до старца и сушаго младенца — и та вся избиша»; «люди от мала и до велика — вся убиша мечем» и пр. (460, 464, 470, под 1236, 1237, 1240 гг.).

Таким образом, есть основания предполагать, что воинский «цикл» (протоцикл) в «Лаврентьевской летописи» стихийно стал формироваться под влиянием жестокой реальности сражений.

Перейдем к другому литературному протоциклу в «Лаврентьевской летописи» — к некрологам и похвалам. Некрологи и похвалы церковным деятелям и князьям в летописи составили небольшой, но уже несомненный литературный цикл, о чем свидетельствует, например, дословное повторение сравнительно большого риторического отрывка из некролога Феодосию Печерскому под 1091 г. в похвале новопоставленному ростовскому епископу Луке под 1184 г. Многократно повторяя отдельные выражения и мотивы, летописцы очерчивали довольно длинную образцовую биографию благочестивого персонажа. Наиболее часто летописцы поминали указания на то, что при жизни подвижник был кроток и смирен, утешал людей, следовал учению святых предшественников, презрел мирскую «похоть», победил дьявола; а по смерти вошел в царство небесное, где молится за русских людей и Русскую землю, а люди взирают на его раку или мощи и хвалят подвижника. Эти же церковные мотивы, особенно о кротости, повторялись и в более многочисленных некрологах и в похвалах князьям. Добавлялись же в эти оцерковленные некрологи князьям однообразные упоминания о любви князя к монахам и попам, а также о строительстве им храмов.

Причиной формирования этого похвально-некрологического цикла послужила череда выдающихся людей на Руси, деятельность которых отразила «Лаврентьевская летопись». Летописцы с пиететом поминали таких людей, сопровождая краткие или пространные биографические сведения о персонажах умеренно-гиперболическими оценками. Как правило, знаменитость этих лиц не выходила за пределы Руси: киево-печерский игумен Антоний — «Антонии же прославлень бысть в Русьскеи земли ... уведанъ бысть всеми великый Антонии и чтимъ» (157, под 1051 г.); митрополит Иоанн — «сякого не бысть преже в Руси, ни по немь не будетъ сякъ» (208, под 1089 г.); князь Святослав Юрьевич — «се же князь избраникъ Божии бе от рожества и до свершенья мужьства ... избраны въ всехъ князехъ» (366, под 1174 г.). Правда, затем слава несколько расширилась: великого князя владимирского Всеволода Юрьевича «имени токмо трепетаху вся страны, и по всеи земли изиде слух его» (436, под 1112 г.; ср. то же о великом князе киевском Владимире Мономахе под 1125 г., 293—294). Но церковное начало в некрологическом цикле преобладало: выдающихся людей Руси летописцы сравнивали с библейскими героями, чаще всего с Соломоном.

Оба формировавшихся цикла — трагически-воинский и торжественно-похвальный — не пересекались в «Лаврентьевской летописи», но отражали два почти противоположных настроения летописцев.

Рассмотрим третий «цикл» — довольно часто повторяющиеся рассказы о небесных знаменьях. Как ни странно, этот цикл фразеологически наиболее зыбкий. Повторы фраз здесь редки (например, пояснение о том, что «знаменья сиця на зло бывають» под 1065 г. было переписано и под 1203 г., ср. 165 и 419; а упоминание о молитве людей, «дабы Богъ обратилъ знаменья си на добро», под 1102 г. было повторено под 1206 г., ср. 276 и 428). Похожие выражения (типа «бысть знаменье в солнци... мало ся его оста, акы месяц бысть» или «бысть видети всем людем») всячески варьировались, выдавая преимущественную ориентацию летописцев не на формулы и не на повествовательные образцы, а на детали, относительно разнообразие: летописцы с тревогой отмечали на небе новоявленные формы в виде месяца разной узости, круги, дуги с рогами и пр.: фиксировали световые и цветовые явления на небе же — от мрака до раскаленных углей, от кровавого цвета до зеленого и пр.; даже вдруг угадывались одиночные призрачные предметы, висящие в небе, — копье, змей, коврига, хвост, столпы.

Подобный пестрый протоцикл стал все же формироваться благодаря необычным астрономическим явлениям, которые вызывали у людей, включая летописцев, целую гамму специфических чувств — от озадаченности и удивления до страха и даже ужаса («страшно бе видети»). Этот откровенно злоедейский «цикл» отражал еще одно настроение летописцев в «Лаврентьевской летописи».

Однако почему же допускалась постоянная экспрессивность повествования как в намечавшихся летописных циклах, так и в летописи вообще? Ответ наш на подобный вопрос, конечно, ясен: эмоции летописцев. Опора летописцев на устные речи (что установил Д. С. Лихачев) помогла летописцам выразить свою эмоциональную настроенность. Недаром в «Лаврентьевской летописи» повествование о событиях постоянно мыслилось летописцами как произносимый рассказ («рекохомъ», «скажемъ», «глаголемъ», «предреченая») и как передача устного рассказа других лиц («слышахом», «словеса слышах»). Только в случаях, если летописцы упоминали документы, книги, произведения, они говорили уже о написании («вписах в летописаньи семь», «написах книги си», «написахомъ на харатыи сеи»). «Лаврентьевская летопись» (то есть свод 1305 г.) — произведение эмоциональное, даже сдержанно-страстное.

Теперь скажем о четвертом виде летописных циклов, которые, в сущности, являлись уже не циклами, а сериями рассказов о каком-либо конкретном герое или событии с повторяющимися сходными сквозными мотивами.

Рассмотрим набор «сериалов» о князьях в «Повести временных лет». В первую такую серию выделились рассказы об Олеге (с 879 г. по 912 г.), хотя серию слабенькую. Рассказы об Олеге перебивались в середине «сериала» другими темами (перебивки под 887—902 гг.). Связывал рассказы об Олеге лишь один скудный мотив — перечни племен, подчинившихся Олегу: «Поиде Олегъ, поимъ воя многи, — варяги, чюдь, словени, мерю и все кривичи» (22—23, под 882 г.); «и бе обладая Олегъ поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи» (24, под 885 г.); «иде Олегъ на грекы ... поя же множество варяг, и словень, и чюдь, и словене, и кривичи, и мерю, и деревляны, и радимичи, и поляны, и северо, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверци» (29, под 907 г.). Так летописец подчеркнул военную силу Олега (недаром летописец упомянул и цифры: при нападении на греков в 866 г. у Аскольда и Диры поплыли 200 кораблей, а у Олега через 40 лет — в десять раз больше, 2000). «Сериал» об Олеге лишь ненамеренно стал зарождаться у летописцев в «Повести временных лет» (в «Древнейшем своде» и в «Начальном своде» его и подавно не было).

Далее еще один малозаметный «сериал» просматривается в рассказах о княгине Ольге и тоже на основе лишь одного неотчетливого и все же повторяющегося мотива властности Ольги. Она никогда не просит, но всегда приказывает: деревлянам — «да глаголите, что ради придосте семо», «ныне идете в лодью свою», «пришлите мужа нарочиты», «измывшеся, придите ко мне», «да пристроите меды многи» (55—57, под 946 г.). Один единственный раз Ольга вроде бы просит деревлян: «мало у всехъ прошю, — дайте ми от двора по 3 голуби да по три воробьи» (59, под 946 г.), — однако, как известно, эта просьба была издевательской и на самом деле являлась требованием полной капитуляции деревлян. Ольга повелевала даже византийскому цесарю: «крести мя самъ. Аще ли, то не крещюся» (61, под 955 г.).

Мотив властности Ольги выражался также в необычайно частом упоминании ее повелений: «Ольга же повеле ископати яму велику и глубоку», «повеле засыпати», «повеле Ольга мовь створити», «повеле ... съсути могилу велику ... повеле трызну творити ... повеле ... служити ... повеле ... пити ... повеле ... сечи», «повеле ... привязывати ...

повеле ... пустити ... повеле ... имати» (56—59); и еще: «заповедала Ольга не творити трызны над собою» (68, под 969 г.).

Что у Олега, что у Ольги летописец держал в центре внимания только какую-нибудь одну их главную черту. Эта княжеская черта могла быть не только положительной, но и отрицательной. Так, нежелание Святослава пребывать в Киеве и вообще в Руси выразилось в серии настойчивых упоминаний болгарского города Переяславца, столь любимого Святославом в ущерб Русской земле: «седе княжа ту въ Переяславци»; «Святославъ бяше в Переяславци», «рече Святославъ...: “не любо ми есть в Киеве быти, хочю жити в Переяславци”»; «иде Святославъ Переяславцю»; «приде Святославъ в Переяславецъ»; «възратися в Переяславецъ» (65, 67, 69, 71, под 967—971 гг.). Эти простейшие повторы, как нам кажется, не были чисто фактографическими, недаром летописец процитировал жесткий укор киевлян Святославу: «ты, княже, чужоя земли ищещи и блюдеши, а своя ся охабивъ» (67, под 968 г.).

Главные «серийные» черты четко отличали князей друг от друга. Например, в рассказах о Владимире Святославовиче выделялась совсем другая черта, чем у предыдущих князей, — небывалая склонность к соборности. Владимир любил собирать людей; вот примеры без комментариев: «приде Володимиръ съ варяги» (75, под 980 г.); у Владимира было 5 жен, 12 сыновей и 800 наложниц; «созва Володимеръ боляры своя и старци градские», «созва князь боляры своя и старца» (106, 108, под 987 г.); «Володимеръ же посемъ поемъ ... попы корсуньски ... приде Киеву» и собрал всех киевлян поголовно — «на рече ... бе-щисла людии» (116—117, под 988 г.); «нача поимати у нарочитое чади дети и даяти нача на ученье» (118, под 988 г.); «нача ставити города ... поча нарубати муже лучшие ... и от сихъ насели грады» (121, под 988 г.); «наруби въ не от инехъ городовъ и много людии сведе во нь» (122, под 991 г.); «сзываете боляры своя, и посадники, и стареишины по всем градомъ, и люди многы ... сзываете бешчисленное множество народа ... и тако по вся лета творяше» (125, под 996 г.) и т. д.

И тут тоже все эти сообщения о созывах людей имели не только фактографический, но и моральный смысл. Летописец так показал демократичность князя, который любил советоваться («бе бо Володимеръ любя дружину и с ними думая» — 126, под 996 г.) и прислушивался к чужому мнению («да что ума придасте?» — 107, под 987 г.).

«Серийная» черта князя могла не совпадать с важнейшим содержанием рассказов о князе. К примеру, Ярослав Владимирович, судя по

объему самой большой статьи в нем под 1037 г., ценился прежде всего как книжно-религиозный деятель, а «серийной» явилась черта военная: «събра Ярославъ варягъ тысячу, а прочих вои 40 000, и поиде на Святополка» (141, под 1015 г.); «Ярославъ же, совокупивъ русь, и варягы, и словене, поиде противу Болеславу и Святополку» (142—143, под 1018 г.); «Ярославъ совокупи воя многы и приде Киеву» (149, под 1026 г.); «Ярославъ Белзы взяль... Иде Ярославъ на чюдь» (149, под 1030 г.); «Ярославъ и Мьстиславъ собраста вои многъ, идоста на ляхы» (150, под 1031 г.); «Ярославъ събра вои многы — варягы и словени — приде Киеву» (151, под 1036 г.); «Ярославъ иде на ятвягы ... Ярославъ иде на литву... Иде Ярославъ на мазовъшаны» (153, под 1038, 1040, 1041 гг.); «Ярославъ иде на мазовшаны» (155, под 1047 г.) и т. д.

Эти факты создавали воинский фон, благодаря которому Ярослав причислялся к князьям, «землю отецъ своихъ и дедъ своихъ иже налезоса трудомъ своимъ великимъ» (161, под 1054 г.).

«Сериалы» летописных рассказов о князьях все-таки не превратились у летописцев в отчетливую традицию, особенно когда речь шла о князьях плохих или неудачливых. Поэтому отсутствовала «серийная» черта в рассказах под 913—945 гг. у жадного князя Игоря Рюриковича, а рассказы под 1054—1078 гг. об Изяславе Ярославовиче так сильно перебивались другими материалами, что и «сериала» не было видно, тем более что несчастный Изяслав чаще всего безлико упоминался вместе с братьями. В еще большей мере это касается рассказов под 1078—1093 гг. о болезненном князе Всеволоде Ярославовиче.

Видимо, была и другая причина затухания «сериалов» в «Повести временных лет». Генеральные мотивы связывали в «сериалы» только рассказы о древнейших князьях, о которых, возможно, дошли до летописцев некие циклы устных легенд. А о современниках «Повести временных лет» такие циклы еще не сложились. Оттого рассказы под 1093—1107 гг. о Святополке Изяславовиче и о Владимире Всеволодовиче Мономахе не проявили даже тенденции к серийности. Характерно, что рассказы о Владимире Мономахе продолжились во «Владимиросуздальской летописи», но тоже без каких-либо признаков серийности как о Мономахе, так и о всех последующих князьях.

Теперь рассмотрим прото-циклы «Лаврентьевской летописи» на фоне других современных ей летописей.

В «Новгородской первой летописи» старшего извода (по Синодальному списку) циклы фразеологически связанных рассказов отсут-

ствовали из-за преобладавшей краткости и фактографичности летописных статей. Но наблюдается одно исключение — сравнительно подробные описания голода и мора в Новгороде. Правда, таких описаний всего лишь четыре: под 1128, 1161, 1215 и 1230 гг. Однако отличаются они многочисленными сходствами деталей, выражений и сходной последовательностью повествования.

Просто перечислим: начинаются эти описания обычно с упоминания о произошедшем «зле» или «казни»; затем говорится о дороговизне продуктов, особенно ржи; далее сообщается о голоде, во время которого люди ели мох, липовый лист, кору и пр.; повествуется о том, что родители отдавали своих детей на сторону, чтобы спасти от голодной смерти; рассказывается о всюду лежащих трупах; в конце описания летописцы сетовали на запустение земли и объясняли несчастье Божьим наказанием за грехи.

В чем причина появления столь четкого «морового» внутрiletписного прото-цикла, хоть и небольшого? Описания мора были проникнуты особенно резким горестным чувством летописцев: «Туга-беда на всех»³; «о, велика скърбь бяше въ людехъ» (31, под 1161 г.); «о, горе тьгда, братье, бяше... О, горе бяше» (54, под 1215 г.); «что бо реци или что глаголати... бяше туга и печаль, на уличи скърбь другъ с другомъ, дома тьска... Се же горе бысть...» (70—71, под 1230 г.). Острота чувства, возможно, способствовала подробности рассказа и побудила летописцев отбирать и повторять самые «отчаянные» детали.

В прочих случаях живые эмоции летописцев обычно были поумеренней, побуждали к подробностям, но не приводили к фразеологической цикличности рассказов (об усобицах, битвах, пожарах). В кратких сообщениях летописцы и вообще отделялись единичными типовыми формулами о чувствах (страшно при затмениях, радостно при приезде князя и пр.), но то были повторы однообразных фраз, а не циклы рассказов. Голодомор являлся трагической особенностью новгородской земли и «оттянул» на себя главные чувства новгородских летописцев, тем более что с массовыми жертвами голода и болезней не шли ни в какое сравнение гораздо меньшие потери военные.

«Новгородская первая летопись» отличалась от более гармоничной «Лаврентьевской летописи» эмоциональной неравномерностью повествования и оттого меньшей литературной цельностью.

О другой летописи — «**Киевской**» (по Ипатьевскому списку) — скажем тоже относительно кратко ввиду отсутствия в ней циклов рас-

сказов. Даже некрологи князьям не образовали циклов. В летописном повествовании повторялись только отдельные формулы, что хорошо показал И. П. Еремин⁴. Но нечто похожее на циклы пусть не рассказов, но эпизодов, все же встречается в летописи при упоминании княжеских «обедов» (под 1148, 1149, 1150, 1160, 1168, 1195 гг.). Эти эпизоды излагались одинаково: князь позвал другого князя на обед; на обеде князья «пребывше у весельи и у любви»; обменялись подарками, чествуя друг друга; и разъехались «у свояси». То был своеобразный торжественный рефрен в летописи. А упоминания о том, что князья «пребыша у велице весельи и у велице любви», часто повторялись и по иным поводам, кроме обеда (встречи князей, примирения и пр.). На фоне непрерывных войн и междукняжеских усобиц летописцы очень ценили и пропагандировали мир и братолюбие и оттого бесконечно ссылались на целование креста персонажами.

Все же подробнее стоит рассказать о возможностях циклообразования во многочисленных воинских рассказах «Киевской летописи». Цикла здесь нет; все воинские рассказы связаны, так сказать, «на живую нитку», в слабую цепочку, традиционными формулами и особенно часто повторяющейся деталью — упоминаниями о «стоянии» войск. Летописцы обязательно указывали, где остановились полки (у города, у села, на поле, на лугу, у леса, у реки, на броду, на горах, «во снегу» и т. д. и т. п.), и почему остановились (на обед, на ночь, «в товары», ожидая кого-то и пр.), и сколько стояли (3 дня, 4 дня, 10 дней, 2 недели, 6 недель, 50 дней, «все лето», «долго веремья»), и как стояли перед противником (например: «и тако сташа полци межи собою, зряще на ся»⁵).

Объяснить эту устойчиво повторяющуюся деталь можно тогдашней воинской тактикой. Ведь такие остановки были привычны для военачальников, и они о том договаривались постоянно («кде я стану, ту же и ты стани»; «брате, кде ми велиши стати»; «что стоиши, княже, не поеда прочь» — 449, 512, 527, под 1152, 1161, 1167 гг.).

Летописцы тоже относились к подобным остановкам и «стояниям» как к должному, никак не комментируя их. Такое представление об обязательном «стоянии» летописцы переносили и на прошлое, на времена Владимира Мономаха: «Володимирь самъ собою *постоя* на Дону и много пота утеръ за землю Рускую» (303, под 1140 г.). Между тем ранее в той же «Киевской летописи» нигде не говорилось о том, чтобы Владимир Мономах где-нибудь «постоял».

Чрезвычайно частые же упоминания «стояний» появились в летописи оттого, что летописцы старались очень подробно, досконально, рассказать о походах русских князей. В результате создавали впечатление медлительного развития событий перед сражениями («стоимы сде, — чего стоимы сде?» — 425, под 1151 г.). Поэтому летописцы крайне редко, лишь в единичных случаях отмечали передвижение персонажей «вборзе» (а чаще наоборот: «пойде *потиха*, ожидая брата своего ... и ста» — 357, под 1147 г.).

Но где-то с 1170-х годов в воинских рассказах «Киевской летописи» происходит перелом. О «стоянии» русских князей почти не упоминается, зато князья сплошь и рядом стали действовать «вборзе» («поехаша вборзе», «пойде поспешая», «наборзе устремившеся на них» и пр. — 539, 631, 691, под 1170, 1183, 1195 гг.). Редкие случаи стояния теперь все равно кончались «борзостью» («ждавь многы дни ... пойде вборзе» — 619—620, под 1180 г.). Персонажи требовали быстроты («поеди ко мне в борзе» — 671, под 1190 г.). Отсутствие «борзости» теперь приходилось чем-то оправдывать («князем же рускимъ не лзя бо ехати по них уже борзо: сполонился бяшеть Днепръ, бе бо весна» — 652, под 1187 г.).

И напротив, половцы предстали останавливающимися и медлящими в летописи, начиная с 1180 г. Они не то что стоят, но лежат: «лежахуть без боязни, надеючеся на силу свою» (622, под 1180 г.); «а половци восе лежать» (654, под 1187 г.); «половци ... лежать ... по сей стороне Днепра» (677, под 1193 г.) и др.

Идейно-фразеологическая перемена в последней части «Киевской летописи», помимо военных обстоятельств, которые еще надо исследовать, могла произойти, возможно, и под влиянием предполагаемой семейной хроники Ростиславичей (великого князя киевского Ростислава Мстиславовича и его сыновей и внуков) за 1170—1190-е годы.

Перемена не была абсолютно резкой. Показательна, например, широко известная летописная статья под 1185 г. о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославовича, дальнего родственника Ростиславичей, на половцев. Старое и новое здесь сочетались. Русские по-старому медлят («и тако идяхуть тихо, собираюче дружину свою» — 638), но теперь их уже торопят («да или поедете борзо, или возвратися домовъ» — 639). Но и половцы, соответственно новой тенденции, тоже уже стоят («половци стоять на Хороле», «Кончакъ же стояль у лузе» — 635, 636, под 1184 г.; «стояхуть на онои стороне реки»,

«силы половецькии, которие же далече реки стояхуть» — 639, 640, под 1185 г.).

В общем, воинские рассказы «Киевской летописи» оказались повествовательно разнотипными, к тому же слабо связанными друг с другом — каждый рассказ, пожалуй, составлялся без оглядки на предыдущие, и все они вкуче образовывали в лучшем случае нечто вроде сборника.

В заключение остановимся на «Галицко-Волынской летописи» как литературном целом, а не в текстологическом ее делении на части. Военные эпизоды «Галицко-Волынской летописи», как и в «Киевской летописи», связаны традиционными воинскими формулами. Относительно новым явилось постоянное внимание галицких летописцев к взятию и величине «полона» — наверное, в духе корыстного XIII в., несмотря на рыцарственность воинских рассказов.

Однако самым интересным связующим звеном в летописи стали необычно частые упоминания чувств летописных персонажей — буквально в каждой пространной статье. Эти упоминания, как правило, были трагичны: плакали, скорбели и «сожалели» не только об умерших, погибших или пострадавших (например: «беспрестанно плакашеса... слезы от себе изливающи, аки воду... вопиюще»⁶; горевали и досадовали от поражений, разорений и иных неудач («сжалиси о срамоте своей» — 248, под 1212 г.; «и бысть плачь обиде его» — 314, под 1250 г.; «тужаху и плеваху» — 340, под 1258 г.; «еще бо ему не сошла оскоми́на Телебужиной рати» — 418, под 1289 г. и мн. др.); а еще пеняли за неуместную черствость («чему о насъ не сожалитеси?» — 270, под 1229 г.).

На этом печальном фоне радость или веселие персонажей упоминались очень редко (типа «в пиру веселяшюся»; «прияша ѿ с радостью»; «и ради быша вси людье» — 276, 358, 390, под 1230, 1263, 1287 гг.).

Заго трагичность добавляли обильные и — главное — разнообразные упоминания о боязни и страхе персонажей, как русских, так и не русских: «смятеса умомъ» (264, под 1226); «бе бо ему боязнь велика во сердце его» (268, под 1228 г.); «страхъ имь бысть от Бога» (276, под 1230 г.); «вложи Богъ страхъ во сердце ихъ» (336, 338, под 1256 г.); «видя беду страшну и грозну» (312, под 1250 г.). Ужас: «ужась бысть в нихъ» (340, под 1258 г.); «страхъ обя вся человеки и ужась» (360, под 1264 г.). Летописцы даже рисовали сочные картинки испуга персонажей: «малодушна блюдяшася о преданьи града, изиидоста слезнами очима и ослабленомъ лицемъ, и лижюща уста своя ... и реста с нужею»

(288, под 1235 г.). Персонажи с переменным успехом призывали своих людей не бояться врагов: «страшливу душо имате... Ныне же почто смущаетесь?» (284, под 1234 г.); «да не видеть ужась во сердце ваше» (332, под 1255 г.). Редко когда летописцы восхищались непреклонной мужественностью отдельных персонажей (например: «придоста с тихостью на брань. Сердце же ею крепко бе на брань и устремлено на брань» — 308, под 1249 г. Прямо-таки стихотворные строки!).

Причина этого неизбывного трагического мотива в «Галицко-Волынской летописи», конечно же, заключалась в коварной татарщине и в крайне усложнившихся отношениях между русскими князьями. Недаром летописцы с необычной частотой порицали «лесть», обман и лживость, присущую врагам Руси и царившую в самом русском обществе: персонажи «имеяху бо леть во сердце своемъ» (230, под 1202 г.); «льстивь глаголь имеют» (286, под 1234 г.); «речи ихъ ... полны суть льсти» (300, под 1240 г.); «злобы бо ихъ и льсти несть конца» (314, под 1250 г.) и т. д. и т. п. Сначала русские и иные персонажи не разбирались в хитроумии татар: «Не ведающим же руси льсти ихъ... Их же прельстивше, и последи же льстию погубиша. Иные же страны ... наипаче лестию погубиша» (260, под 1224 г.). Потом персонажи стали повсеместно недоверчивы к врагам и недругам, своевременно «усмотревъ леть ихъ» (422, под 1291 г. и мн. др.).

Отношения между князьями были отвратительны. Их снедали гордыня, зависть, вражда, ненависть, злоба, гнев («гордость имеющим во сердце своемъ» — 306, под 1246 г.; «гордяся своимъ безумьем» (380, под 1282 г.); «исполнившимся зависти и льсти ... возьярившимся на нь» — 332, под 1255 г.; «вражду имеяше» — 260, под 1224 г.; «на престааше о злобе своей» — 302, под 1241 г.; «вложи дьяволь ненависть» — 376, под 1281 г.; «гневахуся вси князи ... вси гневахуться» — 368, под 1274 г. и т. д.

Правда, летописцы частенько упоминали и о «любви» между князьями или между князем и горожанами: но то была дипломатическая «любовь», обозначающая мирные отношения — желаемые или установившиеся на какое-то время: «клялася бо беста ... любовь имети» (238, под 1203 г.); «хотя имети с ним любовь» (294, под 1238 г.); «прияста ѿ с любовью» (282, под 1232 г.); «любяхуть же ѿ гражане» (288, под 1235 г.). При этом летописцы сетовали и на отсутствие любви: «не любящим» (240, под 1204 г.); «не живяше с нимъ в любви, но воевашеться с нимъ... забывъ любви...» (358, под 1274 г.).

В сознательности внимания летописцев именно к этим трагическим или отрицательным чертам современности убеждает, в частности, некрологическая похвала волынскому князю Владимиру Васильковичу под 1288 г., где эти черты перечислены в соответствующем положительном контексте: «Сий же благоверный князь Володимеръ ... кротокъ, смиренъ, незлобивъ, правдивъ ... не лживъ ... любь же имеяше ко всимъ, паче же и ко братьи своей ... мужьство и умъ в немъ живяше, правда же и истина с нимъ ходяста ... гордости же в немъ не баше... и въздыхание от сердца износя и слезы от очью испущаше...» (408, 410).

Есть у «Галицко-Волынской летописи» еще одна примечательная особенность: летописцы не просто упоминали чувства персонажей, но доводили их до максимума. Печаль чаще всего была «великой»: «бысть в печали величе» (294, под 1238 г.); «печалуя ... по велику» (356, под 1262 г.); «с великою жалостью» (298, под 1240 г.); «сжалиси велми» (346, под 1269 г.); «нача болми скорбети душею» (312, под 1250 г.); «с плачем великимъ» (406, под 1288 г.) и мн. др.

Но и радость была «великой». Обычно летописцы отделялись формулой «радость бысть велика» или ее синтаксическими вариациями. Только однажды летописец отступил от стандарта: персонаж «от радости воскочивъ и воздевь руце» (356, под 1262 г.). На радость летописцы реагировали скупее, чем на горе.

Кстати и «великая любовь» между персонажами в летописи также была формальной. Летописцы ее обозначали многократно повторяемой шаблонной фразой: «начаша быти в любви велице». При том не упускали случая отметить и великую нелюбовь: «не любовашеть велми» (358, под 1262 г.); «бысть межю има болше нелюбье» (386, под 1283 г.); «нелюбье бысть велико» (390, под 1287 г.).

Естественно, великими были и прочие отрицательные чувства у персонажей — вражда, гнев, гордость, страх: «самъ хотяше всю землю одержати ... с великою гордынею; едучю ... гордящу, ни на землю смотрящю ... видящю ... гордость его, болшую вражду на нь въздвигнуста» (300, под 1240 г.); «великъ гневъ имея» (250, под 1213 г.); «бе бо ему боязнь велика во сердце его» (260, под 1228 г.); «стояше в ужастии величе» (350, под 1261 г.) и т. д. Даже сам летописец поражался: «пристранно видити!» (272, под 1229 г.).

Традиционное в литературе преувеличение силы чувств тут сыграло какую-то роль. Но повсеместная густота преувеличений в летописи появилась, по-видимому, под влиянием представления летописцев

о крайней напряженности окружающей действительности. Отсюда их известная характеристика своего времени: «Начнем же сказати бещисленая рати, и великия труды, и частыя войны, и многия крамолы, и частая востания, и многия мятежи. Измлада бо не бы ... покоя» (266, под 1227 г.). В характеристике под 1229 г. добавлено: «По семь скажем ... великия льсти...» — 274).

В итоге, главным связующим фактором «Галицко-Волынской летописи» служило единство настроения летописцев, превратившее эту летопись в нечто вроде бесконечной саги; вернее, первоначальную сагу летописцы формально подчинили погодному изложению. После работ А. С. Орлова, Н. К. Гудзия, Д. С. Лихачева, В. Т. Пашуто, И. П. Еремина и других исследователей «саговость» «Галицко-Волынской летописи» представляется, пожалуй, несомненной.

Итак, протоцикл — «сериал» — сборник — «сага». Причина «размывания» внутрिलетописных прото-циклов заключалась в том, что циклы рассказов или эпизодов в составе летописи относились к архаической литературной традиции. Недаром истинной цикличностью рассказов, следовавших сразу друг за другом и связанных тематическими, композиционными и фразеологическими повторами, отличались только очень старые произведения, переводные и оригинальные, — например, «Хождение Богородицы по мукам», подчеркивавшее повторами сердобольность Богородицы и бесконечность мук грешников; «Житие Феодосия Печерского» Нестора с параллелизмом поведения двух идеальных подвижников — Феодосия и Варлаама; «Хождение» игумена Даниила, однообразно очарованного сохранностью и благоустроенностью святых мест Палестины.

Подтверждают наше предположение также старые циклы иного вида, составленные не из рассказов внутри одного произведения, а из разных произведений. Особенно характерно «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона по списку середины XV в., неизвестно когда и кем объединенное с приписываемыми ему большой «Молитвой» и отнюдь не коротким «Исповеданием». Фразеологические переключки между этими тремя сочинениями настолько многочисленны, что не оставляют сомнений в образовании цикла, воспевавшего славу и спасительность христианства, человеколюбие и милосердие Бога и пр.

Упомянем также летописный рассказ «О убьеннии Борисове» из «Повести временных лет» и анонимное «Сказание о Борисе и Глебе», фразеологически очень близкие. Правда, это, в нашем понимании, не

цикл, так как оба произведения рассказывали об одном и том же событии и не были объединены в одной книге или сборнике. Продолжатель и повторитель летописной статьи анонимный автор «Сказания» (придерживаемся мнения С. А. Бугославского о связи данных памятников) положил лишь возможное начало циклу иного типа, существовавшему лишь в памяти книжника и выпячивавшему во многочисленных фразеологических повторах фактическую историю убийства названных князей. За таким «источниковедческим» циклом было будущее.

А пока цикличность уже не понадобилась. Знаменательно в этой связи, что помещенные в известном «Сильвестровском сборнике» середины XIV в. «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора и анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» не воспринимались составителем как цикл, а, напротив, они остались фразеологически и в деталях настолько отличавшимися друг от друга, что создателей этих произведений можно заподозрить в намерении во взаимном стилистическом отталкивании, а составителя сборника — в равнодушии к литературной циклизации старого типа.

На основе сделанных наблюдений можно также предположить, что для древнейших книжников важны были не произведения как самостоятельное явление, а массивы сочинений, разрабатывавшие и продолжавшие те или иные темы до бесконечности в форме книг, сборников, писаний сложного состава. «Массивность» древнерусской литературы надо исследовать специально. Ведь Д. С. Лихачев неоднократно говорил об «ансамблевом» и «анфиладном» характере литературы Древней Руси.

Примечания

¹ Беседы с летописцем: Поэтика раннего русского летописания. М., 2002.

² ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 282, под 1107 г. Страницы указываются в скобках.

³ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 22, под 1128 г.

⁴ *Еремин И. П.* Киевская летопись как памятник литературы. М.; Л., 1949.

⁵ ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 466, под 1153 г.

⁶ ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. М., 1981. С. 408, под 1288 г. Далее страницы указываются в скобках.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ФОН В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И АРХАИЧНОСТЬ ЕГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Изобразительный фон в «Слове о полку Игореве» составляют предметные детали, упоминаемые автором то как реалии, то как иносказания с символическим смыслом.

Предметные ассоциации автора в «Слове», то есть прямо не высказанные, а лишь косвенно выраженные представления о материальных качествах предметных деталей, по-видимому, самый маленький и незаметный элемент картинного повествования, которое нас и интересует начиная с его истоков.

Исключительно ценным трудом для нашей темы является книга В. П. Адриановой-Перетц «Слово о полку Игореве и памятники русской литературы XI—XIII веков» (Л., 1968). В сущности, мы попытались дополнить корпус наблюдений В. П. Адриановой-Перетц некоторыми относительно новыми фактами, более или менее доказуемыми текстом «Слова». Ведь устойчивые ассоциации автора «Слова», кажется, никто не изучал специально.

Соберем что-то вроде тематического словарика авторских ассоциаций в «Слове». Начнем с изображения природы в «Слове», с частей рельефа. Больше всего автор упоминал «землю» и «поле». «**Земля**» у автора неизменно ассоциировалась с ровной поверхностью. Вот первое упоминание «земли»: «*растекашется ... серымъ вълкомъ по земли*»¹. Выражения «растекатися по ...» и ему подобные подразумевали движение по ровному пространству. Ср. далее: «Тоска *разлияся по Руской земли*, печаль жирна *тече средь земли Рускыи*» (49), — ничего не мешало течению по земле. «Грозы твоя *по землямъ текутъ*» (52), — тоже как бы ничего не препятствует течению по земле. Другие словосочетания, по-видимому, так же выражали авторскую ассоциацию

«земля — ровная, плоская»: «*по Руской земли прострошася половци*» (51), — простираются обычно по воображаемой ровной поверхности; «стрелы *по земли сеяше*» (48), — сеют обычно по ровному полю; «*поскочи по Руской земли*» (49), — беспрепятственно.

Косвенные обозначения земли опять-таки подразумевали ее ровность: «орьтьмами и японъицами, и кожухы начаша мосты *мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ*» (47), — ровное сделали еще более ровным.

Слово «поле» благодаря эпитетам яснее проявляло ассоциацию автора с ровностью и беспрепятственной его гладкостью: «*поеха по чистому полю... Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша*» (46): «*занесе чрьсь поля широкая*» (44). Другие высказывания автора подтверждают эту ассоциацию, но косвенно: «*рассуиася стрелами по полю*» (46), — рассыпаться по плоскости поля; «*рища ... чрьсь поля на горы*» (44), — ровные поля перед горами; «*мъгла поля покрыла*» (46), «*пороси поля прикрывають ... кликомъ поля прегородиша*» (47); «*загородите полю ворота*» (53), — эти выражения, пожалуй, тоже, хоть и слабо, подразумевали плоскость поля.

Еще один пример косвенно выраженной ассоциации «поле — плоское»: «Не ваю ли злачеными шеломы *по крови плаваша ... на поле незнаеме?*» (52), — плавают по жидкости, повторяющей ровность поля.

Автор, конечно, знал, что в поле есть холмы и овраги, но и тут он «уплощил» неровности рельефа: Святослав «*наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы ... иссуши потоки и болота*» (50).

Итак, изобразительный фон в «Слове о полку Игореве» составляли просторные и в общем гладкие и плоские поля и земли (ср. у Адриановой-Перетц: «слово *поля* в значении “открытое место, поляна, луг” известно с XI в. в разных жанрах русской и переводной литературы» — 80).

Из других видов ландшафта в «Слове» выделяется «травя». «Трава» обычно ассоциировалась у автора с некоей подстилкой («*стлавшу ему зелену траву*» — 55; «*зелену паполому постла*» — 48; «*на ... траве притрепанъ*» — 53; «*ничить трава ... къ земли*» — 49).

Авторские ассоциации можно подметить еще к нескольким явлениям природы — к солнцу, ветру, ночи и тьме. «Солнце» (как реальия или как бы реальия) у автора «Слова» отличалось резкой переменчивостью: то оно напускало тьму и меркло («от него тьмою ... прикрыты» — 44; «солнце ... тьмою путь заступаше» — 46; «два солнца померкоста» —

50; «утрѣпе солнцю светъ» — 52; «чръныя тучя ... хотять прикрыти 4 солнца» — 47; и пр.); то оно светило вовсю («солнце светится на небе» — 56; «слънце ... простре горячую свою лучю» — 55).

Далее. «**Ветер**» у автора «Слова» представал мощным носителем или толкателем предметов и существ («се ветры ... веють съ моря стрелами» — 47; «ветре ... мычещи ... стрелкы на своею нетрудною крилицю ... лелеючи корабли на сине море» — 54; «нетрудный» — в данном случае «незатрудненный», ветер, «легко переносящий или раскачивающий груз»). Прочие примеры: «соколь на ветрехъ ширяся» — 52; «стрежаше ... чрънядьми на ветрехъ» — 35; и совсем сильный ветер: «Кобяка ... вихрь выторже» — 50).

Далее. «**Ночь**» на чужой земле у автора «Слова» была наполнена необычными, беспокоящими и зловещими звуками («нощь стонуци ... свистъ зверинь вѣста... Дивь кличетъ ... кричатъ телегы полунощы» — 46; «ночь ... говоръ галичь убурия» — 48; «въ полуночи Овлуръ свисну ... кликну, стукну земля, въшуме трава» — 55). Так создавалась картина беспокойного ночного «поля» («нощь ... грозою птичь убуди» — 46; «полунощи идуть сморци мглами» — 55; по полю кто-то «въ ночь влъкомъ рыскаше» — 54). Поэтому русское войско не спит, а лишь «дремлетъ въ поле» (47).

Объекты природы делились у автора «Слова» на враждебные и дружественные. Например, давно замечено учеными, что все «синее» (то есть синеющее или синеватое) ассоциировалось в «Слове» с предметами чуждыми или опасными («синее море», «синий Дон», «синие молнии», «синяя мгла», «синее вино»). Напротив, «серебряными» были предметы дружественные («серебряные берега», «серебряные струи», «серебряное стружие», «серебряная седина»). «Золотым» являлось все княжеское (это хорошо известно).

Теперь скажем о животных. Все животные в «Слове» быстро «скачют», включая коней со всадниками. Но «**волки**» бегут географически целенаправленно и как бы прямолинейно («въ поле ... бежить серымъ влъкомъ ... къ Дону» — 47; «скочи влъкомъ до Немиги» — 53; «вълкомъ ... дорыскаше до ... Тмутороканя» — 54; «вълкомъ ... потече къ лугу Донца» — 55).

«**Соколы**» же летят стремительно; и однажды, в сочетании с ветром и полем, выражают авторское представление о силе всепокрывающего ветра: «буря соколы занесе чресь поля широкая» (44), — поэтому «буря», а не «ветер».

«**Лебеди**» у автора «Слова» выступали как страдающие и обидимые существа («пущашеть ... соколовъ на стадо лебедей» — 43; «избивая гуси и лебеди» — 55; «крычать ... лебеди роспущени» — встревоженные или, может быть, разогнанные, 48). Оттого дева-обида «всплескала лебедиными крылы» (49).

Неконкретные «птицы» (то есть не орлы, не вороны, не галки и пр.) в «Слове» разделяют несчастную судьбу «лебедей», и виноваты в том «соколы» («сокол, птиць бя» — 49; «соколь ... птиць възбиваетъ» — 51; «соколь ... хотя птицю ... одолети» — 52; «полете соколомъ ... избивая гуси и лебеди» — 55).

Но в конце «Слова» роль «птиц» вдруг меняется, и они, а не «соколы», становятся агрессивными: «Аже соколь къ гнезду летить, ... то почнуть наю птици бити въ поле половецкомъ» (56). Без «соколов» «птицы» активны и, может быть, даже хищны (ср.: павшую «дружину ... птиць крилы приоде, а звери кровь полизаша» — 53, «птицы» не охраняют дружину, а, возможно, расклевывают убитых; а до этого они ожидали гибель дружины Игоря: «беды его пасеть птиць, ... орли клетомъ на кости звери зовуть» — 46).

«**Вороны**» тоже применяются к меняющейся обстановке: обычно днем «гряхуть, трупия себе деляче» (48) или «всю ночь ... възгряху» (50); но, когда надо, «не гряхуть» (56). Так что автор изменчивым мыслит не только «солнце», но и «птиц» и «вранов».

Перейдем к человеческим, а именно к женским персонажам. **Женские** персонажи, русские и нерусские, ассоциировались у автора «Слова» как неизменно красивые («красныя девки половецкия» — 40; «красныя Глебовны» — 48; «готския красныя девы» — 51; «опутаеве красною девицею» — 56). Красота же их заключалась в том, что они обладают драгоценностями, особенно золотом («съ ними злато, и паволоки, и драгыя оксамиты» — 46—47; «звоня рускымъ златомъ» — 51; хотят «злата и сребра ... потрепати» — 49; у Ярославны — «бебрянь рукавъ» — 54, то есть дорогой наряд); а еще красивы нерусские женщины, оттого что поют («въспеша» — 51; «девици поють на Дунаи, выются голоси» — 56), а русские женщины ладно же плачут («жены руския въсплакашась» — 49; «Ярославнынъ гласъ слышитъ ... кычетъ ... плачетъ» — 54—55; «плачется мати Ростиславля» — 55).

Предметный мир мужских персонажей иной. Все вооружение, по представлениям автора, сделано из крепчайших металлов: **мечи** и **копья** — харалужные, **сабли** и **стрелы** — каленые, поэтому и пол-

ки — «железные», а еще **стремена** и **шеломы** — золотые и крепкие, выдерживающие удары (ср.: «ту ся саблямъ *потручяти о шеломы*» — 47; «*гримлють сабли о шеломы*» — 48; «*позвони своими острыми мечи о шеломы*» — 53); стрел — всегда множество; «**клики**» — всегда громкие и напористые; **кровь** — льется обильно, так что «по крови плаваша» (52).

Мы указали лишь относительно самые четкие предметные ассоциации автора «Слова». Еще одна авторская ассоциация касается, казалось бы, абстрактного объекта, но превращает его в объект предметный. Это понятие — «**мысль**». В «Слове» «мысль» предстает материальным орудием движения («*растекашется мысляю по древу*» — 43); орудием полета («*мысляю ти прилетети издалеча, отня злата стола поблюсти*» — 51; «*мысль носить ваю ... высоко плаваеши*» — 52); мерным инструментом («*мысляю поля мерить*» — 55).

Смысловое своеобразие данной ассоциации выражается в том, что «мысль» становится орудием не постоянно, а только временно, в момент выполнения определенного «инструментального» действия. Такой же смысл в «Слове» имеют многочисленные сочетания глаголов движения с предметными существительными в творительном, «орудийном», падеже (например: «Боянь ... *растекашется ... вълкомъ по земли ... орломъ подь облакъ*» — 43. Это не сравнение. Боян не превращался в волка или в орла. Просто в момент данного движения он действовал по-волчьи и по-орлиному, чем частично, мельком, тогда напоминал волка и орла).

Ассоциации автора «Слова» были преимущественно традиционными. В этом легко убедиться по примерам из других памятников в названной книге В. П. Адриановой-Перетц.

Иногда ассоциации сочетались. Но при сложении различных предметных ассоциаций в «Слове» не возникало богатых картин, а лишь подчеркивалась одна из ассоциаций. Например, подчеркивалась беспрепятственность «поля» («*буря соколы занесе чресь поля широкая*» — 44, сильный ветер свободно несет стремительных соколов через гладкие «поля»; «*скачють, аky серыи вльци въ поле*» — 46, энергичные волки прямолинейно скачут — «*пути имь ведоми*» — по бесконечному «полю»). Или же выделялась открытость, незащищенность «поля» («*рассушаясь стрелами по полю*» — 46; «*слънце ... простре горячею свою лучю ... въ поле безводне*» — 55). В сущности, все объекты с их предметными ассоциациями оставались одиночками и составляли лишь

перечислительный материальный фон «Слова», подобно фигуркам на фасаде Дмитровского собора конца XII в. во Владимире. Автор «Слова» и тут не выходил за пределы литературной традиции.

И все же некоторые символические описания реальных событий у автора «Слова» все-таки кажутся похожими на красочные картины. Того ли хотел автор?

В качестве примера рассмотрим одно из самых выразительных описаний: «Другаго дни велми рано кровавья зори светъ поведаять, чръныя тучя съ моря идуть, хотять прикрыти 4 солнца, а въ ний трепещуть синии мльнии. Быти грому великому... Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти...» и т. д. (47). Связывает эти детали только утро. Но не ясно, все это происходит одновременно или же последовательно, одно за другим; из одного места или же из разных мест; сохраняются ли эти детали на все время события или нет. Судя по повествованию, автор вспоминал о событии после его окончания и фактически лишь перечислил составные части события, создав что-то вроде статичной миниатюры со зловещими деталями, застывшими в вольном порядке и подчеркивавшими лишь одно — «плохую погоду».

Описания плохой погоды в «Слове» тоже не были связаны друг с другом, а похожи лишь перечислительной структурой («се ветри ... веють съ моря... Земля тутнетъ, реки мутно текуть, пороси поля прикрывають» — 47; «утръпе солнцю светъ, а древо не бологомъ листвие срони» — 52; и пр.).

Такой способ изображения — россыпью предметных деталей усилием что-то одно — был типичен для всех символично изложенных эпизодов «Слова». Материальный фон в «Слове о полку Игореве» велик, но дробен и структурно однообразен.

Оригинален ли был автор «Слова о полку Игореве» в своей приверженности к мешанине предметных деталей в их перечислениях? Думается, что нет. То была старая традиция произведений, когда они усиленно использовали символику, обозначая реальные события.

Ранним примером служит «Слово о Законе и Благодати» Илариона, сочиненное за полтора века до «Слова о полку Игореве». Ограничимся несколькими наблюдениями. Так, по ассоциации Илариона, вся земля, все страны, все народы едины в своих проявлениях, а вода — исключительно обильна («всю землю ... вода морьская покры»²; «по всеи же земли роса ... оброси» — 18; «источникъ наводнився и всю землю покрывъ ... разлиася» — 23; «потече источникъ ... напаая всю зем-

лю»); кроме того, вода благотворна («съсудь сквернень ... помовень водою» — 14; «пиемь источьникъ» — 25; «дождемь ... распложено бысть многоплодне» — 34). При сочетании этих ассоциаций не возникла картина, а лишь подчеркивалась одна из ассоциаций (единство земли) — явление, уже знакомое нам.

Предметные детали в своих описаниях Иларион тоже просто перечислял, не думая о создании хронологически связанной картины. Ср. о крещении Владимира: «...облечень ... препоясанъ ... обувь ... венчанъ ... гривною и утварью златою красуюся» (34), — что сделано раньше и что позже, осталось не ясным, дан результат: красавец. Еще о крещении Владимира: «ти припахну воня ... испи ... чашу ... вкуси» (29), — то ли последовательность действий, то ли нет. И перечисление с явным отступлением от хронологии: «епископи сташа пред святыимъ олтаремь ... клирость украсиша, и въ лепоту одеша святыа церкви ... темианъ Богу въспущаемъ ... монастыреве на горах сташа ... вси людие исполнеше святыи церкви» (28—29), — главное то, как успешно идет церковное строительство.

Затем, лет за 80 до «Слова о полку Игореве», была составлена «Повесть временных лет», и ее предметные элементы в символических похвалах князьям продолжили ту же традицию усилительности перечислений без стремления к действительной картинности. Вот, например, похвала княгине Ольге опять же за принятие христианства: «Си бысть ... аки деньица предъ солнцемъ, и аки зоря предъ светомъ; си бо съяше, аки луна в нощи ... светящися, аки бисерь в кале... Си бо омыся купелью ... и совлечеса ... одежевь...»³, — когда это происходит: на рассвете, перед рассветом, глубокой ночью, бодрым утром? Здесь каждая деталь — сама по себе, а вместе подчеркнута сиротливость ночи и утра.

Накануне появления «Слова о полку Игореве» эту манеру развил донельзя Кирилл Туровский. Так, в «Слове по пасхе» в знаменитом описании бурной весны (то есть крещения) предметные детали перечислялись самым причудливым образом: лед, ветры, плоды, семена, агнцы, пастухи, древа, цветы, сады, ратаи, реки, рыбы, рыбаки, пчелы, соты, птицы и т. д.⁴ Детали можно переставлять в любом порядке. Еще больший разброс был в характеристике святых в «Слове на собор 318 святых отец»: пастыри, реки, ангелы, орлы, органы, облака, гряды, столпы, светильники, сосуды, обители, цветы, древесина, ловцы и пр.⁵ Изобразительный фон в символике Кирилла Туровского дошел до мак-

симальной хаотичности — никакого взаимодействия между деталями даже не подразумевалось. Лишь нагнетались признаки одного и того же реального явления.

Из приведенных примеров можно заключить, что «Слово о полку Игореве» в своих перечислительных описаниях опиралось на долгую литературную традицию. Недаром автор «Слова о полку Игореве» сразу же провозгласил, что именно «старыми словесы» он намерен начать свою повесть (43); а «старыми» он называл явления именно XI в. (ср. у В. П. Адриановой-Перетц: «определение “старый”, каким автор “Слова” наделяет князей XI в.»; «определение *старого времени* соответствует “старым словесам” времени Бояна и наименованиям старыми князей X—XI вв.» — 49, 58).

Еще одно наблюдение. Получилось, что реальные события автор «Слова» через символику характеризовал другой реальностью! Автор не дал разъяснений этому феномену. Мы же можем высказать только предположение на сей счет. Одно объяснение — такое. Предметная символика использовалась автором, скорее всего, как экспрессивное средство. Поэтому наряду с символикой в «Слове» так много авторских восклицаний и так часты упоминания о чувствах персонажей — «труд», туга, печаль, уныние, тоска, «жалость», плач, слезы, стон, а также веселие и радость.

Изобразительная символика в риторичном «Слове о Законе и Благодати» Илариона тоже была связана с авторскими эмоциями: она более бедна, оттого что победнее чувства автора, прибегшего к предметной символике, — радость и «дивление».

Однообразная изобразительная символика Кирилла Туровского тоже была порождена однообразием же авторских чувств — радость и благоговение.

Сравнительно с другими произведениями XI—XIII вв. в «Слове о полку Игореве» особенно густа символика из мира природы — очевидно, для того, чтобы максимально усилить экспрессию повествования, показать «великое буйство» сражений русских с половцами («сицеи рати не слышано» — 48). Ведь описания природных явлений всегда были эмоциональны в XI—XII вв.

Но есть еще одно, тоже предположительное объяснение изобразительности «Слова о полку Игореве». Символика у автора «Слова» приоткрывала вход в «другой» земной мир, как бы параллельный реальному миру земному. Цельной картины этого параллельного мира

в «Слове» не было. Однако каждый эпизод служил как бы «окошком» в густой надреальный мир, в его отдельные части. Автор находился вне такого воображаемого мира («что ми шумить, что ми звенить давеча» или «далече» — 48).

Вероятно, и в этом случае автор «Слова» ориентировался на «старые словесы», хотя не ясно, на какие конкретно. Некоторую аналогию составляет именно «Слово о Законе и Благодати» Илариона с его огромным символическим ландшафтом иссохшей земли, источников, озер и пр. А вот «второй» мир у Кирилла Туровского уже не так близок к «Слову о полку Игореве», потому что он не фантастичен, а идеален и приземлен.

Искать истоки стиля «Слова о полку Игореве» в глубокой переводной старине побуждает творчество Иоанна Златоуста, в частности его «Слово о всех святых». Здесь мученичеству за веру параллелен, во-первых, развернутый образ битвы: «на брани пльци на обе стороне стануть оковани, блистающе ся оружиемъ и землю светяще; облаци стрелами пушають ся, всюду закрывающе въздухъ множествомъ; реки кровавы текуть отвсюду; и многопадение обоиде, акы на жатве класомъ»⁶. Во-вторых, образ мореплавания: «сице и кърмьници предъ вълнами пристанищъ зърять предъ истопениемъ» и т. д. (465). И тут же, в-третьих, образ ночи: «въ нощи тьмьне человекомъ съпящемъ въсемъ, и зверьмъ и птыциамъ, и рыбама, и велику мълчанию сушу ... сладкъ ли сънь...» и т. д. (465). И тут же, в-четвертых, образ домашнего уюта: «яко же домы творящии своя светлы цветнымъ шарьмъ всюду и украшають» (465). Все это «окошки» в параллельный земной мир.

В некоторых апокрифах этот «второй» земной мир тоже проглядывает в виде «окошек». Например, в «Сказании Афродитнана» о рождении Христа и приходе волхвов протягивается цепочка водных и морских мотивов: «яко источникъ есть възлюбленъ», «какы в мори носить корабль многа добра», «едину рыбу имущи ... удою емлему», «облакъ от зноя орошая весь миръ»⁷.

Наконец, сравнительно близким предшественником автора «Слова о полку Игореве» мог быть Владимир Мономах, кстати, упоминаемый в «Слове». По речам Владимира Мономаха, приводимым в «Повести временных лет», по его «Поучению» и посланию, вставленным в «Лаврентьевскую летопись», можно заключить, что Владимир Мономах был очень даже склонен к употреблению экспрессивных сравнений, пред-

метных иносказаний и символов, которые являлись своего рода «шелками» в параллельный, «второй» земной мир. Но природа минимально присутствовала в иносказательном и символическом мире Мономаха (например: «облизахуся на нас, акы волци стояще» — 249, под 1096 г.; «скруши главы змиевыя» — 279, под 1103 г.; «тело увянувшю, яко цвету ... яко же агньцю заколену» — 253, под 1096 г.; «сядет, акы горлица, на сусе древе, желеючи» — 254, под 1096 г.). Больше было «шелок» в мир, так сказать, бытовой («ввержень в ны ножь» — 362, под 1097 г.; «седя на санех, помыслил» — 241, под 1096 г.; «днесь живи, а завтра гробъ» — 245, под 1096 г.; «хлебъ едучи дедень» — 254, под 1096 г.; и пр.). «Второй» земной мир в произведениях соответствовал местам, где действие развивалось.

В итоге рискнем предположить, что автор (или один из авторов) «Слова о полку Игореве» был не столько новатором, сколько консерватором. Сошлюсь на Д. С. Лихачева, который отметил, что главным в «Слове» был «певец — архаист и обобщатель, склонный к языческим реминисценциям и аналогиям с явлениями природы, «тема Бояна оказывается в известной мере более естественной и органичной для “Слова”»⁸.

И еще маленький штришок по поводу «старых словес» в «Слове о полку Игореве». В памятнике содержится редкостная по форме и по энергичности смысла фраза: «Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля меритъ» (55). Наверное, неспроста аналогию находим именно в «Слове о Законе и Благодати» Илариона: «Христос победи, Христос одоле, Христос въцарися, Христос прославися» (29). Архаичность повествования в «Слове» нуждается в дополнительном изучении с разных сторон⁹.

В общем же, одним из признаков архаического повествования в древнерусских памятниках являлось преобладание россыпи изобразительных «кирпичиков», а не цельных картин.

Что же касается пристрастия автора «Слова» к «старым словесам», то тут возможно двойное объяснение. Во-первых, «старые словесы» понадобились автору для героизации печальных событий. Поэтому, в частности, все русские князья и их дружины в «Слове» подчеркнута храбрые. Во-вторых же, демонстративный консерватизм помог автору выпятить значимость своей личности. Оттого он упоминал о себе и смело обращался с призывами к князьям. Ранее это мог позволить себе только митрополит Иларион.

Примечания

¹ «Слово о полку Игореве» цитируется по кн.: Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967. С. 43. Далее страницы указываются в скобках.

² «Слово о Законе и Благодати» Илариона цитируется по кн.: Идеино-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1. С. 18. Далее страницы указываются в скобках.

³ «Повесть временных лет» цитируется по кн.: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 68, под 969 г.

⁴ Издание текста см.: *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 416—417.

⁵ *Он же* // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 347—348.

⁶ Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 460. Далее страницы указываются в скобках.

⁷ *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. 2. С. 1, 3.

⁸ *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. М., 1987. Т. 3. С. 215, 217. Об архаичности политических идей автора «Слова» см.: *Робинсон А. Н.* Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI—XIII вв. М., 1980. С. 241 и др.

⁹ См.: *Демин А. С.* Об «архаизирующем» повествовании в «Слове о полку Игореве» // *Он же.* О древнерусском литературном творчестве. М., 2003. С. 128—141.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК АВТОРА «ЖИТИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

«Житие Александра Невского», или «Повести о житии», или «Слово о величии князе Александре Ярославиче», написанное лет через двадцать после смерти Александра, в 1280-х годах, уже давно обратило на себя внимание исследователей неординарностью формы — перед нами не столько житие, сколько воинская повесть или светская княжеская биография, вернее, пользуясь словами автора, «исповедание» жизни (159)¹. Социальный облик автора размыт. «Житие» составил книжник, а конкретнее, может быть, церковник, а может быть, и дружинник, во всяком случае лицо, приближенное ко князю: «самовидец... возраста его», по авторскому признанию (159).

Автор выразил местный, областнический, взгляд на своего героя уже в начальной похвале: «Но и взорь его паче инех человекъ» (160). Уточнение — «инех человекъ» — имело явственный ограничительный оттенок: Александр оказывался лучше не всех прочих людей вообще, как это можно было ожидать по обычаю панегириков такого рода, а только лучше лишь какой-то группы некоторых «человекъ». Слово «инех» в «Житии» не означало даже подавляющего большинства прочих людей. Ср. в другом месте: «И овехъ с собою поведе, а инех, помиловав, отпусти» — только некоторых, избранных (169). Масштабность похвалы была очень невелика.

И действительно, прочтем эту похвалу далее. Автор сравнил Александра с трубящей трубой: «И глас его — аки труба в народе» (160). Сравнение в общем традиционное. В библейских книгах не раз голос героя сравнивался с трубой: «Яко и трубу, възнеси глас свои» («Библия», 90 об. 1, Исаи. 58), «и слышах за собою глас велми, яко трубу (60 об., Апок. 1). Но тут можно заметить, что автор «Жития» добавил уточнение — «в народе» (160), представив трубный глас героя распространившимся не на «весь мир», не в «четыре конца вселенной», как это

было принято в похвалах (ср.: «Сила же твоихъ глаголь, Златоусте, яко труба ... всельньскыя вся коньца пригласова» — «Миней служебные» 1097 г.²), а только в пределах одного народа. Притом слово «народ» и даже во множественном числе слово «народы» автор «Жития» понимал узко, областнически — как жителей одного княжества или одного города: «къ граду Пскову... весь народ» (172), «къ граду володимерю... весь народ» (178). Автор не распространил авторитет Александра за пределы Владимиро-Суздальского княжества. Это всего лишь оттенки, но симптоматичные.

И дальше, в центральной части «Жития», где речь шла о военных победах Александра, о победе в Чудской битве, автор тоже ограничил славу князя: «Зде же прослави богъ Александра пред всеми полкы, яко же Исуса Наввина у Ерехона» (171). Ссылка на Библию оттеняет позицию автора. В библейской книге Исуса Навина Бог обещал Иусу: «В сеи день начинаю възвышати тя пред всеми сыньми израилевыми» (98. 1. Гл. 3), то есть перед всем народом. В «Житии Александра Невского» же прославление происходит только локально, только перед полками, очевидно, перед участниками сражения. В уточнении отразилась местная ориентация автора.

В конце «Жития», в рассказе о смерти Александра, автор процитировал отзыв митрополита об умершем князе: «Чада моя, разумеите, яко уже зайде солнце земли Суздальской» (178). Князей, в том числе и умерших, обычно сравнивали с солнцем вообще, с солнцем вселенским (ср. «Киевскую летопись» под 1178 г.). Образ же солнца только Суздальской земли был, конечно, местным, областническим. Автор смотрел на Александра Невского глазами деятеля местного масштаба.

И не только на Александра Невского. Например, автор изобразил явление святых Бориса и Глеба, плывущих на судне, и противопоставил бросающихся в глаза святых князей малозаметным гребцам: Борис и Глеб сразу заметны, потому что «стояща», а гребцы почти невидимы, потому что «седаху»; Борис и Глеб выделяются «посреди насада», а гребцы кроются по бортам; Борис и Глеб — «въ одеждах чръвленных», а гребцы — «аки мглою одеани»; Борис и Глеб «руки дръжаща на рамехъ», а руки гребцов скрыты (165). Изложение этого эпизода было навеяно автору «Жития» текстом «Сказания о Борисе и Глебе» (Успенский сборник, 51.2), но в «Сказании» такое странное противопоставление князей гребцам отсутствовало, а проведено оно было именно автором «Жития». Отдельные детали, возможно, были взяты из

«Жития Василия Нового»: «и лица ихъ мглоу обията», «тии одеани въ одежду мъглену» (533, 541), но в «Житии Василия Нового» в соответствующих местах также не содержалось изобразительного противопоставления одних людей другим. Автор «Жития Александра Невского» словно резким лучом света выделил князей, а остальных людей спрятал во «мгле». Но каких? Всего лишь гребцов, а не народ или все человечество. Опять повторилось противопоставление князей небольшой группе «инех человекъ».

Наряду с местной ориентированностью автору «Жития» была присуща политическая трезвость оценок. Так, например, начальная в «Житии» похвала князю, о которой мы уже говорили, завершилась серией сопоставлений с библейскими героями, однако только однажды было проведено полное приравнивание: «И даль бе ему богъ премудрость Соломоню» (161) — здесь Александрова мудрость безусловно равнялась Соломоновой. Все другие сопоставления уже не означали полного приравнивания: «Сила же бе его — часть от силы Самсоня» (160—161) — слово «часть» означало, что сила Александра Невского происходит от силы Самсона, но вовсе не равняется ей. «Лице же его — акы лице Иосифа» (160), «храборство же его — акы царя римского Еуспесиана» (161), — это «акы» тоже означало лишь сходство, но не равенство качеств Александра библейским образцам. Автор знал меру.

Дальше — больше. Похвалы Александру Невскому, произносимые персонажами «Жития», автор быстро обрывал, превращая в цитаты, необычно урезанные и очень скромно звучащие для таких случаев. Например, цитировались в «Житии» восхищенные отзывы об Александре якобы магистра ливонского ордена и якобы самого хана Батыя. Магистр объявил о Невском не на весь мир, а только «къ своимъ», в своем кругу, и очень кратко: «Прошед страны языкъ, не видехъ таковаго ни въ царехъ царя, ни въ князехъ князя» (162) — и больше ничего не говорилось. После этого высказывания автор не изобразил Александра, но тут же перешел к парадоксально нетриумфальному следствию: «Сеи же слышавъ, король части римскыя» безбоязненно напал на Александра. То есть особо важного, переломного значения похвале автор не придавал. Так же и Батый сказал не всем, а только «вельможамъ своимъ», в узком кругу: «Истину ми скажете, яко несть подобна сему князю», — однако с царями не сравнил. Эта кратчайшая похвала ни к чему не обязывала, потому что тут же Батый «разгневаясь... и посла... повоевати землю Суждальскую» (174—175). Автор

«Жития» не был в упоении от славы Александра и не отрывался от политической реальности.

Автор оставался верен себе и тогда, когда, на первый взгляд, чересчур широко очерчивал распространение славы Александра Невского в мире: «И нача слыти имя его по всемъ странамъ и до моря Хонужьскаго, и до горь Араратскихъ, и об ону страну моря Варяжьскаго, и до великаго Риму» (173). Некоторая повышенность тона понятна. Но больше никаких преувеличений нет. Имя Александра Невского действительно «слыло» в этих четко обозначенных пределах — до Каспия и Кавказских гор, до противоположного берега Балтики и до Рима. Прав Н. И. Сербрянский: «В историческом отношении преувеличения эти в сущности не так велики»³. Автор проявил себя не столько панегиристом, сколько, выражаясь древнерусским языком, добросовестным «служебником» князя, погруженным в дела княжества и трезво осведомленным в окружающей обстановке.

Это был подтянутый «служебник», что видно по манере именования персонажей в «Житии», которых автор чиновно называл с указанием титула или должности. Почти каждое авторское упоминание имени Александра, даже одно за другим подряд, обязательно сопровождалось титулом — «князь великий Александр» или «князь Александр». Третьестепенный персонаж вводился с титулом тоже: «Савастиян икономъ», «от иконома его Савастияна» (179, 180). Указывалась должность и самого мимолетного персонажа: «Ияковъ, полочанинь, ловець бе у князя» (167), — больше этого Иакова мы не встретим, но его должность знаем. То же о другом персонаже, мелькнувшем в сражении: «от слугъ его, именем Ратмиръ» (167), — княжеский слуга. Постоянно употреблялся автором еще один элемент официального именования лиц — слово «господин»: «Си вся слышахомъ от господина своего Александра» (168), «подающе... славу господину князю Александру» (172), «написати кончину господина своего» (177), «се же бысть слышано всемъ от господина митрополита» (180). Это черта, возможно, новгородская.

«Житие» написал человек, представлявший в категориях служебных отношений весь мир, даже деяния Бога. Так автор упомянул об Александре: «Воистину бо без божия повеления не бе княжение его» (160). Многие древнерусские писатели повторяли мысль о том, что власть — от Бога или дана Богом, но, пожалуй, лишь один автор «Жития» сказал о Божьем «повелении» как назначении на княжение верховным адми-

нистратором. Далее, сохраняя служебную настроенность, автор сослался: всем правителям «Боже... повеле жити, не преступающе в чюжую часть» (163). Об этом феодальном принципе древнерусские писатели обычно говорили как о междукняжеском соглашении, но, кажется, один лишь автор «Жития» опять осмыслил его как божье распоряжение, поступившее, так сказать, административно сверху вниз.

Впитавший правила службы автор внес специфическую деталь в изображение чуда. Один из персонажей «Жития» видел видение со святыми Борисом и Глебом, плывущими на судне, и слушал их разговор, довольно странный, если вдуматься. Борис обратился к Глебу с указанием: «брате Глебе, вели грести» (165). Подобного эпизода не было в предшествующих сочинениях о Борисе и Глебе, и его необходимость не диктовалась сюжетом. Почему же Борис сам не приказал гребцам? Да потому что перед взором автора «Жития» выстроилась цепочка начальников и подчиненных: старший Борис мягко указывал младшему Глебу, а тот уже как непосредственный начальник повелевал гребцам.

Как профессиональный «служебник» автор не мог не упомянуть прямую службу своему господину. На эту тему в «Житии» высказывался сам Александр Невский перед подданными: «Служите сынови моему, акы самому мне — всемь животомъ своим» (177), — такие наставления не были характерны ни для житий, ни для повестей, ни для поучений. Пожалуй, лишь один автор, притом тоже «служебник» — Даниил Заточник в «Молении» к князю — рассуждал о службе, о разнице служения доброму или злому господину (392).

Автор «Жития» принадлежал к преданным «служебникам»: «Отца бо оставити человекъ может, а добра господина не мощно оставити: аще бы лзе, и въ гробъ бы лезль с ним!» (178). Сходная служебная ламентация встречалась в летописи под 1238 г. по поводу смерти ростовского князя Василька Константиновича: «Кто же служиль ему... и кто его хлебъ иль и чашу пиль, тотъ по его животе не можаше служи ти ни единому князю, за его любовь» («Тверская летопись», 372).

Некоторая «бюрократичность» автора сказалась в изображении похорон Александра: умерший князь «акы живъ сущи распростерь руку свою и взят грамоту от руки митрополита (179). Возможно, из «Жития Алексея, человека Божия» был заимствован общий мотив манипуляции мертвеца нужной «харатией»⁴. Но в «Житии Алексея» покойник, не отдавая, держал «харатию», пока его не переложили на мягкий и богатый одр. В «Житии Александра» же почивший герой действовал

активнее — недаром очевидцев охватила «ужась»: из раки он не только сам вдруг протянул руку, но и сам взял грамоту, притом не шаривая, а точно из рук митрополита. Автор создал «срединный» образ Александра: не живого, не воскресшего, но и не безнадежно мертвого, а «аки жива» как бы, несмотря на смерть, наблюдающего за действительностью вокруг себя. Этот образ дремлющего или подсматривающего покойника не был абсолютно нов для древнерусской литературы. Сходный эпизод: сел в гробе, простер руку и отдал грамоту умерший философ Евагрий в «Хронике» Георгия Амартола (438). В «Синайском патерике» персонаж рассказывал: мертвец из гроба «прость рьши левую руку свою, ять мя за десную руку и глагола ми» (143). Вспомним также в «Слове о Законе и Благодати» обращение митрополита Илариона к умершему князю Владимиру встать и отрясти сон. Но у автора «Жития» Александр продолжал принимать документы, то есть функционировать именно «делопроизводственно». Автор проявил себя именно в деталях.

Автор «Жития» в войне непосредственно не участвовал⁵ и не слишком интересовался военными делами. Хотя в «Житии» много батальных упоминаний, ибо речь шла о сражениях первостепенной важности, однако о победах Александра сообщалось очень кратко: «воскоре иде и изверже», «въскоре... изсече» (169), «гоняще, аки по и аеру» (171), «победи 7 ратий единомъ выездомъ» (173) — легкость побед необыкновенная, никаких воинских «потов». Такая же краткость в оценках военных заслуг Александра: «И не обретесе противникъ ему въ брани никогда же» (172) — и ничего больше. Зато служебные ритуалы автор расписал гораздо подробней — посылание вестей от младшего князя старшему князю, получение князем вестей от подчиненных, оказание знаков уважения церковным иерархам, советы с советниками, молитва перед сражением и пр. Эти сцены разворачивались обстоятельно, без обычной для «Жития» беглости повествования.

«Штатская» настроенность автора главенствовала, войну он, думается, не любил, испытывая озабоченность разрушительностью ратей. Так, например, автор с чужих слов рассказал о Чудской битве, отметив особо: войска дрались так, «яко же и езеру померзъшю двигнутися; и не бе видети леду, покры бо ся кровию» (171). Замерзшее озеро обычно неподвижно, а тут двигается; лед обычно белый (ср. в рукописи XIV в.: «аки ледь, бело»⁶), а тут лед красный. Автор не стремился создать яркую картину природы или битвы, а только отметил прискорбный

непорядок: прошла «сеча зла», и вот как от нее нарушился привычный ход вещей. Подобная традиция изображения существовала в литературе. Ср. неожиданно печальную сцену победы Александра Македонского в «Александрии»: «Ничто же бяше ту видети, но токмо коня, лежаща на земли, и мужа избъены... Не видети бо бяше ни неба, ни земли от многы крови. И тоже само солнце, съжаливси о бывшихъ и не могъи зрети толика зла, пооблачися» (49). Автор «Жития Александра» тоже «съжаливси» от «толика зла». И все же в оригинальных древнерусских произведениях редко можно встретить такое уклонение от восхищения при изображении военной удачи любимого князя.

Пересказывая опять же с чужих слов другие воинские эпизоды, автор, привыкший к формальностям, вставил очень уж неудобные концовки, делая акцент на неэтикетности поведения сражавшихся. Так, один из храбрецов отличился необычайно: конный «въеха по доске и до самого корабля». Обычно по трапу не въезжали верхом. Однако любования смелостью храбреца автор не проявил, а констатировал неприятный результат нарушения, так сказать, приличия: «Свергоша его з доски съ конемъ в Неву». Хорошо хоть, что «Божиею милостию изыде оттоле неврежденъ» (166). Или: один из княжеских слуг «бися пешь», хотя должен был сидеть на коне. В аналогичном эпизоде из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, возможно, повлиявшем на «Житие», было объяснено, почему «сеи же творяше пешь», затем развернуты героические картины (403—404⁷). Автор же «Жития» не развил образа храбреца, зато указал на трагический конец того, кто спешился не по обычаю: «И обступиша его мнози. Он же, от многихъ ранъ пад, скончася» (167). Правда, подобные истолкования не бесспорны.

Некоторые детали наводят на предположение о «юридическом» мироотношении автора, даже поражение врагов трактовавшего со «штатской», правовой, стороны — как резкое разрушение социального и служебного статуса проигравших битву. Автор сообщил, например, что Александр «и самому королю възложил печать на лице острымъ ко пиемъ» (166), — королевское лицо обычно стараются оберечь, а тут на него кладут отметину острым копьём, то есть прежде всего проявляют самое вызывающее отсутствие должного почтения. (Ср. аналогию в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, обозначающую, однако, удачный боевой прием: «и по лицу сека, убивашеть я» — 364). Затем пленных «ведяхуть босы подле конии, иже именуют себе божии рито-

ри» (172) — автор выразил скрытый сарказм «служебника»: рыцарям пристало красоваться в снаряжении на конях, а они влачimy босиком рядом с конями, то есть опять нарушение норм. Далее автор добавил, как русские поступали с пленными: «Вязахуть их къ хвостомъ коней своихъ» (173) — и нашел нужным пояснить, почему: «ругающесея» — то есть для унижения в принятой тогда форме.

В общем, автор «Жития Александра Невского» вполне выказал свою настроенность не военного, а чиновного «служебника». Своим «Житием» он нес образцовую гражданскую службу князю, в меру деловитую и в меру эмоциональную.

«Автор “Жития Александра Невского” спокоен, точен, приподнят и торжественен»⁸. Автор «Жития» как трезвый верноподданный из окружения князя, быть может, более соответствует реально-историческому облику Александра Невского, который в настоящее время представляется нам уже менее ура-патриотичным, но более земным и изворотливым феодальным деятелем⁹.

В заключение коснемся эстетической роли «Слова о погибели Русской земли», прибавленного к «Житию Александра Невского» в качестве предисловия и в результате этого выпятившего мотив погибели и болезни. Если лишь однажды, в конце собственно «Жития», люди восклицали: «Уже погыбаемь!» (178), то тему погибели уже с самого начала ввело «Слово о погибели»¹⁰. Если лишь однажды и тоже в конце «Жития» сообщалось о том, что Александр «разболеся» (177), то «Слово» ввело перекличку с этой темой, уже сразу помяная «болезнь крестияном» (155). «Слово» усилило минорные мотивы, не свойственные подтянутому автору «Жития». Хотя «погибель» — это, скорее, разорение, а не гибель. Автор «Жития Александра Невского», пожалуй, первый в русской литературе открыл собою длинную череду писателей-служащих. Все эти чиновные литераторы, как правило, выбирали для почтительных описаний самый крупный «чин» своего времени и самый ласкательный жанр и почти в каждой строчке являли свою дисциплинированность и опытность людей, находящихся на официальном посту, — так в наших современных понятиях, отчасти огрубляя суть дела, можно определить своеобразие этого автора XIII в.

Примечания

¹ Цитируемые произведения: «Александрия» — *Истрин В. М.* Александрия русских Хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложение; Библия — Библия. Острог, 1581. Указываются листы и столбцы издания; «Житие Александра Невского» — *Бегунов Ю.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965; «Житие Василия Нового» — *Вилинский С. Г.* Житие Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1913. Ч. 2; «Синайский патерик» — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Гольштенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967; «Слово о погибели Русской земли» — *Бегунов Ю.* Указ. соч.; «Тверская летопись» — ПСРЛ. Т. 15; «Хроника» Георгия Амартола — *Истрин В. М.* Книги временныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920. Т. 1: Текст.

² См.: Срезневский. Т. 3. Стб. 1004.

³ *Серебрянский Н. И.* Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915. С. 207.

⁴ См.: *Серебрянский Н. И.* Указ. соч. С. 190.

⁵ См.: *Мансикка В. П.* Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913. С. 15—16.

⁶ См.: Срезневский. Т. 2. Стб. 14.

⁷ Аналогии см.: *Мансикка В. П.* Указ. соч. С. 28—29, 21—22. Цит. по: *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958.

⁸ *Лихачев Д. С.* Литературные памятники Киевской Руси // Художественная проза Киевской Руси XI—XIII вв. М., 1957. С. VIII.

⁹ См.: *Феннел Дж.* Кризис средневековой Руси: 1200—1304. М., 1989. С. 136—166, 210, 211, 213, 214.

¹⁰ См.: *Серебрянский Н. И.* Указ. соч. С. 208; *Орлов А. С.* Древняя русская литература XI—XVII вв. М.; Л., 1945. С. 143; *Комарович В. Л.* Повесть об Александре Невском // История русской литературы. М.; Л., 1945. Т. 2. Ч. 1. С. 51.

«ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» И ЛЕТОПИСАНИЕ XII в.

Переход книжников к старательному компилятивному использованию сложившихся фразеологических форм, к традиционному литературному творчеству заметен на примере «Жития Александра Невского», написанного во Владимире в 1282—1283 гг.¹

Начнем анализ с рассказа о знаменитом Ледовом побоище, задавшись вопросом, в какой манере он написан. Д. С. Лихачев обратил преимущественное внимание на «круг южнорусских памятников, литературная манера которых отразилась и в Житии Александра»; подчеркнул, что «Житие несет в себе западнорусскую, галицкую литературную традицию»²; и к рассказу о Ледовом побоище привел параллель из южной «Галицкой летописи» и из переводной «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, которую переписывали в составе южнорусских же компилятивных хронографов домонгольского времени³.

Итак, сопоставим уже найденные учеными сходные выражения (отмечены курсивом) в описаниях разных битв в разных памятниках. «Житие Александра Невского», рассказ о Ледовом побоище: «трусць от копий ломления и звукъ от сечения мечнаго... и не бе видети леду»⁴. «Галицкая летопись» под 1240 г.: «и ту беаше видити ломъ копейны»⁵; та же летопись под 1249 г.: «крепко копьем же изломившимся, яко от грома тресновение бысть... от крепости ударения копейного» (803). «История» Иосифа Флавия: «бысть видети лом копийны и скрежетание мечное»⁶. Сходство есть, но очень скудное между «Житием», с одной стороны, и «Галицкой летописью» с «Историей» Флавия, с другой стороны. С «Историей» Флавия даже больше сходных элементов, чем с «Галицкой летописью».

Но добавим до сих пор еще не проводившиеся сопоставления — с «Киевской летописью». Начнем со статьи под 1174 г. Точек соприкосновения при описании битв оказывается довольно много. «Житие»: «съступишася *обои*, и *бысть* сеча зла и *трусць* от *копий ломления* и

звукъ от сечения мечнаго... и не *бе видети* леду» (171). «Киевская летопись»: «смятошася *обои*, и *бысть* мятежь великъ, и гласе незнаеми, и ту *бе видити ломъ копииньи* и звукъ оружьныйи»⁷. Еще есть соответствия в тех же рассказах. «Житие»: «*помощию Божию... гоняше*» (171). «Киевская летопись»: «*Бога... помочь* невидимо *гонящее*» (577). «Житие»: «и б*яше множество* полоненых» (172). «Киевская летопись»: «и *много* колодникъ изымаша» (577). Явственные соответствия: столкнулись оба, была схватка, лом копий, звук, гонят Божьей помощью, много пленных. К «Житию» ближе рассказ из «Киевской летописи» XII в., чем фраза из «Галицкой летописи» XIII в.

Не только с одной статьей, но с целым рядом статей именно «Киевской летописи», а не «Галицкой летописи», перекликается рассказ «Жития» о Ледовом побоище. Сравним «Житие» с «Киевской летописью» — по хронологии ее статей, начиная с 1111 г. «Житие»: «Князь же Александръ воздевь руце *на небо* и рече: “Суди ми, Боже...” ... и *съступишася обои*, и *бысть* сеча зла и трускъ от копий... *яко видех* полкъ Божий на въздусе пришедши на *помощь* Александрови... И *даша плещи своя...*» (170—171). «Киевская летопись»: «възведше очи свои *на небо*, призываху Бога вышняго и бывшую же *соступу* и брани крепце... и посла господь Богъ ангела в *помощь* русьскимъ княземъ... и тресну аки громъ... и брань *бысть* люта межи ими и падаху *обои*... половци *вдаша плещи свои на бегъ*... невидимо бьеми ангеломъ, *яко се видяху* мнози человеци» (267). Ср.: «воздев на небо» — «възведше на небо»; «съступишася обои» — «бывшую же соступу... падаху обои»; «яко видех» — «яко се видяху»; «пришедши на помощь» — «посла... в помощь»; «даша плещи своя» — «вдаша плещи своя»; «трускъ» — «тресну» и пр. И еще в конце рассказов наблюдается сходство. «Житие»: «И *возвратися* князь Александръ с победою *славною*... И нача слыти имя его по *всемь странамъ*... и до великого *Риму*» (172—173). «Киевская летопись»: «*возвратишася* русьстии князи въ свояси *съ славою* великою къ своимъ людемъ, и ко *всимь странамъ* далнимъ рекуще... и до *Рима* проиде...» (273). Характер сходства свидетельствует о том, что автор «Жития» обильно использовал фразеологический материал «Киевской летописи».

Но статья под 1111 г. — это все-таки еще «Повесть временных лет» третьей редакции, хотя и в составе Киевского летописного свода 1200 г.⁸ Однако если обратиться к массиву собственно «Киевской летописи», то сходства «Жития» с летописью не иссякают. Вот «Житие» о Ледовом побоище и летопись под 1149 г. «Житие»: «и *поидоша* противу себе...

въсходящую солнцю и съступишася обои, и бысть сеча зла) (171—172). «Киевская летопись»: «*и поидоша полкы своими противу имь... поидоша полци к собе, яко солнцю въсходящую, ступишася, и бысть сеча зла межи ими*» (382). Автор «Жития» явно использовал фразеологию и композицию киевского летописного повествования.

В рассказе о Ледовом побоище из «Жития» заметны также некоторые элементы сходства с последующей летописной статьей под 1178—1179 г. «Житие»: «Князь же Александръ *въздевь руце на небо*» (170); «сего даст ему Богъ *в руце его*» (171—172). «Киевская летопись»: «*воздевь руце на небо... и предасть душу свою в руце Божие*» (стб. 609). «Житие»: «*И возвратися князь Александръ с победою славною*» (172). «Киевская летопись»: «*и възвратишася во свояси, примше от Бога на поганяя победу славою и честью великою*» (608). Тут тоже ощутимо влияние россыпи летописных выражений на «Житие».

В целом же, рассказ о Ледовом побоище в «Житии» впитал очень много запомнившихся автору выражений из «Киевской летописи». Например, дружина в «Житии» говорит Александру перед битвой: «ныне приспе время нам *положити главы своя за тя*» (170). Подобная формула просто бродит по летописи: «хочемъ же... *головы свое сложиши*» (427, под 1151 г.; 466—467, под 1153 г.), «*головы своя складаемъ*» (480, под 1155 г.), «*за тя головы свои съкладываемъ*» (605, под 1177 г.).

И иные рассказы «Жития», не только о Ледовом побоище, подтверждают ориентацию автора на «Киевскую летопись». Например, известная летописная повесть под 1185 г. о походе князя Игоря на половцев фразеологически раздробилась по разным местам «Жития». «Киевская летопись»: «*утерь слезь своих... и бысть скорбь и туга люта, яко же николи же не бывала...*» (645). «Житие»: «утерь слезы» (163), «*бысть же вопль, и кричание, и туга, яко же несть была*» (179). «Киевская летопись»: «*уполошась приезда ихъ*» (650). «Житие»: «*полошати... ркуще:... едет*» (174).

Еще одно соответствие элементов повествования. «Киевская летопись» под 1152 г.: «пригна ему *посоль от короля... молвить: “Се уже сде...”* ...Изяславъ же то *слышавъ...*» (447). «Житие»: «*король... посла слы своя... глаголя: “...се есмь уже zde...”* ...Александръ же, *слышавъ* словеса сии...» (162).

Многочисленные одиночные фразеологические элементы, повторяющиеся в «Киевской летописи», использовал автор «Жития» то тут, то там. Например, «Киевская летопись»: «*онемъ же пакостящимъся*»

(404, под 1150 г.), «начаша пакостити» (526, под 1167 г.), «всяко пакостити» (541, под 1170 г.). Соответственно «Житие»: «начаша пакостити волости Александрове» (173). Так же многократно в «Киевской летописи» повторялись фразы о восходе солнца и о воздевании рук на небо, и сходные выражения попали в «Житие».

Мы далеко не исчерпали всех фактов фразеологического влияния «Киевской летописи» на «Житие Александра Невского»: оно, быть может, было более значительным, чем галицкое влияние, особенно в воинских эпизодах «Жития».

Обнаруживается еще один, уже не чисто южнорусский и притом совсем неизученный источник «Жития», — северо-восточное летописание, представленное «Лаврентьевской летописью». Рассмотрим летописные статьи в хронологическом порядке, начиная с «Повести временных лет», и рассказ «Жития» о Ледовом побоище. Под 1019 г. летопись рассказывает о битве: «Ярославъ... въздевъ руце на небо, рече: "...Брата моя! ...помозета ми...". И се ему рекшю, поидоша противу собе, и покрыша поле Летское обои отъ множества вой. Бе же пятокъ тогда, възходящю солнцю, и сступишася обои, бысть сеча зла... яко по удольемь крови тещи»⁹. «Житие»: «и поидоша противу себе, и покрыша озеро Чюдское обои от множества вои... Князь же Александръ, въздевъ руце на небо, и рече: "... помозе ми, Господи...". Бе же тогда субота, възходящю солнцю, и сступишася обои, и бысть сеча зла... яко же покры бо ся кровию» (170—171). Не трудно убедиться, что приведенный отрывок из «Жития» содержит гораздо больше элементов сходства со статьей под 1019 г. «Лаврентьевской летописи», чем со статьями «Киевской летописи» под 1149, 1174, 1178—1179 гг. и с «Повестью временных лет» под 1111 г. по «Ипатьевской летописи» (ср. выше). Та же статья под 1019 г. есть и в «Ипатьевской летописи», но она отличается мелкими разночтениями от статьи в «Лаврентьевской летописи», а «Житие» оказывается, пожалуй, ближе к тексту лаврентьевскому: в частности, в «Лаврентьевской летописи» и в относящихся к ней списках, а также в «Житии», сказано, что «сступишася обои»; в «Ипатьевской летописи» же и в относящихся к ней списках явно искажено — «совокупишася обои». Так что в данном отрывке «Житие», вероятно, восходило к «Повести временных лет» в северо-восточном летописании (или Владимирском своде) XII в.¹⁰

Перейдем к последующим воинским статьям «Лаврентьевской летописи», то есть северо-восточного летописания XII в., отразивше-

гося в рассказе о Ледовом побоище в «Житии». Под 1149 г. «Лаврентьевская летопись»: «Яко солнцю заходящую, сступишиася обои, и бысть сеча зла» (306); «Житие»: «въсходящую солнцю, и съступишиася обои, и бысть сеча зла» (171). «Лаврентьевская летопись»: «похвалу ему даша велику» (308); «Житие»: «подающе хвалу» (172). На этот раз тоже можно говорить о фразеологической зависимости «Жития» от большего числа элементов владимирского летописного изложения, хотя и не от конкретного летописного эпизода.

Далее сходство наблюдается между «Лаврентьевской летописью» под 1176 г. и опять-таки рассказом о Ледовом побоище в «Житии». «Лаврентьевская летопись»: «Богови паки помагающую ему и оправившую предо всеми человеки. Михалко... поеха въ Володимеръ с честью и с славою великою... вѣдущимъ предъ нимъ колодники... Выидоша со кресты противу Михалку и брату его Всеволоду игумени и попове и вси людье» (357). «Житие»: «победи я помощию Божию... Зде же прослави Богъ Александра пред всеми полкы... и возвратися князь Александръ с победою славною. И... полоненых... вѣдахуть... И яко же приближися... игумени же и попове и весь народ сретоша и предъ градомъ съ кресты» (171—172). И еще соответствия обнаруживаются по ходу летописного изложения. «Лаврентьевская летопись»: «головы свое положимъ... за тые князи... Се бо володимерци прославлени Богомъ по всей земли» (359). «Житие»: «ныне приспе время нам положити главы своя за тя» (170; «и нача слыти имя его по всемъ странамъ» (173). Автор «Жития», видимо, припоминал целые блоки владимирского летописного повествования, а не только отдельные выражения.

Сравним еще одну летописную статью с «Житием». «Лаврентьевская летопись» под 1177 г.: «узреша чюдную мать Божью Володимерскую... аки на воздусе стоящъ» (361); «Житие» о Ледовом побоище: «яко видех полкъ Божий на въздусе» (171). Соответствия продолжают. «Лаврентьевская летопись»: «поидоша к собе на грунахъ обои и покрывша поле Юрьевское... поведоша колодники... и наказаль по достоянью рукою благовернаго князя Всеволода...» (362—363); «Житие»: «поидоша противу себе и покрывша озеро Чюдское обои...» (170); «полоненых... вѣдахуть... свободи градъ Псков от иноязычникъ рукою Александровою» (172). Есть еще некоторые соответствия, но и так ясно, что автор «Жития» в рассказе о Ледовом побоище больше использовал фразеологию владимирских воинских рассказов, чем киевских. В частности, сообщения «Жития» о том, что войска покрыли озеро, что на

воздухе был виден полк Божий в помощь Александру, которого Бог прославил перед всеми и которого встретили с крестами, — все эти детали восходят к северо-восточным летописным воинским рассказам, а не киевским. Правда, многие соответствия встречаются в обеих летописях (летописцы читали друг друга), а единичные соответствия попадают только в «Киевской летописи», вроде выражения «даша плеща». В целом же, рассказ о Ледовом побоище в «Житии» — фразеологически сборный из разных воинских сочинений, но за основу автор взял повествование Владимирского свода.

Тесную связь остального текста «Жития», уже помимо рассказа о Ледовом побоище, с северо-восточным летописанием раскрывают некоторые летописные статьи, из которых особенно обильно автор «Жития» почерпнул довольно специфические выражения. Например, небольшая статья под 1125 г., содержащая некролог Владимиру Мономаху, пользовалась особым вниманием автора «Жития» — последуем за ее изложением. Летопись: «*прослувыи в победахъ, его имене трепетаху вся страны, и по всемъ землямъ изиде слухъ его*» (279); «Житие»: «*И нача слыти имя его по всемъ странамъ*» (173); «*промчеша вестъ его*» (174). Немного далее в летописной статье следует фраза: «*Вся бо зломысли его вда Богъ подъ руце его*» (279); «Житие»: «*сего дастъ ему Богъ в руце его*» (171—172). Последующие фразы в летописной статье: «*добро творяше врагомъ своимъ, отпуцаше я одарены, милостивъ же бяше паче меры*» (279); «Житие»: «*а инех помиловавъ, отпусти, бе бо милостивъ паче меры*» (169). Еще немного дальше в летописном тексте: «*сродникома своима, к святыма мученикома Борису и Глебу*» (280); «Житие»: «*святая мученика Бориса и Глебъ... сроднику своему князю Александру*» (165). Летопись: «*Жалостивъ же бяше*» (280); «Житие»: «*Жалостно же бе...*» (163). Затем фраза в летописной статье: «*в церковь внидываетъ, и слыша пенье, и абье слезы испущаше, и тако молбы... со слезами воспущаше...*» (280); «Житие»: «*слышав словеса сии... вниде в церковь... нача молитися съ слезами*» (162). Потом следуют еще соответствия. Летопись: «*Богъ... исполни лета его в доброденстве*» (280); «Житие»: «*удолжи Богъ лет ему*» (175). Редкий эпитет повторяет «Житие». Летописная статья: «*у милое церкви*» (280); «Житие»: «*милаго Александра*» (164), — этот эпитет гораздо раньше был употреблен во владимирском летописании, чем в галицком¹¹. В конце летописной статьи: «*укрепивъся Божьею помощью, не жда иного помощи ни брата, ни другаго*» (281);

«Житие»: «нача крепити дружину свою... не съждався съ многою силою своею» (163). И, наконец, заключительная фраза: «победи... и тако воротися князь Ярополкъ, хваля и славя Бога» (281); «Житие»: «Князь же Александръ возвратися с победою, хваля и славя своего Творца» (168). Влияние этой летописной статьи 1125 г. на повествование автора «Жития» несомненно.

Автор «Жития» был начитан и в более позднем, уже владимироростовском летописании XIII в. (оно тоже представлено «Лаврентьевской летописью»). Вот, например, статья под 1230 г.: Летопись: «потрясеся земля... дивнаго того чудесе» (431); «Житие»: «яко и земли потрясися... чудо дивно» (179). Далее летопись: «тако слышомъ у самовидецъ» (432); «Житие»: «се же слышах от самовидца» (171). И вот еще какое соответствие. Летопись: «солнце нача погыбати... людемъ всемъ отчаявшимся своего житья, мняще уже кончину сущю» (432); «Житие»: «зайде солнце... и вси людие глаголаху: “Уже погыбаемъ”» (178). Автор «Жития» в данном случае вольно использовал фразеологию летописного рассказа для своих тем, не схожих с летописными.

Сравнительно с последующей статьей под 1237 г. в «Житии» заметна та же временами вольная передача летописных выражений. Опять посмотрим по ходу статьи. Летопись: «оть Всточные страны» (437); «Житие»: «на Всточней стране» (173). Летопись: «почаша воевати Рязанскую землю, и пленаваху... попленивше...» (437); «Житие»: «посла... повоевати землю Суждальскую. По пленении же...» (174—175). Летопись: «молящюся со слезами» (442); «Житие»: «нача молитися со слезами» (162). Летопись: «нудиша... быти въ ихъ воли и воевати с ними» (442); «Житие»: «нужда... веляще с собою воинствовати» (177). Летопись: «звезду светоносну зашедю» (443); «Житие»: «зайде солнце» (178), — оба выражения имеют в виду умерших князей. Летопись: «Се бо и чудно бысть... вложиша ю в гробъ к своему телу» (444); «Житие»: «Бысть же тогда чудо дивно... положено бысть святое тело его в раку... да вложат ему...» (179). И последнее, больше смысловое, чем фразеологическое соответствие. Летопись: «тотъ никако же у иного князя можаше быти за любовь его» (444); «Житие»: «добра господина не мощно оставити» (178). Судя по соответствиям, изложение в «Житии» могло быть навеяно этой летописной статьей не индивидуально, а вкпе со всем северо-восточным летописным повествованием XII—XIII вв.

Общая картина ясна: автор «Жития», во-первых, пользовался не только простой россыпью привычных летописных выражений (владимирских, киевских, галицких), но иногда и фразеологическим составом конкретных летописных отрывков, а в отдельных случаях и целых рассказов; во-вторых, автор «Жития» использовал вперемешку фразеологию множества иных источников (см. известные работы В. П. Мансикки и Н. И. Серебрянского о «Житии»), то есть создавал очень «густое», солидное повествование, отнюдь не пышно-риторическое.

Сборность авторского повествования привела к массе фразеологических повторов в «Житии», к невольному выделению в рассказах чего-то благопристойно однотипного. Так, с начала «Жития» из эпизода в эпизод у автора переходят упоминания о силе: «сила же бе его часть от *силы* Самсоня... Възврати к граду *силу* ихъ... некто *силенъ* от Западныя страны... събра *силу* велику... подвижеса в *силе* тяжце... в не *силах* Богъ... съ мноюю *силою* своею... уведав *силу* ратных... подивихася *силе* его... в велице *силе*... яко же... *силнии*... царь *силенъ*... в *силе* велице» (160—174) и т. д. Повторяются упоминания и о руках: «*рукы* дрѣжаща... от *руку* его... имемъ его *рукама*... воздевь *руце*... в *руце* его... *рукою* Александровою... *рукама* изыма... распростеръ *руку*» и пр. (165—170). Повторяются упоминания о сердце («разгореса *сердцемъ*», «не имея страха в *сердцы* своем», «*сердца* ихъ акы *сердца* лвомъ», «урвется *сердце*» — 162—177), но особенно часто — о слышании вестей персонажами и самим автором. Повторы обычны даже внутри небольших эпизодов; например: «*святое крещение*... въ *святемъ крещении*... видети видение *страшно*... слыша шумъ *страшень*... отъиде от *очию* его... радостныма *очима* исповеда...» (164—166). Однотипные эпизоды, конечно же, излагаются фразеологически однотипно: и король «пыхая *духомъ ратнымъ*» (162), и «мужи Александровы исполнишася *духом ратнымъ*» (170) и т. п. Все это результаты пунктуальной приверженности суховатого и «бюрократичного» автора «Жития» к авторитетным формулам и приличествующим выражениям¹².

«Житие Александра Невского» позволяет предположить, что довольно рано, с конца XIII в., новый тип уже традиционно-комбинаторного, компилятивно-фразеологического словесного творчества пришел на смену прошлому первооткрывательскому, яркому архаическому творчеству.

Примечания

¹ *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 61.

² *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1989. С. 210—220.

³ Там же. С. 208, 214.

⁴ «Житие Александра Невского» // *Бегунов Ю. К.* Указ. соч. С. 171. Далее страницы приводятся в скобках.

⁵ «Галицкая летопись» // ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785. Далее столбцы приводятся в скобках.

⁶ «История Иудейской войны» Иосифа Флавия // *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 300.

⁷ «Киевская летопись» // ПСРЛ. Т. 2. Стб. 576. Далее столбцы указываются в скобках.

⁸ См.: *Лихачева О. П.* Летопись Ипатьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1. С. 237.

⁹ Летопись по Лаврентьевскому списку. 3-е изд. / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. СПб., 1897. С. 140—141. Далее страницы указываю в скобках.

¹⁰ См. схему происхождения «Лаврентьевской летописи»: *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 58.

¹¹ *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 213.

¹² Ср.: *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 278—285.

ПАРНЫЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ КАК ЭКСПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО В ДРЕВНЕРУССКИХ ВОИНСКИХ ПОВЕСТЯХ XV В.

Речь пойдет лишь об одном, притом совсем мелком, экспрессивном средстве — о парах синонимических или близких по смыслу слов или выражений. Парные (или бинарные, по терминологии Д. С. Лихачева) сочетания изобилуют уже в Библии, особенно в Псалтыри, но в древнерусских произведениях встречаются лишь эпизодически. Расцвет, то есть густота употребления, парных сочетаний, по нашим наблюдениям, приходится на XV в., притом преимущественно в воинских повестях. Почему так? Надо бы уделить внимание этому явлению (тем более что А. С. Орлов, обозревший воинские формулы, такую мелочь вправе был презреть). Но именно с мелочей начинается литература. Мы занимаемся парными сочетаниями, потому что они принадлежат к минимальным выразительным средствам и в своей массе образуют первоначальную художественную основу произведения.

Частое употребление парных сочетаний стало характерным для повестей XV в. на татаро-монгольскую тему. Множество парных словосочетаний содержится в «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Сказании о Мамаевом побоище» и в «Повести о нашествии Тохтамыша».

При анализе смысла парных синонимичных сочетаний мы будем опираться на текст «Софийской первой летописи», как на характерное воплощение литературных вкусов XV в.

Но с одним исключением: «**Повести о разорении Рязани Батыем**» в летописях XV в. как раз нет. Но в нашем распоряжении есть текст этой повести в составе сборника XVI в. Из него и станем исходить.

Парными сочетаниями автор «Повести о разорении Рязани» подчеркивал, как правило, трагичность описываемых событий. Например: князь Ингварь Ингоревич в своем горе дошел до «великого *кричания и вопля* страшнаго»¹. Такое парное словосочетание выражало крайнюю степень горя князя, «лежаща на земли, яко мертвь». Парными словосочетаниями автор говорил о трагичной судьбе рязанского войска: «нача-

ша битися крепко и мужествоно ... крепко и мужествоно бяшесе ... храбро и мужествоно бяшесе ... удалцы и резвецы резанския ... умроша и едину чашу смертнующу пиша» (188); «удалцы и резвецы ... снегом и ледом померзоша ... снедаема ... разъстерзаемо ... заидосте ... отошли ... изгибли ... зашли ... смерти ... погибели» (194, 196). Парные словосочетания присутствовали в описании опустошенной Рязани: «узорочие нарочитое, богатство резанское ... поимаеша; ... несть бо ту ни стонуща, ни плачуща» (190). Парными сочетаниями автор обозначил отчаяние Руси: «Бысть убо тогда мнози туги и скорби, и слез и въздыхания, и страха и трепета» (196). К парным словосочетаниям автор прибегал также при описании борьбы с татарами: «Батый лстив бо и немилосердь ... и яряся, хваляся ... лукав естъ и немилостивъ ... възярися и огорчися...» (184, 186); «бысть сеча зла и ужасна; ... Батыеве бо и силе велице и тяжце» (168); «татарове же сташа, яко пьяны или неистовы» (190). И т. д. и т. п. В «Повести о разорении Рязани» парные сочетания вносили исключительную напряженность в повествование. Недаром второй член пары обычно был сильнее первого члена. Ср.: «*ни един* от них возвратися вспять, *вси вкупе* мертвии лежаща» (188); «*кричаше* велми и *рыдаше* ... в перьси свои руками *биюще* и *ударящесе* о земля» (194) и т. п.

Автор хотел побудить читателей к скорбным переживаниям: «Кто бо не восплачетца толика погибели, или хто не възрыдает ... или хто не пожалит ... или хто не постонет...?» (194). К жалостивости понуждали читателей эмоции русских персонажей повести: «воскрича в горести душа своя» (190); «жалостно възкричаша ... кричаше велми и рыдаше ... плачаша безпрестано ... възкрича горько велием гласом ... жалостно вещающе» (194); «поплачете со мною... Бысть тогда мнози туги, и скорби, и слез, и въздыхания, и страха, и трепета» (196); «и плакася ... на долъг час» (198). Печаль должен был поддержать обращенный к читателям рефрен: «Сие бо наведе Богъ грех ради наших» (188, 190, 194). И растерянное вопрошание: «Како нареку день той, или како възпишу его?» (196).

Видимо, в XV в. произошла перемена в отношениях общества к татаро-монгольскому нашествию: потрясение и ужас в момент событий перешли в печальные воспоминания о трагедии полуторавековой давности.

Обратимся к другим памятникам. «Повесть о Темир-Аксаке», «Сказание о Мамаевом побоище» и «Повесть о нашествии Тохтамыша» мы

рассмотрим по «Софийской первой летописи», то есть в их официальном виде XV в.

Парные словосочетания в «**Повести о Темир-Аксаке**» вполне традиционны, но в начале повести объединены в усилительные блоки, своеобразные объявления. Так, Темир-Аксак «много брани въздвиже, многи сечи показа ... многы страны и земли повоева, многи области и языки плени, многи царства и княженья покори ... хотя взяти ... попленити ... разорити ... искоренити ... томити и мучити, и печи и жещи ... велми нежалостивъ и зело немилостивъ ... мучитель ... томитель» и пр.² В XV в. появилась возможность открыто клеймить татаро-монголов.

В «**Сказании о Мамаевом побоище**» парные сочетания были менее распространены. На первый план выдвинулись иные риторические средства. Изменилось и основное содержание парных сочетаний. Они сгруппировались вокруг трех главных персонажей — Дмитрия Донского, Мамаю и русского народа. Парные сочетания образовали похвалы великому князю Дмитрию Ивановичу: «О, крепкыя и твердыя дерзости мужьства! О, како не убоися, ни усумнеся ... не убоися, никако же не устрашися ... въоружився и укрепися ... изрядивъ полкы ... со всеми ратми»³; «напередъ всехъ и передъ всеми главу свою сложити ... имени его бояхуся и трепетаху» (96); «одолевъ ратныхъ, победивъ врагы своя» (97).

По отношению к Мамаю парные сочетания удлинились в тройные и даже четверные сочетания и составили обличения врага и проклятья: «пойдемъ противу сего окааннаго, и безбожнаго, и нечестиваго, и темнаго сыроядца Мамаю... Мамай же ... възбуявся, и възгордеса, и гневаяся» (91); «възъярися..., и смутися..., и распалися лютою яростию, и наполнися ... гневомъ» (93); «Мамай ... виде себе бита, и побежена, и посрамлена, и поругана» (97) и пр.

Что же касается русского войска, то они проходят путь от горя («и бысть ... туга велика, и плачь горекъ, и гласъ рыдания» — 93) до победы («биюще и секуще поганыхъ... и полониша богатства много и вся имения ихъ» — 95).

Парные и более длинные сочетания в «Сказании» уже не были пронизаны живым чувством автора, а выразили стремление автора (или редактора) к риторичности повествования. Недаром автор вопрошал: «Что намъ рещи или глаголати..?» (95). Автор торжественно заверил читателей в окончательности победы над Мамаем: «Но хотя человеколюбивый Богъ спасти и свободити родъ человеческый християнскый

... оть поганого Мамаю...» (90); «убиень убо бысть — тако конець безбожному Мамаю» (97). «Сказания о Мамаевом побоище» предложило читателям уже общую оценку Куликовской битвы: «оть начала миру такова не бывала сила русьскихъ князей» (91); «оть начала миру не бывала сеча такова великимъ княземъ русьскимъ (94). И автор написал о ней еще не все: «здесе не все писахъ ... не писахъ множества ради именъ» (96).

Наконец, «**Повесть о нашествии Тохтамышя**», хоть и испытала влияние «Повести о разорении Рязани», тем не менее резко отличалась от других повестей от татаро-монголах. Иным стал смысл парных сочетаний, снова многочисленных в тексте повести (в «Софийской первой летописи»). Во-первых, в парных сочетаниях выделился мотив материального ущерба от Тохтамышева нашествия: «волости и села воююще и жгуще»⁴; «святыя иконы повержены, на земли лежаща; и кресты честныя ... ободраны и обоиманы; ... крестиянь ... лупяще, избоживше ... многа съкровища скоро истощища и ... богатство ... имение быстрообразно разнесоша» (101—102) и т. п.

Во-вторых, парные сочетания, как ни странно, содержали похвалы военному искусству татар: «ведяше бо рать ... со умением и ... злохитриемъ» (98); «обзирающе и разсмотряюще приступовъ ... зряще на градъ; ... улучно, безъ прогехи стреляху» (100).

В-третьих, парными сочетаниями автор охарактеризовал москвичей отрицательно и с досадой: «бывши же промежи ими неодиначеству и неимовьству ... мятежници, крамолници; ... не стыдешася ... не усрамишася» (99); «пияни суще и шатаахуся ... укоризны и хулы кидаху...» (100); «ослепи бо ихъ ... и омрачи ... бегающе по улицамъ ... рыщуще толпами ... оскуде князь и воеводы ихъ и все воинство ихъ потребися» (101); «срамъ и посмехъ оть поганыхъ християномъ» (102).

Переменились акценты в парных сочетаниях. Не просто потому, что автор осуждал москвичей за глупую сдачу Москвы Тохтамышю. Материальную состоятельность («что же изорчемъ о казне великого князя?» — 101) и военную организованность, вероятно, стал ценить автор теперь.

Итак, даже на примере парных сочетаний видно, что XV в. отличился разнообразием новых подходов к татаро-монгольской теме: от печали — к ярости, от толкования исторической значимости событий — к практическим выводам. Вот даже на маленьком литературном средстве мы наблюдаем проявление эмоциональной свободы в памятниках XV в.

Примечания

¹ «Повесть о разорении Рязани Батыем» цитируется по кн.: Памятники литературы Древней Руси: XIII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1981. С. 194. Далее страницы указываются в скобках.

² «Повесть о Темир-Аксаке» цитируется по кн.: ПСРЛ. СПб., 1851. Т. 5. С. 247—248.

³ «Побоище великого князя Дмитрия Ивановича на Дону съ Мамаемъ» цитируется по кн.: ПСРЛ. СПб., 1853. Т. 6. С. 94. Далее страницы указываются в скобках.

⁴ «О московскомъ взятии отъ царя Тактамыша и о пленении земля Рысьскыя» цитируется по кн.: ПСРЛ. Т. 6. С. 99. Далее страницы указываются в скобках.

О СЛАБОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СРЕДСТВАХ («Житие Стефана Пермского», «Домострой», «История» Палицына)

«Житие Стефана Пермского»

Есть в «Житии Стефана Пермского» сторона мало исследованная. После работ Д. С. Лихачева о «невыразимости» слова и абстрактном психологизме Епифания Премудрого ученые занимались в основном стилистико-философическими взглядами этого писателя (О. Ф. Коновалова, В. А. Грихин, М. Ф. Антонова, Р. Пиккио, А. М. Ранчин, С. В. Коломейченко и др.) или же проблемами текстологическими (в особенности В. М. Кириллин и Б. М. Клосс). Но собственно изобразительность как литературная черта «Жития Стефана Пермского» все-таки осталась в стороне от наблюдений. О некоторых (только некоторых), притом самых «эмбриональных», изобразительных средствах у Епифания и скажем. Мы не будем учитывать библейские цитаты и совершенно шаблонные выражения, а избранные изобразительные средства распределим по их ассоциативному смыслу.

Первое скрытое изобразительное средство у Епифания — перечисление, дающее пространственный результат. Так, обращает на себя внимание в «Житии» большое предметное перечисление про повсеместную «ловлю и все, елико въ водахъ, и елико на воздухе, и елико въ блатахъ, и въ дубравахъ, и въ борехъ, и въ лузехъ, и въ порослехъ, и в чашахъ, и въ березнике, и въ соснях, и въ ельнике, и въ рамене (темнолесье), и въ прочихъ лесехъ; и все едино на древесехъ: белки, или соболи, или куници, или рыси, и прочая ловля...»¹ Епифаний не просто логически подчеркнул, но и пространственно обозначил обширную лесистость, природное богатство Пермской земли, плотно заполненную зверями. Каждый вид леса скрыто ассоциировался у Епифания с неким пространством, которое лес занимает (ср.: «и самъ *по лесу обходя* безъ лености» — 136); виды же леса как бы соседствовали сплошь друг

с другом (то косвенно подразумевала сама форма предметного перечисления). Так же и пермские лесные звери подразумевались как бы рядом друг с другом («*все едино*») обитающими «на древесехъ». А потом они же образовывали кучу: «или соболи, или куницы, или горностаи, или ласици, или бобры, или лисици, или медведна, или рыси, или белки, — то все *събравъ въ едину кучу*» (136).

Иные предметные перечисления в «Житии» тоже подразумевали сплошное бок о бок объединение объектов в пространственное целое. Например: «*собрася на провожение* его много множество народа: князи, боляре, игумени, попове и гражаньстии людие и прочии человеци» (159); «*собравшеся* мнози, и отъ нихъ овии суть волсви, а друзии кудесници, инии же чаротворцы и прочии старци ихъ» (134); «на небесехъ ... идеже суть ... *собори* праведныхъ, иже сути се: отци, праотци, патриарси, пророци, апостоли, евангелисти...» и т. д. и т. д. (168).

В общем, изобразительность отрывка о пермских лесах и населяющих их лесных зверях, конечно, была слабой из-за слабой выраженности пространственных ассоциаций Епифанием в данном случае, да и в аналогичных перечислениях тоже.

Так, например, Пермская земля плотно окружена соседями: «...языци обседять ю, съживущии въ суседехъ *около ея*. А се имена местомъ, и странамъ, и землямъ, и иноязычникомъ, живущимъ *вкругъ Перми*: двиняне, устьюжане, вылежане, вычегжане, пинежане, южене, сырьяне...» и т. д., — перечень очень длинный. Это не только «имена», но и обширный пространственный пояс вокруг Пермской земли, ср. завершение приведенного перечня окружающих этносов: «Река же едина, ей же имя Вымь, си *обходящая всю землю Пермскую*» (123). Правда, сама пространственная картина окруженности Пермской земли здесь намечена совсем слабо; это больше традиционное географическое перечисление.

Второе малозаметное изобразительное средство в «Житии Стефана» выявляется благодаря предметным деталям «короткой длины». Стефан оказывается в сжатом кольце, «въ толикахъ теснотахъ» (139) от оружия нападающих: «оставиша его *обополы вкругъ около его съ ослопы* (палицами)» (128); «*аки лики* (круг людей), *ставшие окрестъ его* ... напрягоша *луки* свои и зело натянувше *я на него*» (131); «единаче съ *дрекколиемъ*, друзии же отъ нихъ мнози похващашу *топоры* обь одну страну остры въ рукахъ ихъ, *объступиша же его отвсюду*, и напрасно остриемъ *топоровъ* своихъ хотяху ссещи его ... и *окруживше его, и сташа окрестъ его, и секирами* своими махашуся на нь», — вот-вот заденут.

Третье изобразительное средство у Епифания относится к ассоциативно иным качествам объектов. Пермская земля наполнена идолами, напоминающими мертвецов: «древо суще бездушно ... уста имуть — и не глаголють; уши имуть — и не слышатъ; очи имуть — и не узрятъ; ноздри имуть — и не обоняють; руже имуть — и не осязаютъ; нозе имуть — и не пойдуть, и не ходятъ, и не ступаютъ ни съ места; и не възгласятъ грьтанми своими; ... ни жрътвь приносимыхъ приимають, ни пияють, ни ядятъ» (133). Главным был традиционный смысл «деревянности» идолов, но дополнительная ассоциация их «мертвости», возможно, тут тоже присутствовала у Епифания (ср. об умершем Стефане: «устне его молчаниемъ затвористася, уста его не глаголють ... гласъ его умолче, языкъ его преста глаголати» — 162).

Выделим еще четвертое изобразительное средство в «Житии Стефана Пермского» — упоминания лица и рук. Лицо, судя по контексту, обычно ассоциировалось у Епифания с прямым, пристальным взглядом персонажей на что-то или на кого-то: персонаж как бы неотрывно смотрит на цель («пойде, дръзновениемъ многимъ устремися ко шествию ... *утверди лице* свое въ землю Пермскую, яко бе *лице* его *грядый къ* преже реченей земле» — 127); или на персонажа смотрят в упор («*прямо* ... стреляти его жадаху, ... страстотерпецъ никако же убо *яся отъ лица* нападающихъ на нь» — 131; «*предъ* многими *послухы* ... изиди убо *отъ лица* нашего ... и идяше *отъ лица събору*» — 146; «стати *предо мною*, ... *предъ лицемъ* моимъ» — 140). Конечно, это был лишь изобразительный оттенок, местами возникавший в повествовании Епифания, обозначавший целеустремленность или же противостояние персонажей.

Столь же распространенное упоминание рук сводилось у Епифания к подразумеванию позы человека («*прострохъ* ... свою *руку* ... *писа*ти» — 120; «въ *рукахъ* змеа *возмутъ*» — 126; «*шмиешь за руже* ... *вкуп*е» — 143; «*рукою явъ* за ризу влхва и крепко *сожемъ*» — 144; «*руце* свои *распростеръ* и *выспръ въздевъ*, образъ себе показуя яко *крестообразно*» — 170 и пр.).

Есть еще пятое изобразительное средство в «Житии Стефана», тоже скрытое, — сочетание предметного глагола, причастия или отглагольного существительного (в прямом или переносном значении) с отвлеченным существительным. В таких сочетаниях глагол скрыто, почти незаметно, но особенно часто ассоциировался, как можно предположить, с действиями рук: *ли*стать («*разъгбениемъ* божественныхъ *писа*ти» — 170 и пр.).

ний» — 121; «писмена ... *разгыбающихъ*» — 171); плести («*плести хвалу*» — 167; «*плести слова*» — 167, 169); хватать («*прихватити хощеши своими ухищрениемъ*» — 141); держать («яко же от мене приасте, тако и *держите*»); поднять («колико томление *подъяхъ*» — 158); тянуть («*влекомъ* бе лукавнымъ своимъ обычаемъ» — 146); нести («*износя слова отъ божественныхъ писаний*» — 127); пускать («хулныя глаголы *въспущая*» — 140); кидать («прозвища ти *кидаху*» — 161) и т. п. Действие приобретало предметный оттенок.

Не менее часто глагол смутно ассоциировался с движением ног («*сниду* во исление» — 144; «от тела *отъиде*, къ Господу *прейде*, *бежавъ* от житийскаго многомутнаго моря» — 159; «въ глубокъ *плачь входяще*» — 164; и пр.).

Чем объяснить подобную приверженность Епифания к предметному и даже в той или иной степени изобразительному повествованию? Предполагаемых индивидуальных причин, вероятно, было сразу несколько. Некоторым изобразительным даром Епифаний, по-видимому, обладал, но литературных традиций не нарушал, а трудолюбиво продолжил их более предметными вариантами. В этом деле, опять-таки возможно, помогла ему дружба с «изографом» Феофаном Греком, хотя не известно, когда было написано «Житие» — до знакомства с Феофаном или после. Наконец, могла повлиять сама тема «Жития»: ведь Епифаний писал о диких язычниках, обращаемых в христианство, а такая история традиционно требовала «грубых» предметных деталей, как и было принято в рассказах о язычниках.

Сделанному нами выводу о традиционной основе скрытых изобразительных средств у Епифания как будто противоречит «Житие Сергия Радонежского», лет через 30—40 переработанное Пахомием Сербом (дошла только переработка). В отрывках первой половины «Жития Сергия Радонежского» не так уж редко попадаются выразительные, притом не совсем традиционные, редкие в литературе предметные детали, дающие живое обозначение целого объекта. Например, здоровенький младенец («*обзираху повсюду младенца, яко несть болно ... ни плакаше, ни стъняше, ни дряхловаше. Но и лице, и сердце, и очи весели, и всячьскы младенцу радостну сущу, яко и рущицами играше*»²).

Любопытно, что почти все такие экспрессивные предметные детали относятся к окружающему быту, к хозяйству, к природе в пустыни («*узкою и прискръбною тесною стъзеею ... приходити к ним ... все пусто, съ вся страны лесове*» — 340; «*вълци тяжции выюще, стадом*

происходить сюду» — 308; «келиам ... поставленным, ту же над ними и *древеса яко осеняющи ... шумяще* стояху» — 320; «в нощи ... токмо *лучиною* березовою или съсновою *светяху* себе» — 342; «от сукна *ризу* ношаше, ветошну же, и многошвену, и неомовену, и уруднену, и *многа пота испльнену* ... и заплаты имущу» — 352; и пр.). В каждом отрывке «Жития Сергия» автор довольствовался кратким указанием самых выразительных внешних признаков обстановки в целом.

Кто автор деталей? Скорее всего, Епифаний Премудрый. Ведь, по тщательному исследованию В. М. Кириллина, первая часть «Жития Сергия Радонежского» в дошедшем виде как раз и вышла «из-под руки Епифания Премудрого»³. Для ранее рассмотренного нами «Жития Стефана Пермского» Епифания подобная повествовательная манера менее характерна, хотя нетрадиционные выразительные детали здесь тоже встречаются (например: Стефан иступленно «кумиры скруши ... кумира преже *обухомъ въ лобъ ударяше*, ти потомъ топоромъ иссечашся на малыя поленца» — 136; «бысть слепъ влхвъ и *ходя оцупъ*» — 140). В послании Епифания к Кириллу Тверскому, написанном примерно в те же годы, как и «Житие Стефана», Епифаний тоже использовал меткие бытовые детали: суетливые «неции наши ... иконописцы ... *очима мещюще* семо и овамо ... нудяхуся на образ (образец) часто *взирающе*», а вот талантливый Феофан Грек не посматривал на образцы, «но ... пишущу рукама... *ногама же бес покоя стояше*, языком же беседа с *приходящими*»⁴. За 20 лет, от одного жития к другому, стиль Епифания, вероятно, больше выкристаллизовался соответственно с распространением хозяйственно-бытовых мотивов в литературе XV в.

И тем не менее добротная традиционная основа в отрывках (или эпизодах) первой половины «Жития Сергия Радонежского» тоже сохранилась: Епифаний здесь явно продолжил бытовые и хозяйственные мотивы «Жития Феодосия Печерского». Вклад Епифания в изобразительность его произведений нельзя отрицать. А в дальней исторической перспективе Епифаний Премудрый как мастер деталей оказался предтечей протопopa Аввакума.

«Домострой»

Идеи «Домостроя», как магнит, притягивали и притягивают внимание множества исследователей. Но уклонимся от проторенного пути — текстологии и идеологии памятника — к его повествователь-

ному стилю. Стилистикой «Домостроя» занимались единичные ученые (немного — А. С. Орлов; в наше время больше всех — В. В. Колесов, преимущественно языком произведения). Мы же попытаемся проанализировать общепризнанную, однако лишь оценочно, изобразительность «Домостроя» (Сильвестровской редакции).

Изобразительность эта однообразна. Типичный пример встречаем сразу, в третьей главке «Домостроя», «какъ ... касатися всякой святыни»: «крестъ ... образы ... мощи ... поцеловати ... губъ не разеваючи; ... губами не сверкати (не чмокать); ... зубами просфиры не кусати...; не чавкати; ... с кемъ ... поцеловатися, а губами не плюскати»⁵.

Изобразительность данного отрывка неотчетлива: речь идет о двух абстрактных типах персонажей — положительном и отрицательном — и о их действиях. Но эти действия предметны — видимы и слышимы. Так возникают картинки. Отрицательные персонажи приметны разными мелкими состояниями губ и рта (губы разевают, чмокают, чавкают, слюнявят). Положительные персонажи тоже пребывают в постоянных мелких, но хорошо видимых телесных действиях (ср.: «перекрестяся, поцеловати, духъ в себе удержавъ; ... приимати во уста опасно ... руце имети к перемь согбени крестаобразно; ... вкушати бережно, крохи на землю не уронити; ... хлебъ, уломываючи, невелики кусочки класти в рот ... со опасением ести ... воды прихлебывати ... со опасениемъ творити»).

Чаще всего автор «Домостроя» изображал мелкие суетливые действия осуждаемых персонажей (например: «в церькви ... никуда не обзираяся, ни на стену не прикланятися, ни к столпу ... ни с ноги на ногу не преступати» и т. д. — 82). Но такими же беспокойными в своих стараниях являлись и персонажи одобряемые (опять же примеры из многих: «платейце высушить, да вынять, и вытеретьъ, и выпяхать хорошенько, укласть, и упрятать» — 94). Нестабильными мыслились и разные домашние местечки, ведь могло быть всякое: «езде ества и питие ... не згнило, и не поплесневело, и прокисло; и везде подметено, и вытерто, и не намочено, и не налито, и не нагрязнено, и не насорено» (152).

Чем объяснить такую мелочность деталей? Будем кратки: всеобщей слежкой друг за другом. «Домострой» содержит множество указаний и предупреждений о том, что Бог свыше следит за людьми, домохозяин — за близкими и слугами, слуги — за хозяином, соседи — за соседями, посторонние — за посторонними, владелец — за вещами. «Домострой»

даже предостерегает от излишнего любопытства. Первая половина XVI в. — время интриг и подозрительности. Не хочется продолжать эту тему. Желающие найдут подтверждения.

«История» Авраамия Палицына

В данном случае нас интересуют мелкие начатки художественного повествования — самые минимальные, самые незаметные изобразительные средства — краткие иносказания. Их много в «Истории в память предидущим родом» Авраамия Палицына, особенно в первых шести главах произведения.

Повествовательным стилем Авраамия Палицына исследователи занимаются редко (в последнее время — М. А. Коротченко, Е. В. Логунова, О. А. Туфанова). Но богатейшее литературное творчество Палицына требует больших разысканий. Мы уделим внимание иносказаниям, обозначающим движение. Ввиду повествовательной однотипности начальных глав мы подробнее всего рассмотрим иносказания в первых трех главах «Истории». Материала для наблюдений более чем достаточно.

Прежде всего отметим, что Палицын местами пояснял смысл своих иносказаний, иногда сразу (например: «царю Феодору пременившу земное царство на небесное, — *преставися*»⁶; «сии к великому греху уклоняхуся, — *во грады... украинья отхождаху*» — 106); иногда пояснял, но не сразу («юношу отсылают ... в вечный покой ... *заколен бысть*» — 102; «много зла нанесе им ... *смерти предаде*» — 104); однако обычно Палицын выражался иносказательно без объяснений.

Так же пространственные ассоциации у глаголов движения Палицын не обозначал; тем не менее пространственный смысл глаголов в отдельных случаях вольно или невольно отражался в иносказательных фразах Палицына (например: «Димитриа Ивановича ... *отделишиа на Угльчъ ... да в своем пространьствии ... пребывает*» — 101; «силнии ... *далече отгоними бываху*» — 105; «слух ... *во всю Росию изыде*» — 1102; «в прекуп *высок воздвигоше цену*» — 109; «к старости *глубоцей уже преклонихся*» — 127).

Как видим, глаголы движения объекта к объекту в иносказаниях были разнообразны по пространственному смыслу. Многие глаголы ассоциировались с касанием одного объекта к другому («*коснухся делу сему*» — 128; «царю ... *дошедшу кончины лет*» — 101); касание то подразумевалось с каким-то поворотом к объекту («мнози тогда ко ...

идолослужению уклониться» — 106), то с прикосновением вплотную («да приложит ухо слышати» — 101; «безаконие к безаконию приложихом» — 105), то с движением как бы вниз («Бориса ... ко греху сего низводят» — 102).

И это далеко не все оттенки глаголов движения в иносказаниях Палицына. Они обозначили и движение вверх («мы ... гордостию возвышающеся» — 110; «в славе ... вознесся ... знаменит бе» — 101); и движение внутрь объекта («сицеваа во уши внести» — 103; «многих человек в неволю к себе введше ... в дамы своя притягнувше» — 107); и падение в объект («человецы во ужась впадоия» — 105; «в горшаа и злейшаа впадохом» — 110); и распространение вовне («на горшая и злейшая прострохояся» — 105); и отделение куда-то («изверзает ... от себе Феодора Никитича» — 101; «от полка агтельска отскачюще, в демоны прелагахуся» — 119) и т. д. и т. п.

Почему глаголы в иносказаниях у Палицына все-таки частично сохраняли свое пространственно-предметное значение? Причины, как мы предполагаем, заключались, с одной стороны, в старании Палицына рассказывать о событиях конкретно, предметно, выразительно, с метафорами, сравнениями, восклицаниями — «да незабвенна будут» (101), «на память нам и предъидущим родом, да не забвена будут» (129), «яко да незабвенна будут благодеяния Бога нашего и заступление пречистые Богоматере» и пр. (249): ведь память людская тоже неустойчива («вскоре хощет забытися» — 238; «человек тленен» — 113).

С другой же стороны, Палицыну, вероятно, помогло его крепкое пространственное мышление. Палицын постоянно подчеркивал развитие событий в пространстве, особенно в широком пространстве: «от конец до конец вся Росиа ... вся места по Росии» (101); «во всей Росии ... покрываеми бо велиции поля бываху многочисленным воинством» (116); «все пределы Росийския земли опровержены ... в пустошьство» (120); «распространяешся во вся страны» (101); «на край предел земли своя» (106); «в пределы дальние отсылаа» (103); «в селех далече от царствующего града» (108) и пр.

Небольшие пространства тоже были просторны: «надеющеся на пространство храма» (102); «от конца и до конца улиц» (112); «на градскаа пространаа места прешедше» (122).

Обозначал Палицын и связь явлений с высотой: «око, зрящее от превышних небес» (101); «овех з башен с высоких градных метаху, инея же з берегов крутых во глубину рек ... верзаху» (123). Иногда же Пали-

цын косвенно указывал на тесноту: «овеим рыбаи *утроба* вечный гроб бысть» (112); «нази, яко от *утробы* матерня исторгшеся» (116); «исторгше, яко от *пазуху* матерню» (123).

Аналогий по частоте пространственных обозначений у Палицына нам пока найти не удалось в сочинениях о Смуте ни до него, ни после него, ни в иных произведениях. Поэтому только предполагаем, что основательное пространственное мышление являлось индивидуальной чертой самого Авраамия Палицына как писателя.

Спрашивается, почему иносказания в начальных главах «Истории» Палицына были так насыщены глаголами движения объекта к объекту? Вообще иносказательность как экспрессивное средство стала типичной для высокопарной политической речи поздних сочинений о Смуте, к которым относится и «История» Палицына. Но чем объяснить явное пристрастие Палицына к иносказаниям именно с «двигательными» глаголами? Не трудно заметить, что почти все иносказания в «Истории» обозначают резкую перемену в состоянии персонажей или иных объектов. Палицын резче других авторов исходил из ощущения неустойчивости окружающей жизни («Москва сих ради измены всяко *колеблется*» — 129; «в недоумении вся *колеблются*» — 200; «*восколебахомся*, яко пьяными» — 212); эти перемены сотрясали людей и страну «внезапу», «вскоре», «абие», «во един час». Отсюда множество парадоксальных описаний смены хорошего на плохое в «Истории».

Массой слабоизобразительных средств древнерусские авторы XV—XVII вв. вольно или невольно уже ставили свое повествование на первую ступень художественности, столь ценимую нами сейчас.

Примечания

¹ «Житие Стефана Пермского» цитируется по кн.: Пам. СРЛ. СПб., 1862. Вып. 4 / Текст памятника подгот. Н. И. Костомаров. С. 141. Далее страницы указываются в скобках. По списку «Великих миней четьих» XVI в. ГИМ, Синодальное собрание, № 986.

² «Житие Сергия Радонежского» цитируется по кн.: ПЛДР: XIV — середина XV века / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981. С. 270. Далее страницы указываются в скобках.

³ Кириллин В. М. Епифаний Премудрый как агиограф преподобного Сергия Радонежского: проблема авторства // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1994. Сб. 7. Ч. 2. С. 264—275.

⁴ Послание Епифания Премудрого Кириллу Тверскому цитируется по кн.: ПЛДР: XIV — середина XV века / Текст памятника подгот. О. А. Белоброва. С. 444.

⁵ «Домострой» цитируется по кн.: ПЛДР: Середина XVI века / Текст и перевод памятника подгот. В. В. Колесов. М., 1985. С. 72. Далее страницы указываются в скобках.

⁶ Сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М., 1955. С. 103. Далее страницы указываются в скобках.

О ТИПЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА СОСТАВИТЕЛЕЙ «ПСКОВСКОЙ ВТОРОЙ ЛЕТОПИСИ»

Тип традиционного литературного творчества — самый мощный и долговременный на Руси. Поздние летописные произведения вполне заслуженно относятся к этому типу творчества.

Скажем об одной из таких летописей, отличающейся своеобразной манерой повествования, — о «Псковской второй летописи», составленной в 1486 г., дошедшей до нас в единственном списке конца XV в. и большей частью рассказывающей о военных стычках псковичей с соседями. Псковский летописец XV в. или даже XIV—XV вв. (так собирательно обозначим поколения неизвестных нам, но стилистически родственных составителей «Псковской второй летописи» и их предшественников) довольно однообразно писал о немцах, поляках, литовцах, да и о русских тоже. Все они как бы на одно лицо. Однако однообразие скрашивалось сравнительно новым лейтмотивом в летописном повествовании: летописец явственно чаще, чем обычно в летописях, упоминал чувства и настроения персонажей: то подчеркивал их злобу («тогда поганьи, възъярився и попухневъ лицом, прииде..., съкрежеща своими многоядьными зубы...» — 60, под 1480 г. ¹); то описывал горе людей («и бысть плач, и рыдание, и вопль великъ» — 26, под 1343 г.); то нагнетал страх («и бысть чюдо страшно: внезапно наиде туча страшна и грозна, и дождь силенъ, и гром страшен, и мльνια бес престани блистая, яко мнети уже всем от дождя потопленнымъ быти, али от грому камением побиенымъ быти, или от мльνια сожьженымъ» — 41, под 1426 г.).

Об этих чувствах скажем подробнее. Чаще всех упоминались отрицательные чувства, и больше всего событий летописец сопровождал гневом персонажей. Крупные нападения предпринимались во гневе или ярости: «и онъ грьдыи князь Витовтъ... възъярився, прииде к Ворона-

чу...» (40, под 1426 г.); «князь великий Иванъ Васильевич разгневался на Великий Новгород... прииде под Великий Новгород...» (57, под 1477 г.) и др. Князья у летописца вообще постоянно гневались: «псковичи отрекошяся князю Андрею Олгердовичю... и про то разгневался велми на пскович» (26, под 1349 г.); «и псковичи... того не восхотеша... и Витовти оттоле нача гневъ великъ дръжати на пскович» (38, под 1421 г.). Общаться с гневливыми князьями было тяжело: «и биша чолом, абы вины отдал и гнева на Псковъ не дръжалъ; он же съ яростию, гнева наполнився, ответъ даде...» (40, под 1424 г.); «не пусти их к собе на очи 3 дни, гневъ держа...» (52, под 1463 г.); «князь великий, яромъ окомъ възревъ, рече» (69, под 1486 г.); «с великою опалкою отвещал» (66, под 1485 г.) и пр. Власти покидали Псков неизменно во гнев: «И князь Александръ... разгневался на пскович и поеха к Новугороду» (24, под 1341 г.); «князь Андреи и Борисъ... скоро разгневавшеса, поехаша из града...» (61, под 1480 г.); «архиепископъ новгородскый Еуфимий... разгневався, поеха изо Пскова» (45, под 1435 г.) и т. д. Упоминания гнева, как видим, однообразны.

Другое чувство персонажей, которое считал нужным часто и тоже однообразно упоминать летописец, — горе от нападений и разорений: «и бе видети многымъ плач и рыдание» (60, под 1480 г.); «от многого недостатка и стеснения многу скорбь имеаху, плач и рыдание» (57, под 1477 г.); «и бысть... скорбь и печаль» (25, под 1341 г.); «и бяху тогда псковичи в велице скорби и печали» (60, под 1480 г.). Просьбы страдающих тоже сопровождалась горестными эмоциями: «А в то время при-тужно бяше велми изборяном, и прислаша гонецъ въ Псковъ съ многою тугою и печалью» (25, под 1341 г.); «и беху псковичи въ мнозе сетовании и в тузе» (61, под 1480 г.) и т. п.

Еще одно чувство, обязательно отмечаемое летописцем у персонажей — страх, обычно при бегстве, обычно у врагов: «поганымъ вложи страх въ сердца их и обрати я на бегъ» (25, под 1341 г.); «убоявся князя великого и побеже в Литву» (51, под 1460 г.); «немци убоявшеса и побегоша» (53, под 1463 г.). Страх парализует действия: «И, видевше, немци устрашишася, а псковичи, видевше немецъ, убояшася, и не съступишася на бои» (59, под 1480 г.); «не домышляющеса о семь, что сътворити, боящеса князя великого» (61, под 1480 г.) и пр. Стихийные явления, как уже можно было убедиться, летописец также сопровождал указаниями на страх; вот еще пример: «бысть туча темна и грозна... и гром страшен... и от блистания мльняи исполнися церковь

пламени, и чернцы вси падоша ниць от сътраха пламени того» (43, под 1432 г.).

Однако летописец нередко варьировал обозначения чувств и эмоциональных состояний, тоже почти всегда отрицательных у персонажей: «немилостиво имеа сердце» (42, под 1426 г.); «зли быша на ны» (24, под 1341 г.); «вложи бо диаволь въ сердца их... на пскович велику ненависть дръжаху» (33, под 1407 г.). Или: «прислаша своего посла... не с поклономъ, ни с чолобитьем, ни с молением, но з гордынею» (55, под 1471 г.); «и тако, гордяся, поиде к городу Пскову» (59, под 1480 г.) Бегство сопровождалось не только страхом, но и стыдом: «отбегоша немци съ многым студом и срамомъ» (23, под 1323 г.); бывал еще повод для стыда: «князь великий изополелся на Ярослава, и он вся грабленая и людеи со многымъ студомъ възврати» (56, под 1477 г.). Только в очень редких случаях летописец вспоминал о положительных чувствах персонажей: «посадники възвратишася с великою радостию» (68, под 1486 г.); «князь же Ольгердь съжаливьси и не остави мольбы и чолобитиа псковскаго» (24, под 1341 г.); «бысть знамение... от иконы святого Николы... и множество народа удивишася о преславномъ чудеси» (46, под 1440 г.).

Склонность летописца к упоминанию чувств у персонажей проявилась и при использовании им источников. «Псковская вторая летопись» была начата с пересказа отрывков из «Повести временных лет», и когда псковский летописец дошел до отказа Рогнеды стать женой Владимира Святославича, то вставил указание на чувство: «Володимиръ же, *възъярився*, иде ратью к Полтеску и уби Рогволода и два сына его, а дщерь его Рогнеду поя собе жене» (10, под 980 г.); в «Повести временных лет» же чувства Владимира никак не упоминались в этом эпизоде: «Володимеръ же, собра вои многи... поиде на Рогъволода... и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя жене»²; о ярости Владимира в «Повести временных лет» вообще не говорилось ни по каким поводам. После «Повести временных лет» псковский летописец поместил целиком «Житие Александра Невского» первой редакции и потом снова пересказал один из его эпизодов, но уже добавив указание на чувство, отсутствующее в «Житии»: «Князь Александръ... клятвою извеща псковичемъ, глаголя: “Аще кто и напоследи моих племенникъ прибежить кто *в печали* или так приедет к вамъ пожити, а не приимете, ни почъстете его акы князя, то будете окаанни и наречетася вторая жидова...”» (21, под 1242 г.); о приезжающих в печали не говорилось ни во внелетопис-

ном «Житии Александра Невского», ни в его полном тексте, вставленном во «Псковскую вторую летопись»: «И рече Александръ: “О невелики псковичи, аще сего забудете и до правнучать Александровых, и уподобитесь жидом...”» (14). После «Жития Александра Невского» в летописи следовала «Повесть о Довмонте», в последнюю фразу которой летописец снова добавил упоминание о печали: «Бысть же *печаль* и жалость велика тогда псковичемъ» (18); эта печаль отсутствовала в ранней редакции «Повести о Довмонте»: «бысть же тогда жалость велика во граде Пскове...»³. Еще раз была добавлена печаль в «Сказание о битве новгородцев с суздальцами», тоже вставленное во «Псковскую вторую летопись», но с такой концовкой: «...Христе боже наш, и нас избави от всякия *печали*, и беды, и напасти» (21, под 1169 г.); в первой редакции «Сказания» концовка иная: «Богу же нашему»⁴. В общем, псковский летописец, то менее, то более редактируя тексты, добавлял однообразные упоминания о ярости или печали персонажей.

Летописец однажды высказался так: «А еще и иного много бых писалъ бывшиа в тое розратие печали и скорби, но за умножение словес и не писано оставимъ» (25, под 1341 г.). Но это значит, что особого пристрастия к изображению чувств у летописца не было. И, действительно, он не упражнялся в разнообразии чувств, очень кратко, однотипно и вовсе не повсеместно отмечал их, притом упоминания чувств не всегда обозначали только эмоциональную реакцию, чаще — общую ситуацию. Например, «печали и скорби» обозначали несчастья вообще, в том числе материальные; «разгневаясь» означало и политическое отношение и т. д.

Чувства, в основном отрицательные, летописец упоминал для того, чтобы придать напряженность своему повествованию об опасностях и несчастьях, — вот что главное в его повествовательной манере. Поэтому перечисления чувств у него содержали вдобавок и преувеличения, обычно в виде сравнений и метафор, например: «Многу скорбь имеаху, плач и рыдание. И въсколебашася, аки пьяни» (57, под 1477 г.). Перечисления чувств нередко включали в себя и иные усилительные элементы, летописец пользовался выразительными деталями: «А Немецкая вся земля тогда бяше не въ опасе, без страха и без боязни погании живяху, *пива мнози варяху*» (62, под 1480 г.); прибегал к словесным повторам: «*немилостивно* каменемъ побиша... и тако *немилостивну* и лютую подьяша смерть» (59, под 1480 г.). Даже одиночные упоминания чувств сочетались с преувеличивающими определениями и сравнени-

ями: «наиде туча дождевая страшна зело, и падаше з дождем камение, акы яблока, а иное — аки яица» (38, под 1421 г.).

Перечисления чувств и упоминания единичных чувств служили лишь одним из способов придания трагедийной напряженности рассказам летописца. Тому же способствовали перечисления и вовсе не чувств, тоже с преувеличениями-сравнениями: «и наполнишася источницы, и реки, и езера, акы весне» (31, под 1405 г.); «привезоша множество ратного запаса, и хлебовъ, и пива, и вологи, акы на пиръ зовоми» (60, под 1480 г.) и др. Или же с усиливающими обобщениями: «много же бед в та лета претръпеша болезнями, и мором, и ратми, и всех настоящих золь...» (28, под 1370 г.); «и поидоша ко Пскову новгородци, корела, чюдъ, вожани, и тферичи, и москвичи, и просто рещи, съ всеи Руской земли» (39, под 1422 г.). Втянут был и счет в эмоциональное повествование: «Бысть моръ въ Пскове, яко же не бываль таковъ: где бо единому выкопали, ту и пятеро, и десятеро положишя» (29, под 1390 г.); «бысть чюдо преславно: явися на небеси 3 месяца» (65, под 1485 г.); «и в третии ряд стала река, и сварачало лед криньемъ великим, акы хоромы» (58, под 1478 г.); «а от скоту не оставиша ни куряти» (62, под 1480 г.); «множество людии, их же не мощно исчести» (59, под 1480 г.); иногда получалось что-то вроде рифмы: «воеваша... 5 днеи и 5 нощеи, не слазяще с конеи» (25, под 1343 г.). Напряжение вносили и постоянные упоминания об экспрессивных откликах городских властей и горожан на события: «млѣва многа в людех» (23, под 1330 г.); «думавше много» (24, под 1341 г.); «много томишася, биюще чоломъ» (25, под 1341 г.); «весь Псков выидоша съ кресты» (37, под 1420 г.); «непословича и многыя брани» (57, под 1477 г.); «не вемы, чего дея... не вемы, о чемъ» (62—63, под 1482 и 1483 г.) и т. д. и т. п.

Все это, казалось бы, можно объяснить псковской летописной традицией. Экспрессивность, даже броскость, повествовательной манеры «Псковской второй летописи» (или свода 1486 г.) точно отразила первоначальную экспрессивность, свойственную общему протографу псковских летописей и соответственно «Псковской первой летописи» (свода 1481 г.); недаром у обеих летописей много дословно сходных текстов⁵. Но сравнительно с «Псковской первой летописью» «Псковская вторая летопись», пожалуй, усилила экспрессию: в ней последовательно сокращались тексты протографа³, но зато последовательно же вставлялись новые, более яркие упоминания чувств, как правило, отрицательных.

Чаще добавлялись упоминания злобы персонажей. Так, во «Псковской первой летописи» говорилось: «братия наша новгородци нас повергли, не помагают намъ» (18, под 1341 г.⁴); «Псковская вторая летопись» добавляла: «братия наша новгородцы не помагают намъ, и зли быша на ны» (24). Часто добавлялся гнев. В первой летописи: «князь великий не пустил нас к себе на очи три дни» (63, под 1463 г.); а вторая летопись разъясняла: «не пусти их к собе на очи, *гневъ держа...*» (52). Во второй летописи добавлялись целые эпизоды с гневом, вроде такого, как «Витовти отголе нача гневъ великъ дръжати на пскович» (38, под 1421 г.). В первой летописи нет этого эпизода (ср. 34). То же было с различными иными проявлениями ярости и ненависти — они упоминались во второй летописи, но отсутствовали в первой. Например, по «Псковской первой летописи», новгородцы «псковичемъ не помагаше ни словомъ, ни деломъ» (30, под 1407 г.); а по «Псковской второй летописи», новгородцы уже «на пскович *велику ненависть дръжаху*» (33). Или по первой летописи, «местер с немцы» просто пошел на Псков (77, под 1480 г.); но по второй летописи, «гордяся поиде... хупушесе и скрежюще зубы» (59) и т. п.

Старательней и чаще подчеркивалась горестность событий во «Псковской второй летописи». Так, если в первой летописи сообщалось, что «псковичи много биша челомъ великому князю Василию, дабы имъ помочь» (29, под 1407 г.), то вторая летопись добавила: «...абы помогль *бедным* псковичемъ в *тошна* времени» (32). Иногда добавлялась фраза «биша чолом *со слезами*» (34, под 1408 г.; ср. первую летопись, 31).

Иногда добавлялись указания на страх, обычно во вставных эпизодах, отсутствующих во «Псковской первой летописи». Например, под 1425 г. обе летописи сообщали о том, что «бысть моръ во Пскове» (ср. 35 и 40), но вторая летопись продолжала: «А князь Федоса Патрикиевич того мору *убоявся*, поеха изо Пскова...»

Однако, в единичных случаях «Псковская вторая летопись», напротив, смягчала упоминания о печали и страхе, представленные во «Псковской первой летописи». К примеру, первая летопись под 1352 г. подробно описывала мор во Пскове и говорила об отчаянии: «Тогда бяше мнозь плач зело и лютое кричание съ горкым рыданием... Кто бо тогда каменосердь человекъ и без слез быти...» (22). Во второй же летописи летописец ограничился только ссылкой на источник об этом море: «О семь пространне обрящещи написано в Рускомъ летописци» (27). Некоторые характеристики страха также были сокращены во

«Псковской второй летописи». Так, под 1433 г. в первой летописи говорилось: «бысть страх и ужас на всех людех» (41); а во второй — «бысть страх на всех» (44). Причина всего этого механическая: упоминания чувств исчезали чаще всего из-за сокращения или опущения эпизодов во «Псковской второй летописи», в целом же в ней благодаря вставкам были усилены мотивы агрессивной экспрессивности событий.

Сравнительно со «Псковской первой летописью» летописец обычно если не вставлял, то делал выразительнее упоминания чувств и состояний. Например, под 1343 г. во «Псковской первой летописи» сообщалось, что при ложном известии о поражении псковичей от немцев «бысть въ Пскове плачь великъ и кричание» (12); во «Псковской второй летописи» же была усилена активность самого плача: «и бысть плач, и рыдание, и вопль великъ» («26). Иногда летописец делал чувства и состояния более масштабными. Вот, по рассказу первой летописи, псковичи уклонились от стычки с немцами, и «тогда бяхуть псковичи в сетовании мнозе и в печали» (31, под 1407 г.); во второй же летописи эта заключительная фраза эпизода превратилась в обзор отчаянного положения Пскова: «И бысть псковичемъ тогда многыя скорби и беды ово от литвы, а иное от немецъ, и от свои братья — от Новагорода, ово смерти належащи» (34).

Благодаря добавлениям во «Псковской второй летописи» появились обозначения физического напора на объекты, их охвата. Например: «бысть буря велика, и сшибе крестъ с церкви святаго Троици, и разбися весь» (31, под 1401 г.); или: «бе тогда мразы силно велици, а снег челоуку в пазуху, аще у кого конь свернет з дорозе, ино двое али трое одва выволокут» (62, под 1480 г.). Этих, как и целого ряда подобных сообщений, нет во «Псковской первой летописи». Мотив сдавления тоже явственней выражался во «Псковской второй летописи»: «начаша прилежнее к городу лести» (41, под 1426 г.), а во «Псковской первой летописи» нет (ср. 36); «окова твердо железы» (45, под 1435 г.), а в «Псковской первой летописи» без эпитета: «окова его железы» (43) и пр.

Летописец усиливал и действия персонажей для большей напряженности своих вариантов рассказов, меняя синтаксическую структуру фраз и их смысл. Так, во «Псковской первой летописи» говорилось о крестном ходе около одной церкви, где «попове моляхуся за град и за люди, живущая в немъ, с кресты ходяще, моляхуся Богу» (41, под 1433 г.); а во «Псковской второй летописи» уже хождение с крестами распространялось на весь град: «священници начаша, по граду съ кре-

сты ходяще, Богу молитися» (43). Или в первой летописи говорилось о новгородцах, что «не быша имь Божия пособия» (53, под 1456 г.); во второй же летописи сообщалось гораздо энергичнее: «Новгородци же видевше неспособность свое» (49). Во «Псковской второй летописи» добавлялись усилительные эпитеты и метафоры, например: «положиша въ святеи Троици честно и великолепно» (26, под 1349 г.); в первой же летописи без прикрас: «положиша и во святеи Троици» (20). Так же без прикрас в первой летописи: «почаше пушками бити» (77, под 1480 г.); но с изыском во второй летописи: «начаша огненныя стрелы на град пушати» (58). Из слова вырастали целые фразы — если в первой летописи: «немцы прочь побегоша во свою землю» (76), то во второй летописи: «И никым же гоними, разве Божию силою съвыше, въскоре от града побегоша не своими дорогами, многая своя вещи пометавше, и тако разблудишася по лесомъ» (58).

Тут уже можно говорить об особом настроении псковского летописца: во второй половине 1480-х годов появилось у летописца тревожное ощущение недостаточной политической значительности сообщаемых псковских событий. Возможно, поэтому во «Псковской второй летописи» стало экспрессивней и напряженней изложение и были проделаны многочисленные сокращения уже излишне фактичного протографа⁵: опущены или сокращены упоминания о совсем уж мелких псковских происшествиях; обобщены подробности местных церемоний, переговоров, речей, молитв; убраны замечания об исключительности каких-либо случаев для истории Пскова; кроме того, летописец постарался не слишком переводить внимание на врагов и соседей Пскова и сократил некоторые относящиеся к ним эпитеты и эпизоды. Зато летописец ввел отсылки на «Русский летописец» и на далекие международные события в земле Волынской, хотя и не мог сказать, какое значение они имеют для Пскова: «не вемы, что срящеть ны по сих» (65, под 1485 г.).

Боялся же летописец того, «какъ бы еще нашему граду до конца не погыбнуть» (61, под 1480 г.), и надеялся: «да не погыбнете зле до конца» (63—64, под 1684 г.). Таких высказываний нет во «Псковской первой летописи». «Псковская вторая летопись» отразила творчество летописца, жившего «в опасе» перед грядущим «Псковским взятием» 1510 г.

По своему типу литературное творчество летописца во «Псковской второй летописи» относится к традиционному литературному творчеству, не только продолжавшему, но и развивавшему в экспрессивном направлении сложившиеся в XV в. повествовательные традиции.

Примечания

¹ Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М., 1955. Вып. 2. Страницы указываются в скобках.

² Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 74.

³ *Охотникова В. И.* Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. Л., 1985. С. 193.

⁴ ПЛДР. Т. 4. / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. С. 452.

⁵ См. стемму списков: Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. LXIII.

⁶ См.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV.

⁷ Псковские летописи. Вып. 1. Страницы указываются в скобках.

⁸ Ср. беглые замечания об этом А. Н. Насонова и В. П. Адриановой-Перетц в кн.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV; История русской литературы. М.; Л., 1946. Т. 2. Ч. 1. С. 395.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ АНИМАЛИСТИКА «СКАЗАНИЯ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ»

По анималистическим картинам «Сказания о Мамаевом побоище» творчество автора вырисовывается отчетливо. В «Сказании о Мамаевом побоище», точнее, в Основной редакции повести, наиболее близкой к авторскому тексту (по классификации Л. А. Дмитриева), неизвестный нам автор изобразил два отличающихся животных мира. Первым в последовательности изложения и наиболее заметным предстал героический животный мир, связанный с ратными деяниями людей, вторым и гораздо менее заметным — мир идиллический.

Скажем о специфичности изображения героического животного мира. В начале повести, в энергичном рассказе о появлении татар, автор заклеил Мамаю, который «аки лев ревый пыхаа, аки неутолима ехидна гневом дыша» (26)¹. Хотя использованные сравнения и метафоры в отдельности традиционны, их сочетание обладало относительно новым смыслом. Автор обозначил злобный звериный мирок со свирепыми животными, готовыми броситься на людей. Ни в зоологической реальности, ни в литературной традиции лев и ехидна не были дружны, они действовали воедино лишь в данном отрывке текста. то же автор почти дословно повторил в конце «Сказания»: «аки лев рыкаа и аки неутолимаа ехидна», — и сильнее подчеркнул злобность такого мирка: «гневашеса, яряса зело, и еше зло мысля» (48). Это лишь элементарный образ-зародыш, но все же...

Данный образ был навеян автору не припоминаниями из области геральдики, например, гербом со львом и ехидной, а более общей литературной традицией². В памятниках часто нагнетались «звериные» сравнения, в том числе с участием льва, и семантически не важно было, кто действовал вкуче со львом, — все равно намечался образ злобных звериных мирков. Упоминания льва и змия вкуче нередко встречались в переводной литературе — в библейских Премудростях Соломона,

«Шестодневе» Иоанна Экзарха, житиях и поучениях «Успенского сборника», в «Александрии», «Пчеле», «Параллелях» Иоанна Дамаскина и т. д. Лев с другими зверьями тоже выступал в произведениях переводных, наподобие «Хроники» Константина Манассии: «Яко левь велми рыкаущий, яко пардось наскочи люте» (196). Лютый звериный мир обозначился и в оригинальных древнерусских произведениях. Лев несся в сонме зверей в «Галицко-Волынской летописи», в статье под 1201 г.: «Устремил бо ся на поганья, яко и левь; сердит же бысть, яко и рысь; и губяше, яко и коркодилъ, и прехожаше землю ихъ, яко и орель; храборъ бо бе, яко и туръ» (236). Лев свирепствовал со зверьми в «Житии Авраамия Смоленского»: «И паки яко лев нападая, яко зверие лютии устрашающе» (80).

В последующих редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», которые местами служили истолкованием авторского текста, добавлялись, так сказать, в стаю ко льву новые хищники. Например, в Киприановской редакции повести (по иному называнию, в редакции «Никоновской летописи»): «яко лев ревый, и яко медведь пыхаа, и аки демон гордяся» (50). Однако образ злобного звериного мира оставался тем же самым. Отсюда явствует, что автор «Сказания», связавший воедино два сравнения — со львом и с ехидной, не добавил ничего принципиально нового к традиции и проявил себя лишь плодовитым книжником.

Упоминания львов со зверьми в «Сказании» больше не встречаются, кроме еще одного случая: в битве с татарами русские воины «сердца имуща аки лвовы, аки лютии вльци на овчии стада приидоша» (45). Весь эпизод восходит к «Задонщине» и к главе 18 из библейской второй Книги Царств, но фраза необычна, содержит случайно полученное обозначение фантастических животных — волков со львиными сердцами. Волки были традиционно люты в литературе³, а «сдвоенные» волкольвы могли мыслиться тем более лютыми; и действительно, они «яко лютии зверие ристаху» (45). Образ, однако, остался слишком неотчетливым в Основной редакции, и поэтому он распался в последующих вариантах и редакциях «Сказания». Автор не вышел за пределы компилования тропов.

В «Сказании» есть картины героического, но не агрессивного животного мира. Укажем, например, на описание выезда русского войска в поход — в форме развернутого сравнения с миром птиц: «Уже бо тогда аки соколи урваша от златых колодиць ис камена града Москвы, и възлетеша под синиа небеса, и възгремеша своими златыми колоколы,

и хотять ударитися на многыя стада лебедины и гусины» (33). Судя по деталям, соколы не злобны, а энергичны, элегантны, парадны. Однако весь данный текст почти дословно был заимствован автором из «Задонщины» (ср. 537—538, 542—543), скорее всего, из ее синодального извода (552)⁴. Автор «Сказания» с удовольствием работал с чужим словом, но не создавал своего резко оригинального изложения.

Накануне битвы героический животный мир выглядел не молодцеватым, а растревоженным, мятущимся: «мнози вльци... выюще грозно... галици же своєю речию говорить, орли же мнози... слетошася, по аеру летаючи клекчють, и мнози зверие грозно выють» (38). Однако и данный текст оказался заимствованным из «Задонщины» (ср. 536 и 537; 542 и 544; 549; 552 и 555)⁵. Авторское добавление — о многих воющих зверях — явилось абстрактным обобщением, сделанным на основе текста источника же. Воображение автора «Сказания» питалось книжностью.

В описании животного мира автор «Сказания» ориентировался не на одну только «Задонщину». Вот в «Сказании» разворачивается рассказ о предзнаменованиях за ночь до битвы. Животный мир, окружавший татарское войско, распределен автором по четким секторам: «сздади же пльку татарскаго вольци выють грозно велми; по десной же стране пльку татарскаго ворони кличюще, и бысть трепеть птичей великъ велми; а по левой же стране, аки горам играющимъ — гроза велика зело; по рече же непрядвѣ гуси и лебеди крылами плещущѣ, необычную грозу подающе» (40). Детали, все до одной, заимствованы из «Задонщины»³, но использованы автором по-своему: отряды животных соответствуют размещению людей по полкам, подчинены единой воинской «диспозиции». Это воздействие традиций военно-деловой письменности. В «Сказании» часто встречается изложение таких «диспозиций», только не звериных, а людских. Так, до эпизода с предзнаменованиями автор рассказал с «диспозиционным» уклоном о том, как великий князь уряжал полки: кого «себе же князь великий взя в полкъ», кого в «правую руку уряди себе», кого в «левую руку себе сътвори», кого — в «передовой же плькъ» и пр. (34). После эпизода с предзнаменованиями автор снова разметил, кто «передовой плькъ», кто «с правую руку плька ведеть», кто «левую же руку плькъ ведеть» (43). Расположение войск и княжеских свит неоднократно описывалось в «Сказании» с деловитым распределением по секторам в соответствии с традициями документалистики. Автор являлся многоопытным книжником.

Об изощренном книжнике-компиляторе свидетельствует в «Сказании» второй мир природы, не сразу бросающийся в глаза, идиллический, ласкающий, как бы не зависимый от битв. В него на правах детали входили боевые кони (вместе со всадниками) — только кони и ни какие иные животные.

Например, в сцене выезда в поход великому князю сопутствует прекрасное утро: «солнце ему на востоце ясно сияеть, путь ему поведает» (33). Текст дословно заимствован, конечно, из «Задонщины»: «Солнце ему на восток сияет и путь поведает» (537. ср. в других списках — 543, 549, 553⁴). Сцена символична и в «Задонщине», и в «Сказании», но, в отличие от «Задонщины», автор «Сказания» добавил предметные детали: «Напреди же ему солнце добре сияеть, а по нем кроткий ветрець вееть». Войско комфортно выезжало, словно не на битву, а на отдохновение: солнце исполнено доброты, «ветрець» необычно ласков, не дует даже, а веет, и не в лицо войску, а в спину. Эту картину продолжили последующие варианты и редакции текста «Сказания», приводя все новые идиллические детали. Так, в печатном варианте основной редакции была усилена ласковость солнца, которое не только сияет, но «и добре греет» (111). В Киприановской редакции (редакции «Никоновской летописи») была усилена ласковость ветра: «а ззади по нем кроткий и тихий ветр веаше и дыхаше» (57).

Картина идеально мягкого и приветливого утра не встречалась ни в «Задонщине», ни в «Слове о полку Игореве», ни в летописях, ни в иных, предшествовавших «Сказанию» древнерусских памятниках, она не принадлежала к литературной или фольклорной традиции. Однако ни одна деталь этой картины не была найдена в реальной жизни самим автором «Сказания», каждую из них он взял из литературы и усилил, следуя обычной манере украшенного повествования, создал ювелирную литературную инкрустацию. Правда, не известно, откуда заимствовано выражение «кроткий ветрець», — возможно, из обыденной речи. Автор был творчески смелым компилятором.

Совершим экскурс на тему о художественной роли коней в «Сказании». В составе рассмотренного эпизода упоминались кони: великий князь «възыде на избранный свой конь, и вси князи и воеводы вседоша на коня своа». Отличие от «Задонщины»: упоминания коней в «Задонщине», как и во многих памятниках, относились к героической воинской сюжетике — кони представляли оседланными, со златыми стременами, «поскакивали» парадно. В «Сказании» же кони лишились этого.

зато конь назван «избранным», то есть отменным (тот же эпитет в распространенной редакции и в Забелинском списке. В печатном варианте основной редакции — конь «любимый», в летописной редакции — конь «любезный», в Киприановской редакции — без эпитета). Отменна и приятна погода, отменны и приятны кони, которые отделены от героики и вставлены в картину мирной природы. Кстати, «синиа небеса», упомянутые в этом же отрывке, тоже переместились из мира героического, характерного для «Задонщины», в мир идиллический, в картину идеального утра. Внутри традиционно героических картин автор «Сказания» стал изображать идиллическую природу.

И далее, по тексту, в эпизоде смотра русского войска великий князь видит: знамена «аки некии светилници солнечнии светящися въ время ведра... просьтирающися, аки облаци, тихо трепещущи ... доспехы же русских сыновъ, аки вода въ вся ветры колыбашеся, шоломы же на главах ихъ, аки заря утреняя въ время ведра светящися» (39). Нарисованы две картины: одна, главная, — построенного войска; другая, создаваемая дополнительно сочетанием сравнений, — картина погожего утра: ведро, утренняя заря, встающее солнце, легкие облака, тихо трепещущий ветерок и слегка колеблющиеся воды. Картина утра была не символичной, а реальной: автор указывал даже реальное время — смотр проходил не быстро, «до шестаго чяса» дня (38), то есть до полудня⁵. Но утро изображалось настолько прекрасным, бодрящим, сияющим и свежим, что его образ противоречил обстановке горестного и напряженного смотра, когда обреченных на гибель воинов, как говорилось тут же, «умилено бо видети и жалостно зрети» (39).

Некоторые детали образа идеального утра принадлежали литературной традиции; в частности, сопоставление воинских доспехов и солнечного света. Так, например, в «Галицко-волынской летописи», в повести под 1251 г. содержалось сходное описание войска: «щите же ихъ, яко заря бе, шоломъ же ихъ, яко солнцю восходящю» (318)⁶. Ср. в «Хронике» Константина Манассии: «облиставааху копия, сиааху же шлемове, и щитове зореаху ся, и въздухъ облиставааше ся сулицами» (203). В летописи и «Хронике» мотив света скользнул, как солнечный зайчик, и не был продолжен; автор же «Сказания о Мамаевом побоище» собрал чужие сравнения, не добавив ни одного своего, но составил из них образ утра.

Тут же был упомянут и конь: «Князь же великий, видевъ плъци свои достойно уряжены, и шед с коня своего» (39). Княжеский конь, раз-

умеется, относился к воинской картине, но одновременно, благодаря нейтральности упоминания и отсутствию явных воинских признаков, вошел и в картину утра, находясь на периферии этого образа в качестве добавочной, «тихой» детали.

Мирное преобразование коня повторилось в последующем эпизоде — ночном испытании примет князем. Ночь изображена исключительно уютной: «бысть же въ ту ночь теплота велика, и тихо велми, и мрази роснии явишася» (40). Автор в связи с этим процитировал высказывание якобы из пророческих книг: «Ночь не светла неверным, а верным просвещена» — то есть косвенно указал еще на одну реальную особенность ночи, не только теплой, тихой, росистой, но и светлой. Конь снова был упомянут: когда «заря померкла, нощи глубоце суши», один из персонажей, выехав в поле, «сниде с коня». Конь не связывался со зловещими или жалостливыми приметами, которые исходили издалека, на пределе зрения и слуха наблюдавших, а входил в картину идеально мягкой и обволакивающей ночи как дополнительная мирная деталь.

Далее в повести, в эпизоде выезда к месту битвы, когда русские воины принялись «рано утра... подвизатися на кони своа» (40) и «великому же князю преседающу на избранный конь» (41), кони со всадниками словно растворились в тумане, что и отметил автор: «Въсходящу солнцу, мгляну утру суцу... Пльки же еще не видятя, зане же утро мгляно» (41) — картина опять смягченная, изображено нежное утро, продолжившее уютность ночи; во всяком случае, «мгляность» не толковалась отрицательно автором «Сказания» (в противоположность так называемой пространной летописной повести о Куликовской битве, по которой туман в то утро выглядел зловещим: «Бысть тма велика по всей земли: мьглане бо было беаше того от утра» — 20). Они в «Сказании» опять связывались с покоем, умиротворенностью природы, а тяжкие предзнаменования, о которых говорилось дальше («реки же выступаху из мечь своихъ» и пр.), коней не касались.

Конь связывался с хорошей погодой и мирной природой в таких эпизодах «Сказания», где этого не приходилось ожидать, — в повествовании о самой битве: «На том бо поле... выступали кровавыа зари, а в них трепеталися силнии мльνια... люди, аки древа дубравнаа, клонятя на землю... небо развръсто, из него же изыде облакъ, яко багрянаа заря... дръжашесе низко... и опустишася над пльком» (43—44) — все это символы ожесточенной битвы, но параллельно и реалии, составляющие картину грозной, потрясенной и взбаламученной природы. Они, упо-

минавшиеся здесь («и удари всякъ въинь по своему коню» — 43), участвовали в свалке битвы и в вихре природы. В картине наметились три уровня. Верхний: разыгравшиеся небеса, зори, молнии, облака; средний: дубравные, мечущиеся кони; нижний: гибнущие под конями люди («под коньскими ногами издыхаху» — 43, падали «под коньския копыта», даже «самого же великого князя, с коня его збиша» — 44). Это не значит, что связь «кони — мирная природа» прервалась у автора — ведь описывал он именно нарушения, отклонения от нормального мира: «Яко не мощно бе сего гръкаго часа зрети никако же» (43—44). А что «мощно зрети», что не «гръко»? Естественный, не вызывающий горечи порядок вещей автор подразумевал следующим: нормально, когда зори не кровавые, да еще с молниями, а ясные и спокойные; нормально, когда небо не разверсто, а образует ровный свод; нормально, когда облака не багряные, да еще низкие, а белые и высокие; нормально, когда дубрава не клонится, а стоит стройно; нормально, наконец, когда всадники находятся на конях, а не под копытами. В подразумеваемой автором нормальной картине все трафаретно; непривычна лишь прибавка коней, которые все-таки связывались у автора именно с покоем, тихой погодой, прекрасной природой.

Подобная же скрытая связь повторялась и в заключительном рассказе о тяготах битвы: «сечаху... аки лес клоняху, аки трава от косы постилается... изрываху, аки овчье стадо ... кони их утомишася» (45). Естественным, не тягостным состоянием подразумевалось то, когда лес не клонится, а стоит ровно; когда трава не постилается, а тянется вверх; когда овчье стадо не разгоняемо, а цело; когда кони не утомлены, а бодры — это картина мирной природы, в которую включены и кони.

И далее, при подведении итогов закончившейся битвы: «грозно, братие, зрети тогда, а жалостно видети и горько посмотри... а трупу чловечя — аки сennyя громады; борзь конь не может скочити, а в крови по колени бродяху, а реки по три дни кровию течаху» (45). А что же представлялось автору не грозным, не «жалостным» и не горьким, на что ему было смотреть приятно? На мирный пейзаж: на стога сена, на чистые реки, на беспрепятственно скачущего коня. Место коню в идиллическом мире природы — опять та же связь.

Но вот воины, снедаемые беспокойством, ищут пропавшего великого князя и находят: «уклонишася в дуброву... и наехаша великого князя бита, и язвена вельми, и трудна, отдыхаючи ему под сению ссечена древа березова» (45), — картина, редчайшая для древнерусской литера-

туры, лишенная воинской героики и содержащая мотив обессиленного отдохновения человека, его оцепенения вместе с природой: в дуброве (она названа и «дებрью» — 44) упала ссеченная береза, лежит в ее тени контуженный князь (в Киприановской редакции добавлено: «под ветми лежаше, аки мрътв» — 67). Сразу следуют упоминания коней, хотя упоминать их было не обязательно: «И видеша его и, спадше с коней... и приведоша ему конь». Природа смиренна, смиренны люди и смирны кони (недаром добавлено: «И приведоша великому князю конь кроток» — Печатный вариант основной редакции, 124) — кони опять связывались с покоем, пусть и болезненным.

Конечно, в «Сказании» встречались эпизоды, где конь упоминался только с ратью, входил в воинскую картину, например: «И вседе на избранный свой конь, и возьмъ копие свое и палицу железную, и подвижесе ис полку» — о природе ничего не сказано (42). Но такие случаи единичны. В подавляющем большинстве эпизодов кони связывались у автора с тихостью, с хорошей погодой, с приятным ландшафтом, с отдохновением от напряжения, с мирной или смиренной природой. Связь «конь — мирная природа» пронизала все «Сказание», хотя конь оставался боевым и не становился «сельскохозяйственным» орудием.

Автор «Сказания» не мог перенять анималистическую манеру из «Задонщины», а тем более из «Слова о полку Игореве», которые не связывали коней со спокойной природой. Однако нечто похожее на мирных коней «Сказания» существовало в фольклоре, например в былинах, где не раз упоминались кони во зеленых тихих заводях («Алеша Попович», «Михайла Азаринов», «Потук Михайла Иванович», «Царь Саул Леванидович» — перечисляем былины, как они следуют в сборнике Кириши Данилова. Ср. также былины «Илья Муромец и сокольник», «Сухман» и др.). Конь упоминался и у березы «попяля» (в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник»). Связь коней с тихой природой в «Сказании о Мамаевом побоище», вероятно, была навеяна поэтикой устных преданий. Странного тут нет: исследователи отмечали в «Сказании» и многие другие фольклорные мотивы⁷. Автор проявил себя как внимательный, переимчивый, достигающий художественного эффекта компилятор.

В эстетическую заслугу автору «Сказания» можно вменить то, что в письменности он одним из первых подключил коня (со всадником) к идиллической картине природы. В литературе XV в. аналогий этому не подыскивается. Лишь с конца XV — начала XVI в. конь появился в

идиллической обстановке, например, в «Повести о Тимофее Владимирском», где герой и его конь действовали в покойном и умирительном месте: «Идушу же ему чистым и великимъ полемъ... едушу же ему на коне своемъ... и пояше умильно красный стих любимый пресвятеи Богородице: “О тебе радуется, обрадованная, всякая тварь”» (60) — здесь каждая деталь украшала и успокаивала, здесь герой «свое сердце во умиление положи» и «спа до утра на траве» (60, 62). Затем конь стал являться в светлых, благодных видениях. Например, в «Степенной книге» рассказывалось о том, что в 1491 г. Александр Невский привиделся «на кони... яздыща» в облаке, а «облак легкий протяжася или, яко дымъ тонокъ, изливаясь, белостию же яко иней чистъ, светлостию же, яко солнцу подобообразно, блещася» (569). В сиянии предстал конь в рассказе о явлении Николы Мирликийского в 1559 г.: «светлый онъ мужъ, на кони езда... вниде на кони въ церковь. И въ церкви тако же светъ велий явися» (672). К началу XVII в. конь занял постоянное место в красивых, цветных, почти лубочных пейзажах повестей о Бове и о Еруслане Лазаревиче.

Итак, в «Сказании» было изображено два мира животных: один — героический, а другой — идиллический. Но возьмем почти любой эпизод, например сцены начала похода: здесь одновременно и бок о бок действовали и героически неукротимые соколы со стадами лебедиными и гусиными, и комфортные кони, овеваемые «ветрецом» и озаряемые тихим утренним солнцем. Миры легко и пестро сочетались в «Сказании», не порождая принципиально нового целого, потому что автор всюду основывался на одинаковом принципе, высококвалифицированном по тем временам, — на игре формулами и шаблонами, на эклектическом эффекте украшенности⁹. Почти каждый эпизод он насыщал небывалым множеством традиционных деталей, книжных и фольклорных.

Почти каждый эпизод в «Сказании» сопровождался неоднократными замечаниями о том, как все это «видети», «зрети» или «посмотрити» — и персонажам, и авторам, и читателям: «възъхавъ на высоко место и увидевъ» (39), «на высоце месте стоя, видети» (40), «выехав на высоко место... зрай» (43), «особь стояти и нас смотри» (42), «и виде-ти добре» (41), «видиши ли что, княже? — ...Вижу» (40) и т. д. и т. п. В древнерусских памятниках учащение упоминаний о зрении и смотре-нии всегда было связано с усилением изобразительности повествования. Автор «Сказания» тоже склонялся к усилению зримости картин,

но делал он это, оставаясь энергичным и тонким книжником-компилятором, однако без привлечения деталей, им лично наблюденных. Творчество этого автора знаменовало собой напряжение старой манеры описаний, но еще без открытия манеры новой.

Примечания

¹ Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» — ПЛДР. Т. 3 / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева; «Житие Авраамия Смоленского» — Древнерусские предания: (XI—XVI вв.) / Текст памятника подгот. В. В. Кусков. М., 1982; «Задонщина» — Тексты «Задонщины» / подгот. Р. П. Дмитриева // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966; Летописная повесть о Куликовской битве, пространная — сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л., 1982; «Повесть о Тимофее Владимирском» — ПЛДР. Т. 6 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; «Сказание о Мамаевом побоище», Забелинский список — Повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959; «Сказание о Мамаевом побоище», Киприановская редакция — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. Л., 1982; «Сказание о Мамаевом побоище». Летописная редакция повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959; «Сказание о Мамаевом побоище». Основная редакция — Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. В. П. Бударягин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982; Печатный вариант Основной редакции — Там же / Текст памятника подгот. Л. А. Чуркина; Распространенная редакция — Там же / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Л. А. Чуркина; «Степенная книга» — ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2; «Хроника» Константина Манассии — Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Тексты памятника подгот. М. А. Салмина. София, 1988.

² См.: *Дурново Н. Н.* Истории сказаний о животных в старинной русской литературе. М., 1901. С. 3, 8—9, 36—37; *Орлов А. С.* об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1901. С. 5, 29—32.

³ См.: *Дурново Н. Н.* Указ. соч. С. 3; *Орлов А. С.* Указ. соч. С. 32—33.

⁴ О соотношении этого места «Сказания» с «Задонщиной» см.: *Дмитриев Л. А.* Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966. С. 396—397.

⁵ О соотношении с «Задонщиной» см.: *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 407—409.

⁶ *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 410—411.

⁷ См.: *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 396—397.

⁸ См.: *Кирпичников А. Н.* Великое Донское побоище // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 292; *Дмитриев Л. А., Лихачева О. П.* Историко-литературный комментарий // Там же. С. 390.

⁹ Связь замечена: *Орлов А. С.* Указ. соч. С. 15.

¹⁰ Ср., например: *Адрианова-Перетц В. П.* Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 56; *Путилов Б. Н.* Куликовская битва в фольклоре // ТОДРЛ. Т. 17. С. 115—128; *Азбелев С. Н.* Об устных источниках летописных текстов (на материале Куликовского цикла) // Летописи и хроники: 1976. М., 1976. С. 98—101; *Дмитриев Л. А.* Сказание о Мамаевом побоище // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 379—380.

¹¹ Ср.: *Колесов В. В.* Стилистическая функция лексических вариантов в Сказании о Мамаевом побоище // ТОДРЛ. Т. 34. С. 33—48. В. А. Кучкин видит в «Сказании» «творчество умного человека» (устное высказывание исследователя на обсуждении моего доклада в ИМЛИ в 1989 г.). Ср.: «Отдельные элементы старой формы используются в новом произведении как своего рода украшения» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 464); «оставаясь эстетически неполноценным, эклектизм тем не менее в аспекте историческом может развивать в себе элементы будущего искусства» (Там же. Л., 1987. Т. 3. С. 448).

«СКАЗАНИЕ О МАМАЕВОМ ПОБОИЩЕ»: РОЛЬ ЧУВСТВ

Самое детальное, написанное в традиционной повествовательной манере древнерусское произведение о подготовке и проведении Куликовской битвы было составлено, судя по новейшим научным данным, в 1521 г. коломенским епископом Митрофаном¹ и первоначально, вероятно, не имело заглавия (что было в порядке вещей). Сочинение начиналось примерно с такого торжественного авторского вступления: «Хошу вам, братие, начати повесть новья победы, како случися брань на Дону православным христианом з безбожными агаряны, како възвысися род христианский, а поганых уничижи Господь и посрами их суровство...»² На основе этой вступительной фразы и стали формироваться заголовки уже в ранних списках повести. В одних заголовках ключевым стало слово «победа»: «Начало повести, како дарова Богъ *победу*...»³ В других заголовках ключевым выступило слово «брань»: «Сказание о *брани*...»⁴ Но возобладали в списках заголовки, упоминающие «побоище»: «Повесть о *побоищи* Мамаеве...»⁵; «Сказание о Мамаевом *побоище* и похвала...»⁶ Позднее, не ранее XVII в., получил распространение и несколько иной заголовок: «Сказание о Донском *бою* и похвала...» Еще позже, но еще в XVII в., произведение иногда называли: «Сказание известно о *нашествии* Мамаеве...» Многие списки повести имели индивидуальные заголовки или по-разному контаминировали выражения из старых заголовков. Все это показывает, как настойчиво книжники пытались определить суть данного, казалось бы, совершенно понятного памятника.

А суть памятника, особенно его повествовательная манера, действительно, была не такой уж простой. Рассмотрим лишь одну литературную особенность «Сказания». Произведение рассказывало о сильных чувствах персонажей. Например, великий князь московский Дмитрий Иванович предстал преимущественно печальным, унылым, горест-

ным, тужащим, плачущим: «пригнувь руце к персем своим, источникъ слезъ проливаючи»⁶; «слезы, аки река, течаше от очию его» (41); «слезами мыася» (47) и т. п. Русское войско, напротив, выглядело, как правило, бурно радующимся: «мнози же сынове русские възрадовашяся радостию великою... правовернии же человеци паче процветоша радующеся» (38); «грядуще же весело, ликующе, песни пояху» (47) и пр. Мамай постоянно пребывал в дьявольском гневе и ярости: «диаволомъ палим непрестанно... акы неутолимая ехыдна, гневом дыша» (26); «неуклонно яряся... неуклонным образом ярость нося» (28); «и паки гневашеся, яряся зело» (48). Второстепенные персонажи «Сказания» также были подвержены чувствам. Положительные персонажи глубоко печалились. Так, русские княгини стояли «въ слезах и въ склицании сердечнем... слезы льючи, аки речную быстрину; с великою печалию приложывъ руце свои къ персем своим» (33). Отрицательные персонажи страшно злились: татары всегда «злые», союзник Мамаю Ольгерд Литовский «нача рватися и сердитися» (36) и т. д. Все это проявления так называемого литературного этикета.

Но за пределы литературного этикета вышло то, что в большей мере именно чувства стали определять деятельность персонажей в «Сказании». Например, Мамай не просто продумал свой поход и напал на Русь, но в первую очередь внутренняя сердечная страсть побудила его сделать это: Мамай — «злый христьянский укоритель; и начать подстрекати его диаволь и вниде въ сердце его напасть роду христианскому» (25). Сердечная страсть заставила Мамаю ставить самые радикальные цели: «наусти его, како разорити православную веру» — «сядем и Русью владеем», «обогатеемъ русскимъ златомъ» (25—26). Страсть подвигла Мамаю к публичности: «начать хвалитися... и нача подвижен быти... нача глаголати къ своим еулпатам, и ясаулом, и князем, и воеводам, и всем татаром». Страсть толкнула Мамаю на немедленные, быстрые действия: «И по малех днех перевезеся великую реку Волгу со всеми силами». Но — самое примечательное — страсть затмила Мамаю разум: «ослеплени же ему умомъ».

Точно так же действовали чувства, и не обязательно злоба, у других отрицательных персонажей в «Сказании». Например, Ольгерд Литовский «велми рад бысть», и уже от радости разрастались его намерения: «А мы сядемъ на Москве и на Коломне; ... княжение Московское... разделим себе» (27). От радости он стал быстрым: «И посылаетъ скоро посла к царю Мамаю». И точно так же страсть делала таких людей

безумными: «Не ведаху бо, что помышляюще и что се глаголюще, акы несмыслени младые дети».

Однако и на положительных персонажей чувства воздействовали сходным образом. Так, под влиянием эмоций великий князь Дмитрий Иванович действовал быстро: «по всей Русской земли скорые гонци разославъ» (30), «и въскоре посла вестъ» (37); регулярно превращался в пылкого оратора, иногда наедине, но чаще публично произносившего многочисленные и большие речи: «велми опечалися... и пад на колелу свою, нача молитися» (28); «из глубины душа нача звати велегласно... Коемуждо полку рече» (39); «сердцем боля, кричаше...: “Братия, русскыя сынове, князи и бояре, и вьеводы, и дети боярьские!”» и др. Чувства в данном случае не мешали уму, подстегивали память. Даже жена Дмитрия Ивановича, великая княгиня Евдокия, от горя «сяде на урундуце» и вспомнила о давней несчастной Калкской битве с татарами: «От тоа... великого побоища татарскаго и ныне еще Русскаа земля уныла» (33). В общем, чувства персонажей выступили в «Сказании» важнейшим фактором развития событий.

Такая особенность повествовательной манеры «Сказания» была достаточно необычной для древнерусской литературы. Ранее двигателем событий служили мысли героя или вести, им услышанные. Но ни в одном из предшествующих древнерусских произведений, включая многочисленные источники «Сказания» и различные воинские повести, роль чувств не получилась такой большой, как в «Сказании».

По изображению чувств ближе всех к «Сказанию о Мамаевом побоище» стоит подробная «Летописная повесть» о той же битве, созданная лет за сто до «Сказания», в 1430-х годах, и в «Сказании» затем использованная. В «Летописной повести», как и потом в «Сказании», Мамай тоже гневался, великий князь Дмитрий Иванович и жены русские тоже проливали слезы и пр. Однако, в отличие от «Сказания», в «Летописной повести» чувства персонажей не выступали постоянным двигателем событий. Вот, например, Мамай «възбужаяся и възгордяся и гневаяся, и стоя три недели со всемь своимь царствомь»⁷ — Мамай никуда не кинулся под влиянием чувств, а хоть и в гневе, но стоял три недели на одном месте. В «Летописной повести» чувство зачастую одолевало персонажа лишь после какого-нибудь события, а не перед поступком. Так, «Мамай же, слышавъ приходъ великаго князя Дмитрия Ивановича со всеми князи русскими и со всею силою к реце к Дону и сеченяя своя видевъ, и възьярися зракомь, и смутися умомь, и распалися лютою яро-

стию, и наполнися, акы аспида некая, гневомъ дышуще» (35) — ясно сказано, что ярость Мамаю была вызвана действиями Дмитрия Ивановича; но эта ярость не выступила причиной действий самого Мамаю; упомянуто только, что он сказал: «Двигнемся всею силою моею темною», однако рассказа об этом деянии Мамаю нет, чувство осталось вне последующего события.

Обычно же в «Летописной повести» упоминания чувств персонажей только как декор сопровождали описания событий. Типична, например, такая сценка: «И се поиде великая рать Мамаева и вся сила татарская. А отселе поиде велии князь Дмитрии Иванович со всеми князи русскими, изрядивъ полкы противу поганых со всеми князи русскими, со всеми ратми своими. И възревъ на небо умиленыма очима, и въздохнувъ из глубины сердца, и рече слово псаломское: “Братие! Богъ намъ прибежище и сила”. И абие съступиша обои силы велици на долгъ час вместо...» (37) и т. п., — «умиление» Дмитрия Ивановича стоит тут как бы не на месте (сначала пошел на татар, а потом, словно спохватившись, стал молиться); без «умиленья» можно было бы и обойтись, не нанеся ущерба изложению; «умиление» — это всего лишь положенное украшение такого рода эпизодов.

В «Сказании о Мамаевом побоище» же чувства персонажей заняли более четкое и определяющее место. Эта нетрадиционность повествовательной манеры «Сказания» свидетельствует о каких-то изменениях в мироощущении автора первой четверти XVI в. сравнительно с его предшественниками.

Чувства активно включились в ход рассказов, оттого что описываемый мир представлялся автору «Сказания» гораздо более разнообразным, чем прошлым сочинителям. Отсюда многие следствия. По причине разнообразия мира разнообразней стали переживать персонажи в «Сказании». Так например, великого князя Дмитрия Ивановича автор изобразил охваченным одновременно разными, противоположными или сложными чувствами: Дмитрий Иванович «нача сердцемъ болети, и наплънися ярости и горести, и нача молитися: “...подобаетъ ми тръпети...”» (29), — подобное сочетание ярости, горести и смирения героя было невиданным в литературе, тем более в предыдущих сочинениях о Куликовской битве.

И далее в «Сказании» Дмитрий Иванович одновременно и «плача и радуся: о убиеных плачется, а о здравых радуется» (47) — это сочетание чувств также было не совсем обычным. Кроме того, на протяжении

нии изложения у Дмитрия Ивановича неоднократно и сильно менялись настроения: вот «князь же великий прослезися», но ему говорят: «просвети си веселиемъ очи сердца», — и князь «нача утешатися» (29—30); но снова «великому же князю нужно (тревожно) есть», и затем снова «князь же великий обвеселися сердцемъ» (31); вот «князь же великий нача думати» в нерешительности, но ему советуют «оставити смерьтнаа, буйными глагола глаголати», и князь «възехавъ на высоко место» и пр. (37—39) — Дмитрий Иванович в «Сказании» выглядел гораздо изменчивей, чем он же в других произведениях о Куликовской битве.

Чувства прочих персонажей в «Сказании» тоже стали необычно неоднородными. Так, лютый Мамай «скрегча зубы своими, плачуще гръко» (45) — и злится, и досадует, и горюет. Олег Рязанский «начать боятися... нача опалатися и яритися» (35) — боязнь смешалась с яростью.

Конечно, сочетания и перемены чувств у персонажей «Сказания» не отличались большим разнообразием. Например, подобно Дмитрию Ивановичу, Дмитрий Ольгердович тоже «нача радоватися и плакати от радости» (36); «мнози же сынове русские възрадовався радостию великою», но затем «унывають» (38), а потом «аки лютии вльци... нача ша... сеци немилостивно» (45) — радость сменяется горем, а после гневом; эти небогатые наборы чувств характерны для «Сказания». Но раньше в произведениях и их не было или почти не было.

В описаниях общей обстановки, особенно в серии батальных сцен «Сказания», давало знать о себе авторское ощущение не только разнообразия, но и парадоксальности мира. Странно описывается, к примеру, выезд русского войска из Москвы. С одной стороны, погода благостна и войско спокойно: «Солнце... на вѣстоце ясно сияеть», «солнце добре сияеть, ... кроткый ветрець вееть», «синиа небеса», «урядно убо видети вѣйско...»; а с другой стороны, как раз нет ни благостности, ни тихости у выезжающего войска: «аки соколи урвашася... и възгремеша своими златыми колоколы и хотять ударитися на многыя стада... хотять наехати на великую силу татарскую» (33), — сочетаются и кротость, и агрессивность. Противоречивость повествования можно было бы объяснить неудачным пересказом «Задонщины» автором «Сказания», если бы такие случаи не повторялись в «Сказании» неоднократно. Далее войско продолжает свое чинное шествие «по велицей широче дорозе... успешно, яко медвяныя чяши пити»; но одновременно и с вызывающей энергией, так что «стукъ стучить и громъ гремитъ по ранней зоре» (34) — тут отнюдь не неумело, а осмысленно использо-

вана «Задонщина» автором «Сказания» для создания живых, неоднотонных картин.

Затем в «Сказании» рассказывается о смотре русского войска накануне сражения, и противоречивые мотивы особенно выразительно переплетаются в этом рассказе. С одной стороны, ясная тихость свойственна собравшемуся на поле русскому войску: знамена «аки некии светилници солнечнии светящиеся въ время ведра; и стязи ихъ золоченыя... тихо трепещущи... шоломы злаченныя... аки заря утреня въ время ведра светящихся». С другой же стороны, некая бурность пронизывает войско: «стязи... ревуть... хоругови аки живи пашутся, доспехы же... аки вода въ вся ветры колыбашеся... яловци (флажки) же шоломовъ ихъ аки пламя огненное пашется» (39), — и полностью ведрено, и сильно ветрено одновременно. И смотрящие на это войско испытывают очень разные чувства: «Умилно бо видети и жалостно зрети таковых русскихъ събра... Сему же удивишася...», — умиление, жалость, удивление, потому что все видимое стало неожиданно разнообразным.

Авторское представление о парадоксальном разнообразии мира отразилось и во многочисленных развернутых параллелях между русскими и татарскими войсками в «Сказании». Так, глубокой ночью перед завтрашней битвой со стороны татарского войска доносится «стукъ великъ, и кличь, и вопль... и аки гром великий гремитъ... волци выють грозно велми» и пр., а со стороны русского войска «бысть тихость велика». Затем персонаж, находящийся в поле между двумя войсками, слышит «землю плачущую надвое»: татарская сторона «аки некаа жена напрасно плачущися о чадахъ своихъ еллинскимъ гласом», а русская сторона — «аки некаа девица единою възопи велми плачевнымъ гласом, аки в свирель некую» (40); это прямо-таки симфоническое многоголосие.

Еще одним повествовательным отражением авторского представления о разнообразии и неожиданности жизни была фактическая детальность «Сказания». Действительно, как в таком непредсказуемом мире добиться желаемой цели, все-таки свое «хотение съвршити» (36)? Автор взялся раскрыть этот секрет — «поведати... како сътвори Господь волю боящихся его» (25), — и показал, что свою «роль» положительные персонажи «Сказания» сотворили путем исключительной старательности в делах, ибо подобает «деати съ всякимъ усердиемъ» (29—30) и не поддаваться «худу разумению» (35), но искать, когда «время приспе и часъ подобный прииде» (44). Вот почему автор «Сказания»

подробно повествовал о заботах Дмитрия Ивановича и русского войска: как «перебирали», «уряжали», «учреждали» «утверждали» полки и так «велми уставиша плъци по достоанию, елико где кому подобаетъ стояти», что очевидцы поражались: «Нестъ было преже нас, ни при насъ, ни по насъ будеть таково вѣинство уряжено» (39); подробно автор рассказывал, как организованно двигалось войско — какими дорогами, перевозами, бродами; пояснял автор, насколько внимательно военачальники обдумывали и учитывали разные конфиденциальные свидетельства, почерпнутые у тайных советчиков, у прибывших вестников, у захваченных «языков», из «примет», знамений и видений. А потом как обстоятельно считали убитых и оставшихся в живых — для того понадобился даже специальный человек, который «расчетливъ бысть велми» (48). Столь большого свода сведений о Куликовской битве нет ни в одном из источников «Сказания»; подробности эти далеко не всегда исторически верны; их роль — больше идейно-эстетическая: «Вам подобаеъ тако служыти, а мне — по достоанию похвалити вас» (47).

Несмотря на обилие косвенных отражений ощущение разнообразия и неожиданности мира не созрело в четкое умопредставление у автора «Сказания», оно как бы «сквозило» при описании чувств персонажей и в рисуемых картинах, но лишь иногда формулировалось, притом очень расплывчато — в виде кратких отсылок о непредвидимости Божьей воли: «господь же нашъ Богъ... елико хочеть, ть и творить... како Господу годѣ, тако и будеть» (25); «господь Богъ можетъ живити и мертвити» (27); «господу Богу вся възможна» (40); «велий еси, Господи, и чудна дела твоа суть: вечеръ въдворитъ плач, а завтра — радость!» (46); или о судьбе персонажа: «възнесе бо ся высоко — и до ада сшелъ еси!» (45) и т. д. Однако показательно, что этот мотив многообразия и непредопределенности Божьего выбора совершенно отсутствует в памятниках Куликовского цикла, предшествовавших «Сказанию о Мамаевом побоище»; близких литературных аналогий «Сказанию» в этом отношении, кажется, нет вообще (очень слабую аналогию составляет, пожалуй, лишь «Повесть о взятии Царь-града турками» Нестора-Искандера).

Указанная уникальная литературная особенность «Сказания», сводившаяся к непривычной и тогда еще неясной идее о разнообразии и неожиданностях жизни, в которой может случиться все, возможно, сбивала с толку древнерусских книжников, которые поэтому и давали популярному произведению столь разные названия. Вообще же, опи-

сание чувств имело большое значение для развития традиционного литературного творчества на Руси и для перехода к творчеству новаторскому.

Примечания

¹ *Клосс Б. М.* Избранные труды. М., 2002. Т. 2. С. 341—345.

² Ср. начала разных списков XVI—XIX вв.: *Дмитриев Л. А.* Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. С. 480—509 (№ 1, 2, 3, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32—34, 36, 37, 40, 42—44, 47, 48, 53—56, 59, 60, 62, 68, 72, 77, 81, 84 и пр.); *Клосс Б. М.* Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. С. 136 (№ 2), 137 (примеч. 1, 1); *Зимин А. А.* Сказание о Мамаевом побоище Основной редакции по Ермолаевскому списку // Там же. С. 224, 226.

³ *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 481 (№ 1). Список конца 1520-х — начала 1530х годов. Его датировку см.: *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. 2. С. 334—335.

⁴ *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 486 (№ 21). Список 1530-х годов. Его датировку см.: *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. 2. С. 335, 347.

⁵ *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 482 (№ 2). Список XVI в.

⁶ *Дмитриев Л. А.* Указ. соч. С. 486 (№ 19, 20). Списки XVII в.

⁷ Сказания и повести о Куликовской битве / Текст Основной редакции подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982. С. 31. Далее страницы указываются в скобках.

⁸ Памятники Куликовского цикла / Текст «Летописной повести» подгот. В. А. Кучкин. С. 32. Далее страницы указываются в скобках.

**ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЦИКЛОВ
В XVI—XVII ВВ.
(«Казанская история», «Летописная книжица»,
«Житие» Аввакума)**

«Казанская история» как «сладостный» цикл

Вся «Казанская история» представляет собой единый сплошной цикл рассказов («повестей», как их называет автор), разделенных на 101 главу и объединенных не только одной животрепещущей темой, но и сквозными мотивами, преимущественно трагическими и нередко гиперболично выраженными.

Самый главный и частый — это настойчиво повторяющийся мотив горя, плача, скорби, печали персонажей, как татарских, так и русских. Приведем только некоторые примеры из великого множества. Так, например, Иван Грозный «зря плач, и рыдание, и погибель людей своих, люте печалуясь о них, яко оружием уязвляешия, и утробою мятешися, и сердцем боляше, стоняше ... слезами своими постелю свою омакаше»¹; в походе на Казань царь «не престанно же самъ о землю пометашеся, и главою бияшеся, и в перси свои часто руками ударяше, и захлепашеся, и слезами ся обливашеся» (508). Супруга Ивана Грозного Анастасия Романовна не отставала от царя в горестных проявлениях: «нестерпимую скорбию уязвися ... и не може от великия печали стояти, и хотяше пасти на землю, аще не бы сам царь супружницу свою руками своима поддержалъ; и на мног часъ она безгласна бывши, и восплакася горце» и пр. (452). Вся Русь горевала: «И бе скорбь велика в Руской земли, и велико стенание и рыдание, и везде произхождаше плач велегласен, и горек, и неутишим» (370).

Но особенно убивались казанцы — мужчины и женщины, цари и царицы. Например, Сумбека Юсуповна (Сююн-Бике): «сверже златую утварь з главы своея, и раздра верхняя ризы своя, и паде на землю ... власы своя терзающе, и ноготми лице свое дерущи, и в перси биюще, и воздвигше умилный глас свой, и плакаше, горко вопия» и т. д. и т. п. (414).

Все эти частые упоминания и пространные описания горя отражали не столько трагическую настроенность анонимного автора «Казанской истории», сколько его стремление к театральности, красоте сцен плачей, содержащих к тому же яркие сравнения и метафоры. К той же зримой выразительности был склонен автор и при многочисленных описаниях других бурных чувств персонажей — страха, гнева, радости (например: казанцы «от страха силнаго ... омертвеша и падоша ниць на землю ... и быша, акы камыцы безгласни, друг на друга зряще, яко изумлени» и пр. — 514; Иван Грозный «воздвиже пламень ярости своея ... яко левь, рыкание страшно испусти» — 506; в честь взятия Казани в Москве «начаша молебная совершати... и у всех реки слез от очию на брады и на перси проливахуся и на землю течаху. Небо, и земля, и вся твари тогда ... радующиеся со человеки» — 542; и мн. др.). О себе автор писал в том же красочном стиле («и како могу сказати и исписати... Страх бо мя побеждает, и сердце ми горит, и плачь смущает, и сами слезы текуть изо очию моею» — 364).

Как известно, автор «Казанской истории» (и возможный его редактор, как предположил А. С. Орлов) был очень начитан в древнерусской книжности. Но автор использовал литературные традиции для своей цели — красиво повествовать о событиях. Оттого у автора все было красиво и у русских, и у татар. Красивы города. Особенно хвалил автор «предивную Казань»: «Казань ... необычною красотою восия», «градъ Казань ... хитрь строениемъ», «не обрестися другому такому месту ... нигде же точному красотою» (300, 538, 392, 314). Упоминал автор и «о ... красоте ... града Москвы» (310). Вспомнился автору и град Владимир «со всеми его благими узорочыи ... хитрыя его здания и красота его» (302). Новопостроенный Свияжск тоже был «град ... красень ... дивящиеся красоты его» (392). Девицы, женщины и дети обоих народов всегда были красивы — «красныя отроковицы и жены доброличныя» (526). Царица Анастасия — «яко красная денница» (552). Сумбека: «бе бо образом царица та зело красна ... яко не обретесе таковой красной в Казани в женах и в девицах, но и в руских во многих на Москве во дщерях и в женах боярских и княжых» (416). Одеты все были красиво — и мирные, и ратные: «различно красуюся, другъ друга краснее» (332); «разное украшение их ... красно нарядяся» (450). Вещи были красивы: «кони во утварех ... красных» (450); «колымаги ... красныя» (422); «красныя ковры срацынския» (550); «красный ... шатер ... с различными узоры красными ... мусиею исписано красно ... прехитрь бе

видением» (340). Даже убитых автор обозначал как прекрасных: «мнози от обою страну падоша, аки цветы прекраснии» (468). Слышались «гласы прекрасно поющих» (394). Персонажи, естественно, хотели, «да токмо живы были вси и красный свет видели» (520).

Почему автор так напирал на красоту мира и событий, даже ужасных? Потому, что он хотел, чтобы его повесть была красивой, о чем и заявил с первых строк своего произведения: «Красныя убо и новыя повести сея достоинь намъ радостно послушати, о христоимянитим людие» (300).

Больше того, автор хотел, чтобы его повесть была приятной для чтения и слушания — «сладкой»: «внимайте разумно сладкия сия повести» (300). «Сладостность» же повести заключалась не только в красности описаний, но и в ритмичности авторского повествования, регулярно возникающей на протяжении всей «Казанской истории» («ритмическую организацию» текста вскользь отметила Н. В. Трофимова).

И действительно, ритмичность возникала оттого, что автор писал преимущественно короткими фразами, а четко ритмичным изложение становилось в случае равенства ударных слов в соседних фразах и при параллелизме их структуры. Самыми употребительными были пары фраз, каждая из пяти ударных слов. Например:

бѣ бо цѣрь по премно́гу мѣ любѣ,
и велмо́жи е́го паче ме́ры бре́гуще мѣ (302).

Или:

и обрати́ся боле́знь е́го на главу́ е́го
и на ве́рхъ е́го сниде́ неправда е́го

Не менее часто в повествование вкраплялись параллельные фразы из четырех ударных слов:

и распуди́т, я́ко во́лкъ о́вцы,
и прида́вит, я́ко мышѣ́й горноста́й,
и прие́сть, а́ки ку́ры лиси́ца

Вряд ли автор на пальцах считал количество ударений во фразах, довольствуясь их относительной ритмичностью на слух. Поэтому в ритмическое изложение вкрадывались различные неправильности, а также неясности деления на фразы.

Сказание въкратце
от начала царства Казанского
и о бранех и о победахъ
великих князей московских
со цари казанскими,
и о взятие царства Казани,
еже ново бысть (300).

Автор стремился к красивой «сладостности» своего повествования независимо от затрагиваемых тем и ценил сладкоречие других людей, прежде всего русского царя («сладокъ речию», «сладостная ... словеса московского самодержца» — 360, 474) и русских и казанских вельмож («увещеваху ... словесы сладкими» — 416).

Откуда у автора «Казанской истории» могла появиться столь необычная для древнерусской литературы почти что стихотворная манера исторического повествования? На влияние русского фольклора все это как-то не похоже. Рискнем выдвинуть одно предположение. Автор, по его признанию, провел 20 лет в казанском плену при казанском царе Сафа-Гирее и «часто и прилежно» расспрашивал «мудръствующих честнейшихъ казанцев» и слышал «слово изо усть от царя ... и отъ вельмож его» об истории Казани и Руси (302). Это «слово» могло оказаться поэтическим, как было принято на Востоке. В связи с этим хорошо бы сопоставить с «Казанской историей» поэзию казанского поэта М. Х. Мухаммадьера, зрителя усыпальницы хана Мухаммад-Амина, а также поэзию Кулшерифа, главы мусульманского духовенства Казани. Оба «вельможи» погибли при взятии Казани в 1552 г.

Как бы то ни было, «Казанская история» родилась как невиданный спаянный «сладостный» литературный цикл, полупоэма на историческую тему.

Встает вопрос: почему только через десять с лишним лет после взятия Казани понадобилось так искусно воспевать это событие? Одно из возможных объяснений: именно в 1560-х годах в Москве стала формироваться официальная, даже, может быть, придворная литература, направленная и на просветительство народа в нужном духе. Автор «Казанской истории», побывавший казанским придворным, по-своему попытался участвовать в этом процессе и, пожалуй, оказался предтечей придворного поэта XVII в. Симеона Полоцкого, его «сладостных» стихотворных циклов и пьес. Но между автором «Казанской истории»

и Симеоном Полоцким зияло больше сотни лет, так как процесс формирования придворной литературы был прерван опричниной, кризисом царской власти и Смутой.

«Летописная книжица»: украшенный цикл

Это любопытное произведение внимательно исследовало немало ученых (особенно С. Ф. Платонов, А. С. Орлов, Н. К. Гудзий, О. А. Державина, а в последнее время И. Ю. Серова), которые приписывали «Летописную книжицу» разным авторам, но, кажется, остановились на С. И. Шаховском и на 1626 г. как времени создания произведения. Мы же займемся более поздней Краткой редакцией произведения, подправленного неведомо кем в конце 1620-х годов (этим временем датируется самый ранний из списков Краткой редакции) и превратившегося в отчетливый литературный цикл.

Краткая редакция «Летописной книжицы» делится на девять разделов, разных по величине: 1) начальное изложение, без заголовка: «Царство Московское, его ж именуют от давних векъ Великая Росия...» — 358; 2) «Повесть сказуема о томъ прозванномъ царевиче Дмитрее» — 366; 3) «Укоры и поносы оному проклятому Ростриге...» — 376; 4) продолжение «Повести сказуемой», без заголовка: «Оставимъ ж сия и возвратимся на первая» — 378; 5) горестные восклицания и вопрошания: «Оле, великое падение бысть и убийство!...» — 408; 6) продолжение «Повести сказуемой», без заголовка: «И тако разрушенна бысть превеликая Москва...» — 410; 7) «Написание вкратце о царех московских и о образехъ ихъ...» — 422; 8) стихотворное «Двоестрочие» — 424; 9) автор о себе, без заголовка: «Изложена бысть сия книжица летописная ... Семеном Шеховскимъ...» — 426².

Основу «Летописной книжицы» составила «Повесть сказуема», что и засвидетельствовано в виршевом «Двоестрочии»:

Изложена бысть сия летописная книга
О походе чюдовского мниха (424).

Вся «Повесть сказуема» составлена из эпизодов, обычно отделяемых друг от друга обозначениями последовательности событий («и посемь», «и потом», «в то жь время», «помалу ж», «малу ж времени минувшу» «последи же», «во един жь день», «в десятый же день» и т. п.), в том числе описаниями наступившего времени суток или времени года («наутро», «уже зиме прошедши»). Кроме того, эпизоды

нередко отделены бывают упоминаниями о слышании вестей («слышано бысть сия», «вниде же сие во уши») и просто при переходе к уже упомянутым персонажам («той ж преждереченный», «впредреченный ж»).

Все эти разнообразные, но лаконичные вступительные фразы свидетельствуют о старании автора Краткой редакции составлять единый связный рассказ, а не резко членить текст на эпизоды.

Исследователи уже давно отметили склонность С. И. Шаховского к литературному украшателству своего труда, что сохранилось и в Краткой редакции «Летописной книжицы». Украшений, действительно, множество; однако они скромны и не очень заметны. Автор часто использовал лишь одиночные усиления, редко когда заполняющие всю фразу или весь эпизод; вот редкий пример: «составиша брань *велью зело*. И тако бысть брань по двою дню *непрременно, много* падения бысть и убийство *великое*... ополчениемъ *жестоким* нападоша ... *безчисленно* людей побивают» и т. д. (388).

Исключительно часто автор употреблял рифмованные фразы, как правило, только двустрочные, с глагольными рифмами, но с разным количеством слов в строке, — как получилось сказать. Только иногда вдруг составлялось что-то похожее на силлабическое стихотворение. Так, уже в начале можно обнаружить наборы из трех-, четырех- и пятисловных двустрочий:

и в канбаны тяжкия бити,
и молебныя гласы приносити (364);

во уши его ложное приношаху,
радостно того послушати желяху (362);

уклони мысль свою на крестьяньское убиение
и простре десницу свою на несытное грабление (360).

Реже всего употреблялись сочетания определений, притом всегда только двойные, не больше, — типа «тихо и безмятежно», «здрavo и весело», «злохищный и прелестный», «скверно и нечисто» и т. п.

Цель автора состояла в придании лишь легкой выразительности своему книжному изложению, и то лишь местами, потому что главной заботой автора была связность всех рассказов в непрерывное целое с начала и до конца. Поэтому все произведение пронизывали сквозные повторы различных выражений («семя и овамо», «никако сего ужасе-

ся», «воздвигоша гласы своя», «простре руку свою», «повеле войску своему препоясаться на брань ... и спустиша брань велию зело», «кровавыи мечи» и пр.).

Характерно, что автор не вдавался в подробности многочисленных сражений, а заменял их одним и тем же штампом (типичный пример: «И дань плить жесточайше ... падают трупия мертвых семо и овамо ... усты меча гоня... И покрыся земля ночью тмою, и тако преста брань» — 370. Ср. 372, 386, 388, 390, 396, 402, 416). С. И. Шаховской, судя по его биографии, был хорошо знаком с военным делом. Однако в данном случае он, по-видимому, предпочитал «кратким словомъ рещи» (ср. 360, 386, 426) только о главной последовательности событий Смуты.

Краткая редакция «Летописной книжицы» тем более усилила эту тенденцию к осмыслению именно общей истории Смутного времени в целом и превратилась в слитный нарядный литературный цикл, в своего рода праздничный стенд, посвященный прошедшим событиям, ведь исторический труд в то время не мыслился без традиционных экспрессивных украшений.

Заметки о циклах в «Житии» протопопа Аввакума и в «Пустозерском сборнике»

После почти столетней череды работ о литературном творчестве Аввакума (от исследований В. В. Виноградова, В. Е. Гусева, А. Н. Робинсона, Д. С. Лихачева, Н. С. Демковой, В. С. Румянцевой, В. В. Колесова, А. С. Елеонской, М. Б. Плюхановой и до сравнительно недавних работ Д. С. Менделеевой и О. А. Туфановой) осталась возможность вносить лишь небольшие добавления в характеристику Аввакума как писателя.

Что интересного может дать изучение циклов рассказов в «Житии» Аввакума? В том, что «Житие» (берем редакцию А) было составлено именно из циклов, сомнений нет. Большинство своих рассказов Аввакум выделял специфическими вступительными выражениями («егда», «таже», «в то же время», «посем», «потом», «после того», «тут же» и пр.) и нравоучительными концовками, помяная и восхваляя Бога и Христа или проклиная «никониян». Эти рассказы Аввакум называл «повестями». Рассказы-«повести» Аввакум группировал по темам, — то о затмениях солнца, то о преследованиях себя «начальниками», то о бедах в сибирской ссылке, то об исцелении «бешеных», то об уговорах его в Москве властями, то о казнях сторонников раскола и др. Рассказы

внутри цикла связывались также сходными деталями и сходной, но варьирующейся фразеологией. Рассказы внутри цикла отделялись друг от друга и одиночными рассказами-отступлениями на иную тему.

Циклическая структура повествования видна уже с самого начала собственно «Жития» — например, в цикле из пяти рассказов об агрессивности Аввакумова окружения почти каждый рассказ имеет сравнительно четкие границы, начало и концовку: «А се по мале времени» — «а я молитву говорю в то время»; «таже ... во ино время» — «благодать ... да будет!»; «в то же время» — «так-то Бог строит своя люди»; «на первое возвратимся. Таже» — «и так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать»; «после паки» — «езде от дьявола житья нет»³.

И главное, эти рассказы связывались в реальный цикл благодаря повторению сходных экспрессивных выражений: «начальник ... воздвиг на мя бурю» — «дьявол и паки воздвиг на мя бурю»; «ин начальник ... на мя рассвирепел» — «ин начальник на мя рассвирепел»; «велел меня бросить в Волгу» — «меня ... бросили под избной угол»; «до смерти меня задавили» — «замертва убили»; «аз прибрел к Москве» — «аз же сволокся к Москве» и т. д.

Особенностью получившихся циклов в «Житии» была резкая неожиданность сюжетов внутри цикла, хотя рассказы Аввакум подбирал на одну общую тему. Так и в вышеприведенном цикле о нападениях на Аввакума: один начальник, по-видимому, насильник («у вдовы начальник отнял дочь»); другой начальник — кусается, как пес; третий — сторонник «новизы» («велел благословить сына своего ... бритобратца», имевшего «блудолюбный образ»); четвертый начальник — вдруг раскаивается и пр.

Не трудно убедиться, что прямых источников у Аввакума не было: в отличие от циклов в старых летописях, циклы в «Житии» Аввакума разнообразны, а в отличие от циклов в традиционных житиях с чудесами, рассказы Аввакума внутри цикла сюжетно неожиданны. Правда, начиная с XV в. эпизодически уже появлялись повести с сюжетно неожиданными эпизодами из жизни героя («Повесть о Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Горе-Злочастии»), но никакой непосредственной связи у Аввакума с этими повестями не было.

Главной причиной своеобразия Аввакума явилась небывало тесная близость к слушателям и читателям его «Жития», давно замеченная исследователями. Ведь писал Аввакум свое «Житие» в первую

очередь для своего соседа в пустозерской ссылке старца Епифания и для некоего «раба Христова», а также для хорошо знакомых ему сподвижников.

Добавим, что Аввакум явно старался, чтобы его читателям и слушателям не становилось скучно («аще не поскучите послушать ... и то возвещу вам» — 49), и потому регулярно сокращал изложение («аз кратко помянул»; «тово всево много говорить»; «много писано было»; «кое-что было»; «говорить о том полно» и т. п.), а также извинялся перед слушателями при необходимости продолжить повествование (например: «простите... — еще вам... побеседую» — 67; «простите меня... а однако уже розвякался, — еще вам повесть скажу» — 72).

Каждый рассказ в цикле, как правило, был внутренне контрастен (склонность Аввакума к контрастам и противопоставлениям отметила Н. С. Демкова). Но все они, кажется, восходили к общей идее: течение жизни, по Аввакуму, неожиданно и непредвидимо (ср.: «что Бог даст, то и будет» — 43, редакция В; «то ведает Он, — воля Ево» — 56).

Но самое любопытное вот что: все циклы, все «Житие» пронизывали одинаковые сквозные словесные и фразеологические повторы. Укажем четыре самых частых экспрессивных мотива. Буквально все «Житие» «прошивает» мотив плача: от горя, от жалости или от раскаяния плачут и рыдают, «плачючи живут» почти все персонажи «Жития», даже некоторые «никониане», в том числе самые злобные. Плакали подолгу («часа с три плачючи» — 20; «часа с три плачет» — 57; «рыдав на мног час» — 68; «и ходит, и плачет, а с кем мольт ... яко плачет» — 58; «плакать стала всегда» — 73; и пр.).

Другой сквозной мотив: персонажи «бредут» в прямом и в переносном смысле («побрели, амо же Бог наставит» — 24; «бредет-бредет, да и повалится» — 38; «и так далеко забрел» — 45; «бреду-таки впредь» — 56; и мн. др.).

Третий мотив: Аввакума все время «бросают» и «кидают» («в темницу ... бросили» — 20; «на чеи кинули в темную полатку» — 28; «на беть кинули ... кинули меня в лотку ... в тюрьму кинули» — 32; «велел кинуть в студеную тюрьму» — 34; и т. д.)

Четвертый, патетически варьируемый мотив — смерть («отгыде к Богу ... скончались богоугодне» — 23; «скончались о Христе Иусе» — 58; «от земных на небесная взыде ... пошел себе ко Владыке» — 62; «присвоит к себе жених небесный в чертог свой» — 54; «венец тернов на главу ему там возложили ... и уморили» — 28; и т. п.).

За этими мотивами стояло у Аввакума ощущение «лютого времени», трагической обреченности «правоверных»⁴. Аввакум всех их жалел — все они у него «миленькие».

Но с точки зрения циклообразования «Житие» Аввакума превратилось, так сказать, в единый мегацикл с развивающимся сюжетом, разносторонне содержательный, где нашлось место разным иным сквозным мотивам, в том числе ободряющим и умиротворенным. Так, Аввакум постоянно обращался к теме людской «доброты»: «много добрых людей знаю» (57); «учинились добры до меня» (25); «каковы были добры!» (48); «и тогда мне делал добро» (29); «гораздо Еремей разумен и добр человек» (42); «доброй прикащик человек» (45); и др. Свои отчаянные рассказы Аввакум нередко завершал успокоительно: «на душе добро» (33); «да уж добро, — быть тому так» (63); «ей, добро так» (69); «ино и добро» (72).

Многолинейность рассказов «Жития» недаром навела некоторых исследователей (В. Е. Гусев, В. В. Кожин) на сходство этого сочинения с романом. Однако цикличность как литературная форма получилась у Аввакума в известной степени еще неосознанно, и корни ее, наверное, надо искать в еще неисследованной манере устных повествований у старообрядцев того времени.

И вот что еще интересно: мегациклическое «Житие» Аввакума, в свою очередь, вошло в состав мини-цикла произведений в «Пустозерском сборнике», где вслед за «Житием» Аввакума (редакция В) следовали «Житие» Епифания и комментарии Аввакума к библейской книге Бытие. Сочинения Аввакума и Епифания, несмотря на их несходство, все-таки связались в некий мини-цикл благодаря переключке мотивов и выражений. Это особенно заметно в началах и концах повествований об их жизни. Так, и Аввакум, и Епифаний начали свои сочинения с упоминаний о месте рождения, о родителях и их смерти, о переселении и о продолжительности церковной деятельности. Аввакум: «Рождение же мое ... в селе Григорове. Отец ми... матери... Потом матери моя овдовела... Посем матери моя отъиде к Богу... Аз же от изгнания преселихся во ино место»⁵. Епифаний: «Родился я в деревне. И как скончались отец мой и матери моя, и азъ, грешный, идох во град некий ... и идох ... во святую обитель Соловецкую»⁶.

Затем о продолжительности церковной деятельности. Аввакум: «Рукоположен во дьяконы двадцети лет з годом; и по дву летех в попы поставлен; живыи въ попехъ осмь летъ ... тому дватцеть летъ минуло, и

всего тридцать лет, как священство имею» (18). Епифаний: «...возложили на мя свягый иноческий образ. И в том иноческом образе сподобил мя Бог быти... пять лет, и всего двенадцать летъ былъ у нихъ» (81).

Сходны и окончания обоих «Житий». Аввакум: «Ну, старецъ, моево вяканья много ветъ ты слышалъ ... напиши и ты ... слушай ж, что говорю ... а мы за чтущих и послушающихъ станемъ Бога молить» (80). Епифаний: «А я, грешной, должень о васъ молитися — о чтущих, и о слушающих, и о преписующих сие» (окончание первой части, 91); «ну, чадо мое ... сказано тебе мое житие ... и ты твори тако же. Да и всемъ то же говорю ... чтущии и слышашии сия вся» (окончание второй части, 137—138).

Переклички иных тем с их фразеологией также связывают оба «Жития». Вот оба узника в темнице. Аввакум: «Таже осыпали нас землею» (59). Епифаний: «осыпаша в темницах землею» (131).

Очень похожи рассказы о снах. Аввакум: «Время ж яко полнощи... И падох на землю ... и забыхся лежа ... а очи сердечнии при реке Волге. Вижу... Юноша светель ... отвещал... И я ... рассуждаю... И что будетъ, плавание?» (18—19). Епифаний: «мнить ми ся в полунощи, возлегшу ми опочивати ... и сведохся абие въ сон мал. И вижю ... сердечными очима... старецъ Ефросин... Аз же ... помышляя в себе... Что хощет быти се?... Преподобный же Ефросин светлым лицом ... рече ми...» (118). В «Житии» Ефросина не раз повторяются аналогичные рассказы о снах с теми же вопросами: «Что се бысть?» (123); «что се хощет быти?» (127); «что се будет видение?» (133).

Наконец, мелкие соответствия можно найти в разных местах обоих «Житий». Например, о бесах. Аввакум: «единъ бесъ в хижу мою вошед ... и исчезе» (71); Епифаний: «внидоша в келию ко мне два беса ... и не весть камо ищезоша» (86). О бесноватых — Аввакум: «Соблудил в велик день ... да и взбесился. Жена ево сказывала» (65); Епифаний: «соблудил со женою своею... О сем сказа жена его последи. Бесъ же ... до смерти удавилъ» (83). Моление к небу: «а я, на небо глядя, кричу: “Господи...”»; «и кричу: “Владычице...”» (Аввакум, 28, 32); «и начахъ вопити къ Богородице, зря на небо» (Епифаний, 85).

Как объяснить эти сходства? Вроде бы они указывают на зависимость Епифания от Аввакума. Ведь в «Житии» Епифания обнаруживаются параллели к разным редакциям «Жития» Аввакума. Так, только в редакции В у Аввакума находится рассказ со фразой: «А се согрелся сердце мое во мне, ринулся с места...» (74). У Епифания: «И возгоре-

ся сердце мое ... и ударился три кона о землю» (129). Зато в редакции В нет, а в редакции А есть обращение Аввакума к единомышленникам: «Ну-тко, правоверне ... вот тебе царство небесное...» (65—66). Сходно у Епифания: «Ну, чадо. Вот тебе сказано...» (121).

Однако в общей массе сильно различающихся текстов «Житий» Аввакума и Епифания отмеченные сходства настолько мелки и немногочисленны, да и не похожи дословно, что вернее было бы предположить лишь небольшое взаимовлияние агиографов друг на друга и, скорее, преобладающее воздействие некоей устной повествовательной традиции у старообрядцев на обоих авторов, которые и писали-то свои сочинения, в сущности, одновременно. Эта традиция (ее надо изучать на более широком материале) была порождена потребностью изъясняться просто и понятно, о чем в «Пустозерском сборнике» признавались и Аввакум, и Епифаний. Аввакум специально оговаривал после своего «Жития» и комментариев к книге Бытия, которые служили образцами простого стиля: «не позазрите просторечию нашему ... виршами философскими не обыкъ речи красить... Я и не брегу о красноречии» (112). Епифаний придерживался той же позиции: «не позазрите ... простоте моей, понеже грамотикии и философии не учился... А что скажу вам просто, и вы ... исыправте» (81), «ну, чадо, ... не позазри простоте моей, понеж азъ грамотикии и философии ... не учился... И что обрящеши просто и неисыправлено, и ты собою исправь» (114. То есть в отличие от Аввакума Епифаний все-таки не всецело был предан совсем простому стилю — это и видно из его призывов «исправлять» написанное и из текста самого «Жития»).

В целом же, «Жития» Аввакума и Епифания в «Пустозерском сборнике» знаменовали появление циклов свободного типа, сознательно связанных в основном только тематически и идейно.

В общем, циклы в древнерусской литературе существовали всегда, но очень менялись социально.

Примечания

¹ «Казанская история» цитируется по кн.: ПЛРД: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 370. Далее страницы указываются в скобках.

² «Летописная книжица» цитируется по кн.: ПЛРД: Конец XVI — начало XVII / Текст памятника подгот. Е. И. Дергачева-Скоп. М., 1987. С. 426. Далее страницы указываются в скобках.

³ «Житие» Аввакума цитируется по кн.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст «Жития» подгот. В. Е. Гусев. Иркутск, 1979. С. 24—26. Далее страницы указываются в скобках.

⁴ Подробнее см. в монографии: *Туфанова О. А.* Творчество Аввакума: Поэтика трагического. М., 2007.

⁵ «Пустозерский сборник» цитируется по кн.: Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Текст «Жития» Аввакума подгот. Н. С. Демкова. Л., 1975. С. 17—18. Далее страницы указываются в скобках.

⁶ Там же // Текст «Жития» Епифания подгот. Н. Ф. Дробленкова. С. 81. Далее страницы указываются в скобках.

«КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ»: ДВУЛИКИЙ АВТОР

Во второй половине XVI в. традиционное литературное творчество оказалось сопряжено с появлением невиданных феноменов. Один из таких любопытных памятников, который предстоит рассмотреть на этот раз целиком, называют по-разному: «Сказание», «Повесть», «История о Казанском царстве», «Казанская история», «Казанский летописец». Сочинение посвящено взятию Казани Иваном Грозным и является очень дельным и подробным обзором исторических событий, слегка приправленным соответствующей риторикой. Творение это огромно и содержит 101 главу, которым предшествует небольшое авторское вступление. По косвенным данным памятник удается датировать 1564—1565 гг., но автор его так и не установлен¹.

Уже сразу со вступления выделяется тема, одна из главнейших и самая интересная в «Казанской истории», — изображение Казанского царства и казанцев. Во вступлении автор дает общую характеристику Казани, обращая свои взоры «на *презлое* царство сарацинское, на *предивную* Казань»². Может озадачить совершенно откровенная противоречивость характеристики: Казань — одновременно и «презлая», но и «предивная». Эта положительная оценка Казани как «предивной» (не «дивной», а «предивной») тем более необычна, что дана она, так сказать, по высшему разряду: ведь эпитетом «предивный», не таким уж частым в древнерусских произведениях, обозначалось нечто, из ряда вон выходящее в области христианских ценностей, — предивные чудеса, предивные знамения, предивные чудотворцы (именно таково словопотребление от «Успенского сборника» XII—XIII вв. до «Степенной книги» XVI в.), а иногда так обозначались предивные строения Царьграда (например, в «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.», послужившей, кстати говоря, одним из источников «Казанской истории»). И этот-то «христианский» эпитет в «Казанской истории» вдруг оказался примененным к мусульманской Казани.

Еще более ясен подобный перенос «хорошего» символа на «плохой» объект в последующей общей характеристике Казани. Автор следующим образом говорит о расцвете Казанского царства как наследнике Золотой Орды: «И паки же возрасте царство и оживе, яко древо измершее от зимы солнцу обогрешу и *весне*. От злого древа, реку же, от Златыя Орды, злая ветвь произыде — Казань» (326, гл. 11). Казань — злая ветвь — это понятно. Но вот сравнение с весной всегда прилагалось к явлениям только положительным; да и в «Казанской истории» автор только что сходным образом выразился о Руси: «И тогда наша Руская земля освободися от ярма и покорения бусурманского и начать обновлятися, яко от зимы и на тихую *весну* прелегатися» (310, гл. 5). И вдруг «весна» перенесена на Казань.

Этот феномен не так-то прост и не охватывается каким-либо одним объяснением. В столь странном словоупотреблении нельзя только видеть отмеченное Д. С. Лихачевым «разительное нарушение литературного этикета» в «Казанской истории»³, потому что разрушение это произошло не стихийно, не механически, но и не из-за стремления автора к парадоксам. Разрушение этикета очень даже целенаправленно: на казанцев автор чаще всего переносит то, что пишет именно о русских. Так, например, «Казанская история» в разных ее главах содержит внешне не связанные друг с другом характеристики двух выдающихся воевод — казанского воеводы Аталыка и русского воеводы Симеона Микулинского. Хотя характеристика казанского воеводы, конечно, в общем, отрицательна, но она при всем том неожиданно пронизана массой положительных мотивов, перекликающихся с возвышенной характеристикой русского воеводы. Автор начинает характеристику казанского воеводы с особого эпитета — упоминания «*силнаго*» Аталыка (352, гл. 19), как потом и Симеон предстает «*силенъ*» (384, гл. 26); автор вспоминает «*похвалнаго* воеводу казанского» (352), и так же им оценен потом «*прехвалны...* воевода князь Симеон» (492, гл. 67). Подобные эпитеты можно было бы принять за объективные, не экспрессивные оценки качеств персонажей, если бы не совпадали и явно экспрессивные детали в их характеристиках, выражающие даже восхищение автора. У обоих воевод кони летают, словно крылатые: Аталыка «понесе конь его... аки *крилатъ*, конь его реку прелете» (352); у Симеона «коня его мнети, аки змия *крылата*, летающи выше знамень» (492). Обоих воевод автор хвалит за меткость: Аталык «стреляше версты дале в примету (попадал в цель больше чем за версту)» (354); и Симеон мог «на

обе руки стреляти в примету и не погрешити» (384). Обоим воеводам никто не может противостоять: Аталык таков, что обычный «русский воевода или воинъ противъ его выехати и с нимъ драться не смеяху» (354); Симеон тоже таков, что «противнии же... не могуще ни мало стояти противу его» (492). Обоих воевод страшатся: от Аталыка «страх наших обдержа» (357); от Симеона казанцы «страхом одержими» (492).

Однако автор «Казанской истории» вовсе не подчеркивал специально сходство Аталыка и Симеона. Напротив, эти воеводы в конечном счете получились противоположны обликом: у Аталыка «очи же его бяху кровавы» (354), а Симеон «радостень очима» (384); Аталык нападает «буявола» (354), а Симеон — «агела Божия» (492) и пр. Автор «Казанской истории» ввел в характеристику Аталыка специфические мотивы, напоминавшие не столько о Симеоне персонально, сколько о типично русских богатырях, вроде тех богатырей, которые изображены в «Повести о разорении Рязани Батыем», тоже использованной в «Казанской истории». Аталык в «Казанской истории» «наезжал... на сто человекъ удалых бойцов... и, многихъ убивъ... разсецаше *надвое и до седла*... Величина же его и ширина, аки *исполина*» (354); все это созвучно «Повести о разорении Рязани», где каждый из дружинников Евпатия Коловрата «ездя, бьяшеся един с тысящею», а сам Евпатий Коловрат, «*исполн* силою», «богатырей Батыевых побил, ових *на полы* пресекоша, а иных *до седла* краяше»⁴.

Если автор все же и находил общие черты у Симеона и Аталыка, то вовсе не обязательно было так повторять сходные детали и выражения в их характеристиках. Причина подобной манеры повествования, то есть переноса «русских» мотивов на казанцев, заключалась не в слепом разрушении литературного этикета, а в двуличности автора, в новизне представления автора о некоем сходстве русских и казанцев. Отражения этого представления многочисленны в повести. Поэтому некоторые положительные черты воеводы Симеона (да и прочих русских персонажей) автор не менее настойчиво отмечал хотя и не у Аталыка, но у казанцев тоже. Симеон «силень в *мужестве*» (384), «ратникъ бе велий и *мужественне* зело» (494, гл. 67); но и казанцы — «мало таковых людей *мужественных*... во всей вселенней обреташеся» (472, гл. 59). У Симеона красиво блестят доспехи и оружие: его видят «аки огненна всего яздыща на коне своемъ и мечъ и копие его, аки пламень, метающися...» (492); но и казанцы предстают «со блестящимся оружиемъ» (376, гл. 25). И, напротив, некоторыми отрицательными чертами

Аталыка и казанцев хотя и не Симсон, но русские обладают тоже. Аталык и казанцы свирепы, вид у Аталыка «аки у зверя или человекаядца» (354), казанцы выглядят «яко зверми... ис пустыни пришедшими» (368, гл. 23); но свирепы и русские воины, которые «рыскашу, яко зверие по пустынямъ» (524, гл. 83). Казанцы на войне грешат пьянством: «запивахуся до пияна и сняху сномъ крепким», это свойственно и Аталыку: «упившуся виномъ и не успевшу ему скоро от сна востати» (354); но и русские воины не прочь «упиватися без воздержания... и спати, яко мертвы» (336, гл. 14).

Представление автора повести о сходстве казанцев и русских не ограничивалось военной сферой. Фразеологически сходно и со сходными деталями описывал автор и совсем не воинских персонажей, казанских и русских, например, казанскую царицу Сумбеку (Сююн-Бике) и русскую царицу Анастасию (первую жену Ивана Грозного). Обе они горюют из-за ужасов войны, и в непосильном горе их поддерживают под руки: Сумбека «поддержима под руце рабынями ея» (412, гл. 38); Анастасию «сам царь супружницу свою рукама своима поддержаль» (452, гл. 52). Обе царицы горько плачут. Обоих цариц пытаются утешить: Анастасию царь «утешив... своими словесы» (452); Сумбеку тоже «увещеваху... ласковыми словесы» (416, гл. 39), «едва отляйша ю водою и утешаху ю (ее)» (412). Кстати, эпизод отливания рыдающей казанской царицы, которую «похватиша... от земли... мало не мертву», скорее всего, восходит к «Повести о разорении Рязани», где рязанского князя, от плача «лежаща на земли, яко мертвъ... едва отльеяша» (194). И тут «русский» мотив также перенесен автором на казанского персонажа.

Далее обе царицы обращаются к «драгим» своим мужьям. Сумбека, хотя говорит и причитает «речью варварскаго языка своего» (412), но, в передаче автора, совсем по русской традиции: «Кто... горкия слезы моя утолит...?» (414, гл. 38); так же плачет Анастасия: «что ми утолить мою горкую печаль?» (452). Обе царицы мечтают о почтовой птице, приносящей вести. Сумбека: «где возму птицу борзолетную... да возвестит случившаяся...?» (420, гл. 40); Анастасия: «кая птица во един час прилетит... и возвестит ми...» (452). Обе царицы не хотят видеть дневного света: Сумбека «в дому сидела... света дневнаго не зря» (420); Анастасия «припокрывся в полате своей... света дневнаго зрети не хотя» (452). Каждая из этих цариц напоминает птицу в гнезде: Сумбека напоминает «яко смирну птицу въ гнезде... в полатах ея» (410,

гл. 38); Анастасия «возвратися в *полаты* своя, аки ластовица во *гнездо* свое» (452). Женщины казанские вместе с Сумбекой плачут, «яко многия *горлицы*» (412, гл. 38); но и Анастасия плачет, «яко печальная *горлица*» (552, гл. 95). И т. д.

Представление автора о сходстве казанцев и русских распространялось на самые разные области, подчас неожиданные. Например, в повести сходно описывались редкостные события у казанцев и у русских. Так, о небывало дорогом изделии — о шитом золотом и драгоценностями шатре казанского царя автор сообщил, что «велиции купцы заморстии... *дивяшеся* хитрости его, глаголюще, яко: “*Несть* в наших заморских странах... узорочия такова, не слышено и *не видено* ни у коегождо *царя* или *кроля*”» (340, гл. 15). Но и о небывало торжественном шествии русского царя и его вельмож, одетых в золотые украшения и драгоценные наряды, автор сказал примерно то же: «вси послы же и купцы тако же *дивляхуся*, глаголюще, яко: “*Несть* мы *видали* ни в коих царствах, ни в своих, ни в чюжих, ни на коемъ же *царе*, ни на *королах* сицевыя красоты”» (548, гл. 93).

Автор «Казанской истории» время от времени и логически довольно прозрачно выражал свое представление о сходстве обеих сторон — казанцев и русских: «страшно бе видети *обоих* храбрости и мужества» (518, гл. 80); «мнози от *обою* страну падоша, аки цветы прекраснии» (468, гл. 58). Чаще всего это сходство понималось автором как некое равновесие сторон: «овогда убо мало державнии (правители) наши побеждаху казанцевъ, овогда же сами от нихъ болши сугубо побеждаеми бываху» (362, гл. 22); «яко не токмо спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ способствуетъ» (324, гл. 10). Казанский персонаж, в трактовке автора, мог обращаться за поддержкой к обеим верам вместе: так, казанский царь «втай небеснаго бога моляше по вере своей, но и русских святыхъ на помощь призываше» (376, гл. 25); другие мусульманские персонажи ссылались на учение обеих вер, на то, как сходно «пишют бо наши книги и христианския» (424, гл. 41). Иногда автор и сам не знал, чья вера воздействовала на события: «или Богъ тако сотвори, или волхвовање казанских волхвовъ сие бысть, — не вемъ» (388, гл. 27).

Казанские персонажи, по утверждениям автора, дорастали до русских: наши могут посочувствовать врагу-правителю, впавшему в несчастья, но «милуетъ бо и варваринъ, видя державнаго (русского правителя) злостражуща» (328, гл. 11); русские верно служат своему само-

держцу, но ему же может быть так же верен и иноверный: «много добра и велику помощь сотвори, служа и помогая самодержцу своему, аще и погань есть» (426, гл. 42).

Больше того, в отдельных случаях, по оценке автора, казанцы даже превосходят русских в верности: «и неверный варварь паче (лучше) наших верных сотвори» (346, гл. 17). Превосходят, бывает, и в военном искусстве: «учени бо суть измаилтяне от начала своего бранем, учатся от младенства сицевым... Темь (поэтому) силно не можемь противитися и много смиряемь пред ними» (364, гл. 22); ведь было и так, что «разгневася Господь на руских вой, отъят от них храбрость и мужество и даде поганымъ храбрость и мужество» (336, гл. 14). Наконец, еще одна область казанского превосходства — женская красота: так, казанская «царица та зело красна и в разуме премудра, яко не обрестися таковой красной в Казани в женах и в девицах, но и в руских во многих на Москве во дщерях и в женах болярских и княжых» (416, гл. 38).

Столь высокое и открыто высказываемое мнение автора об иноверных, о казанцах, и о взаимном сходстве казанцев и русских, особенно сходстве положительных черт у обеих сторон, совершенно необычно для древнерусской литературы и, в свою очередь, объясняется несколькими причинами. Одна причина — биографическая. Автор каким-то образом попал в плен к казанцам, долгое время, 20 лет, в привилегированном положении жил в Казани, о чем он не без удовольствия сообщил сам: «Грех же моих ради случи ми ся пленену быти варвары (то есть казанцами) и сведену в Казань. И дань бысть в дарех (в подарок) царю казанскому... И взять мя к себе царь с любовию служити во дворь свой и сотвори мя пред лицомъ своимъ стояти. И удержану ми бывшу тамо у него двадесять (двадцать) летъ в пленении... часто и прилежно от царя вопрошахъ (распрашивал царя) в веселии (при развлечениях) и при беседе со мною и мудръствующих честнейшихъ казанцев. Бе бо царь по премногу и меня любя, и велможи его паче меры брегуще мя» и пр. (302, гл. 1). Читал автор, вероятно, принявший ислам, и казанские летописи. Все это, надо думать, способствовало многочисленным благоприятным его оценкам Казани и казанцев.

Но авторские похвалы казанцам отнюдь не чрезмерны в произведении, которое гораздо больше осуждает иноверных, чем их хвалит. Автор, по его дальнейшему признанию, после взятия Казани возвращенный из плена, вновь принявший православие, определенный на царскую службу и пользовавшийся покровительством и любовью воеводы Симеона

Микулинского, явно следил за соотношением акцентов в своем произведении и временами оправдывался перед читателями: «Да никто же мя осудит от вас о семь, яко единовѣрных своих похуляюща и поганых же варваръ похваляюща» (492, гл. 67). То был слуга двух враждующих господ, обязанный уважительно говорить об обеих сторонах.

Похвалы Казани и казанцам допускались в большей степени все-таки не по биографической, а по идейным причинам. Ведь Казань и казанцы — это своего рода богатейший военный трофей Ивана Грозного, есть чем похвалиться: «в лета православнаго, и благочестиваго, и державнаго царя и великаго князя Иоанна Васильевича... всеа великия Росии самодержца, ему же дарова Богъ... предивную Казань» (300). Богатство этого трофея автор всячески живописал. Например, во время штурма Казани один из русских «некий же юноша воинъ... оружие наго держа в руках своих, кровию варварскою красеющися» вбежал «в мерское святилище Махметово, в мечеть цареву (то есть казанского царя)... чая тамо некое себе налести (обнаружить) богатство, еже и бысть. И... виде по стенамъ златотканная запоны (занавеси), на царских гробех — покровы драгия, саженья жемчюгомъ и каменiemъ драгимъ... до верха наставленных великих ларцевъ и коробей с рухломъ (добром) драгих (богатых) казанских велмож» и т. д. (528, гл. 85). Эти и иные дивные богатства Иван Грозный похвалил, «яко велика бе слава и красота царства сего», и лично осмотрел «очима своима самъ», велел переписать и «печатью своею запечатати» и поставил охрану (534, гл. 87). Хваленый трон казанского царя отослан в Москву, прекрасная Сумбека — тоже.

Еще одна идейная причина допущения положительных оценок в характеристики Казани была более широкой, чем прямолинейное любованье автора военными трофеями, и относилась уже к авторским историческим взглядам. Автор и без обращения к теме трофеев восхвалял Казань, потому что это прекрасное место, по его мнению, исконно находилось на Русской земле и лишь затем было захвачено «погаными»: то «место на Волге, на самой украине Руския земли... зело пренарочито (совершенно исключительное) — и скотопажно (пастбищно), и пчелисто, и всякими земляными семяны (злаками) родимо, и овощами преизобилно, и зверисто, и рыбно, и всякого угодия житейскаго полно — яко не обрестися другому такому месту по всей нашей Руской земли нигде же точному (похожему) красотою, и крепостию (целebностью), и угодием человеческим» (314, гл. 7). И далее в произведе-

нии неоднократно повторялась та же идея географической русскости Казани. Например: «И уведа царь и великий князь Иоанъ Васильевичъ, яко издавна стоить *на Руской его земли* царство срацынское Казань, по рускому же языку — Котель златое дно... казанстии царие тоя страны много *Руския земли* отъемше до сего нашего самодержца» (362, гл. 22).

Можно также предположить, что автор «Казанской истории» исходил из какого-то кодекса рыцарственности, который он распространял на обе стороны — казанцев и русских — в рассказах о делах воинских (эта догадка Э. Коннана⁵).

Однако в «Казанской истории» автором все же так густо, но не нарочито и без привязки только к рыцарственным или к иным определенным темам или лицам, использованы фразеологические параллели в рассказах о казанских и о русских персонажах, что объяснить такое всепроникающее явление лишь биографическими, политическими или сословными причинами оказывается недостаточно. Сходство казанских и русских персонажей ведет к более широкому явлению в мировоззрении автора повести, к его своеобразному «человековедческому» подходу к описываемым событиям, к его представлению о единой человеческой природе поведения всех людей вообще. Вот суть двуликости автора. Сходство казанцев и русских явилось у автора самым частым, однако как бы частным случаем общего человеческого сходства, которое составляют еще и упоминаемые в повести черемисы, ногайцы, турки, «фряги» (западноевропейцы), поляки, литовцы, немцы, датчане, шведы, англичане, греки, вплоть до совсем уж «иноземцев далних».

Автор и в самом деле постоянно думал об общечеловеческой основе поведения своих персонажей, неважно — русских или казанцев, и оттого он регулярно насыщал свое повествование о тех же русских или казанцах множеством философских сентенций о людях вообще. Хотя в подобной сентенциозности изложения у автора «Казанской истории» были серьезные предшественники, вроде «Хронографа 1512 г.», но все-таки эти обильные сентенции автор сочинял, цитировал или пересказывал, применяя к нужным случаям, сам. Автора интересовали преимущественно две, как сказали бы мы сейчас, проблемы человеческого поведения.

Первая — это проблема верности или же, напротив, предательства. У автора даже царь Иван Грозный возвещает общечеловеческий принцип: «Сладко бысть *всякому человеку* умрети за веру свою, паче же кому за христианскую святую» (446, гл. 48), — то есть поощряется благо-

родная верность каждого человека своей вере, причем, не обязательно вере христианской, хотя, конечно, лучше бы христианской. Сюда же относятся и использованные автором сентенции о верности вроде такого высказывания: «И болши сея любви несть ничто же, еже положити душу свою за господина своего или за друга» (382, гл. 25), — показательно, что эта мораль выведена автором из изложения внутриказанских дел, но по существу касается всех людей, включая и русских, и казанцев.

Немало сентенций автор направляет против всех русских и казанских предателей и изменников; например: «*всемь* изменникомъ, с лестию (коварством) и неправдою служащимъ государемъ своимъ, — им же да буди вечная мука» (534, гл. 86). Автор выясняет универсальные мотивы предательства, касающихся и русских, и казанцев, — это женская хитрость и подкуп: «И всегдашняя капля дождевная и жестокий камень пробиваетъ вскоре, а лщение женское снедаетъ премудрыя человеки» (330, гл. 12). Имеются в виду «премудрыя человеки» как у русских, так и у казанцев; «и намъ мнится, яко сильнейши есть злато вой безчисленных, жестокаго бо умяхчеваеть, мяхкосердное ожесточеваетъ, и слышати глуха творить, и слепа — видети» (354, гл. 19), опять-таки, хотя и неявно, речь идет о всех людях вообще. Предательство и усобицы ведут к гибели государства; тут автор ссылался на Евангелие: «Божие слово рече во Евангелии: “Аще кое царство станеть само на ся, то вскоре разорится”» (382, гл. 26), — автор подразумевал любое царство, подчиняющееся этому всеобщему закону. Однако надо сказать, что предательство автор осуждал не абстрактно, а переживал, конечно, больше по отношению к Руси и христианству и общечеловеческие истины чаще выводил на основе русских обстоятельств: «несть мочно и лзе просту *человеку* со змием дружитися, и кормити его от руку своєю всегда... и приучити в пазусе (за пазухой) носити и не сненду быти от него... Тако и от злаго слуги своего, невернаго раба иноязычнаго, не мочно есть ухранитися и убрещися у него» и пр. (428, гл. 43).

Вторая проблема, которой автор посвятил многие свои сентенции, — это общие основы деятельности всех людей. В делах главное — угодить Богу. Автор снова ссылается на святые книги: «Писано во святых книгахъ: “Во всяком языке творяи волю Божию и делаяи правду, приятень ему есть”» (428, гл. 42); «но что может *человекъ* сотворити, аще не Богъ попустит его» (498, гл. 69), — речь опять идет о любых народах и любом человеке, но, правда, Бог подразумевается христианский.

По автору «Казанской истории», общечеловеческая основа поведения — прежде всего христианская. Но в этих пределах находится большое поле общности самых разных народов и людей: «всяк бо человекъ, иже в скорбехъ возрасте и в бедахъ множественных, всемъ искусень бывает и можетъ многостражушим в напастех спомогати» (360, гл. 22); «и весте сами боле мене: кто венчается (ублаговоряется) без труда? Земледелец убо тружается с печалию и со слезами, жнеть бо веселиемъ и радостию. И купец тако же...» и т. д. (490, гл. 66). Деятельную жизнь всех людей пресекает смерть: «Но, о прегоркая смерти злая, не милующа красоты человека, ни храбра мужа шадящи, ни богата почитающи, ни царя... но вся равно от жития сего поемлющи и в трилакотнемъ (трехлокотном) гробе темнем полагаше» (492, гл. 67), — все это верно для всех, но упоминание именно гроба свидетельствует опять-таки о христианах.

Автор «Казанской истории» не только писал большой исторический труд, но многое видел, много читал и размышлял по поводу событий; эти размышления привели его к некоей несистематизированной «философии» общечеловеческого сходства, тем не менее определившей беспрецедентные литературные особенности его произведения — смелое преобразование литературного этикета и этническое расширение содержания традиционных сентенций и символов⁶.

За сто лет до автора «Казанской истории» тоже надолго оказавшийся в иноверной среде Афанасий Никитин лишь метался в своем «Хождении за три моря» от православного отрешенного взгляда на чуждые народы и веры к высказываемой им по-тюркски более дружественной точке зрения на буддистов и мусульман и, кажется, склонялся к смутной идее единого бога для всех народов. На этом фоне видно, насколько изощреннее в литературном отношении, опытнее, зрелее был автор «Казанской истории», который хорошо вписался в начавшийся с XV в. на Руси процесс литературного приятия явно чуждых, даже враждебных нам правителей и народов поездившими за рубеж, бывалыми людьми, состоявшими на царской службе («Сказание о Дракуле, воеводе мутьянском» Федора Курицына, «Сказание о Магмете-Салтане» Ивана Пересвета). На «Казанской истории» в XVI в. этот процесс не закончился (ср. «Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков»). Нараставшая активность контактов, по-видимому, способствовала упрочению в России XVI в. писательских представлений о том, что страшные иноземные злодеи и отвратительные иноверцы в чем-то такие же люди, как и мы.

Примечания

¹ См.: Волкова Т. Ф. Казанская история // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 451.

² ПЛДР. Т. 7 / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 300. Далее страницы указываются в скобках.

³ Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 365, 369. Современная исследовательница отмечает в «Казанской истории» «ценностные оксюмороны» и «проявление несогласованного многоголосия» (Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 179, 199).

⁴ ПЛДР. Т. 3 / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1981. С. 192.

⁵ См. об этом: Лихачев Д. С. Указ. соч. Т. 1. С. 368—369; Плюханова М. Б. Указ. соч. С. 180—181.

⁶ Ср. подразумеваемый автором «символический статус Казани как источника русского царения» (Плюханова М. Б. Указ. соч. С. 188).

**ДРЕВНЕРУССКОЕ ВИТИЙСТВО
В ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI — НАЧАЛА XVII ВВ.
(«Степенная книга, «Пискаревский летописец»,
«Временник» Ивана Тимофеева)**

«Степенная книга»

Витиеватая, усложненная манера изложения в русской литературе XIV—XV вв. («плетение словес») быстро заместилась иным витийством в течение полувека — со второй половины XVI в. по начало XVII в.

Среди летописно-исторических произведений стилистические изменения прокрались уже в «Степенную книгу» 1563 г., вроде бы витийственную еще по-старому. Но уже Д. С. Лихачев отмечал повышенную искусственность стиля «Степенной книги». В связи с этим рассмотрим предисловия к большим частям книги, сочиненные ее составителем.

Вот предисловие ко всей книге, обладающее своим отдельным заголовком: «Сказание о святемъ благочестии росийскихъ началодержецъ...». Первая фраза этого предисловия крайне длинна и запутанна: «Книга степенна царскаго родословия, иже въ Русей земли въ благочестии просиявшихъ, богоутверженныхъ скипетродержателей, иже бяху отъ Бога, яко райская дрeвеса, насаждени при исходящихъ водь, и правовериемъ напаяеми, богоразумиемъ и благодатию возрастаеми, и божественою славою осияеаеми, явишася, яко садь доброраслень, и красень листвиемъ, и благоцветущъ, многоплодень же, и зрель, и благоухания исполненъ, великъ же, и высоковерхъ, и многочаднымъ рождиемъ, яко светлозрачными ветвми разширяемъ, богоугодными добродетельми преспеваемъ; и мнози отъ корени и отъ ветвей многообразными подвиги, яко златыми степенми на небо восходную лествицу непоколеблему водрузиша, по ней же невозбранень къ Богу восходь утвердиша себе же и сушимъ по нихъ» (ч. 1, с. 5)¹.

Каркас фразы: «Книга ... родословия ... вь Рустей земли ... скипетродержателей, иже ... явишася ... и мнози ... на небо ... лествицу ... водрузиша...». Дополнительное словесное обогащение данного каркаса сводится к трем основным ингредиентам. Во-первых, витийственно утяжеляет фразу развернутое сравнение юриковичей с большим садом: русские «скипетродержатели» «яко ... *древеса* насаждени ... напаяеми ... возрастаеми ... *яко садъ* доброраслень, и красень *листвиемъ*, и благоцветущъ, многоплодень же, и зрель, и благоухания исполнень, великъ же, и высоковерхъ ... *яко ... ветви* разширяемъ ... отъ *корени* и отъ *ветвей*...».

Во-вторых, украшенной фразу делают многочисленные положительные единоначатия «благо-», «бого-», «много-»: «въ *благочестии* ... *благодатию* ... *благоцветущъ* ... *благоухания*...»; «*богоутверженныхъ* ... *богоразумиемъ* ... *богоугодными*...»; «*многоплодень* ... *многочаднымъ* ... *многообразными*...» и т. д.

В-третьих, витийственности содействует конфигурация из синонимичных или ассоциативно близких слов и выражений, тоже положительных, — «сиять», «свет»; «расти» «восходить»: «*просиявшихъ* ... *осияваеми* ... *светлозрчными* ... *златыми*...»; «*возрастаеми* ... *доброраслень*»; «*восходную* лествицу *непоколеблему* ... *восходъ утвердиши* ... на небо ... къ Богу...».

Однако структура этой роскошной вступительной фразы такова, что части сравнения, родственные слова и единоначатия не сцеплены в тексте в один ряд, а рассеяны только поодиночке. В отличие от «орнаментальных» похвал XIV—XV вв., автора XVI в. привлекал не «невыразимый» смысл единообразной похвалы, а обозначение множественности достоинств «скипетродержателей», подобно множеству листьев на ветке, веток и цветов на дереве, деревьев в саду, садов в раю. Можно предположить, что мелочная витийственность автора «Стенной книги» была иного типа, чем в предыдущие века. Недаром дальше во вступлении автор пояснил расчислительно-аналитическую особенность всего своего повествования: «Чюдныя же повести, ихъ же елико возмогохомъ отчасти изобрести, и сия zde въ книге сей степенми разчинены суть, и граньми объявлены, и главами съ титлами сказуеми».

В том, что «расчиненность» касалась не только композиции, но и стиля, убеждают вступления к последующим частям «Степенной книги», по которым можно увериться в желании автора многообразить свое перечислительное повествование: большие вступительные похва-

лы чередуются с их отсутствием у некоторых «степеней», а сами похвалы каждый раз строятся по-разному и этим отличаются от предыдущих вступлений. Так, после «Сказания о святемъ благочестии...» следует «Житие княгини Ольги», два вступления к которому уже почти не содержат словесных повторений, кроме двух четко разделенных похвальных символов, — сначала автором используется символика сосуда: «немощнейшаго *сосуда* женскаго состава... немощень бяше *сосудъ*... блюдомо есть *въ сосуде*... его же *сосуда* избра Господь» (6); потом — сравнение Ольги с садом со многими достоинствами — цветами, сладкими плодами, густотой, тенистостью: «чюдный *плодъ* благоцветущий ... таковый благоплодный царственный зрелый *садъ*... пресладкий ... и *добролиственный*, имъ же мы вси, яко *благосеннолиственнымъ древомъ* покрываеми ... пресладкаго вкуса ... насыщаеми...» (6—7).

Дальше, в «Первой степени», посвященной крестителю Руси князю Владимиру, риторическое объявление о множестве его достоинств было сконструировано автором уже совсем по-иному. Во-первых, длинным заголовком с различающимися похвальными эпитетами в адрес «блаженнаго, и достохвальнаго, и равноапостольнаго ... святого, и праведнаго Владимира ... како правоверно поживе ... благочестно упасе... непоколебимо утверди...» (58). Во-вторых, автор во вступительной первой главе подчеркнул предпринятую им небывалую сводность рассказов о Владимире, притом тех, которые «похвалами довольно украшены». Получилось что-то вроде сплетенного венка или букета: «И отъ всехъ сихъ, яко отъ многоразличныхъ цветецъ хотящу собратися во едину словесную пленицу ... многоразличная истинная поведания во едину повесть снискати» (58—59). В-третьих, ощущение богатства похвалы Владимиру автор усилил серией восклицаний к концу главы: «Сий Владимиръ — добляя благочестия ветвь! Сий Владимиръ — апостольский ревнитель! Сий Владимиръ — церковное утверждение! Сий Владимиръ — идольский разрушитель! Сий Владимиръ — благоверия проповедникъ! Сий Владимиръ — царская похвала! Вся того исправления — дивна! Того вся благочестивая проповедания — красна!» (60).

Далее, во вступительной главе к следующей, «Второй степени» (о Ярославе Мудром) риторические средства у автора опять сменились. После совсем краткого подзаголовка последовало изложение с преимущественным повторением единоначатия «благо-»: «О благоверномъ ... благоволениемъ ... благочестиемъ ... благопотребная ... благоразумнымъ ... благослови ... благодати ... благолепотная...» и т. д. (168);

а затем с повторением деэпричастий со сходными концовками: «имея ... последуя ... утвержая ... исправляя ... не умаляя, ни превращая ... наполняя ... наверхшая...» Торжественность!

Во вступительных главах остальных «степеней» автор как бы «отдыхал» от напряженного витийства и после кратких похвал князьям сразу переходил к изложению исторических фактов.

Витийственное оживление автор проявил лишь к концу «Степенной книги», примерно с «Одиннадцатой степени», да и то не во всех последующих «степенях» и без былого риторического богатства: во вступительной главе 1 «Одиннадцатой степени» (об отце Дмитрия Донского) чередовались эпитеты на «бого-» и «благо-» («*богохранимый ... благочестиваго ... благословеный ... богоугоднымъ ... благороднымъ ... богомудраго ... благоумных ... богохранимый...*» — ч. 2, с. 343); в главе 1 «Степени двенадцатой» (порядок слов изменился!) — о Дмитрии Донском — чередовались глагольные повторы «-аше» и «-ашеся» («*подвизашеся ... прилежаше... не творяше ... не любляше ... отвращашеся ... беседоваше ... послушаше ... почиташе ... печашеся ... держаше ... обреташеся ... бываше ... обдержашеся...*» — 393; затем: «*подражая ... похваляя ... прочитая ... торжествуя ... разгораяся ... тыщашеся...*» — 394). А в главе 1 «Степени пятнадцатой» — об Иване III — совсем без изысков следовали скопом однообразные повторы («*одолевающа ... побежающа ... разоряюща ... потребляюща ... пресекающа ... упражняюща ... покаряюща...*») и т. д. — 527). К концу книги витийственная изобретательность автора иссякла.

Разумеется, витийственность повествования была свойственна не только вступительным похвалам, но и историческим рассказам всей «Степенной книги»; однако фактографические «повести» и сообщения автор украшал иным главным способом, чем похвалы: там, где можно сказать кратко, даже одним словом, он писал пространно, однако с важным логическим устремлением — возвести конкретный факт или событие к какой-либо абстрактной категории, положительной или отрицательной. В качестве типичного примера можно взять любую часть «Степенной книги», в частности последнюю, «Степень семнадцатую» (об Иване Грозном), пожалуй, наиболее «летописную» и наименее пышную. Рассмотрим только первые девять ее глав, чего вполне достаточно для характеристики авторской манеры повествования о конкретных событиях. Витиеватость изложению придает авторское предпочтение отвлеченных существительных: «*молитвенная доброта*»,

«плод чрева», «наследникъ ... скипетродержания» (629); «юношество государское» (630); «въ братство ... прилагахуся», «гордостию взимаюся» (631); «мздою подгнети» (то есть подкупить, 632); «въ ненависть уклонишася» (634); «обнаженному телеснаго одеяния» (то есть нагой, 635); «сверепство ... огня» (637); «благословениемъ благостыннымъ благослови» (638); «на бегство ... устремилася» (672); «пожаловаль ... жалованьемъ» (675) и мн. др.

Счет шел на огромное количество отвлеченных категорий, относимых к жизни величественных персонажей «Степенной книги», — все автором было «разчинено», разделено и расчислено. Отсюда и небывалая густота подзаголовков в «Степенной книге». Так выработался относительно новый, аналитический тип витийства «высокого» стиля в историческом произведении, которое, кажется, осталось незаконченным.

«Пискаревский летописец»

«Пискаревский летописец» 1611—1613 гг. современные историки изучили обстоятельно (Я. Г. Солодкин, С. И. Хазанова), но для литературоведов он тоже может быть интересен своим специфическим стилем повествования. Правда, этот нетрадиционный для летописей стиль в «Пискаревском летописце» ясно наблюдается не везде, а преимущественно в предисловии и затем под 1534—1613 гг., начиная с рассказов о царствовании Ивана Грозного и далее о Смуте. Остается загадкой, сам ли составитель летописца писал в таком стиле, или же, как известно, будучи компилятором, переписал чьи-то чужие исторические сочинения. Так или иначе, но нам важен этот сам новоявленный стиль. На него обратил внимание М. Н. Тихомиров, определив его как записи по рассказам и устным преданиям, сплетням и слухам живой, почти проstonародной речью, как «своеобразный памфлет XVII столетия»².

Сразу видно, что это не книжный стиль, не пародирование его, но и не сплошное просторечие. Изложение отмеченной части «Пискаревского летописца» отличается странными «неправильностями», создающими впечатление витиеватости.

Некоторые слова и выражения уже в начале летописца необычно многозначны, как будто круг их значений не установился. Например, слово «сказание» и однокоренные с ним слова автор употреблял с разным расплывчатым смыслом. То имелось в виду содержание летописи («отселе разумей сказание в сей книзе»³); то «сказание» означало «знание» («на сказание и на мудрость человеком зачатие ... глаголю о

древних летех на сказание и на мудрость человеком ... на сказание и мудрость разумети человеком»); то, наконец, «сказание» больше означало «повествование» («а писание всяко о себе само да *сказует* ... приидем убо к древнему пророческому *сказанию* о сем ... слова не простираем и приидем к иному *сказанию*. Великий *сказатель* светлый во словесех Иоанн Богослов...»).

И все это смешалось у автора в кратком предисловии к летописцу. По-видимому, автор решил изъясняться «неправильным», даже «неграмотным» с книжной точки зрения, разговорным языком, не приспособленным для летописного повествования. Мешанина мешала ясности. Правда, для того, чтобы с уверенностью утверждать формирование подобного феномена витиеватого изложения, необходимо изучить обиходную русскую речь конца XVI — начала XVII в.; а это дело будущего. Пока же приходится довольствоваться правдоподобными предположениями.

Но составитель, возможно, действительно, различал стили простой и книжный. Так, в «своей» части летописи он отметил, что один из персонажей «такия слова простая глаголюще» (194, под 1581 г.), а другой персонаж «таки говорит по-книжному» (214, под 1610 г.).

Множество же «неправильных» выражений вперемешку с книжными (включая странные «двигательные» призывы: «уклонимся усердно сия книги держатися» — 31; «простиратися на почитание сея книги» — 32) внесло в повествование витиеватость иного рода, чем в «Степенной книге». Эта витиеватость была, так сказать, простонародной.

Употребление одного и того же слова в разных смыслах было характерно для составителя «Пискаревского летописца» и под 1534—1613 гг. Например, слово «прийти», означавшее «перейти, обратиться к чему-либо» в предисловии к летописной книге, далее могло значить «достичь», «добраться» («град крепок и запасен всем, понеже пришло море под стену его» — 193, под 1575 г.), а в другом месте — что-то вроде «впасть» (хоромы вдруг саморазрушились, и очевидцы «пришли во удивление о таком чудеси» — 215, под 1610 г.). Эти некнижные выражения тоже отличались витиеватостью от обычного летописного стиля.

Еще пример «неправильного» витиевато-экспрессивного словоупотребления в «Пискаревском летописце». Слово «неправда» означало «агрессия», «большое нападение», с которыми надо бороться (о литовском короле: «воевати за королеву неправду ... татар наводит»; «против

его неправды ... от насилия боронити» — 168, под 1535 г.); затем — «злодейские заговорщицкие планы» («меж ими многие неправды говорили» — 171, под 1537 г.). Слово же «правда» вовсе не противопоставлялось «неправде» и имело значение «полное оправдание» («правда дати князю» — 172, под 1537 г.), но тут же — «твердое обещание» («царь забыл своей правды и дружбы» — 173, под 1541 г.). Об исторических событиях автор старался рассказать не книжно и не просторечно, а каким-то неуклюжим, возможно, приказным языком. Недаром Я. Г. Солодкин (вслед за О. А. Яковлевой и М. Н. Тихомировым) предположил, что составителем «Пискаревского летописца» был «московский приказной человек»⁴.

Приказной язык конца XVI—XVII в. также почти не изучен; так что последующие примеры относим к приказной речи тоже лишь предположительно. Этот приказной человек употреблял книжные слова в противоположном или в совершенно неузнаваемом смысле: «приказать» — предложить, просить («а х королю приказывал, чтоб король с ним был в дружбе» — 167, под 1534 г.); «мастер» — врач (больному «мастера прислати» — 171, под 1537 г.); «угадать» — почувствовать, предвидеть («угадал себе сам, что ему быти убиту» — 193, под 1590 г.); «глумиться» — развлекаться («почали прохлагатися и всяким глумлением глумитися» — 194, под 1581 г.); «воровать» — развратничать («родила малого невесть от кого, что многие с нею воровали» — 216, под 1610 г.). И мн. др. Так другим путем, чем в «Степенной книге», создавалась витиеватость речи в летописи.

Сюда же добавлялись слова в неправильной форме и оттого витиеватые: «мненье» — сомненье («на него пришло мненье ... мнения и страху не отложил» — 171, под 1537 г.); «утеха» — утешение («ниоткуда себе на земли утехи не имеем» — 174, под 1541 г.); «развертети знамение» — развернуть знамена (187, под 1552 г.). И др.

Просторечные обороты, усиливающие витиеватую экспрессию, также иногда проникали в повествование: «взя да збежа» (195, под 1584 г.); «вскормил, что щеня у корыта» (177, под 1536 г.); «как то не мученики, как не святяя!» (214, под 1610 г.).

Мы отметили некоторые признаки этого еще одного нового витиеватого языка, теперь уже витиеватого «низкого» стиля, в «Пискаревском летописце». Возможно, составитель или его предшественники не совсем умело, но зато доходчивей пытались обыденным языком переказать исторические материалы относительно недавнего прошлого.

«Словеса простая», выделявшиеся витиеватыми «неправильностями» словоупотребления и словообразования, появлялись и в других летописях конца XVI — начала XVII в. Так, в «Новгородской второй летописи» под 1542 г. просторечно, с характерными «неправильностями», рассказывалось о новгородском затмении и землетрясении: «на росвете в 1 час дни пришла тма велика ... страх пришел необычень на люди. В тот же час пришел трус на землю, и земля воскипела, учала земля ходити, аки море, волнами зыблюще. В той же час летела стена... И дал Богъ, немного потишало ... много полат разволялося... В той день трус был во Флоренци ... город в землю погрузил ... город погруз...»⁵ Скорее всего, это была прямая запись чьего-то образного витиеватого рассказа, без книжного редактирования вставленная в хаотичное собрание летописных сообщений, которое представляла собой «Новгородская вторая летопись». Летописец, видимо, исходил из предположения, что подобное разговорное изложение вполне допустимо для летописи, ведь он «писал памяти ради своей» (147, под 1545 г.).

Смешивание летописных статей фразеологически разных, приведшее к появлению витиеватости «низкого» стиля, получилось по сходной причине: и «Пискаревский летописец», и «Новгородская вторая летопись», по существу, являлись черновиками⁶, и никто не мешал языковым опытам авторов.

«Временник» Ивана Тимофеева

Третий черновик того времени — это «Временник» Ивана Тимофеева (см. работы О. А. Державиной, Я. Г. Солодкина, Д. А. Рыбакова, О. А. Туфановой о структуре памятника). «Временник» целиком был написан странным, совсем новым витиеватым языком, а не смесью книжных и разговорных выражений — стиль повествования был изобретен лично самим автором. В качестве типичного примера можно наугад взять любой отрывок «Временника». Вот рассказ «О крестном целованье Борису». Первая его фраза: «Во время же своего воцарения ему умысли себе и семени своему по нем вся, иже страхом приведшая: о себе, о рабе, упова нечто таково, еже твердее же и преждебывших его царей, — крестную ему в людех утвердити клятву во утверждение царства»⁷. Намеренной запутанности фразы и неотчетливости ее смысла автор добился следующими способами. Во-первых, он, не называя конкретной цели Бориса Годунова, начал с характеристики неведомо чего: «умысли ... вся, иже страхом приведшая ... упова нечто таково, еже

твердее же...». Во-вторых, автор употребил важные слова в необычном расплывчатом значении: «страхом приведшая» — страхом заставить, принудить; «упова» — приказав, повелев; «твердее» — крепче, надежнее; «утвердити клятву» — принять, насадить, навязать клятву; «во утверждении царства» — для подтверждения, заверения о воцарении, царствовании. В-третьих, автор обошелся без нужных смысловых уточнений: «во утверждении царства» чьего? — конечно, Бориса Годунова; «твердее же и преждебывших его царей» — крепче не царей, а крепче, чем у прежних царей. И напротив, в-четвертых, автор «засорил» фразу, пожалуй, излишними местоименными пояснениями: «своего воцарения *ему*», «семени своему *по нем*», «преждебывших *его*». Наконец, в-пятых, автор (что исследователи отмечали неоднократно) крайне усложнил синтаксис своей фразы всего лишь о том, что Годунов замыслил усилить крестоцеловальную клятву.

Примеры такого рода неудобопонятной витиеватости высказываний просто неисчислимы во «Временнике». (Отметим, что О. А. Державина совершила титанический по головоломности труд перевести весь хаотический «Временник» на современный русский язык.) Какова причина подобных ухищрений? Автор оправдывался тем, что он с боязнью писал во время оккупации Новгорода шведами. Но зачем тогда он «зашифровывал» не только политически острые, но и самые нейтральные фразы и сообщения? Исследователи уже давно поняли, что исторические обстоятельства послужили толчком Ивану Тимофееву расширить «первые опыты нового литературного стиля»⁸. Иван Тимофеев предупреждал, что его стиль не книжный («далече книжнаго разуму» — 18; «елико слышахом, толико и писмены вместише, издахом» — 163) и что писательству он не обучен («писательства слову добре не обученых о положению писаний ... яко же мною творимо днесь... яко по нужди вчинися» — 146). Что же это была за внутренняя «нужда»? Иван Тимофеев придумал выражаться многословно («мои ... медленоглагольный язык ... коснодвижная мною трость» — 148) и витиевато («многokrатно потонку речеса» — 113; «словом, яко паучинным тканием прикровено ... сказавшу» — 129) для того, чтобы внести некую «мудрость» в свое повествование (у Ивана Тимофеева «неясность изложения, фразеологические потуги ... очень часто служили только целям внешней торжественности»⁹). Это был наивно-мудреный стиль.

Четыре рассмотренных памятника 1560—1610-х годов наводят на мысль о том, что новые витийственные стили, очень отличавшиеся

друг от друга, раньше всего испробовались авторами в незавершенных, черновых и получерновых летописных или летописеобразных произведениях крупного объема, но заметного распространения эти одинокие «пробные» стили не получили и в единую историю никак не связались; однако же свидетельствовали о напряженных стилистических поисках, предпринятых в кризисных исторических условиях, особенно при Смуте, авторами из разных социальных слоев.

Примечания

¹ ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 1. Ч. 1; СПб., 1913. Т. 1. Ч. 2 / Изд. подгот. П. Г. Васенко. Части и страницы указываются в скобках.

² Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 235—241, 245, 247.

³ ПСРЛ. М., 1978. Т. 34 / Изд. подгот. В. И. Корецкий и Н. Г. Савич. С. 31. Далее страницы указываются в скобках.

⁴ Солодкин Я. Г. По поводу атрибуций Пискаревского летописца // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 44. С. 395—396.

⁵ ПСРЛ. М., 1965. Т. 30 / Изд. подгот. М. Н. Тихомиров, Л. Л. Муравьева, Л. И. Ивина. С. 148. Далее страницы указываются в скобках.

⁶ См.: Хазанова С. И. Пискаревский летописец: происхождение, источники, проблема авторства: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 2009. С. 26; Новикова О. А. Новгородские летописи XVI века: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2000. С. 20.

⁷ Временник Ивана Тимофеева / Изд. подгот. О. А. Державина. М.; Л., 1951. С. 66.

⁸ Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник» // Временник Ивана Тимофеева. С. 408.

⁹ Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 55.

«ПОДТВЕРДИТЕЛЬНАЯ» ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ МАНЕРА «СТЕПЕННОЙ КНИГИ»

«Книга степенна царского родословия», составленная в течение 1560—1563 гг. в Москве царским духовником и протопопом кремлевского Благовещенского собора Афанасием¹, — явление титаническое в истории традиционного древнерусского литературного творчества. Этот труд известен риторичностью своего повествования, разработанного по неким четким принципам, которые особенно хорошо видны по последней части книги — «Семнадцатой степени», излагающей события, только что произошедшие накануне завершения памятника, — даже 1563 г. упоминается здесь: «потомъ же въ лето 7071...»² «Семнадцатую степень» в первую очередь и рассмотрим.

В семнадцатой части книги 26 глав, автор характеризует персонажей скупой и единообразно, обычно с настойчивым повторением прямых оценок — это одно из его главных повествовательных средств. Заголовок и первая фраза каждого отдельного рассказа в каждой главе — обычно самые резкие и экспрессивные, а дальше повторяемые автором оценки лишь подтверждают уже сказанное. Например, в главе 6-й о военных стычках русских с литовцами первую оценку литовцам содержит сам заголовок: «*О сугуболукавственномъ мире литовскаго краля*». Эту оценку повторяет первая фраза вслед за заголовком: «литовский же краля Жигимантъ, гордостию взимаяся, и начать лукавая умышляти» (631). А дальше уже довольно редки и слабы прямые нападки автора «на зачинающихъ рать»; автор лишь поддерживает первоначальный отрицательный тон высказываний о литовцах, но не более.

В главе 18-й о борьбе с ливонскими немцами тоже крайне резко первое упоминание о них: «Потомъ же *богомерзцыи* немьцы... самочини-емъ *возгордешася*» (655). Последующие оценки звучат, как эхо первого упоминания: «...восколебашася... возбеснешася... *гордостнии* немь-

цы... *богомерзции же немьцы*» (656—657). Но глава велика, состоит из двенадцати подглавок, и вторая подглавка добавляет свои оценки: «*немьцы льстивно... умысливше, ...злословесное их коварство*» (656); и пятая подглавка добавляет еще: «*о лукавстве немьцевъ*» (658). Эти оценки тоже продолжают повторяться в последующих подглавках: «*лукавии же немьцы*» (658, шестая подглавка), «*льстивно... лукавство ихъ*» (659, девятая подглавка), «*о лукавстве... ливоньскаго маистра... лукавствено коварствуюа*» (661, десятая подглавка), «*лукавства злокозненныхъ немецъ*» (661, одиннадцатая подглавка). Составитель текста опять-таки не нагнетал, а только сохранял общий отрицательный тон высказываний о немцах.

Не только о литовцах, немцах или шведах, но, например, и о татарах в такой же манере повествовал автор. Вот глава 20-я о борьбе с крымскими татарами. Заголовок с оценкой: «*О лукавномъ послании крымскаго царя*» (662). Первая фраза повторяет оценку: «...о злохитромъ умирении съ лукавствиемъ». Далее следуют повторы оценок дословно или вариации синонимичные: «*льстиваго коварства... безбожьнаго царя*» (662), «*безбожьный царь... лукавнужа... его злокозненное пронырство*» (663) — отрицательный тон автор не усиливал, но соблюдал его всюду.

Самые разные явления автор описывал, не ища новых слов, а довольствуясь многократными повторами уже высказанных оценок. Например, в главе 9-й о большом московском пожаре 1547 г. повторялись оценки «*великий*», «*зельный*» и пр.: «*О страшныхъ и сугубейшихъ пожарехъ... попусти Богъ были зельнейшему пожару... о велицемъ пожаре... быти великий пожаръ... пламы же зельнаго огня, великия горы... пламени же велику... отъ зельнаго огня... великий той пожаръ и огненныя пламы*» (635—637). И еще — повторы «*многий*», «*весь*», «*всюду*» и пр.: «*разыдеся огонь на многия улицы, Богу же тако попустившу... всюду... ношахуса и везде... разливахуса и многия... пожигая. И выгоре все... и вся... испепелишася... все выгоре... вся сия огнемъ потребишася... вся сия безъ вести быша... всюду палящу... всюду вся пожигающе*» (636—637). В других летописях совершенно по-другому, без излишних словесных повторов сообщалось об этом пожаре (см., например, прибавления к «Хронографу 1512 г.»²).

Все эти цепи многократных словесных повторов в «Степенной книге» нельзя объяснить только так называемым литературным этикетом. Автор с исключительной настойчивостью повторял свои оценки в рас-

сказах обычно для того, чтобы подтвердить: да, этот персонаж или это событие именно такие-то.

В сценах предсказаний и знамений это стремление автора к подтверждению рассказываемого проявилось особенно широко благодаря демонстративным фразеологическим повторам. Например, если Никола Чудотворец обещает, что «*христианству не имать быти некоего же озлобления отъ поганыхъ*», то так и получается: «человеколюбивый Богъ не попусти *поганымъ* врагомъ *озлобити христианство*» (672); если Никола предупреждает, что «*предаетъ Богъ* градъ сей Казань *въ руце*» российского царя, то затем дословно так и происходит: «*въ руце* благочестивому царю *Богомъ предана быша*» (646—647). Или в других эпизодах многие провидцы призывают казанских татар: «*Повинуйтесь безъ лукавствия московскому государю*», «*поспешите умолити* московскаго царя», — и дальше так в точности и случается: татары «*православному царю и государю... во всемъ повинны себе творяху*», «*начаша молити*» (640, 641, 648); когда предсказывают Казани: «*быти на томъ месте... церквамъ*», — это свершается тоже дословно: «*еже и бысть* благодатию Христовою», «*на томъ месте... церкви поставлены быша*» (641—647); пожелание: «Богъ... место сие да *просветитъ благочестиемъ*», — и результат: «*вся благая, яже даруеши намъ... земля Казанская ныне благочестиемъ просвещаемъ*» (645 и 648) и т. д. Естественно, не только о Казани автор рассказывал с подтверждающими фразеологическими повторами. Так, во время московского пожара некто видит в видении Богородицу, «*уталяющи*» огонь, и тут же повествователь сообщает, что, действительно, «*нача гневъ Божий уталятися и пламы огненныя умалятися*» (637). Или одни из персонажей заклинает и дословно по заклинанию то же и получает: «Самъ Владыко пречистыми усты рекль еси: «...аще кто и смертно испиеть, *не вредитъ ихъ*». И выпивъ сосудъ зелия, и ста *ничимъ же врежень... ничимъ же не вредимъ* силою и действомъ святаго Духа» (665). Даже оговорка подтверждается дословно. Персонаж оговаривается мельком: «Бога... ради... аще и... *раздробленъ* буду», — это же и случается с ним: «*кости его надробно* разметаша... пострада за Христа» (649—650). Наконец, не только в сценах предсказаний, вольных или невольных, но и в сообщениях, например, о разных повелениях и просьбах автор следовал своей заверительной манере повествования и неукоснительно вводил подтверждающие повторы слов и выражений. Так, один персонаж велит другому: «*звони скорее*», — и другой «*скоро* шедъ, *позвони*» (643); или

не крещеный знатный татарин просит митрополита, «дабы умолил о немъ государя *царя... милости* прося и... *крестити* бы его *повелель*. Боголюбивый же *царь* *моления* ради святительска и боярска *милость* показа ему и *крестити его повелель*» (650) — как будто сделана выписка из юридического документа, дотошно повторяющего формулировки для точной фиксации фактов.

И уж совсем навязчив был автор в своем стремлении к подтверждению и закреплению характеристик явлений на протяжении больших рассказов. Он, например, на одну и ту же тему целыми сериями излагал знамения и предсказания — одно за другим, с повторяющимися толкованиями (если повторить, например, семь прорицаний о покорении Казани, вот тогда-то, по авторской логике, можно «разумети есть по всему», что произойдет — 639—640). Многократно повторялось у автора даже отдельное чудо или знамение: если персонаж вдруг слышит загадочный колокольный звон, то «въ коемъждо оконьце храмины своя слыша тако же звонъ — тако по Бозе благонадежень бывъ» (646); если вода в сосуде, стоящем на лавке, чудесным образом закипает, то и вторично сама собой закипает она и потом еще «три краты чудесно кипяще» — «сие Божие милосердие» (652); привидевшийся персонажу Никола Чудотворец «глагола... и вторицею то же рече» — «отъ Бога посланъ» (672). Автор обязательно подтверждал богониспосланные явления многочисленными свидетелями и свидетельствами: «услышася повсюду», «мнози поведеху», «мнози виде», «многимъ людемъ показуя», «мнози узреша» и т. п.; или же делал характерную для него ссылку: «прочее же о сихъ довольно писано есть во известныхъ летописаниихъ, zde же вкратце явлено есть великаа Божия чудодействия» (651) — таких подтверждений тоже немало. В общем, почти в каждом своем рассказе автор последовательно стремился к определенности, подтвержденности, непоколебимости оценок и характеристик и не любил ничего «непостоятельнаго» (642), «непостояннаго» (637).

Исключение, правда, есть. В маленькой главе 7-й о событиях Смуты вначале уважительно упоминаются «благонадежни бояре великаго князя и прочии вельможи», но дальше, напротив, рассказывается как раз об их неблагонадежности и коварстве, в которые они «вражиимъ наветомъ... уклонишася» (634). Это другой тип изложения, не подтвердительный, а саркастично-противопоставительный, и проник он из письменных источников Смутного времени, которые здесь пересказал составитель «Степенной книги». Однако всюду в остальных местах

автор прочно придерживался навязчиво подтвердительно-закрепительной манеры изложения.

Но зачем с такой обязательностью составителю надо было подтверждать, поддерживать, закреплять те или иные мотивы в каждом своем мало-мальски риторическом повествовании, хотя он ни с кем не полемизировал своими подтверждениями? Причина в авторском мировоззрении. К подтвердительному изложению, по-видимому, привел принцип, последовательно проведенный автором, считавшим, что буквально все события, от великих до мельчайших, происходят «Божимъ хотениемъ... а не человеческимъ самочиниемъ» (643): плохие события и дела «попущены» Богом, гневом Божиим, а хорошие дарованы, утверждены, поручены, споспешествованы, водимы Богом, его благоволением, помощью, заступлением, благодатию, хотением, силою, милостию, пособием, промыслом и мн. др. — подобными авторскими замечаниями, разъяснениями и восклицаниями обильно заполнено все изложение, каждый эпизод — «Богъ... везде сый и вся исполняя отъ небытия в бытие» (628). До «Степенной книги» повествователи, кажется, нигде так часто не ссылались на Бога. Раз «Богъ своею крепкою десницею всегда и всюду наставляя» (630), то «крепко» надо писать о том, с усиленными подтверждениями соответствующих тем и мотивов.

Верой в непрестанность богоучастия в человеческих делах были порождены не только особая «подвердительная» манера повествования в «Степенной книге», но еще и авторское пристрастие к различным возвышающим мотивам в его исторических рассказах. Благодаря повсечасному и повсеместному участию Бога в событиях мир «Степенной книги» выше обыденного, свойства персонажей исключительные. Оттого прилагательными в превосходной степени начал составитель текст семнадцатой части: царь — божественнейший, святейший, крепчайший, самодержавнейший, мужественнейший, кротчайший, возлюбленнейший и т. д. (666—668), «сладчайшее имя Иванъ» (629). Плохое, «попущенное» Богом тоже в превосходной степени: пожар — зельнейший, сильнейший, сугубейший (635); иконоборцы — злейшие (656, 662) и пр. Еще чаще в тексте употреблялись прилагательные с приставкой пре-: царь — Богом преславнейший, пресветлейший (666); митрополит — христоподобно превысочайший (634); Христа ради юродивый — сугубо преукрашенный (635); храм во имя Богородицы — «преудивленъ» (651); видения — предивные (637); победы — преславные (633, 649) и т. п. Сравнениями автор тоже повышал ста-

тус персонажей и их деяний как богоподдерживаемых: царь — «яко же Давидъ» (643), «подобно Моисею» (646), «яко же бо второе солнце» (666); царскими детьми — «яко райскими цветы крася» (652); александрийский патриарх — «лице его, яко лице ангелу» (665); юродивый — «яко бесплотень» (635); русские воины — «яко львы рыкающе» (646), «въ малыхъ челнехъ, аки въ кораблехъ» (673); чудесное — «светъ необыченъ, яко великъ пожаръ» (643), «звонь... яко большого колокола гласъ» (646) и мн. др.

К возвышающим относятся также мотивы материального «изообливания» и довольства в повествовании: Москва — «милосердый же Богъ... всякая требованя и богатства и утвари драгия сугуба дарова имь... и различная имения ихъ усугубишася и всякаго блага исполнишася, тако же и торговая купля *преизобиловала*» (638), поход — «многое воинство всюду, яко Богомъ уготовану, пищу обретаху... всякимъ благовоннымъ овощиемъ *довляхуся*... все бесчисленное воинство не трудно *доволяшася*. И тако всеильный Богъ пищу и всякую потребу... всюду готову и *преизобильну* устраяя... всякими потребами *изообиловаху*» (643); митрополит — «многимъ имениемъ *изообилова* его» (630); «христоролюбий же царь... милостынею *издови* его» (665); монастырь — «благочестивый самодержецъ монастырь той имениемъ же... *удовли*... исполни... преисполнено украси» (652).

Наконец, к возвышающим мотивам относится всюду ощущаемая чудесность явлений. Традиционный мотив света и сияния, привычного в чудесах, знамениях и видениях, у автора перешел и на обыденную земную реальность, но благодаря участию Бога она тоже не совсем обыденна: например, перед падением Казани «разливашеся *светъ* надъ всемъ градомъ, во *свете* же мнози столпове *пресветли* блещахуся» — «христианское знамение» (646); а после казанской победы все «ведряно и *светло*... небеса — *светлость*... *светлу* и преславну победу нося... и все паче солнечнаго сияния *просвещахуся*» (647—649); у александрийского патриарха, избежавшего отравления, «*просветися* лице его» (665); царь «намя *светлейший* явился еси... твое благочестие *светится*... и Божию помощию... яко же... отъ солнычнаго сияния греми бываху» (666—667) и т. д.

Кроме того, удивительно беспрепятственно и «скороустремительно» передвижение богозащищенных персонажей у составителя «Степенной книги»: не только «мнози святии... по воздуху ходяху» (644) или юродивого «видеша его по морю ходяща, яко по суху» — «такое-

ву благодать приять отъ Бога великихъ чудодеяний» (635—636), но и «легцыи же воеводы» (632), и обыкновенные воины «скороустремительно поидоша... Богомъ подвизаеми... преидоша реку, яко ангеломъ носими» (658) или «Божимъ хотениемъ... не трудно, яко играюще, преидоша» (643), «Богомъ подвизаеми... яко облакомъ носими, скороустремительно на градныя стены и на самый градъ скакаху» (646) и пр.

В общем, всеми относительно скромными красотами своего повествования составитель выразил представление о неотступном участии Бога в событиях везде и всегда. Такое доведенное до крайности представление еще не встречалось у древнерусских авторов.

Идея богоучастия постоянно смыкалась у автора «Степенной книги» с идеей богозащищенности. Автор, по-видимому, напряженно желал, непрерывно надеялся на помощь, защиту и покровительство Бога стране в свои дни. Поэтому начиналась семнадцатая часть с цитаты: «просите... и будетъ вамъ» (628); оттого человеколюбивым и милосердным автор часто называл Бога, повторял и более развернутые определения Бога как покровителя: «иже... отъ века и до века вся строя на пользу человеческому роду», «иже вся на пользу строяй человеческомъ», «иже искони все на пользу строяй человеческому роду» (628, 630, 644); недаром автор затронул тему «невидимаго покрова Божия, всегда пребывающаго на верующихъ Богу» (645) и далее: «да будетъ покровъ и сохранение всемъ» (669); и даже молил (вместе с персонажами): «мы же непрестанно вопиемъ ти: “О, ... Боже нашъ, яко же ныне, тако и всегда не остави насъ и не отступи отъ насъ, помагая намъ, и милуя, и спасая насъ въ настоящей сей жизни и въ веки бесконечныя!”» (648); и подтверждал с надеждой: «и до ныне чудеса содеваются — тако насъ пречистая Богородица преславно избавляя отъ всяческихъ бедъ и чудесно спасая» (638), «пречистая Богородица... преславно и избавляя насъ отъ предлежащихъ бедъ» (637).

Литературный результат: тему божественной защищенности России и православных автор на разные лады повторял в рассказах семнадцатой части. Защищенность обретали города: например, Себеж обстреливало литовское войско прямо у города, однако «Божимъ же заступлениемъ и посещениемъ пречистыя Богородица и чудотворца Сергия ни едино ядро пушечное и пищальное не прикоснулося ко граду, но чрезъ градъ летаху... иные же ядра предъ градомъ падаху» (633). Защищу получали и самые незащищенные персонажи, например, юродивый

ходил полностью нагой и под знойным солнцем, и в лютой мороз — потому что «душевною же добротою неизреченно одеяну ему... его же ни огонь, ни мразь не врежаше, Божия бо благодать греяше его» (635). Буквально все упоминания о Боге у составителя были так или иначе связаны с темой защищенности, помощи и поддержки, автор не отвлекался от этой темы, даже когда говорил о всяческих несчастьях: «сими скорбьми хотя ихъ очистити Господь, ово же утверждая Богъ совершенно и непоколебимо царство...» (630), «человеколюбивый же Богъ... не хотя конечной пагубе предати насъ» (635); «сама бо Богомати... всего мира покрывая и защищая отъ всякаго зла» (637); «всячески по Бозе благонадежно спасение имуще» (652) и пр.

Теперь охватим в целом всю «Степенную книгу». Для ее остальных частей типична та же подтверждательная повествовательная манера, настаивание на тех или иных мотивах, хотя все-таки в меньшей степени — из-за включения множества разнотипных больших источников в общее повествование. Но рассмотрим самое начало — вступление к «Степенной книге», составленное в виде пространного жития княгини Ольги, которое написал Сильвестр, священник Благовещенского собора в Кремле⁴. Здесь составитель тоже все повторял один и тот же мотив. Например, сплошь подтверждал премудрость Ольги, начиная с заглавия: «...житие... въ *премудрости* пресловущия великия княгини Ольги», и далее: «*премудрости* и разума исполнена» (6); затем автор и персонажи постоянно поминали «Ольгу *премудрую*» (8): «Кто не удивится сея блаженныя Ольги *премудрости*, и мужеству, и целомудрию? ...бе мо *мудра* паче всехъ, *премудростию* уразуме...» (11); в большинстве эпизодов персонажи удостоверялись в премудрости Ольги: «видевъ ю царь... въ беседовании смыслену, и разумомъ украшену, и въ *премудрости* довольну... и вельми царь почюдися великому разуму ея... глубокий въ *премудрости* умъ ея...» (13), «дивляше бо ся великия ея... тоя *премудрости* величеству» (16), «имеша ю яко едину отъ *премудрыхъ* и разумнейшу» (24), «ея же въ нашихъ родехъ никого же не бысть *мудрейши*» (26) и т. д.

Автор бесчисленно подтверждал премудрость Ольги, потому что за всеми проявлениями этого качества всегда присутствовал Бог: даже когда Ольга «еще не ведущи Бога и заповеди его не слыша, такову премудрость... обрете от Бога» (8), «отъ Божия промысла свыше светомъ разума осияема» (12), а уж после крещения тем более «яко святыи Духъ

вселися вь душу ея и научи ю тако мудрствовати» (16), «оть Него же неизреченную премудрости благодать обрете» (25) действовала «от Бога данною ти премудростию» (29), так что «дивити же есть... богодарованной премудрости и разуму блаженныя вь женахъ Ольги» (34), которую автор к тому же часто называл «богомудрой».

И другие качества Ольги настойчиво подтверждал автор, проводя идею всепроникающей богоданности: так, много раз автор возвращался к теме мужества и целомудрия Ольги — ведь она «богоизбранный сосуде целомудрия» (29); постоянно связывал с ней мотив света и сияния, потому что она «богосиянная русская звезда», «Господь... приведе ю вь познание истиннаго света» (29, 16) и пр.

Множество фразеологических элементов переносил составитель жития из эпизода в эпизод. Например, рассказ о встрече Ольги с Игорем своими обозначениями и оценками перекликался с последующими рассказами, особенно о встрече Ольги с Цимисхием, да и с иными эпизодами, — их почти десятков, и словесно они изложены резко иначе, чем в «Повести временных лет». Вот заголовок рассказа: «О великомъ князе Игоре, како *сочьтася* со блаженною Ольгою»; и вот конец: «и тако *сочьтана* бысть ему закономъ брака» (7—8); а вот уже о Цимисхии: «умышляше ко *счтаниюю* с Ольгой (13) «не получишь *счтати-ся*» (16), «прельщаше ся... о *счтании* брака» (18—19).

Или другой мотив — «коварство». Сначала оценка домогательств Игоря: Ольга «уразумевше глумления *коварство*» его (7); потом та же оценка брачной интриги Цимисхия: Ольга «уразумевши, яко... симъ *коварствомъ* поколеблетъ душу ея... *коварство* всячески тщащеся упразднити» (13); и снова о том же в речи Ольги: «О царю, несогласная тогда умышления *коварства*... *коварство* твое упразнися» (18—19).

Повторялись в житии обозначения еще одного мотива: Ольга с Игорем — «пресекая *беседу* неподобнаго его умышления» (7); то же происходит с Цимисхием, который «составляет *беседу* тщетну», но Ольга возражает: «ты, о царю, всуе о семь *беседуешии*», «прекратимъ *беседу*» — «и душетленную его *беседу* мужествене отсече» (15—16).

Окончания рассказов также держались на повторах оценок — Ольга стыдила Игоря: «*студная* словеса износиши», «уязвень будеши всякими *студодейниши*», и тогда Игорь «со *стыдениемъ* своимъ и съ молчаниемъ преиде» (7—8); Цимисхий тоже «съ *студомъ* вь чюство прииде... *студа* гонзнути» и признался: «срамъ и *студъ* приобретахъ си» (16), и «со *студомъ* отъ таковыхъ умолче» (19).

И другие рассказы заполняли повторения мотивов, как например: «отъ всякого вреда вражия *избавляемся*» (7), «спасеть и *избавить* от лукаваго» (17), «Божий же промысль вестъ благочестивыя отъ напасти *избавляти*» (22—23), «чистота бо древле Иосифа *избави*... Сусану... *избави*...» (25), «девство... въздыхания *избавительно*» (31), «да *избавитъ* насъ господь Богъ отъ всякихъ напастей и бѣдъ» (38) и т. д.

Все это множество повторов культивировалось потому, что автор пунктуально выступал как идеолог: побуждал «прилежно искати разумъ къ Божии воле» в событиях (35) и повсеместно и по каждому поводу внушал, что все происходит «не отъ человеческого научения, но отъ вышня я премудрости» (29): «всесильный Богъ своимъ неизреченнымъ промысломъ по чину строить» (35), «сице благодать Божия действуя древле и ныне овогда въ мужехъ, а овогда в женахъ» (37) и пр.

С идеей богоучастия сочеталась идея богозащищенности. Составитель жития надеялся на Божью защиту уже и в его время. О защите просила не только Ольга («помощи отъ Него требуя: “помощникъ ми буди и не остави мене, Боже”» — 13, 21), но и сам автор: «молитесь безъ вреда сохранить и спасти державу... самодержца царя и великого князя Ивана... и со всеми христоименитыми людьми, яко... даруетъ имъ Господь везде и всегда, во всякомъ времени и месте на вся супротивныя... победу» и т. д. (30—31). Начальная часть «Степенной книги», таким образом, оказывается особенно сходной с последней, семнадцатой, частью книги «подтвердительно» повествовательной манерой и доведенным до крайности богоуповающим умонастроением авторов.

И далее повествовательное сходство время от времени наблюдается в оригинальных рассказах в «Степенной книге», отклоняющихся от ее летописных источников. Например, история о любовных домогательствах великого князя Юрия Святославовича Смоленского к чужой жене — к Ульянии Вяземской (в тринадцатой части книги) хотя и не так уж пространно изложена, но и не так лаконично, как, например, в «Софийской второй летописи» под 1406 г.⁵, и содержит много повторяющихся оценок и соответственно пронизывающих текст мотивов. Ульяния объявляется целомудренной, что бы с ней не случилось: «та бѣше *целомудрена*... ея же *целомудреному* благоумию позавиде древний врагъ диаволь... Она же... о *целомудрии* подвизашася... видя... такову крепкодушну о *целомудрии* ревность... *целомудреня* княгини Ульянеи» (445); а князя сопровождают слова «блуд», «стыд» и «срам»: «уззвень бысть на ню *блудную* бранию и... *безстуднымъ* устремлени-

емь... Онъ же *срама* исполнися... паче приложи къ *блудному* устремлению... Князя же Юрья Святославича отвсюду обыде сугубъ *студъ* и поношение, сугубо же *срамота* и укоризна... не могий терпети *срама* и поношения...» Все это совершенно под неотступным Божиим наблюдением и потому фразеологическими повторами подчеркнуто автором.

Чтобы понять историко-литературное место «Степенной книги», совершим небольшой экскурс в предшествующие годы в обратном хронологическом порядке. Специфическое «подтвердительное» повествование появилось еще до «Степенной книги»; уже в конце 1550-х годов оно использовалось, например, в «Житии Нифонта Новгородского», которое в 1558 г. по разым источникам составил плодовитый агиограф псковский священноинок Василий-Варлаам⁶. Словесно-фразеологических повторов очень много в сочинении Василия, особенно в местах, им самим написанных, начиная со вступления: «Благословень Богъ-Отець *вседержитель*... всехъ составление *содержай*... *содержавная* славою... содетель и *содержитель*...»; тут же параллельно следуют и другие повторы: «*творецъ*... всяя твари *сотворишиа*... *животворящиимъ*» и т. д.⁷ Или: «отъ *благочестну* и святу и милостиву родителю рождься... токмо вемы, яко отъ *благочестну* родителю и святу рождься... Бяху же *благочестнии* родители святого отрока... во *благочестии* живуще... сей мужъ *благочестивый* и съ супругою... отроку отъ такову родителю *благочестну*» и т. д. (2).

И дальше изложение вязко тянулось повторами сюжетно значимых слов: «родителие же... моляху Бога..., чтобъ имъ послалъ Богъ *плодь чревныхъ*... И услыша Богъ чистую молитву ихъ и *дасть имъ плодь чреву*... понеже Бог не презри молитвы родителей онехъ и *дасть имъ плодь чрева*... яко же древле Иоакима и Анну услыша Богъ... и *дасть имъ плодь чреву*... тако же и сего святого отрока родителей не презре Богъ моления изъ и... *дасть имъ плодь чрева*» (2).

Но в отличие от «Степенной книги», не идеей о доскональной богоуправленности всего в мире было проникнуто «подтвердительное» повествование у Василия в «Житии Нифонта», а скорее, желанием постоянства и незыблемости, помогающем благополучно переплыть «море жития сего, лютаго миродержца непостоянную пучину» (7). Все персонажи «Жития Нифонта» имеют касательство к идее постоянства в мире. Например, родители Нифонта, если кормили нищих, то «трапезу имъ поставляше *множицею* и тако творяху... и *до исхода души* своя еже от телеси и паки *всегда* хождаху въ церковь» (2), так и отошли

«въ вечный покой» (3), — образец постоянства. Сам Нифонт: «молитва бяше во устехъ его *всегдашняя*» (3), «вельми *крепостию* себе *утвердивъ*» (5), «душею *крепкии*» (6) и т. д., «и паки восприять... *вечное наслаждение*» (5) — идеал постоянства. Вообще все святые «*молятъ непрестанно*» (6), «*творятъ непрестанно*» (8), обращаются «*къ незаходимому солнцу Христу*» (8) — все у них постоянно. Грешникам суждено впасть в «*муку безконечную*» (7), даже сам сатана связан «*нерешимыми* узами железными *во веки и на веки*» (3) — отрицательный мир тоже пребывает в постоянстве своих черт.

Перейдем к более раннему времени — концу 1540-х годов, когда выходец из Пскова и затем протопоп московского дворцового собора Ермолай (позднее в монашестве — Еразм) написал «Повесть о Петре и Февронии»⁸. «Повести о Петре и Февронии» тоже свойственна «потвердительная» манера повествования. Например, даже в одном небольшом эпизоде Петр трижды повторяет: «мне же не *косневишу* *никамо же*, *вскоре* *пришедшу*... и *нигде же* *ничесо же* *помедлив*, *приидох*... *Приидох* же паки, *ничто же* *нигде паки* *помедлив*»⁹. И еще повтор: «чюжуся, *како* *брат мой* *напреди мене* *обретеса*... и *чюдяхся, како* *напред мене* *обретеса*... не вем, *како*... *напред мене* *обретеса*». И много других повторов в этом же небольшом эпизоде: «*разуме быти* *проньрьство* *лукаваго змия*... се есть, *брате, проньрьство* *лукаваго змия*» и пр.

В других эпизодах другие персонажи тоже, можно сказать, прилипли к повторам: «*вниде в дом*... и *вниде в храмину*... *внидох* к тебе... *прииде в дом* сий и *в храмину* мою *вниде*» (214). Изложение толчется на месте: «...*иде чрез ноги в нави зрети*... глаголя, *чрез ноги в нави зрети*... *иде*... *чрез ноги зрети* к земле... *рех, яко* *иде чрез ноги в нави зрети*».

Вся повесть переполнена повторами повсеместно и во множестве, но на этот раз выдают они не потребность автора в богозащитности или хотя бы в стабильности мира — такое потребуется позже, — а желание понять загадочный мир. Поэтому герои повести все время пытаются в чем-то разобраться и что-то уразуметь, о том и признаются: «не свем и чюжуся» (213); «не внят во ум глагол тех... не разуме глагол ея... глаголы странны некаки, и сего не вем, что глаголеши... и ни единого слова от тебе разумех» (214); «не вемы... да того ради вопрошаем... хотя в ответех искусити» (215); «яко же рчет, тогда слышим» (218) и пр. За надоедливым «подтвердительным» повествованием скрывается постоянная сосредоточенность и вдумчивость персонажей: «в серд-

цы си твердо приимши, умысли во уме своем... добру память при сердцы имея... в сердцы си твердо сохрани» (212); «нача мыслити... бяше в нем мысль, яко не ведыи... искаше подобна времени» (212); «во уме своем держаше» (218); «приим помысл» (219) и т. д.; даже сам автор говорит о своей вдумчивости: «трудихся мыслми» (223), а общий его вывод таков: «ум же началствует» (210), «пробывает в человецех ум, яко отец слову». Думание это особого рода — о будущем, герои пытаются предусмотреть будущее: «мысляше, что... сотворити, но недоумеяшеса» (211); «не ведуще будущаго» (218); только у Февронии «есть прозрения дар» (219).

В общем, получается, что в течение лет 15, с конца 1540-х по начало 1560-х годов, «подтвердительное» повествование выражало нарастающие степени озабоченности авторов, — от их напряженных раздумий о ближайшем будущем (в «Повести о Петре и Февронии») до поисков постоянства в этом мире («Житие Нифонта») и, наконец, до страстного желания, чтобы Бог защищал нас непрерывно («Степенная книга»). Через год была введена опричнина.

Но пойдем дальше в прошлое. В еще более ранние годы, в начале 1540-х годов (наверное, и несколько раньше), «подтвердительное» повествование использовалось, как правило, сугубо в документально-юридических целях — при официальной фиксации хода различного рода переговоров сторон: что стороны предлагали, о чем договорились и что выполнили. Например, в конце «Воскресенской летописи» 1542—1544 гг.⁹, под 1514 г., помещен избыливающий фразеологически повторами рассказ о походе Василия III на Смоленск. Смольняне просили, чтобы «*князь великий государь пожаловалъ... бою преста-ти повелеть... чтобы великий государь свою отчину и дедину пожаловалъ, опалу свою и гневъ имъ отдалъ, а очи свои велеть имъ видети и служити имъ себе велеть*». Так оно и стало: «*и князь великий государь въскоре повеле бою преста-ти... и великий государь свою отчину и дедину пожаловалъ... свою опалу и гневъ отдалъ имъ, и очи свои велеть имъ видети, и служити имъ себе велеть*» и т. д.¹⁰ Далее в рассказе видно, как точная, юридическая «подтвердительность» переходит в более вольную, повествовательную «подтвердительность»: «*боляры и воеводы и съ всеми людми... радующеся... такожде и жены межи себе и дети обрадовашася... и възрадовашася... и бе тогда радость видети... въ всемъ граде Смоленске промеже обоих людей радость и веселие*» (256).

Если проследить совсем ранние истоки «подтвердительно» повествования, то можно предполагать, что в глубь истории оно не заходило, а сформировалось на основе официальных идеологических писаний последних десятилетий XV в. К самым ранним предшественникам «подтвердительно» литературного повествования можно отнести, например, «Послание на Угру» Вассиана Рыло Ивану III 1480 г.; кстати говоря, послание это включено в «Степенную книгу» (в 15-ю часть). Вассиан в своем послании побуждал царя быть твердым в борьбе с татарами и оттого беспрестанно повторял соответствующие слова царю о необходимой крепкости: «хочу воспоманути... на *крепость* и утверждение твоей державе», «слышаще доблести твоя и *крепость*»¹¹; «еже како *крепко* стояти», «обещавшую *крепко* стояти», «*крепко* вооружився» (522, 524); «мужайся и *креписья*», «господь Богъ *укрепит* тя», «той же *укрепит*» (524); «ты, о *крепкий*, храбрый царю», «твердое, и честное, и *крепкое* царство дасть господь Богъ в руке твои» (530, 534). Соответственно те, кому надлежит подражать, библейские и исторические герои, тоже крепкие в призывах и цитатах Вассиана царю: «возмогай о Господе, о державе и *крепости* его», «Господь дасть *крепость* князем нашим», «князю подобает имети... на супостаты *крепость*» (526, 528); Дмитрий Донской — «сей боголюбивый и *крепкий*», его сподвижники — «яко победители *крепци* врагом явишася» (528, 530) и т. д. Однако в отличие от более поздних произведений настоятельные повторы в послании Вассиана являлись узко прагматичными, употребляемыми для данной конкретной политической темы и не отражавшими авторского мироотношения широко.

Снова вернемся в XVI в. В течение XVI в. хозяйственно-деловое «подтвердительно» повествование существовало параллельно, не замещаясь «подтвердительно» литературным повествованием. Например, в «Домострое» так называемой Сильвестровской редакции уже в середине XVI в. «подтвердительно» повествование выражало не напряженную экспрессию, а лишь деловитость автора. Вот хотя бы отрывок из главы «О столовом обиходе»: «покласти в суды *чистые*... А столовые суды... — всегда бы было *чисто*... И столъ бы былъ *чист*... и огурцы, и лимоны, и сливы — также бы *очищено*... и на столе бы было *чисто*... А рыба... и капуста — *очищено*... А питье бы всякое — *чисто*... А ключники бы и повары... устроилися *чистенко*, а руки бы были мыты *чисто*... все бы было мыто и *чисто*» и т. д.¹³ Только нормативный смысл имели повторы в этой мелочной инструкции по ведению хозяйства.

История «подтвердительного» повествования показывает, насколько идейно изменчивым было традиционное литературное творчество при внешнем однообразии рассмотренной повествовательной формы.

Примечания

¹ См.: *Покровский Н. Н.* Афанасий // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 74—75.

² ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. С. 662. Далее страницы указываются в скобках.

³ ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1. С. 526—527.

⁴ См.: *Буланин Д. М., Колесов В. В.* Сильвестр // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 323—333.

⁵ ПСРЛ. Т. 6. С. 133—134.

⁶ См.: *Дмитриева Р. П.* Василий // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Вып. 2. Ч. 1. С. 114.

⁷ Пам. СРЛ. Вып. 4. С. 1. Далее страницы указываются в скобках.

⁸ См.: *Дмитриева Р. П.* Ермолай-Еразм // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Вып. 2. Ч. 1. С. 220—225.

⁹ *Повесть о Петре и Февронии* / Изд. подгот. Р. П. Дмитриева. Л., 1979. С. 213. Далее страницы указываются в скобках.

¹⁰ О ней см.: *Левина С. А.* *Летопись Воскресенская* // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Вып. 2. Ч. 2. С. 39—42.

¹¹ ПСРЛ. Т. 8. С. 255.

¹² ПЛДР. Т. 5 / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева. С. 522, 536. Далее страницы указываются в скобках.

¹³ ПЛДР. Т. 7 / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. С. 138.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВАЦИИ «ПОВЕСТИ О ПРИХОЖЕНИИ СТЕФАНА БАТОРИЯ НА ГРАД ПСКОВ»

История древнерусского литературного творчества и, значит, художественного видения мира древнерусскими писателями — сравнительно новая область изучения (в отличие, например, от исторической поэтики, от чисто текстологической, либо от преимущественно «идейной» истории древнерусской литературы). Место многих древнерусских памятников в истории типов литературного творчества и в эволюции писательского мироощущения еще не определено достаточно ясно. Среди литературно-исторических произведений XVI в. представляет интерес большая повесть об ожесточенной осаде Пскова в 1581 г. польско-литовским королем Стефаном Баторием; она была написана («списана») в 1580-х годах неким жителем Пскова иконописцем Василием, возможно, состоявшим при канцелярии воеводы И. П. Шуйского¹.

В тексте «Повести о прихождении литовского короля Стефана Батория на град Псков» обращают внимание многообразные по содержанию фразеологические совпадения между рассказами о противниках — о персонажах русских и о персонажах польско-литовских. Вполне обычно, например, когда благонамеренная радость отмечается у положительных персонажей — псковичей, которые время от времени «неизреченныя радости исполнятся» (452), «рады исполнишася» (462). Но явно отклоняется от древнерусской литературной традиции употребление тех же выражений по отношению к врагу — Стефану Баторию, — он тоже «несказанныя радости наполнятся» (438). Похвалы, обычно своему русскому войску, распространяются у автора повести и на войско вражеское. Так, храбрыми в повести названы и те, и другие: русские «государевы воиводы и вои... храбро мужествоваше» (408); но тот же эпитет обращен и к польским «храбрым паном» (472); никак не опровергая оценок, автор излагает речь Стефана Батория с теми же опреде-

лениями «*храбрых литовских вой*» (408): «Вы же... храбрыя воя... моего Полского королевства и великого княжества Литовского» (412). Еще: «Сия же християнененавистьцы... яко *желателли елени, по Писанию...* иудейским советом... *тщателне же и изрядно* к литовскому королю приходят» (406), — выделенные курсивом выражения обычно входили в рассказы о «своих» героях, а тут автор имеет в виду злейшего врага.

Особенно удивительно в повести одинаковое приложение сочувственных авторских выражений и к русским, и к их врагам. Например, «царь государь и великий князь Иван Васильевич... *великою кручиною* объят бив» (408), но и польский «король *великую кручину*... впад» (454), и «полякъ канцлер... в *великую кручину* впад» (472). Или автор отмечает не только «начало *болезнем* русские земли» (408), но и что «литовские люди... начало своим *болезнем* предпоказаваше» (428). Псковичи горюют «с *плачем...* и *воплем многимъ*» (436), точно так же и у литовцев «*плач* велик... и *воплъ мног*» (454) и т. д. В отдельных случаях жалостное повествование автора относится к врагам, как будто это страдающие русские: «*бедные литовские градоемцы...* от *нужи сердца* с *плачем глаголаху*» (464).

Соответственно, одни и те же осудительные слова относятся к обеим сторонам, а не только к врагам. Так, автор повести называет «беззаконными» не только врагов («в *беззаконной* своей ереси» — 444), но и русских («ради ума *беззаконного* нашего» — 410); обе стороны у автора «свирепые». Стефан Баторий совершает на русских «*свирепое* его *нашествие*» (408), но и русский царь устраивает против «немцев» «*свирепое* ополчение» (406), «царьское на них *нашествие*» (402).

Можно указать три разных причины подобных фразеологических совпадений в повести. Первое объяснение — из области стиля — лежит на поверхности: все это риторика; автор повести предпочел описывать развитие хорошо известных ему событий не столько реально-изобразительными, сколько искусственно-риторическими средствами. Предметных картин или ярких зарисовок противостояния русских полякам и литовцам в повести фактически нет, зато условных, абстрактно-риторических сцен борьбы в изложении, со сравнениями, противопоставлениями и иными книжными тропами, более чем достаточно.

Литературный образец угадывается сразу: автор повести старался следовать повествовательной манере официальных исторических сочинений XVI в., тяжеловесно подчеркивавших государственную величие ответственность излагаемых событий. Поэтому и автор повести выступал

ритором и государственным: верноподданно начинал повесть и все ее эпизоды обязательно с описания действий и распоряжений русского царя и соответственно «государевых бояр и воевод»; упоминал и цитировал официальные документы; подчеркивал общегосударственную значимость псковских событий: «многия же орды и многия земли» пошли с литовским королем на град Псков и тем самым «на Рускую землю» (420, 418), а от врагов избавил «свою государеву вотчину градъ Псковъ» лично «христолюбивый царь государь и великий князь Иванъ Васильевич всеа Руси» (470).

Но есть и второе, более глубокое, уже идейное объяснение фразеологическим совпадениям в повести. Все же необычным не только для старой литературной традиции, но и для сравнительно нового официального повествовательного стиля XVI в. является в повести употребление универсальных выражений одинаково по отношению и к русским, и к их врагам, — это не только фразеологическая модификация официального стиля, но и нечто особенное идейно на фоне традиционного отношения к врагу. Автор повести проявил необычно пристальное внимание к врагам, рассказывая о них как бы с эффектом присутствия в чужом стане. Если русские персонажи в повести, включая царя, как правило, краткоречивы, то Стефан Баторий, его «первосоветники» и дворяне произносят в повести большие речи на советах и обедах, словно подслушанные автором, который тем более в курсе их переписки и обильно приводит тексты вражеских посланий и грамот друг другу и русской стороне (послание же русской стороны цитируется в повести лишь однажды, и то как ответ на грамоту Стефана). Автор информирован о врагах: осведомлен о составе Баториева войска, о том, как король «разряжал» полки — поименно, по панам; знает, кто из панов потом был убит (о русских таких сведений автор не сообщает). Автор, будто его услышат, даже обращается лично к Стефану Баторию и к его канцлеру с длинными саркастическими речами (авторских обращений непосредственно к русским деятелям в повести нет). Автор так регулярно и помногу рассказывает о врагах, что повесть расщепляется фактически на два параллельных изложения — о «своих» и о «чужих».

Причина внимания к врагам заключалась в расширении политического авторского кругозора. Несмотря ни на какие авторские проклятия и сарказм, именно противник представлял для автора значительный этический интерес. Стефан Баторий был интересен, в частности, необычно широкой публичностью своих планов («розослав многогордели-

вое... свое послание во многия страны и языки», «во всю вселенную прославимся» — 418). Обратили, пусть и неблагосклонное, авторское внимание необычно любезные и ласковые взаимоотношения короля и его подданных (король постоянно называл их «друзьями», проводил с ними «мудродруголюбныя советы», обращался к ним с «милостивою ласкою», «яко к своим братом»; те отвечали «любезно» и «сердечне», с искусными похвалами — 418, 434, 440 и мн. др.). Стефан Баторий представлял также интерес как громогласный ценитель Пскова (см. высказанную королем публично характеристику города: «четверооградень всекаменными стенами, многославен же в земли той и многолюден... богатством же паче меры сего сияти... великого и славнаго града Пскова... многолюдный же и благородный...» и пр. — 418). Баторий же выступал ценителем и русского оружия («ни у меня с собою нет, ни в Литве остася хотя едина пищаль, еже столь далече шествия пути кажет», то есть такая же дальнобойная, как русская пищаль, — 430). Литовские гайдуки тоже служили рупором уважительного мнения о русском войске («зело бо и до горла крепче горазди... битися русские люди и изрядне горазда мудры начальныя их гетманы...» — 464).

Откуда взялась у автора псковской повести склонность к развернутому изображению врагов, особенно их поведения? Близкий образец известен. Нечто похожее находим в произведении, которое появилось лет на 20 раньше повести о Стефане — в «Казанской истории», — начиная с того, что здесь формулы, описывающие действия врагов, применяются к русским, а формулы, предназначенные для русских, — к врагам... «Русские и враги ведут себя одинаково, произносят одинаковые речи, одинаково описываются действия тех и других, их душевные переживания»². В «Казанской истории», как потом в повести о Стефане, автор много места уделяет повествованию о врагах, приводит множество их речей, рассказывает об их прошлом и внутренних делах. Автор, несомненно, стремился именно изобразить татар — в немалой степени потому, что 20 лет наблюдал их в Казани, попав в плен.

Однако вряд ли «Казанской историей» было всецело предопределено расширение политического авторского кругозора в «Повести о прихождении Стефана Батория», с вытекающей отсюда манерой равноценного повествования как о русских, так и поляках с литовцами (хотя некоторые выражения из «Казанской истории» автор повести о Стефане и использовал)³. Повесть о Стефане гораздо суше и деловитее «Казанской истории», автор повести в плену не был. И поляки с литовцами

были интересны ему все-таки иначе, чем татары своей рыцарственностью автору «Казанской истории»⁴.

Широта кругозора и, так сказать, «двулагерность» повествования автора «Повести о приходе Стефана Батория» восходят, пожалуй, больше к повествовательной манере «Хронографа», чем «Казанской истории» и воинских повестей. Как раз для «Хронографа» характерны неограниченность политического кругозора и одинаковая подробность изложения попеременно о каждой из противостоящих сторон: то о язычниках, то о христианах или то о врагах, то о сторонниках православия; о русских и нерусских — и все это с их речами, диалогами, посланиями⁵. Ориентация на повествовательную манеру «Хронографа» прямо проявилась в повести о Стефане — не только в обилии специфических сложных слов и тавтологических выражений⁶, но и в исторических, скорее всего, взятых из «Хронографа», параллелях при описании событий: Стефан «превознесся на град Псков, яко же древний горделивый Сенахирим, царь асирский» (далее следует рассказ о Сеннахириме, 420, 422); возможное вшествие Стефана во Псков сопоставляется со вшествием Александра Македонского в Рим (440); упоминается «о пленении Иерусалима Титом, царем римским» (правда, со ссылкой на «Писание», 470). Риторические укоры автора повести Стефану и кличка, данная ему автором (а еще и Темир-Аксаку — 446), также напоминают экспрессивные авторские обращения к героям и указания их прозвищ в «Хронографе» (кстати, кличка Стефана в повести — «Обтур» (444) — могла соотноситься как с диалектным словом «абатур, оботур», обозначавшим упрямого, упорного человека, так и с латинским словом «obater» — почерневший, помрачневший: ведь и король и его войско «черны образом и дель» (446), да и от досады). Возможно, хронографична и частость подзаголовков по ходу повести.

Независимо от того, какой конкретный «Хронограф» или иной источник послужил повествовательным образцом для автора повести, важна эта «хронографичность», то есть расширение авторского внимания на «чужих», на врагов, на Запад, за стены своего родного Пскова. Аналогий такому расширенному кругозору автора повести в русской литературе конца XVI в. нет. Автор повести, оставаясь в пределах традиционного литературного творчества, уже приблизился к будущим мироописательным новациям XVII в.

Однако у фразеологических повторов в повести о Стефане есть еще третье объяснение, вытекающее из двух предыдущих и самое главное —

на этот раз из области художественного видения мира сочинителем. Фразеологические повторы (не важно — официально-стилистической или хронографической природы) выражали представление автора повести об энергичности, истовости, даже иступленности всех героев во всех их делах, прежде всего военных. Поэтому автор одинаково называл одни и те же этапы или элементы именно активных воинских действий как у русских, так и у противника: стороны одинаково собирают военный совет, потом организуют войско («царь государь... на враги *воополчаетца*» — 402; немцы и литовцы «воинством на новоприемныя государем грады *воополчаютца*» — 406; и т. п.); затем сходно инструктируются начальники («бояр своих и воивод государь царь... *наказует* их своими царскими наказаньи» — 410; «своих великих панов розрядивь и *наказав* литовский король Степан» — 422); далее одинаково начинается поход («царь государь... *пути ся касает*» — 402; «король Степан... *пути ся касает*» — 422); обе стороны устремляются друг на друга («все воинство христианское... *устремилася* на литовскую силу» — 448; «литовский король... на рускую землю *устремися*» — 406); происходит столкновение как бы равновеликих «обоих» сил («И бе яко гром велик, и шум многъ, и крикъ несказаненъ от множества *обоиво* войска и от пушечного звуку, и от ручного *обоихъ* войскъ стреляния и крика» — 438; «кровопролитное торжество свершися *обоихъ* стран» — то есть сторон, 448); обоюдна крепкость сражающихся («литовскому войску *крепко* и дерзостно на стену лезущим... Государевы же бояре, и воиводы, и все воинские люди со всем христианским воинством противу их непрестанно и безоотступно *крепко* стояще» — 438; «псковичи противу их *крепко* и мужественно стояху... Литовскому воинству *крепце* и напорне... стреляюще безпрестанно» — 440); не только крепкостью, но, например, и скоростью обладают обе стороны в один и тот же момент («на тех же *скорых* литовских гайдуков *скорогораздыя* псковские стрельцы... изготовлены» — 464); напор равносильный («против русских... *отстояти не могут*» — 402, но и против польского короля «*никая* же твердость *отстоятися может*» — 420). И т. д.

Весь мир, по представлениям автора, поглощен неустанной деятельностью. Все герои повести действуют в каждый момент с полной отдачей сил и чувств. Враги: «*крепце* вооружаютца» (400), «*тщателне* же и *изрядно*... приходят» (406), «*всяко тщание* показоваше» (430), «*скоро* и *спешне*» (436), «*торопливейше*» (452), «по *возбешенному* своему обычию» (460) и т. д. и т. п. Стефан Баторий максимально истов: «*неис-*

товый зверь» (406), «всячески сердцем... надымяшеся» (416), «всячески умом розполашеся» (428), «велием учреждением учреди» (434), «мало сердцу его не треснути» (440) и пр. Истово действует и русский царь: «изрядно на враги стояще» (400), «в воинстве крепко силна» (402), «паки наказует всякими царскими наказанми и ученми» (414), «умилне и богомудрене свои царьские грамоты пишет» (424), «слезы же, яко струя, ото очию испущающе» (404) и мн. др. Истово борется русское войско: «битися... от всея душа и сердца и от всея крепости на враги стояти» (410), «всяко тцание показоваше» (416), «всячески неослабно укрепляя» (422), «всем сердца на подвигъ возвари... все телеса адаманта утвержая» (426), «своя дела безпрестанно творяше» (428), «изрядне же и мужественно бьюшеся... неослабными образы» (438) и т. п. Даже русские женщины, если молятся, то «кричаще и гласы ревуше, и в перси своя бьюше... о забрала же и о помость убивающеся, молебне вопиюще» (422); если же им приходится участвовать в военных действиях, то они «оставивше немощи женские и в мужскую крепость оболочешя, и все вскоре... оружие носяще... тшание скоростию показующе» (448, 450). И у каждой из сторон истовы «вкупе вси» (426), «все вкупе... во едино сердце... яко единеми усты... и во единь глас» (448) и пр. Обе стороны одинаковы, симметричны в своих изматывающих усилиях.

Напряжение сил настолько велико, что и русским, и врагам время от времени требуется отдых, о котором регулярно сообщает автор повести: «великую ослабу приемлют» (404), «упокоиватися распутившу» (406, 410), «розьежается... кони упокоевайте» (412), «оттрада... явися» (446), «ретивыя их сердца водою утолеваху» (450), «и от великого своего труда мало некак отдохнувъ» (452) и т. д. Обе стороны опять похожи.

По представлениям автора повести, мир заполнен людьми, энергичными до мозга костей, в том числе энергичными в умственной деятельности; герои в повести умственно и душевно предусмотрительны, все цели они заботливо продумывают, так как все в этом мире требует предварительного «умышления»; участники событий постоянно что-то замышляют и просчитывают: «умышление творяше» (432), «великое умышление умышляют» (472), «всячески размышляюще» (454), «всяко размышляюще» (468), «богомудрене... смышляху» (434), «помыслы воополчаютца» (406), «помысль изрыгну» (408), «разгордесе во помысле» (420), «всемудре разсудительне усмотрех» (418) и пр. Без истового

«умышления» или «помысла» ничего не делается: персонажи размышляют «всякими хитростями и мудрым умышлением» (420), «злоумышленно же и люте лукаво» (432), «всякими своими разными размышлениями» (468) и т. д.

Мир вовсе не рефлексивен. Предваряющие помыслы героев, а также их размышления вслух — расспросы, совещания, речи, клятвы, послания, приказы — тут же переходят в дело: «розпрашивает... како... укрепишася... и колицему и наряду и в коех местех угодно стояти, и для которыя обороны коему от которого места быти» (412) — и тут же «всяким строением тщася» (414); «усоветовав — и смотрев места» (430); «розмышляюще, коими образы... и коею хитростию и мудростию уловим... И тако совет составляют... Паки же по совету своему... устремления... начинают» (456). Для деловитости замыслов героев показательно, что слово «умышление» нередко означает в повести умственное усилие вместе с его материальным воплощением или материальным разрушением: «градоемного умышления места искаше» (430), «сие их умышление всячески разрушишася» (462).

В повести разворачивается борьба деятельных «умышлений»: «кий домысль таковъ будет в руских во Пскове воивод или всяких хитрецовъ, иже домыслитца *против* твоего [Батория] великого разума и твоих великих гетмановъ мудроумышленного ума?» (420); «королевские его персоветников умышление... доведывашеся и тако *противу* умышлений их готовящюся» (458); «изрядне горазда мудры начальные их [русских] гетманы *противу* всяких наших [литовских] замышлений» (464); «благоразумный разум въ государевых делех *против*... всех королевских умышлений» (474).

Самому сильному уничтожению в повести подвергается герой за несоответствие «умышления» и дела: «Что же твоего ума, польский кралю? Что же твоего еще безбожного совету, князь великий литовский? Что же твоего замыслу, Степане? Яко ветра гониши...» (468); «затеял еси выше думы дело» (474). И сам король пеняет своим помощникам за недостаток проницательности и старательности: «Кто ли водители мои, иже на Псковъ ведяху мя, иже глаголаху, яко во Пскове болшого наряду нет... Что же се вижу и слышу?» (430).

В общем, можем сделать вывод: все люди у автора оказываются схожи, потому что во главу всего автор повести ставит энергию людей и их энергичное «умышление», «замышление», «помысл», умение интенсивно «размышлять» — так следует из его повествования о «сво-

их» и о «чужих». Однажды автор даже теоретически высказался на этот счет: «понеже не множеством владелец изправляютьца начинании, но добрым советом» (434), то есть тем же активным «умышлением». Однако представление об энергичности людского мира еще не стало полнокровным у автора и не выразилось разнообразно, как это произошло в литературе значительно позже.

В конце же XVI в. тему обязательной истовости деяний персонажей и интенсивности «разума — умышления», пожалуй, больше никто и не затрагивал. Раньше, в 1540-е годы, родственной темы трезвого «разума» касались Иван Пересветов и Ермолай-Еразм. Затем события Смуты обогнали разум. И только к 1620-м годам вопрос о прощательном «разуме» был поднят вновь (появилась даже «Повесть о разуме человеческом»); а в 1660—1670е годы «разум» объединился с темой деятельной «живости» человека, возникло ясное представление об энергичности мира. «Повесть о прихождении Стефана Батория» в литературном отношении, очевидно, занимает промежуточное место — продолжая старое, она предвосхитила новое; это не только одна из вершин традиционного, компилятивно-комбинаторного литературного творчества XVI в., но и предтеча новаторского литературного творчества XII в.

Примечания

¹ См.: *Охотникова В. И.* Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков // ПЛДР. Т. 8. С. 617—618, 620, 625; *Орлов А. С.* Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков // История русской литературы в десяти томах. М.; Л., 1946. Т. 2. Ч. 1. С. 523—527; Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков / Изд. подгот. В. И. Малышев. М.; Л., 1952. С. 24, 27. Однако есть также указания на другого автора повести — иеромонаха Псковского Елеазарова монастыря Серапиона: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 315—316.

Отрывки из Основной редакции повести далее цитируются по изданию: ПЛДР. Т. 8 / Текст памятника и перевод подгот. В. И. Охотникова. Страницы указываются в скобках.

² *Лихачев Д. С.* Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 1. С. 365.

³ См.: *Орлов А. С.* Повесть о прихождении Стефана Батория на Псков // История русской литературы. М.; Л., 1946. Т. 2. Ч. 1. С. 526—527.

⁴ О рыцарственном этикете в «Казанской истории» см.: *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 368—369. Со ссылкой на наблюдения Э. Кинана.

⁵ Ср.: «Автор Повести знал польские грамоты, был знаком со специальной польской терминологией» (Орлов А. С. О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв. // ИОРЯС. СПб., 1908. Кн. 4. С. 362).

⁶ О хронографической искусственности языка повести см.: Орлов А. С. Повесть о прихождении... С. 526.

О МАНЕРЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ В «ПОВЕСТИ О ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ»

В первую очередь рассмотрим так называемую «восточную» редакцию повести — «Сказание о некоем славном богатыре Уруслане Залáзореви́че», по списку Ундольского 1640-х годов. О восточной основе «Сказания» написано много и многими учеными, но не она интересна нам сейчас, а общая выразительность «Сказания», которую хвалили все исследователи повести; правда, указывали на яркость ее образов (особенно А. С. Орлов и Л. Н. Пушкарев, а в последнее время — Н. В. Стёпина). Мы же займемся фразеологией «Сказания», выражениями и деталями, повторяющимися в тексте повести, то есть ее мелкими повествовательными формами.

Начнем с текстологических наблюдений и попытаемся отделить писца рукописи от анонимного и условного автора «Сказания». Текст в списке Ундольского не является чем-то совершенным. В начале повествования заметны странные повторы. Так, царю Киркоусу знатные люди пожаловались на князя Залазара за то, что его сын Уруслан калечит их детей. Далее: «И пришел дядя князь Залáзар Залáзореви́ч перед царя Киркоуса, и царь Киркоусь промолвил дяде своему князю Залазарю: “О, дядя, князь Залазар!.. Роспустит мне князей, и бояр, и гостей, — ино царство пусто будет”»¹.

И вот противоречие: в следующей за этим фразе сообщается, что царь зовет к себе Залазара (а он ведь уже пришел!), и дословно повторяет ему уже высказанные жалобы на Уруслана: «А велель царь князю Залазарю скоро к себе быт. И князь Залазар тот чась ко царю Киркоусу пришел и ударил ему челомъ ниско. И царь Киркоус Киркодакови́ч учал говорить: “...Ино, дядюшка князь Залазар, не пригоже для одново человека распустит царство...”» и т. д. (101).

Вероятно, писец списка Ундольского намеревался сокращенно изложить свой протограф, но потом спохватился и переписал эпизод с дополнительными подробностями.

Подобный же повтор писец допустил и немного дальше. На упреки отца «Уруслан молвил так: “О томъ, государь батюшка, ни о чем не тужи. Об одном я тужу, что у меня по моей мысли коня нетъ”» (102). И тут же снова: «И молвил Урусланъ Залазорович отцу своему князю Залазарю: “О том, государь батюшка, ни о чемъ не тужи”», — и попросил построить ему каменную палату у моря, раз царь высылает его из царства. Видимо, просьбу Уруслана о коне писец выписал из более позднего эпизода, когда Уруслан был выслан и ему исполнилось 12 лет: «А как Урусланъ будет двунатцети летъ, ино никаковъ кон поднати ег не может». А о палате Уруслан просил, когда Уруслану еще было только десять лет («И какъ будет Урусланъ десети летъ...» — 100). Вероятно, писец попытался сократить изложение и перескочил к эпизоду о поисках коня. Но тогда оставалось не ясным, зачем десятилетнему Уруслану конь, если он играет со сверстниками на улице («выдетъ на улицу ... ково возметь за руку ... а ково возметь за ногу ... играет ... съ ... детми» — 100—101). Пришлось писцу вернуться к первому эпизоду — сначала о том, как построили десятилетнему Уруслану палату у моря и он начал «гуляти» по лукоморью. Тогда-то уже двенадцатилетнему Уруслану и стал нужен конь.

Рассказ о двенадцатилетнем Уруслане и поисках подходящего коня писец тоже сократил. Ведь в протографе поиски коня, по-видимому, вел сначала отец Уруслана. В рассказе такой подробности нет. Но об этом дальше в списке Ундольского сохранилось лишь упоминание Уруслана: «А отецъ мой, княз Залазар, розсылал по многимъ городамъ и по розным далным землямъ, а нигде не мог добыт такова коня» (103).

Писец сделал череду и иных пропусков. Так, Уруслан пожаловался богатырской голове: «а не принесу меча, и мне живу не быть» (118). Речь шла о неуязвимом мече, он лежал под богатырской головой, а Зеленый царь послал Уруслана за этим мечом. Но Зеленый царь в списке Ундольского обещал Уруслану только награду, а о наказании не упоминал. Скорее всего, разговор Уруслана с Зеленым царем и богатырской головой писец тоже сократил.

Небольшие несообразности в тексте, может быть, появились тоже из-за того, что писец подсокращал протограф. Вот одно из противоречий: Уруслан «пустил своег доброго коня в чистое поле, а самъ Урусланъ молвил доброму коню: “Какъ ты мне, доброй кон, будешь надобет, и яз тебя кликну богатырскимъ голосомъ, и ты ко мне буди часа того”» (112). Но сам эпизод писец завершил иначе: «Уруслан ... пошел ... мол-

ча проч к своему доброму коню» (113). Трудно решить, как это Уруслан нашел коня. Но он уже едет, и за ним хотят «погнаться».

Возможно, из-за того, что писец чего-то не дописал, возникало очередное противоречие: «И учал себе Уруслань *думати*, что рат добре велика. И сама не ведает, какие люди в рати той. И напустив Уруслан на великую рат, *не много думавъ никоторыми думы*» (105). Так думал или не думал?

Таких «подозрительных» мест в списке Ундольского немало.

Писец был невнимателен. Он пропуская также отдельные слова. Вот пример. «Сказание» состоит из множества диалогов: один персонаж «молвил», другой — в ответ ему «молвил». Но писец местами забывал отмечать, кто же говорит или что делает («И Уруслань промолвил: “Какъ, де, тебя, брате, имянемъ зовут?” — “Зовут, де, государь, меня Ивашкомъ”» — 103; «и учал Уруслань тог человека спрашивать: “Скажи мне, брате, дома ли княз Данило Белой и не в отъезде ли где?” — “Дома, господине, нынеча...”» — 111; «И Уруслань Залазоревич то слово помыслил, а се — паробчику: “Сынъ мой Уруслан! А яз твой отецъ...”» — 127; и др.).

Наконец, когда писец копировал протограф, он не заметил своих разнообразных описок — пропущенных предлогов («от голоса [с] коней попадаючи» — 106; «еси [из] далные земли приехал» — 116); пропущенных местоимений («[ты] в своем шатре дома, а яз у тебя гость» — 108); искаженных написаний («мне *не* сказали» — вместо «мне, де, сказали» — 106; «тот мячь» — вместо «тот мечъ» — 115, 117; «к Уруслану» — вместо «к Уруслану» — 118; «ложное шерствование» — вместо «ложное шертвование», то есть ложная клятва — 119 и т. д. и т. п.)

В целом, изложение «Сказания» получилось очень небрежным. Переписчик то ли торопился, то ли с трудом считывал протограф.

Орфографические особенности Успенского списка тоже странны. Мы упомянем только некоторые из них. Писец избегал дописывать конечное «о» в окончаниях родительного падежа местоимений и прилагательных (ег, твоег, моего, своего, тог, которог, великог, доброг и мн. др.); а кроме того игнорировал «ь» в окончаниях инфинитива и существительных («роспустит», «прогневит», «говорит», «князь», «кон», «рат», «богатыр» и мн. др.) и в середине слов («силные», «дятка», «зажмурся» и т. д.); «с» вместо «сь» в возвратных глаголах («полюбилос»).

Эти орфографические особенности, кажется, нельзя приписать писцу. Он-то употреблял и нормальные формы (его, ево и т. п.; ездить, езди-

ти; конь и пр.). Можно предположить, что протограф списка Ундольского был не совсем русским (сербским?), а писец кое-что исправлял, но, по своему обыкновению, непоследовательно, возможно, второпях.

Каковы же особенности «грамотной» повествовательной манеры самого автора «Сказания»? Оставим в стороне «восточные» мотивы — они ведут в глубокую древность сюжетов. Но рассмотрим мотивы идейные.

Во-первых, условный автор «Сказания» (но не писец!) серьезнее, чем в предыдущих богатырских повестях, отнесся к вопросу о судьбах царств: «как бы прожить в царстве мочно» (101); «царство пусто будет» (124), «в царстве добрых людей не осталось» (123); «людно царство» (117); «царство ... оборонил» (124); царь «устроил царство свое лутчи старово и учал ... на своем царстве жити безмятежно» (120).

Во-вторых, все «Сказание» автор дополнил темой службы царю: «учнет ... царь ... в службу приимати» (102); «приехал служить ... государю своему слуга быти» (106); «государю рад служить ... служба наказана великая» (113); «службу служиш здорово» (123) и т. д. и т. п. и пр.

В-третьих, честь богатырей автор тесно связал со службой царю: «царь меня ... избесчестил: в службу меня к себе не принял» (103); богатыри опасались «честь свою потерять» (121), «розбойником прослыти» (122).

В-четвертых, царям и богатырям грозила гибель, об этом они всегда помнили («помысли о своей да и о моей голове, как бы прожити» — 101; «приближаемся блиско смерти» — 112; «служба наказана великая ... ему с тое службы живому не съехати» — 113; «яз тому рад послужити, хотя мне голова своя положити» — 117; «живота не будет» — 119; «не можешь жив быти» — 121; и мн. др.).

Эти мотивы «службы» автор повторял в «Сказании», как нам кажется, сообразно идейным опытам Смуты. Наверное, поэтому в кодекс чести и верной службы в «Сказании» проник и такой урок: «Не дай, де, Богъ деяти добро никакову *иноземцу* и веры няти» (111). «Восточную» редакцию повести можно назвать «служивой».

Описательные мотивы тоже повторяются в «Сказании». Странности заметны в том, какое физическое состояние Уруслана и других персонажей предпочитал описывать автор. Персонажи обычно находились в комфортных каменных палатах («и пошел Уруслан с царевною в полату в каменную» — 110; «царевна ... его ... повела в каменную полату» — 125; «вшол царь в каменную полату» — 117); сидели и предавались

созерцанию («и учал Уруслань в своей каменной полате сидет и учал смотрит на большой лугъ на поле» — 104; «и учал Уруслан смотрит ис полаты на чистое поле» — 117; «княз Данило Белой ис полаты самъ усмотрил...» — 113; «Зеленой царь увидел ис полаты...» — 118). Персонажи очень любили отдыхать («лег себе ... опочиват, и уснул добре крепко, да учал спати долго» — 108; «легли спат» — 110; богатырь, даже когда сторожит, то «спит на коне, подперся копьем ... спит, не подвинетца с места» — 121; и т. д. Или «стал ... под дубом, пригуляс» — 113). Уруслана временами охватывает слабость: «И какъ Уруслан с тою царевною поспит месяцъ времени, и он обезсилеет: учнет тянути свой доброй крепкой лук, и он не может и от петел отвести» (125). Думается, таких богатырей автор приблизил к обычным людям.

Своих персонажей автор представлял более человеческими еще и тогда, когда обозначал их переживания, не совсем обычные для такого рода лиц. Так, богатырь Уруслан то «исполошелся» (126), то «ужаснулся» (114), то ему кого-то «жал» (108), то он «прослезился» (112), а то и «заплакал» (111). Зеленый царь нетерпелив: «он не утерпит, выедит» (115); «царь на своем месте не усидел, вышел» (118). Сын Уруслана стыдлив: «мне в соромех не мошно лица своег показат» (126). И т. п.

Но особенно человеческими выглядели герои, когда они ласково обращались к своим собеседникам: «батюшка», «дядюшка», «брате», «душечка еси моя милая». Обращения «брате» отдавали даже неким демократизмом: обычно от высшего к низшему (Уруслан — конюху; царь — Уруслану; голова — Уруслану; Уруслан — коню; старший конь — младшему коню). Царь подавал руку: «И Зеленой царь ... подал ему руку и принел Уруслана к себе в службу» (116). Винились друг перед другом — царь перед Урусланом, Уруслан перед царем, Уруслан перед своим сыном. Могли смиренно называть заведомо низшего «господином»: Залазар — своего сына; Уруслан — тоже своего сына; царь — Уруслана; Уруслан — растерявшихся богатырей и даже тюремных сторожей. Недаром Уруслана, княжеского сына, принимали «за простова человека» (112).

Человечность придают и хозяйственные мотивы в этой богатырской повести: обилие «обслуживающего персонала» (помимо конюха, мастера-каменщики, гонцы, сторожа, дядька, «девки, которые на руки воду подают» — 111; и прочие «служащие» — 124); упоминания городских построек (мост; «каменные ворота городовые» и «царев двор» — 110; палаты каменные); описания конской сбруи; описа-

ния женских одежд («платье на них добре хорошо ... подол сажен великим жемчюгомъ да з драгимъ каменьемъ» — 125); упоминания домашних вещей: вьюки для золота и серебра (105); кровать и постель (121); «вошаночка» и «шириночка» (118—119); наконец, характерен сугубо деловой вопрос Уруслана индийскому царю: «Что, господине, во царстве твоёмъ за озеро, и какое в нем угодые, и какая у тебя в немъ потеха?» (123).

«Восточная» редакция повести была «человечно-служивой».

Мы всмотрелись в повторяющиеся идейные и описательные мотивы «Сказания»; после этого перейдем к фразеологической манере высказываний автора. Главное, чем выделялся автор «Сказания», — это его умением отчетливо излагать события. Подчеркнуто отчетливыми он делал уже свои короткие высказывания — оттого что постоянно добавлял уточняющие слова. Чаще всего автор усиливал пространственные оттенки в сообщении («*вон* выслати из царства» — 102; «вышел из шатра *вон*» — 108; «вышел ис полаты *вон*» — 118; «пошел от темницы ... *проч*» — 113; «с коня сщол *долой*» — 103; «сшиб ево с коня *долой на землю*» — 122; «ударил челом Зеленому царю *ниско до земли*» — 116; и пр.). Еще автор усиливал отрицания («*ни с чемъ* не тужи» — 102; «зла *никотораго* не учну думати» — 106; «даровъ *ничево* не возмет» — 107; «не ездит *ни на один часть*» — 115). Добавлял и иные усиления («*во уме своемъ* помыслил» — 108; «роздумывает на великом *своемъ разуме*» — 113; «убил ево *до смерти*» — 118).

Кроме того, автор усиливал смысл выражений метафорами и приставками: «руку *вырвет* ... ногу *выломит*» (101); «все царство *выво-вал*» (111); «полцарства *выел*» (123); «дороги *пробиты*» (113); «хощ меня *проглотити*» (122); «девка учала *изметоватися* ... всем *переметалас*» (114); «снял ему мечем все три головы» (124); «с коня ево *сшиб*» (117); «*сшиб* голову» (121) и т. п.

В запасе у автора были и другие подчеркивающие средства. Например, частица «де» — ею автор выделял слова, на которые падало смысловое ударение («играет, *де*, *негораздо*» — 101; «есть ли, *де*, тебя *краше*, а меня *удалее?*» — 125; «дай, *де*, Богъ *здравие*» — 103; «дурная, *де*, ты *кляча!*» — 104; «господине, *де*, *Уруслань!*» — 109; «есть, *де*, подо мною *меч...*» — 115 и т. д.). Автор использовал союз «и» также для того, чтобы подчеркнуть ударное слово во фразе («яз тебе *и до смерти* друг буду» — 106; «а бутто ты меня *и не видал*» — 116; «жену Уруслан *и забыл*» — 125 и др.).

Отчетливость и определенность в изложении вносили также «запретительные» афоризмы: «не учи ты гоголя по воде плавати» (105); «доброй человекъ лихому не мститца» (106); «не гонися за ветромъ» (113); «назад не быти, дороги не познати» (114); «двожды богатыри не секут» (118); «два богатыря в поле не живут» (122).

Но особенно отчетливым автор делал изложение, прибегая к многочисленным повторам. Не только к сочетаниям тавтологическим («молодец молод» — 105; «силоу силен ... слухом не слыхано» — 113) или к сочетаниям синонимов («веселье и радость» — 101; «красна и хороша» — 111; «силнее и удалее» — 115), но сильнее всего — к удвоению и даже к утроению фраз, близких по смыслу («не предай мне смерти, дай живот, отпусти меня живого» — 106; «всех ... отпустил ... не оставил ни единого человека, остался одинъ» — 102; «не издержи ты, отпусти» — 114; «прозрили ... стали волной светъ видети» — 119; «мне то все не надобно и ... того делать не хочю» — 128; и мн. др.). Повторял фразы автор и внутри того или иного эпизода («в поле стоит дуб ... велик добре, стоит среди поля, со все стороны ниоткуда лесу неть... стоит дуб велик ис пустоши» — 113; «нихто ег не позна за простова человека место ... пустили за простова человека место» — 112; «и покинул Уруслан свою незаконную жену... а незаконную жену свою покинул» — 128). Регулярно в «Сказании» повторялись все растущие напоминания о подвигах Уруслана.

Зачем автор «Сказания» постарался сделать свое повествование таким отчетливым? Притом гораздо резче отчетливым, чем в предыдущих богатырских повестях (например, в «Повести о Бове» и «Сказании о киевских богатырях»). Автор «Сказания» заботился о читателях. Прямо к читателям автор, конечно, не обращался. Но зато последовательно пояснял для них ход сюжета, то есть о читателях думал («Уруслан ... приезжает к рати блиско, ажно из рати к нему богатыр с копьем скачет, а не чаючи, что к Уруслану скачют» — 105; «сторожи ево к царю Киркоусу пустили... а не чаючи ево, что [он] Уруслан» — 112; «и царь и все людие в царстве ... заплакали горко... а не чаючи тог, что Уруслан в озере живъ будет» — 124; «блюдясь, чтоб Зеленой царь не догодался, что Урусланъ приехал к нему служит лестью» — 117 и т. д.).

По-видимому, для читателей же, нуждавшихся в четкости и определенности изложения, автор «Сказания» составил своего рода «анкеты» персонажей. Им постоянно вменялось отвечать на вопросы: «Какой еси человекъ? А яз тебя не знаю... Какъ, де, тебя, брате, имя-

немь зовут?» (103); «какой еси человекъ: царь ли, или царевич, или князь, или богатырь сильной?»; «какой еси, брате, человекъ и которой земли? Как тебя зовут именем?» (116); «господине, кто ты еси, какой человекъ?» (121) и др. Автор сообщал не только о возрасте персонажей, но и об их «служебной деятельности («стерегу ... стада тридцет летъ» — 103; «стережет он на ... рубеже семь летъ» — 111; «а нынеча тому уже 30 летъ минуло, какъ на меня не смеют никаков богатырь похвалитца» — 117). Удивительные обозначения масти коней и цвета нарядов вовсе не свидетельствовали о том, что автор писал как художник. Нет, автор просто указывал признаки персонажей, как можно было их опознать: конюх — «кон под нимъ сив, тегилай (кафтан) зелен» (103); «князь Данило Белой, — кон под ним сив, кутас (шнур с бахромой) на нем червчат» (106); Феодул Змей — «конь под нимъ бур, кутас зеленъ» (109); Ивашко Белая Поляница — «кон под нимъ ворон, великъ добре» (121); приметы «Зеленог царя, — вогнененног щита, пламенного копья, а ездит он на осмероногомъ коне» (114); «где живут красные царевны, — ... в поле шатер бел, маковицы красново золота аравитцог» (120) — все это для того, чтобы герой «издалече усмотрил и по указу опознал» (109); «по указу догадался» (120), кто перед ним.

Предполагаю, что после окончания Смуты сформировался новый литературный вкус в обществе, — теперь читателей потянуло к отчетливой и ясной манере повествования после невнятицы начала XVII в. Подтверждают это (по-своему) и другие памятники², а еще — предельно сжатая редакция повести об Уруслане («Сказание о граде Каркаусе») по Погодинскому списку № 1556 1640-х годов³.

Остается кратко сказать о фразеологических повторах и взаимодействии персонажей как сквозной структурной форме в «Сказании». Автор часто начинал эпизоды со слова «ажно» (вдруг), неожиданные события делали изложение увлекательным. Автор постоянно перемежал повествование глаголами то в прошедшем времени, то в настоящем времени — рассказ то убыстрялся, то замедлялся; конечно, для интересности, уже не такой прямолинейной, как, например, в «Повести о Бове».

Любопытна цепочка персонажей в «Сказании». Женских персонажей здесь даже больше, чем мужских. Женщины и «девки» не имеют имен — это лишь смягчающий, местами «постельный», фон в произведении, опять-таки для нового типа интересности. Стержень произведения — это, так сказать, родные для Уруслана персонажи; последова-

тельность их появления отражает занимательную биографию Уруслана, этапы его приключений: отец Уруслана Залазар — названный брат Уруслана русский богатырь Иван — любовницы Уруслана две кочующие царевны — законная жена Уруслана индийская царевна — незаконная жена Уруслана царевна в Солнечном городе — сын Уруслана тоже Уруслан от индийской царевны. Все для увлекательности повествования.

Но самый смелый шаг автор сделал, связав персонажей еще и в иную цепь. Герои в повести поочередно сообщают («молвят») Уруслану друг о друге. Выявляются две независимые цепи, кто о ком «молвит». Главная сквозная цепь: «на побоище человек» сообщает о русском богатыре Иване; Иван — о дочери Феодула Змея; дочь Феодула — об Ивашке Белой Полянице; Ивашко Белая Поляница — об индийском царе; индийский царь — о своей дочери; дочь индийского царя — о царевне в Солнечном городе. К этой цепи пристроена женская линия: дочь Феодула — две кочующие царевны — дочь индийского царя. Вторая цепь, независимая от первой: единственный человек, оставшийся в Киркоусовом царстве, сообщает о Залазаре; Залазар — о Зеленом царе; Зеленый царь — о человеческой голове; голова — о Зеленом царе. У этой цепи тоже есть свои индивидуальные отростки, но короткие. Наконец, автор вставил в «Сказание» еще одну независимую цепочку сообщений: конюх — конь Араш — старший брат Араша, тоже конь.

Такие цепочки существуют в «Сказании» параллельно и не пересекаются. То есть автор вставил в свою повесть несколько сюжетных линий сразу, наверняка для интересности произведения. Правда, и об этой цели автор не объявил ни прямо, ни косвенно. В «восточной», «человечной» редакции повести автор соткал целое кружево сюжетов как выразительную форму, обозначающую сложность жизненного пути главного героя: «всякой человекъ хочет потешитися молодостию, да всяко время бывает до поры» (128).

Прошло почти сто лет, прежде чем появилась новая, сильно переработанная редакция повести под пространным заголовком: «Сказание и похождение о храбрости, о младости и до старости его бытия, младаго юноши и прекраснаго русского багатыря, — зело послушати дивно, — Еруслона Лазаревича»⁴ (по Погодинскому списку конца 1710-х годов).

Эту редакцию повести можно назвать «реалистической» — по тому, как она была переработана сюжетно и идейно. Неизвестный нам редактор повести убрал почти все фантастические эпизоды (например, разговор Араша со своим старшим братом, тоже конем; рассказ о птицах-

хохотуньях, превращающихся в девиц); оставил эпизод о трехголовом «чуде», но сократил. Богатырская голова получила тело: «лежить чело-векь-богатырь, а тело его, что сильная гора, а глава его, что силныя бугра»; а рациональный Еруслон «удивилься, что мертвая голова глаголетъ» (314).

Наряду с русификацией имен (это исследователи отметили давно), редактор ввел историческую тему успешной борьбы с татарами: князь Данило Белый вроде бы оказывается татаринном — «собралися к нему мурзы и татары» (313); Еруслонъ «присекъ рать-силу татарскую» (309), «прибил, и присекъ, и конемъ притоптал мурзь и татарь», а остальных «въ крещеную веру привел»; Данила Белого «сослал в монастырь и велель пострищи» (314—315).

Еруслон стал напоминать подневольного служилого человека: «въехалъ на царевъ дворь, и слезъ с своего добраго коня, а самъ пошел ко царю в полату, обраху Божию молитца, царю ... поклоняетца: "...А меня, государь, холопа своего, прими в службу... а меня зовуть Еруслонькомъ"» (311); «"государь!... Пожалуй меня, холота своего"» (315). Нет упоминания о службе «лестью». Конюх, которого в поле встретил Уруслон, тоже служит («я старой слуга отца твоего ... жалованье беру» — 303).

С царями Еруслон отменно вежлив: «прикушал Еруслон Лазаревичъ хлеба маленько у царя» (309); «узналъ Еруслонъ Лазаревичъ, что его царь убоялся ... и с царемъ ... прощаетца, и поехали Еруслон из града вон» (312).

Еруслон после того, как его выслали из родного царства, превратился в благопристойного и воспитанного юношу: в чужом шатре он не заваливается спать рядом с другим спящим, а «легъ опочевать в шатре, на другой стороне» (305); если легли опочивать муж с женой, то деликатно «Еруслонъ из шатра вон вышел» (307) и их разговор намеренно не подслушивал; сам Еруслон сначала хочет увидеть свою невесту («государь царь ... покажи ми дочь свою» — 319) и испросить благословения у родителей (нельзя «естыли мне слюбитца прекрасная царевна и я на ней женюся, а у отца своего и у матери не благословился» — 312); приехал в чужой город и скромно «стал на дворе у вдовы» (318).

И все же Еруслон в «Похождении о храбрости» уже не так благороден и чувствителен, как в «Сказании о Уруслане». По поводу своей высылки из родного царства Еруслон не переживал, а лишь «стоючи усмехнулся» (302). Еруслон хотел убить спящего князя Ивана,

русского богатыря, но затем одумался; зато долго и ворчливо пререкался с ним о том, кто кому подаст умыться («ты песь, а не князь» и пр. — 306). Так же груб и ворчлив Еруслон с другим персонажем («стоит человекъ, копьемъ подпершись ... шляпа на немъ сорочинская, и стоячи дремлетъ. И Еруслон Лазаревичъ ударил ево по шляпе плетью и говоритъ: “Человече, убудися! Мошно тебе и лежа наспатца, а не стоя!”») — 310—311).

Еруслон вовсе не был благодарен богатырской голове, хотя она ведь помогла ему, а он с досадой думал: «Доселе азъ царей устрашалъ, богатырей побиваль, а ныне язъ со слезами багатырской голове поклонился» (316). Пришлось ему извиняться перед головой: «узнал свою вину».

Не так уж героичен Еруслон: «конь испугался, пал на окарачки, а Еруслонъ свалился на землю» (318). Еруслон нарушает данное слово: он обещал «чюду» не убивать его за «камень самоцветной», но получил камень и тут же убил (318).

Наконец, Еруслон с малолетства подвержен плотской страсти: «забыль образу Божию молиться, что сердце его разгорелось, юность его заиграла, и емлетъ себе ... прекрасную царевну» (309), и так трех сестер подряд (а ему семь лет); потом женится в двенадцать лет, но тут же изменяет жене с другой царевной: «смотрячи на красоту ея, с умомъ смешался, и забыль свой первой бракъ, и взялъ ея за руку за правую» и т. д. (320). Женщины о Еруслоне отзываются скептически: «а язъ ... Еруслона Лазаревича храбрости не видала и не слыхала» (308); «обычная твоя храбрость — что ты, насъ, девокъ, разыгнал ... грабилъ» (310).

В общем, «Похождение о храбрости Еруслона» по содержанию более «реалистично», чем «Сказание о Уруслане».

«Реалистические» мотивы «Похождения», по нашему ощущению, были больше ориентированы на XVII в., чем на Петровское время; правда, пока это только предположение. Например, Еруслон советует князьям, боярам, градским людям: «Выбирайте вы царя промежь собою...» (317), — как в 1613 г.? Пожалуй, на начало XVII в. похоже демократическое чествование Еруслона-героя: «встречаетъ ево царь ... въ воротах градных... И архиепископъ того града со всемъ соборомъ, и со кресты, и со иконами стречали, с князи, и з боляры, и со всеми православными христианы, — поклоняетьца весь мир... И царь ... пиры сотворил многия и великия и созвал князей, и бояръ, и всяких чинов людей, з женами и з детми» (318—319).

Мы рассмотрели, какими основными представлениями руководствовался редактор, составив «Похождение о Еруслане». Теперь охарактеризуем другую сторону его повествовательной манеры — работу на читателей, структуру его фраз. Редактор «Похождения» тоже стремился к ясности изложения, но по-своему: он добавил во фразы множество уточнений, поясняющих читателям, как то или иное дело делалось или должно делаться: как догнать конного персонажа («уведает коней следъ ... нашед ступь коневью ис копыть» — 305); как ложиться спать («постлал под себя войлочки косящатые, а в головы положил седло черкасское да узду тасмянную, и легъ опочивать» — 302); как расправиться с неугодными сестрами-красотками («и стал Еруслон Лазаревич с постели, и взял острую саблю свою, и отсекъ ей голову»; второй сестре — тоже; а третьей сестре велель: «а сестерь своих схорони» — 310); как убить трехголовое «чюдо» («и влезъ Еруслонъ чюду на спину, и отсекъ Еруслон у чюда две головы...» — 319); как верно распорядиться драгоценным камнем (не прилаживать куда-то на руку или растачивать на серьги, а сделать перстень или дать в приданое — 320). Эта «технологичность» уже отдает петровским временем.

В «Похождение о Еруслане» редактор поместил, казалось бы, больше изобразительных добавлений, чем в «Сказании о Уруслане», но, как правило, редактор вставлял традиционные фольклорные описания, притом не столько для создания фантастических картин, сколько для резкого, внезапного, без органичной связи с контекстом, подчеркивания свойств персонажей или предметов (например: «жеребець пьеть, и на море волны встают, по дубамъ орлы кречуть, по горамъ змеи свищуть, и никакой человекъ на сырой земле стояти не можетъ» — 304; или: «И Еруслонъ Лазаревичъ ... сталъ скакать з горы на гору, доли и подолки вон выметываль» — 305). Редактор иногда увлекался усугублением деталей настолько, что не замечал какого-то юмористического эффекта у фразы (например: «Картаусово царство ... огнемъ пожъжено и мхом поросло, лишь только одна хижинка стоит, а в хижинке стар человекъ об одном глазе...» — 312; или: «И Еруслонъ взялъ въ руку мечъ, а в другую полцаря ... и убиль ... сорокъ человекъ» — 317).

Повышенной отчетливости изложения и деления его на части и эпизоды редактор добивался также гиперболическими числами, особенно количества войск, регулярными указаниями возраста Еруслона и дли-

тельности его поездок. Так редактор выполнял обещание, сформулированное в заголовке повести: чтобы было «зело послушати дивно» (301).

В целом, «Похождение о Еруслоне» напоминает грубоватую литературную поделку конца XVII — начала XVIII в. Оттого в тексте «Похождения» появились противоречия и несообразности. Так, Еруслон ездит на богатырском коне задолго до Араша и еще до высылки из царства: вот батюшка едет домой, «ажно встречаеть сынъ его Еруслон Лазаревичъ ... слазить з добра коня богатырского» (301). Вот Еруслон хватается за оружие («вынял у себе саблю булатную — 305; «и оборотил Еруслон свое долгомерное копьё» — 306), но в следующем воинском эпизоде оружие у Уруслона вдруг куда-то девалось («нетъ у Еруслона ни щита крепкаго, ни копьа долгомерного, ни меча остраго» — 308). Богатырская голова представляется Еруслону: «Был язъ богатырь ... а по имени меня зовуть Рослонеемъ» (314); но через несколько листов рукописи та же богатырская голова зовется совсем по-иному: «И приехал Еруслон к багатырской голове ... багатыря Рохлая» (317).

Несообразны некоторые выражения как результат невнимательного пересказа редактором его источника: «в жеребцах не мог себе лошапки выбрати» (302); «погоню на море поить лошадей» (303); «не учи, батюшко, оголя по воде плавать, а богатырского сына с татары дело делать» (309).

Во второй половине «Похождения» прибавились признаки того, что редактор пропустил некоторые эпизоды, но не заметил дальнейшие указания на них. Например, богатырская голова жалуется, что царя Огненного Щита, Пламенного Копья, «мечъ его не сечет, и сабля его не иметь» (315). Но меч, которым можно убить этого царя, лежит под головой, он был у богатыря. Отчего же не убил? Причина в пропуске эпизода: в «Похождении» редактор, сокращая и «спрямляя» композицию повести, пропустил эпизод о том, как царь сжег богатыря, не дав ему воспользоваться смертоносным мечом. Или, например, сказано о казни Данилы Белого Еруслоном: «А за тое его убиль, что он мать его убиль, княгиню Епистимию» (318). Но об этом ничего не говорится в предшествующем, тоже сокращенном, эпизоде о нападении Данилы Белого на царство, где проживали родители Еруслона.

Простонародная повесть об Уруслане — Еруслоне была обречена на переход от сочной «человечности» к «реалистичной» деловитости вкупе с суховатой гиперболичностью. Кому что нравилось.

Примечания

¹ «Восточная» редакция «Повести о Еруслане» («Сказание о Уруслане») цитируется с упрощением орфографии по публикации Н. С. Тихонравова: *Летописи русской литературы и древности*. М., 1859. Т. 2. Отд. 2. С. 101. Далее страницы указываются в скобках.

² См.: *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 411—414.

³ См. публикацию текста в кн.: *Пушкарев Л. Н.* Сказка о Еруслане Лазаревиче. М., 1980. С. 162—164.

⁴ «Похождение о храбрости Еруслана Лазаревича» цит. по изд.: ПЛДР: XVII век. Кн. 1 / Текст повести подгот. Н. С. Демкова. С. 301. Далее страницы указываются в скобках.

РЕАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ДЕТАЛИ В «ЖИТИИ» ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Художественные средства древнерусской литературы изучаются, если так можно выразиться, довольно осторожно. До последнего времени исследователи проводили наблюдения преимущественно лишь над устойчивыми формулами и метафорами-символами в литературе Древней Руси, да и то работы подобного рода появлялись редко и с большими перерывами. Если, например, устойчивыми литературными сочетаниями занимался до революции А. С. Орлов¹, то лишь полвека спустя к ним снова обратились А. Н. Робинсон², Д. С. Лихачев³, а затем О. В. Творогов⁴. Если в начале 20-х годов древнерусские метафоры и символы исследовал В. В. Виноградов⁵, то лишь через двадцать с лишним лет они вновь стали объектом изучения В. П. Адриановой-Перетц⁶ и еще через десятилетие послужили темой статьи Д. С. Лихачева⁷, включенной затем в его книгу «Поэтика древнерусской литературы»⁸.

Названная книга Д. С. Лихачева гораздо решительнее прокладывает пути в неизведанную область изучения литературных средств Древней Руси. Д. С. Лихачев привлекает к исследованию и такие художественные средства, которые до сих пор не были известны в науке. Достаточно напомнить открытые им бинарные построения в древнерусской литературе⁹.

Но, конечно, нельзя объять необъятное. И поэтому интересующему нас средству — художественной детали — ни Д. С. Лихачев, ни, насколько мне известно, другие исследователи древнерусской литературы не уделяют особого внимания.

Художественная деталь, по-видимому, не без оснований выпадает из поля зрения исследователей литературы Древней Руси. Дело не в том, что пока еще не выработано общепринятого определения художественной детали¹⁰. Это было бы полбеде. Дело в том, что такие детали появ-

ляются в литературе не ранее XVII в., так что «виноватыми» оказываются не исследователи, а древнерусская литература.

Если все же предпринять изучение художественных деталей в древнерусской литературе, то лучше всего начать наблюдения с произведения, исключительно богатого яркими деталями — с «Жития» протопопа Аввакума. Так как большинство художественных деталей этого знаменитого «Жития» имеют, как кажется, реально-бытовой характер, то есть выступают в виде подробностей быта и природы, то данную работу я и посвящаю реально-бытовым деталям в «Житии» протопопа Аввакума.

Богатство «Жития» художественными деталями, конечно, относительно. Оно бросается в глаза, если сопоставлять «Житие» с другими древнерусскими произведениями. Фактически же художественных деталей у Аввакума не так уж много; они рассеяны в море реально-бытовых деталей, которые используются лишь как средство правдивого документального повествования. Отсюда неудивительно, что при сходстве ситуаций, описываемых в «Житии» и в каких-либо документах XVII в., нередко сходны и отбираемые авторами реально-бытовые детали.

Можно отметить общее сходство рассказа Аввакума о том, как в церкви на дьячка Антония напал никонианин Иван Струна: «вскочил в церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду» (18)¹¹ и стал бить, — и других его рассказов о нападениях никониан на правоверных около церкви, когда «пришед сонмом, до смерти задавили» (10), с явочными челобитными аналогичного содержания, например, с холмогорской челобитной 1666 г.: «...и внезапно тот дьякон Дмитрией пьян, пришел в олтарь тайно, и похватил меня, богомолца твоего нищего, рукою за бороду, а другою рукою ударил меня, богомолца твоего нищего, по лицу, да и о помост меня в олтарной бросил, и похватя меня за горло, и задавил до смерти...» (337).

Замечается общее сходство частых жалоб Аввакума в «Житии» на наготу, смрад и дым, на болезни, на то, что ноги пухнут, с жалобами, например, бывшего патриарха Никона, писавшего в 1671 г. к царю из ссылки: «и емь ныне болен и наг, и бос; обжогся и обносился до нага; и креста на мне нет третьей год; стыдно и во другую келью выйти, идеже хлебы пеку и варю, понеж многие части зазорные не покровены, и со всякия нужды келейныя и недостатков оцелженел; руки больны, левая не подымается; очи чадом и дымом выело, и есть на них бельма, и из

зубов кровь идет смердящая, и есть не терпят ни горячева, ни студенова, ни кислова; ноги пухнут...» (109).

То же общее сходство наблюдается в описаниях смертей и тяжелых болезней в «Житии» Аввакума и, например, в статейном списке о смерти патриарха Иосифа, посланном в 1652 г. царем Алексеем Михайловичем Никону. «И мы со архиепископом, — пишет царь, — кликали и трясли за ручки-те, чтоб промовил, отнюдь не говорит, толке глядит, а лихорадка-та знобит и дрожит весь, зуб о зуб бьет», «толко очами зрит на нас быстро, а не говорит, знатно то, что хочет молвит, да не сможет», «сжался двожды прытко да и отшел к господу богу» (79—81).

Общее сходство деталей «Жития» и документов может объясняться сходством самих случаев, послуживших предметом описания. Но, как бы ни объяснять подобное сходство, оно симптоматично. В документах, особенно в явочных челобитных, детали подчиняются жестким требованиям точности, правдивости изложения и выразительного выделения главного. Реально-бытовые детали «Жития» Аввакума, как бы проверяемые и подтверждаемые документами, свидетельствуют об аналогичных целях протопопа.

Документальная точность аввакумовских деталей не мешает им, однако, участвовать в создании целых картин и приобретать добавочные, уже точно не перечислимые оттенки. Свидетельствует ли это о сознательных художественных намерениях автора «Жития»? Думается, что нет. Чтобы убедиться в стихийности творчества Аввакума, обратимся к некоторым примерам.

Рассмотрим, например, рассказ Аввакума о том, как он сидел в темнице Андроньева монастыря (16). Внешне повторяется давно известная житийная ситуация: мученик после надругательства брошен в темницу, где молится в одиночестве, и вдруг перед ним является ангел. Но обратим внимание на начало рассказа. «на чеши кинули в темную полатку, — пишет Аввакум, — ушла в землю... во тме сидя, кланялся на чеши, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно» (в редакции Б добавлено: «сверчки кричат, и около меня ползают» — 98).

Эти детали оказываются удивительно многозначными, способными передать сразу несколько реальных признаков одиночества Аввакума: и темноту, с оживленной деятельностью ночных животных и насекомых; и тесноту «полатки», где вокруг узника ползают тараканы и пробегают никем не пугаемые мыши; и полную тишину в «земля-

ной» темнице, не прерываемую извне ни одним человеческим голосом. Отражение этого находим в указанной реально-бытовой детали: сверчки у Аввакума не стрекочут, а «кричат». Это преувеличение, так как словом «кричать» Аввакум всегда обозначает громкие звуки, а между тем он очень точно называет звуки, издаваемые разными животными (ср.: «как поехали, лошади под ними взоржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли» — 35. Знаменательно различие — «взвыли» и «завыли»! Или другой пример: «учала кричать и вопить, собакою лаять, и козю блекотать, и кокушкою куковать» — 79). То, что сверчки у Аввакума «кричат», указывает, по-видимому, на полную тишину, в которой он их слышал.

Подведем небольшой итог. Живо рисуя свое одиночество в темнице Андроньева монастыря, Аввакум предпочел показать это через детали, сумев выбрать выразительные и емкие по смыслу. Но если ему и удалось нарисовать картину одиночества, то вряд ли он сделал так с полным пониманием роли художественных деталей в передаче картин действительности. В «Житии» воссоздано немало картин с использованием деталей, но не наблюдается никакого, хотя бы слабо выдержанного, единообразия в использовании этого художественного средства. То деталей несколько, и все они явственно многозначны, как в примере, приведенном выше. То деталь одна, и смысл, вкладываемый в нее Аввакумом, ограничивается только одним оттенком. То деталей довольно много, но их добавочный, «недокументальный», смысл очень расплывчат, об оттенках его приходится лишь догадываться. Все это говорит о том, что Аввакум писал, «как бог на душу положит», а художественные картины в «Житии» получались в силу природного литературного таланта этого писателя.

Однако на одну закономерность, притом важную, указать все-таки можно. Речь пойдет о том общем смысловом оттенке, который реально-бытовые детали вносят в создаваемые Аввакумом картины. Значение реально-бытовых деталей в «Житии» Аввакума заключается не только в том, что они, как указывают Н. К. Гудзий и А. Н. Робинсон, «материализуют» изображаемые чудеса, делают их более «картинными» и «физически ощутимыми»; наконец, «опускают в быт» деятельность мучеников за правую веру¹². Это верно, но, думается, не достаточно. Реально-бытовые детали «Жития» «вводят» не столько в быт, сколько в природу. Благодаря им природа становится постоянным фоном жизни

человека. Как ни странно, эту черту «Жития» Аввакума почти не замечали, хотя важность и своеобразие ее вне всяких сомнений.

Вернемся, например, к рассмотренной картине одиночества Аввакума-узника. Она отличается от того, как обычно изображается одиночество подвижника в житиях. В житиях одинокий подвижник находится как бы в пустоте. У Аввакума же благодаря реально-бытовым деталям это одиночество в реальном мире, с его шорохами, потемками и «мышьей жизни беготней». Аввакум, вспоминая, как его в ссылке даурской, на Долгом пороге, воевода Пашков «на те горы выбивал... со зверми, и со змиями, и со птицами витать», представляет себя — через детали — словно в окружении животных, до которых почти можно дотянуться рукой: «На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, вольки, бараны дикие, — во очию нашу, а взять нельзя!» (22).

Сходная же картина одиночества с обязательным присутствием животных в качестве художественных свидетельств об одиночестве человека рисуется в рассказе Аввакума о тюрьме в Братском остроге: «Таже привезли в Брацкой острог, и кинули в студеную тюрьму... Что собачка, в соломе лежу на брюхе... караулщики по пяти человек одаль стоят. Щелка на стене была, — собачка ко мне по вся дни приходила, да поглядит на меня... и я со своею собачкою поговаривал; а человецы далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрьму не смеют» (179; ср. 24). Реально-бытовые детали отражают не только представление Аввакума о своем одиночестве в тюрьме, но, как и в ранее приведенных примерах, передают тесное окружение узника животными — на расстоянии вытянутой руки: «Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батوشка не дадут дурачки!» (24—25; ср. 179).

Но, конечно, не только в картинах одиночества можно заметить своеобразную «пейзажную» роль реально-бытовых деталей «Жития» Аввакума. Они «вводят» в природу везде, где используются; даже тогда, когда Аввакум изображает собственно быт.

Быт Аввакума беден так же, как у житийных мучеников. Например, свое зимовье у Иргень-озера Аввакум описывает следующим образом: «А я лежу под берестом наг на печи, — пишет Аввакум, — а протопопица в печи; а дети кое-где: в дождь прилучилось; одежды не стало, а зимовье каплет, — всяко мотаемся» (33). Как это характерно для Аввакума, он обязательно подчеркивает смысл приводимых деталей: «всяко мотаемся» (в редакции В добавлено: «а дети кое-где переби-

ваются» — 187). И действительно, детали отражают картину крайней нищеты протопопа и его семьи, «всяко мотающейся» и «перебивающейся». Это показывает еще одна деталь, которую добавляет Аввакум в приводи мом рассказе: «...а зимовье каплет, — всяко мотаемся... Я-су встал, добыл в грязи патрахель и масло священное нашел» (33). Епитрахиль в грязи! В зимовье так грязно, протопоп так беден, что нечем предохранить одеяние для церковной службы.

Правда, эта деталь, столь выразительная для нас, занимает в рассказе явно второстепенное место. Аввакум никак ее не выделяет. Более традиционная деталь о нагоде — «лежу под берестом наг» — нравится ему больше; ее он поясняет: «одежды не стало»; ее он помнит еще с той поры, как писал первую челобитную царю Алексею Михайловичу: «... без обуви и без одежды, яко во иное время берестами вместо одеяния одевался» (727).

Но в целом получается, что быт Аввакума совсем не пуст, как обычно в житиях. Он наполнен вещами, которые вопиют о бедности протопопа. А реально-бытовые детали и здесь пронизывают быт природой: нагота Аввакума не мыслится вне дождя, снега, грязи, бересты и пр. О своей промокнутой, замерзшей, грязной одежде Аввакум часто вспоминает в «Житии» как о наглядном результате переносимых мучений, и за этим всегда стоит реальная погода, реальная зима, реальное наводнение: «Сверху дождь и снег; а на мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, — нужно было гораздо» (24); «Все розмыло до крохи!.. а люди-те охают, платье мое по кустам развешивая, шубы отласные и тафтяные... все с тех мест перегнило, — наги стали» (26); «...все замерзло: и безлуки на ногах замерзли, шубенко тонко, и живот озяб весь; увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает...» (233).

И вообще любая ситуация из жизни мученика за правую веру у Аввакума имеет своим фоном природу, даже мученическая смерть: «...наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачimy; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти», «а по смерти нашей грешная тела са наша добро так, царю, ты придумал со властями своими, что псом помета ти или птицам на растерзание отдати» (пятая челобитная, 761, 764). Аввакум почти с естествоиспытательской точностью наблюдает за этими «телесами» мучеников. «На Устюге пять лет безпрестанно мерз на морозе бос, бродя в одной рубашке, — вспоминает протопоп

об одном из мучеников, о Федоре-юродивом, — ...у церкви в полатке, — прибежал молитвы ради, — ...по кирпичью тому ногами теми стучает, что коченьем!» (57). Ноги — коченья!

Чем объяснить то явление, что природа постоянно присутствует в воспоминаниях Аввакума, даже там, где она «необязательна» и «неуместна» с точки зрения житийных канонов? Конечно, Аввакуму в ссылках пришлось немало путешествовать по Сибири и по Северу, видеть столько разных мест и диких углов, сколько другие не видали за всю свою жизнь (или в какой-то степени могли повидать лишь с помощью «нечистой силы» — вспомним «Повесть о Савве Грудцыне»). Жизнь в ссылках, конечно, наложила отпечаток на сочинения Аввакума, способствуя их «насыщению» природой. И все-таки подобное «насыщение» беспрецедентно. Ведь сколько ссыльных и опальных писали до Аввакума, но почти всегда «без природы». Протопоп же Аввакум был, очевидно, в высшей степени неравнодушен к природе; она производила на него глубокое впечатление и запоминалась надолго, так что и через десять лет он мог ярко описать поразивший его пейзаж; его литературный талант имел своеобразную «природоведческую» сторону — вот то объяснение, которое можно дать аввакумовскому феномену.

И действительно, об этом свидетельствуют автобиографические признания Аввакума в «Житии». Еще задолго до ссылки, когда Аввакум был совсем молод и жил с отцом и матерью в селе Григорове, что поразило его до глубины души? Умершая скотина. «Аз же некогда видеу у соседа скотину умершу, — начинает свое «Житие» Аввакум, — и той ноши, возставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся ноши молитися» (8).

Или другой пример особой впечатлительности Аввакума по отношению к природе. Когда ему плохо, «нужно», когда он почти теряет сознание, что остается в его памяти? Дождь и снег, вершина дерева, а иногда и сияющие звезды («...взлез на вершину дерева... толко смерть пришла. Взираю на небо и на сияющия звезды, тамо помышляю владыку, а сам и перекреститися не смогу, весь замерз» — 233). Так вспоминает Аввакум, как он замерзал в тайге.

У Аввакума в «Житии» мы находим точное различие многочисленных разновидностей животных и растений, деталей их окраски, формы и пр., — все то, что, в сущности, не нужно для житийного произведения и излишне даже для «географической» отписки (например,

замечания о «перии красном» у утиц и сером у галок в Даурии или упоминание о в общем-то бесполезных «травах красных и цветных и благовонных» у Байкала — 22, 42).

Наконец, «природоведческой» особенностью литературного таланта Аввакума объясняется не только то, что именно у него в сочинениях появляются большие описания природы, но и то, что толкованиям природы он посвящает некоторые сочинения целиком (например, сочинение «О сотворении мира», толкование на книгу пророка Исаии — 510 и сл., 651 и сл.).

Любопытной особенностью «природоведческого» таланта Аввакума является следующее: писателю удается передать разнообразные пространственные оттенки окружающего мира, и в этом не последнюю роль играют реально-бытовые детали.

В «Житии» Аввакума действие разворачивается в двух основных типах художественного пространства¹³. Одно пространство — замкнутое как бы на расстоянии вытянутой руки пророка. Мы уже приводили пример подобного замкнутого пространства в рассказе пророка о заключении в темнице Андроньева монастыря. Дальнейшие события, о которых повествует пророк, разворачиваются также на расстоянии вытянутой руки от героя. Является ангел и берет Аввакума за плечо: «...ста предо мною, — пишет пророк, — не вем — ангел, не вем — человек... и взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал, и хлеба немношко и штец дал похлебать...» (16). Примечательно, что обычно ангел менее стеснен, берет человека за руку, а не за плечо, ведет далеко и пр. (Ср. «Видение Исаии»: «и емь мя за руку, възведе мя...» — 170.1). Затем Аввакума выводят из темницы, но он снова оказывается в замкнутом пространстве, на этот раз в тесном окружении никониан, на расстоянии их вытянутых рук, что хорошо передается такими деталями: «Сняли болшую чепь, да малую наложили. Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют» (17).

Итак, один тип пространства в «Житии» — это замкнутая темница вокруг узника или тесное кольцо никониан вокруг одинокого борца за правую веру (ср. послание Аввакума «стаду верных», где никонианское окружение вокруг «правоверного» ассоциируется с волчьей пещерой: «...а в одном хлеве и один волчищо сотню ягнят передавит. А ты только сам забредеш в их волчью пещеру, идеже жилище бесом,

сиречь в никониянскую церковь, как не пропал? И игрушки, волчата задавят» — 822).

Другой тип художественного пространства в «Житии» — это огромный мир, в который заброшен Аввакум. В отражении представлений Аввакума о громадных пространствах, его окружавших, важную роль играют детали тела человека, их сопоставление с объектами природы: «утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову!» (22); спина и плечи человека противостоят всей массе падающего сверху дождя и снега, как бы облепляющего фигуру страдальца: «Сверху дождь и снег; а на мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, нужно было гораздо» (24); наконец, противопоставляется вся фигурка человека бесконечной ледяной равнине озера Шакша: «...по льду зимою по озеру бежал на базлуках; там снегу не живет, морозы велики живут и льды тольсты намерзают, — блиско человека тольщины... гараздо от жажды томим, итти не могу; среди озера стало... озеро верьст с восьмь» (46).

Бесконечные пространства Аввакум словно мерит распростертым телом человека, упавшего на лед: «Пять недель по лду голому... сам и протопопица брели пеши, убивающесе о лед... протопопица бедная бредет-бредет, да и повалитися, — кольско гораздо!» (31). Особенно ярко это выражение бесконечности пространства через «укладывание» падающего тела человека на всем протяжении его пути видно в рассказе протопопа о том, как он возвращался домой с озера Шакши. Повторяющиеся детали — какое время прошло, сколько верст пройти осталось и как их протопоп преодолевает, таща нарту с рыбой, — хорошо передают пространственную протяженность памятной для Аввакума дороги. «...Ходил я на Шакшу-озеро к детям по рыбу, — от двора верст с пятнатцеть», — начинает с обозначения полного расстояния от озера до дому свой рассказ Аввакум. «И егда буду наскреде дороги, изнемог... ночь постигла, выбился из силы, вспотел и ноги не служат. Верст с восьмь до двора», — снова повторяет Аввакум сведения о времени, о сократившемся расстоянии и о падениях на дороге. И снова: «поташа гоны места, ноги задрожат, да и паду в лямке среди пути ниц лицом, что пьяной; и озябше, встав, еще попойду столко жь, и паки упаду; бился так много, блиско полуночи». И затем опять те же детали; но остается пройти уже не пятнадцать, а четыре версты, и Аввакум все падает и падает: «...опять поташил; ино нет силки; еще версты с четыре до двора... тащился с версту, да и повалился... на коленех и на руках полз

с версту... опять лег». Наконец остается совсем мало: «уже двор и не само далеко... на гузне по маленьку ползу... у дверей лежу, промолвить не могу, а отворить дверей не могу же». И, наконец, завершение этих бесконечных пятнадцати верст: «по утру уже встали; уразумев протопопица втащила меня бытто мертвова в ызбу» (232—233). Как видим, Аввакум не побоялся повторения однотипных деталей: они помогли ему передать во времени и пространстве такое однообразное, трудно поддающееся образному отражению явление, как пешее передвижение. Но в его воображении жила настолько яркая картина громадного ночного пространства вокруг одинокого путника, что даже на себя он смотрел как бы сверху и видел себя червем и угасающей искрой в ночи («яко червь, исчезаю», «увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает»).

Кроме умения рисовать словами пространственные картины, «природоведческая» особенность литературного таланта Аввакума сказывается и, если можно так выразиться, в световых эффектах. Дело в том, что неземной, условный символический, свет в видениях у Аввакума представляется вполне реальным и вещественным.

В начале «Жития» протопоп рассказывает, например, о трех символических кораблях, которые он увидел в забытьи: «Вижу: пловут стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты златы, и все злато...» (9). Появление в видениях предметов или существ, испускающих сияние, ослепляющих белизной и красотой, обычно. Без них не обходится почти ни одно видение, в том числе и у Аввакума. Но среди этих традиционных деталей выделяется деталь, указывающая на блеск золотых весел и шестов у двух кораблей. Если сверкают такие рабочие части, как весла и шесты, то каким новым, празднично сияющим золотом должен казаться весь корабль! И одновременно благодаря такой детали это вполне земной, реальный блеск прозаических предметов — весел, шестов... Недаром Аввакум в видении задает также вполне прозаический вопрос о том, кому принадлежат суда: «Чье корабли?» Недаром третий корабль «не златом украшен, но разными пестротами — красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо» (10) — вполне земная красота, не появляющаяся обычно в древнерусских видениях (ср. в «Книге бесед» Аввакума описание земли во второй день творения: «И израстиша былия прекрасная, травы цветныя разными процветении: червонныя, лазоревыя, зеленыя, белыя, голубыя и иныя многия цветы пестры и пепелесы» — 666). Хотя некоторый «райский» оттенок в этих

описаниях тоже есть. Ср. описание райских птиц в «Хождении Агапия в рай»: «злато перие», «различными красотоми и пестротами украшены» (468.1).

Сходную по функции деталь, усиливающую и сияние предмета, и предметность сияния, находим, например, в видении Анны, духовной дочери протопопа, которое Аввакум пересказывает в своем «Житии». Анна во сне попадает, очевидно, в рай, «во светлое место, зело гораздо красно», где все сверкает белизной и «неизреченною красотою сияет». Ангелы показывают ей «многие красные жилища и полаты» — уже не совсем «райская» деталь! — вводят в одну из них: «ано-де стоят столы, и на них послано бело, и блюда з брашнами стоят» (78). Неземное сияние превращается в белизну чистой скатерти на обеденном столе.

Так чуткость по отношению к природе и реальному, физически ощущаемому миру, органически свойственная Аввакуму, помогла этому писателю без особого труда отражать природу как фон, как пространство, как свет и как цветовые оттенки, не воспроизводимые под пером на бумаге без особого «природоведческого» таланта.

В этом отношении положение «Жития» в творчестве Аввакума остается своего рода загадкой, потому что неясно, как подготовлялось накопление «природоведческих» элементов в предыдущих произведениях протопопа и в предыдущих произведениях древнерусской литературы (и искусства также). Вряд ли все началось внезапно с «Жития». Однако в данной статье подобную самостоятельную тему приходится оставить в стороне: для нее необходимы новые поиски.

Реально-бытовые детали Жития позволяют поставить и другой вопрос: о месте «природоведческой» черты Аввакума в системе остальных особенностей его творчества. Пример, приводимый ниже из «Жития», помогает, пожалуй, частично наметить ответ на поставленный вопрос.

Иногда через реально-бытовую деталь Аввакума может раскрыться очень сложный характер человека. Таково, например, изображение воеводы Пашкова в «Житии». В общем, это «дивий зверь», злодей, мучитель, довольно характерный для житийного жанра. Аввакум много рассказывает о его злодействах. Вот он опять намеревается мучить Аввакума: учрежден застенок, разожжен огонь, приготовились палачи. Должны привести Аввакума на пытку, а «после огня-тово мало у него живут» (37). Аввакум в этом эпизоде сравнивает Пашкова со зверем — медведем, который хочет проглотить правоверного: «жива бы

меня проглотил, да Господь не выдаст» (38). Сравнение для Аввакума не редкое. Но уже сложившееся представление о Пашкове переворачивает одна деталь. Пашков напоминает протопопу именно белого медведя, которого не раз он мог видеть на Севере: «Пашков же, возвед очи свои на меня, — слово в слово что медведь морьской белой...» (38). Это сравнение, взятое из мира природы, изображает вспоминаемую Аввакумом кудлатую седину Пашкова, которому в то время было уже около 50 или даже за 50 лет. Упоминание о седине противника, злодея совершенно необычно. Древнерусские авторы обычно отмечают седину достойных людей, святых страдальцев и т. п., начиная с «добролепных седин» Владимира в «Сказании о Борисе и Глебе» и «серебряной седины» Святослава «Слова о полку Игореве» и кончая «иконписными подлинниками» времен Аввакума. Но в этом эпизоде страдальцем выглядит Пашков. Только что вернулся из неудачного похода по Даурии его сын Еремей, раненный и чудом один оставшийся в живых из всего отряда. Пашков идет к сыну, «яко пьяной с кручины». И в кручине даже к Аввакуму обращается со вздохом: «вздохня говорит». Седина показывает стареющего, страдающего, вдруг посмирившего человека. И окружен Пашков в этот момент смиренными людьми: кланяющимся Аввакумом, сыном Еремеем, который, как сказано в предыдущем рассказе «Жития», «разумен и добр человек: уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его» (37). В том же рассказе, где упоминается седая борода пашковского сына, рассказывается, как Пашков плакал и каялся в грехах: «Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумався и плакать стал; а сам говорит: “согрешил окаянной...”» (36). Так подготавливается изображение в воеводе Пашкове совсем других свойств человека, другой, человеческой, стороны злодея, и реально-бытовая деталь играет здесь очень важную роль¹⁴. Но самое интересное то, что указанная реально-бытовая деталь отражает сразу две особенности литературного таланта Аввакума: и его «природоведческую» наблюдательность, и его лирический подход к человеку, даже к своему врагу.

Приведенный пример, как нам кажется, подводит к вопросу об Аввакуме-лирике. Крупный писатель, по-видимому, не может не быть лириком в той или иной степени. «Природоведческое» и лирическое начала у Аввакума тесно связаны. Достаточно вспомнить, например, лирический байкальский пейзаж в «Житии», переходящий во взволнованное рассуждение протопопа о человеке, который вместо «упокоения» всю жизнь проводит в суете, «дни его, яко сень, преходят» (42). Однако

лирическая струя в творчестве Аввакума почти совершенно не исследована. Вопрос о лиричности Аввакума как об особой теме исследования до сих пор фактически даже не ставился.

Такова еще одна важная особенность Аввакума-писателя — лиричность, — к которой подводят реально-бытовые детали его «Жития».

Но кроме «природоведческой» и лирической (возможно, и психологической) сторон литературного таланта Аввакума реально-бытовые детали позволяют поставить вопрос и шире — вообще о художественных деталях в сочинениях Аввакума и в древнерусской литературе.

В порядке постановки вопроса по этой, также самостоятельной, теме можно привести следующие выборочные наблюдения.

В произведениях Аввакума, предшествующих «Житию», и в житийной литературе его времени художественные детали встречаются довольно редко. Так, в одном из самых ранних произведений, написанных Аввакумом за 11—12 лет до «Жития», в первой челобитной царю Алексею Михайловичу 1664 г., реально-бытовые детали встречаются, но не имеют художественного значения, так как используются лишь для усугубления жалоб челобитчика добавочными фактами и подробностями.

В произведениях Аввакума, написанных позднее первой челобитной, художественные детали встречаются лишь изредка. Например, в послании Андрею Плещееву Аввакум изображает никонианских глав церкви как горьких пьяниц. «Нынешних ваших пьяных апостолов исправление, которые всегда с похмелья мудрствуют», — обличает Аввакум и далее рисует целую картину: «Яко ваши нынешния, дрожнями прокислые, мудрецы, трясущимися руками пишут, ползающе по земле, яко гадове» (882, 884). Эти трясущиеся руки ползающих пьяниц действительно убийственны в качестве уничижительной детали: ведь речь идет о пишущих «правые догматы». Из всех произведений Аввакума, созданных до «Жития», это место отмечено, пожалуй, самой яркой художественной деталью.

Обычно же реально-бытовые детали у «раннего» (сорокалетнего) Аввакума лишь приближаются к художественным, еще не становясь таковыми. Например, в пятой челобитной, посланной царю Алексею Михайловичу года за три до написания «Жития», Аввакум рассказывает о своем видении в темнице и мимоходом обрисовывает темничную обстановку. «Яко древле и еретиков так не ругали, яко же меня ныне, — замечает протопоп, — волосы и бороду остригли, и прокляли, и в темнице затворили». И далее говорит о своем положении: «И в полунощи

во всеобщее чтущу ми наизусть святое евангелие утреннее, над ледником на сололке стоя, в одной рубашке и без пояса» (765). Перечисляемые реально-бытовые детали свидетельствуют о том, что в памяти Аввакума вставала картина того, как он жил в темнице. Но приводимые им детали еще не обладают той многозначностью, благодаря которой картина действительности отражается в ее полнокровной живости и цельности, что затем увидим в «Житии». В данном же случае детали поясняют только одно то, что Аввакум был наг в холодной темнице. Но примечательно, что и здесь Аввакум уже не обходится без «природной» детали, помня и о «сололке», на которой он стоял.

Относительное обилие художественных деталей в «Житии» Аввакума и их редкость в произведениях Аввакума, написанных до «Жития», можно было бы объяснить жанровой разницей (до «Жития» Аввакум писал письма, послания, челобитные, записки), если вообще в житиях XVII в. художественные детали также были бы нередки. Но в житиях XVII в. художественные детали почти не встречаются.

Например, «Житие Иоанна и Логгина Яренгских» отличается множеством скрупулезных реально-бытовых деталей, тем не менее не имеющих художественного значения. Протокольный характер имеет, например, сообщение о мощах Иоанна: «...а саван и покров яко вчера положен, токмо пожелте, глава же святого от телесе отлучися, но саваном держася неотлучена, шии часть земли отдалася, лице же святого цело и невредимо, токмо пожелте яко воск, власы же его ко главе и к лицу присх ли беша» (64—64 об.).

В житии любопытны «этнографические» и «краеведческие» отступления. Описывается земля Севера: «в Примории земля негодзавателна, каменна и плодоносных нив не имеет». Говорится об обряде погребения на такой земле: «аще случится жестока земля и каменна, то камения нань могилу насыпают». Возможно, по каким-то источникам дается описание Белого моря: «Северское море, рекше полунощное, мелко есть и удобь от ветр мутится, зане из дна е могут возмутити бурнии ветри, яко поддонный песок с волнами размесити; многими же реками исполняемо, слаждышу воду паче инех морь имать...» — и далее о ловле китов, называемых «лежаоси» (39 об., 40 об., 58 об. — 59 об.).

«Этнографические» и «краеведческие» подробности появляются и в других житиях XVII в. Например, в «Житии Никодима Ожеозерского» рассказывается, как святой готовит себе пищу: «ловяше же преподобный и рыбу малою удицею в реке Хозюге; и егда хотяше рыбы вкусити,

и тогда бе прежде квасяше ю, дондеже бы червем от нея исходити и являтися, и потом убо вкушаше» (218). Так до сих пор делают на Севере. Но в общем все эти детали также не имеют художественного значения.

Среди реально-бытовых деталей в житиях играют не информационную, а изобразительную роль чаще всего детали, относящиеся к одежде и обуви святого. Симон Юрьевецкий зимой «бос, во единой худой лнянице до заутрия во граде по стогнам и по льду реки Волги ходаше в таковыя студеныя и долгиа нощи... его же стопы ног босых многажды на утрии обретаху людие в снезе водружены...» (9—9 об.).

Но в этих деталях чувствуется уже отработанный прием; некоторые из них начинают становиться традиционными. В «Житии Трифона Вятского» упоминается о его сапогах: «Скут (онучи) же блаженный никогда не имяше, точию едины сапозы ношаше, в ня же снегу многу высыпашуся» (19). Сходные сапоги вспоминаются в «Житии Улиании Осорбиной», написанном ее сыном: «сама же без теплыа одежды в зиму хождаше, в сапоги же босыма ногама обувашеша, точию под нозе свои ореховы скорлупы и чрепие острые вместо стелек подкладаше» (43).

В общем же в житиях XVII в. реально-бытовые детали могут сцепляться в большие повествовательные куски, отличающиеся от традиционно-житийного стиля изложения, но, к сожалению, нехудожественные, несмотря даже на старания составителей украсить жития.

Итак, появление художественных деталей в произведениях XVII в. не объясняется их жанром непосредственно. Потенциальный литературный талант автора также не гарантирует обильного использования художественных деталей (что мы и видели на примере произведений Аввакума, предшествовавших «Житию»). Вероятно, решающим условием, толчком к «выходу» художественных деталей на листы произведения является цель писателя. Аввакум, например, не ставил своей главной целью обобщенное, или символическое, или «научно-познавательное» изложение событий. В своем «Житии» он обращал главное внимание на подробное описание конкретных эпизодов из своей жизни; хотя сами события были необычны, протопопу тянуло к описанию их обыденного, будничного течения. И именно тогда стали в массе «прорываться» художественные детали.

Подобное объяснение требует проверки; оно выдвигается в качестве предположения: будничное рождает художественное, а стремление к «высокому» нередко уводит далеко в сторону. Подтверждение этому можно найти, например, в «Сказании» Авраамия Палицына,

произведении нежитийного жанра, примечательном, кстати, обилием именно реально-бытовых деталей, среди которых немало деталей художественных.

Не свидетельствуя о «природоведческой» или о лирической сторонах литературного таланта Авраамия Палицына, реально-бытовые детали «Сказания» выполняют ту функцию, которая в свое время была отмечена Н. К. Гудзием и А. Н. Робинсоном в отношении «Жития» Аввакума: вводят в быт страдающих в осаде в Троице-Сергиевом монастыре, «материализуя» чудеса. Таково, например, видение огненного столпа. Инок Пимин ночью в келье видит сначала не сам чудесный свет над церковью, а его скромное бытовое отражение. Он мог бы его и не заметить, не взгляни он на оконце кельи: «И се оконце келии его свет освети». Он воспринимает это как явление быта осажденных: «и виде светло, яко пожар; и мнев, яко врази зажгоша монастырь». И по-бытовому пытается стать повыше, чтобы лучше рассмотреть, в чем дело: «в той час изшед на рундук келейной» (133—134).

Так же развертывается другое чудо. Святой Сергей скромно входит в монастырскую больницу. Больной старец, лежавший в больнице лицом к стене, «слышит больницу ту отворшуся и топот ног идушу». Старцу наскучила беспрестанная толкотня больных: «он же не обратися позрети, занеже мног вход и исход больным тогда в келий той; и мнози беднии от мирских чади ту живуще». И реагирует на появление очередного посетителя по-бытовому, чуть ли не огрызаясь: «Скажи, брате, что есть; не могу убо превратитися; веси и сам, яко болен есмь», «не хочу вредитися, поведай просто». А когда Сергей все-таки понуждает его встать, старец с досады «всею силою двигся». Интересно, что по-бытовому реагирует и сам Сергей: «И премолачав предстояй начат поносити ему». Сергей так похож на реальное лицо, что старец узнает его лишь по сходству с иконой: «И позна чудотворца по образу написанному на иконе» (186). Не икона теперь пишется со святого, а святой с иконы...

Итак, краткое резюме. Стоит ли изучать такое «мелкое» и сравнительно редкое в древнерусской литературе средство, как художественная деталь? Думается, что стоит, хотя не надо чересчур увлекаться. Реально-бытовые детали «Жития» протопопа Аввакума хорошо показывают «природоведческую» сторону таланта этого крупнейшего писателя Древней Руси. Без реально-бытовых деталей подобная направленность таланта Аввакума выразилась бы не так ярко и отчетливо. Тема

«Аввакум и природа» без изучения его художественных деталей не может быть удовлетворительно раскрыта. Но на этом «запасы» детали кончаются. За нею скрывается, как видим, немного явлений. Например, вопрос о связи «природоведческого» и лирического начал у Аввакума на материале деталей лишь можно поставить, но нельзя разрешить. Здесь необходимы наблюдения над иными изобразительными средствами. И совсем зыбкий материал дают детали по таким широким вопросам, как сочетание сознательного и неосознаваемого художественного творчества, влияние сознательно преследуемых «нехудожественных» целей на художественные результаты изложения и пр., то есть по кругу вопросов, относящихся к деятельности писателей Древней Руси, когда художественное творчество еще не считалось безусловно необходимым фактором литературного сочинения.

Примечания

¹ Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1902.

² Робинсон А. Н. К вопросу о народно-поэтических истоках стиля «воинских» повестей Древней Руси // Основные проблемы эпоса восточных славян: Сборник статей. М., 1958. С. 131—157.

³ Лихачев Д. С. Литературный этикет Древней Руси (к проблеме изучения) // ТОДРЛ. Т. 17. С. 5—16.

⁴ Творогов О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси // ТОДРЛ. Т. 20. С. 29—40.

⁵ Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума // Русская речь: Сборники статей. Пг., 1923. Т. 7. С. 217—293.

⁶ Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.

⁷ Лихачев Д. С. Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси на пути его преодоления (к постановке вопроса) // Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию: Сборник статей. М., 1956. С. 165—171.

⁸ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 158—167.

⁹ Лихачев Д. С. Стилистическая симметрия в древнерусской литературе // Проблемы современной филологии: Сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова. М., 1965. С. 418—422. Ср.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 168—175.

¹⁰ Одно из определений художественной детали, данное в последнее время, см. в кн.: *Лесин В. М., Пулинец О. С.* Словник літературознавчих термінів. 2-е вид., перероб. і доп. Київ, 1965. С. 96: «Деталь художня (від. фр. *détail* — подробиця) — така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення і служить для того, щоб глибше і яскравіше змалювати картини чи образ, підкреслити важливість і створити ілюзію неповторного».

Приведенное определение (а подобных определений отыскивается немало) может быть использовано в качестве «рабочего», предварительного. В данной статье я исходил также из следующего, тоже «рабочего», представления о художественной детали: 1) художественная деталь вместе с иными литературными средствами отражает картину, бывшую в воображении писателя; 2) художественная деталь обычно многозначна, то есть отражает сразу несколько предметных признаков воображаемого автором явления; 3) на художественной детали в основном «держится» вся картина, без детали отражение картины беднеет и тускнеет, если вообще не пропадает.

¹¹ Цитируемые произведения: «Видение Исаии» — Успенский сборник; «Житие» Аввакума и другие его сочинения — РИБ. Т. 39; «Житие Иоанна и Логгина Яренгских» — РНБ, собрание Погодина, № 728. Указываются листы рукописи; «Житие Никодима Ожеозерского» — Православный собеседник. Казань, 1865. Ч. 1, март; «Житие Симона Юрьевецкого» — РНБ, собрание Погодина, № 757. Указываются листы рукописи; «Житие Трифона Вятского» — Православный собеседник. Казань, 1868, октябрь; «Житие Улиании Осорьбиной» — Русская повесть XVII века. М., 1954; послание Никона царю Алексею Михайловичу — *Барсков Я. Л.* Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912; «Сказание» Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; статейный список Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа — ААЭ. Т. 4; «Хождение Агапия в рай» — Успенский сборник; холмогорская челобитная 1666 г. — РИБ. Т. 14.

¹² *Гудзий Н. К.* История древней русской литературы. 7-е изд., испр. и доп. М., 1966. С. 492 и сл.; *Робинсон А. Н.* Жизнеописания Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. М., 1963. С. 46. См. также: *Робинсон А. Н.* Исповедь-проповедь (о художественности «Жития» Аввакума) // Историко-филологические исследования: Сборник статей к 75-летию академика Н. И. Конрада. М., 1967. С. 358—370.

¹³ О поэтике художественного пространства в древнерусской литературе см.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. С. 353—363.

¹⁴ См. о сочувствии Аввакума своим врагам в кн.: *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. 2-е изд. М., 1970. С. 142—143.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ XVII В. ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ (старопечатные книги, повести, исторические и стихотворные сочинения, грамоты)

Начало XVII в.: «великая слабость и небрежение» общества в православии

Больше всего косвенных свидетельств о настроениях читательской массы начала XVII в. можно найти в произведениях, предназначавшихся для такой массы. Памятники массовой предназначенности являются основными для нашей темы. Памятники массовой предназначенности начала XVII в. делятся на две группы — старопечатные издания и рукописные сочинения.

Все печатные книги конца XVI — начала XVII в. предназначались очень широкому читателю: «всем человеком» «в... Москве... и во всей России... паче же в новопросвещенных землях... во граде Казани, и Асторохани, и в Сибири, и во окрестных их градах и местех»; «душам... многочисленнаго словеньскаго языка своя великия державы всея великия Росия Московьскаго царства и прочих государств»; «всякого чина, возраста же и сана читателей»¹.

В конце XVI — начале XVII в. в России вышло более двадцати печатных книг. Все они церковнослужебные. Лишь предисловия и послесловия в них, иногда довольно пространные, могут дать сведения об общественных, читательских настроениях того времени. Мы выделяем издания за десятилетие 1604—1615 гг., когда в книгах появились предисловия и послесловия нового стиля, выражавшие новые представления издателей о читателях. Затем тексты предисловий и послесловий некоторое время перепечатывались без изменений.

Печатных изданий 1604—1615 гг., содержащих предисловия или послесловия, насчитывается одиннадцать². Посмотрим, как обращались к читательской массе и что думали о ней авторы старопечатных предисловий и послесловий начала XVII в.

Выразительнейшим примером книжных предисловий или послесловий нового стиля служит сочинение печатника Никиты Фофанова, изданное в Нижнем Новгороде в декабре 1613 г. Это сочинение дошло вне определенной печатной книги. Думаем, что печатник намеревался присоединить свой текст к какой-то церковной книге, ибо надеялся «божественныя книги церковная — предания святых апостол и святых вселенских соборов печатным тиснением предложить» (5 об.).

Приведем первую фразу из нижегородского сочинения 1613 г., опустив для упрощения некоторые прилагательные: «содетеля твари... цесаря веком, непостижимаго всяческих Бога-отца, и Сына, и Святаго духа, по дару... его милости во благочестие просвещенная от лет... крестителя и равно апостолом... князя Владимира, иже на восток лежащая часть вселенная, превеликая и многонародная человеки Российскаго государства область... великаго... града Москвы того... государьства» (1).

Вникнув в структуру цитированной фразы, можно уразуметь, что это номинативное предложение, не имеющее сказуемого. Только название: «область... града Москвы». Все прочее в этой фразе является определением названной «области»: «просвещенная... на восток лежащая... превеликая... Российскаго государства область» и т. д. и т. п. Перед нами своего рода словесная заставка, в которой выпячены именно качества упоминаемых объектов. Определения, определения к определениям, несогласованные определения, приложения не только собраны во множестве, но и вынесены на необычное для них место: не после, а перед важнейшим определяемым словом. Не так, как обычно: область Российскаго государства, часть вселенной, просвещенная по милости Бога, содетеля твари, цесаря веков и пр.; а наоборот: «содетеля твари... цесаря веком, непостижимаго всяческих Бога... по дару... его милости во благочестие просвещенная... часть вселенная ... Российскаго государства область...». Пиршество эпитетов.

С таких насыщенных словесных заставок не начинались русские и украинские книжные предисловия конца XVI — первых лет XVII в. Правда, витиеватостью отличались вступительные похвалы Богу в послесловиях к «Постной триоди» (М., 1589) и «Цветной триоди» (М., 1591); но и они четки и относительно невелики по сравнению с фофановским вступлением. Фофановская заставка ближе к так называемому “богословию” особо торжественных грамот конца XVI — начала XVII в. — «Утвержденной грамоты» 1598 г. об избрании Бори-

са Годунова на царский престол и «Утвержденной грамоты» 1613 г. об избрании царем Михаила Федоровича Романова. Однако вступительное «богословие» грамот — это развитой рассказ о Боге, создании мира, крещении Руси и т. д. Тема и форма фофановской заставки иные. Литое номинативное вступление Фофанова сразу и энергично напоминало читателям о том, что такое Россия и что такое Москва.

Дальнейшее изложение у Фофанова, включая большой рассказ о событиях Смутного времени, максимально насыщено эпитетами, однородными членами и пр. Например, не враги напали на российские грады, но «на высокопрестолную и великую церковь рускаго солнцу круга... и на поклонение... образа... Христа... и на окрестныя грады Росийскаго государства, и на... веру волнующеса треволнении противными ветры, еретическим ухищрением, самомнительною прелестию, антихристовым действием... сластолюбивыя и неутверженныя челоvenceы... расхишаху и распужаху... стадо Христово, и крови... много проливаху, и разоряху... в... церквах, и... человеки... избиша... измориша, церкви же... и дома... пожгоша и сокрушиша... церковь оскверниша, и царьские дома разориша...» (1—2 об.).

Рассказ Фофанова о Смуте начинен выражениями, взятыми из чужих сочинений, особенно из предисловия к «Библии» Ивана Федорова (Острог, 1581)³. И все-таки в целом нижегородское сочинение Фофанова вполне оригинально. Заполненные эпитетами, запутанные, взвинченные по тону фофановские фразы не были характерны для произведений конца XVI — первых лет XVII в., включая и книжные предисловия и послесловия. Стилистически сочинение Фофанова восходит к новой, взволнованной манере Повествования в известных Повестях начала XVII в. о Смуте. Как и авторы Повестей, Фофанов стремился затронуть чувства читателей: «Кто же бо есть от благоверных и бого-разумных человек, еже не помянет... кого не подвиже жалость... или кто не умилит сердца своего?» Или: «Мы же ныне... о сем веселящеса, не престаем глаголюще...» (2 об. — 4).

Но внимание читателей Фофанов направлял не совсем на то же, на что авторы Повестей о смутном времени. Никита Фофанов старался запечатлеть в памяти читателей не новые факты и не новое освещение фактов, а обязательные для всех общие оценки важнейших явлений: какова Россия, каковы враги и какова победа над ними. Цель Фофанова — просветить и утвердить людей в самых основополагающих религиозно-политических понятиях. Недаром в своем сочинении он

настаивал: «Просвещайся, просвещайся, Русская земля!..» (4). По произведению Фофанова можно понять и причину его элементарно-просветительных устремлений: во время Смуты, объясняет он, «впадъше в пагубныя... ереси сластолюбивыя и неутверженныя человецы»; «польские и литовские люди... насяявше много душе пагубных ересей, прелукавых своих сосудов в славолюбивых, и сластолюбивых, растленных человек»; однако «душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих»; теперь предстоит «всякия ереси, от супротивнаго лукаваго духа насяянныя, до конца искоренити» (1 об., 2, 4, 5).

Книжные предисловия и послесловия 1604—1615 гг., печатанные в Москве, стилистически сходны с нижегородским сочинением Фофанова. В послесловии к «Псалтыри» 1615 г., изданной Фофановым уже в Москве, есть и сходная словесная заставка, на этот раз об ипостасях Христа. Однако в целом устремления московских издателей были более практически определены. С необычным нажимом издатели побуждали читательскую массу к чтению правильных, «богодухновенных» книг. Тот же Никита Фофанов в послесловии к «Псалтыри» 1615 г. объявил «всем повсюду»: «божественное же и богодухновенное писание полезно есть ко учению, и ко исправлению, к наказанию еже в правду...» (3 об.)

Ни в «псалтырях», ни в других печатных книгах XVI — первых лет XVII в. такие наставления читателям не делались; зато в начале XVII в. они стали обязательными. «Испытайте писания», — обращался ко всякого чина читателям печатник Анисим Радишевский в послесловии к «Евангелию» 1606 г. (258). Выражение это также отсутствовало в более ранних изданиях, появилось лишь в предисловии к «Триоди» 1604 г. и стало регулярно повторяться в последующих книгах. В послесловии к «Псалтыри» 1615 г. этот совет был усилен ссылкой на авторитет: «повелеша испытovati писания... О сем же и... пророк... глагола: "...испытаю закон твой не просто же, но и сохраню и всем сердцем моим"» (2 об.).

«Испытовать писания» полагалось «всем сердцем», «прочитати должню есть... на коиждо день», «искусно, со тщанием», «учению елико можеша прилежи» и пр. (Евангелие 1606, 4; Устав 1610, 1, 6, 8 об.). Раньше такие призывы в книгах не печатались, как и обещания благ и радостей за чтение «писания»: «всем же... явися всемирная радость, всесветлых писаний неизглаголанная сладость» (Устав 1610, 9 об.). Судя по внезапному обилию подобных увещаний читателям

в начале XVII в., русские издатели не были уверены в прилежании своих современников по отношению к «божественному писанию».

Не уверены были издатели и в практическом исполнении заветов «писания» читателями, отчего с исключительным постоянством повторяли пожелания «добродетельных восхождений» и просьбы зреть в книгу «здравыма очима и умом чистым»; требовали благого поведения на деле: «писания божественная испытай... творити прилежно не престай... и иным образ благ покажеша», «бывайте творцы закону, а не точию слышателе», «путь прав... изобретайте» и т. п. (Миня 1607, 329 об.; Общая миня 1609, 364; Устав 1610, 6 об., 7—7 об., 11, 234).

В печатных книгах ранее не было всех этих призывов, включая и обязательную для всех изданий с 1606 г. фразу о том, что книга предназначена читателям именно «во исполнение законнаго утверждения», «всему исполнению». Побуждал читателей к «исполнению» благих правил и пример самого царя, который, независимо от того, как его звали — Борисом, Василием или Михаилом, — имел, по словам печатников, «ни едино еже о земных строений попечение», «не изволи... разума под спудом житейския толстоты скрыта», но «яко некими степенями, день от дени на высоту добродетелей восходя... подвиг немал о благочестии показуя...» (Триодь 1604, 1 об.; Евангелие 1606, 259 об.).

Тот факт, что в старопечатных предисловиях и послесловиях XVI — первых лет XVII в. отсутствовали прямые наставления читателям, а примерно с 1604—1606 гг. они стали печататься постоянно, все увеличиваться, все явственнее побуждать людей к чтению, к просвещению, к добродетелям, свидетельствует о том, что, по мнению издателей начала XVII в., с «многонародными человеки» творилось нечто неладное.

Мы уже приводили на этот счет высказывание Никиты Фофанова. Прочие печатники также не скрывали своей цели — на путь истинный наставить людей, отбившихся от рук. Печатная книга «всех спасти возможет... всем... подается во исполнение» (Триодь 1607, 501). Авторы предисловий и послесловий, констатируя неблагополучие, обычно ссылались на царя, желающего «люди светом богоразумия благочестие просвещати... с высоким проповеданием повсюду слово истины исправляти»; «Российскаго царьствия... многогородная человеки в правду и истину разъсуждати... яко некую духовную кормлю... подати... в руском народе» (Евангелие 1606, 259 об. — 260; памятник 1613, 5 об. — 6). «Многородные человеки» осторожно назывались большими, погряз-

шими в лености небрежения. Анисим Радишевский оправдывал небывалую пространность и пышность своего предисловия потребностью лечить «больных» читателей: «Сия вся превосходящая вещь сего предисловия... Яко же бо здравии не требуют врача, тако искуснии сицеваго возвещания...» (Устав 1610, 9). Книжные послесловия побуждали читателей восстать «от лености небрежения к подвигом добродетели» (Триодь 1607, 501).

Авторы предисловий и послесловий упоминали современных «еретиков и поганых», пагубно повлиявших на русских людей, и надеялись, что найдется сила, «сожигающа и развевающа многолетняя еретическая умышления» (Устав 1610, 11; Миняя 1607, 327). Ясно, что издатели имели в виду прежде всего шатание народа в основах православия во время Смуты. Прямо об этих шатаниях издатели упоминали довольно скупой, стараясь обойти столь опасную тему.

Более сложная задача выделить произведения массовой предназначенности из чрезвычайно разнородного комплекса рукописных сочинений периода Смуты. Мы останавливаемся лишь на сочинениях, недвусмысленно называющих множество читателей и слушателей, для которых они предназначались. В число таких произведений не входит, например, «Повесть о преставлении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского» 1610—1612 гг. Она не называет своих адресатов, а единственное обращение к читателям в конце повести слишком неопределенно: «Но буди вам известно...» (1345)⁴.

В «Повести о некоей брани», написанной не ранее 1613 г., после концовки добавлено отдельное послесловие, в котором упоминается массовый адресат: «молю вы, господине мои любомудрецы... всякого чина, возраста же и сана православнии народи, святых книг читателие...» (160). И все-таки «Повесть о некоей брани» мы не можем определенно отнести к произведениям массовой предназначенности, потому что в самой повести круг предполагаемых читателей не назван. Послесловие же так шаблонно, что обращение к «православным народам», скорее всего, дань литературной традиции, как и предлагаемая затем тайнопись для особо любопытного читателя: «Аще восхощеши имя уведати писавшаго сия, се ти поведаю...» (161). Столкнулись разные шаблонные обращения.

Из памятников, называющих некие множества адресатов, мы рассматриваем только те произведения, которые были обращены непосредственно к реальной массе читателей и слушателей, без посредни-

ков, долженствующих объявить людям сочинения. Сюда не относятся многочисленные грамоты, отписки и послания начала XVII в. к конкретным поименованным лицам. В этих грамотах, правда, мог быть велик вступительный перечень адресатов, вплоть до безымянных «всех людей», а в конце могла высказываться просьба грамоту «вычесть всем людем вслух». Однако изложение в подобных грамотах обычно имело в виду лишь одно или несколько главных поименованных лиц, а не всю массу людей. Не привлекаем мы и памятников преимущественно компилятивных вроде «Повести, како восхити царский престол Борис Годунов» или вроде «Иного сказания», куда упоминания о читателях были механически перенесены в составе заимствованных текстов.

Из произведений действительно массовой предназначенности мы отбираем те, которые были рассчитаны на эмоциональное или даже художественное воздействие на читателей и слушателей. Такие сочинения дают наиболее богатый материал для суждений о читательских настроениях и вкусах⁵. Грамоты же, сухо и официально уведомлявшие людей о событиях или требованиях, мало полезны для нашей темы.

Интересующие нас рукописные памятники называют разных массовых адресатов. Некоторые повести и грамоты начала XVII в. имели общенародную предназначенность, как, например, воззвания патриарха Гермогена 1610—1611 гг. или «Повесть о видении некоему мужу духовну» 1606 г. Ее «чли по царскому велению в соборе у пречистые Богородицы вслух во весь народ, а миру собрание велико было». Повесть обращалась в первую очередь к москвичам, а за ними и ко «христоролюбивому воинству и всему православному христианству русского народа. Послушайте... повести сия: дивно и зело полезно к нынешнему роду...» (177).

«Новая повесть о преславном Росийском царстве», написанная в самом начале 1611 г., несколько сужала круг читателей, адресуясь к «Росийскаго царства православным христианом, всяких чинов людем, которые... к соперником своим не прилепилися» (189). Повесть надлежало «своей братие, православным христианом, прочитати вкратце, которая за православную веру умрети хотят... а не тем, которая... со враги соединилися... тем бы есте... не давали прочитати» (209).

По-своему сужали круг читателей те произведения, которые были направлены жителям вне Москвы, как, например, воззвания москвичей в российские города 1611 г. к народу вне Москвы, пожалуй, обращался и «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства»

1612 г. Повествуя о падении Москвы, автор повести призывал: «Приступите, правовернии людие, иже не видеша сидеваго великия России разорения, да поведаю вкратце боголюбезному вашему слуху» (231). И далее автор имел в виду «останок... российских царств, и градов, и весей» (234). Прав С. Ф. Платонов, писавший: «можно построить догадку, что автор “Плача” составил свое произведение в каком-нибудь городе или уезде для поучения местных жителей»⁶.

Сравнительно более узкий круг массовых читателей и слушателей подразумевали грамоты начала XVII в., писанные для всех жителей того или иного российского города.

Наконец, условно можно присоединить к памятникам массовой предназначенности «Повесть, како отомсти» 1606 г. Автор ее обращается к читателям так: «О братия любовнии! не дивитесь начинанию, но зрите, како будет скончание»; «се днесь зрите, любимицы мои» (244, 247). Что это за «братия», можно догадываться по пояснению автора: «А инии братия наша, иноцы, еже в живых осташихся, и тии ныне с нами содетельствуют во обители пречистые и живоначальные Троицы...» (252). По-видимому, первоначально повесть предназначалась для чтения троице-сергиевским монахам или инокам вообще. Лишь позднее круг читателей повести стал мыслиться более широким. В списке, датированном серединой XVII в., обращение к читателям приобрело такой вид: «се днесь зрите, любимицы мои, и друзи, и братие, и сродницы, да о сем всяк человек внимает» (247).

Любопытно, что к «братии» постоянно обращается и эмоциональное предисловие к летописной повести «О бедах, скорбех и напастех, еже бысть в велицей Росии» (122). Возможно, текст, использованный в качестве предисловия, был сочинен раньше летописной повести, составленной после 1625 г. Предисловие и повесть различаются по тону. Предисловие, подобно грамоте смольнян к москвичам 1611 г., воззванию москвичей 1611 г. и «Плачу о пленении и о конечном разорении Московского государства» 1612 г., рассуждает об «останке» российского народа: «яко не оста от сих злых бед и напастей ни тысячная часть» (122). Да и вряд ли после 1625 г. можно было писать так: «Ныне же что реку... о горе, горе, увы, увы, земля вся Русская пуста от востока до запада, от севера и до юга» (122).

В повести же нет таких сетований, нет подобных рассуждений и нет обращений к «братии». «Братия» в предисловии, вероятно, тоже означала монастырских или местных читателей.

В общем, в нашем распоряжении оказывается следующий небольшой (и, вероятно, не исчерпывающий) ряд рукописных памятников массовой предназначённости начала XVII в., преимущественно 1606—1612 гг. Это эмоциональные грамоты-воззвания и повести, имеющие характер воззваний: 1) «Повесть, како отомсти» 1606 г.; 2) «Повесть о видении некоему мужу духовну», октябрь 1606 г.; 3) послание патриарха Гермогена ко всем людям об исправлении церковного пения, не ранее 1606 г.; 4) грамота царя Василия Шуйского к солигаличским жителям, ноябрь 1608 г.; 5) послание патриарха Гермогена против использования гадательных и волшебных книг, 1610—1611 гг.; 6) «Новая повесть о преславном Росийском царстве», самое начало 1611 г.; 7—8) два воззвания патриарха Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, январь 1611 г.; 9) грамота смольнян к москвичам, январь 1611 г.; 10) грамота москвичей в разные города, январь 1611 г.; 11—12) два воззвания москвичей в российские города о борьбе с интервентами, февраль 1611 г.; 13) грамота ярославичей к казанцам, март 1611 г.; 14) грамота троице-сергиевского архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына в Пермь Великую, октябрь 1611 г.; 15) грамота тех же лиц к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому и ко всем ратным людям, апрель 1612 г.; 16) грамота Д. М. Пожарского в Путивль, июнь 1612 г.; 17) «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства», осень 1612 г.; 18) грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам, май 1614 г.; 19) предисловие к летописной повести «О бедах, скорбех и напастех, еже бысть в велицей Росии».

Сразу можно увидеть, что все перечисленные в обоих разделах данной главы старопечатные и рукописные произведения начала XVII в. исходили от верхов русского общества или от лиц, приближенных к верхам, и, следовательно, отражали точку зрения верхов на общество, на народ.

В отличие от старопечатных произведений, рукописные сочинения содержали немало резких высказываний о слабости душевных устоев «многонародного множества»: «в мирских людех, паче во священниках и иноческом чине вселися великая слабость и небрежение, о душевном спасении нерадение» (послание патриарха Гермогена ко всем людям об исправлении церковного пения, 56). Ср. фольклор того времени: «Плачется земля благочестивая христианския веры, Росийская страна — Московское царство... И ныне убо найде всемирное согрешение,

от князей неуправление, и от властей нестроение церквам, и неисправление слову Божию, от иерей нерадение о стаде Христове, от простых же людей презрение закону Божию, и прочее, вовсе человецы неправду возлюбюша, любовь отбеже, страх Божий далече отринуша...» (покаянный стих «Плач земли Российской» начала XVII в., 476. По списку ГИМ, собрание Синодальное, № 207).

Авторы рукописных сочинений прямее, чем издатели, писали о конкретных пороках общества, особенно доставалось людям за чтение вредных книг: «А инии невегласи... держатся книг, отреченных святыми отцы седми вселенских соборов... Поумилися, о человеце... А ты, безстудне, како сия твориши...» («Повесть, како отомсти», 253); «и тако и на ересные, и волшебные, и на гадательные книги кто на них надеетца, их держитца, тот вскоре и погибнет и душою, и телом» (послание патриарха Гермогена против использования гадательных и волшебных книг, 25). ср. признание в царской грамоте 1616 г.: «а по руски философских учений много лет не было» (472). Прямо определялись и враги — совратители народа: российские люди «вземше убо от скверных язык мерския их обычая и нравы; брады своя постригают и содомская дела творят» («Повесть о видении», 182); «и в темноту нужныя зимы литовскаго неправоверия отпадоша» («Иное сказание», 119).

Но при всей своей резкости и прямоте рукописные сочинения оказались менее ригористичными, чем печатные книги. Вот, например, только что цитированное послание Гермогена: «Токмо отрините всяку ересь и всяко нечестие... то будет был блудник, возлюби целомудрие... Или кто разбойник, или тать, или клеветник, или судья неправедной, или посульник, или книги гадательные и волшебные на погибель держыт, или ведует, впредь обещаися Богу таковых дел не творить» (25). Такое всепрощение, вплоть до прощения людям разбоя и ереси, совершенно необычно для печатных книг. Оно необычно и для традиционных рукописных посланий и поучений более раннего времени. Очевидно, патриарх Гермоген не клал тяжкого межевого камня между преступниками и праведниками, но ожидал скорого возвращения заблудших.

В памятниках начала XVII в., написанных до февраля 1611 г., сказано это представление о неокончателности и даже случайности отпадения массы людей от основ православия и царепочитания: «и ныне убо мнози от них воспоминают грехи своя и хотят приити на покаяние» («Повесть о видении», 182); близка возможность «нашего обращения от пути заблуждения» («О изведении царского семени и о смятении

Русского государства», 1606—1608 гг., 198); «чаем, что здрогнетесь и воспрянете» (второе воззвание Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, 288).

Авторы произведений массовой предназначенности рассчитывали на повышенную душевную ранимость или совестливость отпадших людей: «И аще воспомянем вам от божественных писаний, и мню, яко тягостно будет слуху вашему; сами бо весте...» (первое воззвание Гермогена, 287). Оставалось сделать как бы немногое — установить взаимопонимание с отпадшими, используя совсем простой язык: «А на волшебные и на годательные книги и на ведовство что надеющиеся, и те что на воду опирающиеся; а кто опретца на воду, тот и погрузитца и потонет» (послание Гермогена о книгах, 25); «как естя так учили, и чему поверили, и на что смотря смутились, и для чего душами своими погибаете? ...и тут которому быти добру, толко станет вами Литва владети? ...а впредь от них какого добра ждати за то всем православным христианам? — пригоже помереть» (грамота царя Василия Шуйского к солигаличским жителям, 341). Оставалось еще напомнить отпадшим людям о значении их поступков: «во тму отойдосте... к сотоне прилепистесь... лжу возлюбисте...» и т. д. и т. п. (первое воззвание Гермогена, 286), напомнить о Боге (в номинативной заставке того же воззвания). И пристыженные люди, в представлении авторов, легко перешли бы в состояние прежнего благочестия.

Эти надежды не сбылись. И примерно с января 1611 г. в грамотах и повестях массовой предназначенности зазвучали иные ноты. Авторы стали задавать читателям вопросы не эмоционально-безответные, как раньше, а побуждающие к размышлениям, наталкивающие на выводы: «Не поругана ли наша крестьянская вера и не разорены ли Божия церкви? Не сокрушены ли и поруганы злым поруганьем и укоризною божественныя иконы и Божие образы? Все то зрят очи наши. Где наши головы, где жены, и дети, и братья, и сродницы, и друзи? Не остались ли есмь от тысячи десятой или от ста един?.. Каким словам клятвенным верите? Что обещавает вам все сладкое и лучшее Михайло Салтыков да Федор Андронов своими советники? И по тому знаете ли, не предатели ли своей вере и земле?» (грамота смольнян к москвичам, 493—495).

В произведениях появились странные высказывания, напоминающие загадки. Например, «Новая повесть» так представляла читателям пособника поляков Федора Андропова, не называя его по имени: «Сами видите, кто той есть. Неси человек, и неведомо кто. Ни от цар-

ских родов, ни от боярских чинов, ни от иных избранных, ратных голов. Сказывают, от смердовских рабов... По его злому делу не достоин его... назвати... во имя преподобнаго, но во имя неподобнаго... или во имя святителя, но во имя мучителя... не достоин его по имени святого назвати, но по нужнаго прохода людцаго, — Афедронов» (206). Подобных прозрачных для читателей загадок в «Новой повести» немало. Они заставляли читателей активнее вчитываться в текст и внимательнее перебирать доводы.

Пословицами авторы также заставляли читателей и слушателей взвешивать обстоятельства: «Будте с нами обще, заодно против врагов наших и ваших общих. Помяните одно: толко коренью основание крепко, то и древо неподвижно. Толко коренья не будет, к чему прилепиться?» (первое воззвание москвичей в российские города о борьбе с интервентами, 298); «может ли и невеликая хижица без настоятеля утвердиться и может ли град без властодержателя стояти, не токмо что такому великому царству с окрестными страны без государя быти? Соберитесь, государи, во едино место...» (грамота троиче-сергиевского архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына ко всем ратным людям, 252). Авторы надеялись теперь не на порыв людей, а на их зрелое размышление: «И самим вам чего ждати? Мы вам, меньшие большим, не указываем. Сами то можете своим премудрым Богом данным разумом разсудити» (грамота ярославичей к казанцам, 519).

Оттого-то с начала 1611 г. сочинения массовой предназначенности обязательно заверяли читателей в искренности авторов и в истинности примеров: «А сему бы есте писму верили без всякого сумнения» («Новая повесть», 208); «все истинная правда написана, можете ото всех людей русских то уведати» (грамота смольнян к москвичам, 495); «объявляем сущую и прямую правду» (грамота ярославичей к казанцам, 519) и т. д.

Судя по обилию способов убеждения, использованных в грамотах и воззваниях, авторы обращались к массе людей, которые еще не сделали решительного шага для восстановления поколебленного благочестия. Да и сделают ли? Авторы зывали к «людем, которые еще душ своих от Бога не отщетили, и от православные веры не отступили... и к соперником своим не прилепились, и во отпадшую их веру не уклонились» («Новая повесть», 189). Очень показательны это «еще не», как показательны и пожелания в отрицательной форме: «И вам бы не презрети, не восхотети видети поруганну образу пречистыя Богороди-

цы, иконы владимерския, и великих московских чудотворцов, и нас, братьев своих, православных крестьян, не видети быти посеченым и в плен розведенным в латынство» (первое воззвание москвичей, 299). Перед авторами сочинений стояла нерешительная людская масса: «Что стали, что оплошали, что ожидаете и врагов своих на себя попускаете?..»; «говорите усты, а в делех ваших Господь весть, что у вас будет» («Новая повесть», 204).

Таким образом, обзор старопечатных и рукописных памятников массовой предназначенности начала XVII в. позволяет заметить то, какой представлялась писателям, по выражению Гермогена, «великая слабость» российских людей во время Смуты. Верхи общества страшила и тяготила долгая нетвердость множества людей в основах православия и царепочитания, их какая-то легкость в отступлении от этих основ и затянувшаяся нерешительность в возвращении на путь истинный. Превеличенной оказалась вера в исконную приверженность российского народа к православию.

С этим выводом согласуются отдельные, пока еще разрозненные наблюдения историков по идеологии Смутного времени. Хотя общим местом дореволюционных работ (в том числе работ Н. И. Костомарова) являлся тезис о беспредельности уважения российского народа к православию в Смутное время, однако у историков накапливались факты, свидетельствующие о противоположном: те же русские люди бросали иконы в огонь и в навоз, раз Бог не защитил их от поляков, грабили храмы и т. п.⁷ В великолепной работе А. Яковлева, опубликованной много десятков лет тому назад, уже говорилось со всей определенностью: «русские люди пережили в Смуту сложный психологический перелом, сказавшийся в некотором перерождении основных понятий, определявших их отношение к государственному порядку»; «мы наблюдаем русских людей Смутного времени в момент их работы над своими общественными понятиями, когда понятия эти не успели еще вполне проясниться и окрепнуть»⁸.

Затем историки еще с большей решительностью стали утверждать, что в период Смуты «восстание крестьян против феодально-крепостнического строя приводило к подрыву влияния церковной идеологии на сознание народных масс»⁹ и что «многие повстанцы, борцы первой крестьянской войны, были последователями учения Феодосия Косого. Они не признавали церквей, икон, крестов, не видели в них никакой святости и обращались с ними как с обычными вещами»¹⁰.

Историки общественной мысли теперь вполне могли оценить значение таких высказываний в памятниках, как «нести истины во царю же и патриарсе» (в так называемой народной редакции «Повести о видении некоему мужу духовну»)¹¹ и «узриши церковь Божию сетующу и дряхлющую и яко вдову совлеченну: красота бо ея отъята бысть иноплемениными, паче же нашими восставшими на нас...» (в «Послании дворянина дворянину»)¹². Ср. также сатирическое «Сказание о крестьянском сыне» начала XVII в. с пародийным использованием церковных изречений и «прописи» 1620 г. с афоризмами: «Христос спит, церквы без пастырь, свечи несть» (172—175).

Правда, «шатость» российского народа в основах православия вряд ли была непосредственным отзвуком западноевропейской Реформации. Сошлемся на вывод одного из исследователей: «исповедующие православие не могли особенно сочувствовать основным постулатам реформации, которые в их церкви уже давно были реализованы»; «крестьяне, как поляки и литовцы (преимущественно католики), так и русские (в основном православные), остались равнодушными к призывам реформационного движения»¹³. При всем том «шатость» народа вызвала широкую волну следствий в культурной и политической жизни России. Недаром «впервые исторические писатели открыто заговорили о противоречивости человеческого характера только в начале XVII в.»¹⁴. В «Хронографе» 1617 г., как и в других памятниках, проявился даже своего рода этический пессимизм: «Да никто не похвалится чист быти от сети неприятельственного злокозньствия врага», «во всех земнородных ум человек погрешителен есть и от доброго нрава злыми совратен»¹⁵.

Постепенно в сравнительно поздних произведениях Смутного времени начал формироваться желанный успокоительный образ вполне благопристойного «стада Христова». Так, адресаты, к которым обращались трепещущие авторы «Плача о пленении и о конечном разорении Московского государства», это уже «благочестивии, хриstopодражателныя, любве исполнении людие» (233). Адресаты предисловия к повести «О бедах, скорбех и напастех» также мыслились переживающими и ужасающимися одинаково с автором. Если настроение адресатов толком не было известно, то все равно предполагалось их дружелюбие: «Задня забывайте, на предняя возвращайтесь, а ожидайте, государи, будущих благ... А мы, господа, к вам много писывали преже сего о лубви, да от вас к нам ни единой строки нет... А мы вам о любви

челом бьем до лица земнаго, до общия нашае матери, аминь» (грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам, 13).

Но вскоре время умиротворительных пожеланий сменилось временем жестких идеологических мероприятий при отце новоизбранного царя патриархе Филарете: разбором «потребника» справщиков Дионисия Зобниновского и Арсения Глухого, разбором «Катехизиса» Лаврентия Зизания, разбором сочинений Ивана Хворостинина и т. д. Опять верхи взнуздали народ.

Конец 1610-х — 1630-е годы:

ублагодворенность и уступчивость верхов общества

Общественные настроения 1620-х — 1630-х годов по сравнению с предыдущим временем отразились в источниках жанрово более разнообразных. Кроме послесловий, почему-то на время вытеснивших предисловия из старопечатных книг, и кроме грамот, общественные настроения нашли отражение в исторических сочинениях, литературных повестях и стихотворных произведениях. Конкретно это следующие памятники:

1. Послесловия к московским печатным изданиям 1618—1636 гг., а также единичные предисловия к изданиям 1618, 1619 и 1637 гг.¹⁶; одинаковые старопечатные послесловия нередко использовались в целой цепи изданий: в частности, предисловие к «Минее» 1619 г. перешло в качестве послесловия в «Минею» 1636 г., послесловие к «Апостолу» 1621 г. — в послесловие к «Цветной триоди» 1621 г., послесловие «Шестоднева» 1625 г. — в послесловие к «Псалтыри» 1625 г.

2. Грамоты — «От божественных писании и от святых правил собрание... Филарета-патриарха... о крещении латынь и о их ересех», или «Соборное изложение» 1620 г.; грамоты патриархов Филарета и Иоасафа 1622—1636 гг. об исправлении нравов; отрывок из анонимного послания первой трети XVII в. о мздоимстве в приказах, а также переделка 1620-х — 1630-х годов из «Большой челобитной» Ивана Пересветова со специфическими дополнениями, под названием «Сказание о Петре, воеводе Волосском»¹⁷.

3. Летописи — «Хронограф» редакции 1617 г., «Строгановская летопись» 1620-х годов, «Новый летописец» 1630 г., «Бельский летописец» начала 1630-х годов, краткий «Московский летописец» 1635—1645 гг., «Есиповская летопись» 1636—1638 гг., «Мазуринский летописец» конца XVII в., но с нужными статьями за интересующий нас период¹⁸.

4. Исторические сочинения — «Временник» Ивана Тимофеева 1616—1619 гг., «История» Авраамия Палицына 1619—1620 гг., «Сказание известно о воображении книг печатного дела» 1619—1633 гг., «Словеса дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина первой половины 1620-х годов, «Иное сказание» 1620-х годов, «Повесть книги сея от прежних лет» Ивана Катырева-Ростовского или Семена Шаховского 1626 г., «Повесть известно сказуема на память царевича Димитрия» и «Повесть о некоем мнисе, како послася на царя Бориса» — обе Семена Шаховского 1626—1645 гг., «Житие царевича Димитрия» из «Четых миней» Германа Тулупова конца 1620-х — 1630-х годов¹⁹.

5. Литературные повести 1620-х — 1630-х годов — «Повесть о Еруслане Лазаревиче», «Повесть о разуме человеческом», «Повесть об Улиянии Осорьбиной», в том числе и вторая редакция «Повести», возникшая в 1638—1651 гг.²⁰

6. Песнопения — песня о возвращении Филарета из плена в 1619 г., стихиры около 1625 г. на перенесение ризы Христовой в Москву, «покаянен» 1626—1628 гг. по поводу украшения Спасских ворот московского Кремля каменными статуями, «покаянен» второй половины 1630-х годов по поводу казни воеводы Михаила Шеина²¹.

7. Стихотворные сочинения Ивана Хворостинина 1623—1625 гг. — «Слововещания... к родителем о воспитании чад» и против латинских ересей, а также стихотворное послание некоего Стефана к иноку-справщику Арсению Глухому 1636—1637 гг.²²

Общественные настроения 1620-х — 1630-х годов сравнительно со временем Смуты отразились в более разнообразном круге памятников, но выразились более расплывчато. Почти нигде нет прямых, четких, обобщающих характеристик современников настроениям общества или читательской массы. Косвенные же свидетельства об общественных настроениях можно извлечь из авторских высказываний на иные темы, прежде всего из воспоминаний о бедах прошедшей Смуты, из упоминаний о современной России и из обращений к читателям.

Обратимся к первой теме — о прошедших бедах. В 1620-е — 1630-е годы, как известно, были созданы все крупнейшие обобщающие произведения о Смуте; лапидарные описания бед Смутного времени помещались и в официальных документах («Соборное изложение», 401; память 1636, 402). Но в рассказы о бедах добавлялся новый оттенок. Все памятники 1620-х — 1630-х годов, обстоятельно повество-

вавшие о Смуте, — от «Пискаревского летописца» второй половины 1610-х годов до повестей Хворостинина и Шаховского — обязательно завершались благополучной концовкой. Даже составители компилятивных сочинений о Смуте, вроде «Иного сказания», доводили повествование до благополучного исхода. Горестные события прошлого освещались более спокойным, «боковым» светом.

Новое отношение к бедствиям Смуты сказалось прежде всего в таком литературном явлении, как рифмовка в отдельных местах произведений. Рифмованное и ритмизированное изложение событий Смуты, пожалуй, чаще стало давать знать о себе именно с конца 1610-х годов (см., например, многочисленные рифмованные отрывки в «Истории» Палицына). Такие отрывки, помимо всего прочего, вносили в изложение новый оттенок бодрости и легкости, в том числе и в старопечатных послесловиях (где в тексте обозначались ударения):

...беседы злы
растлевают человеком умы
и лишают истины,
от них же часто случаются душевные беды.
(Миня 1618, 2 об.; Миня 1619, 84 об.
второго счета; Миня 1620, 245 об.;
Апостол 1621, 302 и другие издания)

Стихи подчеркнуто бодрой нотой завершали изложение тягостных событий Смутного времени:

Сия же словеса прекратим,
а на царя Бориса укоры возложим...
Оставим же сия
и возвратимся на первая...
Сему писанию конец предлагаем,
Дела толикие вещи во веки не забываем...
Мы же сему бывшему делу писание предлагаем
И предъидущий род воспоминанием удивляем...
(«Повесть книги сея», 580, 619, 623)

Но новое настроение в подаче событий Смутного времени выразилось не только косвенно. Например, в старопечатных послесловиях

все упоминания явлений Смутного времени обязательно сопровождались ободряющими и успокоительными оговорками и пожеланиями: «да не будет паки zde соблазн таковыи, ни да останет последи нас чадом нашим распрение и соблазн...»; «и овчата словесная Христова стада да не будут по горам высокоя льсти мира сего разъсеваеми»; «да не будет несогласия ради распря в церковнем телеси»; «мрак же нечестивый злобы тем да обличится и буря противных ветров да отгнана будет» и пр. («Соборное изложение», 403 об.; Служебник 1623, 479; Требник 1623, 648 об.; Учительное евангелие 1629, 593). Упомянув события прошлого, издатели спешили пояснить, что все идет к лучшему: «...ко согласию же и ко единому благому счинению церковнаго разъстояния» (Служебник 1623, 477 об.; Служебник 1627, 260 об. и др.). Издатели постоянно заявляли, что последствия Смуты успешно преодолеваются: «сожигающа и развевающа многолетняя еретическая умышления... каменосердечная душа в землю плодоносную претворяя»; «скверное же тшегласие отменяя...»; «яко ковчегом потопа греховнаго избавляем ся» (Минея 1619, 3, 5 об.; Апостол 1621, 302; Октоих 1631, 475). В сознании издателей неразрывно были связаны бедствия Смуты с их преодолением. Так возникало новое отношение к недавним бедам.

Настоящее время глаголов в заверениях о намечающемся переходе к благополучию постепенно заменилось уверенным прошедшим временем: «И потом како было неким приключьшимся злым временем таковое благое дело раздрушися и изгибло. И... паки составися по прежнему и в первое устроение прииде...» («Сказание» о книгопечатании, 199); «и яко же прежде нечестием всех превзыде Руская земля, тако и ныне благочестием всех преодоле» («Словеса», 530). И еще короче: «от коликих зол избави нас Господь во обстояние многих вой» («История», 126); «очисти землю сущую в недовольстве разума» («Житие Димитрия», 884). И еще энергичнее: «в тишину велебурное шатание преложи» («Повесть о мнисе», 872); «брани разруши, рати утоли, буря утиши, бесы отгна, болезни уврачева, напасти отрази, грады колеблемые устави... и иже от человек наветы вся объят...» (память 1636, 403). Смягченность, заглаженность представлений о Смуте стали еще ошутимее.

Новые оттенки представлений о прошедших несчастьях выразительно проявились в «Повести об Улиянии Осорьиной». Изложение событий в «Повести» начиналось примерно с 1560-х годов, подроб-

нее всего рассказывалось о начале XVII в., и рассказ, конечно, доводился до более благополучного времени — до последних дней 1615 г. или даже до 1616 г. и позже. Особенность «Повести»: абсолютно все упоминаемые несчастья сразу же смягчались — и их смягчала главная героиня Улияния Осорьина. Вот разразился голод, и вот что делала Улияния: «По мале же Божию гневу Русскую землю постигну за грехи наши, гладу велику зело бывшу, и мнози от глада того помираху. Она же многу милостынню отаи творяше... гладным все раздаше. И егда кто умираше, она же... на погребение сребреники даяше» и пр. (278—279). Через некоторое время вторично разразился голод, и снова Улияния смягчала бедствия: «В то же время бысть глад крепок во всей Русстей земли, яко многим от нужды скверных мяс и человеческих плотей вкушати, и множество человек неизчетно гладом изомроша... Она же... елико оставшься скоты, и ризы, и сосуды вся распрода на жито и от того челядь кормяше, и милостынню доволну даяше... и ни единого от просящих не отпусти тща...» (281); «нищим даяше, и никого нища тща отпусти, — и то время без числа нищих бе» (282).

Другое несчастье, которое поминала «Повесть», — это чумной мор; и опять Улияния своею мягкой рукой старалась сгладить жестокость его последствий: «По мале же мор бысть на люди силен, и мнози умираху пострелом: и оттого мнози в домех запирахуся, и уязвленных пострелом в дом не пуцаху, и ризам не прикасахуся. Она же... язвенных многих своима рукама в бани омывая, целяше...» (279).

Еще одно неустроение в «Повести» — социальные конфликты времени Смуты; но Улияния опять-таки утихомиривала ссоры, брани и даже разбои: «ненавидяй же добра враг тщашеся спону ей сотворити: часты брани воздвизаше в детех и рабех. Она же вся, смысленно и разумно разсуждая, смиряше» (279); «а неразумныя рабы и рабыни смирением и кротостию наказуя и исправляше» (278); «она же моляше дети и рабы своя, еже отнюдь ничему чужу и татьбе не коснутися» (281); «велице же скудости умножьшися в дому ея. Она же распусти рабы на волю, да не изнурятся гладом» (282). Даже когда несчастье касалось близких Улиянии, то и тут она ничем не обостряла обстановки, а, наоборот, умиротворяла: «Враг же наустит раба их и уби сына их старейшаго. Потом и другаго сына на службе убиша. Она же, в мале аще и оскорбися, но о душах их, а не о смерти, но почти их пением, и молитвою, и милостынею» (279—280). В данном случае важен не облик Улиянии, а облик несчастий: они все смягчены очень последова-

тельно. Представления автора «Повести» о прошедших, уже отдалившихся бедах были устойчиво проникнуты чувством умиротворения, бестревожности.

Знаменательное замечание сделал и Иван Хворостинин в «Слововещаниях», где тоже поминал Смуту: «не понудив рабы моя мучительством жити и быстрым быти на чюжая имения» (39).

Для кого было характерно это уже не такое острое, несколько туманное, смягченное представление о прошлых бедствиях? В первую очередь для писателей, близких к верхам, для книгоиздателей и для составителей официальных документов, а значит, и вообще для верхов российского общества. Но «Повесть об Улиянии Осорьиной» выпадает из данного ряда: ее составил сын этой муромской дворянки, вовсе не близкий к верхам, а «Повесть» тем не менее особенно размягченно поминала события Смуты. Следовательно, можно предположить, что новое, смягченное отношение к Смутному времени бытовало и в средних слоях русского общества 1620-х — 1630-х годов.

Подтверждение тому можно найти в старопечатных предисловиях и послесловиях. Все старопечатные издания 1620-х — 1630-х годов предназначались для очень широкого круга читателей: в «Рускую землю бесчисленныя народы человек», «христианьскаго народа многочисленнаго словеньскаго языка», «всем святым правоверным христианом», «всем православным христианом», «всем любящим правую веру», «по всей бы своей велицей Руси разсеяти» и т. д. и т. п. (Миняя 1618, 4 об.; Миняя 1619, 85 второго счета; Апостол 1621, 302; Служебник 1623, 477 об.; Шестоднев 1625, 14 второго счета; Псалтырь 1625, 25 второго счета; Служебник 1627, 260 об.; Учительное евангелие 1629, 593; Триодь 1630, 641; Азбука 1634, 7 послесловия). Но в характеристиках, даваемых Смутному времени в предисловиях и послесловиях, не ощущается того, чтобы издатели навязывали читателям свои оценки, или как-то полемизировали с читателями, или хотя бы стремились разъяснить читателям новые оттенки во взгляде на Смуту. Сходство мнений издателей и читателей подразумевалось само собой. Смягчающее представление о Смуте, по-видимому, широко распространилось в России 1620-х — 1630-х годов в разных общественных слоях.

Но смягченность представлений о Смуте не означала равнодушия авторов к несчастьям. Наоборот, именно к несчастьям, памятным по Смутному времени, авторы относились с особой нетерпимостью и эмоциональностью. Например, авторы болезненно воспринимали возмож-

ность даже незначительных разногласий в обществе: «иде же бо аще и мало раскольство счинится, и тамо востаает вражда гнева Божия и мечь ярости...» («Соборное изложение» 403). Видимо, таким отворачиванием к конфликтам были вызваны странные опасения богатыря в «Повести о Еруслане Лазаревиче». Еруслан, представавший русским человеком («человек есми русин», «руской богатырь» — 115, 116, 126), вдруг «учал думати: взяти мне... кон или ратное оружие, и мне розбойником прослыти» (122) и объявлял во всеуслышание: «А яз, брате, не розбивати хожу, ни красть ежду» (121). Еруслан настаивал, чтобы не смешивали богатырей с разбойниками: «Одно взяти: любо корыстования, или богатырем слыти» (107). Действуя, Еруслан очень заботился, как бы не уронить царской чести, «царева честь потерять» (118), не сам карал, например, злодейского князя, а вел его на суд и расправу к царю. Еруслан все оправдывался перед царем: «Яз тебе, государю своему, не насмехаюся...» (112); «виноват был я пред тобою... а нынеча яз пред тобою справился» (119). Этот юридически осторожный богатырь выдавал отрицательное отношение автора «Повести» к чересчур размашистым, независимым действиям героев, могущим повести к общественному «раскольству». «Повесть» сообщала, что люди, которые царю «грубили», все были казнены (119—120).

Другое явление, к которому после Смуты авторы были очень чувствительны, — это опустошение врагами страны. Недаром Еруслан помогал спасти запустевшее царство, где трехголовая змея «во царстве людей добрых не оставила» (123). В «Повести о разуме человеческом» русский фон отсутствовал, но тема опустошенного царства тоже всплывала²³. Авторы с жаром заклинали: «Да не насилowani будем от иноплеменных!» («Сказание» о книгопечатании, 201); «искупи нас от работы вражия!» (стихиры о ризе, 7 об.); «не дай-де бог деяти добро никакову иноземцу и веры няти!» («Повесть о Еруслане», 111). Эмоциональное неприятие несчастий, напоминавших о Смуте, по-видимому, также было распространено в различных слоях российского общества.

Перейдем к следующему элементу в общественных настроениях 1620-х — 1630-х годов. Смягченность представлений о несчастьях прошлого породила одна главная причина — убеждение авторов в благополучии настоящего и ближайшего будущего. Отражения всех этих настроений тесно переплетаются в одних и тех же памятниках. Нужно подробнее сказать о главных, определяющих, разветвленных представлениях авторов о российском благополучии.

Никогда еще в произведениях не было такого потока благодарностей Богу за спасение Русской земли. Каждый автор, рассказывал ли он о несчастьях или только упоминал их, обязательно переходил к благодарениям: «Еще же вспомяну его Божие к нам милосердие и щедроты...» («Сказание» о книгопечатании, 201); «Господь за милость же свою много возлюбил и помиловал... и от бед наших избави нас» («История», 212); «наш же христианский род помилова Господь своею милостию и почте нас славою и честию паче всех язык» (Азбука 1634, 2 — 2 об. послесловия). Дело не в благочестии авторов. Благодарности намекали на установившееся наконец российское благополучие, и чем пространнее выражались авторы, тем определеннее они утверждали картину благополучия России.

Новые события только сильнее обнадеживали авторов. Шах персидский прислал в Москву ценность — ризу якобы самого Христа. Последовали благодарности Богу, «изволившему... нам подати стену небориму и неблазну утверждение»: «аково Божие дарование Русьстей земли даровася!»; «тверды покров... нам христианом даровася риза твоя»; «ризу нам яко стену и покров даровал еси» (стихиры о ризе, 1 об., 15, 15 об., 17, 18); «такую преславную благодать видети во благочестивом царствии...» («Иное сказание», 138). Русская земля представлялась авторам отделенной стеной от несчастий, уже обладающей воплощением благодати и пр. Если даже происходили события неприятнейшие, например грандиозные пожары в Москве, то и в них разыскивалось хорошее начало и благодарности Богу все равно воздавались: «Премилостивый же Бог милостиво наказуя человеки, и отводя от греха, посылая милостивое наказание...» («Новый летописец», 152); «Господь Бог наш, не хотя создания своего до конца погубити... всячески отвращая нас, соотводя от всяких неподобных дел... и воспрещая с милостивым наказанием» («Иное сказание», 141). Россия мыслилась авторами под надежным покровительством Бога: «Русьскую страну нашу назираещи» (стихиры о ризе, 15 об.).

С небывалым энтузиазмом писатели 1620-х — 1630-х годов принялись превозносить «царство Московское, его же именуют от давних век великая Росия» («Повесть книги сея», 559); авторы подчеркивали величие «великия державы всея великия Русия Московскаго царства», «великия державы всея славно именитыя Русии Московскаго государьства» (Шестоднев 1625, 14 второго счета; Учительное евангелие 1629, 593 и многие другие издания); авторы говорили о «славнем и преиме-

нитом царствующем граде Москве», о значительности «славного града каменной Москвы» и пр. (стихиры о ризе, 23; песня о Филарете, 9). В общем, авторы были теперь самого высокого мнения о России.

Авторы не ограничивались только общими словами, а конкретизировали картину благополучия России. Внешний, психологический признак благополучия — это всеобщая радость после преодоления бед: «Зрадовалося царство Московское и вся земля святоруская» (песня о Филарете, 7); «многия убо слезы тогда от радости быша» («Мазуринский летописец» под 1619 г., 158); «уставиша праздник торжественный празновати о таковой дивной победе; даже и доньне празнуют людие» («Повесть книги сея», 618); «всяк град радуется, празднуя верно» (стихиры о ризе, 16) и т. д. На радость, ликование, веселие, на «обрадованну нашу душу» (память 1636, 403) памятники теперь обращали внимание повсеместно. Даже прошлое становилось повышенно радостным, и, например, составитель «Есиповской летописи» мог выражаться о походах Ермака так: «...по всей Сибирстей земли ликоваху стопами свободными» (124).

Авторы обрисовывали и более существенный признак благополучия России — широкое «устроение». Сообщений об «устроениях» следовало немало. Так, в предисловии к «Московскому летописцу» составитель провозглашал царя Михаила Федоровича исключительно плодотворным «устроителем»: уже «в начале царствия его просветися вера, просия благочестие, уставишася церковнии чинове и царствия синклиты, и царствующий град Москва возградися, и места уселишася, воинство охрабрея, и купцы своя промыслы възприяша, — комуждо как милость Божия поспешествуя» (222). Обнадеженность и удовлетворенность писателей российским «устроением», возможно, побуждали их выделять «устроение» и других, вымышленных царств: когда царь «станет лготу давать и дани поубавит — и государьство опять полно наполнитца, селища опять жили будут... И от тех мест стал царь милостив, и льготы стал давать, и дани поубавил — опять стало все жило» («Повесть о разуме», 327). Довольство российским «устроением» приводило авторов к особенно уверенной мысли о мировой благоустроенности, введенной Богом: «вся бо той созда видимая же и невидимая... убо всяко здание сотворил есть той. Все же содержит, и снабдит, и промышляет о всем, и... устрояет, и вся люди своя священными своими законы и правила и уставы и богодухновенными писаньями вразумляет и просвещает и... обращает... и... призывает... и ... умудряет» и т. д. (Триодь 1630, 638).

Венчающий признак благоустроенности России в сочинениях писателей 1620-х — 1630-х годов — красота «устроений». Вот хотя бы одна из несколько перегруженных похвалами картин украшения Руси Михаилом Федоровичем: «являя того... еже по вселенной созидати и украшати божественныя храмы и разсеявати божественная словеса, яко бисер или, реку, злато... Чюдными лепотами... иконами и многоценными... сосуды и ризами и инеми по благочинному слову приличными вещми любезне украшая... еже благословными священными книгами, яко же некими благоцветущими крины, божественная храмы исполняти... и не точию Христовы церкви и... обители, яко многосветлыя звезды в тверди небесней сияющии, но и дома благочестивых пребогатне и пресветле преисполнив... вся своя царския Русьския державы...» (Канонник 1636, 76 об. — 78 об. второго счета); все делается, чтобы «по всей бы своей велицей Русии разсеяти, аки благое семя в доброплодная земли», чтобы был от «божественных догмат яко бы неких благовонных аромат» (Азбука 1634, 5—6 об. послесловия).

Результат благоустройства — мир и покой в государстве: «мир и тишину и правду утверждающа» (Учительное евангелие 1629, 593); «печальным веселие, тружающимся упокоение, насилуемым отдохновение... покой дарова» (память 1636, 403). Людей многонародного государства памятники теперь неоднократно и благосклонно называли смиренными, благочестивыми овцами: «В Рустей же земли не токмо веси и села мнози сведоми, но и грады мнози суть единаго пастыря Христа едина овчата суть, и вси единомудрствующе» («Словеса», 530). Авторы считали, что много «есть разумичных людей в великом государстве» (послание Стефана, 406).

Авторы не только представляли благополучным настоящее, но и надеялись на всегдашнее благополучие в будущем: «...да союз мира... твердо в душе кротости хранится, да не будет несогласия ради распря...» (Требник 1623, 618 об.); «да сияет благочестивое царство... святолепным просвещением всегда, да пребывает во светлей и божественней славе... святая же соборная церковь... да цветет и славится всегда... украшается... и не на поколебимем основании да пребывает» (Учительное евангелие 1629, 593—593 об.; Триодь 1630, 639 об.; Октоих 1631, 475), «да множится и растет благочестие во всей... Русстей земли» (Азбука 1634, 7 — 7 об. послесловия). Говорилось и в формах, обозначавших еще большую «всегдашность» благополучия: «град Москву... ограждаеши... от безъбожных иноплеменник, от глада же,

и труса, и междоусобных брани присно...» (стихиры о ризе, 5); «радуйся, церковная красота и обогащение; радуйся, боговерным царем на сопротивных пособие и в нашедших печалех утешение; радуйся, отеческому своему граду утверждение и неусыпно хранение... радуйся, многонародному граду Москве ликование...» («Повесть о мнисе», 873—874).

Жажда устойчивого благополучия, благополучия «навсегда», определяла уже знакомый нам ход мыслей. Даже сомнительные явления истолковывались как благие предзнаменования. В «Мазуринском летописце», например, рассказывалось, что в 1619 г. над Москвой встала комета: «Мудрые же люди о той звезде ростолковаху, что та звезда над Московским государством стоит к доброму делу... в том государстве подает Бог вся благая и тишину и никотораго мятежу в том государстве не живет» (158). Другое следствие желанного благополучия — мечта о распространении его на весь мир: «моления творити должны есмы о умирении всего мира», «дабы отныне и впредь... утвердиться и укрепиться, яко же солнцу под небесем сияюще и во вся окрестныя страны луча свои простирающе... и ко всякому благочинию во веки неподвижно утвержающе» (Канонник 1636, 80; память 1636, 404). Представления о наступившем российском благополучии составили вескую часть умонастроений писателей 1620-х — 1630-х годов.

Подумаем, для какого общественного слоя были характерны отмеченные представления. Данные у нас только косвенные. Судя по памятникам, представления о благополучии были свойственны писателям, близким к верхам, и, наверное, самим общественным верхам. Однако резко ограничивать круг бытования подобных представлений нельзя. Для наших предположений имеет значение гармония отношений писателей с читательской массой. В 1620-е — 1630-е годы изменились преобладающие эпитеты, прилагаемые авторами к читателям. Читатели теперь были «благочестивии и истиннии делателие винограда Христова» («История», 243): «разсудителнии... имыи премудр смысл и чюден» («Повесть о Димитрии», 847). К читателям авторы теперь обращались так: «О, чада светообразная... хотех убо вашей любви благо глаголати... вашей души прекрасней достойно есть... праводелательное» («Слова», 530).

В 1620-е — 1630-е годы изменилось и содержание более развернутых высказываний писателей о читателях. Писатели настаивали на близкой, наступающей, наступившей читательской благочестивости. Вот разные формы подобных высказываний. Самая общая: все ведет

к «полезному жительству и ко спасению душам человеческим» (Служебник 1623, 477 об. и многие другие издания); модальная форма высказывания о прикосновенности к благочестию: «Сице хошет создавыи нас Бог и нам тем ревнителем быти»; «нам... подобает... везде тцатися яко от себе самех вносити по силе нашей» (Канонник 1636, 80; «Повесть о Димитрии», 856); повелительная форма высказывания об обязательном усвоении благочестия: «Имеим убо, возлюбленнии, промысл Божий на уме... и содержим в себе всего память на всяк час и розмышляем и брежемся и накажемся...»; «зрим же, братие, и в мире суща добродетельныя человецы» («Повесть о Димитрии», 838, 843); форма высказывания в настоящем и будущем времени как выражение неотвратимости благочестия: «и аки по лествице, от нижния степени на вышнюю восходят и потом паки вящее учнут разумевати» (Азбука 1634, 8 — 8 об. послесловия). В благочестии читателей, ныне и навсегда, писатели были уверены с определенностью.

Особенно часто писатели демонстрировали свою уверенность в приверженности читателей к благочестивому чтению: «И ныне, братие, отверзем умныя зеницы сердца своего и искусно разумеем...» («История», 249). Издатели насыщали предисловия и послесловия всех издаваемых книг рассуждениями и пояснениями о содержании, составе, композиции, истории и предыстории создания предлагаемых книг, порядке их чтения и пр. (необычайно много, например, в «Триоди» 1630 г., стихотворном наставлении в «Азбуке» 1637 г.). Это делалось для того, чтобы удовлетворить читательскую любознательность. Читатели и слушатели, по мнению издателей, теперь охотно усваивали «въкупомудрено и изрядно удобряемое учение» (Октоих 1631, 475 об.). И действительно любознательность читателей и слушателей писатели упоминали неоднократно: «людие православнии... яко гладни... поучения и жития не слышаще» (память 1636, 402); «аще кто имый премудр смысл и чуден, да навькнет от божественных писаний...»; «хотяй навькнути о сяковых да прочита в летописных историях...»; «и аще кто восхошет о смятении Росийския земли широко и пространно уведомати, и той да прочти себе великую “Историю” Палицына» («Повесть о Димитрии», 847; «Повесть о мнисе», 871; «Хронограф» 1617, 1313).

Показательно у издателей 1620-х — 1630-х годов обилие похвал каждой предлагаемой книге, тому, «яко же есть зримо в книзе сей полагаемо». Издатели выражали перед читателями восхищение от «сладко гласнаго гласа» книги (Октоих 1631, 475 об.), слышали в ней

«прехвалныя и громогласныя десятострунныя гусли» (Псалтырь 1619, нумерованн. 335 об. и многие другие издания). Издатели восхваляли содержание книг, подчеркивая, например, что книга «о страшных, великих, предивных чудесах» «исполнь радостотворнаго умиления» (Триодь 1630, 640). Издатели восхваляли авторов или составителей книги: «мнози бо древле чюднии ритори и премудрии творцы грамотическим слогням и дивнии ветии... составиша... чюдныя... хвалы и песнословия... начальницы же и творцы красоты слова... всепречудныи... мнози предивнии. Чюдными и предивными сими творцы... объявлена суть» данная книга (Миняя 1619, 4 об. — 6 и другие издания). В тех же выражениях писатели восхваляли свои сочинения: «Скажу же вам повесть дивну...» («Повесть об Улиянии», 284). Все это делалось, чтобы героям и событиям дивились сами читатели: «Бяше же по истинно чюдно видети яже по Бозе житие их»; «о дивьства дивнее такое житие и аггелы чюдимо пребывание!» («Повесть о Димитрии», 839, 841); «всем дивитися разуму ея», «вси дивляхуся разуму ея» («Повесть об Улиянии», 277); «да кто о сем не почюдится?»; «дива слышание достойно» («История» 108, 191); «мы же сему бывшему делу писание предлагаем и предъидущий род воспоминанием удивляем» («Повесть книги сея», 622—623). Соответствующими эмоциональными оценками насыщалось повествование о героях или событиях отрицательных (например, в «Хронографе» 1617) и тоже для того, чтобы читатели разделяли авторские чувства: «смеху достойно сказание, плача же велико дело бысть», «кто же сему не посмеет ся безумию?» («История», 118). Авторы исходили из представления не вообще о благочестивых читателях, а о читателях душевно чутких, испытывающих благочестивые чувства.

И последнее. Читатели у писателей 1620-х — 1630-х годов представляли тихими и мирными: наступило «любително исправление... еже бы вложить любовь в душу вашу» («Словеса», 530); «притецем любезно и воспоем умильно» («Повесть о мнисе», 873); «ныне же, отцы и братие, койждо нас... да пребудем в любви... милостыню и нищелюбие койждо нас да покажем... и во благоденьствии и в тишине поживем» («История», 247).

Столь явно выраженное в памятниках согласие писателей и читателей является косвенным подтверждением нашего предположения о том, что представление 1620-х — 1630-х годов о наступившем российском благополучии разделялось и верхами общества, и более широки-

ми общественными слоями. В России тех лет господствовали настроения благонамеренности. Исследователи общественной мысли недаром отмечают, что с конца 1610-х годов «наступает некоторое затишье, связанное, вероятно, как с утомлением страны... так и с иллюзиями, которые возникли с началом царствования Михаила Романова»; популярной стала обнадеживающая «мысль о необходимости справедливого правления, полного милостей и льгот», популярным стал «образ сказочного “укротевшего” царя... близкий и понятный посадским и крестьянским массам, не освободившимся еще в это время от царистских иллюзий»²⁴.

Но неужели источники 1620-х — 1630-х годов уже нигде и никогда не упоминали об общественных недостатках? Такие упоминания делались. Например, в конце 1610-х — начале 1620-х годов осуждалось неистребимое лихоимство: «конечно, все зло на ся привлекохом, от него же даже и доселе не исцелехом»; «се бо зло в нас и доньне всеми зримо деется, иже славы и богатства желают вскоре, без рассмотрения обогащаются неправдами... ко единому тщашимся, еже бы своя им влагалища вся лихвами изобильне исполнити» («Временник», 69, 122); «мнози убо мы и до днесь в скверне лихоимства живуще, и кабаками печемся, и граблением...» («История», 125); «зри ж и сего: и в приказах лукавии действуют, ваше государьское и земское дело на корысть свою променяют, и многие мздою, надеясь на лукавья понаровки, накупаются... оторые и прежде для своей корысти и тщеславия разоренье вере и попрежение вере чинили, те же и ныне ухищрением и за мзду понаровлением дерзновение имут, у православных крестьян последнее богатство всячески имат, тем жратвы своя простират. А иные, завидя на лукавых... мир продают немерным мздоимством» (послание о мздоимстве, 190). Но подобные признания делались очень редко и лишь довольно рано, потом они потеряли обличительную остроту и исчезли. Например, в предисловии к «Слововещаниям» Иван Хворостинин жаловался: «Коя не приах беды? ...многи скорби от владык, множайши ж от властей, тако ж и от церковник неученых, туне поставленных» (38). Однако тут он больше упрекал власти Смутного времени, чем власти, современные его сочинению. В официальные документы также изредка проникали довольно смутные обвинения: «в людех многую смуту чинил»; «...смущается ум и скудеет вера, потому что вожди ослепоша леностию и нерадением» (грамота 1632, 284; память 1636, 402).

По поводу единичности упоминаний неблагоприятных явлений в 1620-е — 1630-е годы один из историков — Б. Ф. Поршнев — пишет: «Но историка обескураживает отсутствие прямых сведений в русских источниках о каком бы то ни было политическом кризисе в это время». И не без оснований предполагает, что в это время были произведены чистка, «систематическое истребление» неугодных документов²⁵.

Но обратимся к произведениям менее подвластным цензуре. В двух «покаянных» стихах прямо говорилось об общероссийском неблагоприятии:

...прелесть вражия...
 прелстиша владомых и многоразумных началников
 Руския державы,
 ругающесе нашей православной вере.
 ...И ныне убо, братие, восплачем вси...
 ...и всем добродетелем потребление,
 но и паче же православной вере посрамление
 и от всех язык различных вер посмех и укоризна.
 Слышат бо языци нашу неправду...

(«Покаянны» о Кремле и о Шеине, 146, 147)

Оба стиха записаны позже — в одном и том же сборнике третьей четверти XVII в., и больше открытых отрицательных высказываний о 1620-х — 1630-х годах не известно ни в «покаянных», ни в фольклоре. Скорее не столько чистка архивов тому виной, сколько преобладавшее в то время иное общественное настроение: убогатворенность и надежда на крепнущее благополучие.

И все-таки если к произведениям присмотреться внимательнее, то можно заметить нередкие, но скупно выраженные несоответствия господствовавшему благополучному настроению. Например, в «Хронографе» редакции 1617 г. цитировался текст некоего письма, враждебного официальной точке зрения, и письмо сопровождалось такой оговоркой составителя «Хронографа»: «Се списание малое некто от мятежник написа, хулу и лож сказауа во истории сей... и мы писание не извергохом, зане во многих се неправое писание распростресе...» (1310). Однако здесь могли иметься в виду «мятежники» и согласные с ними «многие» люди предыдущего времени Смуты. Но вот более поздний документ, который снова предполагал наличие дерзких инакомыслящих и недовольных: «Аще ли ж нецьи малоумнии хотят рещи, яко

не подобает согрешающих человек и непокоряющихся истине мирским князям подлагати и таковое повеление немилостиво наречет кто... Аще ли же нецыи не хотяще послушати пастырского словесе...» (грамота 1622, 250—251).

У авторов повестей 1620-х — 1630-х годов наряду с читателями благополучными также маячили читатели недовольные и недоверчивые. Авторы предусматривали это реальное обстоятельство: «Помышляю, егда како... не угодно явится писание мое во ушию вашу» («Повесть о Димитрии», 846); «яже во инех местех сложений оних сомнитися кто...» («Временник», 17); «аще ли нецыи слышаще и высоте словес дивящися и не восхотят веровати... тии бо немощь человеческую помышляют и неприятно творят глаголемо о человецех» («Повесть об Улиянии», 323).

Историки действительно указывают на небезоблачность социально-политического горизонта России 1620-х — 1630-х годов, в частности на многочисленные «простонародные политические преступления конца 20-х — начала 30-х годов: “непригожие”, “неподобные” слова о царе или патриархе, сомнения в законности, “прирожденности” нынешнего царя или царевича...» — и вообще на «грозные беседы московского трудового люда»²⁶. Какие-то неудовольствия отразились в факте составления сборников переписки Андрея Курбского с Иваном Грозным: «послание Курбского, обличавшее царский произвол, было близко общественно-политическим настроениям 20—30-х годов XVII в.»²⁷.

Но любопытно, как авторы относились к неверящим, недовольным, ропшущим, провинившимся и тому подобным людям. Авторы с разной степенью настойчивости упрашивали таких читателей: «Молю же вас прилежно послушати, без всякого сумнения, вне всякиа суетныя молвы себе сотворше»; «молю же вы, да не позазрите ми» («История» 227, 238); «и да никто же мя о сих словесы уловит иже о любославнем разделением...» («Временник», 56); «вы же, братие и отцы... не мните: ложно се... но... не лжу...» («Повесть об Улиянии», 309); «веру имите ми...» («Повесть о мнисе», 871). В официальных документах предписывалось, дабы власти со всевозможной мягкостью уговаривали несогласных и недовольных: «проповедуй... настояй, понуди... обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением»; а неисправимо упрямых и деятельных, которых вроде бы нельзя «пощадевати же никако же», все-таки «смотрительно же повелеваем о таковых разсуждати» (грамота 1622, 252, 250). Подобные грамоты велено было читать всенародно с явной целью не обострять конфликты и с явной надеж-

дой народ «в мале времени исправити». До поры до времени тучи народного недовольства не вставали сплошной наползающей стеной в относительно чистой панораме общественной уверенности в российском благополучии.

Но это еще не все. В «благополучных» памятниках 1620-х — 1630-х годов можно заметить еще одну особенность, которая оказывается чрезвычайно важной. Авторы повестей и официальных документов усиленно стали упоминать «простцов», «бедных и нищих и обидимых», «все народное множество», обязательно говорить об «убозих» и «простых человецех» («Соборное изложение», 403; «История», 125, 231; стихиры о ризе, 16; память 1636, 402 и др.). В официальных документах сочувственно объявлялись беды, например, «убогих работных людей» и осуждались насилия над ними: «а бедные люди от таких законопреступных людей бедне насилуемы и оскверняемы и порабощаемы бывают и ниоткуда ж избавления приемлют»; властям советовалось выслушивать «простую молву» (грамота 1622, 246, 247, 253)²⁸. Авторы часто поминали заповедь «еже нища и убога помиловати»; они приветствовали «полагающа душу свою за овца стада его» (Минея 1619, 3 и другие издания).

Тема «простых» людей стала выделяться у авторов 1620-х — 1630-х годов и когда они вспоминали о прошлом. Так, автор «Повести об Улиянии Осорбиной» с удивительной регулярностью возвращался к одной и той же теме: во время Смуты Улияния «вдовами и сироты печашеся и бедным ко всем помогаше... даяше нищим милостыню...» (280); автор ставил в образец постоянство и безотказность помощи: помогая «убогим», Улияния «дойде же в последнюю нищету, яко ни единому зерну остатися в дому ея, и о том не смятеся... и не изнеможе нищетою» (281—282). Авраамий Палицын же в своей «Истории» не только обращал внимание на помощь бедным во время смуты («о бедных и нищих крепче промышляше... и таковых ради строений всенародных всем любезен бысть» — 104), но и ставил деяния «простцов» выше усилий «мудрых» бояр: «Похвалное же что содеяся, и то не урядством, но последнею простотою... В таковой простоте никто же никогда погибе... И зрят простцы мужа храбра и мудра нестроение... И по обычаю простоты немощнии бранию ударивше и похищают мудрых от рук лукавых... Немощных и бедных не нарицают овец, но львов, и не сирот, но господей... и в простоте забывше бегати, но извыкше врагов славно гоняти» (191—192).

Авторы 1620-х — 1630-х годов подчеркивали заслуги «простых» людей, обращаясь и к более отдаленному прошлому. Противопоставление «простых» людей знатным отмечено, например, в «Есиповской летописи»²⁹. О Ермаке говорилось так: «Изра Бог и посла не от славных муж, ни царска повеления воевод... но от простых людей изра бог и вооружи славою и ратоборством и волностию атамана Ермака Тимофеева сына Поволскаго и со единомысленною и предоброю дружиною» (164—165, ср. 122—124).

«Бедные» люди специально упоминались и в сочинениях о вымышленных царствах: вельможи «обиды творили, а на сильных бедным и беспомощным управы не давали...» («Сказание о Петре Волосском», 348)³⁰.

Внимание писателей 1620-х — 1630-х годов к людям «простым» и «бедным» объяснимо по крайней мере двумя причинами. С одной стороны, некоторые писатели, пережившие Смутное время, отдавали должное, как мы сказали бы сейчас, роли народа и искренне жалели народ. Однако так было, пожалуй, только в конце 1610-х — начале 1620-х годов, например у Авраамия Палицына. С другой же стороны, похвалы «простым» людям затем вовсе не стали популярными; советы оказывать вспомоществование бедным стали настойчивее, но суше, как, например, в «Повести об Улиянии Осорьиной»; забота о «простых человецех» диктовалась желанием искоренить в них «велик соблазн», как, например, в патриаршей памяти 1636 г.; и поэтому Семен Шаховской настаивал, чтобы писатели шли навстречу «простцам»: «наития же святых и мучения и доблести их ясно да сказуются, яко же и не книжным мочно и простым глаголемая внимати» («Повесть о Димитрии», 846). Внимание писателей к «простцам» поддерживалось уже не искренним, глубоким сочувствием, а чем-то иным. Какая-то вынужденность ощущается в этих упоминаниях о «бедных» и «простых» людях.

У нас мало материала, чтобы явственно убедиться в принужденности внимания авторов первой половины 1620-х — 1630-х годов к пресловутым «убогим» людям. Но тогда посмотрим, как авторы относились к читательской массе, куда входили также и «бедные» и «убогие». Отношение писателей к читателям стало небывало предупредительным. Авторы обильно предупреждали читателей о тематике произведений: подробнейшие оглавления или сжатое изложение содержания предшествовали сочинениям. Четко обозначалось начало сочинения: «сему же сказанию начало сиецево...» («История», 101); «время уже

есть к повести приблизиться) («Повесть о Димитрии», 845); «яко же zde явственно повесть предложити вам хошу» («Повесть о мнисе», 858). Текст сочинений дробился авторами на небольшие части со своими подзаголовками, и почти каждый автор в каждом отрывке предвзительно называл читателям «дело, о нем же ныне слово предложити хошу» («Хронограф» 1617, 1293), «о нем хошу словеса рещи» («Повесть о Димитрии», 847), «о сем убо ныне нам слово предлежит» («История», 203), «сие дело», которое «настоит... с великим изобилуованием начинати» («Житие Димитрия», 890) и т. д. и т. п. Очень часто подчеркивалось: «чти», «зри», «виждь», «чтый да разумеет». Внутри изложения следовали постоянные перекрестные отсылки. О том, что будет сказано после: «О прочем же о всем впреди писано», «о нем же впреди реченно будет» («Хронограф» 1617, 1276, 1282); «о сем пространнее впреди слово», «о нем же множае предъидый слово скажет» («Временник», 16, 18 и др.); «ввпреди слово изъявит», «последи объявлено будет» («История», 187, 205 и др.); «о них же в конце книжицы сея написано суть» (Азбука 1637, 2 об.). Постоянны были напоминания читателям и о сказанном раньше: «...яко же и выше рехом» (Азбука 1637, 6); «яко же и прежде рехом» («Сказание» о книгопечатании, 201). Необычайно часто авторы исправляли ход своего изложения и напоминали о возврате к главной теме: «Мы же к первым словесем начатое навершити нудимся, от иде же стахом» («Временник», 51 и др.); «сие же дозде: не убо о нем повесть сказуется» («История», 211 и др.); «оставим же сия и возвратимся на первая» («Повесть книги сея», 580 и др.); «о сих убо zde да станем и паки на первословную вину возвратимся» («Повесть о Димитрии», 850); «zde да станем и паки о настоящем побеседуем» («Повесть о мнисе», 870); «сия же до zde прекратим, настоящее да глаголется» («Житие Димитрия», 895). Четко отмечался и конец сочинения или его частей: «сему писанию конец предлагаем... словеса писанию превосходят в конец» («Повесть книги сея», 619); «словеса же вещающая достигают конца» («Житие Димитрия», 884). Авторы проявляли необыкновенную заботу о том, чтобы читатели не запутались.

Забота писателей об удобствах читательского восприятия вначале проявлялась многогранно. Так, Иван Тимофеев хотел даже, чтобы читатели получали от излагаемого впечатление, будто всё в жизни увидено ими самими: «чтущим познается, елицы сего в жизни зрети и о нем слышати не получиша» («Временник», 74). Но, чтобы впечатления и

знания приобретались без непосильного труда, Иван Тимофеев давал читателям передышку: «И нам убо в далных словес путишестве естества немощию утружшимся и, яко в небурне пристанище мало отдохнутие приимше... подщимся, в прямой путь устремившеся» (15). Иван Тимофеев предоставлял право читателям самим перекраивать композицию «Временника», как им удобно: «еже не по ряду или месте своем чему вписатися... елико кто ускорит, ли по своему хто чину хочет изрядно устави, — власть имат от своая воли...» (17—18). Задумывался автор и об использовании сравнений для более удобного восприятия изложения читателями: «Се чтущим ото образа вещи свойство ея знатно есть» (13). Сам необычный язык «Временника», быть может, воплощал авторскую попытку (неудачную!) по-новому рассказать читателям о Смуте.

И Авраамий Палицын тоже думал, «како рещи» поудобнее для читателей: «Но не вемы убо како рещи... но колико познаваем, сиа о том и сплетаем» («История», 206). Авраамий Палицын старался не удлинять главы и эпизоды, заботясь о памяти читателей и слушателей: «Их же немощно исписати и изглаголати продолжения ради немощных слуха к забытию» (110). Он вообще все время не терял из виду память читателей, современных и будущих: «История в память предидушим родом», «сие же изъясних писанием на память нам и предьидушим по нас родом» (101, 128 и др.). Авраамий Палицын приравнивал свою «историю» к читательской воле: «вы же... всякого чина христоименитыи людие, сию книжицу прочитающе, приимете, яко же хотите...» (249). Это была проникновенная забота о читателях и слушателях. Писателей интересовала не только психология изображаемых героев³¹, но и психология читателей. Потрясения Смутного времени побудили писателей следить за реакцией массы «простых» и «убогих» людей и за реакцией читательской массы.

Так было в конце 1610-х — начале 1620-х годов. Позже обходительность писателей по отношению к читателям исчезла. Частые обращения к читателям сохранились, но стали суше и формальнее. Краткое изложение или перерывы в изложении сопровождались теперь сухими отговорками: «...некое ради настоящая вины, о ней же не у время ныне изрещи» («Сказание» о книгопечатании, 204); «не у время писати, токмо зде настоящее слово да рцем» (Азбука 1634, 5 послесловия). Надежды на благодарную читательскую память омрачились теперь каким-то разочарованием:

Дела толикие вещи во веки не забываем...
 Ум человекь никто не может исповесть.
 ...Всяк бо чтый да разумеает
 И дела толикие вещи не забывает.
 Сие писание в конец преити едва возмогах
 И в труде своем никоея же ползы обретох.
 («Повесть книги сея», 619, 624)

Призывы к читательской памяти имели теперь поучающе-сумрачный оттенок: «и содержим в себе всего память на всяк час, и розмышляем, и брежемся, и накажемся в них, да навыкнем прияти память...» («Повесть о Димитрии», 838). Предупредительность писателей и издателей по отношению к читательской массе поддерживалась уже не искренним теплым чувством, а чем-то иным, внешним.

Причины повышенной внимательности авторов к «простцам» и к читателям становятся ясными на фоне реальных исторических обстоятельств. После окончания Смуты правительство и верхи общества проявляли подчеркнутое внимание к средним и низшим слоям. Например, на земском соборе 1619 г. правительство подтверждало: «Московского государства всяким людям скорбь конечная»; правительство шло навстречу просьбам «простцов»: «велети от сильных людей оборонить»; по мнению Л. В. Черепнина, «в соборных решениях 1619 г. была сделана попытка найти формулу примирения запросов отдельных сословий и сословных групп»³². В 1620 г. многочисленные царские награды за верную службу во время Смуты раздавались крестьянам³³. Еще любопытное свидетельство: «С ноября 1622 г. на весь период укрепления Филарета Никитича во дворце вводится новый и до времени Петра I, кажется, не повторявшийся потом обычай приглашать на праздники и к государеву столу многочисленный круг бояр, думных дьяков, несколько десятков, а то и сотню дворян московских, приказных дьяков, стрелецких голов и изредка также гостей московских... В это же время, при патриархе Филарете, появлялись на приемах у царя и патриарха гости и посадские торговые лучшие люди...» и даже донские казаки³⁴.

Но с начала 1620-х годов знаки внимания правительства и верхов к низам получили иной характер и не окрашивались чувствами признательности и благорасположенности. Например, в 1620—1624 гг. последовала серия, казалось бы, благоприятных царских указов: но, «с одной

стороны, указ дает привилегии посадским людям и волостным крестьянам, а с другой — ограничивает и сводит эти привилегии почти к нулю»³⁵. В 1630-е годы «дворцовые приемы меняются в сторону большей чопорности и аристократичности»³⁶. В 1630-е годы милости правительства имели уже преимущественно характер вынужденных уступок: то «выдачей головой церковных феодалов горожанам»³⁷, то в виде уговоров «отстать от всякого дурна» и обещаний, то в форме амнистий провинившимся, а в целом «мы видим целую серию государственных актов, направленных к смягчению недовольства служилого военного сословия, низших слоев дворянского класса»³⁸.

Главная причина уступок: в конце 1620-х — начале 1630-х годов «народные массы ожидали новую крестьянскую войну»; «правительство пасовало перед угрозой восстания в Москве»³⁹, в первой половине — середине 1630-х годов, как отзывались русские и заграничные очевидцы, «делаетца-де на Москве нестройно — разделилась-де Москва натрое: бояря себе, а дворяне себе, а мирские всяких чинов люди себе ж», «на Москве учинилась в людях рознь великая» — «грозило вспыхнуть всеобщее восстание»⁴⁰. В 1632 г. была прямо «выражена тревога правительства по поводу возможности возобновления донскими казаками “Смуты”»⁴¹. Один за другим возникали в Москве огромные пожары, особенно в 1626 и 1634 гг.: «И не бывал такой пожар над Московским государством николи и от начала Московского государства» («Бельский летописец», 268). «Весьма вероятно предположение, — считает Л. В. Черепнин, — что пожары не были случайными, причиной их явились намеренные поджоги как одна из форм классовой борьбы»⁴².

Нараставшее обострение социальной обстановки в России 1620-х — 1630-х годов наложило отпечаток на практические меры верхов по отношению к средним и низшим слоям общества, на тон упоминаний властей о «простых» и «бедных» людях в документах и даже на оттенки в высказываниях писателей, близких к верхам, о «простцах» и о читателях в литературных произведениях. Но пока развитие реальных обстоятельств опережало идейную жизнь общества. Настроения народного недовольства и возмущения еще не получили заметного и цельного идейного выражения и не образовали противоположной чаши весов в общественных настроениях. Внешне преобладало настроение благополучия, исходившее от верхов общества; знаки внимания, оказываемые «простцам» и читательской массе, внешне продолжали эту

благополучную настроенность. Но кажущееся общественное согласие и спокойствие на самом деле уже были внешними, выхолощенными.

Конец 1630-х — 1640-е годы: благодущие верхов общества и назревание недовольства низов

Настроенность русского общества конца 1630-х—1640-х годов помогают охарактеризовать сочинения, связанные с российскими верхами. Прежде всего посмотрим, как в предисловиях и послесловиях издатели старопечатных книг рисовали российское общество. Самым большим из печатных послесловий тех лет и, пожалуй, самым содержательным явилось послесловие к первому на Руси изданию «Трефологиона», а именно послесловие к третьей книге «Трефологиона», на март — май. Оно же было перепечатано в четвертой книге «Трефологиона», на июнь — август. В первых книгах «Трефологиона» послесловия иные и менее содержательные.

Послесловие к третьей книге «Трефологиона» в целом оригинально, хотя некоторые выражения заимствованы из послесловий к «Букварю» В. Ф. Бурцева (М., 1634) и «Канонника» (М., 1636). Составителей оригинального послесловия к третьей книге «Трефологиона», конечно, могло быть несколько. Но условно мы будем говорить об одном авторе послесловия, так как он здесь иногда упоминал о себе в единственном числе: «Премину же многое... Премину же долги ради словес...»⁴³ В центральной части послесловия автор рассказывал об истории русского книгопечатания и описал Русскую землю, заполненную многочисленными духовными «лепотами», в том числе рукописными и печатными книгами. Однако воспоминания о рукописных книгах заставили автора осознать недостижимость полного духовного благополучия на Руси: «И прежде убо много лет писавахуся книги письменными начертаньми, но не до конца было лепо таковое изображение... не несмутно и не несумненно» (408). Примерно ту же мысль повторил автор, повествуя о распространении печатных книг в современной ему России: «наипаче многое число обретесе печатнаго дела книг разными имены... и еще не удволися тем... но по разньственным книгам не тако будет лепо» (408 об. — 409). В рассказе об истории русского книгопечатания подчеркивалась неполнота духовного благополучия на Руси.

Если мы обозрим всю композицию послесловия к «Трефологиону», то увидим, что фразы с неперменным «но» повторялись неоднократно. Мысль о недостижимом духовном благополучии на Руси подго-

товлялась уже в начальной части послесловия, когда автор рассуждал о всемирном неблагополучии: Бог «вся премудростию своею сотвори и состави... но... мнози языцы тмою неверия омрачашася... яко же и ныне вси агаряне... латыни, и лютори, и калвини, и прочии» (405 — 406 об.). Ту же мысль об ускользающем духовном благополучии автор выразил в общем виде, перейдя к размышлениям о судьбах российского народа: «Нас же помилова Господь своим милосердием... но каждо нас сам от своая похоти влеком и прельщаем» (407). После рассказа о российском книгопечатании намек на недостижимость полного благоустройства сквозил даже в похвалах царю Михаилу Федоровичу, все-таки далекому от завершения благих дел: он «многи церкви Божия воздвиже... и еще не престая распалаяся» (409 об.).

Однако основное настроение автора не было раздраженным или сумрачным. Представление о недостижимости окончательного благополучия на Руси выражалось автором местами даже в стихах, с бодрой верой в лучшее будущее: «Святое сие крещение прияхом и держим, и льстиваго врага своего и миродержьца бежим, аще льщением его и своєю слабостию и поползаемся, но от творца своего и Бога не отчаяваемся, но надеемся на его премногия щедроты» (407; ср. еще 407 об.).

Точно такие же мысли о пока не достигнутом полном духовном благополучии варьировались во всех печатных послесловиях конца 1630-х — начала 1640-х годов: Бог даровал людям законы, но «сим же не вси удобь покаряющися»⁴⁴, на Руси принялись за размножение рукописных книг, но возникло «многое некое различие... разгласие... яко ничим же менее в житейских вещех истине быти»⁴⁵, начали исправлять и печатать книги, но еще ими «недоволне исполнены»⁴⁶; царь Михаил Федорович хоть и много сделал для духовного благоустройства, но «обаче не престая горя»⁴⁷ на дело еще не заверщенное. Таким же оптимистическим было и общее настроение издателей: при царе Михаиле Федоровиче «мрак же нечестивыя злобы тем да обличится и буря противных ветров да отогнана будет»⁴⁸.

В течение всех 1640-х годов, вплоть до начала 1650-х, официально-покойные темы в старопечатных предисловиях и послесловиях даже усилились. Авторы стали противопоставлять относительно благополучную Россию резко неблагополучному внешнему миру: еретики «возьмутиша всю вселенную» — «и нам тому их еретическому учению не подобает внимати», «стояти бы нам крепце»⁴⁹; в мире «лютое сие волнение... гонящих церковь сих папистов и симониат», а в России,

устремленной «к лучшему и изряднейшему правлению», «преплавают удобно и легче пучины и заверты, от нечистых духов возмущаемыя»⁵⁰.

Смягчилась рисуемая в предисловиях и послесловиях картина отношений авторов и читателей. Авторы стали обещать читателям легкость в усвоении книг: «Аще кто восхощет, яко дверию, благолепотне и безтрудне возшествие сотворит»⁵¹. Авторы обещали читателям сладостное умиление: «Кто бо... не умилися и не прослезися?... Аще бы и варварскую кто душу имьи, и той... не умячится ли? Сице сладостна... наказания послушающим»⁵². Авторы ласково называли читателей «любезными» и даже своими «сверстниками»⁵³. Так тоже выражалось представление о наступающем полном благополучии.

Еще более заглаженную картину рисовали некоторые рукописные сочинения конца 1630-х — 1640-х годов, авторы которых были близки или тяготели к верхам российского общества. Например, справщик Савватий в стихотворном послании царю Михаилу Федоровичу заверял: «У вас же, государей наших царей, благочестивно во всем... Светла и высока престольна ваша царская держава, преизобилует бо в ней благодатная слава» и т. д.⁵⁴

К рукописным памятникам подобной настроенности, возможно, примыкала «Повесть о Марфе и Марии», сочиненная между 1638 и 1651 гг.⁵⁵ каким-то церковником по заказу рязанского и муромского архиепископа. «Позволяет считать это произведение принадлежащим к литературе верхов» то обстоятельство, что «это произведение чисто книжное, “сконструированное”», «написано без опоры на сформировавшееся ранее устное предание»⁵⁶.

Учеными давно замечена в «Повести» «строгая, но наивная симметрия» «в духе миролюбия»⁵⁷. Неблагополучия в «Повести» присутствуют лишь как начальное обстоятельство: две родные сестры разлучены в России далеко по разным городам из-за местнической ссоры их мужей; родня сестер недоверчива. Но огорчительные явления сразу же оттесняются за горизонт. «Повесть» рассказывает о том, как вдруг все улаживается и наступает полное, гармоничное духовное единство: после того как у сестер в одинаковый день и час умерли мужья, обе сестры, ничего не зная друг о друге, одновременно решили друг друга проведать; в один день выехали навстречу; в одном и том же месте остановились на ночлег; обе не узнали друг друга, а потом вместе плакали и вместе радовались; один и тот же ангел одновременно явился им во сне; в другом одновременном сне они услышали один и тот же глас свыше; занялись

одним благочестивым делом; все окружающие прониклись благоговением и т. п.⁵⁸. Если припомнить замечание исследователя о проникнутости этого произведения «ярко выраженной историчностью»⁵⁹, то можно предположить, что в «Повести о Марфе и Марии» предстало в художественном воплощении характерное для тех лет стремление авторов к подчеркнутой благополучности описываемой обстановки.

В самом начале 1650-х годов появились сочинения, восхвалявшие российское благополучие как идеальное. Сам царь Алексей Михайлович в своих посланиях восхищался: «Благодать Божия... в нашем царстве присно изобильствует и несть уже днесь в... пастве никотораго разделения... но ныне вси единомышленно...»; «и ныне реки текут чудес... Даровал нам, великому государю, и вам, бояром, с нами единокорно люди... разсудити в правду, всем равно... и о всех христианских душах поболение мы имеем»⁶⁰.

И все-таки во всех упомянутых рукописных и печатных сочинениях присутствует нечто, мешающее считать их точным отражением действительности. Для этого послания молодого, 23-летнего царя, Алексея Михайловича слишком восторженны; «Повесть о Марфе и Марии» искусственна; стихотворные послания к царю панегиричны. Старопечатные же предисловия и послесловия и того больше настораживают одной своей любопытной особенностью. С одной стороны, авторы старопечатных предисловий и послесловий конца 1630-х — 1640-х годов указывали на гораздо более широкую, чем раньше, массовую предназначенность издаваемых книг. Печатные книги предназначались теперь не только для церковного, но и для домашнего употребления: «исполняя... не точию... церкви... но и дома»⁶¹. Книги были рассчитаны на все слои населения: «Наказательна же всякому роду, возрасту и сану — царем и князем, начальником и простым, богатым и убогим, иноком и мирским, мужем и женам, юным и престаревшимся, — безчислено всем»⁶²; «во всем царствующем граде Москве и по всем градом и по обителем, по малым же и по великим, и по селом и прилежащим к ним жилищам, — кто восхоцет по всей России»⁶³. С другой же стороны, авторы старопечатных предисловий и послесловий конца 1630-х — 1640-х годов хотя вежливо и ласково обращались к этой расширившейся читательской массе, но как-то слепо. В предисловиях и послесловиях не встречалось ни явственных свидетельств единодушия авторов с читателями, ни полемического нажима авторов на читателей, ни каких-либо иных знаков живого впечатления авторов от читателей.

Создается ощущение, будто авторы предисловий и послесловий, формально признавая существование читателей, не принимали в расчет реальные настроения читательской массы.

Наши подозрения в тенденциозности указанных литературных источников подтверждаются историческими данными. Судя по документам тех лет, а также по разысканиям ученых, реальная обстановка второй половины 1630-х — 1640-х годов разительно отличалась от успокоительных характеристик, даваемых писателями. Сошлемся только на самые яркие свидетельства. Документальные источники тех лет постоянно осуждали «мятеж и соблазны», «многих православных колеблющихся народов безчиние и смятение», «междуусобие от всех черных людей»⁶⁴. По предположению исследователя, «может быть, соляной налог 1646 года, вызвавший бурный народный протест, отозвался в пословице: “Пошло было на хлебы, да соль своротила”»⁶⁵. По выводу историка, «последние годы правления царя Михаила... были временем общественного упадка и правительственной прострации», «настроения разочарования и озлобления должны были охватить к концу царствования Михаила тех», кто вскоре поднял восстания 1648—1650 гг.⁶⁶ В части населения возникло движение капитоновщины, в котором «явно преобладали эсхатологические мотивы, настроения отчаяния, безысходности»⁶⁷.

Как возможное отражение обеспокоенности обстановкой интересно одно издание тех лет, звучащее диссонансом среди всех прочих изданий. Это книжечка из двух поучений патриарха Иосифа, напечатанная, по-видимому, при возведении его в патриархи в 1642 г. или вскоре после того. Иосиф сурово обращается к «народом во еже исправити благочестие», «яко время убо обуреваемо есть, и дние лукави суть, и люди на зло уклонишася»; «тех бо ради грех — нестроения, рати, труси, пагубы, и воздуха тление, морю нестояние, земли неплодие, скоту и плодом изгибель, в самех болезнь и смерть», «страны на ны смущаются, хулоу о нас низводятся» и т. п.⁶⁸ Правда, необычную резкость слов Иосифа можно объяснить тем, что тексты поучений почти целиком, дословно и без особой умелости были заимствованы из рукописных «Кормчих» XVI в. и иных старинных традиционных сочинений⁶⁹. Но известно также, что Иосиф не очень пришелся ко двору и говорил не всегда то, что было нужно...

В общем, есть основания думать, что писатели конца 1630-х — 1640-х годов, ориентировавшиеся на верхи общества, попытались

выдать желаемое общественное благополучие за действительное и отвернулись от преобладавших неблагополучных настроений большей части общества. Косвенное указание на такую ситуацию можно обнаружить в «Повести о внезапной кончине царя Михаила Федоровича», написанной в 1647 г. неким московским монахом для какого-то «рчителя божественного писания»⁷⁰. «Повесть» начиналась мрачно: «Богу убо не хотяшу, ничто же благо составляется»; «доволно же начаястася быти добру, обаче сотворилося зло и презло»; датский королевич, неудачно сватавшийся к дочери царя, «тщету велию сотвори царьстей казне и всей земли нанесе тяготу велию же зело... всей Рустей земли»; от горестных переживаний внезапно умер царь, а за ним и царица и т. п.⁷¹

Имея в виду верхи общества, автор «Повести» отметил: «Ничто же им требе, токмо едином овому от них гордиться и величатися и во уме своем мыслию своею превозноситися, другим же чрево своя наполняти и насыщати и гортани свои услаждати...» (18). Вот эти-то люди не хотят, чтобы писалось или сообщалось о чем-либо неблагополучном, и досадают: «Почто сия писати и нелепая воспоминати?» (16). Автор же не согласен с умалчиванием и негодует: «Не везде есть полза мудростно, и витийно, и потаенно писати и ведомостныя дела закрывати, но достоин явственно и просто начертovati, да всяк знает и разумет... Мы же за что ленимся или боимся или страляемся писати или печатати, что у нас в рустей земли случится быти?..» (18). Верхи общества вместе с их писателями и издателями, очевидно, действительно отвернулись в 1640-е годы от настроений средних и низших общественных слоев.

Подтверждением существования такой ситуации является ошеломительный и достоверно установленный факт общероссийского многолетнего обмана челобитчиков властями, когда «вся процедура подачи и приема челобитных, милостивых государевых указов по ним, помет думных дьяков с необходимыми распоряжениями — все это было сохранено, так что челобитчики ничего не могли заметить. Но вся процедура царской милости и государевых указов теперь работала, так сказать, на холостом ходу и потеряла свое обычно-обязательное для приказных дьяков значение... в приказах по ним никаких дел не вершили»; «дьяк мог безошибочно понимать... и он угадывал, что государева милость и государевы указы пишутся для отвода глаз, что механизм челобитья-указа работает на холостом ходу, что от него требуется волокита; и волокита грандиозная, кажется, еще небывалая даже в московской практике, возникала и расцветала в 1645—1648 гг.»⁷²

Благодушное равнодушие издателей и писателей к читательской массе и соответственно равнодушие верхов к обществу, вероятно, объясняются тем, что читатели, масса как идейная сила пока «молчали». «Молчание», конечно, трудно изучить по источникам. Но некоторые догадки исследователями общественной мысли уже высказаны: после Смутного времени, «даже отвыкнув пассивно подчиняться властям, московский народ отнюдь не выдвигал таких требований, которые хоть немного шли бы вразрез с основами вотчинной монархии»⁷³; в 1640-е годы «антицарские настроения снова сменились некоторыми иллюзиями и новый подъем народного движения был связан с менее развитой антифеодальной идеологией... народная политическая мысль вернулась к своему исходному пункту, и вызревание новых антифеодальных идей началось сначала»⁷⁴. За внешним благополучием и единством таился раскол.

Так называемая поэтическая «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» внушает надежду на обильное отражение в ней общественных казачьих настроений: ведь автор написал ее от имени всего казачества. Поэтому данную «Повесть» мы просто обязаны рассмотреть специально, тем более в связи с темой социального недовольства.

Общую характеристику «Повести», думается, повторять не нужно: текстология и основное содержание этой, вне всяких сомнений, «воинской повести» достаточно подробно изучены в работах А. С. Орлова, Н. И. Сутта, А. Н. Робинсона, В. П. Адриановой-Перетц, Д. А. Гарибян. В силу гораздо меньшей изученности нас интересуют социальные представления автора «Повести».

Социальные представления автора «Повести» выразились лишь попутно при развертывании его главной, воинской, темы, притом выразились косвенно: не в прямых рассуждениях, а в языке художественного произведения. Мы будем излагать не систему ясно высказанных взглядов автора «Повести», а по оттенкам высказываний воссоздавать его социальную настроенность.

Рассмотрим, каково было отношение автора «Повести» к социальному статусу казаков. Мы начнем с анализа высказываний о казачьей одежде — зипунах. Зипуны в «Повести» упомянуты трижды, и все три раза — в большой речи осажденных казаков к туркам.

Казаки дразнили турок: «А се мы у вас взяли Азов город своею казачьею волею, а не государским повелением, для зипунов своих казачьих

да для лютых пых ваших»⁷⁵. Какой смысл здесь имело словосочетание «взяли для зипунов своих казачьих»? По толкованию всех комментаторов «Повести», слово «зипуны» означало казачье богатство, имущество. И действительно, в отписках донского и сибирского казачества XVII в. в аналогичных глагольных словосочетаниях типа «зипуна взяли», «зипунов порадели», «за зипунами ходили», «для зипунов ходили» и т. д. слова «зипун», «зипуны» безусловно имели переносное, собирательное значение: «достаток», «добыча», «трофеи», «богатство»⁷⁶. Переносное значение слова «зипуны» было настолько распространенным, что использовалось даже в казачьей песне: «уже нельзя нам, братцы... по синю морю гулять, зипунов-то доставать»⁷⁷. Мы можем сделать вывод: казаки в «Повести об осадном сидении» утверждали, что они взяли Азов для своего казацкого приобретения, обогащения. Однако такое истолкование смысла фразы вступает в противоречие с общим содержанием «Повести», в которой казаки неоднократно подчеркивали, что они взяли Азов не корысти ради, а для вящей своей славы. Значит, привычное истолкование приведенной фразы не совсем верно.

Присмотримся ко всей структуре цитированной фразы: «взяли... волею, а не... повелением, для зипунов... да для... пых...» Слово «зипуны» включено здесь в цепь слов, обозначающих волеизъявление: «воля» — «повеление» — «зипуны» — «пыхи» (то есть угрозы, запреты). Зипуны в этом «волеизъявительном» контексте имели переносный смысл, но означали не столько «имущество, добычу», сколько «интересы, стремления». Казаки заявляли, что они взяли Азов своею казачьею волею, то есть из своих интересов, для потребностей своих казачьих. Утверждения с подобным смыслом в «Повести» не редкость. Например, рассмотренному высказыванию немного ранее предшествовало близкое по смыслу высказывание казаков: «Азов мы взяли... для опыту... а сели в нем для опыту» (556). Так что словосочетание «взять для зипунов» и ему подобные надо толковать не по документальному шаблону, а исходя из контекста самой «Повести»: казаки не приbedнялись и не скромничали.

Перейдем к другому упоминанию о зипунах. Казаки издевательски недоумевали перед турками: «Где полно ваш Ибрагим, турецкой царь, ум свой девал? Али у нево, царя, не стало за морем серебра и золота, что он прислал под нас, казаков, для кровавых казачьих зипунов наших, четырех пашей своих, а с ними, сказывают, что прислал под нас рати своея турецкия 300 000?» (555). Султан не просто «прислал для зипу-

нов», а «для кровавых казачьих зипунов». В документах XVII в. эпитет «кровавый» означал цвет, разновидность окраски. Но вот, например, в былинах о сражении русского богатыря Сухана с татарами и в рукописной повести первой половины XVII в. о том же Сухане употреблялось словосочетание «кровавые раны» уже в эмоционально-предметном смысле «окровавленные раны». Вспоминается еще фольклорное сочетание «кровавые уста» в значении «окровавленные уста». Подобные примеры показательны, потому что «Повесть об осадном сидении», как известно, ориентировалась на фольклор. «Кровавые зипуны» в «Повести» означали «окровавленные зипуны». Автор «Повести» в сочиненной им речи казаков выразил свое ощутимо предметное и эмоциональное представление об окровавленных казачьих зипунах; и оно не было мимолетным, ибо вслед за данным упоминанием зипунов сразу следовало опять предметное, телесное, «плечистое» упоминание: «И то вам, туркам, самим ведомо, што с нас по се поры ништо наших зипунов даром не имывал с плеч наших»⁷⁸. Нет, зипуны в «Повести» имели прямое, вещественное, эмоциональное значение.

Но был дополнительный смысловой оттенок в упоминании «кровавых зипунов». Любопытным образом здесь связывались зипуны и султан. Казаки спрашивали: «Али у... царя не стало... серебра и золота, что он прислал... для кровавых казачьих зипунов наших?..» У вопросительных оборотов в форме «али — что» вторая часть обычно обозначала какой-либо недостаток называемого лица, неблагоприятную ситуацию, что видно, например, по пословицам XVII в.: «Аль я виновата, што рубаха моя дировата?»; «Али моя денга шербата, что ништо ее не возмет?»⁷⁹ В «Повести об азовском сидении» вопросительный оборот типа «али — что», по-видимому, восходил к фольклорному и указывал на недостойный для ранга султана поступок: турецкий царь прислал за кровавыми казачьими зипунами. «Кровавые зипуны» здесь выступали не просто как окровавленные, но еще и как запачканные кровью, грязные, неприглядные, бедные зипуны, внимание к которым роняло достоинство султана.

От этого выигрывали казаки. Речь казаков, где упоминались зипуны, служила в «Повести» ответом на речь турок, уговаривавших казаков сдаться и обещавших им богатую одежду от турецкого султана: «Пожалует... вас, казаков, он, государь, многим неизреченным богатством... Во веки положит на вас на всех, казаков, платье златоглавое и печати богатырские с золотом, с царевым клеймом своим» (554). Ответ каза-

ков в «Повести» по всем пунктам был противопоставлен предложениям турок⁸⁰, и окровавленные неприглядные зипуны открыто противопоставались обещанному золотому платью как нечто равноценное.

Упоминание зипунов содержало и иные смысловые оттенки. Казаки спрашивали: отчего бы это султан турецкий «прислал под нас... для... зипунов наших?» (555). Здесь не безразличным для смысла было сочетание «под нас — для наших». Словесная группа «мы — наши» или «вы — ваши» обычно вносила эмоциональный оттенок типичности, главности, постоянности чего-либо для кого-либо. Вот более ясный пример из той же «Повести об осадном сидении». Турки в речи к казакам употребляли форму «вы — ваши»: «рыкаете... вы... разбойницы непошадные, несытые ваши очи, неполное ваше чрево» (552—553); турки тем самым выставляли несытые очи, неполное чрево характерными свойствами казачества. В рассматриваемом упоминании зипунов форма «под нас — для наших» тоже выражала, хоть и вскользь, мысль о типичности зипунов для казаков. Эта мысль в той же форме повторялась и последующей фразой: «с нас... наших зипунов... не имывал». Бедные, неприглядные зипуны как бы обозначали самих осажденных казаков⁸¹.

В подобном обозначении было заключено еще не проросшее зерно художественной типизации. С одной стороны, воюющие казаки действительно одевались скромно. Известно, например, свидетельство, правда в конце XVII в., голландского адмирала Орнелия Рюйса о том, что донские казаки, отправлявшиеся «на морской промысел», надевали на себя «старые ветоши» в противоположность туркам, которые наряжались «в драгоценные платья» и обвешивались «золотыми и алмазными вещами»⁸². Но с другой стороны, рассматриваемая фраза в «Повести» неявным образом указывала на абсолютное постоянство одежды осажденных казаков — всегда и все в зипунах. Вот тут-то и ощутил элемент художественного преувеличения. О казацкой одежде в «Повести» больше не сообщалось дополнительных подробностей. Однако авторские жалобы в конце «Повести» на то, что «от всяких лютых нужд... отягчали мы все», что «от беспрестанной стрельбы глаза наши выжгли... стреляючи порохом», что «многих нас... опаливали» (562), а также описание сидения казаков в земляных ямах в совершенно разрушенном городе заставляют предполагать, что с начала и до конца «Повести» автор представлял-таки всех азовских казаков поголовно и постоянно в окровавленных, потрепанных, запачканных, прожженных

зипунах. Типичная одежда превратилась во всегдашнюю, застывшую, приросшую к казакам, но еще и почетную.

Автор «Повести» вообще был склонен выводить своих персонажей в почетных, раз навсегда данных опознавательных одеждах. Как только автор начал «Повесть» с извещения о приходе турецкого войска, то он тут же описал турецкое снаряжение: «И платье на них: на всех головах яныческих — златоглавое; на янычаниях на всех — по збруям их одинакая, красная, яко зоря кажется... А на главах у всех янычаней — шишаки, яко звезды кажутся» (552). Затем, когда автор перешел к рассказу о казаках, то, как мы уже знаем, упомянул их зипуны. Когда в повествовании появились новые персонажи — святые, помогавшие казакам, — то автор обязательно указал и их одеяния: «мужа древна власы, в светлых ризах»; «мужа храбра и млада, в одеже ратной»; «два мужа леты древны, на одном одежа иерейская, а на другом власяница мохнатая» (564, 565). Короче говоря, бедные, неприглядные зипуны действительно мыслились автором «Повести» как неотъемлемая почетная часть облика Азовских казаков.

Мы не исчерпали всех нужных нам смысловых оттенков упоминания зипунов в «Повести». Неприглядные казацкие зипуны неожиданно соизмерялись с султанским серебром и золотом, когда казаки спрашивали у турок: «Али у нево, царя, не стало за морем серебра и золота, что он прислал... для кровавых казачьих зипунов наших?..» (555). Если автор «Повести» намекал, что зипунами можно заменить серебро и золото, то возникает противоречие: в одной и той же фразе автор представлял казачьи зипуны бедными и одновременно драгоценными. Однако это противоречие чисто формальное. Очевидна гротескность приравнивания зипунов к золоту. Автор, конечно, не утверждал дороговизну зипунов. вспомним, что в фольклорных произведениях золото служило мерилom материальной ценности, но чаще — мерилom общественной престижности объекта. Приравнивая зипуны к серебру и золоту, автор «Повести» выражал представление о высокой ценности казачьих зипунов турками и косвенно об авторитетности казаков для турок.

Наконец, третье упоминание зипунов: по словам казаков, наемникам за осаду Азова султан дал «за то казну свою великую. И то вам, турком, самим ведомо, што с нас по се поры ништо наших зипунов даром не имывал» (555). Словечко «даром» двусмысленно означало и часть огромной казны, и весомую часть людских усилий. Зипуны вновь ока-

зывались небесплатными (в переносном смысле). Автор «Повести» не оставлял мысли о большой значимости казаков для турок.

Мысль о значимости, об общественной престижности казаков еще выражалась в «Повести» различными способами. Один из способов — упоминание золота, денег и пр. Например, все, казалось бы, бросовое, что попадало в распоряжение казаков, превращалось, по изображению «Повести», в великую денежную ценность для турок; казаки прямо-таки сидели на турецком богатстве. Даже за «пустое место», за разрушенный до основания Азов, турки, по сообщению казаков, готовы были заплатить фантастически много: «просят у нас пустова места Азовского, а дают за него нам выкупу на всякого молотца по триста тарелей серебра чистаго да по двести тарелей золота красного» (563). За своих убитых, валявшихся на территории казаков, турки тоже были готовы платить помногу: «А давали нам за всякую убитую яныческую голову по золотому червонному, а за полковниковы головы давали по сту талеров» (559). Вполне ощутима юмористическая парадоксальность и этих фраз: дело, конечно, не в ценах и платах. Но общественная значимость казаков не без гордости выражалась автором в мерках финансовых.

Эта самая излюбленная автором «Повести» манера указания на значимость казаков нередко сводилась к простой, откровенной констатации того, будто казаки и в самом деле люди богатые. Турки в «Повести» не раз уважительно предлагали казакам: «Что есть у вас... вашего серебра и злата, то понесите из Азова города вон с собою» (553); «поди те с серебром и з золотом в городки свое» (563). А казаки набивали себе цену, хвастаясь: «А серебро и золото за морем у вас емлем» (556); «не дорого нам ваше собачье серебро и золото, у нас в Азове и на Дону своего много» (563).

Другим способом выделения значимости казачества служила характеристика численности войск. Внешне автор «Повести» досадовал, что казаков в Азове слишком мало: то ли 7367, то ли 7590 против более чем трехсоттысячного турецкого войска. Но одновременно в «Повести» проводилось и художественное сопоставление чисел. Например, в речи туркам уже знакомую нам фразу о зипунах казаки заканчивали перечнем сил, им противостоящих: султан турецкий «прислал под нас, казаков, для кровавых казачьих зипунов наших, четырех пашей своих, а с ними, сказывают, что прислал под нас рати своя турецкия... с триста тысящ люду боевого, кроме мужика черново. Да на нас же нанял он, ваш турецкой царь, ис четырех земель немецких салдат шесть тысячь

да многих мудрых подкопщиков...» (555). По официальным документам, турецкие войска, посланные под Азов, насчитывали около 240 000 человек⁸³. В данном месте «Повести» это число было несколько преувеличено и округлено — верный признак «неделового» подхода автора. Кроме того, важен контекст. В произведениях, особенно фольклорных, между теми, кого посылали, и теми, к кому посылали, обычно подразумевалось прямое соответствие по значительности. Например, в легендарном послании Ивана Грозного к турецкому султану, сочиненном в первой четверти XVII в., Грозный поносил султана и оскорбительно обещал ему мелкое посольство: «В первые бы послал к тебе малаго слугу — воеводу своего»⁸⁴. Султан низводился на одну ступень с «малым слугой». И легендарная переписка Ивана Грозного, и «Повесть об Азовском сидении» в данном случае, скорее всего, использовали приемы фольклорного повествования. Четыре паши, шесть тысяч немецких солдат и трехсоттысячная турецкая рать в «Повести» выставлялись в качестве величин, равнозначных казачьему отряду в Азове. С деловой точки зрения автор отмечал неравенство сил, но с художественной точки зрения у него семь тысяч казаков равнялись трети миллиона турок. Так значимость казаков выражалась в мерках статистики людских масс.

Подобный способ выделения значимости казаков через перечень посланных вражеских сил использовался в «Повести» тоже нередко. «Повесть» даже начиналась с обширного перечня почти бесчисленных вражеских сил, посланных против Азовских казаков: «прислал турецкой Ибрагим-салтан-царь под нас, казаков, четырех пашей своих, да дву полковников... да ближние своей тайные думы покою своего слугу... боевого люду двести тысящей... черных мужиков многия тысящи, и не бе им числа и писма... крымских и нагайских князей и мурз и татар ведомых, кроме охотников, 40000... горских князей и черкас ис абарды 10000... немецких два полковника, а с ними салдат 6000»; да еще отряды двенадцати народов, от албанцев до арабов; да еще военных знатоков из пяти «немецких» стран, от Испании до Швеции (550—551). Вот что значили казаки в глазах турок!

Для выражения своих представлений о значимости казаков автор «Повести» использовал еще один способ. У него турки обещали казакам сделать их важными людьми: «Пожалует наш государь, турецкой царь, вас, казаков, честию великою... учинит вам, казаком, он, государь, во Цареграде у себя покой великий... всяк возраст вам, казаком, в государеве ево Цареграде будут кланяться...» (554). Насчет поклонов

тут явно преувеличено. Автор возвеличивал казаков и непосредственно в мерках социальных.

Подчеркивание социальной значимости казаков якобы для турок было, конечно, лишь предлогом для проведения более важной мысли. Казаки в «Повести» представляли значительным сообществом именно для России. В конце «Повести» (по списку БАН) был помещен перечень желательных для казаков посылок, пересчитанных на деньги уже не турецкого султана, а российского царя: от российского царя казакам «надобно в Азов для осадного сидения 10 000 людей, 50 000 всякого запаса, 20 000 пуд зелия, 10 000 мушкетов, а денег на то все надобно 221 000 рублей» (566). Круглые цифры здесь по своей смысловой функции аналогичны рассмотренным ранее: это свидетельство уважения казаков московскими властями. Преувеличение налицо: на каждого казака должно было приходиться по 5 пудов всяких запасов, одному мушкету, 2 пуда пороху, а в деньгах — по 22 рубля. В действительности царь никогда не затрачивал на донских казаков столь огромных сумм, и реальная просьба к царю о такой посылке выглядела бы дерзостью. Автор «Повести» исходил здесь из преувеличенного представления о российской значимости казаков.

Преувеличение автором значимости казачества для России ясно отражалось в «Повести» и при открытой гиперболизации численности казаков и пограничных русских людей: если собраться, писал автор, одной только той «украиною, которая сидит у него, государя, от поля, от орды нагайские, ино б и тут собралось людей ево государевых русских с одной ево украины болши легеона тысящи» (557), то есть больше десяти миллионов! Да и называли себя казаки в «Повести» необычно — «холопами дальними» российского царя, — значит, не очень-то и зависимыми, которые могут поступать «своею казачьего волею, а не государьским повелением» (556—557, 566).

«Повесть об осадном сидении» не только при упоминании зипунов, а буквально вся была пронизана преувеличенным авторским представлением об общественной значимости азовского казачества. Эта мысль составила основной и, надо сказать, недостаточно оцененный исследователями пафос «Повести».

Теперь сравним позицию автора с настроенностью тех читателей, для кого «Повесть» предназначалась. «Повесть», по предположению А. С. Орлова и А. Н. Робинсона, была написана в Москве, во время заседаний земского собора 1642 г., одним из участников казачьей деле-

гации, возможно, начальником войсковой казачьей канцелярии Федором Порошиным⁸⁵. Сочиненная в форме отписки на имя царя Михаила Федоровича, «Повесть» сравнительно с войсковыми отписками, как заметил А. Н. Робинсон, обладала примечательной особенностью: в «поэтической повести изложение ведется... без прямых обращений к царю. Прямые обращения здесь заменены как бы пересказом того же текста для третьего лица... Повесть... как бы расширяла свою аудиторию, выводила этот вопрос за пределы посольского приказа и дворца и обращалась уже с рассказом о тех же азовских делах к московским общественным кругам, которые как раз в это время живо интересовались этой проблемой»⁸⁶. Для этой-то аудитории, вероятнее всего, для верхов московского общества, для московских властей и писал автор «Повести».

Для того чтобы узнать, как московские верхи относились к социальному статусу казаков, не нужно предпринимать долгих поисков. Сам автор «Повести» ясно написал об этом: «не почитают нас там, на Руси, и за пса смердящаго. Отбегохом мы ис того государства московского из работы вечныя, от холопства полного, от бояр и дворян государевых...» (556). Псы и холопы. На этом фоне позиция автора, превозносившего казачество, выглядела резко полемической. И действительно, посмотримся к контексту высказывания о «псах смердящих». Это место начиналось вот как: «И мы про то сами ж... ведаем, — говорили казаки, — какие мы в государстве Московском, на Руси, люди дорогие и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем. Государство великое и пространное Московское многолюдное, сияет оно посреди всех государств и орд бусурманских и еллинских и персидских, яко солнце. Не почитают нас там, на Руси, и за пса смердящаго...» (556). Контекст получался саркастическим.

Посмотрим повнимательнее, на что распространялся сарказм автора. Здесь уместно напомнить, например, речь Ерша из «Повести о Ерше Ершовиче», составленной до 1649 г. Ерш говорил: «Человек я доброй, знают меня на Москве князи, и бояря, и дети боярские, и головы стрельцкие, и дяки, и подьячие, и гости торговые, и земские люди, и весь мир во многих людях и городах, и едят меня в ухе с перцем, и шавфраномь, и с уксусомь...»⁸⁷. Высмеивался не сам Ерш, а «признание» Ерша на Москве князьями да боярами — высмеивались князья и бояры. То же произошло и в цитированном выше отрывке из речи казаков. Автор «Повести» выразил саркастическое отношение к мнению о каза-

ках в Московском государстве⁸⁸. Он полемизировал с «боярами и дворянами государевыми». Недаром у автора «Повести» казаки, обращаясь однажды к царю и властям, восклицали: «не позорны ничем государству Московскому!» (563). В этих словах также ощутим некоторый оттенок полемического отрицания чужого неблагосклонного мнения.

Изучение сравнительно скромно представленной социальной темы в «Повести» наводит на предположение о внутренней напряженной полемичности всего этого произведения. Вот еще примеры из иных тем. Полемика в «Повести» захватила не только вопрос о социальном статусе казаков. Встал и другой вопрос — о политической лояльности казаков по отношению к Москве.

Московские власти, как известно, открыто выражали недоверие к казачеству. Ведь еще в 1629 г. в патриаршей грамоте войску донскому казаки были названы «злодеями, врагами креста Христова» и отлучены от церкви; в 1630 г. казаки убили царского посла, и отношения с Москвой прервались на два года⁸⁹. Затем связи возобновились, но, например, в 1640 г. по Москве распространялись какие-то дурные слухи о казаках⁹⁰. В царских грамотах в течение 1642—1643 гг. постоянно содержались угрозы опалы и требования о том, чтобы казаки царю «во всем добра хотели вправду, безо всякия хитрости», «без противных и отговорных речей» и «ни на какую смуту и прелесть не прельщались»⁹¹.

Автор «Повести», разумеется, знал о таком отношении Москвы к казакам, но об этом не распространялся. Лишь в одном месте все-таки отметил: «на нас государь наш, холопей своих далних, добре кручиноват. Боимся от него, государя царя, за то казни к себе смертныя за взятье азовское» (557).

Что этому противопоставил автор «Повести»? Обратим внимание на то, что именно во второй половине «Повести» сконцентрированы почти все церковные эпизоды и реалии. Это не совсем обычно для традиционной композиции древнерусских «воинских повестей», как светских, так и оцерковленных. Например, и в «исторической», и в «особой» «Повестях о взятии Азова казаками» в 1637 г. церковный фон силен и равномерен на протяжении каждого из произведений. Сдвиг же церковного материала во вторую часть «поэтической» «Повести об Азовском осажденном сидении» свидетельствует о сознательном авторском старании.

Во второй части «Повести» автор рассказывал в основном о чудесных явлениях и о помощи казакам свыше, от Богородицы и святых. Рассказал автор и о разрушении Азова турецкими пушечными обстрелами,

но сохранил при этом любопытное замечание, возможно восходившее к «документальной» «Повести об азовском сидении»: «Одна лише у нас во всем Азове-городе церков Николина в полы осталась, потому и осталась, што она стояла внизу добре, к морю под гору» (561). Здесь автор использовал реальное объяснение факта и «забыл» сказать о небесном покровительстве — еще один признак того, что усиленная церковная окраска эпизодов во второй половине «Повести» появилась у автора не только от внутреннего порыва к благочестию, а под влиянием какой-то внешней цели.

Давно известно, что автор «Повести», указывая на небесное покровительство над казаками, пытался убедить своих высоких адресатов в необходимости удерживать Азов. Но сверх того автор добивался еще кое-чего. Во второй половине «Повести» приводилась благословляющая речь Богородицы к казакам; цитировались длинные молитвы казаков; приводился и текст последнего «прощания» казаков перед вселенскими патриархами, митрополитами, архиепископами, епископами, архимандритами, игуменами, протопопами, священниками, дьяконами (563). Все это должно было показать московским читателям благочестивость азовского казачества.

В молитву осажденных казаков перед иконой Иоанна Предтечи автор вкладывал такие слова: «Бес пения у нас по се поры перед вашими образы не бывало» (562). Казаки, таким образом, отчитывались в благочестии перед святым. Несколько позже они повторяли уже для читателей «Повести»: «А в сиденье свое осадное имели мы, грешные, пост в те поры и моление великое и чистоту телесную и душевную» (564). Данную фразу автор заимствовал из «документальной» «Повести об осадном сидении», но изменил повествование от третьего лица («они») на первое лицо («мы») ⁹². То был уже прямой отчет перед адресатами «поэтической» «Повести об осадном сидении». Автор стремился уверить московских адресатов «Повести» в казацком благочестии, что по тем временам равнялось заверениям в политической лояльности.

В самом конце «Повести» содержалось странное высказывание. Автор писал: «За него, государя, станем Бога молить до веку и за ево государское благородие. Ево то государскою обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не нашим-то молодецким мужеством и промыслом» (566). Оборонил Азов царь, а не казаки! смысл этой фразы противоречит всему предыдущему «молодецкому» содер-

жанию «Повести». Но что не сделаешь ради уверений в лояльности? В данном случае полемика имела место, но велась не с открытым забралом: очень уж щекотлив был вопрос о политической и религиозной лояльности.

Нужно сказать еще об одной теме несогласия, казалось бы, хорошо известной: московские власти отказались поддерживать казацкий Азов, а автор «Повести» пытался все-таки склонить власти к поддержке казаков. Думается, что степень полемичности «Повести» по этому вопросу раскрыта недостаточно.

Вернемся, например, к фразе о том, что казаков на Руси ни во что не ставят, и посмотрим на ее продолжение: «Отбегохом, — сетовали казаки, — мы ис того государства Московского... да zde вселилися в пустыни непроходные, живем, взирая на Бога» (556). Место обитания казаков неожиданно называлось «пустынями непроходными», и это словосочетание в соответствии с традиционным его смыслом в произведениях обозначало глухую удаленность казаков от Московского государства да еще и отделенность казачества препятствиями от Москвы⁹³. Автор «Повести» выразил ощущение отрешенности азовских казаков от России.

Вполне искреннее чувство покинутости, отъединенности от Руси все время беспокоило автора «Повести». В последующих молитвах в «Повести» казаки неоднократно жаловались: «нас в пустынях покинули все христиане православные»; «не бывать уж нам на святой Руси. А смерть наша грешничья в пустынях...» (560, 563).

Впечатлением безнадежной отделенности, отгороженности от Москвы усугублялось тревожное чувство автора «Повести». Казаки в «Повести» поражались: «Все наши поля чистые от орды нагайския, где у нас степь была чистая, тут стали у нас однем часом людьми их многими, что великия непроходимыя леса темные» (551). И турки подтверждали: «...покрыли всю степь великую... не перелетит через силу нашу турецкую никакова птица парящая...» (554).

Казачью отрешенность от Москвы, от России автор «Повести» подчеркивал перед читателями не без цели. Фраза о холопстве и пустыне в речи казаков имела такое продолжение: «вселилися в пустыни непроходные, живем взирая на Бога. Кому там потужить об нас? Ради там все концу нашему. А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи» (556). Эти слова звучали укором московским читателям «Повести», московским верхам.

Все прочие места «Повести», где говорилось об отрешенности казаков от Московского государства, также имели соответствующие полемические добавления. Московские читатели «Повести» постоянно наталкивались на косвенные обвинения в адрес верховной власти. Так, в «Повести» турки, грозившие казакам своим окружением, через которое не перелетит никакая птица, добавляли: «И то вам, вором, дает ведать, что от царства вашего силнаго Московскаго никакой от человек к вам не будет русских помощи и выручки. На што вы надежны, воры глупые. И запасу хлебного с Руси николи к вам не присылают» (554). Сами казаки при упоминании Азовской «пустыни» тоже непременно добавляли: «нас в пустынях покинули все христиане православные, убоялися их лица страшнаго и великия их силы турецкия» (560); «мы... о выручке своей безнадежны стали от человек» (562). Составляя «Повесть», автор явно знал о неохоте московских властей помогать Азову, и в его сочинение вкрадывались нотки сдерживаемого протеста.

Временами авторское недовольство проявлялось явственнее. Так, свою отповедь туркам казаки в «Повести» заканчивали многозначительной фразой об Азове: «Нешто ево, отняв у нас, холопей своих, государь наш царь и великий князь Михайло Феодоровичь, всеа России самодержец, да вас им, собак, пожалует попрержнему» (558). Здесь обращает на себя внимание слово «отняв». Сочетание «отнять дом», «отнять град» в повестях XVII в. обычно означало нечто предосудительное. Например, в «Новой повести о преславном Росийском царстве и великом государстве Московском» начала XVII в. во фразе «домы наша у нас отнимают и поносят нам в лепоту» словосочетание «домы отнимают» имело резко отрицательный смысл⁹⁴. И когда в «Повести об азовском сидении» казаки высказывали опасение, что у них царь «отнимет» Азов, то такое слово вносило оттенок осуждения действиям царя. В «Повести» постоянно присутствовал то менее, то более ощущаемый элемент несогласия с действиями московских властей.

Нельзя не сказать об огорошивающем конце «Повести», где, как мы помним, была употреблена единственная примирительная фраза о том, будто царь оборонил Азов, а не казаки сами. В этом же конце «Повести» говорилось: «А топере мы войском всем у государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Руси просим... холопей своих чтобы пожаловал и чтобы велел у нас принять с рук наших ту свою государеву вотчину, Азов-город...» И тут же следовала (в списке БАН) заключительная фраза: «Нынешняго 150 году по прошению и по присылки

турского Ибрагима-салтана-царя он, государь царь и великий князь Михайло Феодоровичь, пожаловал турского Ибрагима-салтана-царя, велел донским атаманом и казаком Азов град покинуть» (566). Получалось, что при двух прошениях о пожаловании царь предпочел турок казакам. Скрытое осуждение этого решения царя завершало «Повесть», в которой, как видим, нет-нет да и просачивалось подспудное, но упорное, безусловно преобладавшее несогласие автора с намерениями и действиями московских властей по отношению к донским казакам⁹⁵.

В конце «Повести», сразу после просьбы к царю о пожаловании, казаки вдруг обещали постричься в монастырь: «все уже мы старцы увечные... А буде государь нас, холопей своих далних, не пожалует, не велит у нас принять с рук наших Азова-города, — заплавав, нам ево покинути. Подимем мы, грешные, икону Предтечеву да и пойдем с ним, светом, где нам он велит. Атамана своего пострижем у ево образа, тот у нас над нами будет строителем» (566). Увечные казаки действительно постригались в монастырь⁹⁶. Однако содержание данного отрывка не сводилось только к серьезному, деловому обещанию, а имело дополнительный, но в данном случае более существенный для смысла фольклорно-песенный оттенок. Недаром, как установил А. С. Орлов⁹⁷, это место «Повести» повлияло на казацкую песню «Взятие Азова», где казаки обещали Миколу-чудотворцу: «Пострижемся мы тебе-ка вси в монахи, все в монахи пострижемся, в патриархи!»⁹⁸ И в песне обещание не имело практического, серьезного смысла. Упоминание плача казаков и их пострижения у поднятой иконы в «Повести» тяготело к выражению автором чувства усталости и разочарования у изображаемых им казаков, которых на самом деле-то не поддержал царь в борьбе против турок. Оппозиционное настроение автора все накапливалось и даже обострялось к концу «Повести». «Повесть об Азовском осадном сидении» была последовательно направлена против московских мнений, против московских намерений и действий, касавшихся Азовских казаков.

Остается ответить на вопрос о том, насколько индивидуален был автор «Повести» в своей полемике с Москвой. Поддерживали ли его казаки? Прямое отражение идей и представлений донского казачества времени азовских событий рациональнее всего искать в исторических песнях казаков и в документальных отписках Войска донского царю Михаилу Федоровичу. Сопоставим казацкие представления, начиная с представлений об одежде. В исторических песнях, посвященных азов-

ским событиям, не отразились интересующие нас представления казачества о своей одежде. В войсковых же отписках 1639—1642 гг. казаки постоянно подчеркивали, «сгущали» мысль об обнищании, бедности или даже отсутствии у них одежды, с той или иной степенью полноты повторяя формулу: «...всем стали скудны: ести и носити нечево — наги, и боси, и голодни»⁹⁹.

И «Повесть об осадном сидении», и войсковые отписки в общем свидетельствовали об одном и том же, не противореча друг другу. И в «Повести», и в отписках упоминаемые явления «сгущались», усугублялись. Но на этом сходство кончалось. Когда автор «Повести» заговаривал, например, о скудости пищи у казаков, то он выражался образно: «А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи. Кормит нас, молотцов, небесный царь на поле своею милостию: зверьми дивиими да морскою рыбою. Питаемся, ако птицы небесные: ни сеем, ни орем, ни збираем в житницы» (556). Войсковые же отписки нагнетали формулы, не доходя до предметной конкретности: «скудны», «ести нечево», «голодни». При отражении одних и тех же обстоятельств азовской осады в «Повести» сгущение событий было художественным, а в отписках — преимущественно понятийно-логическим. Так, где вопрос касается представлений об одежде, ни «Повесть» не влияла на войсковые отписки, ни отписки не влияли на «Повесть».

Мы не знаем источников, прямо указывающих на бытование у донского казачества образного представления о «кровавых зипунах» как о своей типичной и почетной одежде. Ясное, и притом художественное, выражение этого представления явилось заслугой автора «Повести».

В казачьих песнях не встречалось настойчивого «приподымания» социальной значимости казаков. В войсковых же отписках царю конца 1630-х — начала 1640-х годов и в прочих казачьих документах довольно часто делались извиняющиеся напоминания о «самовольности» казаков; отсюда подразумевалась необходимость особого, уважительного подхода к казачеству: «Люд у нас самовольной; где куды пошел, того не уймешь»; «а они люди вольные, в неволю никою послать не мочно»¹⁰⁰ и т. п. Тут нашло естественное отражение действительное положение вещей¹⁰¹. Недаром Григорий Котошихин даже двадцать лет спустя после азовских событий писал о казаках: «и дана им на Дону жить воля своя»¹⁰². Самоуважение казачества не было преувеличенным.

Правда, во внутренней переписке с казачьими городками по Дону азовские казаки могли выражаться и так: «все земли нашему казачье-

му житью завидывали»¹⁰³. Элемент преувеличения здесь ощущался, но не очень большой. Слава о вольном казачестве действительно распространилась широко, и тот же Григорий Котошихин отмечал: «Доном от всяких бед свободяются»¹⁰⁴. Самоуважение казачества как общественное настроение, судя по документальным памятникам, проявилось в сравнительно скромных формах. Позиция же автора «Повести» и позиция казачества ощутимо различались. Автор «Повести об азовском сидении» вызывающе выпятил общественную значимость азовских казаков.

Ни в казачьих отписках, ни в казачьих песнях времени азовских событий не ощущалось и полемики с Москвой по поводу отказа в поддержке¹⁰⁵. Ни исторические песни, ни войсковые отписки тех лет не называли, например, словом «пустыня» места обитания казачества; не прозвучала в них горестная тема отъединенности казаков от России. Настроения сиротливой отдаленности казаков от Москвы были свойственны только автору «Повести». Необычно дерзкий автор «Повести» далеко «ускакал» от казацкой массы и остался один на один с силами Москвы. В этом заключался драматизм ситуации.

Если рассматривать «Повесть об азовском осадном сидении» на фоне русской литературы 1630-х — 1640-х годов, то бросается в глаза ее художественно-полемическая уникальность. Никто в то время не вязывался даже в осторожную полемику с царем и московскими властями; наоборот, в литературе 1630-х — 1640-х годов старательно подерживалось впечатление внешнего благополучия.

Наряду с резкостью выражаемого недовольства особенностью «Повести» состояла еще в том, что в ней, пожалуй, впервые в средневековой русской литературе идейная полемика велась не в привычной манере логических суждений, а почти целиком художественными средствами. В обстановке грандиозной российской волокиты 1630-х — 1640-х годов автор «Повести» избрал необычную манеру полемики, вероятно, для того, чтобы наверняка пробить эту самую волокиту, жалить неожиданнее и острее. И это ему, по-видимому, удалось. В политической силе художественного слова власти разобрались быстро. Недаром для сочинителя «Повести», если им являлся Федор Порошин, дело закончилось ссылкой в Сибирь¹⁰⁶.

И в этом отношении «Повести об Азовском сидении» не подыскивается литературных аналогий тех лет. Некоторую близость к ней проявляет лишь уже упоминавшаяся «Повесть о Ерше Ершовиче», который

«что змия ис-под куста глядять»¹⁰⁷. К выбору необычной, дерзкой манеры полемики мог подтолкнуть, между прочим, и общий рост индивидуального авторского начала в XVII в. — процесс неостановимый¹⁰⁸. Прошло 25 лет, и вовсю развернулся мощный художественно-полемический талант Аввакума.

**1650-е — первая половина 1660-х годов:
стремление верхов к умиротворению общества,
но отгороженность от «нагих-босых»**

1650-е — первая половина 1660-х годов — это время проведения и утверждения никоновских реформ, породивших большое число разнообразных сочинений и документов. Подавляющее большинство их было посвящено относительно частным, утилитарным темам. Не так уж много памятников широко характеризовало общественные настроения тех лет. К таковым из рукописных источников относились лишь единичные документально-полемические сочинения со вкраплениями очень кратких характеристик общероссийской обстановки да одна-две повести. Среди печатных изданий 1650-х — первой половины 1660-х годов было немало повторений прошлого. Пожалуй, не более 15 изданий отличалось оригинальными предисловиями и послесловиями. Они-то и составляют основной фонд текстов для наших наблюдений.

Старопечатные предисловия и послесловия 1650-х — начала 1660-х годов делятся на три хронологические группы. Для этих текстов первой половины 1650-х годов были типичны довольно длинные панегирики царю и патриарху за проводимые церковные реформы, например в предисловиях, сочиненных Епифанием Славинецким: Алексей Михайлович и Никон «преданья им грады украшают, к сим суд праведен, правду нелицеприятну, любовь истинну, благочестие неповредно храняще...» (41)¹⁰⁹; «О, достохвалнаго, благоприятнаго, ползозноснаго, благопотребнаго священноначалническаго тщателства, им же... пажить уготовляется... вода... в напоение... почерпается ... благолепие устроуется... чин... опасно соблюдается» и т. д. (Скрижаль, 11—12). Ср. «покаянные» стихи, сочиненные не ранее патриаршества Никона: «Второй Иерусалим явися царство Московское. Убо зрите и разумеите, вернии сынове света, российское достояние» (41).

Но издатели не увлекались идеализацией событий. Во всех их похвалах поминались некие теневые обстоятельства, в которых вершили реформы царь и патриарх: «воистинну бо их благочестным пове-

лением лукавство исчезе, неправда отгнана бысть, лжа потребися...» (Служебник, 42—43). Эти отрицательные обстоятельства пояснялись и поконкретнее: власти «от священноначалствуемых мрачную умовреднаго невежества тму прогоняют», «темен неведения мрак разрешающе», «неве жества во многих уме лежащего камень... от мысленнаго таинственных священнодейств кладязя отвалити потщася» (Скрижаль, 4, 9—10). Издательские панегирики, несомненно, намекали на противодействие в российском обществе распространению никоновских реформ. Автор предисловия к «Скрижали» открыто негодовал: то, что ввел Никон, «неким неискусным и самомудрым, паче же суемудрым скаредовиднаго безчиния рачителем есть ненавистно. Сии бо темным умовредныя ненависти или дебелаго неведения мраком душевредне омрачившеся и мысленная очеса своя во еже на светлую исправлений лучи не зрети смеживше... Оле, пагубоноснаго роптания! О, несмысленнии ропотницы!..» (Скрижаль, 13—14).

Если последователи Никона были раздражены, то противники его реформ тоже испытывали отрицательные чувства. Например, Иван Неронов писал в своих посланиях в 1653 и 1654 гг.: «Люди Божия смущаемы и печалию погружаемы», «ныне мнози озлоблены и утрашены», «чадом церковным везде плачь» (38, 39, 72). Казалось бы, в обеих группировках должно было усиливаться взаимное озлобление.

Но если говорить о настроениях верхов, то нельзя пройти мимо того факта, что те же панегирики царю и патриарху в старопечатных предисловиях и послесловиях выражали вовсе не чувства ненависти или злобы по отношению к несогласным. Хулы в адрес противников были редки. Авторы нажимали на слова «согласие», «союз», «любовь», например: правленные при Никоне книги «друга друзей вси согласуют... ради церковнаго союза и согласия... Во едино согласие вся сочешаша... к согласию же и к соединению благому церкви» (Кормчая, 647 — 647 об.). Общественное согласие выставлялось целью реформ. Авторы подчеркивали мирную, радостную устремленность никоновских реформ на каждом мыслимом этапе. Сначала Бог «благоволи... всех православия питомцев... возвеселити... правоверных догмат целостию утешити». Затем «от духа премудрости и кротости подвижся» патриарх. «Всем сущым под ними тоежде творити повелеша» царь с патриархом, и вот уже как бы в самом деле «истинна ликует, правда цветет, любовь владычествует» (Скрижаль, 2, 41, 43, 2 об.). Авторы, по-видимому, очень хотели любви и мира в обществе.

Особенно ясно желание мира видно из издательских обращений к читателям ко «всему православному роду российскому» (Скрижаль, 18). Прямыми и косвенными призывами и пожеланиями о мире авторы буквально заполнили предисловия и послесловия: «Буди же вам, христоименитому достоянию, всем известно, яко да союз мира церковнаго твердо в душе кротости хранится и да не будет несогласия ради распри в церковном телеси» (Кормчая, 647); «и ничто же по сему нужнейши и краснейши есть человеком сего ино мнети по словеси божественаго Павла, пишуца к римляном: “Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте”» (Служебник, 1 об.). Патриарх Никон в грамоте, опубликованной отдельной книжечкой, также обещал читателям время, когда «устремляющиеся на ны волны и бури утишит и мир сотворит» (25). Ср. такие же заверения в царской грамоте 1654 г.: «мир строится и, любя, тем присно на лучшее преуспевати... присно благих желающе и лучшее преспевающе» (330). Издатели не испытывали озлобления к тем, кто не принимал никоновских реформ.

Правда, издательские призывы и пожелания к читателям о мире имели существенный оттенок. Так, в предисловии к «Служебнику» провозглашалось: «Праведно есть и нам всякую церковных ограждений новину потребляти» (7). Этот призыв был взят из речи Никона, помещенной в том же «Служебнике» (16). Из контекста предисловия и, конечно, из речи Никона следует, что под «новиной» авторы подразумевали дониконовские порядки, а в качестве старого выдавали никоновские реформы. Все перевернуто с ног на голову! Подменой оценок автор предисловия стремился сбить упрямых читателей с панталыку. Авторские предложения мира и согласия читателям имели скрытое условие: принять сторону Никона. На таком скрытом условии основывались многочисленные воззвания к читательской массе о знаменующем общий мир единодушном почитании царя и патриарха: «Должно убо всем повсюду обитающим православным народом восхвалити же и прославити» царя и патриарха — за реформы; «да возрадуютъжесь вси живущии под державою их и да возвеселятся... да под едином их государским повелением вси повсюду православные народи живуще утешительными песньми славити имут» — никоновские реформы (Служебник, 40, 44). Иногда же повод для восхвалений назывался несколько яснее: «Елико же кто вас, православных читателей иафефороссийскаго народа, со благодарением сие дело от них приемше... хвалу... благодарение... молитвы воздадите» (Триодь, 2). Пожалуй, только однажды

формулировка условия будущего мира вырывалась из пут двусмысленности: «аще чада Божия непорочна быти вождеуют... многокозненну зависть истребят, искреннюю любовь в сердце своем насадят, богомерзкое безчиние возненавидят, боголюбезное благочиние возлюбят и, самому первостолному церковнаго священноначалия чиноначалнику во всем благоумне покоршеся, досточестная воздадут о сем благодарения» (Скрижаль, 16—17). Издатели ставили читателям условия мира не жестко, но твердо. Подобная позиция не обостряла сложившуюся обстановку, но и не смягчала ее.

Затем, в старопечатных изданиях второй половины 1650-х годов, произошла смена акцентов. Прежде всего описания распрей и несогласий стали гораздо определеннее. Например, сам Никон в «Поучении» печатно объявлял: «мнози, купно и особь собирающесе, о нас глаголаху неподобная и грехи наша понимающе... Тии же которавшии на нас не удовлившеся сим, но и ложная от лукаваго сердца видения и сония пред очи простейших предлагаху. Простии же и ненаученнии... внимают баснем их крамолным и бесовским и ложным их пророчеством... и чюдо, како и сим таковым лживым сновидцом мнози ненаказанныи последуют» (23—24, 25—26, 38). Издатели уже не чувствовали некие «душевердные облака», а отчетливо видели толпы враждебно настроенных людей.

В старопечатных обращениях к читателю постоянно стала предостраиваться неприятная ситуация: «ащо... обрящещи яково в чесом сумнительное тебе», «аще где и случися яковому чесому привпасти поползновению» (Ирмологий, нумерованн. 5, 6 об.); «аще ли суть нецыи, чтуще книги сия... и не хотят веровати», «аще кто не веровати сему хошет» («Слово» Никона, 51, 64). Издатели, которые обращались «всем, всякаго чина и возраста, мужеска полу и женска, православным христианом» («Поучение» Никона, 2), теперь постоянно ощущали присутствие сомневающихся или даже недружественных читателей. Все это вполне соответствовало реальной обстановке проведения никоновских реформ, начавшемуся общественному расколу.

Естественно, что печатные упоминания о будущем мире и согласии перестали быть такими частыми, как прежде. Издатели теперь не увлекали читателей к миру, а вежливо просили его, как, например, в послесловии к «Евангелию»: «Честнозем вашим всех благих, наипаче же мира, любве... просим» (2 об.). Желание мира словно потеряло остроту. Издатели без прежней уверенности надеялись на наступление мира:

«и вем, яко всяк от вас восхоцет послушати Христа», — и призывали не столько к благополучному миру, сколько к общему плачу по поводу распри: «Но приидете убо вси... и восплачем, вси православнии народи, мужи, жены и отрочата, всякаго чина и возраста... возставим общь плачь... Возвысим глас моления вместо ненавидимаго... кричания» («Поучение» Никона, 44—45). В сознании издателей момент наступления общественного мира явно отдалился. Надежда на мир стала более холодной.

Будущее казалось иным. Авторы теперь раздавали только внешне примирительное, а на самом деле досадливое прощение инакомыслящим: «Буди им милость Божия и не постави им Господи, греха, аще ли живыя или отшедшия» («Поучение» Никона, 25); «буди им милость Господня, понеже немощь человеческую помышляють» («Слово» Никона, 51 об.). Авторы уже словно не могли справиться с читателями и пускали дело на самотек.

Но совсем отказаться от воздействия на читателей, конечно, было невозможно. Издатели переменили решительные призывы к читателям на сравнительно осторожные уговоры, вроде такого: «Не точию не внимати леть есть лжесловесию оных лживых сновидцов, но и блюстися их яко губителей» («Поучение» Никона, 35). Издатели понимали, что читатели вполне могут не «блюстися». Издатели перестали толкать читателей к немедленному нужному действию и вынуждены были побуждать их к размышлениям: «да искусит вещью... но иже искусом познав, уразумеет лучшее» («Слово» Никона, 64 об.); «судите сами, чада возлюбленная, кого вам требе послушати...» («Поучение» Никона, 40—41). Приходилось ждать, чего решит читатель.

Издатели отсылали к неким авторитетным советникам: «Тебе, православного читателя, с покорением любезно молим... да не предвариши осудити или укорити нас, но прежде... сведущим вникнув», «исправи умом своим, и не едиточию, но со множайшими мудрости сея достойными и искусными» (Ирмологий, нумерованн. 5 об., 6 об.). Это был новый элемент в обращениях издателей к читателям и, следовательно, в сознании издателей. Между двумя сторонами — авторами и читателями — вдруг появилась третья сторона.

Неожиданно четкое отражение этого нового явления находим в рукописном сочинении одного монастырского краснобая — в огромном богословском послании влиятельного соловецкого инокa Герасима Фирсова к архимандриту Саввино-Звенигородского монастыря Ника-

нору, составленном не позднее 1658 г. (XXIV). Здесь немало говорилось об истолковании различных текстов, и в конце послания многознающий Герасим Фирсов вывел лапидарное правило осмысления сочинений: «Достоит... навикнути истинное... не собою, но ходатайством посреде некако вышележащаго нас чина служебническаго» (130). То есть предполагалось, что теперь автор непосредственно не мог внушить нужное читателю; для этого требовался третейский суд.

На примере самого себя Фирсов пояснял должное поведение читателя: «Паче же бояся и никако же отнюдь веруя своему разуму когда, со мною боязнию и смотрением прилагаю се, яко, аще имать ин некий разум добрейший, от сих чтый да смотряет и разумевае...» (129). Ни авторы, ни читатели не мыслились у Фирсова главными сторонами; за главную силу выдавались какие-то мудрые истолкователи, примирявшие возраставшее расхождение писателей и читателей. Вот снова мирный выход из общественного конфликта, предложенный писателями, тяготевшими к российским верхам.

Издатели 1650-х годов даже несколько конкретизировали условия мирного улаживания разногласий. Судя по эпизодическим замечаниям, в качестве третьей, решающей, стороны авторы были склонны выбирать тех, «елико кто изобилует дарованием родоязычия», «аще сам искусен греческа диалекта», «яже аще кто усердие имея к писанию божественному и к сему поне малейшую часть греческа языка навикновение» (Триодь, 1 об.; Ирмологий, нумерованн. 5 об.; Евангелие, 2). То же с присущей ему определенностью заявлял Герасим Фирсов: «добро убо свершенным и обучена имущим душевная чювьства к разсуждению лучшаго и злаго» (115). Издатели фактически откращивались от «простых и ненаученных» читателей и слушателей: «простии же и ненаученнии не ведуще полезнаго» («Поучение» Никола, 26). Герасим Фирсов осуждал резче: «не добро же простым и еще сущим о Христе младенцем», от них «всяка бо прелесть и ересь сиче введена бысть житию» (115, 128). Путь общественного умиротворения, понравившийся всем этим издателям и авторам, не был демократическим. У такого рода авторов имелся идейный ориентир. Ведь наиболее развернуто и резко «простии» осуждались в правительственных документах тех лет, например в царских грамотах: «Есть некие, именуются всеу православные христиана, розных всяких чинов люди, от препроста ума своего и своим неразумием и нерадением, гордости ради... без покаяния всегда пребывают» (царская грамота 1660 г.

в Великий Новгород, 160). Издатели книг думали об умиротворении в интересах верхов.

Наметившаяся общественная позиция издателей получила законченное воплощение в книгах первой половины 1660-х годов. Тогда из четырех книг в свет выпускались издания преимущественно богословского содержания — «Анфологион, си есть Цветословие» (сборник переводов Арсения Грека), «Библия», толкования Иоанна Златоуста на Евангелие, сборник переводов Епифания Славинецкого из отцов церкви. Уже сам по себе подобный репертуар изданий предполагал подготовленного читателя.

Любопытна в связи с этим история сборника переводов Епифания Славинецкого. На титульном листе сообщалось, что книга была составлена еще в 1656 г., а издали ее только в 1665 г. — тогда, когда возобладали ориентация издателей на очень образованного читателя. Знаменательно, что из предисловий и послесловий исчезли упоминания о «простых» читателях. Издатель теперь упрекал своих современников за то, что они в учености отставали от Максима Грека: «Во всех благоискусен бе сый и много от человек ныняшняго настоящего времени отстоящ мудростию и разумом во всяком остроумии» (Беседы 1664. Послесловие, 2—2 об.)¹¹⁰. При таких требованиях мало кто мог считаться достойным чтения книги.

Представления издателей об избранном читателе детализируются по тому предисловию к печатной «Библии», которое написал Епифаний Славинецкий. Эпитеты говорят сами за себя: «Читателю благочестивому и в писаниих люботщаливому», «иже дар по благодати Духа святаго родоязычия имеяй», «любомудрию твоему» — вот к какому знатоку в первую очередь адресовалась книга (2—2 об.). В наставлениях читателю уже не шло речи о советниках: «егда вникнув в сию божественную книгу... первее увеждь вину вещи... и тогда держай», «аще восхощещи, чтый изследити о сих», «веси и сам» — самому читателю доверялось разбираться в прочитанном (2—2 об.).

Разбираться же надо было в длиннейших, бесконечных фразах с массой вставных и придаточных предложений¹¹¹. Например, о том, что царь повелел издать «Библию», сообщалось так (цитируем с большими сокращениями): «Сие ведение... возлюби и взыска... по некоего мудраго словеси, “невесту водити себе и любитель быти красоты ея”, благоверный... царь... и не себе единому, по Сираху, трудися о взыскании ея, но и всем ищущым наказания; ...восхоте и сию божественную книгу,

Ветхий и Новый завет, прежде не сущу зде в велицей России художеством типографства издану, ныне издати и миру даровати; паче же нам, роду славянороссийскому, благодатно преизбыточествова; юже ныне видев, благочестивый и православный читателю... не забывай достойна делателя мзды твоей, иже бо николи же никто же мимошедших времен от царей и благочестивых князей зде, в велицей России, сиевое великое сокровище, паче многих тысящ всяческих сокровищ мира сего, о нем же в начале тебе изъявлено, яково есть, церкви великороссийстей предложить усердствова типографии художеством, яко же...» и т. д. и т. п. (2). Подобное изложение было рассчитано на образованнейшего читателя, который легко бы следил за ходом мыслей, потому что все эти сведения и объяснения, похвалы и цитаты в более полном и систематизированном виде уже присутствовали в его памяти.

Издание «Библии» не предназначалось для широкой массы читателей. Недаром в предисловии Епифаний Славинецкий без обычных количественных определений «чтущего» народа отмечал, что книга издана «ради... зде в велицей России ищущих и хотящих имети я» и только (2 об.). Правда, в кратком и, надо сказать, шаблонном послесловии издатели обращались ко «всем же повсюду православным христианом, господием, и братии, и другом» (516); но это шаблонное обращение было использовано просто по традиции. Предисловие к «Библии» вернее, чем послесловие, указывало на реальный круг читателей, желанных издателям.

Прочие впервые изданные четьи книги первой половины 1660-х годов предназначались издателями для того же довольно редкостного, наученного языкам читателя, понимавшего «различна речения» и «с греческих и славенских различных преводов произволы» — варианты (Беседы 1665, 2; сборник Епифания, тит. об.). Стремление издателей замкнуться в сравнительно узком кругу «искусных» читателей проявилось во время резкого обострения споров из-за никоновских реформ. В посланиях, челобитных и грамотах тех лет открыто признавалось наличие раскола, «иже на Москве глаголетца от всемножественного народа»: «и учал быти раскол: в книгах речь, а в людех другая»; «брань бо сия лютейшая... смущение убо велие... распря и несогласие»; «ныне в народе многое размышление и соблазн, а и в иных местех и расколы» и др. (послание Никона 1662 г., 226; челобитная чудовского монаха Савватия около 1662 г., 40; челобитная Ивана Неронова 1660 г., 168, 170, 176; грамота Алексея Михайловича 1662 г., 243). То, что в этих услови-

ях издатели книг еще не пошли на печатную полемику с противниками никоновских реформ, а как бы отгородились от них, свидетельствовало о прежней, мирной позиции издателей и их руководителей. Только возможности для сохранения мира все сужались и вот почти исчезли. Через год-другой тактика верхов была изменена. Появление Симеона Полоцкого на общественной арене помогло российским верхам начать и в печати ожесточенную борьбу с «простими», с «невеждами», с раскольниками.

«Повесть о Горе и Злочастии, какъ Горе-Злочастие довело Молодца во иноческий чинъ», при всей своей лиричности, отразила большой комплекс социальных представлений ее автора. Однако прежде чем заняться социальными воззрениями неизвестного автора, желательно поточнее датировать эту знаменитую «Повесть». Исследователи относят ее к XVII в., охотнее ко второй половине XVII в., чем к первой половине. Чтобы определеннее атрибутировать «Повесть», обратим внимание на некоторые ее реалии.

Главным для датировки в данном случае является следующее высказывание «Повести» о Молодце: «Крестил он лице свое белое... горазд он креститися, ведет он все по писанному учению (8)¹¹². Упоминание крещения «по писанному учению» объясняется использованием в «Повести» традиционного фольклорно-былинного выражения. Если автор как-то соотносил привычное фольклорное выражение с современной ему действительностью, то тогда стоит подумать, когда в XVII в. могло и когда не могло употребляться выражение «креститися... по писанному учению». Патриарх Никон, как известно, заменил двухперстное крещение, завещанное «писанием», на трехперстное. Реформы Никона, включая перемену в способе крещения, широко, общенародно разъяснялись не «писанием», а печатными изданиями. Связь реформ Никона с печатным «учением» была в то времена общепризнанной: соответствующие никоновские документы ссылались прежде всего на печатные греческие и московские книги; противники реформ обвиняли Никона прежде всего в следовании «книгам латиногреческим печатным»¹¹³.

Ср. противопоставление «писания» и «печати» в песнопении о Никоне, приписываемом Аввакуму: «А како мы в писание слышахом, не вразумихомся... А како нас угодник антихристов прельстил... и всем даде свою богомерскую печать на челе и на десной руке. О, люте, злый

Никоне... Не ты ли потоптал закон и книги пророческия, не ты ли поругал Троицу трисоставную, в ней же мы крещаемся и им же мы знаменаемся и кладем на лица своя?.. Не ты ли предал печать скверную всем человеком? О Господи, владыко, творец наш, помилуй нас от... его печати скверныя» (190—191).

Значит, можно предположить, что Молодец в «Повести о Горе-Злочастии» крестился по старому, «писанному учению»; автор сказал бы иначе, если бы дело происходило после окончательного утверждения никоновских реформ. Троеперстие было утверждено церковным собором 1656 г., но затем последовал десятилетний период разногласий, когда большинство населения крестилось двуперстно по-прежнему; только «заповедь» собора в июле 1666 г. положила начало резкому реальному разделению на старообрядцев, которые продолжали креститься «по писанному учению», и на «никониан», крестившихся по установлениям никоновских печатных книг¹¹⁴. Значит, «Повесть о Горе-Злочастии» появилась не позднее 1666—1667 гг. Это предположение, конечно, шаткое: если автор бездумно повторил привычное выражение о «писанном учении», то оно не имеет датирующего значения.

Второе датирующее высказывание в «Повести»: «Ты поиди, Молодец, на царев кабак» (14). Кабак в «Повести» упоминается неоднократно. Но в соответствии с царскими указами в период с 1652 г. до 1 сентября 1664 г. кабаки были переименованы в «кружечные дворы» (сокращенно «кружала»)¹¹⁵. Значит, «Повесть» могла быть написана или до, или после этого периода. Правда, такое предположение тоже шатко: в народе кружечные дворы могли по-старому называть кабаками и после царских указов; даже в официальных документах 1652—1654 гг. кружечный двор нет-нет и прозывался кабаком¹¹⁶. И все-таки доводы, хоть и шаткие, очерчивают некие хронологические рамки: «Повесть о Горе-Злочастии» могла появиться или не позднее начала 1650-х годов, или в середине 1660-х годов.

Дополнительные наблюдения позволяют указать предпочтительное время появления «Повести». Дело в том, что в «Повести» можно обнаружить множество косвенных связей с правительственными мероприятиями и требованиями конца 1640-х—начала 1650-х годов и с более поздними; притом не с самими постановлениями, а с их результатами, с привычными обстоятельствами, сложившимися после соблюдения таких постановлений. Так освещается в «Повести» история пьянства Молодца. Рассказывается, что, «как будет день уже до вечера, а солнце

на западе, от сна Молодец пробуждается в кабацкой избе и покидает кабак (6—7). В упоминании того, что Молодец уходит из кабака именно вечером, возможно, отразился установившийся обычай, введенный царскими предписаниями 1652—1653 гг.: кружечные двory (а затем и кабаки) «запирать за час до вечера» летом, а зимой еще раньше¹¹⁷. Совет Молодцу на случай пира — «не пей, чадо, двух чар за едину» (3) — тоже можно сопоставить с указами 1652—1653 гг.: «а продавать вино... по одной чарке человеку, а болши той указной чарки одному человеку продавать не велели»¹¹⁸. В кабаке Молодец «испывал чару зелена вина, запывал он чашею меду слатково и пил он, Молодец, пиво пьяное» (6). Но в кружечных дворах первоначально было запрещено торговать медом и пивом: «пива и меду продажного отнюдь бы не было»; правда, затем вроде бы разрешили завести мед и пиво на кружечных дворах, но, вероятно, не везде; и еще в 1660 г. документы осторожно оговаривались: «а буде на кружечных дворах изволит великий государь опроче вина быть пиву и меду...»; только с новым открытием кабаков в 1664 г. повсеместно разрешалось «пиво и мед продавать»¹¹⁹. Молодец действительно пил в кабаке, а не на кружечном дворе. Наконец, от соблазна пьянства «Молодец в монастыр пошел» (22); и тут нельзя не вспомнить череду строжайших церковных запрещений 1649—1652 гг.: «во всех монастырех хмелное питье, вино и мед и пиво, отставить»¹²⁰. Эта россыпь бытовых деталей в «Повести» позволяет относить произведение не ко времени до начала 1650-х годов, а скорее к середине 1660-х годов. Наш хронологический выбор подтверждает еще одна реалья в «Повести»: Горе внушает Молодцу «убити и ограбить, чтобы молотца за то повесили или с камением в воду посадили» (22). Повешение или утопление за разбой или иные преступления специально не оговаривалось «уложением» царя Алексея Михайловича 1649 г., но именно серия царских указов 1654—1659 гг. уточнила, за какие вины вешать¹²¹. Любопытно, что уточняющее указание на повешение за убийство содержит, кроме «Повести о Горе-Злочастии», также и «Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы», тоже сочиненное после 1652 г. (но до 1681 г.): «А тебе, княгина Улита Юрьевна, повешеной быть на воротех и зле ростриляной, или в землю по плечь живой быть закопаной, что мы напрасно здумали зло на князя неправедно» (202—203. Говорят ее соучастники). И все-таки нельзя не отметить разницу. В «Сказании об убиении» ориентация на правовые нормы более ощутима: по «Уложению» 1649 г., закопаные заживо действительно полага-

лось жене, убившей мужа. В «Повести о Горе-Злочастии» же оглядки на конкретные обычаи уголовного права, возможно, и не было; повешение Молодцу могло назначаться по традициям фольклора; ср., например, пословицы о разбойниках: «Дошел тать в цель — ведут его на рель», «жаль вора да повесить», «злое ремесло на рель занесло», «опочинь вор на рели» (сборник пословиц, 96, 100, 105, 130). Датировка «Повести о Горе-Злочастии» все-таки выходит предположительной.

Но тем нужнее для датировки возможные подтверждения с разных сторон. Вот совсем иная реалья в «Повести»: когда у Молодца в очередной раз «не стало деньги, ни полуденги», то «пришла ему быстра река, за рекою перевозчики, а просят у него перевозного, и подать Молодцу нечево» (15); но за спетую песню перевозчики вдруг перевезли Молодца, «а не взяли у него перевозного» (19). Здесь вспоминается уставная царская грамота 1654 г., запрещавшая злоупотребления разными поборами на перевозах; грамота установила единую небольшую плату за перевоз: «На великих реках... в вешнюю полую воду... с пешаго человека по деньге... на меньших реках... с пешаго человека по полушке»¹²². Отсюда, возможно, и проистекала уступчивость перевозчиков в «Повести о Горе-Злочастии». Быть может, не случайно, что эпизод с перевозчиком и платой перевозного есть также в упомянутом «Сказании об убиении Даниила Суздальского», хотя перевозчик здесь жадный и коварный (201—202).

И еще несколько соответствий. В «Повести о Горе-Злочастии» подчеркнута необходимость соблюдения «вежества» в поведении: «люди... учнут тя чтить и жаловать... за вежество» (11); вопрос о «вежестве» постоянно вставал с конца 1640-х по начало 1660-х годов; и документы отмечали: «...невежливым обычаем пришли к государеву двору»; «в челобитной вашей писано с болшим невежеством»; «говорил с невежеством»; «учали бить челом с болшим невежеством»¹²³. В «Повести о Горе-Злочастии» отмечается место детей купеческих на пиру: «место среднее, где седят дети гостинные» (8); датирующая зацепка здесь такова: именно в 1659 г. вспыхнул спор о месте купечества; некоторые купцы претендовали быть выше даже самих дьяков; спор дошел до царя; после разбирательства по царскому указу и боярскому приговору было велено, чтобы «гости были написаны дьяков ниже многими мesty» — в месте среднем или ближе к среднему, потому что «ныне-де в гостинном чину люди молодые и дети обычных отцов торговых людей»¹²⁴. В «Повести о Горе-Злочастии» находим описание зажиточного двора:

«Двор что град стоит, изба на дворе, что высок терем» (8); оказывается, в 1650-е годы шли споры и о высоте надворных строений, которые хозяева нередко делали высокими, затемняя свет соседям; последовал царский указ¹²⁵.

Разумеется, не удастся жестко приурочить «Повесть о Горе-Злочастии» к бытовым явлениям тех или иных десятилетий XVII в., потому что история русского быта изучена недостаточно подробно. А если у «Повести» украинские корни? Это усложняет датировку. Однако предварительные сопоставления, изложенные нами, свидетельствуют, пожалуй, в пользу предположения о середине 1660-х годов как о времени появления «Повести о Горе-Злочастии» в том виде, какой передал ее единственный дошедший до нас список.

Обратимся к социальным представлениям автора «Повести». Прежде всего показательно пристрастие автора к группировке людей. Автор эмоционально делил общество на две противоположные части: есть люди «мудрые», «мудрые и разумные», «мудрые и досужие» (то есть искусные) и есть люди «глупые», «глупые-немудрые» (3, 4, 9, 13).

Проводилось в «Повести» еще одно разделение людей: есть «государя люди добрые» (8—11, 18—19) и есть люди злые, плохие. Соотношение всех этих категорий людей было несложным. Оно подсказывается синонимами к слову «добрый». Например, в одной из фраз «Повести» синонимом к слову «добрый» было как раз слово «мудрый»; эти слова были поставлены автором в единый синонимический ряд прилагательных: «ты послушай пословицы добрая, и хитрая, и мудрая» (3). Такие примеры не единичны. Все «доброе», хорошее означало у автора «мудрое», «разумное». И действительно, автор иногда прямо приравнивал эти определения в характеристиках людей. Например, «добрый Молодец» значил и «разумный Молодец»: «добро(й) еси ты и разумный Молодец» (11).

По «Повести» можно понять, отчего у автора возникло подобное приравнивание. В одном месте «Повести» автор мимоходом объяснял зарождение хорошего, «доброго» именно от разумного: почему Молодец запел «хорошую напевочку»? «Запел он хорошую напевочку от великаго, крепкаго разума» (18). Беглость такого разъяснения у автора свидетельствует о привычном сращении следствия и причины — понятий хорошего и разумного.

В другом месте «Повести» автор также мимоходом пояснил свое мнение и о «мудрых» людях: раз люди «мудрые», то не приведут ко злу;

наставление Молодцу — «а знайся, чадо, с мудрыми и разумными водися и з друзи надежными дружися...» — завершилось разъяснением: «которые бы тебя злу не доставили» (4). Это были, в сущности, единые понятия у автора — «люди мудрые-добрые» и «люди глупые-плохие».

Но деление людей на «мудрых-добрых» и «глупых-злых» — чисто оценочное. Имело ли оно у автора «Повести» социальный смысл? Люди в «Повести» иногда назывались по их занятиям или происхождению. К «мудрым-добрым людям» автор причислял, например, мастеров-портных (19) и «детей гостиных» (8, то есть купеческих), а к «глупым-злым людям» относил костарей, корчемников, голов кабацких (4), «клядей», то есть лентяев, и бражников (13). Однако такие обозначения в «Повести» единичны и не заполняют всего объема авторских понятий о людях хороших и плохих.

В «Повести» присутствует еще одно социальное деление людей — на «богата и убога», то есть на богатых и бедных. Сама формулировка такого противопоставления в «Повести» почти незаметна, так как употреблена автором всего один лишь раз, и притом в контексте, примиряющем, смазывающем противоположение; Молодцу советуют: «Не безчестуй, чадо, богата и убога, а имей всех равно, по единому» (4). Поэтому только на формулировку опираться не следует.

Зато контрастное изображение богатых и бедных, имущих и неимущих пронизывает всю «Повесть». У богатых — деньги, «живота болшы старова» (12), у них «богатество» (13); у бедных же — «не стало деньги, ни полуденги» (7), они терпят «безъживотие злое... безконечную нищету и недостатки последние» (2—3). У богатых «двор, что град; стоит изба на дворе, что высок терем, а в избе... дубовой стол» (8); у бедных же — «нет ничево» (18), ни двора, ни избы, ни стола. Богатые одеты в «драгие порты, чиры и чулочки... рубашка» (7; ср. 18—19); бедным же «ведома нагота и босота безмерная, легота-безпроторица великая» (14; ср. 2), у них в лучшем случае «гунка кабацкая» и «лапотки-отопочки» (7; ср. 19); богатому родиться «белешенку», у богатого «тело белое» и «ясные очи» (7, 10, 16, 19); а бедный «родился головенкою», у бедного «изъсушила печал... белое тело... и ясныя очи замутились» (10, 19). Самое бедное действующее лицо — «Горе горинское» — вообще «нечистое» и «серое» (13, 17, 18), «босо-наго и нет на Горе ни ниточки, еще лычком Горе подпоясано» (16).

Кстати, о Горе. При различных истолкованиях образа Горя (см. известные работы Ф. И. Буслаева и Д. С. Лихачева), несомненно, это

олицетворение человеческого состояния или качества, наблюдающееся в фольклоре и переходящее в книжность. Ср. олицетворение в «Притче о Хмеле». Ср. олицетворение в «Сказании о птицах»: «Ворог тот человек сам себе, которой возметя за ходое дело; а Худо и давно за него примется» (3). Ср. олицетворение в песне «Про гостя Терентиша»; занедужила жена:

А Недуг-ат пошевеливаитя
Под одеялом соболиным...
А Недуг-ат непутем в окошко скочил...
Он оставил, Недужишша,
кафтан хрушетой камки,
камзол баберековой... (19).

В этой юмористической песне сделан двойной шаг в персонификации: под Недугом мог подразумеваться любовник. Ср. также возможное олицетворение в «Повести о Еруслане Лазаревиче»: «Потеха у меня во царстве людей добрых не оставила, всех перевела и хочет меня извести. Выходит, брате, ис тово озера чюдо о трех головах, а емлет у меня на всякий день по человеку» (123).

Но вернемся к богатым и бедным. Изображенные в «Повести о Горе» богатые люди сыты, они «пьют-ядят, потешаются» (8); бедным же «кушати стало нечево» (7); показательно признание обедневшего Молодца: «уже три дни... не едал я, Молодец, ни полу куска хлеба» (16). Противопоставление богатых и бедных получилось в «Повести» исключительно выразительным, хотя автор «Повести» не старался специально противопоставить одних другим.

Авторскую мысль о соотношении людей «мудрых-добрых» и людей богатых выдает соответствующее словоупотребление. Человек богатый и человек мудрый для автора «Повести» фактически были синонимами; недаром эти понятия свободно подменялись одно другим в обращении к Молодцу: «Не хвастай своим богатетством, бывали люди... и мудряя тебя и досужае» (12—13). Искусная мудрость и богатство связывались у автора как причина и следствие; поэтому автор объяснял богатство Молодца его разумностью: «И учал он жити умеючи, от великаго разума наживал он живота болшы старова» (12); поэтому в наставлениях Молодцу мудрость исключала бедность: «Ты послушай пословицы добрыя, и хитрыя, и мудрыя — не будет тебе нужды вели-

кия, ты не будешь в бедности великою» (3). Автор «Повести» различал людей «мудрых-добрых-богатых» и людей «глупых-плохих-бедных». Вот в чем заключалось у автора скрытое социальное различие людей. Скрытым это различие было и оттого, что автор «Повести» выражал свои социальные представления как писатель-рассказчик, а не как теоретик-публицист.

Автор «Повести» ввел длинный ряд дополнительных различий между людьми «мудрыми-добрыми-богатыми» и людьми «глупыми-плохими-бедными». Они, по изображению «Повести», различались своим отношением к обществу. «Мудрых» людей, в представлении автора «Повести», выделяли смирение и тихость; поэтому «добрые люди» «разумному» Молодцу советовали: «Смирение ко всем имеи и ты с кротостию держися...» (11); поэтому разум и смирение превращались у автора в синонимы, ср. синонимичное словосочетание: «Будет Молодец уже в разуме, в беззлобии» (3).

Слова «смирение», «кротость» имели в «Повести» социальный смысл. Слово «смирение» означало у автора прежде всего «вежество», умение по правилам вести себя в обществе; вот почему эти слова стояли в одном ряду синонимов: «за твое смирение и за вежество». Вот почему автор отметил, что, усвоив наставления смирению, «средил Молодец честен пир отчеством и вежеством» (12); автор даже поместил в «Повести» правила и примеры смиренного «вежества» на пирах (3, 8—9, 12). Смирение означало и подчинение обычаю; недаром автор отметил также, что смиренный Молодец «присмотрил невесту себе по обычаю» (12). «Мудрые-добрые-богатые» люди считались также и смиренными, послушными.

И наоборот, «глупые-злые-бедные» люди представляли в «Повести» беспокойными и непокорными: «Ино зло племя человеческо в начале пошло непокорливо, ко отцову учению зазорчиво, к своей матери непокорливо и к советному другу обманчиво» (2). Безумие — это и есть несмирение: «а на безумие обратилися... а прямое смирение отринули» (2). Глупость — это и есть непослушание; поэтому когда Молодец был «глуп, не в полном разуме и не совершен разумом, — своему отцу стыдно покоритися» (4—5). Люди «глупые» насмешливы: «глупыя люди немудрыя чем тебе насмеялися» (9); насмешливо и Горе, которое «над молотцем насмисялося» (21). Люди «глупые» — это и есть воры и разбойники; поэтому Молодца предупреждали: «Бойся глупа, чтобы глупыя на тя не подумали да не сняли с тебя драгих порт... Не дружися,

чадо, з глупыми-немудрыми, не думай украсти-ограбити и обмануть-солгать...» (3—4). Вообще «думать» — это дело людей плохих: «А зла не думай на отца и матерь» (4). Люди бедные, «нагие» — это отпетые разбойники; в «Повести» так и говорилось неоднократно: «а нагому-босому шумит розбой» (14, 15); Горе «научает... убити и ограбити» (22). Богатые в «Повести» представляли угодными обществу, а бедные — опасными для общества. Подобное социальное деление нельзя не признать резким.

Деление обостряется изображением различного места людей в обществе. Богатым-смирненным людям положен почет: ведь «учнут... чтить и жаловать за... смирение и за вежество» (11). А озлобленным беднякам — «срамныя позоры немерныя», много «позорства, и стыда великаго, и племяни укору, и поносу безделнаго», у них неизбежность «жития сего позорного» (2, 4, 16); недаром Молодцу, когда он беден, всегда «стыдно» и «срамно» (5, 8, 15, 17). Богатые-смирненные люди «безпечалны», «веселы», у них «счастье» (9, 12, 18). А у «нагого» «скорби неисцелныя и печали неутешныя», он «кручиноват, скорбен, нерадостен» (9—10); его будущее — «в горе погинути», «замучится»: или быть уморену «смертью голодною», или «быть... истравлену... удавлену... убитому», или ждать, «чтобы... повесили или с каменем в воду посадили» (14, 16, 17, 20, 22). Автор «Повести» не пускался в рассуждения по поводу разделения людей в обществе. Но художественные представления автора о социальном делении людей являлись очень четкими и развитыми. У автора воочию были противопоставлены люди богатые-смирненные-почтенные и люди неимущие-непокорные-позорные.

Социальная позиция автора в «Повести» раскрывается также вполне ясно. Не нужно гадать, на чьей стороне стоял автор, если имущих он назвал людьми «мудрыми-добрыми», а неимущих — «глупыми-злыми». Автор любил в «Повести» перечислять признаки бедности, наготы, бесчестия людей. Но за этим не столько крылась жалость к бедным, сколько выражалось ощущение прочности, незыблемости отделения бедных от богатых. Автор, собственно, признавал это и прямо: «не бывает бражнику богату, не бывает костарю в славе доброй» (19). Кроме угнетающих перечислений проявления наготы-босоты, в «Повести» много парадоксальных, саркастических высказываний о якобы богатой жизни «глупых-злых-нагих» людей: бедному удастся «богато жить — убити и ограбити, чтобы... за то повесили» (22); бедные избавились от бедно-

сти: «босоты и наготы они избыли» — «во гроб вселились» (13); нищему Молодцу «житие... Бог дал великое — ясти-кушати стало нечево» (7); в богатые одежды «учал Молодец наряжаться — обувал он лапотки, надевал он гунку кабацкую» (7; ср. 15); Молодцу особый почет: его ведет «под руку под правую» «Горе злочастное» (22); самый «голый» и самый «злой» персонаж — Горе — зловеще хвасталось довольством: «А вся родня наша добрая, все мы гладкие-умилные» (20); и вообще счастье и покой свойственны именно бедным: «в горе жить — некручинну быть», «когда у меня нет ничево, и тужить мне не о чем», «да не бьют-не мучат нагих-босых и из раю нагих-босых не выгонят, а с тово свету сюды не вытепут» (15, 17, 18) и др. Все эти саркастические высказывания отдавали не живым сочувствием автора к бедным, а жестким и спокойным авторским ощущением вечной и непреодолимой отделенности бедных от богатых¹²⁶.

Этому социальному мироощущению автора, казалось бы, противоречит изображение жизни Молодца. Какое место занимал Молодец в обществе? Судя по «Повести», он скорее относился к людям имущим, к купцам, к купеческим детям: родители наказывали ему, как «сбирать богатство» (4), и «наживал Молодец пятьдесят рублей» (5); на пиру сажали его к «детям гостиным» (8), и было надето на Молодце «платье гостиное» (14). Пожалуй, специфически купеческий совет принимал к сведению Молодец: «а чюжих ты дел не обьявлявай, а что слышишь или видишь не сказывай... не имей ты упатки вилавья, не вейся змию лукавою» (11)¹²⁷. Этот купеческий Молодец, побывавший в шкуре «нагих-босых», вроде бы воплощал связь двух полюсов общества.

Однако связь эта кажущаяся. Как в «Повести» было изображено общение Молодца с окружающими? Молодец охотно общался только с людьми своего круга, а не с «нагими-босыми»: дома — со внешне пристойным «милым-надежным» другом и с иными «милыми друзьями», а на чужой стороне — постоянно с «добрыми людьми» и опять-таки с «честными» друзьями; от Горя он всегда стремился «уехати», уйти, убежать и пытался вернуться домой к «честным своим родителям». Молодец все-таки старался выполнить наставления своих родителей: «не ходи, чадо, к костарем и корчемникам; не знайся, чадо, з головами кабацкими; не дружися, чадо, з глупыми-немудрыми... а знайся, чадо, с мудрыми и разумными...» (4). Не только родители Молодца, но и сам автор «Повести» на примере Молодца учил не водиться с «нагими-босыми».

Знаменательно также, чем социально расплачивался Молодец за свои ошибки. У него «все имение и взоры... изменилися» (10), однако он не выбывал из круга «добрых людей», к которому принадлежал по рождению: «гунка кабацкая» не навсегда прирастала к нему, но опять заменялась «платьем гостиным», а уж в самом худшем случае — «портами крестьянскими» перед возвращением домой (19); Молодец никогда не забывал «житие свое первое» и выбирал «спасенный путь» (17, 22); он продолжал в «Повести» называться «добрым» молодцом; у него сохранялось «белое тело» (16) и «белое лице» (10). Полное превращение Молодца в «нагого-босого» человека, полный его переход в число «глупых-бедных» в «Повести» были как бы невозможны. Молодец по недоразумению (то друг обманул, то Горе в облике архангела Гавриила обмануло) лишь «приметался» на время к «недобрым» людям, да и ушел от них¹²⁸. Автор «Повести» сочувствовал именно такому Молодцу, его вынужденному соприкосновению с миром бедности. Автор целиком стоял на позициях «добрых-богатых-смирненных» людей. Получается, что по своей главной идее «Повесть о Горе-Злочасти» нельзя безусловно относить к произведениям демократическим; во всяком случае, это не демократизм по меркам литературы Нового времени.

Как же тогда «Повесть о Горе-Злочасти» вписывается в картину идейной жизни русского общества первой половины 1660-х годов? Сопоставим «Повесть» с произведениями, прямо говорящими о «нагих-босых». Таких произведений, близких к «Повести» по времени своего появления или бытования, обнаруживается очень мало; это все небольшие сатирические или юмористические произведения: «Азбука о голом и небогатом человеке» по исчезнувшему списку середины XVII в. и сохранившемуся списку 1663 г.; «Сказание о птицах», упоминаемое в документе 1679 г.; «Сказание о попе Саве», датируемое серединой XVII в.; «Повесть о Шемякином суде», датируемая второй половиной XVII в.; некоторые пословицы в самом раннем из дошедших до нас сборников пословиц конца XVII в.; две песни из сборника Кириши Данилова.

Мы не упомянули «Службу кабаку» (по списку 1666 г.), которая, казалось бы, обильнее всех произведений XVII в. рассказывает о «нагих-босых», об их жизни, привычках, поведении. Но если посмотреть внимательнее, то можно убедиться, что в «Службе кабаку» под «голыми» подразумевались только пропойцы; автор гиперболически

показывал, что в пьянство и в общение с пьяницами втянуты «все искуснии человецы и благонароचितии в разуме»: «поп и дякон... чернцы... дьячки... мудрые философы... служилые люди... князе и боляре, и воеводы... пушкари и салдаты... сабелники... лекари и обманщики... тати и разбойницы... холопии... жонки... мужни жены... зернщики, и костари, и такалщики... ростовщики... скупщики... купцы, десятники и довотчики... пономари туды ж, что люди, в стадо бредут... былные ж люди туды же пьют, и всякий человек рукоделны и простыи искусники... повары... лесники... кузнецы...» (38, 48—49). Следующие одна за другой картины всеобщего гомерического разложения, с массой сочных деталей, свидетельствуют о том, что поле зрения автора «Службы кабаку» было необычно суженным; он создал сатирическую «монографию» об одном явлении — пьянстве, но смотрел, так сказать, мимо собственно жизни бедных и богатых.

Что касается остальных перечисленных произведений, то «нагие-босые» в них были те же и отношение авторов к «нагим-босым» было таким же, что и в «Повести о Горе-Злочастии». Оценки богатым и бедным находим те же, что в «Повести о Горе-Злочастии»: богатые — это умные, а бедные — это глупые. Например: «Гусь рече: “Тлупому да безумному добра не нажить и богатства не видать, а разумному везде добро, милость от людей, честь и слава”» («Сказание о птицах», 2); «умом наживают, а безумием и старое теряют» (сборник пословиц, 148). Ср. еще: «Ведай себе, человек: на ком худое платье, то пьяница; или наг ходит, то пьяница ж» («Притча о Хмеле», 448); раз «ни пула не стало», то «по делам воистинну дурак» («Сказание о попе Саве», 56).

Пословицы и поговорки в сборнике конца XVII в. недвусмысленно утверждали: богатым быть хорошо, а бедным быть плохо. Ведь «богат шол в пир, а убог брел в мир»; «богат ищет места, а убог смотрит теста»; «убоному — робята, а богатому телята»; «богат мыслит о злате, а убог о блате» («Болото» — так называлось место в Москве, где казнили преступников); «бедность и мудраго смиряет» и т. д. и т. п. (сборник пословиц, 78, 79, 80, 145 и др.). Только один раз в сборнике пословиц конца XVII в. встречается пословица как будто бы с противоположным смыслом: «Богат ждет пакости, а убог радости» (78). Здесь, возможно, перепутаны рифмующиеся слова; первоначально могло быть так: «Богат ждет радости, а убог пакости». Если же принимать пословицу в том виде, в каком она записана в сборнике, то все равно она проявляет сочувствие прежде всего к богатому¹²⁹.

Произведения, подобные «Повести о Горе-Злочастии», напоминали о бесперспективности жизни «нагих-босых»: «Не бывать гулящему богато-тому» (песня «Ох, в горе жить — не кручинну быть», 198). О «голеньких» говорилось не столько с жалостливостью, сколько с сарказмом: «Есть в людех всего много, да нам не дадут... Люди богатые пьют и едят, а голеньких не съужают... а голеньким не дадут» («Азбука о голом и небогатом человеке», 229); «ржи много в поле, да нам нет доли»; «подлинная весть, что нечево есть»; «ретка есть — отрыгаётся, а рыбка есть — не случается»; как и в «Повести о Горе-Злочастии», сарказм выражал безжалостное и спокойное убеждение в непреодолимости границы между бедными и богатыми: «Беден часто ся озирает, хотя и не ево кличют»; «вопрос: что-де бос; ответ: сопогов нет»; «дали ногому рубашку, ин толста», «родился наг, пропади и с платьем» (сборник пословиц, 132, 137, 138, 81, 86, 97); «а нагому безрукай за пазуху наклал» (песня «Агафонушка», 142). Обнадеживающие высказывания звучали издевательски: «Богатым злато нищих ради» (сборник пословиц, 78); «а и денег нету — перед деньгами» («Ох, в горе жить»). И вообще бедному не надо ни на что претендовать: «Бедному кус за ломтя место» (сборник пословиц, 78).

Судя по пословицам, быть бедным — это хуже худшего: «Бедной в нуже, что жаба в луже»; «бедному везде бедно»; «опоясан мешком да бредет пешком»; «пожили в луже, да нажили хуже»; «свинопас и рубашку пропас»; «у гола гол голик»; «человек убог, что конь без ног» и т. д. (81, 130, 135, 141, 146, 154). Оттенок насмешливой презрительности проглядывал в пословицах о бедноте и об обедневших людях: «Астрахань — арбузами, а мы — гологузами»; «наготы-босаты навешаны шесть»; «прыток без порток, без коня в поле скачет»; «одолела дворянина густая крашенина» (холщовая одежда) (76, 125, 131, 133). И в «Повести о Горе-Злочастии», и в сатирических повестях, и в юмористических песнях, и в пословицах сочинители, как правило, не сочувствовали бедности, а наоборот, подобно богатому человеку в «Повести о Шемякинском суде», были склонны «поносить убожество» (17).

Как и в «Повести о Горе-Злочастии», главные герои повестей и песен не принадлежали действительно к «нагим-босым». Вот, например, «Повесть о Шемякинском суде»: «В неких местех живяше два брата земледельцы, один богат, други убог... бедный». Но разве это «убогий», если у него «свои дровни»; если он едет «ко двору своему», а у двора его «подворотня»; если есть у него «шапка» и «плат»; если судья

не сомневается, что ему «убогий» «узел сулит злата», да не один, а три узла? (17—18). Это не «нагой-босой», а просто человек менее состоятельный, чем богатый брат. Не относится к «нагим» по своему происхождению и герой «Азбуки о голом и небогатом человеке»: «Отец мой и мати моя оставили мне имение были свое...»; «ферези были у меня добры...»; «земля моя пуста...» (229, 230). Вовсе не «нагим» является Молодец в песнях о Горе и в песне о реке Смородине¹³⁰.

Как и в «Повести о Горе-Злочастии», главные герои повестей и песен не хотели становиться «нагими-недобрыми», не хотели общаться с «нагими» и не общались с ними. Герой «Азбуки» признавался: «Солгать, украсть не хочитца»; «где мне подетися от лихь людей-от недобрых?» От небогатых и «лихих» герой готов был отбиваться дубиною: «Охнул бы у меня мужик, как бы я ево дубиною по спине ожог, чтоб впредь бы на меня зла не мыслил». Герою «Азбуки» (по двум спискам XVII в.) хотелось иного: «з богатыми в пиру седеть... хотелось мне, Молодцу, с богатыми поводитися»; «я, коли бы был богат, тогда бы и людей не знал» (229, 230, 27, 28). Герои не изображались в общении с «нагими-босыми» ни в «Повести о Горе-Злочастии», ни в сатирических повестях, ни в песнях.

Герои терпели наказание, если по каким-либо причинам уклонялись от общения именно с «богатыми-добрыми» или с благонамеренными людьми. Так было показано не только в «Повести о Горе-Злочастии», но и, например, в «Сказании о попе Саве»: «в приходе у нево богатые мужики»; однако «людми он добрыми хвалитца, а сам от них пятитца», «со многими людми разбронился», стал «добрых людей варами... называть»; и вот финал: «И как над ними наругался, толко сам в беду попался... на цепь попал... Радуйся, с добрыми людми поброняся, а в хлебне сидя, веселяся» (55—57). Во всех приведенных сочинениях, включая пословицы, авторы глядели на «нагих-босых» людей, в сущности, глазами людей «богатых-разумных».

Проявления «недемократичности» общепризнанно демократических произведений XVII в. можно объяснить тем, что на демократические по происхождению материалы оказали влияние те, кто их обрабатывал, — составители, не принадлежавшие к демократическим кругам. Позиция составителей могла влиять, например, на подбор пословиц или песен в соответствующих сборниках, на подбор высказываний и афоризмов в повестях. Но отделить якобы чуждое народу влияние составителей мешает цельность произведений, отсутствие в них явственной

идейной раздвоенности. Вот почему более естественным представляется другое объяснение: отрицательное отношение к «нагим-босым» в произведениях преобладало потому, что собственный взгляд «нагих-босых» на самих себя еще не сформировался; так или иначе, но заимствовалось отношение господствующих слоев к бедным¹³¹. Собственно демократическую точку зрения на «нагих-босых» еще не найти ни в челобитных разных несчастных людей, ни даже в челобитных Аввакума. Демократическая точка зрения на «нагих-босых» постепенно стала заявлять о себе, по-видимому, не ранее последней трети XVII в. До этого времени, в 1650-е — первой половине 1660-х годов, демократические круги еще не противопоставили чего-либо идейно значительного верхам российского общества, отгородившимся от «нагих-босых» и вообще от низов.

Конец XVII в.: в атмосфере социальной вражды

Прежде чем входить в общественные настроения конца XVII в., дадим необходимый источниковедческий очерк. Конец XVII в. источниковедчески сильно отличается от предыдущего периода: источников, в которых отразились общественные настроения, совсем немного, а соответствующих крупных сочинений наберется едва больше десяти.

Объемистость и содержательность даже самых крупных произведений о настроениях конца XVII в. также не очень велики: например, объем известного печатного «Увета духовного» Афанасия Холмогорского 1682 г. все-таки не идет в сравнение с объемом и богатством содержания знаменитого «Жезла правления» Симеона Полоцкого 1667 г., не говоря уже об «Обеде душевном» и «Вечере душевной». Относительно более обильный материал по общественным настроениям содержат лишь печатные поучения патриарха Иоакима да «Созерцание краткое» Кариона Истомина и Сильвестра Медведева. Это немного. Так что, занимаясь концом XVII в., мы не можем позволить себе роскошь пользоваться только самыми крупными, интересными и знаменитыми литературными памятниками, как это делалось при изучении 1660-х — 1670-х годов. Для конца XVII в. приходится подбирать памятники и помельче.

Привлечение более мелких памятников все-таки не спасает положения. Жанровый состав всей россыпи памятников конца XVII в., характеризующих общественные настроения, оказывается не пестрее, а беднее, тусклее, чем в 1660-е — 1670-е годы. Оригинальных старопечатных предисловий и послесловий, так выручавших нас ранее, —

единицы¹³². Преобладают поучения¹³³ и церковно-полемические трактаты¹³⁴. К ним присоединяется несколько исторических сочинений¹³⁵ и ряд грамот¹³⁶. Художественных повестей и сказаний нет («Повесть о Фроле Скобееве» относится к более позднему периоду); есть, правда, стихотворные произведения¹³⁷. В общем, на обнаружение ярких эстетических явлений надеяться нельзя. Информация о настроениях получается довольно однообразной. Создается впечатление, что не только в начале XVIII в., но уже в конце XVII в. было «не до литературы»¹³⁸.

Больше того. На основании имеющихся источников информация об общественных настроениях конца XVII в. составляет не только однообразная, но и однобокая. Дело в том, что, во-первых, удастся раскрыть социальные настроения отдельных авторов, но не читательской массы: в печатных и рукописных источниках конца XVII в. обращения к читателям обычно слишком общи и традиционны, и в текстах, как правило, уже не чувствуется той заботы о читателе или тех стараний воздействовать на читателя, которые мы наблюдали, например, у Симеона Полоцкого. Было уже «не до читателя». Во-вторых, раскрываются настроения преимущественно верхов общества, так как подавляющее большинство авторов привлекаемых нами сочинений принадлежали к этим верхам или ориентировались на эти верхи. В-третьих, социальные настроения верхов общества определеннее всего устанавливаются для 1682—1683 гг. или для первой половины 1680-х годов, — для времени первого стрелецкого или, точнее, стрелецко-раскольничьего мятежа, потрясшего верхи общества: больше половины собранных источников относится именно к этим годам, образуя компактную группу. Более поздние источники разрозненны, и совсем нет литературных источников по общественным настроениям второго стрелецкого мятежа 1698 г. Состав источников предопределяет ущербность предпринимаемого анализа.

Характеристику общественных настроений конца XVII в. мы начнем с обычной для русских старопечатных книг темы. В старопечатных предисловиях и послесловиях нередко говорилось о советах и совещаниях царя, патриарха и иных важных лиц по поводу составления и издания той или иной книги. Эту тему уже развивал Иван Федоров. В печатных книгах конца XVII в. эта тема приобрела особый смысловой оттенок. Издатели стали усиленно подчеркивать широкую соборность подобных совещаний: «советова, совещаща же синодално... пред всем священным собором... чтоша, при всех российских архие-

реех... соборне исправиша... и руками своими подписавши архиерее суть сии...» (далее следовал длинный перечень подписавших. Устав, 3 об. — 4 об.). Соборы у издателей как бы непрерывно громоздились один на другой, и, хотя авторы не посвящали свои сочинения специально соборам, о чередности соборов в книгах повествовалось долго (Увет, 20—40, 61 и сл.).

Широкие и непрерывные сборища и соборы представляли у издателей как заграда против всякого зла: «совещаша же синодално... дабы... крамола и спона места не имела...» (Устав, 3 об.); «ради совершенного исправления погрешенных вин церковного благочиния» (Увет, 40); «понеже тогда вси архиереи, архимандриты, игумены, священники же и диаконы всего царствующего града Москвы мнози те книги несоша ради правды, еже бы, увидя истину в них, престали того зла» (Увет, 61 об.).

Противостоящие злу соборы означали у издателей, пожалуй, нечто большее, чем заседания по церковнокнижным вопросам. Соборы представляли как воплощение сил добра, объединители всего положительного, центр притяжения людей. Поэтому издатели старательно напоминали о высокой значительности соборов и совещаний: «собра великий собор в преименитый свой царствующий град Москву», «соизволи убо собору быти во царских его палатах» и т. п. (Увет, 20, 40). Поэтому издатели особенно нажимали на архитектурность соборов: указывалось, что «тщатели» «во оном делании время не малое... трудишася» (Устав, 4); описывалась церемония внимательного рассмотрения, чтения, слушания, исправления документов «на вящшее утверждение и подкрепление» добрых дел; издатели все повторяли, что одному, второму, третьему соборному сидению и рассмотрению «не удовлися», «не доволно вмени», а посему следовали еще соборы и рассмотрения (Увет, 26 об., 31 об., 34, 39 об.). Наконец, поэтому издатели отсылали людей к подлинным документам подобных соборов и совещаний: «Аще ли же кто в чесом усумнится, да идет на печатный царскаго пресветлаго величества двор и в его государской в книгохранительной палате самаго преводу и на нем исправления... и указа, како повелесе делати, да посмотрит...» (Толковое евангелие, 6).

Издатели, конечно, говорили не только о соборах, но и вообще о людях, согласных с соборными решениями. Речи о таких людях нередко были рифмованными. Рифмовка проступала неявно, как случайные глагольные созвучия, например: «дабы вси православнии христиано-рос-

сыйстии народи незаблудным и воздержателным жития путем добраго подвига течение совершали, и присноразрешителным ядем и питием, подобие нечинным пением и празднеством, не церковным типическим повелением сотвореным, не внимали, но, да отческим типиколожением последующе, всякое церковное песнопение по типуку совершали» (Устав, 2 об.). А временами рифмовка становилась явственной, что видно по проставленным в книгах ударениям: «И яко же... церковь... от всех христиан содержитя, такожде и zde в российском царстве и древле и ныне красится» (Увет, 10); или рифмовка ясна сразу: «Книгу же сию всяк благоразумный читай в ползе и живи благополучно в лете долзе» (Толковое евангелие, 6 об.). Рифмовкой в данных случаях выражался смысловой оттенок некоей замкнутости, объединения вкупе всех «благоразумных». Недаром ритмом и рифмовкой подчеркивался сбор всех «благоразумных» в единое место:

Убо тецыте, тецыте к нему,
жаждущие, без сумнения.
Отворзен есть кладязь,
изчищен источник,
струи независтны,
вода невозмущена,
течет изобилно,
жажду утоляет,
сердца утешает,
очи просвещает,
грехи омывает,
душы спасает
и вечное в небе царство обещает.

(«Православное исповедание», 7 об.)

Всех «благоразумных» людей издатели были склонны представлять выделенными в цельное собрание.

Еще яснее и эмоциональнее подобное представление о единой массе всех «благоразумных» людей выражалось благодаря риторическим повторам: «Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всем, иже надо всеми и о всех и во всех нас»; «сладко есть видети всюду мир... мног мир любящим церковное благочестие, мног мир последующим и покаяющимся...»; «общий смысл всего

народа и государства, общий в вере святых разум, общее святых отец учение...»; «тамо пастыри... тамо благочестивии православнии цари... тамо вси людие...» (Увет, 2 нenumerованн., 5, 8 — 8 об.).

В представлениях издателей присутствовал сильный элемент противоположения «благоразумных» людей людям «неблагоразумным». Это видно по последовательности риторических повторов: «едину православную веру содержим, яже есть святых апостол, яже есть святых отец, яже есть православных всех, яже есть вера вселенную укрепи. Елицы же тако не мудрствуют, прокляти да будут. Елицы же тако не мудрствуют, далече церкви святых да отженутся. Мы убо древнему законоположению церковному последуем. Мы заповедания святых отец соблюдаем. Мы... проклинаем. Мы... проклинаем. Мы... анафеме предаем» и т. д. (Увет 271—272).

Вполне возможно, что склонность к резкому эмоциональному противопоставительному выделению «благоразумных» людей была свойственна сознанию не только издателей и соответственно общественных верхов, но и всего русского общества конца XVII в. Например, в сочинении старообрядца Евфросина, отнюдь к верхам не принадлежавшего, находим места с длиннейшими словесными повторами и с таким же выделительно-противопоставительным смыслом: «О, елико християне, вонмите и внушите, елицы своему спасению истиннии искателие, елицы евангелския истинны любителие, елицы... послушатели, елицы... пекущися, елицы... верующе, елицы ведать... елицы слышать... елицы... женущии, елицы желают... елицы тщатся... — сии вси zde с нами днесь снитидеся во умное се истязалище...» («Отразительное писание», 7).

Но вернемся к настроениям верхов. Склонность издателей и стоявших за ними верхов к резкому отделению людей «благоразумных» от людей «неблагоразумных» вытекала из представления о разделенности современного русского общества. Это основополагающее представление имело многообразные литературные формы выражения. Придворные авторы конца XVII в., говоря о внутреннем положении России, нередко использовали традиционные, но наполненные новым содержанием сравнения с морской бурей: в России «пагубоблаголивия волны лживых словес воставаху, но о каменную благозакония твердь зле стирахуса тии» (Слово на Никиту, 3); «во всем обладании Росийскаго царствия, яко корабль мирную ладью, да... воспасаем... прогнати, яко веслами беззаконное волнение, да не опровержется... паства волнами

неправды» (апрельская грамота, 167—168); «корабль, волнующийся среди пучины волн» (поучение для патриарха, 498); «паки воздвижесе житейское море бедоносными яростми волны, яже своим свирепым гнева волнением мало-мало не опроверже росийскаго гражданства и царскаго величества само державства» («Созерцание», 94). Волны и твердь, волны и ладья, пучина волн и корабль, яростное море и «самодержавство», буря и нечто, противостоящее ей, — так о России, о ее внутривосточном (а не внешнеполитическом) состоянии сочинители раньше не писали. Придворные авторы конца XVII в. испытывали ощущение глубокой разделенности русского общества.

Конечно, авторы использовали и иные сравнения, менее броские. Например, внутренняя разобщенность в обществе символизировалась образами пшеницы и плевел: «во многоплодном поле... яко плевелы истребляти» (сентябрьская патриаршая грамота, 371). Ощущение разделенности общества было устойчивым. И эту разделенность чувствовали не только верхи. Например, у старообрядца Евфросина, когда он касался той же общественной темы, появлялось сравнение с тем же смыслом: «Но иде же пшеница, ту и терние родится, и звонець и волчець задавляють класы» («Отразительное писание», 9).

О положении общества авторы неожиданно заговорили и стихами в прозе:

Царем ли подобает повиноватися
или за мужики безумными гонятися,
презрев их?
Пастырям ли истинным послушание лучши отдавати
или бесноватым таимичищным врагом внимати?
В пастве ли достоин быти
и под началом
или, яко скоту, без пасения на всякия грехи и своеволю
бродити?
Мудрых ли и разумных слушати достоин
или кто безумствует?
Воздержным ли людем сокровища вверяют
или пьяницам и вертопрахом то предавают?..
(Увет, 72)

Строка положительная — строка отрицательная. Этой формой рассуждений подчеркивалась мысль о раздвоенности общества.

То же впечатление резкой разделенности общества испытывали авторы, далекие от верхов. Например, причисляемый к демократической сатире «Стих о жизни патриарших певчих» также был насыщен построчными противопоставлениями¹³⁹:

Чюжые кровлю кроют, а свои голосом воют...
 Овому честь Бог дарует, овии же искупают.
 Овии трудишася, овии в труд их внидоша.
 Овии скачют, овии же плачют.
 Инии веселяшеся, инии же всегда слезяшеся (235).

Конкретные поводы для настроений у разных общественных слоев выступали разные, но общее социальное впечатление сходилось. Документы признавали: «множатся церковные противники... развратники же святые церкви там умножаются... противники умножились... урстает на святую церковь противление...» (ноябрьское постановление, 109, 110, 117). Авторы сочинений отмечали «многия разности и несогласия и от того смущение и... бываемую молву» (Устав, 3); «велия беды, величайшая напасти, многия раздоры и нестроения» (Увет, 3); «в нынешнее злолютством кипящее время от злых человек» (послание патриарха Иоакима, 143).

С конца же 1680-х годов все авторы повторяли бесконечно: «ныне суть великия... вражды и беды несказанныя и злыя друг на друга вымыслы», «великия пакости и нестроения и разрушения», «смута и мятеж в государстве делается» («Созерцание», 18, 27, 38 и мн. др.); «в царствующем граде Москве... крамолы и мятежи творяше и ереси всеваше» (постановление до 1689 г., 338); «творят ненависти друг друга, распри, раздоры, свары, нестроение, мятежи и всяку злую вещь... в российском народе между человеки ненависти соделаша, несогласии устроиша ко распрям, раздором и мятежом (избави, Боже, от браней и кровопролития)...» («Известие», 40); «свары и распри, вражды и ересь...» («Слово поучателное», 116)¹⁴⁰. Старообрядческие писатели не отставали от писателей придворных в подобных жалобах: «...много смятения о том в народе... сомнение и мятеж в наших душах христианских» («История», 133).

С конца 1680-х годов представления авторов о раздробленности общества усугубились; в России, судя по авторским высказываниям, ссорились все со всеми: «начаша люди зело ради неправд и нестерпи-

мых обид себе стужати и друг на друга глаголати, яко той неправду дает, иный на того, наипаче же на временников и великих судей и на начальных людей» («Созерцание», 37); «словесы ласкаем, но дела снедаем всех люте» («Рифмы», 89); «паче день дне и час часа... между духовными и мирскими людми то умножают» («Известие», 40).

Усилившееся ощущение враждебности социальной обстановки испытывали авторы не только близкие к верхам, но и из других общественных слоев. Недаром старообрядец Евфросин не без иронии, но и не без ожесточения заменял образ спора с противной стороной образом сражения: «Жестоко ты рыкнул, яже zde азъ услышалъ. Звягомая вамъ песня во уши наши вниде. Дано ти было время, да покаешися о своемъ деле, а понеж отринул и к правде не возникнул, ступай же в поле сечися с сопротивуборцемъ... лукъ к бедре повешай, копие же скоряе в руку, щитом заслонися, конем в рати несися, стреляй, прободай, ногами потопай, аще еси силенъ, и в смерть уязвляй» («Отразительное писание», 4; ср. еще 7, 25, 28 и др.).

Разделенность общества в некоторые моменты ощущалась как распад общества. В большом летописном «Описании о сем, еже содеяся грех ради наших по преставлении царя Феодора Алексеевича всея России во царствующем граде Москве, колико бысть смятение и убийство между собою православных хрестиян в народе» приводились знаменательные слова стрельцов к властям: «Мы, рече, и сами, взяв жен своих и детей, пойдем из государства вон... А когда вам надобны воры, и вы с ними оставайтеся в государстве своем. Мы же и сами пойдем в иное царство...» («Летописец», 197). Показательно, что в печатной книжечке, содержавшей службу, житие и поучение об Иоанне Воине, автор чрезвычайно часто возвращался к одной и той же теме: он обличал «зломысленных рабов бегство», «злобных рабов бежание», «зломысленне рабов от господей бегания», «суетное и злокозненное рабов и рабынь от господей бегание», «бегство человекоев служащих из полков или из домов или из вотчин» и т. д. (Служба, 1 об., 2, 7 об., 16 об., 60 и др.)¹⁴¹. Таковы были основные формы выражения писателями конца XVII в. их ощущений, впечатлений, представлений о разделенности современного им русского общества.

Писатели резко разделяли, с их точки зрения, «благоразумных» людей и людей «неблагоразумных». Тьма эпитетов обрушивалась на головы противной стороны: «злые человеки», «мятежники святыя церкви», «крамолники», «самоуверенные», «самоувереннии же и своео-

бычнии и само волнии человецы», «вредословцы и возмутители» и пр. Это самые частые прозвища раскольников и бунтовавших стрельцов верхами общества только из двух книг 1682 г. — «Слова на Никиту Пустосвята» и «Увета духовного».

Рельефный обобщенный облик толпы «мятежников» и «крамолников» был выработан в верхах общества довольно быстро. Это видно по капитальным перечням запретных действий в грамотах — плодам типизаторской работы верхов, например: «многолюдством и с невежеством и с шумом не приходите и никакой наглости не чинить... о всяких делех бить челом вежливо и нешумко, и ни на кого ничего не затевать, и ничем ни к кому не приметываться, и не клепать... и ни в какие чюжие дела не вступаться никоторыми делы... собою ни с кем не управляться... людей и крестьян... свойственниками их не называть»; о смуте «не токмо говорить, и мыслить не надобно»; еще хуже «буде кто... прежние дела учнет хвалить» (октябрьские указные статьи, 386—387).

Противная сторона в поучениях конца XVII в. выступала обязательным, predetermined источником зла; отсюда вопросы и неуклонные ответы авторов: «Кто брань воздвиже? — Самозаконный. Кто смущение и в людех крамолу сотвори? — Самозаконный и своевольный. Кто упивается и ум свой богодарованный... погубляет и кто святую церковь презирает и ей не покаряется? — Все самозаконный» (Увет, 3 об. — 4). В процитированном отрывке из «Возглашения увещательного» патриарха Иоакима, напечатанного в «Увете духовном», упоминание об упивающихся да и вся конструкция вопросо-ответов, вероятно, восходили к соответствующему месту старинной «Повести о Хмеле» и тем способствовали лепке облика «злых человеков» конца XVII в.

Выделение «злых человеков» в единую группировку у писателей, выражавших представления верхов общества, подчеркивалось также и теми средствами, которые использовались для выделения людей «благоразумных», — риторическими повторами и рифмовкой: «А которым сообщник кому в коих делех бывает, той с оным в тех делех и воздания участник бывает... Таковии бо воистинну не суть сынове церкви, не суть государям своим вернии слуги, не суть благочестию помощницы... не сопротивляются... не заступают... не болезнуют... не творят» (Слово благодарственное, 97—98, 102—104).

Но особенно едко писатели отделяли «злых» людей от «благоразумных», когда заговаривали о невежестве. Невежество объявлялось кардинальным признаком противной стороны. Этот порок врагов мастер-

ски выставлял и обличал в свое время Симеон Полоцкий. А в конце XVII в. обвинения в невежестве получили грандиозный размах. Раскольники и бунтовщики характеризовались у писателей прежде всего как «безумные человеки», «неразумливи человецы», «неискусные человеки», «глупые», «малоумные люди», «неученые люди», «грубии», «безразумны», «малосмыслящий», «не верящий божественнаго писания», «словес силы не разумеют», «не уведевше силы словес», «не знающие писания», «писания не умеющие», «ничего не знают». Ругательства так и сыпались: «невегласы», «невежды», «прости невежды», «оные расколники грубые мужики», «мужики-пропойцы и бесноватыи неуки», «простолодини и незнающие», «неуки, простаки непосвященный», «мужички-орачики», «пустачи». Их мысли и писания обзывались соответственно: «срамный их ум и лестное учение», «бабии басни», «безумие», «мракодержимая словеса», «безумные писма», «неразумие», «безумство», «паучинное их тканье», «скудость ума», «глупство», «грубость и глупость», «невежество», «несмыслство», «разума неимение», «простые разглагольства и шутства», «безделство и своеумие». (Приведены выражения из «Слова на Никиту», «Устава», «Увета», сентябрьской патриаршей грамоты, «Книги приветство», «Слова благодарственного», поучения для патриарха, «Созерцания», «Известия», «Щита», «Православного исповедания», «Толкового евангелия», а также из «Отразительного писания».)

Невежество своих противников верхи общества превращали в абсолютно непреодолимое качество: «и таким неуместным слепцом и невегласом писания божественных книг знати есть невозможно», «таким невеждам... полагаги разсуждения не подобает» (Слово на Никиту, 7, 29—29 об.); «не лучилося им грамматического, не токмо философскаго и богословскаго, учения видати, знати же — ни» (Увет, 264 об.); «не могут право разсуджати» («Созерцание», 92); «яко святыи апостол вещаше: не во всех бо есть разум»; «сам же малосмыслящий и не учився да не разсуждает безделством и своеумием» (Толковое евангелие, 3, 6). Подобные же отсекающие утверждения, в свою очередь, использовали и старообрядцы: «Не могут они окаянники книжных словь разобрати, когда можеть слепая узоры вышивати» («Отразительное писание», 87—88). Рассекание общества на взаимоисключающие группировки возобладало в умах.

Господствовавшее в верхах и низах умонастроение разделенности общества сопровождалось комплексом дополнительных социаль-

ных чувств. Верхи отдавали себе отчет, что «простолюдины, не ведая истинного писания», «такожде неразумии суще»; что «злии человецы... учат невеждей и простых людей»; «простой народ возмутили», «блзнии испустиша в простой народ», «яко и мужик вереща песнь ину»; что «безумнии неведгласи-мужики, иже не знают истинно и аза, с ними же», то есть со «злыми людьми»; что «болшая часть не наказанных поселян в них»; что с ними «и инии невежди-миряне и неуки, самая худья люди и ярыжныя з кабаков пропойцы» (ноябрьское постановление, 117; Слово на Никиту, 3 об., 25 об.; Увет, 57 об., 64, 13; «Книга приветство», 19; Слово благодарственное, 42; «Созерцание», 59; и др.).

И вот чувства: верхи желали как можно дальше отодвинуться от «невежд» и поэтому давали себе волю в унижениях. Уничужительность могла быть не очень заметной, когда писатели бегло касались мнений «невежд»: «На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадех и на листах и в столбцах выписки, имянуя из книг божественнаго писания...» (ноябрьское соборное постановление, 117); «мнози неразумливии человецы всякаго чина — священники, монахи, и прости, по монастырям и пустыням, во градех, по (так!) домах прелестишася, мнящеся быти во святом писании разумни»; «яко бы лучше хочет написати, а разумом своим не может того слова ради неискусства познати» (Слово на Никиту, 57); «мнятся мудри быти» (поучение для патриарха, 258); «мнящимся неким ведение закона и писаний имети» («Щит», 498). Так же не силен был тогда и саркастический оттенок: «не ведяще яже глаголют и о чем утверждаются» (Слово на Никиту, 3 об.); «не разумею ще ни яже глаголют и ни яже утверждают», «и что глаголют и что пишут, — не знают» (Слово благодарственное, 35., ср. еще 37).

Намеренное унижение становилось явственным, когда писатели приступали к разбору речей и писаний раскольников и мятежников. Рисовались комические сцены их полнейшей неосведомленности: «Иже вопрошени быша о вере: Что есть вера? — И они ея не знают. Вопрошени о книгах: Кия новья книги и кия старья и что писано? — Отнюд не разумеют»; «вопрошени же: Что есть вера и кая старая в новая? — Ничего не знают» (Увет, 13 — 13 об., 65 об.); «Что есть вера и кая старая и новая? — И они... сказаша бо, что ничего не знают» («Созерцание», 86); «глаголют... яко бы zde, в российской церкви, училилася вера новая, а кая новая вера и что есть вера, — того не знают» (Слово на Никиту, 5 об.). О том же в ином, гротескно-высоком стиле: «Воздуваху скверными усты лживья ветры учения и, яко пеною теку-

щими, безгласием противу истины связаны, демонствуемыми же, упором скрежещуще зубы, оцепенеша» (Увет, 16 об.).

Саркастически цитировались речи противной стороны: «И еже бы перво что съделано и болши бы того ненадобно» (Увет, 260); «Тогда и тогда пиян бех и похвалихся без ума и церковное торжество во праздники Господня проспях»; «Како сей чин в церкви и для чего творится тако? Несть в том ползы: человек сие содела; без того жить мощно» (поучение для патриарха, 258).

Ход мышления противной стороны представлял странным, «вещающа странная ушесам человеческим»: «Кричаще: “Победихом, победихом”, — а что — неведомо что» (Увет, 54 об., 69); мысли противной стороны показывались сбивчивыми: «ово не в том разуме... полагают, ово лукаво толкуют, ово точию начало емлют, ово средину, ово конец»; утверждения представляли не соответствующими друг другу: «Глаголют... яко уже ныне антихрист в мире, друзии же глаголют, яко уже и царствует; инии глаголют, яко вскоре иматъ православных рабов христовых мучити»; высказывания противной стороны представляли алогичными: «Начаша всех нас, правоверных, нарицати не православными христианы, но еретиками и богоотступниками, и церкви святыя не церкви глаголюще, но простыми храминами и конскими стоялищи» и т. д. (Слово благодарственное, 73, 77, 39; ср. еще: Слово на Никиту, 6 об., 28 об.; Увет, 12 об. — 13, 54 об. — 55; «Созерцание», 77; «Известие», 72 и др.).

Да и что требовать с них, если это все «неуки-мужики и бабы говорили невозбранно, собиралися бо... все мужики простыя купами» («Созерцание», 76); «и не токмо мужие, но и жены и детищи испытнословят... у мужей и жен то и слово» («Слово поучительное», 3 — 3 об.).

Обычные места сборищ противной стороны говорят сами за себя: «Злии человецы, иже по дворах, истиннии суще волки, тайно ходяще», «из лесу и ис кустов приходяще» (Слово на Никиту, 25 об, 29 об.); «паки ис кустов и от ветров»; «они расколники живуще по кустам, по лесам и по дворам всякого чина люди духовнаго и мирскаго»; «бродяги» «в лесу и щелях содержатся... в дебрях непроходных и незнаемых» (Увет, 54, 56 об., 63 об., 72 об. — 73 и др.). Раздраженное презрение к низам явилось одним из ведущих социальных чувств верхов общества в конце XVII в.

Но аналогичные чувства не были чужды и низам. В разных слоях русского общества конца XVII в. существовал определенный параллель-

лизм чувств. Например, старообрядцы испытывали сходное презрение к «невеждам» — к отделившейся от них секте «капитонов». Обильно отразилось это ироническое презрение в сочинении Евфросина: у «капитонов» «в огонь да в воду толко и уходу»; «тетратки свои чтучи, Евангелия не весте»; «а то вы, бедныя, вси на тетратках пали, а книги все попрали»; «а мужик тот, што мерен-дровомеля деревенской... вякаеть и бякаеть»; «вякает, бедной, что кот заблудящей»; «яко ершь из воды, выя колом, а глава копылом, весь дрожа и трясыяся... брада убо плясаше, а зубы щелкаху»; «ки скакал ты, веселяся, на одной ношке вертяся» и т. д. и т. п. («Отразительное писание», 38, 42, 44, 49, 51, 57 и др.). Игрой слов выражалось представление о полной никчемности «капитонов»: «И ты-су Данило Шунской, шумитель, полно шуметь»; «проповедник Назарь пришествие намь сказаль» и т. д. (46, 51 и др.). Не забыто было и уничтожение «капитонов» местом их деятельности: «а сама “из свинарника в свинарник и по хлевамь все быраешь”» (слоняешься); «достойни они окаянии со свиниями жировати» (58, 83).

У общественных низов тоже проявлялись презрение и сарказм по отношению к верхам. Правда, примеров этого сохранилось мало. Но вот некоторые из них. В старообрядческой «Истории о вере» Саввы Романова не без иронии отмечалось: «ки бросилс из кута холмогорский епископ пустобородый... и нача громко говорить, а речей не слыхать»; передавался отзыв стрельцов о властях: «Добром с ними не разделаешся, пора-де опять за собачьи кожи приниматься» (138, 147). В антистарообрядческом «Щите веры» не без причины начислялся раскольникам еще один грех: «осмеяюще предания церкви» (498). Произведение демократической сатиры — «Калязинская челобитная» — еще пример тому. В разных общественных слоях конца XVII в. ощущению резкой разделенности общества неизменно сопутствовало в той или иной степени презрительно-ироническое отношение к противоположной социальной или идеологической группировке.

Комплекс социальных настроений конца XVII в. включал еще одно распространенное чувство. Особенно оно было характерно для верхов. Судя по обобщающим формулам и определениям в сочинениях, верхи постоянно чувствовали острую враждебность низов, их «злое умышление», «безумное невежливое прекословие», «злое безумство и упор», «буесть и невежество»; верхи видели в низах «злоделцев, беднеся взносящих и о господстве зело не радящих»; верхи знали, что низы «всем ученшым себе людем не благожелателствуют», что они «великих

государей указом во всем чинятся противны», «бьют многих знатных и честных людей...», что «уже бо в царствующем граде гнев Божий от налогов начальных и неправедных судов возгаратися нача и мысли у людей такожде начата развращатися», что «служивыя... возсвирипели тако, яко никому же дающе с собою и глаголати», что низы «возмущают все государство»; верхи считали, что низы хотят «властей поставить, кого изберут народом», «для того, чтобы им Московским государством завладети», что «тщухаюся безумнии и глупии государством управляти», «невегласом-мужиком владети или началствовати людми разумными и величайшим господам и самодержцам всего многонародного государства указывати» (июньская челобитная, 360; Слово на Никиту, 23 об., 25 об., 26 об.; Увет, 68 об.; сентябрьское письмо, 369; сентябрьская окружная грамота, 373, 375; «Книга приветство», 19; «Созерцание», 40, 57, 58, 119; «Известие», 41).

Понимание верхами социальной опасности рождало на первых порах внешне решительные рифмованные угрозы: Бог «вредословцем и возмутителем тщетновозносимыя на ню гордостным беснованием ломит роги, но и текущая на зло ноги, яко вдавшесе суете и не сташа на правоте благочестия»; «сокрушал бо и сокрушит проклятым лжесловцем не токмо зубы, но досады вещающъ изрежет язык и губы» (Увет, 6 об., 244). Но затем такие угрозы больше не повторялись, а сменились многочисленными призывами к уклонению от инакомыслящих, не к бою с ними: «от таковых прелестников сообщения и собеседования, яко от змий, бегайте и от учения их прелестнаго, яко от яда смертоносна, гонзайте... и в дома их себе не приемлите и к ним не входите, но весма, яко от смертоносных язвы, уклоняйтесь» (Слово благодарственное, 85—86). Сами названия полемических противораскольнических книг имели в первую очередь скорее оборонительный, чем наступательный смысл — «Остен», «щит веры»: «аще же Остну сему напрутся кто-либо, той, яко саул, прободется, и, яко арий, он разядется, и, яко Иуда-предатель, излиет внутренняя своя» («Остен», 424); «книга Щит веры... иже защищает... от ражженных лукаваго стрел, пушаемых на святую восточную церковь... Сим Щитом, читателие православнии, от блядословцов защищайтесь...» («Щит», 502). В конце XVII в. верхи по своим эмоциям больше находились в обороне, чем в наступлении.

Сравнения, которые использовались в документах и сочинениях конца XVII в., таят отражение существенного оттенка «оборонительных» социальных чувств писателей. Например, в одной из царских

грамот говорилось о стрелецком мятеже 1682 г., что стрельцы делали то, «чего и босурманя творити страшатся, и побиша бояр наших, и думных, и ближних, и иных чинов многих людей, над теми побитых телеса паче босурманов поругающесея» (сентябрьская царская грамота, 373). Стрельцы казались более чуждыми и опасными, чем босурмане. Летописное же «Описание о сем... колико бысть смятение и убийство» в Москве так изображало мятеж 1682 г.: «стрельцы и салдаты, диявольским наветом колеблющесея, яко волны морския, возшумеша и устремишася, яко зверие дивии»; «внидоша же и в царский дом за преграду, по всем царевым палатам, яко на приступ»; «зле вопиюще, яко волки ревуще» («Летописец», 192, 194, 196). Аналогично в «Созерцании кратком»: «И начаша паче волны свирепства народного воздвизати и шум, аки вод многих, умножати»; «готовящесея, яко лвы на лов» (82, 112). Между летописным «Описанием» и «Созерцанием», вероятно, были текстуальные связи, но авторы вряд ли ограничивались только заимствованиями. «Созерцание» содержит и уникальный образ закипающего народного гнева: «яко котел, вреющий дров, под гнетою паче врети начинает, тако сердца своя гневом... паче и паче огонь ярости умножати и гнев их свирепства воспалитися, и от того zelo острожелчия их пламень гнева возвысися» (51). Эти сравнения выдавали уже не презрение верхов к низам, а лаконично выраженный страх перед низами.

Сочинения и прямо указывали на страх: «и бысть на всех властей страх» («История», 130); «яко в страсе вси и близ смерти быша» («Книга приветство», 19); «кто уже убо ону нужду, страх и трепет, во оно время бывшу в Москве, повествовати возможет?» («Созерцание», 77); «не имать быти безстрашен приятель от приятеля, товарищ от товарища...» («Известие», 1). Более расплывчатых же признаний в страхе «со жалостию велиею» не счесть: «трудности», «бедно терпети», «скорби», «напасти», «туга» и т. д.¹⁴²

Относительный лаконизм большинства соответствующих сравнений у писателей объясняется тем, что они вспоминали о событиях уже прошедших, о страхе пережитом. Но и после острых событий, после подавления мятежа страх все-таки точил их душу: «А злоба еретическая между православными множитися и ширитися, яко лютый недуг, глаголемый гаггрена, все тело церкви святых мало по малу обкружавает и изъедает» («Щит», 500).

Страх способствовал появлению у верхов целой гаммы минорных настроений. В природе стали видеть почти одно только зловещее

и печальное. Если в благополучные 1620-е годы приход комет толковался благополучно же, то в конце XVII в. — все наоборот: «Лета 7189-го году на Московском государстве бысть знамение велие: на небеси явися против самой Москвы на зимней запад звезда... хвост у нее велик, стояще хвостом на Московское государство... Мудрые ж люди о той звезде растолковаху, что та звезда на Московское государство стоит хвостом не к доброму делу. Так и учинилась. О той звезде толкуется: “А на кои государства она стоит хвостом, в тех же государствах бывает всякое нестроение и бывает кровное пролитие многое и междуусобныя брани и война великие меж ими”. Тако же и збысться в Московском государстве: от стрельцов и от салдатов учинилося смятение великое...» («Летописец», 173). Евфимий Чудовский в своем стихотворении на ту же комету в декабре 1680 г. сказал примерно то же самое:

Комита, егда в небе видена бывает,
Ни кое благо быти на земли являет,
Токмо гнев Божий и казнь людем возвещает... (596).

Авторы с особой значительностью стали описывать плохую погоду, бури: «В сий же час возмутишася челоvenceы и сотвориша кровопролитие, и того времени вся тварь не возможе зрети, на земле солнце облаки закрыся и теплота в хлад претвореся... и солнечная теплота пременися во хлад и небеса облаки закрышася в то время, в не же возмутишася людие»; «в та времена... хладными облаки покрыся небо, солнце на землю не сияше и ветры зело хладны быша» («Летописец», 192, 198); «тогда... зима люта... воста, яже роди прелютыя облаки уныния... и бурю мятежей и отчаянная страхования презелно возстави... воздух мраки и мятежи исполняшеся...» («Созерцание», 158). Буря в обществе сливалась с бурей в природе. Впервые в русской литературе эти две стихии были объединены с такой четкой, нарочитой ясностью: не для меланхолического параллелизма, а для выражения ощущения страшного вселенского «смущения» мира, в котором даже облака назывались «смущенными».

Страх, минорные настроения рождали у верхов подозрительность, неверие в хорошее у человека: «Человек же кладязь преглубокий сущ, не скоро подает действие своих дел знаки явные и несумнительныя его склонности... и неудобно объявляется внутрь живущее его изволение» («Известие», 34). Настроениям верхов конца XVII в. не позавидуешь.

Однако и низы испытывали в какой-то мере сходные чувства: они, по словам старообрядческой «Истории о вере», стали «опасны, потому чтобы вымыслу и коварства какого не было над нами» (134); они опасались, что верхи «будут царством владети паче прежняго и людми мять и обидети бедных и продавать» («Летописец», 189). Придворные писатели подтверждали: «Тако то время исполнися злога, яко страх обят нища и убога» («Книга приветство», 20); «ибо и воздух во оное время пременяся тихости и воздвижесе буря ветрена зело и облаки мрачны ношахуса, народу вящий страх деюще»; «страх и невинным людем всякого чина»; «ибо люди единыя державы... едини единих боятся: служивыя — боярских холопей, бояре и холопи — служивых, посацких же и иных чинов, всякия люди отвсюду и всех боятся» («Созерцание», 52, 94, 111).

Конец XVII в. в России отличался выразительным набором отрицательных социальных чувств и умонастроений: ощущением резкой разделенности общества, презрением каждого общественного слоя к противоположной общественной группировке и одновременно страхом и унынием. Сформировалась целая поэтика хулений.

В самом конце XVII в. в верхах эпизодически проявлялось желание смягчить нараставшую социальную напряженность. Первой ласточкой явилось обращение писателей к «обыкновенной в людех пословице» (Увет, 84, 260 и др.), к тому, какая «в жителстве убо человекво общая пословица носится» (поучение для патриарха, 258), к утверждениям, что «в правду збывалася тоя пословица в людех» («Созерцание», 94). Цитируя пословицы довольно часто, придворные писатели и издатели как бы начинали подыгрывать массовому читателю.

В «Созерцании кратком» вдруг высказывалась примирительная мысль: «и никто един благороден без единого мнимаго и меншаго жити возмогает», а поэтому надо «дело государево строити без гнева и ненависти» (19). Но сказано это было мельком. Более ощутимую перемену тона показала полемическая «Книга о пресуществлении тела и крове Христова», составленная Афанасием Холмогорским в 1688 г. Проявивший себя острым и беспощадным полемистом несколько лет тому назад, Афанасий теперь успокоительно обещал: «Яко же мяккою некоею губою, теплу воду и чисту имущю, сице реченная вся омываем, потщимся утолити тех надмение и напыщенно очищати все»¹⁴³.

Но с особенно искренним старанием хотел уравнивать-примирить знатных и незнатных, богатых и убогих автор стихотворного произ-

ведения 1691—1692 гг., которое называлось «Рифмы красосогласнии о прелести суетнаго сего мира... изъявительны бедств, кая зла страждут в мире сем живущии сановитии-богатии и убозии людие. Вразумительно чтый сия, велие умиление и ползу обрящет». Заглавие ясно раскрывало «умилительный» замысел произведения. Те же мысли о равной доле и общности бед богатых и убогих многократно варьировались в произведении:

Днесь повелителя
Тя и властителя
Славна творит многим.
Утре со убогим
Равняет...
Иде же вси славни?
— Худородным равни.
И домов владыки?
— Почтены суть с лики
Убогих!..
Поне бедства многа
Снедают убога...
Сущым в славном чину
Безпокойство в ыну
И опасение...
И купецка чина
Сущих всех кручина,
Скорбь, туга снедает... (87, 90, 91, 92).

В другом списке этого необычного произведения добавлялись еще примирительно-«умилительные» строки к читателю:

Вем, яко обрящеши ползу в них всем многу —
Властелину богату и мужу убогу...
Ты, о благочестивый сих рифм читателю...
Умягчи прежде ниву внутрь сердца своего (93).

Произведение действительно уникально по отчетливому тону потерянности и миролюбивости¹⁴⁴. Но все-таки оно не одиноко. И позже тема социального примирения всплывала вновь и вновь. Например,

в печатном «Слове на Иоанна Воина» 1695 г. предлагалось делать некий шаг навстречу друг другу: «Сего ради непрестанно в доброе и полезное обучатися и сами, и в дому сущыя дети, и рабы, и подданныя в строение и в помощь порученныя люди всякаго добронравия должны наказывати»; «сего ради должно, должно всякой души — малому человеку и великому, мужу и жене, отроку и деве, рабу и господину, госпоже и рабыне...» (Служба, 64 — 64 об., 67 об.). Подобное тяготение к уменьшению социальной напряженности входило в ту эмоциональную «оборонительную» позицию, которую волей-неволей заняли верхи общества в конце XVII в. Но на их туманной мечте о социальном мире лежал налет очень знакомой насильственности: «И добродетель добродетели, яко некая верига или цепь членоскованая держится» («Служба», 65). Нет, эмоциональное напряжение, настроения ожесточенности оставались в силе, и их смягчения не предвиделось.

Примечания

¹ Цветная триодь. М., 1591. Л. 246 об. — 247; Октоих. М., 1594. Ч. 1. Л. 491; Евангелие. М., 1606. Л. 258.

² Цитируемые старопечатные издания (по хронологии выхода): 1) Цветная триодь. М., 1604; 2) Апостол. М., 1606; 3) Евангелие. М., 1606; 4) Постная триодь. М., 1607; 5) Служебная миная: сентябрь. М., 1607; 6) Служебная миная: октябрь. М., 1609; 7) Общая миная. М., 1609; 8) Церковный устав. М., 1610; 9) Служебная миная: ноябрь. М., 1610; 10) Никита Фофанов. Предисловие или послесловие. Нижний Новгород, 1613; 11) Псалтырь. М., 1615. Указываются листы перечисленных изданий. Штриховое цинкографическое воспроизведение сочинения Никиты Фофанова см.: *Зёрнова А. С.* Памятник нижегородской печати 1613 года // Сборник публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1928. Т. 1. С. 87—99; фотовоспроизведение под наблюдением Ю. А. Лабынцева см.: *Русская старопечатная литература: (XVI — первая четверть XVIII в.).* М., 1981. Т. 1: Тематика и стилистика предисловий и послесловий.

³ Об источниках фофановского сочинения см.: *Зёрнова А. С.* Указ. соч. С. 58—86.

⁴ Цитируемые произведения: воззвание Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, первое и второе — ААЭ. Т. 2; воззвание москвичей в российские города о борьбе с интервентами — ААЭ. Т. 2; грамота Василия Шуйского к солигаличским жителям — СГГД. Ч. 2; грамота Дионисия и Авраамия Палицына ко всем ратным людям — ААЭ. Т. 2; грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам — АИ.

Т. 2; грамота смольнян к москвичам — СГГД. Ч. 2; грамота ярославичей к казанцам — СГГД. Ч. 2; «Иное сказание» — РИБ. Т. 13; «Новая повесть» — Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Российском царстве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960; «О бедах, скорбех и напастех» — Псковские летописи / Изд. подгот. А. Насонов. М.; Л., 1941. Вып. 1; «О изведении царского семени» — Кукушкина М. В. Неизвестное писание о начале «Смуты» // ТОДРЛ. Т. 21; «Плач земли Российской» — Перетц В. Н. К истории древнерусской лирики: («Стихи умиленные») // Slavica. 1932. № 3—4; «Плач о пленении» — РИБ. Т. 13; «Повесть, како отомсти» — Буганов В. И., Корецкий В. И., Станиславский А. Л. «Повесть, како отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени // ТОДРЛ. Т. 28; «Повесть о видении» — РИБ. Т. 13; «Повесть о некоей брани» — Белоброва О. А. К изучению «Повести о некоей брани» и ее автора Евстратия // ТОДРЛ. Т. 25; «Повесть о преставлении Скопина-Шуйского» — РИБ. Т. 13; послание Гермогена об исправлении церковного пения — Творения святейшего Гермогена, патриарха московского и всея Руси. М., 1912; послание Гермогена против гадательных книг — Корецкий В. И. Послание патриарха Гермогена // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1975. М., 1976; «Сказание о крестьянском сыне» — Демкова Н. С. Фрагмент «Сказания о крестьянском сыне» в записи 1620 г. // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции. М., 1976; царская грамота об исправлении «Потребника» — ААЭ. Т. 3.

⁵ См.: Назаревский А. А. О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев, 1961.

⁶ Платонов С. Ф. Сочинения. СПб., 1913. Т. 2. С. 146.

⁷ См.: Доброклонский А. Руководство по истории русской церкви. М., 1889. Вып. 3. С. 225—226, 233.

⁸ Яковлев А. «Безумное молчание». (Причины смуты по взглядам русских современников ее) // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому... М., 1909. Ч. 2. С. 652, 675.

⁹ Долинин Н. П. Развитие национально-политической мысли в условиях крестьянской войны и иностранной интервенции в начале XVII века // Научные записки Днепропетровского университета. Киев, 1951. Т. 40. С. 116.

¹⁰ Маковский Д. П. Первая крестьянская война в России. Смоленск, 1967. С. 480.

¹¹ Церковь в истории России: (IX в. — 1917 г.). Критические очерки. М., 1967. С. 139. Раздел написан В. И. Корецким.

¹² Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: период феодализма. М., 1977. С. 105.

¹³ *Тазбир Я.* Общественные и территориальные сферы распространения польской реформации // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. М., 1976. С. 116; см. также с. 123.

¹⁴ *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970. С. 14.

¹⁵ История русской литературы. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 278. Раздел написан В. П. Адриановой-Перетц.

¹⁶ Цитируемые старопечатные издания: *Минья 1618* — Общая минья. М., 1618; *Минья 1619* — Служебная минья: сентябрь. М., 1619; *Минья 1620* — Служебная минья: декабрь. М., 1620; *Псалтырь 1625* — Псалтырь с воследованием. М., 1625; *Триодь 1630* — Цветная триодь. М., 1630; *Октоих 1631* — *Октоих*. М., 1631. Ч. 1. В остальных случаях краткие обозначения изданий совпадают с их названиями.

¹⁷ Цитируемые грамоты и послания: «Соборное изложение» — Мирской потребник. М., 1639; грамота 1622 — СГГД. Ч. 3; грамота 1623, грамота 1632, память 1636 — ААЭ. Т. 3; послание о мздоимстве — *Демин А. С.* Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI—XVII вв. // ТОДРЛ. Т. 21; «Сказание о Петре Волосском» — Сочинения Ивана Пересветова / Изд. подгот. А. А. Зимин. М.; Л., 1956.

¹⁸ Цитируемые летописи: «Хронограф» 1617 — РИБ. Т. 13.; «Есиповская летопись» — Сибирские летописи / Изд. подгот. Л. Н. Майков. СПб., 1907; «Новый летописец» — ПСРЛ. Т. 14; «Бельский летописец» и «Московский летописец» — ПСРЛ. Т. 34; «Мазуринский летописец» — ПСРЛ. Т. 31.

¹⁹ Цитируемые исторические сочинения: «Временник» — *Временник Ивана Тимофеева* / Изд. подгот. О. А. Державина. М.; Л., 1951; «История» — сказание Авраамия Палицына / Изд. подгот. О. А. Державина и Е. В. Колосова. М.; Л., 1955; «Сказание» о книгопечатании — У истоков русского книгопечатания / Текст памятника подгот. Т. Н. Протасьева. М., 1959; «Словеса», «Иное сказание», «Повесть книги сея», «Повесть о Димитрии», «Повесть о мнисе», «Житие Димитрия» — РИБ. Т. 13.

²⁰ Цитируемые повести: «Повесть о Еруслане» — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859. Т. 2; «Повесть о разуме» — *Скрипиль М. О.* Неизвестные и малоизвестные русские повести XVII в. // ТОДРЛ. Т. 6; «Повесть об Улиянии» — *Скрипиль М. О.* «Повесть об Улиянии Осорьиной (Комментарии и тексты) // ТОДРЛ. Т. 6; Датировку «Повести о разуме» см.: *Пушкарев Л. Н.* «Повесть о разуме чело-веческом» // ТОДРЛ. Т. 14. С. 325.

²¹ Цитируемые песнопения: песня о Филарете — *Симони П. К.* Великорусские песни, записанные в 1619—1620 гг. для Ричарда Джемса на край-

нем севере Московского государства. СПб., 1907; стихиры о ризе — Служба на положение ризы, еже есть хитон великаго Господа Бога и спаса нашего Исуса Христа. М., около 1625; «покаянны» о Кремле и о Шеине — *Мальшев В. И.* Стихотворная параллель к «Повести о Горе и Злочастии» (Стихи «покаянны» о пьянстве) // ТОДРЛ. Т. 5.

²² Цитируемые стихотворные сочинения: «слововещания» и сочинение против ересей — *Савва В. И., Платонов С. Ф., Дружинин В. Г.* Вновь открытые полемические сочинения XVII века против еретиков // Летопись занятий Археографической комиссии за 1905 год. СПб., 1907. Вып. 18; послание Стефана — *Голубев И. Ф.* Два неизвестных послания первой половины XVII в. // ТОДРЛ. Т. 17.

²³ *Пушкарев Л. Н.* Указ. соч. С. 325.

²⁴ *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 70; *Пушкарев Л. Н.* Указ. соч. С. 325.

²⁵ *Поршнев Б. Ф.* Социально-политическая обстановка в России во время Смоленской войны // История СССР. 1957. № 5. С. 117—118.

²⁶ Там же. С. 118, 140.

²⁷ *Рыков Ю. Д.* Послания Курбского Ивану Грозному // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 276.

²⁸ Об осознании авторами сочинений о Смуте значения народной молвы см.: *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 19—20.

²⁹ *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 395.

³⁰ О добавлении этих сетований именно в 1620-е — 1630-е годы см.: *Зимин А. А.* Сказание о Петре, воеводе Волосском // Сочинения Ивана Пересветова. С. 338—339; *Он же.* Комментарии // Там же. С. 354—356. Ср. также «Повесть о бражнике»: «Не апостольское и не царское достоинство, а человеческое — вот что утверждала “Повесть о бражнике”» (*Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России: период феодализма. М., 1977. С. 162).

³¹ Об этом см.: *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси. С. 6—24.

³² *Черепнин Л. В.* Земские соборы русского государства в XVI—XVII вв. М., 1975, с. 233—234.

³³ *Берх В.* Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междоусобицу. СПб., 1832. Ч. 1. С. 117—119.

³⁴ *Смирнов П. П.* Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 358, 359.

³⁵ Там же. С. 393.

³⁶ Там же. С. 358.

³⁷ Там же. С. 411.

³⁸ Об этом см.: *Поршнев Б. Ф.* Указ. соч. С. 123—125, 130—132, 134.

³⁹ *Черепнин Л. В.* «Смута» и историография XVII века (Из истории древнерусского летописания) // Исторические записки. 1945. Т. 14. С. 103; *Смирнов П. П.* Указ. соч. С. 413.

⁴⁰ *Поршнев Б. Ф.* Указ. соч. С. 116, 120; ср.: *Черепнин Л. В.* Земские соборы русского государства в XVI—XVII вв. С. 245.

⁴¹ *Поршнев Б. Ф.* Указ. соч. С. 116, 120.

⁴² *Черепнин Л. В.* Земские соборы русского государства в XVI—XVII вв. С. 245.

⁴³ Трефологион: март — май. М., 1638. Л. 406.

В данном разделе удобнее сослаться на источники в последовательности их рассмотрения.

⁴⁴ Трефологион: сентябрь — ноябрь. М., 1637. Ч. основная, Л. 707 об.

⁴⁵ Иноческий потребник. М., 1639. Л. 16 об. 28-го счета. См. также: *Службы, житие и чудеса Николы Чудотворца.* М., 1640. Л. 65 об.; Пролог. М., 1641. Л. 896; Пролог. М., 1642, Л. 904 об.

⁴⁶ Трефологион: сентябрь — ноябрь. М., 1637. Ч. основная. Л. 709 об.

⁴⁷ Пролог. М., 1642. Л. 905 об.

⁴⁸ Учительное евангелие. М., 1639. Л. 593.

⁴⁹ Кириллова книга. М., 1644. Л. 6, 10, 10 об. и др.

⁵⁰ Кормчая. М., 1650. Л. 642—642 об., 643 об.

⁵¹ Грамматика Мелетия Смотрицкого. М., 1648, л. 357 об.

⁵² Поучения Ефрема Сирина. М., 1647. Л. 350. О приносимой «сладо-сти» см. также: *Соборник.* М., 1647. Л. 880 об.; Толковое евангелие Феофилак-та Болгарского. М., 1649. Л. 317.

⁵³ Кормчая. Л. 642, 644 об.

⁵⁴ *Шентаев Л. С.* Стихи справщика Савватия // ТОДРЛ. Т. 21. С. 25, 27.

⁵⁵ См.: *Демкова Н. С., Дмитриева Р. П., Салмина М. А.* Основные про-белы в текстологическом изучении древнерусских оригинальных повестей // ТОДРЛ. Т. 20. С. 155. Датировка Н. С. Демковой.

⁵⁶ *Брун Т. А.* К вопросу о возникновении сказания об Унженском кре-сте (Повести о Марфе и Марии) // Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980. С. 220, 225.

⁵⁷ *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. 2. С. 249—250.

⁵⁸ Первый вариант «Повести» см.: Пам. СРЛ. Вып. 1. С. 55—57. О бли-зости первого варианта к не дошедшему до нас авторскому тексту «пове-сти» см.: Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 519. Раздел написан Н. С. Демковой.

⁵⁹ *Скрипиль М. О.* Повесть о Марфе и Марии // Русская повесть XVII века. Л., 1954. С. 359.

⁶⁰ Молебное послание Алексея Михайловича к мощам митрополита Филиппа 1652 г. — СГГД. Ч. 3. С. 472; письмо Алексея Михайловича к казанскому воеводе князю Н. И. Одоевскому о пренесении мощей митрополита Филиппа в Москву 1652 г. — ААЭ. Т. 4. С. 492. Все это наверняка имело отношение к идее оцерквления жизни и оцерквления человека, которая «в конце 40-х — начале 50-х годов XVII в. ... имела большой успех при дворе» (*Панченко А. М.* Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. С. 108 и сл.).

⁶¹ Трефологион: сентябрь — ноябрь. М., 1637. Ч. основная. Л. 709 об. См. также: Трефологион: март — май. М., 1638. Л. 410; Канонник. М., 1641. Л. 414 об.

⁶² Толковое евангелие Феофилакта Болгарского. М., 1649. Л. 317. См. также: Канонник. М., 1641. Л. 415; Поучения Ефрема Сирина. М., 1647. Л. 350 об.

⁶³ Трефологион: декабрь — февраль. М., 1638. Л. 727. См. также: Службы, житие и чудеса Николы Чудотворца. М., 1640. Л. 177; Пролог. М., 1641. Л. 896—896 об.; Маргарит. М., 1641. Л. 3; и многие другие издания.

⁶⁴ ААЭ. Т. 3. С. 401, 402 и др.; Мнения патриарха Никона об Уложении и проч. (из ответов боярину Н. Стрешневу) — Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2. С. 426.

⁶⁵ Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953. Т. 1. С. 434. Раздел написан В. П. Адриановой-Перетц.

⁶⁶ *Смирнов П. П.* Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1947. Т. 1. С. 486—487.

⁶⁷ *Шульгин В. С.* Движения, оппозиционные официальной церкви в России в 30—60-х годах XVII века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967. С. 9.

⁶⁸ Сборник поучений. М., 1643. Л. 10, 12 об., 22 об.

⁶⁹ См. об этом: *Макарий (Булгаков)*. История русской церкви. СПб., 1882. Т. 2. С. 98, 105; *Голубцов А.* Вступление на патриаршество и поучение к пастве Иосифа, патриарха московского // Прибавления к изданию Творений святых отцев в русском переводе за 1888 год. М., 1888. С. 344—354, 362—363, 367—368, 380.

⁷⁰ О дате написания и авторе «Повести» см.: *Строев П. М.* Рукописи славянские и российские, принадлежащие... Ивану Никитичу Царскому. М., 1848. С. 475; *Леонид (Кавелин)*. Систематическое описание славяно-рос-

сийских рукописей собрания графа А. С. Уварова. СПб., 1894. Ч. 4, С. 141; Памятники прений о вере, возникших по делу королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны, собранные А. Голубцовым // ЧОИДР. 1892. Кн. 2. С. VI—VII. По предположению В. М. Хлебникова, высказанному мне устно, автором «Повести» был известный писатель и стихотворец Савватий: в «Повести» есть повторы отрывков из точно принадлежащих Савватию произведений.

⁷¹ Памятники прений о вере... С. 1, 4, 6.

⁷² *Смирнов П. П.* Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М.; Л., 1948. Т. 2. С. 43—44, 61—62.

⁷³ *Плеханов Г. В.* Сочинения. М.; Л., 1925. Т. 20: История русской общественной мысли. С. 236.

⁷⁴ *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды: XVII—XIX вв. М., 1967. С. 78.

⁷⁵ «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» 1642 г. Первая редакция. XVII в. БАН 32.11.7. — «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси / Текст памятника подгот. О. В. Творогов. М., 1969. С. 556—557. Ср. другое издание первой редакции по основному списку конца XVII в. РГБ. Собрание Ундольского, № 794 — Воинские Повести Древней Руси / Текст памятника подгот. А. Н. Робинсон. М.; Л., 1949. С. 57—81, 274—279. Так как список БАН исправнее списка РГБ, то цитирую по публикации О. В. Творогова.

⁷⁶ См.: *Гарибян Д. А.* Из истории русской военной лексики // Ученые записки Ереванского гос. русского педагогического института. 1956. Т. 6. С. 311; *Она же.* Несколько лексических уточнений // Известия АН Армянской ССР. Общественные науки. 1956. № 11. С. 100; Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 5.

⁷⁷ Исторические песни XVII века. М.; Л., 1966. С. 103. По мнению В. Е. Соколовой, в этой песне «давалось фактически верное описание обстановки XVII в.» (*Соколова В. Е.* Русские исторические песни XVI—XVII вв. // Труды института этнографии. Новая серия. М., 1960. Т. 61. С. 132).

⁷⁸ По списку Ундольского — Воинские повести Древней Руси. С. 66. То же в списках второй редакции — Там же. С. 276. В списке БАН эта фраза оборвана на слове «имывал» (555).

⁷⁹ Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий / Изд. подгот. П. Симони // СОРЯС. 1899. Т. 66, № 7. С. 74; Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков / Изд. подгот. М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.; Л., 1961. С. 23.

⁸⁰ Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении // Воинские повести Древней Руси. С. 198—199.

⁸¹ Ср.: «У донских казаков, кроме того, “казачий зипун” символизирует как бы самих казаков» (Гарибян Д. А. Несколько лексических уточнений. С. 100).

⁸² Горелов А. А. Донские песни о Ермаке // Народная устная поэзия Дона: (Материалы научной конференции по народному творчеству донского казачества 18—23 декабря 1961 г.). Ростов-на-Дону, 1963. С. 91. Ср.: Крюйс К. Розыскания о Доне, Азовском море, Воронеже и Азове, учиненные в 1699 г. // Отечественные записки. 1824. Кн. 55.

⁸³ Комментарий географический и исторический. «Поэтическая» Повесть об азовском осадном сидении // Воинские повести Древней Руси. С. 318.

⁸⁴ «Восписание сопротивно» Ивана Грозного к турецкому султану — Изборник // Текст памятника подгот. М. Д. Каган-Тарковская. С. 513.

⁸⁵ Робинсон А. Н. Вопросы авторства и датировки поэтической Повести об азове // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. 1948. Вып. 5. С. 65—70; *Он же*. «Поэтическая» повесть об Азове и политическая борьба донских казаков в 1642 г. // ТОДРЛ. Т. 6. С. 24—59.

⁸⁶ Робинсон А. Н. «Поэтическая» повесть об Азове... С. 55.

⁸⁷ РДС. С. 8.

⁸⁸ Ср. об этом месте «Повести»: «иронически замечает автор, имея в виду мнение феодальной верхушки» (Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 78).

⁸⁹ См. Тхоржевский С. Донское войско в первой половине семнадцатого века // Русское прошлое: Исторические сборники. Пг.; М., 1923. Т. 3. С. 21, 23; Робинсон А. Н. Жанр поэтической повести об Азове // ТОДРЛ. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 111.

⁹⁰ РИБ. Т. 18. Стб. 979—980.

⁹¹ СГГД. Ч. 3. С. 401—402, 404; Акты, относящиеся к истории войска донского, собранные А. А. Лишиным. Новочеркасск, 1891. Т. 1. С. 35—36; РИБ. Т. 24. Стб. 350—351.

⁹² Ср. «документальную» «Повесть об осадном сидении» — Орлов А. С. Исторические и поэтические Повести об Азове: (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.). Тексты. М., 1906. С. 87—88.

⁹³ Например, Симон Азарьин в своем «Житии Сергия Радонежского» 1653 г., рассказывая о возникновении Радонежского монастыря, не только употребил выражение «пустыня непроходная», но и специально подчеркнул оба его смысловых оттенка удаленности от жилья и отдаленности от людей:

«Пустыня тогда была непроходная; ныне же всем зримо окрест обители, поля мирские, села и деревни многолюдные. Стези не быша тогда и непроходно бысть человеческими стопами; ныне же пути-дороги веля и проезды всякаго чину людем, днем и нощию безпрестанно идущим» (Предисловие троицкого келаря Симона Азарыина к сказанию о новоявленных чудесах преподобного Сергия / Текст памятника подгот. С. Смирнов // ВОИДР. 1851. Кн. 10, смесь. С. 7—8).

⁹⁴ Дробленкова Н. Ф. «Новая повесть о преславном Росийском царстве» и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960. С. 198.

⁹⁵ О завуалированных намеках в «Повести» на «двойную игру московского правительства», которое, «недостаточно помогая казакам, всячески толкало их на оборону Азова», см.: Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении. С. 200—201.

⁹⁶ См.: Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении. С. 216—217.

⁹⁷ Орлов А. С. Сказочные Повести об Азове: «История» 1735 года. Варшава, 1906. С. 91—92.

⁹⁸ Исторические песни XVII века. М.; Л., 1966. С. 107.

⁹⁹ См.: РИБ. Т. 18. Стб. 981; Т. 24. Стб. 49, 50, 73, 260, 287, 370.

¹⁰⁰ РИБ. Т. 24. Стб. 53, 330 и др.

¹⁰¹ О независимом положении донского казачества см.: Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении. С. 170—172, 176, 179, 201 и др.

¹⁰² Тхоржевский С. Указ. соч. С. 15.

¹⁰³ РИБ. Т. 18. Стб. 810.

¹⁰⁴ Тхоржевский С. Указ. соч. С. 14.

¹⁰⁵ Любопытно замечание одного из историографов: «надобно полагать, что казакам не слишком нравилось сидеть в Азове, ибо они исполнили немедленно царское повеление; в других же случаях, где находили собственные выгоды, не охотно царским приказам повиновались» (Берх В. Царствование царя Михаила Федоровича и взгляд на междуцарствие. СПб., 1832. Ч. 1. С. 283—284).

¹⁰⁶ Робинсон А. Н. Повести об азовском взятии и осадном сидении. С. 227.

¹⁰⁷ РДС. С. 10.

¹⁰⁸ О росте индивидуального авторского начала в литературе XVII в. см.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 144—146 и сл.

¹⁰⁹ Цитируемые произведения: грамота Никона — Грамота Никона о Крестном монастыре. М., 1656; Евангелие — Евангелие. М., 1657. Указываются листы издания; Ирмологий — Ирмологий. М., 1657. Указываются листы издания; Кормчая — Кормчая. М., 1653. Указываются листы издания; «покаянные» стихи — *Сергеев В. Н.* Русские песнопения XVII в. на историческую тему // Памятники культуры: новые открытия. Ежегодник, 1975. М., 1976; послание Герасима Фирсова — *Никольский Н.* Сочинения соловецкого инока по неизданным текстам: (К истории северно-русской литературы XVII века). СПб., 1916; послания Ивана Неронова — Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Н. И. Субботиным. М., 1875. Ч. 1; поучение Никона — Поучение о моровой язве. М., 1656; Скрижаль — Скрижаль. М., 1655—1656; «Слово» Никона — Слово о создании Иверского монастыря // Рай мысленный. Иверский монастырь, 1658—1659. Указываются листы издания; Служебник — Служебник. М., 1655; Триодь — Постная триодь. М., 1656. Указываются листы издания; царская грамота 1654 г. — ПСЗ. Т. 1; царская грамота 1660 г. — ААЭ. Т. 4.

¹¹⁰ Цитируемые произведения: Беседы 1664 — Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. М., 1664. Указываются листы издания; Беседы 1665 — Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. М., 1665. Указываются листы издания; «Библия» — Библия. М., 1663. Указываются листы издания; грамота Алексея Михайловича — *Гиббенет Н.* Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1882. Ч. 1. Приложения; послание Никона 1662 г. — *Гиббенет Н.* Указ. соч.; сборник Епифания — Сборник переводов Епифания Славинецкого. М., 1665. Указываются листы издания; челобитная Ивана Неронова 1660 г. — Материалы для истории раскола за первое время его существования. Ч. 1; челобитная Савватия — Три челобитные справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря. СПб., 1862.

¹¹¹ О стиле предисловия Епифания Славинецкого к «Библии» см.: «широковещательность изложения, когда при изложении главной мысли в нее вводится много второстепенных определительных (параллелизм церковных песнопений, акафистов); конструкция речи близко подходит к языку церковных книг» (*Ротар И.* Епифаний Славинецкий, литературный деятель XVII века. Киев, 1901. С. 59, сноска 111).

¹¹² Цитируемые произведения: «Агафонушка» — Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов, 2-е изд., доп. М., 1977; «Азбука о голом и небогатом человеке» — РДС / Текст памятника по Трондхеймскому списку 1663 г. подгот. Н. С. Демкова; «Ох, в горе жить» — Древние российские стихотворе-

ния; песнопение о Никоне — Древнерусские рукописи Пушкинского дома: (Обзор фондов) / Изд. подгот. В. И. Малышев. М.; Л., 1965; «Повесть о Горе-Злочастии» — *Симони П. К.* Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело Молотца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII-го века. СПб., 1907. Факсимильное издание рукописи РНБ. Собрание Погодина, № 1773; «Повесть о Еруслане Лазаревиче» — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1859. Т. 2, отдел II; «Повесть о Шемякином суде» — РДС; «Притча о Хмеле» — Пам. СРЛ. Вып. 2; «Про гостя терентиша» — Древние российские стихотворения; сборник пословиц конца XVII в. — Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий / Изд. подгот. П. Симони. СПб., 1899; «Сказание о попе Саве» — РДС; «Сказание о птицах» — Древнерусские сказания о птицах / Изд. подгот. Х. Лопарев. СПб., 1890; «Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы» — Повести о начале Москвы / Изд. подгот. М. А. Салмина. М.; Л., 1964; «Служба кабаку» — РДС.

¹¹³ Об этом см.: *Кантрев Н. Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1. С. 194, 234, 236, 458 и др.

¹¹⁴ *Кантрев Н. Ф.* Указ. соч. С. 505, 507, 509 и др. См. также: Макарий. История русской церкви. М., 1883. Т. 12. С. 667, 770.

¹¹⁵ Ср. царские указы и грамоты 1651 г., 16 августа 1652 г., 15 июня 1663 г., в марте 1664 г. — ПСЗ. Т. 1. С. 262, 579; ААЭ. Т. 4. С. 88; ДАИ. Т. 4. С. 371. См. также: *Прыжов И. Т.* История кабаков в России в связи с историей русского народа. 2-е изд. Казань, 1914. С. 109—112.

¹¹⁶ Ср., например, крестоприводную запись в августе 1652 г., и память в декабре 1653 — январе 1654 г. — ААЭ. Т. 4. С. 90, 93; АИ. Т. 4. С. 199.

¹¹⁷ ААЭ. Т. 4. С. 88, 95.

¹¹⁸ Там же. С. 88, 95.

¹¹⁹ ПСЗ. Т. 1. С. 521, 579; ААЭ. Т. 4. С. 88, 95; ДАИ. Т. 4. С. 370. См. также: *Прыжов И. Т.* Указ. соч. С. 111—122.

¹²⁰ *Прыжов И. Т.* Указ. соч. С. 57, 485 и сл.

¹²¹ ПСЗ. Т. 1. С. 340, 370, 488. См. также: *Сергеевский Н. Д.* Смертная казнь в России в XVII и первой половине XVIII века // Журнал гражданского и уголовного права. 1884. Кн. 9, ноябрь. С. 9, 18, 20—22.

¹²² ПСЗ. Т. 1. С. 331.

¹²³ «Распросные речи» 1649 г., царские грамоты 1650—1652, 1655 и 1662 г. — ДАИ. Т. 3. С. 242, 266; ПСЗ. Т. 1. С. 364, 568, 569.

¹²⁴ ПСЗ. Т. 1. С. 484, 485.

¹²⁵ Там же.

¹²⁶ Вот почему Д. С. Лихачев отметил «глубокий пессимизм самого замысла “Повести о Горе-Злочастии”», «трагический характер “Повести”»: «лишенная сатирической направленности, “Повесть о Горе-Злочастии” не смешна, а трагична» (*Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975. С. 328; Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 70, 71).*

¹²⁷ О купеческом происхождении Молодца см.: *Переверзев В. Ф. Литература Древней Руси. М., 1971. С. 246—247, 252; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 148; Он же. Великое наследие. С. 318, 327.*

¹²⁸ Ср.: «Но в шумной толпе “гуляющих людей” Молодец выглядит белой вороной, случайным гостем» (*Панченко А. М. «Повесть о Горе-Злочастии» // История русской литературы X—XVII веков. М., 1980. С. 398).*

¹²⁹ Глубоко верно замечание А. М. Панченко: «Однако нельзя видеть в демократической прозе и поэзии XVII в. прямое сатирическое обличение... На самом деле мотив обличения Шемяки в повести почти не ощущается... Совсем трудно решить, кого осуждает “Повесть о Ерше Ершовиче”...» (*Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 555—556).* О социальном смысле пословиц См.: *Пушкарев Л. Н. Общественно-политическая жизнь России: Вторая половина XVII века. Очерки истории. М., 1982. С. 76—155.*

¹³⁰ Ср.: «Принадлежность героя к высокому кругу — факт сравнительно редкий для народных песен неисторического содержания», но «песня показывает его в начале в кругу “разумных”, и сам он принадлежит к этому кругу» (*Путилов Б. Н. «Добрый Молодец и река Смородина» и «Повесть о Горе-Злочастии» // ТОДРЛ. Т. 12. С. 228, 230).*

¹³¹ «Мировоззрение феодального крестьянина и ремесленника... испытывало непрекращающееся и сильное влияние церковной идеологии и мировоззрения правящих классов» (*Пушкарев Л. Н. Пословицы в записях XVII в. как источник по изученную общественных отношений // Исторические записки. М., 1973. Т. 92. С. 326—327).*

¹³² Цитируемые предисловия: «Предисловие на книгу Типик» — Устав. М., 1682; «Предисловие» — Увет духовный. М., 1682; послание Евфимия Чудовского в качестве предисловия к «Щиту веры» — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. М., 1862. Отдел 2. Ч. 2; послание патриарха Адриана в качестве предисловия — Православное исповедание веры. М., 1696; «Во известие книги сея читателю» — Толковое евангелие. М., 1698. Издания и сочинения называются в ссылках сокращенно: Устав, Увет, Щит, Православное исповедание, Толковое евангелие.*

¹³³ Цитируемые поучения: Слово патриарха Иоакима на Никиту Пустосвята. М., 1682; «Возглашение увещательное всему российскому народу... Иоакима патриарха... в нем же изъявление на раскольников...» — Увет духовный. М., 1682; Слово благодарственное патриарха Иоакима об избавлении церкви от отступников. М., 1683; поучение 1687 г., написанное для произнесения патриархом Иоакимом — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отдел 2. Ч. 2; «Слово поучительное святейшаго Иоакима патриарха всероссийскаго» — Остен: Памятник русской духовной письменности XVII века. Казань, 1865; Служба, житие и слово на Иоанна Воина. М., 1695. Издания и сочинения называются в ссылках сокращенно: Слово на Никиту, Слово благодарственное, поучение для патриарха, «Слово поучительное», Служба.

¹³⁴ Цитируемые трактаты: полемика Афанасия Холмогорского с раскольничьей челобитной — Увет духовный. М., 1682; «Известие истинное православным и показание светлое о новоправлении книжном...» Сильвестра Медведева 1688 г. — *Белокуров С. А.* Сильвестра Медведева Известие истинное... М., 1886; «Книга о пресуществлении тела и крове Христовы...» Афанасия Холмогорского 1688 г. — отрывок: *Верюжский В.* Афанасий, архиепископ холмогорский: Его жизнь и труды... СПб., 1908; «Остен» 1690 г. — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки. Отдел 2. Ч. 2; «Отразительное писание...» Евфросина — *Лопарев Х.* Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей: Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 года. СПб., 1895. Сочинения называются в ссылках сокращенно: «Известие», «Книга о пресуществлении», «Остен», «Отразительное писание».

¹³⁵ Цитируемые исторические сочинения: «История о вере» и челобитная о стрельцах Саввы Романова — Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1863. Т. 5; «Летописец» 1619—1691 гг. — ПСРЛ. Т. 31 / Текст памятника подгот. В. И. Буганов; «созерцание краткое...» Кариона Истомина, отредактированное Сильвестром Медведевым в 1687—1689 гг. — Сильвестра Медведева Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся в гражданстве // ЧОИДР. 1894. Кн. 4. Отдел 2 / Текст памятника подгот. А. Прозоровский; сочинение Авраамия 1696 г. — *Бакланова Н. А.* «Тетради» старца Авраамия // Исторический архив. М.; Л., 1951. Т. 6. Сочинения называются в ссылках сокращенно: «История», «Летописец», «Созерцание», «Тетради».

О «Созерцании кратком», сочиненном Карионом Истоминим и отредактированном Сильвестром Медведевым, см.: *Волков М. Я.* «Созерцание

краткое» как источник по истории общественно-политической мысли // Общество и государство в феодальной России. М., 1975. С. 198—208.

¹³⁶ Цитируемые грамоты: соборное постановление в ноябре 1681 г. — АИ. Т. 5; челобитная московских стрельцов, гостей, посадских людей и ямщиков 6 июня 1682 г. — ААЭ. Т. 4; изветное письмо 2 сентября 1682 г. — Там же; грамота патриарха Иоакима 25 сентября 1682 г. — Там же; царская окружная грамота в сентябре 1682 г. — Там же; настольная грамота патриарха Иоакима 5 апреля 1683 г. — АИ. Т. 5; царские указные статьи 5 октября 1682 г. — ААЭ. Т. 4; царский указ 21 мая 1683 г. — ПСЗ. Т. 2; послание патриарха Иоакима 1683 г. — *Брайловский С. Н.* Один из «пестрых» XVII-го столетия. СПб., 1902; соборное постановление до 1689 г. — АИ. Т. 5. Документы называются в ссылках сокращенно: ноябрьское постановление, июньская челобитная и т. д.

¹³⁷ Цитируемые стихотворные произведения: «Книга желательно приветство мудрости» Кариона Истомина 1683 г. — *Брайловский С. Н.* К вопросу о литературной деятельности русских писателей XVII столетия, носивших имя «Карион» // ИОРЯС. 1909. Т. 14. Кн. 1; «Рифмы краесогласнии о прелести суетнаго сего мира...» 1691—1692 гг. — *Панченко А. М.* Стихотворный отклик на свержение царевны Софьи // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник. 1974. М., 1975; «Стих о жизни патриарших певчих» не ранее 1684 г. — РДС / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова; стихотворение Евфимия Чудовского 1680 г. — отрывок: *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отдел 2. Ч. 2. Сочинения называются в ссылках сокращенно: «Книга приветство», «Рифмы», «Стих», стихотворение Евфимия Чудовского.

¹³⁸ Ср.: «В так называемую петровскую эпоху, занятую ускоренным развитием экономики и государственности, было “не до литературы”» (*Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X—XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 213).

¹³⁹ Ср. вывод Н. С. Демковой: «вся вторая часть Стиха посвящена теме общего неустройства жизни, вопиющих социальных контрастов»; «Стих — ...с двухчастной структурой стиха и синтаксически контрастной противопоставленностью обеих частей... такая конструкция фразы... усиливает обличительный пафос Стиха» (РДС. С. 241—242).

¹⁴⁰ О том же говорилось в подложной речи Ивана Грозного, составленной в 1691—1692 гг. «В памятнике постоянно чувствуется стремление провести параллели между временем молодого Ивана IV и молодого Петра I» (*Автократов В. Н.* «Речь Ивана Грозного» как политический памфлет конца XVII века // ТОДРЛ. Т. 11. С. 271).

¹⁴¹ Ср. массовое бегство от властей в конце XVII в.: «Бегство в леса, пустыни и горы было бегством от крепостничества, но оно обрело и свою идеологию и психологию как побег из мира “скверны”... Таким образом, смертоносным становился факт прикосновения к «скверне». Какая оставалась альтернатива? Бегство в леса, горы, пустыни, а если и они переставали служить защитой — в огонь»; вырабатывалось «освящение бесповоротного, бескомпромиссного разрыва с миром крепостничества» (*Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма*. М., 1977. С. 113—114, 121).

¹⁴² Ср.: «страх перед народными “бунтами” объединил во второй половине XVII в. абсолютистское правительство, дворянство, русское купечество...» (*Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века*. М., 1969. С. 84, 207 и др.).

¹⁴³ См.: *Верюжский В.* Афанасий, архиепископ холмогорский: Его жизнь и труды... СПб., 1908. С. 614. Ср. об этой «книге»: «Но что особенно замечательно, она проникнута чувством христианской любви к противникам, которая совершенно отсутствует в произведениях московских полемистов той и другой стороны» (Там же. С. 618).

¹⁴⁴ А. М. Панченко впервые издал и прокомментировал это сочинение: «Замечательное стихотворение такого анонимного одиночки», который был «внесословен и надпартиен»; «эта духовная свобода, столь необычная для человека XVII столетия, и сообщает “раесогласным пятерострочиям” качество художественной уникальности» (*Панченко А. М. Стихотворный отклик...* С. 85, 86).

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ МОТИВЫ И МИРСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ «ФИЗИОЛОГА» ПО СПИСКУ ГИМ, СОБРАНИЕ УВАРОВА, № 515*

Какие мотивы повторялись и почему в оригинальном по составу, притом русском (а не славянском) списке «Физиолога» в сборнике ГИМ, Уваров, № 515, в 4°?

Прежде всего уточним датировку списка, которую по нашей просьбе с отзывчивостью взял на себя труд провести ведущий научный сотрудник Отдела рукописей ГИМ Юрий Александрович Грибов. Вот его выводы (за что ему великая наша благодарность).

«Сборник Увар. № 515 в 4-ку (по Леониду № 1788; указание формата для Уваровских шифров обязательно) не является книгой, составленной из независимых частей (по Леониду: «из шести рукописей» XVI в.). Кодикологическое изучение этого сборника (разметки тетрадей, почерков, расположения строк) показывает, что он сразу создавался как единый кодекс, хотя и при участии нескольких писцов. Его части были перепутаны при позднейшем (видимо, в начале XIX в.) переплетении. Правильный порядок расположения листов сборника: Л. 63—391, 1—62. Ряд листов и тетрадей был утрачен.

Представление о первоначальном состоянии рассматриваемого сборника важно для датировки входящего в него списка Физиолога (Л. 266 об. — 375 об.).

На листах с Физиологом встречается редкий водяной знак (филигрань). Точное соответствие ему в доступных мне справочниках найти не удалось. Он очень отдаленно напоминает знак латинская буква «У» с крестом (см.: *Briquet C. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des*

* Это небольшое дополнение, сделанное уже в корректуре книги. Поэтому оно «не на месте».

marques du papier des leur apparation vers 1282 jusqu'en 1600. Geneve, 1907. Vol. 3 (далее — *Брике*) № 9198. 1462—1474 гг., № 9199. 1469—1478 гг., № 9200. 1469 г., № 9201. 1468/1473 гг.).

На остальных листах сборника встречаются другие водяные знаки, с помощью которых датируется вся рукопись:

«голова быка», близок варианту в справочниках: *Piccard G. Die Ochsenkopf-Wasserzeichen. Stuttgart, 1966* (далее — *Пиккар*). Abteilung XIII. № 519. 1476—1478 гг.; *Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899* (далее — *Лихачев*) № 3875. 1475 г.

«голова быка», близок варианту в справочниках: *Пиккар, Abteilung XIII. № 677. 1480, 1476 гг.; № 678. 1477, 1478 гг.; Лихачев. № 1186. 1485 г., № 1209. 1485 г.*

«голова быка», близок варианту в справочнике: *Пиккар, Abteilung XIII. № 717. 1478—1481 гг.*

«голова быка», близок варианту в справочнике: *Пиккар, Abteilung XI. № 203. 1475, 1476 гг.*

«буква В» в круге со стоящим на нем крестом, близок варианту в справочнике: *Брике, № 8060. 1469 г., варианты — 1469—1492 гг.*

Таким образом, Сборник Увар. № 515 в 4-ку, включая листы с текстом из Физиолога, можно уверенно датировать последней четвертью XV в. или концом 1470-х — 1480-ми гг.

Ю. А. Грибов.
8.05.2015 г.¹

Теперь перейдем к нашему исследованию. Зачем понадобился этот цикл рассказов о животных и птицах в последней четверти XV в.?

Сама форма цикла не заботила составителя данного варианта «Физиолога». Поэтому рассказы в нем начинаются и излагаются по-разному, различаются по величине, иногда сокращают или даже пропускают толкования и какие-то упоминания о «естестве» животных, что-то смешивают и пр.

Составителя этого «ущербного» и краткого списка «Физиолога» в первую очередь интересовали не люди, а животные, их свойства. Оттого и заголовок в списке указывал только на животных: «Слово и сказание о зверех и птахах»². Оттого рассказы о животных в рассматриваемом списке все-таки сохранили свою цикличность, будучи пронизаны многими повторяющимися мотивами, а вот нравоучительные обращения к человеку были настолько разнородны, что в них можно

заметить лишь единственный лейтмотив — посещайте церковь («тещи ко церви», «согреися въ церкви», «шед к церкви», «тещи въ церковь», «идеши во церковь», «не вдалаи себе от церкви» — VI, IX—XIII).

Что же касается животных, то из повторяющихся предметных мотивов складывалась целая биографическая схема, которой придерживался составитель списка. Речь велась о жизни только уже взрослых животных. Основные этапы жизни животных таковы. Рассказы часто начинались с указания внешности — с общей оценки ее («финиксь красна птаха есть» — VI; «дятьель пестра птица есть» — IX; «стеркь добра птица есть» — XV); указывался и конкретный цвет птиц («голубици ... ходят белыи, и пестрыа, и черныа, и чермьныа» — XII) или наряд птицы («финиксь уакинфовь и каменя многоценна венець носит на главе и сапогы на ногу» — VII). Описывалась составная внешность фантастических существ (горгона «обличие имат жены красны и блудница, власы же главы своеа суть змиа» — X; «ехидна есть от полу и выше имат образь человекь, а поль ея и ниже имат образ коркодилъ» — XII—XIII; «утропъ имат от полу и до выше образ коневъ, а поль его и до ниже образь рыбии китовъ» — XIV).

Иногда определялось «социальное» положение животных или птиц («финиксь ... яко же царь» — VII; «утропъ ... есть воевода всем рыбам» — XIV; «стерково воинство» — XVI).

Сообщалось, что живут животные (антилопа «живет же близь рекакиана на крайны земли» — IV; «слонь живеть на горах Слоница» — V; горгона «живет же в горах западных» — X; и т. д.). Птицы живут в гнездах («дятьель ... где налезеть мякко древо, ту творит гнездо свое» — IX; и пр.).

Отмечалось природное окружение животных и птиц, обычно деревья, но не только (антилопу опутывает «древо, нарицаемо танись, подобно зело виннии [лозе] добрами ветми и густо прутиемъ» — IV; «слонь ... спать же при древе» — V; «финиксь ... лежить ... на кедрех ливаньских» — VII; «горлица ... сядет на усхле древе» — VIII; «дятьель ... ходит на кедры» — IX; «змиа ... влезеть в камену расселину» — XI).

Упоминались те, кто приходит к животным или птицам (ко львице «приидет левъ» — III; к упавшему слону «приидет слонь великъ ... приидет инъ малъ» — V; у горгоны «звери, от человека до скотины, и птицъ, и змиа ... идуть к неи» — X; «утропъ ... идет ... ко златои тои рыбе» — XIV; и пр.).

Постоянно указывались занятия животных и птиц, зачастую агрессивные (антилопа «борется со землею и чешет роги своими» — IV; «елень ... змию ... пометаетъ» — VI; «дятель ... клюет носом своим» — IX; лисица на птиц «воскочивши и имет от них, и есть» — IX; «егда узрит человека змиа ... пришедши, борется с ним» — XII; «во брани бьющимся птицам, и отпадению перию бес числа ... падают мертвы» — XVI; и т. д. и т. п.).

Далее говорилось о корме и питье существ («финиксь ... питаетъ же ся от святого духа» — VII; «лисица ... ся кормит» — IX; «ехидна ... к мужевии изьестъ лоно его» — XIII; «утропь ... близь реки ... пьет от нея и упиваетъся» — IV; «елень ... пьеть воду» — VI; «змиа ... поидет пити води» — XI; и т. п.).

Следующий этап в предметной биографической схеме — это рождение детей у животных после «гона» и птенцов у птиц («раждает лвица» — III; «слоница ... взыдет в реку до вымени и раждаетъ в воде» — V; ласка «родит двое» — X; «неясыть чадолюбива птаха есть» — VIII; «стеркъ чадолюбива птица есть» — XIII; «овдод ... воспитает птенца своя» — IX; «голубици ... кормят птенци свои» — XII; и мн. др.).

Завершали биографическую схему попадание животного к «ловцу» или старческая слепота («орель ... ослепнетъ очи его, да не видит» — VI; «состаретъ змиа и не видит» — VI; «стеркови ... состарють ... не видети начнут» — XIII) и, наконец, смерть («наченши от лва и прочаа звери, от человека до скотины и птицъ и змиа ... измирают» — X).

Составитель рассматриваемого списка «Физиолога», разумеется, не заполнял подробную биографическую анкету на каждый вид животных и птиц. Его интересовали лишь любопытные моменты из их жизни. Какие моменты он считал удивительными — это тема особая. Мы же попытаемся ответить на иной, более общий вопрос: зачем составитель списка (редактор или писец) следовал биографической схеме, рассказывая о своих персонажах?

Схема эта, в отличие от конкретных фактов, вполне реалистическая, она выделяет основные константы обыденной жизни животных и птиц — то, чему в человеческой жизни соответствуют «сласть житейскаа» и «житейскаа напасть» (IX—X). Таких пунктов примерно десять: 1) о взрослых существах; 2) о внешности; 3) о социальном положении; 4) о местожительстве; 5) о природном окружении; 6) о посетителях; 7) о деятельности; 8) о питании; 9) о парах и детях; 10) о болезнях и смерти.

Конечно, перевод «Физиолога» с греческого уже передал канву животного «биографизма» памятника. Но чему подобное литературное явление было созвучно именно на Руси XV—XVI вв.? Ведь сходную склонность к описанию объектов, а не событий, к «биографизму» и умалению нравоучительности проявили и некоторые другие списки «Физиолога» в XVI в.³, а также произведения последней четверти конца XV в., составленные из отдельных эпизодов, пронизанных повторяющимися предметными мотивами.

Аналогии можно найти в трех очень разных памятниках — в «Сказании о Дракуле-воеводе» по списку 1491 г. и в «Повести о житии Михаила Клопского» по списку первой половины XVI в., а также — частично — в «Хождении» Афанасия Никитина по списку первой четверти XVI в.

В «Сказании о Дракуле», в повторяющихся мотивах рассказов, находим сходную схему жизни Дракулы. Вырисовывается обыденное «житие его», как Дракула «живяше в Мунтианской земли» и «возлюби ... временного света сладость»⁴. Дракула появляется в повести уже взрослым человеком — воеводой и, как неоднократно подчеркивается, «великим государем». Живет «в Мунтъянской земли» (554). Что видим «округ двора» его в «граде» (558)? Видим «источникъ его и кладязь на едином месте ... у того кладязя ... чару велию и дивну злату» (336); «возь ... на улицы града пред полатою и товарь ... на возе» (558); «кожу ... на столпе среди града и торга» (560); «бочки железны ... реку» (562); «гору» (564) и пр.

Рассказывалось, кто приходил к Дракуле («придоша к нему некогда от турьскаго поклицарие» — 554; «от многих странъ ... прихождаху людие мнози» — 556; «придоша к нему от Угорския земли два латинска мниха»; «прииде купець-гость неки от Угорьския земли» — 558; «прииде от угорскаго короля ... апоклицарь ... боляринь, в лясех родом» — 560 и т. д.).

Особенно подробно живописались излюбленные занятия Дракулы — казни («повеле им гвоздиемъ малым железным ко главам прибити капы» — 554; «нищих и странных ... повеле ... зажещи огнем» — 558; «жена ... веляше срамъ ей вырезати ... сосца отрезаху ... повеле ей руце отсеци» — 560; «мастеровъ ... посети повеле» — 562; и т. д. и т. п.). А сажанием на кол заканчивался почти каждый эпизод, отчего окружало Дракулу «множество бесчисленное людей на колехъ и на колесех» (558), даже «на колех саженых множество бо округ стола его» (560).

Застаем Дракулу и «на обеде», когда он «некогда ж обедоваше» (560).

Наконец, тема смерти пронизывала весь цикл рассказов о Дракуле с самого начала («смерть помышляти» — 554) и до конца («аще ль велики боляринь, иль священник, иль инок, или просты ... не может искупиться от смерти» — 556; «обедоваше под трупиемь мертвых человекъ» — 560; «повинень ... смерти» — 562; «убиень бысть» — 564; и т. п.).

Таким образом, в основе цикла странных или фантастических рассказов о Дракуле тоже лежала реалистическая схема обыденной жизни объекта: из десяти мотивов повторено восемь (нет о внешности Дракулы, а о его детях упомянуто в конце повести).

Теперь рассмотрим **«Повесть о житии Михаила Клопского»**, также составленную из цикла эпизодов с повторяющимися мотивами, которые на этот раз характеризуют не столько Михаила, сколько жизнь самого Клопского монастыря. Чаще всего упоминаются монастырские строения (например, «келья отомчена ... окно в келью ... у кельи двери»⁵; «келью топишь наземомъ» — 344; «горнь раскопати» — 346; «по водицу къ церкви ... кладязь неисчерпаемый»; «устрой церковь каменную ... камение в лодьях» — 339; и др.). Регулярно присутствуют хозяйственные предметы («сидеть на стуле, а пред ним свеща горить» — 334; «седячи ... за столом ... в руках ширинка» — 342; «даль, с себе снемь, шубу» — 344; «панагею украл» — 346; «ловци тоню волокут» — 340; и т. д.).

Природное окружение не забыто («на пискѹ лежалъ» — 344; «земля мерзла ... земля тала» — 346; «по реки ... по болотомъ» — 340; «пойде ... на берегъ» — 338; «олень ... за мошком идет» — 344; «взяша конь воронь изъ монастыря» — 346; «погодье велико две недели... И бысть в утре тишина» — 338; «бысть буря велия» — 338; и др.).

Затем в соответствии с уже знакомой нам схемой, из эпизода в эпизод прослеживаются приходы и приезды в монастырь («прихождение Михайлово ... на Клопско» — 334; «явились три мужи ... приехал князь Костянтинъ Дмитревичь» — 338; «приеде владыка на Клопско» — 342; «приехал посадникъ Иванъ Васильевич Немиръ на монастырь» — 346; и пр.).

Постоянно говорится о богослужбной деятельности и обедах («въ трапезу хлеба ясть» — 336; «хлебъ им ясти в трапезе» — 338; «пошли в трапезу и поставя обед» — 342; «пить и есть от трапезы» — 346; и пр.).

И, наконец — о болезнях и смерти персонажей («нача сердцемъ стонати ... разболелися» — 336; «у него рука, и нога, и языкъ проч отнялся и не говорить» — 342; «досягнеши трилакотнаго гроба» — 344; «с тех мести у попа ни ума и ни памяти», «его в животи нетъ» — 346; и т.п.).

Итак, из схемы обыденной жизни в «Повести о житии Михаила Клопского» повторено тоже восемь мотивов из десяти (без описания внешности действующих лиц и, естественно, без упоминания детей).

Остается сказать о **«Хожении» Афанасия Никитина**, где указанная схема повторяющихся мотивов при описании обыденной жизни проявилась, пожалуй, раньше всех произведений второй половины XV в., но только в главной части «Хожения» — описании Индии. Речь идет о взрослом населении. О внешности индусов говорится часто (типичные отрывки: «люди ходять нагы все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы въ одну косу плетены ... а мужи и жены все черны»⁶; «а жонкы все нагы, толко на гузне фота ... да на шияхъ жемчюгъ много яхонтовъ, да на рукахъ обручи да перстыни златы» — 337; и мн. др.). Очень различаются простые бедные индусы и знатные богатые, вплоть до султана.

Об индийской природе рассказывается многократно и многообразно (например: «во Индейской же земли кони ся у нихъ не родять; въ ихъ земли родятся волы да буйволы» — 333; «мамоны ходять ночи да imajuт куры, а живуть въ горе или въ камень; а обезьяны то те живуть по лесу» — 335; «да всякого коренья родится ... много; ... на горе на высоте ... родится камень драгое ... да слоны родятся» — 338; «зима же у нихъ ... ежедень и ночь 4 месяца, а всюда вода да грязь» — 333; «варно да ветеръ бываетъ ... душно велми да парищо лихо» — 341; и т. д. и т. п.).

О мирных занятиях индусов почти не рассказывается; зато очень внимательно описываются торжественные грозные процессии и особенно военное дело: количество воинов в «ратях» у разных правителей, кто с кем воюет и вооружение («щить да мечь въ рукахъ, а инья съ сулицами, а ины съ ножи, а инья съ саблями, а ины съ луки и стрелами» — 333; «а бой ихъ все слоны, да пешихъ пускають нарередь ... а къ слономъ вяжутъ къ рылу да къ зубомъ великия мечи» — 334; «а на всякомъ по 4 человеки съ пищалми» — 342; и т. д. В адрес Афанасия Никитина можно воскликнуть: «Ай да купец-наблюдатель!»).

Сведения о еде, отношениях полов и детях тоже повторяются регулярно (например: «боранину, да куры, да рыбу, да яйца ядятъ, а воловины не ядятъ никакаа вера ... а вина не пють ... а ества же ихъ пло-

ха ... да травы розныя ядять ... а ядять все рукою правою» и пр. — 336; «а все ходять брюхаты, дети родять на всякий годъ, а детей у нихъ много ... а паропкы да девочки ходять нагы до 7 летъ, а соромъ не покрыть» — 332—333).

О смерти упоминается лишь однажды, да и то мистически («есть ... птица гукукъ, летаетъ ночи, а кличетъ “гукукъ”; а на которой хоромине седить, то тутъ человекъ умреть» — 334—335).

В общем, схема обыденной жизни в «Хождении» тоже насчитывала восемь повторяющихся мотивов, сходных с «Физиологом», «Сказанием о Дракуле», «Повестью о житии Михаила Клопского» по спискам последней четверти XV — первой половины XVI в.

Почему в это время на Руси стали появляться циклы рассказов не о событиях, как раньше, а об объектах — людях и животных? Одной из причин, как мы считаем, было пробуждение и усиление материально-хозяйственных интересов русского общества во время падения ордынского владычества на Руси. Оттого сквозь рассказы о фантастических странностях и парадоксах объектов повествования начала проглядывать их бытовая и хозяйственная жизнь и участились упоминания о материальном достатке и деньгах. Ср. в уваровском варианте «Физиолога» специфические замечания: «ты, человеце, егда твориши милостыню, да не чюет леваа рука, что творит десница твоя ... река акианьска естъ богатъство» (IV); «ты, человеце, елико богатъство собираеши, не имаши сыти, но еси на все несыть» (VIII); «вси перины имеют на постелях своих ... да будет гобина пшеница и прочих всех семень ... да будет множество овецъ и говядь и инехъ четвероногъ» (XVI); и др.

В цикле рассказов другом объекте — о Дракуле и о его «земле» — тоже отразились материально-хозяйственные интересы составителя повести: денежные и торговые («со всею казноу ... ити на службу» — 556; «повеле дати 50 дукать злата; ... украде ... 160 дукать; ... купец же ... злато ... прочет единою и дващи» — 558; «бочкы железны ... насыпа их злата» — 562; «птица на торгу покупая ... научися шити и темъ ... кормляшесь» — 562, 564). Ставились вопросы богатства и бедности («никто ж да не будетъ нищъ ... но вси богатии» — 558; «узре на ... сиромaxe срачицю издрану, худу» — 560).

В цикле рассказов об еще одном персонаже — Михаиле Клопском в монастыре — хозяйственные мотивы были еще более влиятельны («урядися ... с мастераы и даст имъ задатка 30 рублевъ, а после имъ

взяти 100 рублевъ да по однорядки» — 338; «не пускай ни коней, ни коровъ на жары» болотистые — 340; и т. д.).

Что же касается «Хожения» Афанасия Никитина, то его заботы о деньгах, о дешевизне и дороговизне товаров, о базарах и торгах, о продажах и покупках проявлялись непрерывно.

Вполне естественно, что материальная стихия последней четверти XV в. побудила редакторов и авторов произведений сосредоточиться на характеристике материальных, физических объектов⁷.

Но почему в очень разных произведениях этого времени повторялись мотивы именно по сходной схеме обыденной жизни? Думается, тогда начал вырабатываться свод правил поведения для светского человека как предтеча будущего «Домостроя». Вот почему в уваровском «Физиологе» настоятельные советы касались не только посещения церкви: «ты, человеце ... егда согресиши, теци ... ко источнику живу книжну» (VI); «ты, человеце, отлучися еси жены своея, — к тому не прилепися к ней» другой (VIII); «ты, человеце, егда ся состарееш, не отчай себе» (X).

«Сказание о Дракуле» содержало еще больше провозглашаемых правил светского поведения, в том числе такие: «...леность имеши к мужу своему. Онъ должень сеяти, и орати, и тебе хранити, а ты должна еси на мужа своего одежду светлу и лепу чинити» (560); «прочии же да ... учими будутъ, какъ имъ съ государьми великими беседовати» (562).

В «Повести о житии Михаила Клопского» суровые советы о поведении тоже высказывались: «не украдите, ни разбьете, останите греховъ своих» (336); «зачинающимъ рать Богъ его погубить» (342); «что ... за дума ... ж жоньками?» (346).

Афанасий Никитин все сокрушался нарушению норм поведения мирского человека: «иже кто по многымъ землямъ много плаваетъ, во многыя грехы впадаетъ и веры ся да лишаетъ христианские»(339), «а праваа вера — Бога единого знати» (343).

Таков небольшой эпизод из истории древнерусских литературных циклов XV в.

Примечания

¹ См. также: *Строев П. М.* Рукописи славянские и российские, принадлежащие И. Н. Царскому. СПб., 1848. С. 392. № 371, шестая рукопись. Л. 366 об. — 375 об. Это же описание перепечатано в кн.: *Леонид.* Систе-

матическое описание славяно-русских рукописей графа А. С. Уварова. М., 1894. Ч. 4. С. 51. № 1788 (собрание Уварова, в 4^о, № 515). Как установил Ю. А. Грибов, сборник был ошибочно датирован XVI в. Характеристику состава данного списка «Физиолога» см. в кн.: *Карнеев А. Д.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890. С. 156—158, 227, 256, 300—301, 320, 328, 340, 350, 373, 385—386 и др. Текстологическое исследование данного списка см.: *Физиолог* / Изд. подгот. Е. И. Ванеева. СПб., 1996. С. 72—80.

² «Физиолог» (список ГИМ, Уваров., № 515) цитируется по кн.: *Карнеев А. Д.* Указ. соч. Приложения. С. III. Далее страницы указываются в скобках.

³ Судя по замечаниям А. Д. Карнеева (Указ. соч. С. 147—148 и 158), таковы списки РНБ. СПб. Дух. ак., № 1458 и РГБ, Пискарев, № 143 (см.: *Абрамович Д. И.* Описание рукописей Санктпетербургской Духовной академии. СПб., 1910. Вып. 3. С. 239; *Викторов А. Е.* Каталог славяно-русских рукописей Д. В. Пискарева. М., 1871. С. 32. Пискаревскую рукопись А. Е. Викторова датирует временем до 1548 г.).

⁴ «Сказание о Дракуле» (список РНБ, Кир.-Белоз., № 11/1088) цитируется по кн.: ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Я. С. Лурье. М., 1982. С. 554, 563, 564. Далее страницы указываются в скобках.

⁵ «Повесть о житии Михаила Клопского» (список РГБ, Волоколамск., № 659) цитируется по кн.: ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. С. 334. Далее страницы указываются в скобках.

⁶ «Хожение» Афанасия Никитина (список РГАДА, ф. 181, № 371) цитируется по кн.: ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 6. С. 332. Далее страницы указываются в скобках.

⁷ Другие примеры влияния хозяйственных интересов на поэтику произведений XV в. см.: *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 224—241.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук. СПб., 1836.
- АИ — Акты, исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею.
- БАН — Библиотека Академии наук в Санкт-Петербурге.
- ГИМ — Государственный исторический музей в Москве.
- ДАИ — Дополнения к Актам историческим...
- ИМЛИ — Институт мировой литературы Российской академии наук в Москве.
- ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.
- ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук в Санкт-Петербурге.
- МГУ — Московский государственный университет.
- Пам. СРЛ — Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Г. Кушелевым-Безбородко.
- ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
- РГАДА — Российский государственный архив древних актов в Москве.
- РГБ — Российская государственная библиотека в Москве.
- РДС — Русская демократическая сатира XVII в.
- РИБ — Российская историческая библиотека.
- РНБ — Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге.
- СГГД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел.
- СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук.
- ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ.
- ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ*

- Абрамович Д. И. 87, 88, 101, 126, 139, 480
Автократов В. Н. 469
Адрианова-Перетц В. П. 129, 157, 194, 198, 201, 246, 257, 340, 356, 400, 458, 461, 463
Азбелев С. Н. 257
Антонова М. Ф. 228
- Бакланова Н. А. 468
Барсков Я. Л. 357
Бегунов Ю. 213, 222
Белоброва О. А. 237, 457
Белокуров С. А. 468
Берх В. 459, 464
Богуславский С. А. 193
Брайловский С. Н. 469
Брике Ш. М. см. Briquet С. М.
Брун Т. А. 460
Буганов В. И. 457, 468, 470
Бударагин В. П. 127, 140, 256, 265
Буланин Д. М. 126, 127, 139, 236, 315
Буслаев Ф. И. 157, 429, 460
Бычков А. Ф. 86, 222, 246
- Ванеева Е. И. 140, 315, 480
Васенко П. Г. 140, 156, 300
Верюжский В. 468, 470
Веселовский А. Н. 157
Викторов А. Е. 480
Вилинский С. Г. 213
Виноградов В. В. 9, 157, 273, 300, 340, 356
Волков М. Я. 468
Волкова Т. Ф. 140, 156, 278, 290
- Гарибян Д. А. 400, 462, 463
- Гиббенет Н. 465
Голубев И. Ф. 459
Голубцов А. 461, 462
Гольщенко В. С. 86, 213
Горелов А. А. 463
Горский А. В. 467—469
Грибов А. Ю. 472, 480
Грихин В. А. 228
Громов М. Н. 73
Гудзий Н. К. 192, 271, 343, 355, 357
Гусев В. Е. 273, 276, 279
- Данилевский И. Н. 20, 86
Демин А. С. 86—88, 125, 126, 204, 222, 339, 458, 480
Демкова Н. С. 9, 127, 140, 171, 256, 273, 275, 279, 339, 457, 460, 465, 469
Демьянов В. Г. 87, 102, 126, 139, 173, 204
Дергачева-Скоп Е. И. 278
Державина О. А. 140, 237, 271, 298—300, 357, 458
Дмитриев Л. А. 102, 126, 127, 139, 140, 174, 204, 246, 247, 256, 257, 265, 480
Дмитриева Р. П. 102, 126, 127, 256, 315, 460
Доброклонский А. 457
Долинин Н. П. 457
Дробленкова Н. Ф. 140, 279, 457, 464
Дружинин В. Г. 459
Дубровина В. Ф. 86, 213
Дурново Н. Н. 256
- Евгеньева А. П. 465
Евсеева И. А. 156
Елеонская А. С. 273

* Указатель составлен И. А. Полосухиной.

- Еремин И. П. 9, 16, 39, 82, 88, 89, 148, 149, 156, 157, 175, 187, 192, 204
- Жуковская** Л. П. 88
- Замалеев А. 73
- Зёрнова А. С. 456
- Зимин А. А. 265, 458, 459
- Ивина** Л. И. 300
- Истрин В. М. 86, 87, 125, 126, 139, 213
- Каган-Тарковская** М. Д. 463
- Калугин В. В. 9
- Каптерев Н. Ф. 466
- Карнеев А. Д. 480
- Карский Е. Ф. 19, 86, 88, 89, 102, 125, 139, 156, 173, 193, 204
- Кинан Э. 324
- Кириллин В. М. 228, 232, 236
- Кирпичников А. Н. 257
- Клибанов А. И. 457, 459, 470
- Клосс Б. М. 228, 265
- Ключевский В. О. 324, 457
- Князевская О. А. 87, 102, 126, 139, 173, 204
- Кожин В. В. 276
- Колесов В. В. 73, 88, 233, 237, 257, 273, 315
- Коломейченко С. В. 228
- Колосова Е. В. 237, 357, 458
- Комарович В. Л. 213
- Коннан Э. 287
- Коновалова О. Ф. 228
- Конрад Н. И. 357
- Корецкий В. И. 300, 457
- Коротченко М. А. 234
- Костомаров Н. И. 139, 236, 370
- Крюйс К. 463
- Кукушкина М. В. 457
- Кусков В. В. 256
- Кучкин В. А. 257, 265
- Кушелев-Безбородко Г. 87
- Лабынцев Ю. А. 456
- Левина С. А. 315
- Леонид (Кавелин) 462, 479
- Лесин В. М. 357
- Лихачев Д. С. 9, 16, 39, 48, 86—88, 102, 126, 138, 140, 153, 157, 158, 168, 173, 174, 177, 182, 192, 193, 203, 204, 213, 214, 222, 223, 227, 228, 257, 273, 281, 290, 291, 324, 340, 356, 357, 429, 458, 459, 464, 467
- Лихачев Н. П. 472
- Лихачева О. П. 174, 222, 256, 257
- Лишин А. А. 463
- Логунова Е. В. 234
- Лопарев Х. 466, 468
- Лурье Я. С. 175, 222, 480
- Ляпон М. В. 87, 102, 126, 139, 173, 204
- Майков** Л. Н. 458
- Макарий (Булгаков) 461
- Макаров А. И. 88
- Маковский Д. П. 457
- Малышев В. И. 324, 459, 466
- Мансикка В. П. 213, 221
- Мельц М. Я. 462
- Менделеева Д. С. 273
- Мещерский Н. А. 125, 213, 222
- Миклошич Ф. 23
- Милюков В. В. 73, 88
- Милютенко Н. И. 87
- Миронова Т. Л. 88
- Митрофанова В. В. 462
- Муравьева Л. Л. 300
- Назаревский** А. А. 457
- Насонов А. Н. 156, 193, 246, 457
- Невоструев К. И. 467—469
- Никольский Н. 465
- Новикова О. А. 300
- Оболенский** М. А. 88
- Ольшевская А. А. 87, 127

- Орлов А. С. 9, 157, 177, 192, 213, 223, 233, 256, 257, 267, 271, 324—326, 340, 356, 400, 407, 413, 463, 464
- Охотникова В. И. 140, 246, 324
- Панов В.** 88
- Панченко А. М. 461, 467, 469, 470
- Пауткин А. А. 9, 158, 175
- Пашуто В. Т. 192
- Переверзев В. Ф. 467
- Перетц В. Н. 457
- Пиккар Дж. см. Piccard G.
- Пиккио Р. 228
- Пискарев Д. В. 480
- Платонов С. Ф. 271, 365, 457, 459
- Плеханов Г. В. 462
- Плюханова М. Б. 273, 290
- Покровский Н. Н. 315
- Поньрко А. Н. 19, 73, 140
- Порфирьев И. Я. 19, 87
- Поршнев Б. Ф. 386, 459, 460
- Приселков М. Д. 175
- Прозоровский А. 468
- Протасьева Т. Н. 458
- Прохоров Г. М. 175
- Прыжов И. Т. 466
- Пулинец О. С. 357
- Путилов Б. Н. 257, 465, 467
- Пушкарев Л. Н. 326, 339, 458, 459, 467
- Пыпин Н. В. 19, 87, 102
- Ранчин А. М.** 9, 228
- Робинсон А. Н. 204, 273, 340, 343, 355, 356, 357, 400, 407, 408, 462—464
- Рождественская М. В. 11, 16, 19
- Розанов С. П. 86
- Ротар И. 465
- Румянцева В. С. 273
- Рыбаков Д. А. 298
- Рыков Ю. Д. 459
- Савва В. И.** 459
- Савич Н. Г.** 300
- Салмина М. А. 19, 131, 256, 460, 466
- Свердлов М. Б. 86, 87
- Сергеев В. Н. 465
- Сергеевский Н. Д. 466
- Серебрянский Н. И. 208, 213, 221
- Серова И. Ю. 271
- Симонии П. К. 102, 127, 140, 458, 462, 466
- Скрипль М. О. 458, 461
- Смирнов П. П. 459—462, 464
- Соколова В. Е. 462
- Соколова Л. В. 126
- Солодкин Я. Г. 295, 297, 298, 300
- Срезневский И. И. 64, 88, 213
- Станиславский А. Л. 457
- Стёпина Н. В. 326
- Строев П. М. 461, 479
- Сумникова Т. А. 87, 88, 101, 139, 204
- Сутт Н. И. 400
- Тазбир Я.** 458
- Творогов О. В. 19, 102, 140, 177, 356, 462
- Тихомиров М. Н. 256, 295, 297, 300
- Тихонравов Н. С. 19, 102, 204, 339, 466, 458
- Травников С. Н. 87, 127
- Трофимова Н. В. 268
- Туфанова О. А. 234, 273, 279, 298
- Тхоржевский С. 463, 464
- Ужанков А. Н.** 171
- Феннел Дж.** 213
- Хазанова С. И.** 295, 300
- Хлебников В. М.** 462
- Царский И. Н.** 479
- Черепнин Л. В.** 392, 393, 459, 460
- Чистов К. В.** 459, 462
- Чуркина Л. А.** 256

-
- Шайкин** А. А. 158
Шаповалова Г. Г. 462
Шахматов А. А. 22, 23, 39, 86—89, 125, 126, 139, 156, 158, 173, 175, 193
Шептаев Л. С. 460
Шлецер А. 23
Шульгин В. С. 461
- Яковлев** А. 370, 457
Яковлева О. А. 297
Яценко Б. И. 171
- Briquet** С. М. 471, 472
Piccard G. 472

Научное издание

Анатолий Сергеевич Демин

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЛИТЕРАТУРА

(О манерах повествования и изображения)

Корректор О. Неклюдова
Оператор Е. Зуева
Художественное оформление переплета
и оригинал-макет И. Богатыревой

Подписано в печать 17.09.2015. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. п. л. 30,5. Тираж 600. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».
№ госрегистрации 1037739118449.
Phone: **8-495-625-79-19**. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: +7 (499) 255-77-57, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4

